



В. М. Живов

**ИСТОРИЯ
ЯЗЫКА РУССКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ**

**II
ТОМ**

Университет Дмитрия Пожарского

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА им. В. В. ВИНОГРАДОВА

УНИВЕРСИТЕТ ДМИТРИЯ ПОЖАРСКОГО

В. М. ЖИВОВ

ИСТОРИЯ ЯЗЫКА РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

Том II



Москва

Университет Дмитрия Пожарского

2017

УДК 16.01.07
ББК 83.3(2)
Ж67

Утверждено к печати Ученым советом
Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН

Подготовлено к печати и издано по решению Ученого совета
Университета Дмитрия Пожарского

Живов В. М.

Ж67 История языка русской письменности: В 2 т. Том II. – М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2017. – 480 с.

ISBN 978-5-91244-185-1 (т. 2)
ISBN 978-5-91244-183-7

В. М. Живов (1945–2013) – выдающийся ученый-славист, автор фундаментальных трудов по истории русского языка, древнерусской письменности, русской литературе разных эпох, истории византийской и русской культуры, русской церковной истории.

Монография представляет результаты многолетнего изучения В. М. Живовым закономерностей исторического развития русского литературного языка. Центральной идеей исследования является мысль о том, что литературный язык развивается не спонтанно и «органически», а по сценариям, которые создаются культурными процессами.

Книга в основном строится по хронологическому принципу, при этом отдельные темы, связанные со структурными характеристиками письменного языка, рассматриваются сквозным образом.

Второй том содержит третью и четвертую части монографии. В третьей части исследуется динамика языковой ситуации в период до формирования языкового стандарта. Рассматриваются процессы изменений в регистрах письменного языка в тот период, когда он сохранял регистровую организацию (вплоть до конца XVII в.). Четвертая часть посвящена процессам формирования русского языкового стандарта (русского литературного языка) на протяжении XVIII – начала XIX в.

Монография предназначена для специалистов (лингвистов, литературоведов, историков) и для всех интересующихся историей русского языка и историей русской культуры.

ISBN 978-5-91244-185-1 (т. 2)
ISBN 978-5-91244-183-7

УДК 16.01.07
ББК 83.3(2)

© Живов В. М., наследники, текст, 2017
© Горева Е. А., дизайн и оформление обложки, 2017
© Русский фонд содействия образованию и науке, 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

Том II

Часть III. Динамика языковой ситуации в период до формирования языкового стандарта

Глава VIII. Второе южнославянское влияние и развитие грамматического подхода к книжному языку

1. Историко-культурный контекст и культурные контакты..... 821
2. Деадаптация в орфографии..... 836
3. Отталкивание от разговорного языка в лексике..... 848
4. Отталкивание от разговорного языка в грамматике..... 857
5. Грамматика и книжная справа..... 865
6. Церковнославянский как ученый язык..... 874

Глава IX. «Простота» языка и социокультурная дифференциация авторов и их читателей

1. Регистры письменного языка и социальная стратификация..... 888
2. Генезис концепции «простоты» языка..... 898
3. «Простота» языка в Московской Руси XVII в..... 909
4. Секуляризация культуры, ее русская специфика и значимость для переосмысления языкового узуса..... 924

Часть IV. Формирование стандартного литературного языка

Глава X. Изменение языковой ситуации в Петровскую эпоху. Возникновение «гражданского наречия» как начальный этап формирования литературного языка

1. Историко-культурный контекст петровской реформы языка..... 933
2. Создание гражданского шрифта..... 936
3. Языковая политика Петра..... 945
4. «Гражданское наречие» и устранение признаков книжности..... 954

5. Отталкивание от старого книжного языка и возникновение «петровского пула». Синтаксический уровень..... 961
6. «Петровский пул» и морфологическая вариативность..... 971
7. Статус «гражданского наречия»..... 979
8. Понятность «гражданского наречия» и роль заимствований..... 984

Глава XI. Нормализация языка и утверждение роли литературы

1. Нормализация языка. Возникновение академической грамматической традиции 991
2. Синтетический характер академической нормализации (морфология)1001
3. Лингвистические программы. Роль изящной словесности1012
4. Русский пуризм как реплика французского классицистического пуризма.....1017

Глава XII. Славянорусский язык и синтез культурно-языковых традиций

1. Адаптация классицистического пуризма к русской литературно-языковой ситуации1026
2. Реинтерпретация пуристических рубрик в лексике и опыты ее стилистической дифференциации.....1036
3. Роль литературы и социолингвистические характеристики литературного языка.....1056
4. Ускоренное развитие и нестабильность стандарта – иллюстрация: нормализация окончаний прилагательных в именительном-винительном падеже множественного числа.....1061

Глава XIII. Утверждение основных характеристик литературного стандарта (полифункциональность, общеобязательность, стилистическая дифференцированность)

1. Дворянская апроприация нового идиома и социолингвистические последствия этого процесса.....1079
2. Языковой стандарт и школьное образование1090
3. Синтаксическая реформа Карамзина и роль изящной словесности1095
4. Спор архаистов и новаторов и стабилизация русского литературного языка.....1106
5. Пушкинский синтез1118

Глава XIV. Эпилог. От Пушкина до наших дней

1. XIX век: что происходит после Пушкина?.....1127
2. Русский литературный язык при советской власти и после ее падения1140

| | |
|------------------|------|
| Литература | 1152 |
| Указатель..... | 1237 |

ЧАСТЬ III. ДИНАМИКА ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В ПЕРИОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОГО СТАНДАРТА

ГЛАВА VIII. ВТОРОЕ ЮЖНОСЛАВЯНСКОЕ ВЛИЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К КНИЖНОМУ ЯЗЫКУ

1. Историко-культурный контекст и культурные контакты

Очевидно, что набор письменных традиций в любом данном языковом коллективе ограничен. Как уже говорилось (см. § II-6), он определяется нечетко отделяемыми друг от друга кругами чтения (гимнограф читает прежде всего литургические тексты, летописец – летописные, а делец – деловые) и отношением к прочитанному. Изменение в наборе письменных традиций может быть следствием либо изменения круга чтения, либо изменения отношения к тексту (механизма использования знаний, полученных при чтении, для создания новых текстов). В период XI–XIV вв. формируется ряд письменных традиций и устанавливаются те механизмы интерпретации, которые мы разбирали выше. Внутри этого периода кардинальных (революционных) изменений не происходит; механизмы интерпретации не меняются, можно предполагать лишь постепенную кристаллизацию разных регистров книжного языка на фоне медленного распространения грамотности, нарастания отличий письменного языка от разговорного и т. д. Как в принципе может произойти формирование новых письменных традиций?

Один из возможных вариантов – изменение круга чтения. Можно представить себе такую ситуацию, когда в литературной системе появляется новый тип текстов (или новый жанр), обладающий своей языковой спецификой, который теснит сложившиеся литературные типы, получает широкое распространение и начинает определять письменные навыки некоторого круга читателей. Таково, например, распространение романа в конце XVIII – XIX в. На Руси изменение литературной системы начинается в конце XIV в. и связано с так называемым вторым южнославянским влиянием. Это изме-

нение, однако, не приводит к возникновению новых типов текстов: несмотря на появление на Руси многочисленных новых памятников (преимущественно аскетической и литургической литературы), они вписываются в уже существующие типы и основы для формирования новых письменных традиций не дают. Возникновение новой письменной традиции, а именно традиции книжного языка, находящегося под нормализационным контролем, обусловлено в данном случае вторым из возможных факторов, т. е. изменением отношения к тексту, в результате которого и возникают механизмы контроля.

Процесс историко-культурного переосмысления разновидностей книжного языка начинается внутри книжной культуры, и его исходные импульсы могут быть усмотрены в динамике самой этой культуры, а не во внешних факторах. Те процессы функционального переосмысления генетически разнородных элементов, о которых говорилось выше (см. § II-5), были результатом взаимодействия книжного и некнижного языка и могли рассматриваться как приспособление книжного языка к местным условиям. Но с определенной точки зрения такое приспособление есть порча (ср. восприятие современного им греческого у византийских ценителей античной образованности или восприятие средневековой латыни у гуманистов), и подобное понимание, потенциально присутствуя в осмыслении любого книжного языка, ждет лишь благоприятных историко-культурных обстоятельств, чтобы стать актуальным фактором в его преобразовании.

В Московской Руси такие обстоятельства образуются в середине или конце XIV в., когда на обломках культуры киевского периода, разрушенной до определенной степени монгольским нашествием, начинает возводиться новое здание. У этого здания новые политические контуры (задача централизации, т. е. подчинения Москве других княжеств Северо-Восточной Руси) и новые контуры религиозные, обусловленные, с одной стороны, так называемым монашеским возрождением, а с другой – политикой консолидации церковной власти. Для первого направления основной фигурой является преп. Сергей Радонежский, для второго – московский святитель Алексей; тесное сотрудничество этих двух религиозных лидеров указывает на то, что оба эти направления были накрепко переплетены. Одним из значимых феноменов этой новой религиозной конфигурации было расширение контактов с другими православными странами – как с Византией, так и со славянским Югом. И эти линии образуют определенное единство, воплощением которого можно считать интернациональную монашескую общину Афона. Несколько упрощая, можно сказать, что в это время сплочение православного мира становится общей заботой Константинополя и славянских стран, и эта активизация религиозно-культурного обмена в русской перспективе традиционно именуется «вторым южнославянским влиянием», хотя для него давно уже стоило бы найти более подходящее название.

«Второе южнославянское влияние» – это отчасти мифологический феномен, созданный славянской филологией, отчасти – конгломерат новых явлений, появившихся в конце XIV – XV в. и без разбору объединенных исследователями в единое целое. Поскольку отдельные новые явления действительно имеют южнославянское происхождение, а отдельные – византий-

ское, весь этот конгломерат рассматривается как порождение византийско-южнославянского влияния. Как мы уже говорили, рассматривать развитие культуры как последовательность разных влияний вообще достаточно непродуктивно, и данный случай – отнюдь не исключение. В означенное время у восточных славян действительно меняется культурная ситуация, что обусловлено многими историческими факторами, главные из которых были обозначены выше. Их основа – во внутреннем развитии религиозно-культурной ситуации на Северо-Востоке Руси; это развитие делает актуальным обращение к определенным внешним источникам (византийским и южнославянским). У внутренних восточнославянских процессов есть собственная динамика, обозначенная такими вехами, как перенос митрополии в Москву и последующее возвышение Москвы, подчиняющей себе соседние княжества, как распространение христианства в Литве и юрисдикционный конфликт между Москвой и Вильнюсом, как победа Дмитрия Донского над Мамаем, осмысленная как торжество правой веры, и т. д. На эти фундаментальные сдвиги накладывается такой фактор, как более гибкая политика Византии, само существование которой с середины XIV в. оказалось под угрозой, в отношении славян, как южных, так и восточных, и развивающиеся в этом контексте новые элементы религиозного и этнического самосознания, и многочисленные иные обстоятельства, так или иначе сказавшиеся на культурной динамике этой беспокойной эпохи.

В своем известном докладе на IV Съезде славистов Д. С. Лихачев сопоставил второе южнославянское влияние у восточных славян с теми культурными явлениями, которые были характерны для Западной Европы накануне Возрождения. Выделяя сходные тенденции, он полагал, что оправданно говорить об однородности культурного развития и, соответственно, о восточноевропейском Предвозрождении. Это развитие, правда, совершается «в пределах религиозной мысли и религиозной культуры», однако «оно также полно интереса к античной и эллинистической культуре, носит уже отчетливо выраженный “ученый” характер и связано в Византии с филологическими штудиями» (Лихачев 1958, 54). В общем виде эта концепция вряд ли может быть обоснована, поскольку в ней не находит отражения радикальное несходство культурной ситуации в Византии и в славянских (прежде всего восточнославянских) областях. В Византии наряду с духовностью аскетического типа, получившей развитие, в частности, в исихастском движении, существовала и гуманистическая традиция, которой и в самом деле был свойствен интерес к античной культуре и филологическим изысканиям (Никифор Григора, Варлаам Калабрийский – см. подробнее § I-2). Второе южнославянское влияние никакого отношения к данной традиции не имеет, эта элитарная византийская традиция вообще какого-либо отражения в славянских культурах не получает и ни в каком виде от южных славян к восточным не переходит. Так что связывать второе южнославянское влияние (как бы оно ни концептуализировалось в отношении объема и характера вовлеченных явлений) с «интересом к античной и эллинистической культуре» полностью бессмысленно. Напротив, западноевропейское Предвозрождение непосредственно с византийской элитарной культурой связано. Тем самым в основе отождествляемых Д. С. Лихачевым явлений

лежат совершенно разные, даже антагонистические культурные системы, а обнаруживаемые сходства имеют лишь внешний характер (ср.: Живов 2002б, 75). Это, однако, не означает, что в Московской и Литовской Руси не было никаких явлений, аналогичных западноевропейскому гуманизму.

Как показал Р. Пиккио (Пиккио 1975), аналогии могут быть выявлены прежде всего в сфере отношения к тексту, к проблемам его передачи (*traditio*), сохранения и исправления; здесь могут быть обнаружены и общие истоки, и элементы прямого влияния, хотя различия исходных культурных систем обуславливают разные типы развития и препятствуют рассмотрению их как единого процесса. Как уже было сказано, нет оснований говорить о едином византийском источнике западного гуманизма и процессов, связанных с исправлением книг, у славян; здесь, на мой взгляд, предложенная Р. Пиккио схема развития несколько упрощает действительную картину. Наиболее существенным моментом, отличающим восточнославянское развитие от западноевропейского, является состав основного корпуса текстов, на который ориентирована как вся культура в целом, так и филологическая деятельность, в частности выработка нормативных риторических стратегий, нарративных приемов, норм книжного языка и т. д. В рамках *Slavia Orthodoxa* этот корпус включает лишь религиозные тексты (Св. Писания и богослужения), тогда как для Византии и Западной Европы в него входят (хотя бы и в ограниченном объеме) также и «классические» (т. е. античные) авторы. В силу этого связь между религиозными ценностями и филологическими задачами оказывается для православного славянства существенно более выраженной, чем в западноевропейском гуманизме, для которого религиозный компонент входит в конгломерат факторов, связанных с отталкиванием от «темного средневековья». Филологическая реставрация, как уже упоминалось, – нередкий феномен в истории мировой культуры, недавнее прошлое зачастую оказывается темным прошлым; отталкиваясь от этого темного прошлого, реформаторы ищут светлого прошлого и конструируют его из наличного исторического материала. Это обычный случай изобретения традиций (*invention of traditions* – ср. известную концепцию Эрика Хобсбаума: Хобсбаум и Ренжер 1983). Всем случаям филологической реставрации присущ ряд типологически общих черт; это не дает никаких оснований постулировать собственно исторические связи между схожими явлениями.

Почему именно у русских в XIV в. появляется этот фантом светлого прошлого, не совсем ясно. Я бы трактовал этот феномен подчеркнуто примитивным образом – как восстановление «нормальной» жизни после разорения XIII – начала XIV вв. Насколько тотальным было в действительности это разорение, может нас сейчас не интересовать. Существенно, что оно осознавалось как «погибель» Русской земли, что отразилось в ряде летописных статей о татарском нашествии и в нескольких других памятниках XIII–XIV вв., в том числе и в так называемом «Слове о погибели русской земли» (БЛДР, V, 90–91), с трудом, впрочем, поддающемся датировке⁴³⁹.

⁴³⁹ Считать, что этот краткий и не слишком содержательный отрывок «по поэтической структуре и в идейном отношении» близок к Слову о полку Игореве, как это делает

Конструирование этого светлого прошлого шло по нескольким линиям. Оно включало и апроприацию киевского династического прошлого, заметную уже в «Слове о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича», проводящем параллель между св. Владимиром и Дмитрием Донским (БЛДР, VI, 226; ср.: Пеленски 1998, 86–88); эта апроприация запечатлевается затем в построении генеалогий, связывающих правящего князя с крестителем Руси. Оно включает и так называемое монашеское возрождение XIV в., во главе которого стоял преп. Сергей Радонежский; и оно могло восприниматься как восстановление того монашеского благолепия, которое царило при преп. Феодосии Печерском (неслучайно Епифаний так широко пользуется Житием Феодосия при составлении Жития Сергия). В этом контексте и восстановление «чистого и правильного» «славянского» языка также может рассматриваться как одно из реституционных мероприятий. Это и создает благоприятную почву для усвоения того отношения к тексту, которое реализовалось в тырновской и ресавской книжной справе. Стоит заметить, что русские книжники в конце XIV – начале XV в. занимаются, в отличие от своих южнославянских коллег, не столько справой существующих у них текстов, сколько переориентацией на южнославянские модели, которые воспринимаются как образцы чистого древнего «славянского» языка (см. ниже).

Нередко утверждается, что орфографические инновации у южных славян появляются под влиянием исихазма и что второе южнославянское влияние у восточных славян не только воспроизводит эти инновации, но и абсорбирует стоящую за ними лингвистическую идеологию. Д. С. Лихачев, например, а вслед за ним многие другие исследователи связывают с исихазмом орфографические инновации Евфимия Тырновского, а затем Константина Костенечского. Лихачев писал: «Исихасты видели в слове сущность обозначаемого им явления, в имени божьем – самого бога. Поэтому слово, обозначающее священное явление, с точки зрения исихастов, так же священо, как и само явление. Это учение о языке и слове было распространено Евфимием и его учениками на всю письменность» (Лихачев 1960, 21–22). Лихачев приписывает исихастам своего рода имябожие, приводя в качестве аргументов указание на исихастский неоплатонизм.

В этом же духе интерпретирует трактат Костенечского «Сказание о писменех» Харви Голдблатт, книга которого об этом трактате носит характерное название «Orthography and Orthodoxy» (Голдблатт 1987). Цитирую и это сочинение: «The Hesychasts' thesis regarding the light on the mount of transfiguration helps us better understand the profound link between their devotional practice and their linguistic doctrine. More specifically, it helps elucidate the pervasive emphasis in the *Skazanie* on orthographic purity and the

Л. А. Дмитриев (БЛДР, V, 465; ср. еще: Бегунов 1965), представляется неосмысленной нагрузкой. Датировать текст временем до 1246 г., поскольку в нем говорится о «нынешнем Ярославе» и этот Ярослав однозначно отождествляется с князем Ярославом Всеволодовичем, правившим во Владимире в 1238–1246 гг., также кажется неосторожным: текст фрагментарен, и датировка подходит только для одного фрагмента (заключительной фразы). Противопоставление светлого прошлого и случившейся «болѣзни крестияном» в тексте все же имеется.

preeminence given to the graphic representation of language. According to Constantine, the Slavic letters are "divine", for they are not intermediary symbols but direct manifestations of the divine presence which has been extended to man through the deifying action of Grace. Because there exists an immediate connection between the letters as revealed signs and the principle of rationality present with God, every "orphograph" becomes a visible representation of the divine Word. By displaying its heavenly prototype, each graphic sign becomes a component part of the "scale" of perfection which accords man the possibility of ascending toward the source of supreme truth» (там же, 348).

Удивительным образом, авторы подобных суггестивных построений проходят мимо того простого факта, что византийские исихасты, такие как Григорий Синаит, Григорий Палама, патриарх Филофей, никакого интереса ни к написанию сакральных слов, ни к общим проблемам орфографии никогда не проявляли. Никакой «*linguistic doctrine*» у исихастов не существовало. Как совершенно справедливо отмечает П. Е. Лукин, говоря о византийских и славянских (болгарских) исихастах, «у нас нет никаких оснований думать, что они обладали каким-то особым, специфически исихастским, учением о языке и письменности. Еще раз отметим, что единственным источником, на котором до сих пор основываются все рассуждения о конкретных положениях этого гипотетического учения и утверждается как таковой сам факт его существования, продолжает по-прежнему оставаться "Сказание о писменах"» (Лукин 2001, 202). Вся аргументация, таким образом, построена по принципу порочного круга, что в целом характерно для апологетов русского исихазма. Между тем, заботы Константина Костенечского могут быть поняты без всякого обращения к исихазму.

Византийский исихазм XIV в. может рассматриваться как движение монашеского обновления. В послеиконоборческий период и особенно в XI–XIII вв. происходит институализация монашества и связанный с этим рост значения больших общежительных монастырей (таких как Студийский монастырь в Константинополе или Великая Лавра на Афоне). Это приводит к определенному сдвигу монашеской духовности от харизматичности к институализации. Хотя сосуществование харизматичности и институциональности отнюдь не было невозможным, явно внеинституциональная харизматичность (например, в форме юродства) оказывается подавленной (сошлюсь здесь на работы о византийском юродстве С. А. Иванова: Иванов 2005, 187–229). Можно сказать, что в монашеской жизни растет роль рутины. Исихазм был реакцией на это застывание (гибернацию) духовной жизни, не разрушавшей, впрочем, сложившийся порядок, а бывшей как бы дрожжевой добавкой к нему. Как пишет о. Иоанн Мейендорф, исихасты «вдохнули новую жизнь в ветхие и застывшие формы жизни христианского общества Византии» (Мейендорф 1997, 23).

Будучи движением харизматическим и до известной степени антиинституциональным, паламизм обнаруживал себя и как попытка освободить православие от его связи с гибнущей империей (ср.: Мейендорф 1959, 158–159; Мейендорф 1997, 147–149, 396–397) и обеспечить его жизненность в меняющихся политических условиях. Империя гнила на глазах, и то отождествление христианского мира с империей, которое было характерно для

византийской имперской культуры (в частности, для византийской «гуманистической» культуры), не могло не быть подвергнуто критической переоценке. Исихасты стремятся утвердить своего рода аскетическую модель социальной жизни: спасение полагается не в империи, а в чистоте веры и чистоте жизни. Палама попадает в плен к туркам, и его основной вывод состоит в том, что и при турках христианская жизнь возможна. Как абстрактный тезис это, конечно, не ново, жили и при гонителях веры, но как историческое ощущение в имперской Византии это очень важная инновация.

Определенный отклик эти инновации находят и у южных славян, в частности, и в связи с угрозой турецкого завоевания. Актуальной становится проблема сохранения веры в иноверном окружении. За орфографическими реформами южнославянских книжников может стоять та же забота об очищении православной традиции в канун политических катаклизмов. Порча книг и следующая за нею их еретическая интерпретация могли быть реальной угрозой, что и обуславливает «the pervasive emphasis on orthographic purity», о которой пишет Харви Голдблатт. Оба движения, паламитское обновление и книжная справа патриарха Евфимия Тырновского, имели место приблизительно в одно и то же время, в них могли участвовать одни и те же лица, поэтому они переплетаются – это не означает, однако, их органической взаимосвязи. Как уже говорилось, ни сакрализация орфографических форм, ни ориентированная на буквальное воспроизведение текста экзегеза совсем не свойственны Григорию Паламе. Вместе с тем неконвенциональное понимание сакральных символов присуще православному богословию с древнейших времен, и распространение его на словесные формы, имевшее место в славянской книжности в XV–XVI вв., никак не указывает на усвоение специфических моментов исихастского богословия.

Это же относится и к развитию стиля «плетения словес», о котором Лихачев писал: «Поиски слова, нагромождения эпитетов, синонимов и т. д. обуславливались представлениями о тождестве слова и сущности, божественного писания и божественной благодати, что лежали и в основе [орфографической. – В. Ж.] реформы» (Лихачев 1960, 23). Эта точка зрения многократно репродуцировалась и вошла в стандартные истории средневековой восточнославянской литературы. Образцом плетения словес считается, например, Житие Стефана Пермского, написанное Епифанием Премудрым, ср. в нем такие пассажи, как:

Тѣмъ же, что тѣ нареку: прѣрка ли, тако прѣрческаа прореченїа прѣтолковахъ еси, ꙗко гаданїа прѣркѣ оуяснилъ еси, ꙗко посреѣдѣ людїи невѣрныхъ и невѣгльныхъ тако прѣркѣ имѣ былъ еси; а ꙗко ли тѣ именовоу, тако а ꙗкоже дѣло сътворишъ еси, и равно а ꙗкоꙗ равно шѣразѣсѣа подвижасѣа, стопамъ а ꙗкимъ послѣдѣа; законодавца ли тѣ призовоу или законоположника, имже людемъ беззаконнымъ законъ далъ еси, и не бывшѣ оу нихъ законоу, вѣроу иꙗ оуставилъ еси, и законъ положилъ еси (Дружинин 1897, 102).

Подобные риторические фигуры могут быть найдены и в других памятниках этого времени, например в Житии преп. Сергия Радонежского: *населити селитву и возградити градец, с молитвою и молением* и т. д. По по-

воду этого эксцесса орнаментации Джон Феннелл и Энтони Стоукс, следуя в основном Лихачеву, замечают: «The sharp outlines of facts become blurred. The writer's aim is no longer to present a vivid picture, to record an historic happening; his aim is to move, to impress, to emphasize, to overwhelm, to swamp the reader with a flood of synonyms, of abstract similes, thus dulling his perception of the concrete nature of things and inducing a kind of mystical euphoria» (Феннелл и Стоукс 1974, 123).

У данного стилистического явления есть, конечно, вполне рациональное объяснение. Оно никак не связано с исихастской «мистикой», которая никогда не ставила перед собой задачи ошеломить какого-либо читателя или зрителя, а с началами «имперского великолепия», появляющимися как раз в конце XIV в. и запечатленными прежде всего не в житийной литературе, а в таких сочинениях, как Похвальное слово великому князю Димитрию Иоанновичу. В лихачевском же построении в одно целое без всякого смысла соединены совершенно разнородные явления: если русское «плетение словес» (как бы широко ни трактовался этот стилистический прием) есть производное от исихазма, оно должно быть еще более выраженным у византийских исихастов, поскольку русские исихасты XIV в., кем бы они ни были, должны были быть их подражателями, – ничего хотя бы отдаленно напоминающего «плетение словес» у византийских исихастов нет, и аскетической литературе подобные словесные игры вообще не свойственны. Лихачев (равно как и его многочисленные продолжатели) совершенно напрасно пытается справиться с этим противоречием с помощью туманных формулировок типа: «именно русская разновидность этого стиля <...> оказалась наиболее последовательной в проведении новых художественных принципов, зародившихся у южных славян и в Византии в XIV в.» (Лихачев 1960, 23); в Византии XIV в. ничего подобного не зарождалось.

Таким образом, новую культурную ситуацию у восточных славян не следует прямо связывать с византийским влиянием, а тем более специально с влиянием исихазма. Скорее речь может идти об интенсификации контактов внутри православного мира, до этого сводившихся к минимуму в силу захвата Константинополя крестоносцами (1204–1261 гг.) и разорения восточнославянского юга в результате татарского нашествия. Контакты возобновляются в то время, когда в Византии ярко проявляется стремление к обновлению православной духовности. Православный активизм развивается в ту же эпоху и в Московской Руси, однако контекстом оказывается не распад этатизма, как в Византии, а, напротив, становление этатизма. Поэтому имеет место слияние новой идеологии и сопутствующих ей риторических стратегий с формирующейся государственностью, постепенно получающей имперский характер. Стоит иметь в виду, что становление государственности и перенесение на Москву имперской топики – это дело духовенства. Имею в виду московских святителей Петра и Алексея, св. Сергия Радонежского, а позднее, в частности, и старца Филофея, сформулировавшего идею Москвы – Третьего Рима.

В этом контексте происходит и обновление книжности, поскольку, на взгляд обновителей, старая книжность пришла в упадок и недостаточна как в силу своей «нечистоты», так и в силу определенной узости репертуара.

Весьма показательно в этом отношении появление Чудовского Нового Завета митрополита Алексея 1355 г. Чудовский Новый Завет представляет собой новую редакцию перевода, сделанную в Константинополе митрополитом Алексеем, ожидавшим там поставления, и его сотрудниками. Обновление евангельского перевода представляет собой, понятно, важную религиозную инициативу, которая естественным образом концептуализируется как первый и необходимый шаг в обновлении русского православия. Характерным образом, орфография Чудовского Нового Завета инновативна и ориентирована на греческое письмо. Здесь наблюдаются и греческие лигатуры, и расширение функций *ї*, и морфологические грецизмы. Стоит отметить и появление здесь акцентуации, это первый акцентуированный восточнославянский памятник. Не упоминая сейчас о его исключительной ценности для исторической акцентологии, отмечу, что постановка акцентов скорее всего говорит не только о подражании греческому письму, но и об орфоэпической регламентации, что хорошо вписывается в реформаторскую деятельность московского святителя.

Чудовский Новый Завет, однако, – это уникальный памятник, особняком стоящий в истории русской письменности. Он предвосхищает ряд явлений, характеризующих второе южнославянское влияние, но сам по себе он памятником этого влияния не является. Второе южнославянское влияние связано не столько с ориентацией московских митрополитов на византийские и южнославянские образцы, сколько с монастырской культурой и монастырской книжной деятельностью. Можно сказать, что второе южнославянское влияние было следствием, хотя отнюдь не непосредственным, того возрождения монашеского подвига, которое началось во второй четверти XIV в. Новое аскетическое движение, во главе которого стоял преп. Сергий Радонежский, существенно отличалось от того монастицизма, который был характерен для Киевской Руси. Может быть, поэтому следовало бы говорить не о монашеском возрождении (как это часто делается), а о начале нового монашества. Новое монашество было поначалу пустынножительным монашеством, монашеством «пустыни», тогда как все известные нам монастыри Киевской Руси строились в городах или в пригородах. Именно так был построен Киево-Печерский монастырь, основанный преп. Феодосием. Таковы же были и знаменитые новгородские монастыри – Юрьевский или Хутынский. Та преемственность по отношению к Киевской Руси, о конструировании которой в Москве XIV–XV вв. мы говорили выше, затушевывает это важное обстоятельство: новая монашеская жизнь основывалась на новых аскетических практиках, а для них нужны были новые руководства. Именно эти руководства берутся у южных славян, и именно с этого заимствования аскетических текстов начинается второе южнославянское влияние⁴⁴⁰.

⁴⁴⁰ Замечу, впрочем, что такая схема является безусловным упрощением. Новое монашество было пустынножительным монашеством лишь поначалу. Во второй половине XIV в. монашеские скиты перерастают в большие общежительные обители. Так случается прежде всего с Троице-Сергиевым монастырем, основанным преп. Сергием в 1350-х годах. Число монахов в этом монастыре неуклонно росло, но лишь во второй половине 1360-х годов Сергий вводит в обители Студийский устав, т. е. превращает его в

Анализируя динамику второго южнославянского влияния, А. А. Турилов замечает: «При всей важности различных аспектов “второго южнославян-

регулярный общежительный монастырь. Для этого, как известно, потребовалось послание константинопольского патриарха Филофея, убеждавшее преп. Сергия в преимуществах киновийного жития (послание приводится в Пахомиевской редакции Жития). Инициатором этого киновийного строительства был, конечно, не Сергей, а московский митрополитский престол, поддержанный константинопольскими патриархами. Динамика этого процесса вполне понятна. Московскому епископату нужна была поддержка ревнителей христианской жизни в укреплении политических и идеологических позиций Церкви, в частности в ее взаимоотношениях с княжеской властью, и монашеское движение, разраставшееся на глазах, было естественным и незаменимым ресурсом. Однако для того чтобы воспользоваться этим ресурсом, он должен был быть институционализирован или, вернее, введен в рамки институциональной Церкви. Византия в этом отношении была хорошим образцом: там исихастское движение сосуществовало с большими общежительными монастырями и питало их, а общежительные монастыри были верной опорой для патриархов. Именно этот образец и был ориентиром для митрополита Алексея, и именно он был инициатором распространения общежительных монастырей со Студийским монастырским уставом.

Как развивалась эта инициатива, довольно подробно описано в книге Б. М. Клосса о преп. Сергии. «Самой первой из обителей, построенных по инициативе митрополита Алексея, является Владычин монастырь в Серпухове» (Клосс 1998, 38), основание которого может быть датировано 1362 г. За этим последовало строительство в Москве (в Кремле) монастыря во имя Чуда архангела Михаила в Хонех (Чудова монастыря). «По Троицкой летописи, монастырь в Кремле был основан в 1365 г. и стал домовым монастырем русских митрополитов» (там же, 41). Далее создается Алексеевский женский монастырь в Москве и Благовещенский монастырь в Нижнем Новгороде. За этим следует Троицкий монастырь, и начинается активное сотрудничество Сергия с митрополитом Алексеем в деле монастырской реформы, так что возникновение еще полудюжины общежительных монастырей в Москве и ее окрестностях происходит благодаря их совместным усилиям. К числу таких монастырей относятся, например, Симонов и Андроньевский монастыри в Москве. К началу XV в. это движение обросло уже признанными центрами и основанными в результате этой монашеской экспансии монастырями, такими, например, как Кирилло-Белозерский монастырь на Белом озере, основанный в 1397 г. св. Кириллом, учеником преп. Сергия. Стоит также упомянуть основание Соловецкого монастыря на безлюдных островах Белого моря; монастырь был основан приблизительно через 40 лет после Кирилло-Белозерского монастыря. При этом большие монастыри существовали наряду со скитами: подвижники покидали стены монастыря и обосновывались в уединении, порою даже поблизости от оставленной ими обители.

Монастырская реформа создавала новую церковно-политическую ситуацию, сильное организованное монашество могло служить опорой для церковных властей в их сношениях со светской властью. Оно образovalo своего рода *ecclesia militans*, и светская власть не могла не считаться с этой силой. Московское духовенство несомненно поддерживало идею централизации власти на Руси или, если угодно, усилия московских князей в деле «собирания земель вокруг Москвы». Только достаточно централизованная и сильная княжеская власть могла быть столпом и утверждением православия. Большие общежительные монастыри были не только опорой церковной власти, но и центрами религиозного просвещения. Они обладали большими библиотеками, и переписывание книг было в них одним из благочестивых упражнений. Вот эти центры и оказывались основными потребителями и основными распространителями заимствуемых у южных славян аскетических руководств.

ского влияния” главным из них, несомненно, является распространение в восточнославянской письменности корпуса новых текстов, что отмечал уже А. И. Соболевский. Оригинальные южнославянские сочинения занимают среди них весьма скромное место, особенно если не включать в их число тексты, созданные южнославянскими авторами на Руси – Житие, службы и похвальное слово митрополиту Петру митрополита Киприана; Слова Григория Цамблака (“Книга, глаголемая Цамблак”); жития и службы, написанные Пахомием Логофетом. Данное обстоятельство не является особенностью “второго южнославянского влияния”, напротив, оно характерно для всей традиции литературных связей православных славян в средневековье – аналогичную картину дает “первое” (XII–XIII вв.) и “второе” (XVI–XVIII вв.) “восточнославянское влияние” на южнославянскую письменность. Обмен текстами между православными славянскими литературами происходит почти исключительно в рамках круга памятников с общехристианской либо общеправославной тематикой (литературный “пласт-посредник”, по терминологии А. Наумова)⁴⁴¹. Оригинальные памятники участвуют в процессе литературного обмена, если они посвящены соответствующей тематике, либо входят в макротекст устойчивого состава (службы в составе служебных миней, краткие жития в составе Пролога, похвальные слова в составе Торжественника), или, наконец, являются вспомогательными (служебными) текстами (предисловие, послесловие) при каком-то крупном памятнике, либо входят в его устойчивый традиционный конвой <...> Именно появление корпуса новых текстов и знаменует собой начальный этап “второго южнославянского влияния”, текст предшествуют всем прочим признакам явления. <...> Асинхронность проявления отдельных элементов “второго южнославянского влияния”, наиболее ранним среди которых являются новые тексты (в южнославянских переводах), не оставляет сомнений в причинах явления. Оно вызвано потребностями новых общежительных монастырей в аскетической литературе и монашеских руководствах и сменой церковного устава» (Турилов 2012, 521–524; Турилов 2010, 237–241)⁴⁴².

⁴⁴¹ Говоря о «восточнославянских влияниях», автор имеет в виду прежде всего переход к южным славянам созданных восточными славянами текстов, включая переводы с греческого (см.: Турилов 2012, 239–285; Турилов 2010, 181–209; ср.: Сперанский 1960, 7–54), хотя «второе восточнославянское влияние» характеризуется и усвоением ряда восточнославянских языковых норм (ср.: Младенович 1982; Младенович 1987) и – в отличие от «первого восточнославянского влияния» – сравнимо по объему и значимости со «вторым южнославянским влиянием» у восточных славян. О «пласте-посреднике» А. Наумов говорит в своей работе о славянских апокрифах (Наумов 1976, 25–29). Понятно, что славянских книжников мало интересовало происхождение текста, религиозные тексты нужны были им для духовного назидания, и понятно, что большинство таких текстов было по происхождению греческим.

⁴⁴² А. А. Турилов отвергает в этой связи точку зрения Б. А. Успенского относительно того, как хронологически соотносились исихазм и второе южнославянское влияние. Б. А. Успенский, возражая Д. С. Лихачеву, писал, что «не исихазм как идеологическое течение принес второе южнославянское влияние, но второе южнославянское влияние как струя, связанная с Византией, принесло в Россию ту идеологию, экспансия которой входила в задачи Византии» (Успенский 2002, 280). Турилов, как мы видели, полагает,

Усвоение южнославянских текстов не сразу приводит к изменению в восприятии книжного языка. Первоначально языковое употребление остается традиционным, таким, как оно сложилось в предшествующий период. Это особенно заметно на орфографическом уровне (см. об этом ниже); как пишет Турилов, «происходит (с разной степенью последовательности и интенсивности) замена орфографии копируемых списков на правописные нормы, привычные для писца» (Турилов 2012, 522; Турилов 2010, 238). Как отмечает М. Г. Гальченко, появление новых текстов не сопровождается немедленным изменением правописных принципов, «[и]нтервал между появлением этих текстов в древнерусской письменности и началом определенных изменений в графике и орфографии древнерусских рукописей, содержащих такие тексты, по нашим наблюдениям, составляет около десяти лет» (Гальченко 2001, 333). На самом деле, если говорить не о проникновении отдельных черт южнославянского письма, а о смене орфографических принципов, интервал этот несколько больше (Турилов оценивает его в четверть века – Турилов 2012, 524; Турилов 2010, 242).

Эти наблюдения дают возможность реконструировать, как проходил процесс освоения новой концепции языковой правильности. Поначалу при копировании рукописей усваиваются отдельные черты среднеболгарского правописания. Это делают в первую очередь восточнославянские писцы в интернациональных монашеских центрах (в Константинополе, на Афоне и т. д.) (Вздорнов 1968; Кистерев 2001). Затем подражание южнославянским образцам распространяется, видимо, как мода, причем появляется в рукописях, не только списанных с южнославянских оригиналов, но и воспроизводящих унаследованные от предшествующего периода тексты, имевшие хождение у восточных славян. Одновременно, можно думать, усваивается и концепция языковой правильности, придающая этому подражанию религиозный смысл. Хотя русское православие не сталкивается с такими угрозами, как православие у болгар и сербов, и никакой особой надобности готовиться к выживанию без могущественных институциональных центров у русских не было, забота о правильном языке получает и у русских религиозную санкцию. А. А. Турилов пишет: «Очевидно, в течение 1390–1400-х гг. в тех же кругах русских книжников, в которых распространялись и новые тексты, в результате продолжающихся и упрочившихся контактов со славянским монашеством Афона и Константинополя утверждается представление (не получившее, правда, зафиксированного письменного теоретического

что сначала со славянского Юга пришла аскетическая литература, а уже затем орфографические инновации и прочие элементы второго южнославянского влияния. Кажется, в основе этого спора лежит терминологическое недоразумение, обусловленное многозначностью в понимании исихазма (ср.: Живов 2011б). Первичным, конечно, был интерес к аскетической литературе, без которой не могло бы состояться монашеское возрождение, и именно на волне этого интереса происходит обращение к южнославянской традиции. Понятно, что специфически исихастской эта литература не была: Лествица наставляла и анахоретов, и киновитов. Второе южнославянное влияние, как говорилось выше, к исихазму вообще отношения не имело; специфически исихастские аскетические практики появляются на Руси, видимо, только при Ниле Сорском.

обоснования, но, судя по результатам, близкое к взглядам их южнославянского современника Константина Костенечского, изложенным в его трактате “Сказание изъявлено о писменах”) о нормализации языка и орфографии текстов (и даже их графики!) как необходимом условии их ортодоксальности» (Турилов 2012, 524; Турилов 2010, 242).

Старый, ненормализованный книжный язык начинает восприниматься как испорченный, порча идет из языка некнижного, из интерференции с языком повседневной жизни, которая сама по себе нечиста и сообщает нечистоту своему вербальному отражению. При таком восприятии нет ничего удивительного в том, что, ставя перед собой задачу регламентации и очищения (устранения порчи) книжного языка, восточнославянские книжники обращались к южнославянским образцам. Там эта работа была уже в значительной степени произведена. В XIV в. были созданы (переведены) многочисленные новые тексты, пересмотрены и исправлены старые. Именно это имеется в виду под тырновской (при Евфимии Тырновском) и более поздней ресавской справой. Пафос языковой правильности был, видимо, усвоен у южных славян, хотя предпосылки его усвоения сложились у восточных славян независимо от южных и под воздействием иных факторов.

Итак, определяющим моментом второго южнославянского влияния в сфере языка оказывается принципиальное внутреннее изменение языкового сознания, переоценка соотношения книжного и разговорного языка, тогда как внешнее влияние (влияние южнославянской книжной традиции) оставалось явлением вторичным, обусловленным поисками нового, не подвергшегося «порче» образца. Действенным фактором было отнюдь не желание безрассудно «подражать» южнославянским моделям, а куда более осмысленное в историко-культурном плане стремление вернуться к первоначальной чистоте кирилло-мефодиевского «славянского» языка (ср.: Ворт 1983б, 354; Успенский 1983, 55). Обращение к южнославянским образцам исходило из идеи очищения и упорядочения основного корпуса текстов: южнославянская книжность воспринималась в данный период как более «правильная» и устроенная, т. е. как подходящий инструмент для решения задач, возникших на собственно восточнославянской почве.

Принципиальное значение имела постановка этих задач; она указывает на развитие филологической рефлексии, в результате которой и образуется новое восприятие предшествующей литературной традиции – не как привычной данности, а как объекта преобразований. Как и у западных гуманистов, хотя и в полностью отличном контексте, этот момент отмечает, хотя бы потенциально, «the end of any scriptum est or ipse dixit, truths established once and for all» (Пиккио 1975, 170). В данной перспективе предшествующая эволюция русского извода церковнославянского языка, в ходе которой книжный язык сближался с языком разговорным, начинает рассматриваться как «порча», приведшая к дестабилизации лингвистических характеристик того самого основного корпуса текстов, который должен служить эталоном языковой (и одновременно вероисповедной) правильности. Соответственно, перед русскими книжниками встает задача «очищения» книжного языка, и естественным средством такого «очищения» представляется отталкивание книжного языка от языка разговорного. Южнославянские

тексты выступают при этом как модель, поскольку их лингвистические характеристики находятся в явном противостоянии с естественными речевыми навыками русских писцов.

Высказывалось мнение, согласно которому значимость южнославянских образцов была ничтожна (см.: Жуковская 1982; Жуковская 1987б). Такая точка зрения, на мой взгляд, может быть лишь следствием тенденциозного и методологически необоснованного анализа рукописного материала. В самом деле, вывод об отсутствии влияния южнославянской рукописной традиции обосновывается в одном случае (Жуковская 1982) разбором орфографии Жития Анисьи в списках Пролога XIII–XVII вв., а в другом случае (Жуковская 1987б) – разбором орфографии приписок к разным спискам Пролога XIV–XVI вв. Исследованные автором отрывки действительно показывают, что орфографические характеристики, связываемые со «вторым южнославянским влиянием», появляются в данных текстах лишь со второй половины XV в. Отсюда автор делает далеко идущие выводы о том, что новые явления графики и орфографии появляются в результате грецизации и архаизации, обусловленных развитием концепции Москвы – Третьего Рима и с южнославянской книжностью никак не связанных.

Представляется, что такие выводы неправомерны уже в силу того, что ни грецизацией, ни архаизацией нельзя объяснить появление *жд* на месте **dj* или написаний типа *трѣгъ* (вместо восточнославянского *торгъ*): с ориентацией на греческий эти явления никак не связаны, и кажется маловероятным, чтобы книжники XV в. извлекли их из древних «харатейных книг» (как мы знаем – см. § VI-2 – даже в русских рукописях XI в. такие написания последовательно не проводятся), ибо никакими реальными инструментами определения древности русские книжники XV в. не располагали (поэтому и об архаизации говорить затруднительно). Между тем такие написания естественно объясняются, если приписать их ориентации на южнославянскую письменную традицию (как это и сделал в свое время А. И. Соболевский – Соболевский 1894; Соболевский 1903а, 3–4; Соболевский 1980, 149–150).

Что же касается обследованных Л. П. Жуковской текстов, то встает вопрос об их значимости. Трудно приписать такую значимость орфографии приписок. Приписки стоят, как правило, на периферии корпуса книжных текстов, они часто содержат отступления и от нормативной орфографии, и от нормативной грамматики, и поэтому орфографическая регламентация затрагивает их отнюдь не в первую очередь. Сознательные орфографические инновации (а именно к ним относятся те новые явления, которые связываются со «вторым южнославянским влиянием») должны касаться прежде всего наново усвоенных текстов, списываемых с южнославянских оригиналов, и стандартных воспроизводимых текстов, реализующих установившуюся норму; в приписках подобные инновации могут отразиться лишь тогда, когда сделаются для писцов абсолютно привычными (на это вполне может уйти 50–70 лет). Понятно, что подобные инновации первоначально захватывают лишь небольшое число рукописей, лишь постепенно подчиняя себе книжную традицию. Поэтому нет ничего удивительного и в том, что они не отразились в исследованных списках Жития Анисьи, относящихся к XV в.

Несравненно более значим тот факт, что имеется ряд русских рукописей первых десятилетий XV в., в которых обсуждаемые инновации имеют место. Собственно, выраженные черты среднеболгарской орфографии могут быть отмечены в рукописях, написанных восточными славянами на Афоне в последнее десятилетие XIV в.; они являются редкостью, но тем не менее весьма показательны; имею в виду Книгу о постничестве Василия Великого (ГИМ, Увар. 506-F) и Римский патерик (Вильнюс, БАН Литвы, ф. 19, № 3) (см. об этих рукописях Турилов 2012, 543; Турилов 2010, 266; Гальченко 2001, 328). Для начала XV в. имеется ряд рукописей с южнославянской орфографией, созданных, видимо, в Москве (см. указания М. Г. Гальченко – Гальченко 2001, 334); сюда относятся Триоди Цветная и Постная 1403 г. (ГИМ, Усп. 7-перг. и ГИМ, Усп. 6-перг., ср.: Князевская и Чешко 1980, 290–292), тверские Лествицы 1402 г. (БАН, Тим. 9) и 1404 г. (ГИМ, Чуд. 219), спасо-андроньевский Златоструй 1407 г. (БАН, 33. 16. 15). В следующие десятилетия таких рукописей становится больше и больше, и они начинают производиться не только в Северо-Восточной Руси, но и в Новгороде (Гальченко 2001, 340). Не пускаясь в подробное перечисление, упомяну Лествицу 1423–1424 гг. (ГИМ, Усп. 18), Октоих 1436 г. (ГИМ, Син. 199), Устав церковный 1437–1438 гг. (ГИМ, Син. 331) (ср. снимки последних трех рукописей: Колесников 1913, л. 15, 19). Существование подобных рукописей ставит вне всяких сомнений наличие контактов между русской и южнославянской книжностью в указанный период и прямое влияние южнославянской письменной традиции на восточнославянскую.

Как мне представляется, не отрицая очевидного, т. е. существования так называемого «второго южнославянского влияния», можно согласиться с теми исследователями, которые полагают, что его основные стимулы лежали в собственном развитии восточнославянской книжной традиции. Верно и то, что этот процесс не связан непосредственно с иммиграцией южных славян на Русь, размеры которой были, несомненно, весьма ограниченны ввиду дальности расстояния и неведомых для жителей Балкан условий жизни; во всяком случае говорить, как это когда-то делал Г. И. Вздорнов (Вздорнов 1968, 71–172), о «волне иммигрантов», хлынувших в Россию, не приходится (см. об этом: Талев 1973); трое выходцев со славянского Юга были очень важными фигурами в истории восточнославянской книжности (митрополит Киприан, Григорий Цамблак и Пахомий Логофет). Процесс изменений отношения к тексту наблюдается, однако, уже в конце XIV – первой половине XV в., и поэтому его исторический контекст – это не концепция Москвы – Третьего Рима и даже не появление «имперского» самосознания (которое возникает существенно ранее посланий старца Филофея), а те попытки создания православной ойкумены, объединенной общей идеологией и стандартизованным книжным языком, которые предпринимаются в Константинополе, афонских монастырях и православных славянских государствах во второй половине XIV – начале XV в.

2. Деадаптация в орфографии

Нагляднее всего новое восприятие книжного языка выразилось в орфографии. Вводя понятие второго южнославянского влияния, А. И. Соболевский указывал на графические и орфографические инновации как на его наиболее бросающийся в глаза признак. Поздняя древнерусская орфографическая норма (если воспользоваться термином А. А. Зализняка, ср.: Зализняк 1986, 93–94), сложившаяся в конце XIII – XIV вв., начинает восприниматься как отступление от древней традиции, как локальное искажение кирилло-мефодиевского образца. Та адаптация, которой подвергся церковнославянский на русской почве (см. выше), осмысливается как «порча», и задача восстановления прежней «чистоты» решалась в значительной степени как деадаптация книжного языка. Так, скажем, позднерусская орфографическая норма исключала из употребления **ж**, задавала простое правило употребления букв **а**, **ѡ**, **ѡ** (**ѡ** после мягких, **а** после твердых, **ѡ** в начале слога), предписывала писать **ж** в соответствии с /ž/ и **жд** в соответствии с /žž/ (или иными рефlekсами **zdj*, **zgj*, **zg*˘). Подобные черты и воспринимались, видимо, русскими книжниками как локальное искажение.

В то же время в известных им южнославянских рукописях русские книжники замечали иное, не схожее с русским употребление соответствующих элементов, употребление, принципы которого могли оставаться для них неясными. Такого рода наблюдения создавали впечатление, что южнославянские книжники «знают», как нужно употреблять данные элементы, тогда как русским книжникам приходится «узнавать» подобные факты, руководствуясь несовершенным материалом своего живого языка. Представление о верности южнославянской орфографии древней традиции могло также поддерживаться определенными сходствами с сохранявшимися на Руси древними книгами – сходствами в тех самых моментах, которые были «трудными» для русских писцов. Это восприятие и провоцирует ту орфографическую реформу, которая является одним из существенных моментов «второго южнославянского влияния» и включает, в частности, введение **ж**, новый порядок употребления букв **а** и **ѡ**, написание **жд** на месте **dj*. Усвоение элементов южнославянской орфографии обусловлено, таким образом, стремлением вернуть книжному языку его изначальную чистоту, причем актуальными оказываются здесь именно те моменты, в которых имело место соотнесение книжного и живого языка (адаптация).

Процесс деадаптации развивается постепенно, с нарастанием. С замечательной подробностью и характерными деталями он описан в работах М. Г. Гальченко «Второе южнославянское влияние в древнерусской книжности» и «Сводная таблица графико-орфографических данных из 165 датированных древнерусских рукописей конца XIV – XV в.» (Гальченко 2001, 325–382, 383–442). М. Г. Гальченко рассматривает 18 различных графико-орфографических инноваций, появляющихся в рукописях конца XIV – первой половины XV в. в ходе второго южнославянского влияния, и устанавливает их относительную частоту, соответствующую в целом хронологии их появ-

ления. Она выделяет минимальный набор признаков, расширенный минимальный набор признаков и максимальный набор признаков; выделение основано на том, как широко представлены данные признаки в обследованном рукописном массиве (там же, 376–377).

В минимальный набор признаков входят: 1) использование запятой (а в некоторых рукописях – и точки с запятой); 2) употребление акцентных знаков (хотя бы только одного, чаще всего кендемы); 3) использование паерка; 4) употребление **а** в соответствии с [ja]; 5) использование **ї** «десятеричного» перед буквами гласных; 6) наличие написаний с **жд** (**ж^а**) в соответствии с **dj* (там же, 376). Как отмечает Гальченко, «каждый из этих признаков свойствен не менее чем 84 системам, что составляет свыше 70% всех графико-орфографических систем первой половины XV в., в которых обнаруживаются особенности, связанные со 2-м ЮслВ [южнославянским влиянием. – В. Ж.]. Признаки 1 и 2 характерны для 91% систем. Остальные расположены <...> в порядке от наиболее распространенных в графико-орфографических системах рассматриваемого периода к менее распространенным» (там же).

Касаясь перечисленных признаков, следует заметить, что собственно отталкивание от предшествующей правописной практики представлено в них в весьма ограниченном объеме; по большей части мы имеем здесь дело с пополнением инвентаря, накладывающимся на сложившуюся практику: не было запятой – появилась запятая, не было акцентных знаков – появились акцентные знаки. Это же относится и к паерку; паерок, конечно, был вполне обычен в восточнославянских рукописях XI–XII вв., но позднее он практически перестает употребляться, так что в конце XIV в. его распространение является инновацией, идущей, видимо, от южнославянских образцов (там же, 353). Не является намеренно противопоставляемой предшествующему узусу инновацией и появление **а** после гласной вместо **ѡ**; такие написания встречались в заимствованных словах и ранее (написания типа **марна**, **наковъ**, **днаконъ** и т. п.), и это могло быть прецедентом, способствовавшим усвоению среднеболгарских написаний типа **моа**, **добраа** (возникших в болгарском на фонетической основе); «соответствующие написания, видимо, не отражались на произношении» (Успенский 2002, 308)⁴⁴³. Употребление **ї** перед гласной также является скорее восполняющей, чем перестраивающей узус инновацией; до второго южнославянского влияния буква **ї** употреблялась относительно редко, в частности и в последовательности гласных; в последовательности двух /i/ **ї** ставилось на второе место, и только в этом нечастом случае новая практика противостоит традиционной. Собственно, прямое противостояние предшествующему «естественному» узусу наблюдается только в случае замены **ж** на **жд** (**ж^а**) в рефlekсах с **dj*; весьма знаменательно, что в этом случае – в отличие от большинства

⁴⁴³ Гальченко несомненно права, утверждая, что эту инновацию «трудно объяснить одной лишь ориентацией на греческое письмо» (Гальченко 2001, 344), как это пыталась сделать Л. П. Жуковская (Жуковская 1987б, 169). Характерно, что в Чудовском Новом Завете, которому как раз можно приписать грецизацию, не сопровождающуюся влиянием южнославянского письма, **а** после гласных употребляется традиционным, а не «грецизированным» образом, т. е. только в заимствованных словах.

других орфографических инноваций второго южнославянского влияния – новое написание отражается на книжном произношении: **рожьство** не только начинает писаться как **рождѣство**, но и произноситься с [žd] (впоследствии это произношение переходит из литургического книжного произношения в русский литературный язык)⁴⁴⁴.

Такое положение вещей подтверждает, кажется, уже высказывавшуюся мысль, что первоначально, на раннем этапе второго южнославянского влияния (который А. А. Турилов определяет как «период распространения новых текстов» – Турилов 2012, 530; Турилов 2010, 249), имело место не отталкивание от предшествующей правописной практики (как «испорченной»), а подражание переписывавшимся южнославянским образцам; новая концепция правильности еще только формировалась. В «расширенный минимальный набор» признаков, постулируемый Гальченко, входят явления, которые вступают в прямое противоречие с предшествующей правописной практикой и в силу этого свидетельствуют о смене орфографической концепции. К этим признакам Гальченко относит следующие: 7) «употребление буквы **ѡ** (**ѡ**) и/или **ѣ** в звуковом значении [z]»; 8) «наличие “южнославянских” написаний слов с корневыми сочетаниями редуцированных с плавными (с буквами **ѣ**, **ѡ** после **р**, **л**)»; 9) «употребление буквы **ѡ** вместо **ѣ** на конце слов после твердых согласных» (Гальченко 2001, 377).

В случае употребления буквы **ѡ** противостояние предшествующей традиции прямолинейно; вводится новая буква (употребление **ѡ** в числовом значении не в счет), и те слова, которые ранее писались с **ѣ**, приобретают новый графический облик; это почти графическое явление, близкое замене

⁴⁴⁴ Гальченко указывает еще на два признака нового правописания, появляющиеся в ранний период: «восстанавливающееся употребление диграфа **оу** или заменяющей его лигатуры **ѡ** после согласных» (Гальченко 2001, 346–347) и «употребление буквы **ѣ** в словах с неполногласным сочетанием *gě» (там же, 360–362). Она, однако, не включает их в число тех признаков, с помощью которых характеризуется ход второго южнославянского влияния (асинхронность его реализации). Обосновывается это невключением тем, что **оу** после согласных (а отсюда и эквивалентная ему лигатура **ѡ**) может появляться и в рукописях XIV в., не затронутых вторым южнославянским влиянием, или что, другими словами, процесс вытеснения диграфа **оу** после согласных монографом **ѣ** в XIV в. не достиг своей завершающей стадии. Тот же аргумент прилагается и к **ѣ** в неполногласных сочетаниях: хотя написания типа **пре-**, **брегѣ** последовательно вытесняли написания типа **прѣ-**, **брѣгѣ**, рукописи с написаниями последнего рода (обычно в небольшой пропорции сравнительно с написаниями первого рода, ср. некоторые статистические данные: Живов 2006а, 182–185) в XIV в. все еще появляются. Хотя в принципе эти соображения верны, они не перевешивают того факта, что в рукописях, испытавших второе южнославянское влияние, пропорция написаний с **оу** (**ѡ**) после согласных и с **ѣ** после **р** в неполногласных сочетаниях, как правило, существенно возрастает, так что связь этих написаний с процессом распространения новой орфографии несомненна, хотя, возможно, они и не являются «ярким признаком 2-го ЮслВ» (Гальченко 2001, 361). Существенно, что упомянутые явления появляются в рукописной традиции достаточно рано и относятся к числу тех, которые не входят в прямое противоречие с принципами правописания предшествовавшего периода, а дополняют эту практику или находят в ней легитимирующие прецеденты. В этом плане и данные признаки могут характеризовать начальный этап разрабатываемого процесса.

старшего полуустава на младший. В случае двух других признаков мы сталкиваемся с «неестественными» написаниями, невозможными в предшествующем узусе. Они «неестественны», поскольку противоречат (книжному) произношению; они идут в направлении, прямо обратном тому, в котором развивалось восточнославянское правописание с XI по XIV в.: вместо адаптации написания к произношению имеет место деадаптация; чтец читает написанное не так, как оно написано, а в согласии с традицией церковного чтения (соотнесившегося в определенной степени с его разговорным произношением): чтец видит **миръ**, но читает [m'ir^ə], видит **исплънь**, но читает [ispoln^ə]. Как пишет Б. А. Успенский, «эти инновации не имеют никакого отношения к русскому книжному произношению» (Успенский 2002, 308)⁴⁴⁵.

Следующая серия инноваций, входящих в «максимальный набор признаков», носит вполне выраженный деадаптационный характер. Сюда входит: 10) «употребление **ж** – как в соответствии с этимологией, так и в соответствии с *ц»; 11) «наличие написаний с **ѣ** в соответствии с [ʼa]»; 12) «наличие написаний с **ж** вместо **ѣ**: **нж** = **нѣ**, **но**»; 13) «присутствие мены юсов типа среднеболгарской» (Гальченко 2001, 377). Введение **ж**, как и употребление **ѣ** в нечисловом значении, означает графическое обновление существенного количества слов, причем новая графическая форма никак не связана с фонетическими параметрами. Необычность графического облика имеет место и в случае написания союза **нѣ** (**но**) как **нж**. В случае других двух признаков возникают написания, заведомо не соответствующие произношению. **Всѣко**, появляющееся в Лествице 1402 г. (там же, 370), произносится (продолжает произноситься) как [vs'ako], и это прямо противоречит традиционным правилам чтения (которые продолжают выучиваться с помощью традиционных букварей). Точно так же **вѣнатьрѣ** в Лествице 1411–1412 гг. (Унд. 192) (там же, 372) произносится как [v'nutr'ə], если только читающий может отождествить (и понять) это слово; мена юсов, фонетически объяснимая в среднеболгарском, для восточных славян не может не быть непонятной путаницей, затрудняющей понимание и нарушающей правила чтения.

Как можно видеть, второе южнославянское влияние разрушает традиционное соотношение правописания и книжного произношения: если раньше написание ориентировалось (с теми или иными оговорками) на

⁴⁴⁵ Здесь, видимо, нужно сделать две оговорки. Написание **ѣ** в конце слова появляется в силу воспроизведения болгарского орфографического правила, согласно которому **ѣ** и **ѣ**, не дифференцировавшиеся фонетически, употреблялись в дополнительной дистрибуции: **ѣ** в середине слова, **ѣ** в конце слова. Поначалу, вероятно, восточнославянские писцы настороженно относились к правописанию, противопоставленному произношению, и поэтому в сравнительно ранних памятниках второго южнославянского влияния **ѣ** в конце слова часто (но не всегда) употребляется после согласных, не различавшихся по твердости-мягкости (г, к, х, а также губные в и м, которые во многих диалектах в конце слова отвердели) (Гальченко 2001, 362–364); это, однако, было лишь тенденцией, так что противоречие между написанием и произношением все равно появлялось. Не снимает подобного же противоречия и тот факт, что в отдельных восточнославянских говорах в рефлексах редуцированного с плавным гласный звучал после плавного (см.: Шевелева 2007); такие говоры были немногочисленны, и нет уверенности, что книжное произношение носителей этих говоров совпадало с их разговорным произношением.

книжное произношение (см. выше, § VI-3), то теперь оно делается автономным (см.: Успенский 2002, 293–294). Книжное произношение в целом не меняется за единичными исключениями; так, например, написание **жд** на месте **dj* влечет за собою и произнесение слов с данной группой согласных; замечу, однако же, что правила чтения (базисные соотношения графем и фонем) при этом не преобразуются. Книжное произношение не во всем совпадает с разговорным; можно сказать, что оно отодвинуто от него на одну ступень; теперь написание, освободившись от ориентации на книжное произношение, оказывается отодвинутым еще на одну ступень. Как пишет Б. А. Успенский, «происходит обособление орфографии и, отсюда, размежевание орфографической и орфоэпической традиции (ранее непосредственно связанных). Таким образом, увеличивается дистанция между церковнославянским и русским языками, которые и в этой сфере начинают противопоставляться друг другу» (Успенский 2002, 294).

Автономизация орфографии приводит, в частности, к тому, что писцы больше смотрят в свой антиграф и меньше заняты реализацией своей орфографической системы (меньше пользуются своими орфографическими правилами). Они воспроизводят, а не исправляют, и поэтому правописание списка не так сильно зависит от их орфографической выучки: даже если они не овладели традиционными орфографическими правилами, они, как правило, почти не делают собственных ошибок. Как отмечает Гальченко, «правописные нормы эпохи 2-го ЮслВ гораздо более жестко ограничивают отражение некоторых фонетических особенностей живых говоров писцов, чем нормы предшествующего периода. Так, например, в большинстве новгородских рукописей XV в., где заметно проявляются признаки 2-го ЮслВ, как правило, почти не встречается (или отмечается очень редко) смешение **ц** и **ч**, имеющееся во многих новгородских рукописях XIII–XV вв. А. А. Турилов [1998, 323] вслед за А. И. Соболевским [1903, 3–4] справедливо отмечает, что в результате 2-го ЮслВ происходит стирание локальных вариантов древнерусской письменности» (Гальченко 2001, 380; ср.: Турилов 2012, 522; Соболевский 1903а, 3–4). В этот период появляются рукописи, во всех деталях, видимо, воспроизводящие свой южнославянский антиграф, так что они, в частности, могут рассматриваться как памятники с южнославянской акцентной системой (ср.: Зализняк 2010–2011, I, 198; Успенский 2002, 294).

Если ранее, как говорилось выше (см. § II-4), обычной задачей писца было исправление «ошибок» его предшественника и в приписках к рукописям писцы просят не осуждать их за огрехи, а снисходительно исправлять их (такие приписки, впрочем, никуда не исчезают и по традиции продолжают во множестве появляться и в XIV–XV вв., и позже, см.: Гальченко 2003, 73, 74, 75 et passim), то теперь в приписке может говориться о том, чтобы читатели ничего не меняли в том, что они переписывают, или во всяком случае бережно относились к воспроизводимому тексту и не исправляли его без ума. Так, в приписке к Служебнику митрополита Киприана говорится: «**снн** слѹжебникѣ преписанѣ ѿ грецкыхъ книгѣ на рѹсѣскимъ ѿзыкѣ рѹкою своею; киприанѣ смиреннѣи митрополитѣ кыевѣскыи и всеѣа рѹси. елици же преписѹете и поучаваеѣсѣ сими книгами ли бжѣтвнѹю и безкровнѹю жертвѹ гѣви приносящеи сѣнници и сими книгами млѣтвы молащесѣ. поминантѣ наше

смирение. ꙗко да и вы тому же поминанию сподоблени будете. Аще ли же кто восхоице^т сѣи книги переписывати, сматрѣи не приложити ни вложити едино нѣкоже слово. ни тычку едину. ни крючкы иже сѣ^т подѣ строками в радѣхъ ниже премѣнѣти слогу нѣкоторую. ни приложити ѿ обычныхъ ихъже первѣе привыкъ. ни паки вложити ни въ дыаконствахъ. ниже въ вѣзглашениихъ. ни въ мѣтвахъ. но с великимъ вниманіемъ прочитати ѹчити^ѣ. ни переписывати. ꙗко да не ѿ небреженія въ грѣхъ впадетѣ. занеже еже ѿ небреженія впасти в грѣхъ, горшѣи естъ. неже еже ѿ невѣдѣнія вываема^ѣ» (ГИМ, Син. 601, л. 72 – Горский и Невоструев, III, 1, 11–12, № 344); эта приписка воспроизводится и в рукописи 1481 г. (Потребник с служебником), правописание которой (включая приписку) характерно для рукописей, испытавших второе южнославянское влияние (оно, возможно, лучше отражает оригинальную запись митрополита Киприана) (Син. 326, л. 343об. – там же, 203, № 375).

Отметим также, что Курбский переносит этот пафос сохранения переписываемого на оригинальные тексты и в предисловии к «Новому Маргариту» пишет: «Аще ли хто въсхоицетъ спадки и часы и прочіе чины предреченные грамотическіе исправляти, Господи Боже, дай таковой обрѣлси! Можетъ и зѣло можетъ исправляти, хто искусенъ въ грамотическихъ чинѣхъ, и во прочіихъ наукахъ совершенъ, нежели азъ. Аще ли хто тѣмъ не искусенъ будучи, да не дрѣзнетъ исправляти, понеже препортитъ и растлитъ, а исправить не можетъ, но первѣе да учится и искусится трудолюбне, многими лѣты да навикаетъ, и потомъ иныхъ учить и писанія исправляетъ; ибо варваръ не можетъ философскихъ разумѣти, также и неученые учить, и неискусные ремеслу ремесленные художества устроить и дѣлати не могутъ» (Архангельский 1888, 14); ср. здесь же о «знакахъ книжныхъ» (знакахъ препинания): «Того ради молюся вамъ, аще приписоватися будетъ отъ кого-либо книжка сія, не премѣняйте знаковъ тѣхъ; бо и вамъ будетъ ко прочитанію полезно, и аще узрѣть ученые въ словенскомъ языцѣ съ тѣми знаками писану книгу, не точію предъ ними не будемъ посрамлены, но и похваленны; понеже въ греческихъ книгахъ таковыя же знаки суть» (там же, 15; см. еще ниже о книге «Статиръ», § IX-3)⁴⁴⁶.

⁴⁴⁶ Это новое отношение к работе писца также, надо полагать, имеет южнославянские истоки. Конечно, и на славянском Юге писцы могли умолять своих читателей исправить их ошибки, ср., например, запись попа Иоанна на списанном им Четвероевангелии 1481 г.: «Господіе и вѣтци и братіе молю ви кого донде сіа книга чѣтѣте исправляюще аще самъ что и сыгрѣшалъ, никто во ксть безъ грѣха тѣкмо единъ Богъ» (Богданович 1978, 62). Но уже в XIV в. появляются прошения прямо противоположного характера, в которых писец просит ничего не трогать в переписанном им тексте, поскольку текст переписан с совершенного оригинала и корректировка лишь разрушит его совершенство: «Си тетроевангѣль писа се въ лаврѣ светаго Аѡнасна ѡт изьвода манастир'ска. И хотен прѣписовати да не дрѣзнешѣ развращати на свое хотѣніе, нь пиши ꙗкоже вѣрѣтаешѣ, понкже нашъ родъ раз'вратили соу многе книги не вѣдоуше силоу езыкоу гр'чькомоу» (там же, 58). Этот запрет на поправки создает собственную традицию, ср. запись на Избранном Апостоле 1660 г.: «Тѣмже колѣнѣ прѣклонъ молю се вашимъ прѣподобію, вѣничающимъ въ снѣ книгѣ и чтоушимъ, паче же прѣписующимъ, ничтоже прѣмѣнѣти, ни рѣчь ни слогу ни оуно, понкже и мы ѡт добраго изьвода прѣписашомъ ѡт старыхъ прѣвѣдникъ ресавскихъ не имоушѣмъ ничтоже порока» (там же, 83).

Очищение книжного языка предполагало его отталкивание от разговорного. Отталкивание от разговорного вело к ориентации на чужой образец, на образец южнославянской письменности, которая воспринималась как сохранившая в неприкосновенности первородную чистоту. Стоит отметить, что в этот же период сходный процесс разворачивается и у южных славян. И здесь черты адаптации церковнославянского языка на местной почве начинают восприниматься как его порча. Так, в частности, может осмысляться смешение *ы* и *и* или *ї*, обусловленное совпадением фонем /i/ и /y/ в южнославянских диалектах. Константин Костенечский, настаивая на правильном употреблении этих букв, рассматривает его как восстановление древней нормы («ветѣхъ аа ѡбнавлѣемъ... изобрѣтаемъ погыбѣша соуѣща», ср.: Пиккио 1975) и указывает, что несоблюдение ее ведет к ереси: «И се ли тѣчю мниши; ꙗко въ прѣпростѣиши^х глѣхъ влѣдословиши тѣчю; ни. нь зри, ꙗко и даже до вѣсѣхъ ересеи вѣношиши единѣ^{мъ} симъ писмене^{мъ}, колѣмъ па^{чѣ} вѣсѣмъ. сице· единоро^{мъ}ныи сы снѣ. ты же прѣложивъ писме се и вѣпишеши ї· единоро^{мъ}нѣи си. еда не ꙗвлѣеши несторѣевоу ересь въ двѣ лица ꙗ сѣкоуѣща» (Ягич 1896, 113; ср.: Голдблатт 1987, 246). Противостоящая некнижному языку орфографическая норма связывается, таким образом, с вероучительной чистотой.

В то же время в этих волновавших Константина моментах русская книжная традиция не отклонялась от старой нормы; русские не смешивали *ы* и *и* ни на письме, ни в произношении, и это обстоятельство – оно вполне могло быть известно Константину – должно было производить на южнославянских книжников определенное впечатление: тем, что им приходилось «обновлять», русские владели природно. Такого рода соображения и приводят, видимо, Константина к его известному тезису, согласно которому основой для созданного св. Кириллом общеславянского книжного языка послужил «тѣмъ чинѣиши и краснѣиши роушкыи кзыкъ» (Ягич 1896, 108; ср.: Голдблатт 1987, 233–236).

Ориентация на русский извод обусловлена здесь в конечном счете тем, что русский извод воспринимается через призму отношений, сложившихся между книжным и некнижным языком в южнославянской области. В плане собственно лингвистическом это основной и определяющий момент. Его можно, естественно, вписать в более широкий исторический контекст – оживления русско-южнославянских религиозно-литературных связей, укрепления русской (московской) государственности, постепенного перехода духовного руководства из южнославянских областей на Русь и т. д. (ср.: Сперанский 1960, 55 сл.; Мошин 1963). Вряд ли, однако, это явление можно связать с зарождающейся в Москве книжной справой, деятельностью митрополита Киприана и т. п. (см. о данных гипотезах: Мошин 1963, 105–106; Йовайн 1977)⁴⁴⁷.

⁴⁴⁷ Дополнительным аргументом для Константина могло быть упоминание Евангелия и Псалтыри, написанных «русскими буквами», в Пространном житии Кирилла. Происхождение этого фрагмента жития является дискуссионным. Предположение о его изначальной принадлежности оригиналу Жития требует специальной интерпретации «русских букв»; наиболее убедительной является здесь гипотеза об искажении первоначального

Каков бы ни был культурно-исторический контекст, обращение Константина к русскому языку должно было иметь собственно лингвистическое основание – объединение русского церковнославянского и языка древнейших славянских памятников по определенным языковым признакам, значимым для языкового сознания южнославянских книжников. Как можно видеть, и в основе «второго южнославянского влияния» в русской книжности, и в основе только что описанных южнославянских процессов лежит один и тот же механизм. С точки зрения носителей одной из книжных традиций навыки носителей другой традиции воспринимаются как свободное владение элементами, олицетворяющими книжную норму. В принципе, следствием такого восприятия может быть оценка соседней славянской традиции как более древней, лучше сохранившей правильность и чистоту кирилло-мефодиевского лингвистического наследия. При такой оценке соседняя славянская традиция и становится ориентиром при обработке собственного книжного языка.

Для славянских книжников данного периода кирилло-мефодиевский перевод выступал как образец совершенства, поврежденный в процессе последующей переписки и редактирования рукописей. Эти повреждения могли приводить к одинаковому написанию разных слов, а отсюда и к искажению смысла; искажение же смысла сакрального текста создавало предпосылки для ереси. Именно поэтому орфографическая регламентация получала столь большое значение. Эта регламентация должна была не реформировать церковнославянское правописание, а восстановить древний образец в его абсолютной чистоте (Голдблатт 1984; Голдблатт 1987, 20 сл.). Понятно, что такая реконструкция была утопией, и эта утопия, как и всякая другая, – в том числе и утопия консервативная, – приводила к радикальным преобразованиям. Эти преобразования носили искусственный характер, противопоставляя унифицированные написания книжному произношению с его локальными вариациями. Книжное произношение оказывалось дискредитированным в качестве исходной базы для правописания, поскольку

чтения «сирскими буквами» (Вайан 1935; Якобсон 1944; Успенский 1979; ср., впрочем: Трубачев 1987, 31 [Трубачев отвергает эту эмendaцию, но ничего лучшего взамен не предлагает]); вопрос, конечно, не имеет никакого отношения к проблеме достоверности данного сообщения (Вайан относился к этой проблеме с обоснованным скепсисом, Якобсон – с неоправданной доверчивостью). Можно считать, однако, что данный фрагмент является результатом позднейшей интерполяции, связанной именно с утверждением руссоцентрической концепции истории славянской письменности. Такая гипотеза была выдвинута Х. Голдблаттом (Голдблатт 1986), включающим возникновение данного фрагмента в контекст развития концепции Москвы – Третьего Рима. Мне представляется, что столь поздняя датировка наталкивается на ряд текстологических трудностей, обусловленных соотношением этого фрагмента и Сказания о русской грамоте, возникающего, видимо, намного раньше (см.: Живов 2002б, 136). Возможно (хотя и не слишком вероятно), что появление данного фрагмента относится к XI–XII вв. и связано с руссоцентрическими настроениями, проявлявшимися в этот период в Киевской Руси (ср.: Пиккио 1972, 47). В любом случае, однако, Константин Костенечский мог воспринимать этот пассаж как указание на древность русского языка (русского извода церковнославянского) и рассматривать его как свидетельство в пользу своей концепции.

оно не обеспечивало дифференцированного написания омофонов и, соответственно, было источником «невежественного» и чреватого богословскими заблуждениями воспроизведения текста.

Такая концепция могла возникнуть под влиянием греческой ситуации, где отступления от традиционной орфографии, обусловленные, например, итацизмом, соотносились именно с недостатком образования, служили знаком социальной и культурной ущербности и выступали как характеристика простолюдинов и выскочек. Образование состояло, в частности, в умении грамотно писать, т. е. правильно различать омофоны на письме; для этого и заучивались антистихи, на которые часто ссылается Константин Костенечский. При пересадке этих представлений на славянскую почву они получают новое содержание. Так, если в греческом антистихи были следствием традиционной (этимологической) орфографии, разошедшейся с произношением, то в церковнославянском они становятся механизмом, генерирующим новую орфографическую систему: для всякого смыслового различия (поскольку оно фиксируется в сознании) создается и различие орфографическое (ср.: Живов 1986а, 77–85; Успенский 2002, 325–326). Вместе с тем принцип орфографического разграничения омонимов требовал общего упорядочения орфографии, избавления (по крайней мере, в отношении отдельных признаков) от орфографической вариативности, характерной для славянской рукописной традиции. Эта цель вполне понятна, а примененные для ее достижения средства (вне зависимости от того, оказались ли они эффективными) носят достаточно рациональный характер (ср. иную точку зрения: Ворт 1983а).

Деадаптация затрагивает не только орфографию книжных текстов, но и другие уровни языка. Так, например, в *и*-склонении, разрушенном, конечно, к XV столетию, но все же запечатлевшемся в книжном языке в ряде реликтов, появляются формы с суффиксом *-ов-* в формах мн. числа (*сыновомъ*, *сыновѣхъ* вместо *сыномъ*, *сынохъ* или *сынѣхъ*); такие формы впоследствии кодифицируются в грамматике Смотрицкого. Точно так же из южнославянских текстов приходят новые формы притяжательных местоимений типа *еговъ*, *тоговъ*, с самого начала специфически книжные и противоречащие естественным речевым навыкам восточнославянских книжников. Из этого же источника идут и формы числительных типа *трѣхъ*, *пятихъ*, *десятихъ*, которые позднее также могут частично кодифицироваться, например у Смотрицкого, который (как мы увидим далее, вполне обычным для русской книжной традиции образом) семантизирует различие старых и инновативных форм (*три* и т. д. в ж. и ср. роде, *трие* в м. роде – Смотрицкий 1619, л. К/2–Зоб.).

Казалось бы, описанные процессы можно рассматривать как замену одних образцовых текстов другими, а именно русских церковнославянских текстов церковнославянскими текстами болгарского и сербского изводов. Такой подход, однако, объясняет лишь одну часть происходящих в этот период процессов (отдельные орфографические инновации) и вовсе не объясняет те нормализационные процессы, которые выступают на передний план с конца XV в. Первоначально новое отношение к тексту реализуется в сфере стандартных воспроизводимых текстов, т. е. тех текстов, которые пе-

реписываются, редактируются, перерабатываются, но не создаются заново. Именно к этой сфере принадлежит основной корпус текстов, реформирование которого как фундамента всей культуры и было задачей, вызвавшей обращение к южнославянским источникам. По-новому переписываются или появляются в новых редакциях тексты Св. Писания, вносятся изменения в богослужебные тексты, расширяется состав нормообразующих памятников (например, в области аскетической и агиографической литературы). Однако преобразования не могли ограничиваться одним лишь основным корпусом, поскольку изменение закрепленных в нем норм требовало смены норм и в книжной деятельности в целом. Ориентация этой деятельности на основной корпус текстов делала невозможным сознательное расхождение нормы воспроизводимых текстов и нормы текстов оригинальных, особенно в рамках стандартного регистра. Новое отношение к тексту должно было, следовательно, преобразовать и оригинальную книжную деятельность.

Между тем сам принцип отталкивания от разговорного языка, определявший привлекательность южнославянских образцов, разрушал механизм порождения оригинальных книжных текстов, присущий предшествующему периоду и основанный на соотносительности книжного и живого языка; соответственно, возникала потребность в формировании новых механизмов. Действительно, раньше правильность обеспечивалась и ориентацией на образцы, и механизмом пересчета, в основе которого лежала соотнесенность книжного и живого языка; два этих источника правильности выступали как взаимосвязанные и взаимодополнительные. При порождении новых текстов ориентация на образцы задавала состав признаков книжности, в то время как вне этого фиксированного набора элементов книжник мог пользоваться ресурсами живого языка. При воспроизведении старых текстов факты живого языка привлекались для проверки написаний оригинала (см. § II-4). Это и создавало почву для интерференции разных секторов языкового опыта, которая теперь осуждалась, так что ее результаты подлежали устранению. Принцип отталкивания от живого языка делал обращение к этому источнику незаконным, а выбор южнославянских текстов в качестве образцов подчеркивал несоотносительность книжного и живого языка. Поэтому появлялась необходимость в регламентации иного типа, не апеллирующей к ресурсам живого языка, а выражающейся в системе абстрактных правил. Появление таких правил и указывает на развитие грамматического подхода, а «второе южнославянское влияние» выступает как стимул этого процесса.

Переход от конкретных образцов к автономной нормализации можно наблюдать в той же орфографии. Так, одним из проявлений отталкивания книжной нормы от разговорного языка была орфографическая дифференциация омонимов, прежде всего омонимичных грамматических форм (типа род. ед. **нощи** – им. мн. **нощн** – см.: Зизаний 1596, л. Г/4–4об.; см. об этом: Успенский 2002, 326–334): неразличение этих форм воспринималось как удел необработанного языка (в частности живого), тогда как культивируемая книжная норма требовала, напротив, дифференциации. Образцы такой дифференциации могли быть найдены у южных славян (например, у Константина Костенечского – см. Ягич 1896, 124; ср.: Успенский 2002, 325–326;

Голдблатт 1987, 258), однако эти образцы выступают лишь как модель, на основе которой создаются собственные орфографические предписания. Так, например, в трактате «О множестве и о единстве» противопоставляются формы им. ед. ж. рода **аггльскаа** и им. мн. ср. рода **аггльскаа** (Ягич 1896, 432–433; ср.: Ворт 1983а, 52); такая оппозиция не имеет прецедента в южнославянском материале и представляет собой, в сущности, сочетание разнородных орфографических вариантов (один восходит к искусственным написаниям, появившимся со вторым южнославянским влиянием, другой отражает восточнославянское книжное произношение). Построение новых орфографических моделей никак не может быть обусловлено лишь выбором новых образцовых текстов и представляет собой элемент грамматического подхода, при котором само значение образцовых текстов релятивируется.

Весьма показательна в этом плане «Буковница» Герасима Ворбазомского (рукопись 1592 г., РГБ, ф. 173. 1 (собр. МДА), № 35 – см. об этом памятнике: Аксенова 1981; авторство Герасима установлено Б. А. Успенским: Успенский 2002, 303). В «Буковнице» содержится оригинальная переработка трактата «О множестве и о единстве» (л. 130 сл.), противопоставленные словоформы представлены здесь в виде словаря. Для противопоставления форм единственного и множественного числа в «Буковнице» используется тот же набор букв, что и в классическом варианте этого трактата: **а** – **ѡ**, **ь** – **ѣ**, **о** – **ѡ**, **ї** (или **и**) – **ы**, **ѣ** – **ѡѣ**. Как можно видеть, в этих парах лишь оппозиции **о** – **ѡ**, **ѣ** – **ѡѣ** лишены фонологического значения, тогда как остальные связаны с обозначением твердости-мягкости согласных. Поэтому использование этих последних для разграничения грамматических омонимов имеет место лишь тогда, когда они встречаются не в позиции после согласных, противопоставленных по твердости-мягкости (ср., например, в «Буковнице» **живаа** – **живаа**, л. 136). Такое положение вещей характерно как для «Буковницы», так и для других вариантов трактата «О множестве и о единстве».

Интересно, однако, что в «Буковнице» противопоставление букв **ь** – **ѣ** может использоваться и в конце слова после губных (например, **рабъ** – **рабѣ**, **гробъ** – **гробѣ**, **шлемъ** – **шлемѣ** – лл. 133, 139, 147). Такое употребление явно связано с тем, что в диалекте автора (по определению А. А. Зализняка, «Буковница» написана на «ближнем северо-востоке» – Зализняк 1985, 230) конечные губные могли быть только твердыми (Орлова 1970, 43). Таким образом, принципы орфографической дифференциации омонимов оказываются здесь приспособленными к местному языковому материалу, т. е. усваиваются творчески, как общая модель, а не как образец для прямого подражания. К инновациям Герасима относится и попытка использовать для противопоставления «единственных» и «множественных» форм буквы **ѣ** и **ѣ**, ср.: **жизнодательемъ** – **жызнѡдательемъ**, **жизнодательнаа** – **жызнѡдательнаа** и т. д. (л. 136).

Существуют две возможности употребления противопоставленных графем для дифференциации форм ед. и мн. числа. В одном случае параллельные ряды представлены только во флексиях (или иногда в последнем слоге основы); так обстоит дело, например, в грамматике Смотрицкого 1619 г., ср.: им. ед. **пророкъ** – род. мн. **прорѡкъ**, тв. ед. **пророкомъ** – дат. мн. **прорѡкъмъ**, но род. ед. **снохѣ** – им. мн. **снохѣ** (Смотрицкий 1619, л. Е/Зоб.–4, Г/8об.–Д/1). В

другом случае параллельные ряды представлены не только в окончаниях, но и в основах; так обстоит дело, например, в грамматике Лаврентия Зизания, ср.: род. ед. **ноци** – им. мн. **нѡци**, род. ед. **костѣ** – им. мн. **кѡстѣ** (Зизаний 1596, л. Г/4–4об.); именно второй случай (хотя и достаточно непоследовательно) представлен в московских изданиях первой половины XVII в. (ср., например, в Евангелии, Москва, Печатный двор, 1627). В основной редакции трактата «О множестве и о единстве» находим тот же принцип, что и у Смотрицкого, ср. им. ед. **црѣковникъ** – род. мн. **црѣковникъ** (Ягич 1896, 432–433). В «Буковнице», однако же, обнаруживаем решение, совпадающее с известным нам по грамматике Зизания, ср.: тв. ед. **проповѣдникѡмъ** – дат. мн. **пропѡвѣдникѡмъ**, им. ед. **простецъ** – род. мн. **прѡстецъ**, им. ед. **постникъ** – род. мн. **пѡстникъ** (л. 138). И в этом случае, как можно видеть, автор трактата не повторяет предшественников, а усваивает принцип и экстраполирует его на новый материал⁴⁴⁸.

⁴⁴⁸ Принцип орфографического различения форм ед. и мн. числа усваивается церковнославянским правописанием и с началом книгопечатания реализуется со все возрастающей полнотой в московских изданиях. Книжные справщики постепенно устраняют непоследовательности в его реализации и вместе с тем переходят от обозначения множественности лишь в омонимичных окончаниях («система Смотрицкого») к обозначению множественности и в окончаниях, и в корнях («система Зизания»). Этот процесс отчетливо прослеживается по кавычным экземплярам книг, использовавшихся на Московском печатном дворе (см. о них, в частности: Сиромаха и Успенский 1987); они проанализированы в интересующем нас аспекте в работе С. М. Кусмауль (Кусмауль 2012). Так, например, в кавычном Апостоле издания 1648 г., исправленном для издания 1653 года, находим замены: **коринѡмъ** > **коринѡмъ** 152, **прѡкомъ** > **прѡкомъ** и т. д. Позднее в Минее общей с праздничной издания 1653 г., исправленной для издания 1659 года, обнаруживаем: **нравомъ** > **нравѡмъ**, **волхѡмъ** > **волхѡмъ**, **галатѡмъ** > **галатѡмъ**. Одновременно с устранением этих непоследовательностей (что-то все время оставалось по недосмотру и приводилось в норму постепенно, от издания к изданию) шло введение дифференцированного написания корней. Так, например, в Триоди постной киевского издания 1648 г., исправленной для издания 1656 года, читаем в И. п. мн. ч.: **горы** > **гѡры**, **хѡлми** > **хѡлми**; в В. п. мн. ч.: **воды** > **вѡды**, **вѣходы** > **вѣхѡды**, **доброты** > **дѡбрѡты** 164. В уже цитировавшейся Минее общей: **кѡни** > **кѡни**, **прѣтоли** > **прѣтѡли**, **питѡмцы** > **питѡмцы**. В послениконовский период принцип дифференциации распространяется на имена прилагательные и слова с корнем **мнѡг-**: **прѡчестѣн** > **прѡчестѣн**... **гласи**, **перворѡдныхъ** > **перворѡдныхъ**, **множество** > **мнѡжество**, **много** > **мнѡго** и т. д. Как пишет С. М. Кусмауль, «в никоновский и послениконовский периоды книжной справы буква **ѡ** начинает употребляться для разграничения омонимичных форм в пределах множественного числа (В. п.), что не отражено в нормах грамматики Смотрицкого 1648 г. и является результатом самостоятельной языковой работы справщиков. В результате этого процесса **ѡ** становится показателем множественного числа и используется в формах, не являющихся омонимичными другим формам (И. п. сущ., им. прилаг., слова с корнем **мнѡг-**), т. е. использование маркированной графемы в этих случаях избыточно» (там же). Надо, впрочем, отметить, что корень **мнѡг-** мог писаться с **ѡ** и в рукописях XVI в.

3. Отталкивание от разговорного языка в лексике

Процессы отталкивания от разговорного языка преобразуют и лексический уровень. Отталкивание от разговорного языка делает актуальным противопоставление книжной и некнижной лексики. Если при функционировании механизма пересчета данная оппозиция существенной роли не играла и лексические ресурсы живого языка достаточно свободно использовались при создании книжных текстов, то теперь в подвергающейся нормализации стандартной разновидности книжного языка такое использование оказывается в противоречии с новой лингвистической установкой. В связи с этим возникает потребность в расширении состава специально книжной лексики (ср.: Лихачев 1958, 28–29; Виноградов 1958, 101–105; Успенский 2002, 287–293), и это обуславливает употребление грецизмов и лексики, характерной для южнославянских изводов церковнославянского языка. В основном, однако, словарный состав книжного языка расширяется не за счет этих заимствованных элементов, а за счет слов, заново создаваемых по специфическим книжным словообразовательным моделям (сложные слова, существительные с суффиксом *-тель*, прилагательные с суффиксом *-тельн-* и т. д. – см.: Кайперт 1970, 151 сл.; Кайперт, I, 39 сл.). И здесь, таким образом, значимость моделей перекрывает значимость образцовых текстов, и это также может быть связано с развитием грамматического подхода⁴⁴⁹.

И в этом отношении весьма показательным памятником является «Буковница» Герасима Ворбазомского. В третьей части этого сочинения даются списки прилагательных и причастий с набором их словоизменительных форм. И лексика, и грамматические формы здесь по большей части специфически книжные, так что этот раздел оказывается своеобразным справочником для построения и употребления маркированно книжных элементов. Характерно в этом плане, что исключительно большое место среди приведенной здесь лексики занимают сложные слова, например: из 33 слов на букву А сложными являются 29, из 137 слов на букву Б сложных 84, для слов на букву Д соответствующие цифры – 178 и 110. Многие сложные прилагательные появляются в результате языкового творчества самого автора «Буковницы», ср.: *аѣггелопитанѣ*, *слозабываѣленѣ*, *звѣрогласи-*

⁴⁴⁹ Ср. замечание М. Н. Сперанского о сложных словах в Повести о Динаре (которую А. И. Соболевский ошибочно считал переводной и датировал домонгольским временем – Соболевский 1910, 175) *великозлобство*, *звѣрообразство*, *властодержѣство*, *властодержавство*, *женочрѣвство*: «Может быть, эти сложные слова дают намек на хронологию текста Повести: старые по времени происхождения тексты таких словообразований не любят, пользуясь суффиксом “ство” довольно редко и предпочитая для отвлеченных понятий суффиксы “іе”, “ніе” <...> тогда как переводы поздние относительно (какова, напр., “болгарская” Пчела <...>) очень охотно употребляют слова с суффиксом “ство”, реже – “ствіе”. Такого рода наблюдение говорило бы за сравнительно позднее происхождение “Повести о Динаре»» (Сперанский 1926, 51). Сперанский явно имеет в виду тексты, появившиеся после второго южнославянского влияния «под влиянием югославянской XIV–XV вв.» письменности (там же, 70).

теле", каменносѣченъ, рѣзопрїимателе" (л. 154, 159об., 160об., 164об., 171об.) и т. д.

Слова в данной части «Буковницы» расположены в виде своего рода словообразовательных (или формообразовательных) гнезд. В типичном случае гнездо состоит из четырех элементов: страдательного причастия настоящего времени, страдательного причастия прошедшего времени, отглагольного прилагательного на *-тельн-* и действительного причастия настоящего времени, например:

запинаемъ, запатъ, запиначеле", запинаящъ 161
 истачаемъ, источенъ, источителе", источающъ 161об.
 милаемъ, милователен, милованъ, милающъ 165об.
 провѣщаемъ, провѣщенъ, провѣщателе", провѣщающъ 169
 содѣваемъ, содѣанъ, содѣтеле", содѣвающъ 173об.

Естественно, что такая четырехчленная структура выдерживается не во всех случаях, и есть примеры, когда мы недосчитываем одного (или двух) из членов, ср.:

агглоносимъ, агглоносителе", агглоносащъ 154
 свиздателенъ, свиздающъ, свиздаемъ 159об.
 звацаемъ, звацателе", звацающъ 161
 зыблемъ тъ, зыбящъ съ 161

Интересно отметить, что в подобных неполных структурах чаще всего отсутствует страдательное причастие прош. времени, т. е. единственный из элементов этого набора, который находит соответствие в разговорном языке рассматриваемого периода. Можно думать, что живой язык до некоторой степени препятствовал произволу в построении новообразований – там, где книжные и некнижные элементы соотносились; в случае же специфически книжных элементов (таких, как все прочие члены анализируемых структур) грамматист был свободен в своих построениях и мог с большей последовательностью реализовать словообразовательные модели, характерные для книжной лексики.

Хотя неполные структуры нередки, разобранная выше четырехчленная модель является наиболее типичной. Отступления от нее чаще состоят не в отсутствии каких-то членов, а, напротив, во включении дополнительных элементов. Автор «Буковницы» явно старается распространить свои словообразовательные парадигмы, вводя в них самые разные отглагольные образования. Наиболее простым способом такого распространения является включение действительного причастия прош. времени с суффиксом *-в-*, ср.:

зломѣченъ, зломѣчителенъ, зломѣчивъ, зломѣчащъ, зломѣчимъ 161об.
 съгласимъ, съгласенъ о", съгласивъ тъ", съгласителенъ, съгласяющъ 173
 хранимъ о", хранивъ, храненъ о", хранителе", хранащъ 178

В других случаях автор «Буковницы» прибегает к более сложной тактике. Поскольку в основную четырехчленную модель входят и действительные причастия наст. времени, образуемые, как правило, от глаголов несов. вида, и страдательные причастия прош. времени, образуемые преимущественно от глаголов сов. вида, основная модель видовые различия

игнорирует, т. е. в словарное гнездо попадают разнородные образования⁴⁵⁰. Это в принципе дает возможность расширить словарное гнездо за счет аналогичных образований от обоих членов видовой пары. Такими аналогичными образованиями могут быть отглагольные прилагательные на *-тельн-*, ср.:

погѣблѣемь, погѣбленъ, погѣбителе", погѣблѣюшь, погѣблѣтеле" 169об.

прогонѣемь, прогнанъ, прогнателе", прогонѣюшь, прогнателе" 170

собрѣанъ тѣ", собиравемь, собиравтеле", собиравюшь, собиравтеле" 172

Это могут быть, однако, и собственно причастные образования, поскольку то однозначное соотнесение типа причастия с видом глагола, которое характерно для современного русского языка, возникает лишь в результате позднейшей нормализации (XVIII – начало XIX в.), тогда как в более ранний период книжники могли создавать однотипные причастные формы от глаголов обоих видов. Этой возможностью и пользуется Герасим Ворбазомский. От обоих членов видовой пары могут образоваться страдательные причастия наст. времени, ср.:

изгонимь, изгонѣемь, изгонителе", изгнанъ, изганѣюшь 162

сохранѣнъ, съхранимь, съхраниемь, съхраниюшь, съхранителе" (над последней формой киноварью вписан ѡ, т. е. дополнительно дан вариант съхраниѣтеле") 162

сократимь, сокращаемь, сокращенъ, сократителе", сокращѣюшь 172об.

ѡвалаемь, ѡвале" о", ѡвалителе", ѡвалаюшь, ѡвалимь 172

Точно так же возможны и дублетные действительные причастия наст. времени, ср.:

законимь, законѣнъ, закон'ливъ, законѣшь, законѣюшь 161

привлечимь, привлечѣнъ, привлекаюшь, привлекашь, привлѣтителе" 169об.

Этот способ распространения основной структуры особенно часто выступает в соединении с предшествующим, ср.:

издаемь, издавателе", издаваюшь, издаваемь, издаюшь (исправлено из издаваюшь), издаѣтеле" 163

ѡвлачимь, ѡвлачемь, ѡвлечѣнъ, ѡвлачителе", ѡвлачаюшь, ѡвлачашь 179об.

ѡторгаемь, ѡтор'жемь, ѡторженъ, ѡтор'гателе", ѡторгаюшь, ѡторжѣшь 182

огрѣбаемь, отрѣбенъ, отрѣбемь о", отрѣбѣтеле", отрѣбаюшь, отрѣбѣшь 182

Весьма показательно, что подобные дублетные образования отсутствуют в случае страдательных причастий прош. времени, т. е. тех форм, кото-

⁴⁵⁰ Вне зависимости от того, в какой степени мы считаем категорию вида сформировавшейся к XVI в., очевидно, что языковому сознанию книжников этой эпохи она была чужда. Это сказывается, например, в ранних грамматиках, включая грамматику Смотрицкого, в которой формы глагола разного вида могут быть объединены в одну парадигму, а в классификации глагольных форм играют роль не виды, а то, что мы сейчас называем способами глагольного действия (которые Смотрицкий мог называть видами) (см.: Горбач 1964, 24; Мечковская 1984, 64–65). И в «Буковнице», и в грамматических сочинениях, предшествовавших «Буковнице» (например, в «Донатусе» Дмитрия Герасимова) в одну парадигму могут объединяться формы, противопоставленные по способу глагольного действия, например, глаголы нейтральной совершаемости и итеративы (см.: Живов 1992).

рые не конструируются как искусственные книжные образования, а имеют соответствия в живом языке; это ограничивает разброс искусственных построений⁴⁵¹.

Все перечисленные способы распространения основной структуры могут выступать в различных комбинациях, особенно разветвленными они становятся к концу словаря-трактата. Здесь появляются гнезда из семи, восьми и более форм, ср.:

Ўбѣгаемь, Ўбѣгатеѣ", Ўбѣгаюць, Ўбѣжимь, Ўбѣженъ, Ўбѣжаць,
Ўбѣжатеѣ" 179

Ўпѣцаемь, Ўпѣценъ, Ўпѣцатеѣ", Ўпѣцаюць, Ўпѣстимь, Ўпѣститеѣ",
Ўпѣскаемь, Ўпѣскатеѣ", Ўпѣскаюць 180

одожаемь, одожаимь, одожаенъ, одождивъ, одождитеѣ", одождаюць, одождаць
182

ѡолософимь о", ѡолософенъ, ѡилософескъ, ѡилософивъ о", ѡилософѣ",
ѡилосоѡитеѣ", ѡилосоѡитеѣльскъ, ѡилософѡць, ѡилософ'стве",
ѡилософ'ствѣв', ѡилософ'ствѣм', ѡилософ'ствѡц', ѡилософ'ствѡем',
ѡїлософ'ствѡюц' 188об.

Таким образом, автор «Буковницы» стремится по возможности распространить каждое словарное гнездо, придав ему определенную структуру, в центре которой стоят отглагольные образования – причастия и отглагольные прилагательные на *-тельн-*. Герасим Ворбазомский создает изобилие специфически книжных искусственных элементов, употребление которых а priori противопоставляет книжную речь некнижной. Стоит отметить, что прилагательные с суффиксом *-тельн-* оказываются здесь регулярным образованием, и, таким образом, та модель, которая получила большое распространение после второго южнославянского влияния, делается здесь универсальным способом производства специфически книжных элементов. В этом случае становится очевидным, что формирование специфически книжной лексики осуществляется прежде всего не за счет заимствования тех или иных элементов, а за счет последовательной эксплуатации ограниченного числа словообразовательных моделей. На прямую связь подобного положения вещей с грамматическим подходом может указывать соотношение прилагательных на *-тельн-* с греческими отглагольными прилагательными на *-тоσ* (Кайперт, I, 120–126), и можно думать, что в словообразовательном творчестве Герасима отразилась грамматическая регулярность греческого формообразования⁴⁵².

⁴⁵¹ Дублетные страдательные причастия прош. времени встречаются лишь в исключительных случаях, причем всякий раз эти формы (в отличие от тех, которые были рассмотрены выше) находят некоторое оправдание в современной трактовке языковой практике, ср.:

Ўженомь, Ўжененъ, Ўженѣтъ 179об.

обиваемь, обѣенъ о", обитъ съ", обиватеѣ", обиваюць, обѣюць 181об.

⁴⁵² Интересно отметить, что Герасим предвдывает в этом отношении Смотрицкого. У Смотрицкого прилагательные на *-тельн-* также вводятся в глагольную парадигму в качестве славянского соответствия герундива. У Смотрицкого говорится: «Єсть Грекомъ Нарѣчіє знаменованіа Положителнаго. сходящее на εον: такъ γραπτέον, λεκτέον, и проѣ.

Из сказанного, конечно, не следует, что отталкивание от книжного языка осуществлялось исключительно за счет продуктивно порождаемых искусственных элементов. Порождение таких элементов лишь наиболее наглядным способом демонстрирует стремление книжников обособить книжный (ученый) язык от неизощренного узуса. При наличии такого стремления, создававшего противостояние книжного языка книжному, своего рода силовое поле между этими двумя полюсами, возникала тенденция интерпретировать в рамках этой оппозиции любые языковые элементы, которые тем или иным образом можно было с нею связать. Существенно само намерение внедрить оппозицию, оно задавало ориентиры для книжного узуса в целом. Курбский писал в уже цитировавшемся предисловии к «Новому Маргариту»: «И аще гдѣ погрѣшихъ въ чемъ, то есть, не памятуячи книжныхъ пословицъ словенскихъ, лѣпотами украшенныхъ, и вмѣсто того буде простую пословицу введохъ, пречитающими, молюся съ любовью и хриstopодобною кротостію, да исправятся» (Архангельский 1888, прилож., 13–14). Курбский ищет специально книжных слов (пословиц) и просит прощения за те случаи, когда он их не находит.

Существование такого противопоставления создает ресурсы для маркирования книжной природы текста (степени его книжности) с помощью лексических средств, хотя главная роль в этом принадлежит, как многократно говорилось, синтаксическим и морфологическим элементам. Такое маркирование излишне для стандартных церковнославянских текстов, но существенно для текстов гибридных, для которых шкала книжности является подвижной: текст может претендовать на более или менее книжный характер. При определенном уровне претензий в игру вступают и лексические элементы. Этот феномен можно наблюдать, например, при обращении к такому специфическому памятнику, как Степенная книга. Выше уже говорилось о том, что этот летописный по своему существу текст, включающий, впрочем, ряд агиографических фрагментов, выполняет задачу сакрализации истории, представление истории через династическую череду благочестивых правителей и окормляющих их православных митрополитов; мы имеем дело с сакрализованной имперской парадигмой, включающей апологию московского митрополичьего престола. Сакрализация истории выражается, в частности, в весьма специфических синтаксических стратегиях, некоторые из которых были описаны выше (см. §§ IV-3.1, V-6.3). В окнижении текста

Латинѣмъ Verbum participiale in, dum: *іакѡ*, scribendum, legendum: и про^ѣ. На^{мъ} Славѣнѣмъ / Причастодѣтїе речено: ест' во Глѣ причастенъ / нѣждѣ вѣдѣщагѡ дѣинства знаменѣющїи: *іакѡ*. писателно / читателно: и про^ѣ.» (Смотрицкий 1619, л. Р/3v.–4). В синтаксическом разделе Смотрицкий приводит примеры употребления данных прилагательных в герундивном значении («Прїемшаже глѣ / есмь. дателномѣ сочиняют'сѧ: *іакѡ* / Итѣно ми ест' во градѣ ко онсици: и про^ѣ» – там же, л. Ш/4об.). Вряд ли Смотрицкий был знаком с трактатом Герасима, схожая трактовка объясняется, видимо, тем, что в грамматически изощренном церковнославянском эти прилагательные действительно могли употребляться в соответствии с рядом словоизменительных форм греческого и латинского языков (см.: Кайперт, I, 168–170), так что грамматические сочинения основывались здесь на нормализаторской работе предшествующих поколений книжников.

могут принимать участие и сопутствующие синтаксическому выбору лексические оппозиции. Как это происходит, может быть проиллюстрировано на двух фрагментах, заимствованных в Степенной книге из более ранних источников (Б. А. Успенский и я обнаружили эти фрагменты более двадцати лет назад, и с тех пор лучшей иллюстрации нам не встретилось, см.: Успенский 2002, 372–373). Один фрагмент представляет собой повествование «О измене Новгородцев»; он заимствован из Никоновской летописи, в которой он помещен под 1471 г. (о заимствованиях из Никоновской летописи в Степенную книгу см.: Клосс 1980, 192–193), ср. (интересующие нас лексические единицы выделены жирным шрифтом):

**Никоновская летопись,
ПСРЛ, XII, 126**

Нѣкаторіи же отъ нихъ, посадничи дѣти Исака Борецкого съ матерію своею Марѳою и съ прочими инѣми измѣнники <...> начаша нелѣпаа глаголати и развращенная и, на вѣче приходящи, кричати: «не хотимъ за великого князя Московъского, ни зватися **отчиною** его; волные есмы люди Великій Новгородъ, а Московъской князь великій многи обиды и неправду надъ нами **чинить**; но хотимъ за короля Полского и великого князя Литовскаго Казимира». И тако возмается весь градъ ихъ и восколебашася яко піаны: овіи же хотяху за великого князя по старинѣ къ Москвѣ, а друзи за короля къ Литвѣ. Тѣмъ же измѣнници начаша наймовати худыхъ **мужыковъ** вѣчниковъ, иже на то завсе готови суть по ихъ обычаю, и, приходяще на вѣче ихъ, звоняху завсе въ колоколы и, кричаще, глаголаху: «за короля хотимъ»; иніи же глаголаху имъ: «за великого князя хотимъ Московъскаго по старинѣ, какъ было преже сего»; **наймиты** же измѣнниковъ тѣхъ камене метяху на тѣхъ, которые за великого князя хотятъ.

**Степенная книга,
II, 221**

Нѣцыи же отъ нихъ посадничи дѣти Исака Борецкого и с матерію ихъ Марфою, и съ инѣми измѣнники <...> начаша нелѣпая и развращенная глаголати и, на вѣче приходяще, сице кричати: «Не хотимъ **быти владами** великимъ княземъ Московскимъ, ни именоватися **отечествомъ** его, понеже великии обиды и неправды **сѣдѣваетъ** намъ. Мы есмы волнии люди – Великии Новъградъ! Хотемъ **быти владами** кралемъ Казиме-ромъ Полскимъ!» И тако възмается весь градъ ихъ и въсколѣбашася, яко пиани. Овии по древнему хотяху **быти владами** великимъ княземъ Московскимъ, друзии же литовскому кралю хотяху подвластни быти. Враждотворнии же измѣнници наимѣствоваху худѣшихъ **человѣкъ**, иже суть готови на всякое неистовство. И ти, приходяще на вече, и не престающе въ колоколы звоняху, и кричаще, глаголаху: «Краля хотимъ, да владѣетъ нами!» Инии же глаголаху: «Великаго князя Московскаго хотимъ, его же есмы дрѣжава отъ древнихъ лѣтъ и донынѣ!» Окаянныхъ же измѣнниковъ безумнии **наемници** камене метяху на тѣхъ, иже не хотяху отступити отъ великаго князя.

Второй пассаж, отмеченный лексической правкой, входит в первую степень. Глава 58 этой степени содержит Устав князя Владимира, существующий во множестве вариантов. Вариант Степенной книги весьма специфичен, так что Я. Н. Шапов трактует его не как одну из редакций, а как «изложение» Устава (Шапов 1976, 23). И действительно, различия в этом «изложении» не похожи на те варианты, которые читаются в многочисленных других редакциях Устава. Ниже мы приводим Устав по Степенной книге в сопоставлении с Уставом по Новгородской кормчей 1280-х годов, в которую Устав включен как дополнение в списке XIV в.:

**Устав князя Владимира,
Синодальная редакция –
Шапов 1976, 23**

А се церковнии соуди: рѡспоустѣ, **смилноѹ заставаньѹ**, пошибаньѹ, ѡмычка, промежи мужемъ и женою ѡ жѣвотѣ, въ племени или въ сватѣствѣ **поимуться**, вѣдство, зелии'ничство, потвори, чародѣяниа, волхованиа, оурѣканиа три: **бладнею** и зельи, ѡретичство, зоубоѣжа, ѣли сынѣ ѡтца бьѣтъ, или мать, или дщи, или снѣха свекровь, бра'ѣа или дѣти тажють^с ѡ **задницу**, церковнаа **татба** <...> илѣ псы, или **поткы** без великы ноужи въведет <...> или **дѣвка дѣта** повържетъ

**Устав князя Владимира –
Степенная книга, I, 312–313**

Церковнии же судове сии суть: распусти, **прелюбодѣяниа**, пошибаниа, умычки, межу мужемъ и женою о сожитѣствѣ ихъ, и иже в родствѣ и въ сватовствѣ **бракъ**, ведовство, потворы, чародѣяние, влѣхование, зелеиничество, зубоѣжа, три урѣканиа: **блудничствомъ** и зельи и еретичствомъ, или сынѣ отца своего бьетъ, или дщи матери свою, или сноха свекровь свою, или дѣти тяжются о **имѣнии отеческомъ**, церковное **крадение** <...> или псы или **птицы** введетъ въ церковь <...> или **дѣвица младенца** повържетъ

Как уже говорилось, регистры письменного языка на лексическом уровне дифференцированы лишь в небольшой степени. Основная масса слов является общей для всех регистров. В стилистическом отношении они нейтральны или специфичны для определенных тематических областей, и в силу этого стилистические оппозиции немногочисленны. Тем не менее на периферии этой основной массы существует некоторое количество специфически книжных слов (не говорю сейчас о тех искусственных книжных элементах, которые мы разбирали выше) и некоторое количество специфически некнижных слов. Некоторые из них являются синонимами, и в этом случае выбор между ними риторически значим. Он был безусловно значим для составителей Степенной книги. Рассмотренные пассажи иллюстрируют этот стилистический сдвиг. В процессе редактирования заимствованных из других источников текстов составители заменяли ряд специфически некнижных («вульгарных») слов словами нейтральными, а ряд нейтральных слов – специфически книжными. Можно сказать, что они занимались стилистическим «возвышением» писаний своих предшественников.

Так, например, в первом фрагменте не книжный *мужикъ* заменяется нейтральной лексемой *человѣкъ*; на месте глагола *чинити*, характерного для юридических текстов и, можно сказать, тяготеющего к деловому регистру, появляется нейтральное или скорее книжное *содѣвати*; юридический термин *отчина* превращается в семантически более расплывчатое и нетерминологическое, однако же стилистически нейтральное *отечество* (Срезневский, II, стб. 830–834). Многочисленные замены этого типа можно наблюдать в Уставе Владимира, по той простой причине, что преступления, о которых идет речь в Уставе, обычно «вульгарны». Так, *бладна* заменяется на редкое и нейтральное *блудничество*; юридический термин *задѣница* ‘наследство’ превращается в описательное и нейтральное *имѣние отеческое*; бытовое обозначение брачного союза *поимуться* заменяется на более формальное *бракъ*; замены *потка* на *птица* и *дѣвка* на *дѣвица* имеют то же стилистическое значение.

Вместе с тем ряд нейтральных слов заменяется на специфически книжные. Например, стилистически нейтральное (возможно, с некоторым оттенком разговорности) выражение *не хотимъ за великого князя* превращается в выраженно книжное *не хотимъ быти владоми великимъ княземъ*; на месте нейтральных *наймитов* окказываются книжные *наемницы*. Сходные явления наблюдаются и в Уставе Владимира. Нейтральное *татѣба* превращается в книжное *краденіе*. Занимательный *hарах legomenon заставањѣ* с прозрачной внутренней формой ‘in flagranti’ заменяется на книжное *прелюбодѣяніе*, слово с вполне определенными религиозными коннотациями.

Это стилистическое редактирование сопровождается рядом формальных замен, которые в контексте разобранной выше лексической правки могут рассматриваться как реализующие ту же стилистическую стратегию. Так, полногласные лексемы *король* и *Новгородъ* заменяются на неполногласные *краль* и *Новѣградъ*, *дчи* превращается в *дщи*, *ропсуты* – в *распсуты*.

Вообще говоря, такого рода стилистическая редактура не слишком характерна для средневековой русской письменности, обычно изменения, вносимые переписчиками и редакторами, не имеют видимой стилистической цели. Кое-что, однако, может быть найдено в агиографии, в той ее части, которая принадлежала гибриднему регистру. Стилистическая правка, захватывающая лексику, имеется в не раз рассматривавшемся выше Житии Михаила Клопского; Василий Тучков, создавая свою редакцию Жития, радикально правил тексты своих предшественников, которые он воспринимал, видимо, как написанные чрезвычайно искусно и далекие от той книжной стилистики, которая требуется для прославления святого. Приведенные ниже выборочные примеры демонстрируют, как решается эта задача и как в ее решение вовлекаются лексические элементы; во многих случаях, конечно, лексическая правка соединяется с синтаксической: Тучков изменяет синтаксическую конструкцию, и в новой конструкции появляются новые слова (ср. хотя бы: *намъ человекъ той своитинъ > сей старецъ сродѣства съюзом нам приплетается*).

**Житие Михаила Клопского,
Первая редакция – БЛДР, VII, 218–
231; Дмитриев 1958, 89–98**

ажь келья отомчена – 218/89
 попъ – 218/89
 сѣнцы заперты – 218/89
 позвонили обѣдню – 220/90

 от обѣдней – 220/90
 О чомъ, дѣтки, не ядите? – 220/91
 Чему, сынок, имени своего намъ не
 скажешъ? – 220/91
 намъ человекъ той своитинъ –
 220/91
 и поиде вода опругомъ – 222/92
 А устрой нынеча в домъ церковь
 каменную Святую Троицу – 222/92
 И игуменъ, отпѣвъ обѣдню, да
 вышелъ из церкви – 224/93

 А почнете ловити, и язъ ловцамъ
 вашим велю ноги и руки переби-
 ти – 224/94

 рукавицею – 226/95
 И онъ ширинку дергъ из рукъ вонъ
 у владыкы – 226/96
 Доѣдешъ в Смоленско, и поставятъ
 тя владыкою – 226/96

 И ѣздилъ владыка в Смоленско и
 сталъ владыкою – 226/96

**Житие Михаила Клопского,
Тучковская редакция –
Дмитриев 1958, 141–167**

обрете ю отверсту – 145
 иерей – 145
 келью изъутрудю заключену – 145
 прииде время божественныя литур-
 гия – 145
 во время святыхъ литургия – 148
 Почто, чада, не вкушаете? – 148
 Почто, чадо, имени своего не по-
 веси – 147
 сей старецъ сродѣствия съюзом нам
 приплетається – 147
 и изыде вода выспрь – 147
 и въздвигни храм камен живона-
 чалныя Троица – 149
 и егда съвершися божественая
 литургия, и изыде игумен ис цер-
 кви – 153

 обрящу <...> в реце ловитву дею-
 щих, аще и живы оставлю я, но ру-
 ками и ногами владети не имуть –
 153
 покровницею ручною – 151
 исторг убрус из руку блаженного
 Еуфимиа – 152
 Смоленська града достигнеши, и
 тамо архиерейства сан съвершен
 приимеши – 152
 Еуфимий же ко граду Смоленську
 отходит и тамо архиерейства сан
 восприемляше – 152

Итак, размежевание книжного и некнижного языка захватывает и лексический уровень. Формирующиеся лексические оппозиции противопоставляют книжный язык некнижному, однако реализация подобных оппозиций свойственна отнюдь не всем книжным текстам. Скажем, мы наблюдаем ее в таком специфическом памятнике, как Степенная книга, но она проходит мимо большинства других летописей XV–XVII вв. – и Московского летописного свода, и Никоновской летописи, и абсолютного большинства другой

анналистической продукции. Равным образом и жития оказываются затронутыми данными процессами отнюдь не повсеместно. И в XV–XVII вв. продолжают составляться жития на гибридном языке, демонстрирующем лишь ограниченный набор книжных элементов (впрочем, обычно существенно больший, чем в летописных текстах). Эти процессы создают потенциал для разграничения разных типов книжного языка: ученого церковнославянского, лишь в небольшой степени показывающего черты гибридности, и вполне традиционного гибридного языка, которого не коснулась рука нормализатора или редактора-стилиста.

4. Отталкивание от разговорного языка в грамматике

Отталкивание от разговорного языка должно было несомненно сказаться и на грамматике книжных текстов, и прежде всего на характере употребления в них признаков книжности. Одним из стимулов и здесь могли быть тексты южнославянского происхождения: в восприятии русских книжников южнославянская традиция выделялась, например, свободным владением формами простых претеритов, которые представляли для русских особую трудность. Поэтому обращение к южнославянским текстам побуждало к дифференцированному употреблению данных форм, напоминающему их употребление в южнославянских памятниках; такое употребление должно было противостоять их десемантизированному и лишь частично дифференцированному употреблению, характерному для текстов гибридного регистра. Можно полагать (хотя соответствующий материал остается недостаточно исследованным), что характер употребления признаков книжности оказывается основным моментом в оппозиции грамматически изоцированной разновидности книжного языка и его традиционной разновидности. Хороший пример столкновения этих двух типов книжного языка дает уже приводившееся сопоставление первоначального варианта Жития Михаила Клопского с его позднейшей переработкой, осуществленной В. М. Тучковым. В последнем варианте имеет место и окнижнение синтаксиса (в частности, широкое введение дательного самостоятельного), и, как мы только что видели, устранение разговорной лексики, и – среди прочего – переход от употребления простых претеритов как окказиональных признаков книжности к их последовательному и по большей части дифференцированному употреблению (см.: Дмитриев 1958)⁴⁵³.

⁴⁵³ Такого же рода процессы можно наблюдать и в южнославянской книжности. Понятно, что с болгарской или македонской точки зрения русская книжная традиция была замечательна свободным владением падежными формами, которые выступали в болгарско-македонской письменности как признаки книжности. Поэтому русские тексты могли служить образцом употребления этих форм. Регламентация употребления падежных форм требовала, однако, не обращения к русским образцам, а создания системы правил. Показательно, что Константин Костенечский, настаивая в цитированном выше отрывке на дифференцированном употреблении букв *ы* и *и*, указывает, что их смешение приводит к смешению падежных форм (аккузатива и вокатива – Ягич 1896, 114); норма же «чистого» книжного языка такого смешения не допускает.

Понятно, что нормализация употребления книжных грамматических форм не могла опираться на образцовые тексты инославянской традиции. Такие тексты могли служить лишь импульсом к нормализации, но не ее основой. В основе нормализации должна была лежать языковая компетенция русских книжников, которая складывалась из двух компонентов: владения живым языком и знания традиционной книжной письменности. До тех пор пока книжный язык свободно использовал ресурсы языка живого, особой необходимости в грамматической нормализации не было: механизм пересчета обеспечивал минимальное противопоставление книжного и некнижного регистров, а степень сходства с образцовыми переписываемыми текстами оставалась варьируемой величиной и специальной регламентации не требовала. В условиях отталкивания книжного языка от живого такой порядок делался неприемлем (конечно, свою роль играло в этом и возросшее к XIV–XV вв. расхождение между книжным и разговорным языком). Реформированный книжный язык нуждался не в окказиональном, а в последовательном употреблении специфически книжных элементов, причем такое употребление должно было быть систематическим, т. е. опираться на определенные правила, имеющие дело с общедоступным и общезначимым языковым материалом. Эта потребность и лежала в основе восточнославянской грамматической традиции.

Правила употребления специфически книжных элементов, в частности простых претеритов, в восточнославянских грамматиках отсутствуют. Поэтому мы, вообще говоря, не знаем, как русские книжники добивались их систематического (грамматически нормализованного) употребления. Очевидно, однако, что, каким бы образом ни передавалась соответствующая лингвистическая информация и какие бы неудачи ни сопутствовали этим опытам русских книжников, данный процесс предполагал существование какого-то грамматического аппарата описания. Как и все европейские грамматики средневековья (вплоть до появления грамматических описаний Пор-Руаяля – разного рода «Nouvelles Methodes»), славянские лингвистические трактаты содержали прежде всего каталог форм, т. е. задавали классификацию языковых элементов, но не способы порождения текста. Такая классификация, однако, была необходимой предпосылкой какой бы то ни было регламентации употребления. Регламентация употребления должна была исходить из осознания парадигматической соотнесенности форм как предварительного условия: чтобы систематизировать употребление форм аориста и имперфекта, надо было сначала знать, что *прия* и *прияша* относятся к одной категории форм, а *прияше* и *прияху* – к другой. При наличии классификации, какой бы она ни была, можно было приступать и к предписаниям, касающимся обращения с этими формами. Можно предполагать, что эти предписания носили экземпликативный характер, т. е. состояли в указании на контрастирующие примеры (см.: Живов 1986а, 85–88).

Пример такого рода нормализации можно обнаружить в сочинении «Надписаніе буквмъ грамматич'наго оученіа», содержащемся в сборнике грамматического содержания первой половины XVII в. (РГБ, ф. 299, № 336, л. 23 об.–58; см. публикацию: Кузьминова 2002, 57–112; это сочинение является вариантом трактата «Книга глаголемая буквы», опубликованного

В. Ягичем – Ягич 1896, 422 сл.). Главная задача этого сочинения – научить читателя опознавать грамматические формы: «Сїа вѣквы составлены вїны ра^а сєа, давы і простѣйши^а вѣдомо было, родное ѿ праваго, і виновнаго і дѣйствена^а; і творите^анаго; і да познаетсѧ мѣжеска рѣчь ѿ же^аскїа, є^а чѣ^а ра^азнєствѣта дрѹга дрѹзѣи. І да разѹмна вѣдѹтъ двойственными рѣчи ѿ мно^ажствєны^а» (л. 23об.; Кузьмина 2002, 57). Рассматриваемое сочинение представляет собой справочник, помогающий правильно употреблять те формы, которые обычно подвергаются смешению в памятниках русского происхождения. Цель избавиться от неправильного употребления четко оговаривается в предисловии: «І паки да вѣдѣтсѧ всѣм, еже кое разнєство єсть еже рєчи агглан, или агглы, или, аплы, і апли. і паки дѣла гнѧ, і дѣла гни. і ина многа такова. пажє, мнозѣ^а мнѧтсѧ єд^ано быти, а не могѹщи^а разсѹдит^а, іако тыа велѣе ра^азсто^аніє меж^а собою имѹтъ» (л. 23 об.–24)⁴⁵⁴.

Такой подход предполагает обращение к парадигме, причем обращение со специальным вниманием к тем ее элементам, которые могут – под влиянием живого языка – отождествляться в языковом сознании и употребляться безразлично. И этот момент достаточно отчетливо отражен в предисловии: «Видѣ^а во многи^а ѿ простоты мѣж^аскѹю рѣчь же^аскою пишѹщи^а, і женскѹю рѣ^а мѣж^аскою; в' сицевы^а, в'мѣсто слыша^аши, пишѹтъ слыша^а; і в'мѣсто соє^ани^авши, пишѹтъ і глѹтъ соє^ани^авѣ. И паки в'мѣсто мно^ажствєныа рѣчѣ глѹтъ єди^аствєнѹю рѣ^а во многи^а мѣстєх. в'мѣсто во видѣвше свѣ^а вечер'ни, пою^а, видѣ^а свѣ^а вечер'ни» (л. 24; там же, 57–58). Автор говорит здесь о кратких действительных причастиях, рассматривая их изменение по родам и числам и тем самым организуя отдельные формы в парадигму. Как мы видели, краткие действительные причастия в разговорном языке перестали употребляться согласованно уже к концу XII в. (см. § IV-4.3.5). В книжном языке XVI–XVII вв. они функционировали преимущественно так же, как деепричастия разговорного языка, и обнаруживали тенденцию к несогласованному употреблению. Различающиеся по роду и числу формы причастий отождествлялись при этом в языковом сознании и выступали как взаимозаменимые варианты. Это и обуславливало смешение данных форм в текстах (как в оригинальных сочинениях, так и при переписке). Согласованное употребление кратких действительных причастий выступало при этом как показатель грамматической искусности и требовало грамматической систематизации и нормализации. Эту задачу и ставил себе автор «Надписания буквам». Действительно, сказав о причастиях, он продолжает: «Сїа і ина таковаа видѣ^а і слыша^а а^а грѣбый, с'жали^а си сѣло. і помощи всемогѹща^а бѣа надѣяса, пот'ща^асѧ сїа вѣквы составити. положи^а в' ни^а єлико во^амогѹ нѣобрѣсти, выше рєчєны^а рѣчєи ѿкровєніє, ѿ древнѧа

⁴⁵⁴ Как видно из приведенных цитат, речь идет о грамматических формах и их смешении, и трактат направлен именно против грамматической путаницы. Надо отметить, однако, что автор упоминает и смешения другого рода, так что не вполне ясным оказывается, насколько четко он проводит границу между грамматическим и лексическим уровнями. Он пишет: «К семѹ да познаютсѧ нѣкїи^а і сїа еже чимъ паки ра^азнєствѹютъ рѣчи сїа, дрѹга дрѹзей, еже рєчи дѣла і дѣланїа, или житїє і жнзнь. і ниць і оубогѹ» (л. 23об.; Кузьмина 2002, 57).

гра^мотники, ꙗко ѿсочастны^а книзѣ, ꙗко инѣхъ бж^ѣтвеныхъ писанїи, то взимаа. Да вса^к бл^гоч^ѣтивы хота ѿ таковыхъ лич^шее навыкну^ти, в сїа бж^квы принн^ѣ, оуд^б в' ни^х искомое имѣ по ал^фавитѣ^у обра^ще^т просто ꙗко не оу^хищен^но прѣ^аложено. паче^ж ꙗко на полехъ воображено е^ж в' коей книзѣ каа рѣчь обрѣтае^тса» (л. 24–24 об.; там же, 58)⁴⁵⁵.

Итак, автор «Надписания буквам» очень ясно излагает цель своего сочинения. В тех случаях, когда писец не знает, правильная ли форма употреблена в переписываемом им сочинении, он может обратиться к данному трактату как к справочнику. Равным образом, и пишущий оригинальное сочинение (на книжном языке) может узнать, какую форму ему следует употребить, найдя ее в трактате и использовав имеющиеся в нем грамматические указания или отсылки «на полех» к образцовым текстам (Псалтыри, Нового Завета, богослужебного канона). Хотя справочный аппарат дается в «Надписании буквам» очень непоследовательно, идея была, видимо, именно такой. Она основывалась на двух моментах, – и именно это представляет для нас особый интерес, – а именно, на организации форм в парадигмы и на обращении к взятым из общеизвестных текстов примерам для демонстрации того, как должны употребляться разные члены парадигмы (это я и имею в виду, говоря об экземпликативном характере грамматических предписаний). Примеры того, как это сделано в данном трактате, уже приводились выше (см. § II-3.2). Подбор контрастирующих пар сам по себе выполнял необходимую исходную задачу – парадигматическое объединение форм; на употребление указывали тексты.

Мы говорили о том (§ II-3.2), как ссылки на примеры давали читателю возможность понять разницу в ударении форм императива и презенса. При формах с двойным ударением оубѣжитѣ, оумѣдритѣся (л. 52 об.; Кузьмина 2002, 103) на полях пишется «Маѡ, чс» и «Плом, чг»; в соответствующих текстах, которые благочестивый читатель мог помнить наизусть, читалось: «Какъ оубѣжитѣ ѿ сѣда огна геенскагѡ» (Мф. 23: 33) и «Разумѣйте же

⁴⁵⁵ Проблемы кратких действительных причастий волновали не одного автора «Надписания буквам». Смешение флексий рассматривалось как знак неискусного владения книжным языком; регламентация данных форм оказывалась, таким образом, характерным моментом в трактатах, претендующих на наставление в грамматическом мастерстве. Так, в «Алфавите, како которая речь говорити или писати» указывается: «Ей, господіе мои и отцы, таковъ есть разумъ елиства и множественаго лежащихъ въ божественныхъ писанїихъ и въ посреднихъ рѣчѣхъ, и сего ради списахъ Алфавитъ сый, да невѣдущи увѣдатъ, что есть единствено, и что двойствено, и что множественно <...> Да нѣцыи ненаученыя и глаголють и пишутъ: алчущи, благословащи, глаголющи, жаждущи, зрящи, вѣщающи, сїю рѣчь превращають на множественую рѣчь, единствена же сущи, якоже сїа сице: алчущи онъ или она, благословящи онъ или она, глаголющи онъ или она, сїирѣчь онъ мужъ или она жена, сїа рѣчь единствена сущи, а не двойствена, ни (множествена *пропуш.*); множественаа же рѣчь, подобнѣ сице: алчуще они, благословяще они, глаголющи они, сїирѣчь мужіе они глаголюще и творяще» (Калайдович 1824, 205, 207; см. также: Кузьмина 2002, 248). Как можно видеть, автор «Алфавита» противопоставляет формы ед. и мн. числа, но не знает о различиях по роду, и это ограниченное знание показывает, с каким трудом русские книжники справлялись с согласованием кратких причастий.

безѣмнѣи въ людехъ; и вѣи нѣкогда оумѣдрѣтесе» (Пс. 93: 8). Этой информации в принципе было достаточно для идентификации форм.

В других случаях для идентификации форм использовались другие, более сложные способы. Так, например, в разговорном языке отсутствовали формы относительных местоимений *иже, еже, яже*, и в силу этого их употребление (различение форм по роду, числу и падежу) представляло для русских книжников существенные трудности; смешение этих форм вполне обычно в текстах гибридного регистра и не чуждо памятникам стандартного регистра – книжники ошибались при переписке (некоторые примеры раннего смешения см.: Иванов 1995, 362). Автор рассматриваемого трактата пытается, хотя и не совсем успешно, разрешить эти трудности. Он приводит следующие формы: «Еже, в'мѣсто, которое. Иже, в'мѣсто, который. юже, в'мѣсто, которую. аже, два ра^зума содер'житъ; Пер'вое в'мѣсто, котораа. Второе, в'мѣсто, которымъ» (л. 35; Кузьмина 2002, 74). Автор, как мы видим, пользуется соотносением специфически книжных форм (*иже, еже* и т. д.) с формами, известными читателю из его разговорного языка (*который*), однако этот способ не вполне эффективен, поскольку в разговорном языке во мн. числе имела одна форма им.-вин. *которые*, общая для всех родов. Поэтому «два разума» местоимения *яже* читателю могли остаться неясны. Трактат, однако, ориентирован не только на парадигматику, но и на тексты, и автор указывает для первого «разума» Пс. 77, в котором *яже* является местоимением вин. мн. ср. рода (Пс. 77: 4: «Не оутанса ѿ чадъ ихъ въ родъ инъ, возвѣщающе хвалы г^дни, и силы егѡ, и чюдеса егѡ, яже сотвори»), а для второго – Пс. 79, в котором *яже* является местоимением вин. мн. м. рода (Пс. 79: 16: «И соверши его, егѡже насади десница твоа, и на сны челоуѣческіа, яже оукрѣпилъ еси себѣ»). Отсылки к Псалтыри позволяют различить по крайней мере два разных значения местоимения *яже*, для дифференциации которых соотносения с разговорным языком было недостаточно.

В ряде случаев автор старается определить описательным образом категориальное значение разных форм (прежде всего глагольных). Хотя некоторые прецеденты такого определения должны были быть известны автору из доступных ему памятников славянской грамматической традиции (например, из грамматики Лаврентия Зизания), он не вполне справляется с этой задачей и в равной степени полагается на примеры из образцовых текстов и их толкование. Приведу в качестве иллюстрации пассаж, в котором дифференцируется настоящее и будущее времена, аорист и императив: «Блгословлю, се е^с насто^ящаа рѣ^ч, тако бы рекъ добрословлю ннѣ і всегда. Блгословлю, то е^с рѣчъ ѿложител'на на ино время. тако бы кто рекъ, за оутра блг^свлю а не дне^с. блгослови; се е^с рѣ^ч совѣтна, і повелител'на блгословити. блг^сви, се е^с рѣчъ быв'шаа, тако бы кто повѣдѣтъ тако онѣсица онсицѣ блг^сви, е^ж е^с блг^сви^а. Пише^т бо са, і блг^сви бгъ по^слѣднѣа ювѣ (у Е. А. Кузьминовой неверное словоделение: і овѣ) паче пер'вы^а. Блгословим г^да, е^ж е^с доброслови^а га і ннѣ і всегда. а еже рещи блгослови^а, тако бы за оутра блг^свимъ, а не нынѣ» (л. 28об.-29; Кузьмина 2002, 63–64). Для формы блгословлю составитель «Надписания» дает на полях в качестве ссылки Пс. 33 (Пс. 33: 1: «Блгословлю г^да на всако время, вынѣ хвала егѡ во ѡстѣхъ монахъ»); хотя контекст однозначно указывает на узуальное значение, для противопоставления двух

глагольных форм нет реальных оснований⁴⁵⁶. Автор исходит из идеи (которую он проводит и в орфографии), что семантические (грамматические) различия должны иметь формальное выражение; если различия нет в узусе книжного языка, автор его придумывает и пытается ввести в употребление.

То же самое происходит и с противопоставлением форм императива и аориста. Императив получает в «Надписании» ударение на предпоследнем слоге – **блѣгослѣви**, хотя ни в разговорном языке, ни в узусе книжного языка такое ударение не засвидетельствовано, да и не должно появляться (ср.: Зализняк 2010–2011, II, 109). Императиву противостоит форма аориста **блѣви** с ударением на последнем слоге, семантику которой автор поясняет и для которой он приводит разговорное соответствие в виде *л*-формы (**ѣ* ѣ блѣви**⁴⁵⁷). И здесь автор не ограничивается лишь толкованием, но приводит и пример; на полях написано «**парѣ**», что означает отсылку к Паремийнику, а именно к паремье из Иова (Иов 42: 12), читаемой на Страстную пятницу⁴⁵⁷. И в данном случае для автора существенна оппозиция, которую он готов строить искусственным образом, в то время как для пояснения форм, имеющих реальное соответствие в книжном узусе, даются ссылки на тексты.

Автор решает несколько взаимосвязанных задач. Он вырабатывает номенклатуру категорий, которые необходимы для описания книжного узуса, и дает пояснения, касающиеся их значения⁴⁵⁸. Он соотносит с этими категориями различные книжные формы, иногда успешно, иногда достаточно произвольным образом. Для последнего случая иллюстрацией может служить противопоставление форм **бѣ** и **бѣаше** как мужской и женской; они трактуются в разделе «**Различіе рѣчей мѣжъскѣ ѿ жѣнскѣ**» и ставятся в один ряд с оппозициями причастий **блѣгодарѣ** – **блѣгодарѣши**, **бранѣ** – **бранѣши** и т. д.

⁴⁵⁶ Насколько мне известно, в русских списках Псалтыри ударение на предпоследнем слоге в рассматриваемой форме никогда не стоит (чаще всего эта форма пишется под титулом и остается вообще неакцентуированной); форму **Блѣгослѣви** с ударением на последнем слоге можно найти в Псалтыри из собрания Троице-Сергиевой лавры (РГБ, ф. 304. I, № 339/846, л. 38об.). Видимо, автор «Надписания» выдумывает свое искусственное ударение, чтобы отделить настоящее время от будущего (или, в современных терминах, форму несоев. вида от формы сов. вида).

⁴⁵⁷ Ср., например, в Паремийнике 1530 г. из собрания Троице-Сергиевой лавры (РГБ, ф. 304. I, № 65 (311)): «**Блѣви бѣтъ послѣдняя иѡва нежели прѣдняя**» (л. 165).

⁴⁵⁸ Можно думать, что систематизация употребления специфически книжных форм провоцирует вычленение определенных семантических категорий, которые с этими формами соотносятся. Правила соотнесения не излагаются, но само выделение семантических категорий указывает, что они были вовлечены в сознательную речевую деятельность славянских книжников. Так, вряд ли случаен тот факт, что в грамматике Смотрицкого (1619, л. Н/4–4 об.), в которой впервые говорится о способах глагольного действия и противопоставляется «первообразный вид» (немаркированная совершаемость) «производным видам», эти последние разделяются на два разряда – «начинательный» (т. е. инхоатив) и «ушачательный» (т. е. итератив). Можно предположить, что самое представление о способах действия в языковом сознании восточнославянских грамматистов кристаллизуется в силу их соотнесенности с простыми прошедшими временами книжного языка, иными словами, в силу того, что эти категории были нужны для систематизации употребления специфически книжных форм (ср.: Живов 1986а, 102–107, 111).

Это основывается на сформулированном автором странном правиле, «*такъ во всакихъ рѣчѣхъ мѣжъскихъ, ша і ша не пріємлютсѣ во ѡбщиѣ же, і в' женскиѣ, і ша, і ша, ѡбоѣ пріємлютсѣ*» (л. 28об.; Кузьмина 2002, 63; см. еще комментарий: там же, 257). Автор явно решает задачу соотнесения оппозиции известных ему книжных форм с построенной им номенклатурой категорий и на этом пути иногда попадает впросак. Вместе с тем он решает и задачу, в определенном смысле обратную только что рассмотренной: найти для введенных им категорий подходящие реализации, т. е. формальное выражение; когда в известном ему узусе такие реализации отсутствуют, он создает искусственные формальные оппозиции.

Как бы то ни было, развитие грамматического подхода, выразившееся в частности в создании грамматических трактатов (с разными задачами и разным качеством), привело к появлению грамматической номенклатуры, а отсюда и к классификации форм и прежде всего форм специфически книжных. Это создавало возможности и для регламентации их употребления, своего рода упорядочения синтаксических структур. Хороший пример того, как классификация форм клалась в основу систематизации их употребления, можно найти в прениях Лаврентия Зизания с московскими справщиками, правившими его Катехизис (1627 г.). Здесь, в частности, обсуждалось различие желательного наклонения и будущего времени. Так, московские справщики говорят: «Да переменили мы в твоей книге реч: Отче наш, иже еси на небесех! да освятится имя твое. И так у тебя есть і во многихъ мѣстехъ книги твоея, а имя божия не освящается, но освящает. Лаврентіе рече: Будущего времени являет реч, как і прочая в молитве сей, прошения: да освятится, да придет, да будетъ. Мыж рѣхом: Рѣч толко желателнаго образа может і настоящего времени не отступить; аще бы не желателнаго образа была рѣч сия, то бы не прилагался к ней слог: добро да аз; было бы: освятится, приидет, будет, а коли уж с предлогомъ рѣчь: да освятится, да приидет, да будет; то являет желание и моление к дающему лицу, а <не> простую рѣчь изъяснительную» (Прения 1859, 95). Лаврентий, заменяя *святится* на *освятится*, исходил из того, что здесь должна быть употреблена форма будущего времени, и поэтому исправил несовершенный вид на совершенный – различия по виду лежат в основе противопоставления настоящего и будущего времени в написанной им грамматике (ср. здесь пары *сѣку* – *посѣку*, *вижду* – *оувижду* и т. д. – Зизаний 1596, л. Ж/7об.). Московские же справщики полагали, что в молитве употребляется форма желательного наклонения, образуемая сочетанием «предлога» *да* с презенсом; постановка же глагола совершенного вида означала, видимо, для них изменение смысла, при котором оказывалось, что в какое-то время Божие имя не было освященным. Как можно видеть, московские справщики начинают с грамматической идентификации форм и здесь пользуются четкими формальными аргументами. Правила обращения с этими формами также рассматриваются как нечто известное, хотя они и не эксплицируются: молитвенное обращение требует «желательного образа».

Таким образом, грамматическая нормализация нуждается в грамматическом аппарате. Первоначально эта потребность также удовлетворяется за счет южнославянских источников. От южных славян приходит трактат «О

осмих частех слова», знакомивший восточнославянских книжников с набором грамматических категорий (Ягич 1896, 38 сл.; Ворт 1983а, 14–21). Поскольку грамматические противопоставления получали орфографическое выражение, грамматическая регламентация шла и из орфографических трактатов, и прообразом для них был орфографический трактат Константина Костенечского «Сказание о писменех» (Ягич 1896, 247 сл.; Голдблатт 1987). А. И. Соболевский относил к болгарским по происхождению сочинениям и «Простословия», напечатанные Ягичем (Ягич 1896, 624–661), вернее, первую, фонетико-орфографическую часть этого сочинения, возможно, когда-то существовавшую отдельно и позднее включенную в компиляцию старцем Евдокимом (там же, 625; см.: Соболевский 1903а, 34–36); аргументы Соболевского, впрочем, весьма сомнительны⁴⁵⁹.

Этот филологический материал достаточно быстро осваивается русской книжностью, получает на русской почве свое продолжение и развитие и создает почву для контактов в этой сфере с западноевропейской (прежде всего немецкой) филологической традицией. Отвлекаясь от ряда мелких статей грамматического содержания, достаточно указать в этой связи на «Донатус» Дмитрия Герасимова, переработку латинской грамматики, первоначально сделанную, видимо, на основе учебника, употреблявшегося в немецкой школе (Ягич 1886, 524 сл.; ср.: Ворт 1983а, 76–165; Мечковская 1984, 38–40; Живов 1986а, 93–107; Кайперт 1989а; Захарьин 1991; Захарьин 1995, 6–17; Томеллеры 1999; Томеллеры 2002б); обращение к западной традиции вполне закономерно, поскольку ни от южных славян, ни от греков в этот период (конец XV – начало XVI в.) ничего не приходило. Существенно, что для восприятия латинской традиции уже существовал хотя бы минимальный грамматический аппарат, освоенный в предшествовавший период. «Донатус» также заключал в себе «определенную семантическую систематизацию языковых форм» (Мечковская 1984, 39), но шел в этом отношении дальше заимствованных со славянского Юга сочинений.

С приездом в Москву в 1518 г. Максима Грека грамматическое учение получает здесь дальнейшее развитие и осмыслиется как «**начало и конецъ всакомѹ людемѹ дръю**» и «**вождь к' бѣговидномѹ смотренію и предивномѹ и непристоупномѹ бѣгословію**» (Ягич 1896, 333). Разработанность грамматического учения связывается при этом с достоинством церковнославянского языка, и грамматика делается важнейшим критерием в оценке правильности текстов. В конце XVI – первой половине XVII в. эта московская традиция вступает во взаимодействие с той грамматической ученостью, которая по-

⁴⁵⁹ Соболевский основывается на том, что ряд терминов, употребленных в этом трактате, и прежде всего *слогня*, «неизвестен в старом русском языке» (Соболевский 1903а, 35), а взят из болгарского. Как полагает ученый, такие заимствования (равно как два случая смешения юсов) указывают на болгарское происхождение всего трактата, который затем «подвергся переделке и исправлению русских книжников» (там же). Поскольку, например, *слогня* в восточнославянских текстах появляется во второй половине XIV в., а разбираемый трактат составлен в конце XVI в., составитель мог взять его из местной традиции (см.: СРЯ XI–XVII вв., XXV, 109), так что на заимствованный характер текста в целом он однозначного указания не дает.

лучает развитие на Украине. Источники этой учености также гетерогенны. С одной стороны, в рамках Львовского православного братства развивается греческая культурная традиция, в плане лингвистическом реализовавшаяся в греческо-славянской грамматике «Адельфотес» (Адельфотес 1591). С другой стороны, вслед за «Адельфотесом» появляются славянские грамматики Лаврентия Зизания (Зизаний 1596) и Мелетия Смотрицкого (Смотрицкий 1619), испытавшие определенное влияние «Адельфотеса» (ср.: Захарьин 1995, 57–58), но в еще большей степени связанные с латинской грамматической традицией (см.: Коцюба 1975; Захарьин 1995, 58–62). С середины XVII в. развитие грамматической традиции оказывает непосредственное влияние на книжную справу и создает для стандартного церковнославянского соотношенность грамматической нормализации и контролируемого узуса. Это важный момент для всей последующей истории русского языка, поскольку в результате этого процесса грамматическая кодификация оказывается важнейшим инструментом создания языкового стандарта, и этот прецедент существен для формирования русского литературного языка.

5. Грамматика и книжная справа

Как уже говорилось, новое отношение к грамматике, возникшее как не прямое следствие второго южнославянского влияния, радикально меняет соотношение образцовых текстов и грамматических установлений. Ранее грамматическая нормализация, насколько она вообще имела место, была призвана лишь поддерживать стабильность основных характеристик образцовых текстов. Теперь образцовые тексты могут правиться в соответствии с вновь разработанными грамматическими правилами. Книжная справа, основанная на грамматике, берет начало с Максима Грека.

Максим Грек прибыл в Москву в 1518 г. в составе греческого посольства, в котором были посланцы константинопольского патриарха и афонских монастырей; Максим был послан в Москву из Афона «на время» в ответ на просьбу великого князя Василия III прислать книжного переводчика. Афонский прот. выбрал Максима, поскольку тот обладал замечательной ученостью (и был относительно молод: ему еще не было пятидесяти). Ученость Максима носила специфический характер, поскольку он провел много лет в Италии, сотрудничая с гуманистами, издававшими греческих авторов (прежде всего с Альдо Мануцио в Венеции), и занимаясь перепиской греческих книг (Синицына 1977; Синицына 2008, 21–26). Это требовало определенной филологической подготовки, и Максим (в миру Михаил Триволис) несомненно сохранил свои навыки обращения с текстом и после переезда в Москву. В 1502 г. Максим стал монахом (или послушником) в монастыре Сан Марко во Флоренции. Было ли это драматическим переворотом в его жизни, как об этом нередко пишут (см., например: Хейни 1973, 25), или аскетизм и гуманизм не стояли для Максима в столь однозначной оппозиции (ср.: Синицына 2008, 25), неясно. Однако доминиканским монахом Максим не стал, а отправился на Афон и принял монашество в Ватопедском монастыре. Не обсуждая вопроса о том, был ли это разрыв с прошлым, заметим, что инте-

рес к ученым трудам Максим в монашестве не потерял, а лишь перенаправил его на святоотеческие творения.

Филологическая образованность включала, несомненно, некоторые представления о грамматике; гуманисты, в частности, занимались тем, что восстанавливали правильный язык классических авторов, искаженный невежеством «темных веков». Максим, когда он приехал в Москву, видимо, уже знал церковнославянский язык, но знал его весьма несовершенно. Переводя Толковую Псалтырь, Максим пользовался услугами своих помощников, Дмитрия Герасимова и Власия; Максим переводил с греческого на латынь, а его помощники «сказывали по-русски писарям» (как об этом позднее писал Герасимов дяку Мисюрю Мунехину – Иванов 1969, 41; ср. еще описание этого процесса в «Исповедании православныя веры» самого Максима: Максим Грек, I, 33). Сам такой процесс предполагал идентификацию форм и определение их грамматического значения. Это отсылало к парадигмам, к той грамматической нормализации, которая к началу XVI в. имела место в московской филологической традиции. В результате данной процедуры перевода традиционный церковнославянский текст Псалтыри и Цветной Триоди, которыми Максим занимался в 1519–1525 гг., приводился в соответствие с «грамматикой»: ориентиром служила не текстовая традиция, а грамматические правила. Это касалось, в частности, передачи прошедших времен, того аспекта справщической деятельности Максима, которая оказалась наиболее спорной и вызывающей осуждение традиционалистов.

Составляя парадигмы глаголов в прошедших временах, русские грамматисты сталкивались с омонимией форм 2 и 3 лица ед. числа типа *глагола* – *глагола* или *глаголаше* – *глаголаше*. Такое устройство парадигмы противоречило известным им образцам (греческим и латинским) и не согласовывалось, видимо, с их представлениями о правильном грамматическом устройстве: как мы видели, они стремились к дифференциации грамматических омонимов. При подобном строении парадигмы оказывалось, что с помощью славянских грамматических средств нельзя передать ту грамматическую информацию, которая имеется в соответствующих греческих или латинских формах. Поэтому в парадигмы прошедших времен во 2 или во 2 и 3 лице вводятся л-формы, что позволяет разрешить омонимию, т. е. получить приемлемую для тогдашних лингвистических воззрений парадигму. Именно так и поступает Дм. Герасимов в своем «Донатусе» (Ягич 1896, 566–567, 572, 575, 578, 583), ср., например, в парадигме «четвертаго согласи» (там же, 578):

| | Минувшее несвершенное | Минувшее свершенное | Минувшее пресвершенное |
|--------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| Ед. ч., 1 л. | услыша ^х | слыша ^х | слыха ^х |
| Ед. ч., 2 л. | услыша ^л еси | слыша ^л еси | слыхалъ еси |
| Ед. ч., 3 л. | услыша ^л есть | слышалъ | слыхалъ тои |
| Мн. ч., 1 л. | услышахо ^м | слышахо ^м | слыхахомъ |
| Мн. ч., 2 л. | услышасте | слышасте | слыхасте |
| Мн. ч., 3 л. | услысахѹ | слышаша или услышати | слыхахѹ |

Этот способ построения парадигмы с теми или иными несущественными вариациями усваивается затем всеми последующими восточнославянскими грамматиками книжного языка (Живов и Успенский 1986, 261; Успенский 2002, 226–229). Составление таких контаминированных (с нашей точки зрения, но не с точки зрения тогдашних книжников) парадигм относится к плану собственно грамматической нормализации.

В тех исправлениях, которые Максим Грек (в сотрудничестве с тем же Дм. Герасимовым) вносил в отредактированную им Толковую Псалтырь и Цветную триодь, эта нормализация становилась основой книжной справы. Так, в редакции Толковой Псалтыри, осуществленной в 1521–1522 гг., встречаются замены типа следующих (Ковтун и др. 1973, 108)⁴⁶⁰:

| Стих | Традиционный текст | Текст Толковой Псалтыри, исправленной Максимом |
|--------|-------------------------------|--|
| 79: 13 | въскоюю разори шплотъ его | разорилъ еси |
| 80: 8 | въ скорби призва ма | призва ^а ма еси |
| 85: 7 | яко оуслыша ма | оуслыша ^а ма еси |
| 85: 9 | еси азъици елико сотвори | сотвори ^а еси |
| 87: 8 | и вса волны твоа наведе на ма | навелъ еси |

Такие же исправления делает Максим и в Цветной Триоди, работа над которой была закончена в 1525 г. (Кравец 1991, 250):

| Лист | Традиционный текст | Текст с правкой (ГИМ, Щук. 329) |
|------|------------------------|---|
| 4об. | въз ^а вигну | въз ^а вигну ^а еси |
| 23 | не прѣатъ | не прѣала еси |

⁴⁶⁰ Сводку примеров произведенных Максимом Греком исправлений можно найти также в работе В. А. Ромодановской (Ромодановская 2000, 234–235). Ромодановская связывает замену аориста перфектом не со стремлением устранить омонимию, а с тем, что латынь выступала как своего рода язык-посредник между греческим и славянским. Латинский перфект соответствовал греческому перфекту и греческому аористу, т. е. покрывал и перфектные, и аористные значения. В «Донатусе» Дмитрия Герасимова «латинский перфект последовательно передается славянским перфектом» (там же, 238). Поскольку в той процедуре перевода греческих текстов на славянский, которой следовал Максим Грек, латынь играла роль посредника, это, с точки зрения Ромодановской, закономерно приводило к постановке перфекта на место аориста предшествующих переводов. Это осмысленное и интересное объяснение, однако оно не учитывает того факта, что перфект заменяет аорист 2 лица ед. числа (равно как и имперфект 2 лица ед. числа) в грамматических пособиях, которым латинский образец вряд ли может быть приписан (например, в «Адельфотесе» 1591 г. – см.: Адельфотес 1591, л. 160, 164, 174). Отсюда следует, что основным фактором было стремление устранить омонимию или, иными словами, построить «нормальную» глагольную парадигму. Эта ориентация на идеальную грамматическую модель была, очевидно, и у Максима; в ином случае он бы легко, надо думать, отступился от своего латинского заворота. Таким образом, грамматический подход играет главную роль в переводческой стратегии Максима, а латинское посредство является дополнительным фактором.

| Лист | Традиционный текст | Текст с правкой (ГИМ, Щук. 329) |
|-------|--------------------|---------------------------------|
| 76 | стоаше | стоаа еси |
| 91об. | възбранше | възбраниаъ еси |

Такую же справку Максим продолжает и позднее, несмотря на преследования со стороны приверженцев традиционного текста, на обвинительный приговор, вынесенный двумя судами над ним в 1525 и 1531 гг. (Ковтун и др. 1973; Живов и Успенский 1986, 259–260), и это упорство показывает, что речь шла не о случайных заблуждениях или недостаточном знании церковнославянского языка, а о принципах перевода. Максим приносил покаяние и писал своему обвинителю митрополиту Даниилу, что он «дважды и трижды падал ниц перед Священным собором, раскаивался и просил прощения за непреднамеренно допущенные ошибки при переводе и переписке книг» (Синицына 2008, 31). Раскаяние, однако, не касалось принципов. Славянские парадигмы должны были соответствовать греческим, и если в них какие-либо члены не различались, это было недостатком, требующим исправления.

Отвечая своим противникам, полагавшим, что, производя замены, Максим существенно менял смысл текста, Максим указывал, что «в том разньства никоторого нет, а то мимошедшее и минувшее...» (Покровский 1971, 90; ср. 109, 126, 140, 158, 160). Этот ответ красноречиво свидетельствует о том, что правильность изменений для Максима и его учеников связывалась исключительно с грамматическими соображениями, с грамматической классификацией форм: существенной оказывалась принадлежность форм к одному разряду в грамматическом описании (которое, понятно, могло быть достаточно искусственным), тогда как несходства в традиционном употреблении этих форм выпадали из сферы внимания.

Интерпретация фразы Максима о том, что «в том разньства никоторого нет, а то мимошедшее и минувшее», вызывает определенные сложности. Конкретно речь шла о замене в Триоди фразы «сѣдѣ одесную Отца» на «сѣдѣлъ одесную Отца». Максим полагает, что никаких семантических изменений при такой замене не происходит и именно в этой связи говорит о «мимошедшем» и «минувшем». Это могло значить, что он рассматривает данные формы как синонимические, относящиеся к одной парадигме и, говоря о «мимошедшем» и «минувшем», подчеркивает, что они означают одно и то же (как можно было бы сказать сейчас, «то, что прошло» и «то, что миновало»). Термины «мимошедшее» и «минувшее» должны в этом случае рассматриваться как абсолютные синонимы. Такое синонимическое употребление известно в славянской традиции, ср. в трактате «О осмих частех слова» при перечислении времен глагола «се яви дѣйство мимошедшаго времени» и в конце этого перечисления «се яви рѣчь дѣйство минуѹвшаго и настоящаго и воудѹщаго времени» (Ягич 1896, 50); и Максим, и его противники могли быть знакомы с таким употреблением.

Существует и другая возможность. Оппоненты Максима указывали ему, что соответствующие формы не синонимичны; для Максима это должно было означать, что они относятся к разным временным парадигмам. Возможно, он был готов согласиться и с такой трактовкой, но указывал при

этом, что и «минувшее», и «мимошедшее» относятся к прошедшему времени. Он мог здесь опираться на традицию греческой грамматики, воспринятую и славянской грамматической традицией, в которой время членилось сначала на настоящее, будущее и прошедшее, и лишь потом, внутри этой схемы, давалась более частная классификация прошедших времен, ср. реализацию этой схемы в грамматике Лаврентия Зизания: «**Време^нже Три. Настоящее. Протѣженное. И Бѣдѣе. Изъ ннѣже и инѣа три ра^здаю^тся**» (Зизаний 1596, л. 53об.). Схемы порождения времен шли из греческой традиции, в частности от учителя Максима Грека Константина Ласкариса (Захарьин 1995, 98–102)⁴⁶¹. При таком подходе различные формы прошедших времен выступали как семантически однородные, и эта однородность исключала, с точки зрения Максима, ту радикальную перемену смысла, в которой его обвиняли. Что бы ни имел в виду Максим, очевидно, что его аргументация апеллирует именно к грамматике, к грамматической классификации форм, которая, на его взгляд, и должна быть единственной основой их правильного употребления.

Противники Максима исходят из употребления тех или иных форм в церковнославянской письменности и сопоставляют отдельные фрагменты текста, не обращая внимания на то, как встречающиеся в этих фрагментах формы могут быть сведены в парадигмы. Конечно, сам вопрос о правильной интерпретации грамматических форм был поставлен перед ними в силу развития грамматического подхода и начала книжной справы (ранее, надо думать, подобные проблемы не возникали, а потому и позиции не формулировались), однако они этот подход отвергают и основываются на подходе текстологическом. Они пользуются тем самым механизмом семантического переосмысления, действие которого мы прослеживали в летописных памятниках. Противники Максима полагали, что формы типа *сѣдѣ* и *сѣдѣлъ еси* различаются тем, что последняя обозначает действие, начавшееся и завершившееся в прошлом, тогда как первая на завершение действия не указывает. С точки зрения противников Максима, «Максим говорил, и учил, и писал о Христе, яко сидение Христово одесную Отца мимошедше есть, и где было в здешних книгах написано 'и седе одесную Отца' <...> и он то зачер-

⁴⁶¹ Весьма возможно, что эта же греческая схема ограничивает набор временных форм в разбиравшемся выше «Надписании буквам». Мы находим там: «**времена. Видѣхъ, вижѣ, оувижѣ**» (л. 31; Кузьминова 2002, 67), т. е. набор из прошлого, настоящего и будущего. Комментируя это место, Е. А. Кузьминова пишет, что подобная система «не традиционна для славянских грамматических описаний» и что «ориентация их авторов на греческую и, реже, латинскую модель приводила к стремлению увидеть в славянском языке те же грамматические категории, что и в античной грамматике» (там же, 258). С этой ориентацией Кузьминова связывает обширные наборы времен, встречающиеся в славянских грамматиках. В то же время «отказ от подобной схемы» автор соотносит с тем, что адресатом «Надписания» являются «простейшие», которым надо было наиболее элементарным образом объяснить «грамматическую семантику маркированно-книжных форм» (там же). Мне кажется предпочтительным объяснять эту особенность «Надписания» ориентацией на греческую традицию или ее славянские продолжения (автор, например, знал грамматику Зизания) – однако же не на ту греческую традицию, которой следует трактат «О осмих частех слова».

нил, а иное выскреб и вместо того написал: <...> инде 'седел есть', а инде 'седел еси одесную Отца' написал» (Покровский 1971, 126). Митрополит Даниил, возглавлявший оба судебных процесса против Максима, вопрошал его: «Чего ради Христово седение одесную Отца мимошедшее писал еси и говорил и учил многих тому» (там же, 90). Максим якобы учил, что Христос более не сидит одесную Отца, и это, несомненно, было похоже на ересь. Как впоследствии объяснял Максим в «Исповедании православныя веры», его обвинители утверждали: «Се Максим яве отлучает еже одесную седалища Бога и Отца сопрестольника и соприсносущие Сына его, сие бо *седел еси* <...> мимошедшаго времени есть, глаголют, сказательна, а не настоящего и всегдашняго» (Максим Грек, I, 32).

Такая интерпретация основана на соотнесении книжных претеритов с видовым противопоставлением: *сѣдѣ* соотносится с формой сов. вида (*сел*), *сѣдѣлъ еси* – с формой несов. вида (*сидел*), и их семантические различия приписываются соответствующим элементам текста. Видовая оппозиция для данной пары глаголов в прош. времени означает противопоставление инхоатива (*сел* 'начал сидеть и, возможно, продолжает'; ср. многочисленные случаи употребления выражения *сѣде на столѣ* в значении 'возшел на престол' – Живов и Успенский 1986, 262, 277) и завершенного (ограниченного временным пределом в прошлом) действия (*сидел* означает, что больше не сидит). Мы видим здесь весьма ясный случай того, как книжные формы осмысляются с помощью категориального грамматического аппарата, приущего живому языку.

Максим и его последователи понимали данное различие иначе. Для них эти формы выступали как варианты способы обозначения действия в прошлом, причем форма *сѣдѣ* закреплялась за 3 л. ед. числа, а форма *сѣдѣлъ еси* – за 2 л. Они не стремились к установлению семантической дифференциации форм аориста и перфекта, поскольку традиция греческой грамматики, в которой время членилось сначала на настоящее, будущее и прошедшее и лишь потом, внутри этой схемы, давалась более частная классификация прошедших времен, позволяла рассматривать различные формы прошедших времен как семантически однородные. Существенным для них было разрешение омонимии 2 и 3 л. ед. числа аориста (и имперфекта) (Живов и Успенский 1986, 259–262; ср.: Ковтун и др. 1973; Живов 1986а; Успенский 1987, 151–166). Это различие установок и приводило к конфликту в интерпретации данных форм. Самый конфликт, таким образом, выступает как частный случай столкновения текстологического и грамматического подхода в истории славянских литературных языков (ср.: Толстой 1963, 259–264; Толстой 1976, 178–179).

Несколько более сложный случай, реализующий, впрочем, тот же способ переосмысления книжных форм с помощью категорий живого языка, представляет собой полемика относительно форм глагола *быти*. Максим в стихе из Псалтыри (Пс. 89: 2) заменил *Господи приѣѣжище бысть намъ въ родъ и родъ* на *Господи приѣѣжище былъ еси намъ въ родъ и родъ*. И эта замена могла восприниматься как указывающая на завершенность действия в прошлом, т. е. на те невозможные обстоятельства, когда Господь перестает быть прибежищем для своих людей. Именно так интерпретировал эту за-

мену тверской епископ Акакий, скорее покровительствовавший Максиму, но бывший не в состоянии пройти мимо такого заблуждения. Мы узнаем об этом из Послания брату Григорию самого Максима, в котором он сообщает: «Слышал есмь стороною, что государь наш владыка тферской смущается о мнѣ бедном пословицею сею: “Господи, прибѣжище был еси нам” и говорит, оглаголюя мене напрасно: восе-де Максим писанием сицевым своим мудръ-ствует, что нам ужъ нѣсть прибѣжище к Богу. Избави мя, Господи, от тако-выхъ хулы <...> А сіа пословица: был еси не отлучает нас Божіаго Промысла и прибѣгства, якоже владыка толкует, но наипаче исповѣдует и твердо яв-ляет Божій, иже о нас Промысл, явѣ глаголя, яко не точію нынѣ прибѣжище еси намъ Господи, но искони челоувѣчьскаго рода бысть или был еси прибѣжище нам. Сіе бо сказует нам еже в род и род, еже есть выну, сирѣчь изначала и нынѣ еси прибѣжище нам и до скончаниа вѣка будеши» (Максим Грек, II, 421–422; см. подробнее: Живов и Успенский 1986, 263–266). Аргу-менты Акакия были, видимо, идентичны тем, которые высказывал митро-полит Даниил, осуждая появление *сѣдѣль еси*. У Максима, однако, в этом случае оказывались лучшие возможности, чтобы защитить себя от обвине-ний. Он указывал на адвербиальную группу *в род и род*, которая не должна была совмещаться с законченностью действия в прошлом. И в самом деле, данный контекст показывает, что Максим значения завершенности форме *был еси* не приписывал. И в данном случае он заботился о грамматике и в силу этого оставался нечувствителен к семантике, к тем разным вариантам глагольного действия в прошлом, которые он объединял под рубрикой прош. времени, игнорируя более тонкие различия.

Правка Максима не была принята, и все описанное выше можно было бы трактовать как любопытный, но не имевший существенных последствий эпизод из истории столкновения разных лингвистических восприятий (или, можно даже сказать, лингвистических мировоззрений). Этот эпизод, однако, имел существенные последствия, хотя, возможно, и не прямые. Никоновские справщики повторяли исправления, сделанные Максимом. Неясно, впрочем, обращались ли они непосредственно к правке Максима. На употребление Максима может ссылаться Евфимий Чудовский по поводу слова *дракон* (Никольский 1896, 126–129; ср. еще: Крылов 2009, 335), однако эти единичные ссылки появляются лишь на последнем этапе sprawy и ничего не говорят о том, что было известно справщикам в 1650–1660-х годах. Максим, конечно, пользовался авторитетом, его рассуждения о языке были введены в качестве предисловия в московское издание грамматики Смотрицкого 1648 г., которая могла даже называться благодаря этому Максимовой грамматикой. Можно утверждать, что, исправляя аорист на перфект, «никоновские справщики следовали <...> традиции, идущей от Максима Грека» (Успенский 2002, 450; ср. еще там же, 460), но это, конечно, не равнозначно прямому использованию правки Максима как прецедента. У них явно были более непосредственные источники, прежде всего грамматика Смотрицкого, однако типологически их деятельность исходит из того же представления о роли грамматической нормализации, необходимости устранять омони-мию, необходимости соотносить славянский текст с греческим, которое было свойственно Максиму. Это и позволяет говорить о них – хотя бы в

некотором не слишком определенном смысле – как о продолжателях Максима.

Преемственность, хотя бы и непрямая, выражается даже в тождестве ряда исправлений. Никоновские и послениконовские справщики довольно последовательно исправляют формы аориста (и более редкого имперфекта) во 2 лице ед. числа на формы перфекта (Успенский 2002, 235–237), в том числе они правят Пс. 89: 2 **Господи приѣѣжице бысть намъ въ родъ и родъ на Господи приѣѣжице былъ еси намъ въ родъ и родъ**, а в пасхальном тропаре **И на престолѣ бѣаше Христе со Отцемъ и Духомъ на И на престолѣ былъ еси Христе со Отцемъ и Духомъ**. Замена форм аориста 2 лица ед. числа на формы перфекта начинается с первых опытов никоновской справы и продолжается до ее последнего этапа, когда Евфимий Чудовский правит минеи (о чем Евфимий пишет в своем трактате «О исправлении в прежде печатных книгах Минеях» – Никольский 1896, 79; ср.: Успенский 2002, 236–237; Крылов 2009, 180–183). Нет сомнения, что справщики руководствовались теми же самыми соображениями, которые направляли Максима Грека: устранение омонимии форм 2 и 3 лица и ориентация на «правильно устроенную» парадигму (греческого образца), в которой такой омонимии нет. Последний момент становился особенно актуальным в силу того, что пособием для справщиков служила грамматика Смотрицкого, в которой, как уже говорилось, во 2 лице ед. числа парадигм прош. времени стояла форма перфекта (см.: Сиромаха 1979)⁴⁶².

Связь данного исправления с грамматическим подходом и со стремлением к разрешению омонимии видна в никоновской (и послениконовской) справе и в том, что оно осуществляется наряду с другими, реализующими ту же установку на однозначность. Так, формы род. мн. существительных м. рода, омонимичные формам им. ед. тех же существительных, в ходе справы заменяются на формы с флексией *-овъ*. Как отмечает Б. А. Успенский, «при исправлении Требника для московского издания 1658 г., в основу которого положено киевское издание 1646 г., справщики правят киевское издание, последовательно добавляя окончание *-овъ* (*-овъ*) в интересующих нас формах, например, *аѣгль* заменяется на *аѣгльовъ*, *пѣрокъ* – на *пѣрокъовъ*, *аѣль* – на *аѣльовъ*, *мѣчникъ* – на *мѣчникъовъ*, *іерархъ* – на *іерархъовъ*, *оучникъ* – на

⁴⁶² Нет никаких оснований приписывать этой правке более глубокие «философические» корни и писать, как это делает о. Георгий Крылов, о «последовательной нелюбви справщиков к аористу», связывая ее с тем, что «справщики сознательно разрушали средневековую славянскую систему сакрализованных форм» (Крылов 2009, 182, 248). Выкладки о значении времен и об их сакральности или профанности были не мотивами справы, а результатом ее полемического переосмысления. Конечно, противники справы (а ранее противники Максима Грека) в своих полемических выпадах говорили о «всегдашнем» времени и времени «преходящем», но было бы опрокинуто придавать этим высказываниям «объективное» значение, вырывая их из их полемического контекста. Такого значения они не имели, никаким собственно лингвистическим содержанием не обладали и никакого традиционного восприятия глагольных форм не отражали (само существование такого восприятия вне полемики крайне сомнительно). В этом контексте кажутся неуместными и те псевдофилософические построения, которые предлагала С. Матхаузерова, рассуждая о временах «бытия» и «предбытия» (Матхаузерова 1976).

оучникъвъ, иноплеменикъ – на *иноплеменикъвъ* и т. д. (см. кавычный экземпляр киевского издания с исправлениями московских справщиков – РГАДА, ф. 1251, № 978/1460, ч. 2, л. 184, 187, 194, 225, 254, 258, 284 и т. д.). Еще более показательно, что Епифаний Славинецкий, исправляя Символ веры, заменяет *вѣкъ* на *вѣкъвъ, члѣкъ* – на *члѣкъвъ* (Гезен 1884, 126)» (Успенский 2002, 450–451). И здесь речь, надо думать, идет не о «буквальном следовании греческому оригиналу» (там же, 451), а об устранении омонимии и одновременно ориентации на греческую грамматическую модель (в которой такая омонимия отсутствовала).

Замечательным образом, никоновская справа вызывает точно такие же протесты у старообрядцев, как правка Максима Грека у его противников, и это, конечно, тоже своеобразный элемент преемственности. Старообрядческий священник Лазарь видел в сделанных исправлениях утверждение о том, что Христос перестал быть прибежищем верующих и не сидит более «со Отцем»: «Да в' новыхъ <...> книгахъ напечатано: Г^ѣди прибѣжище былъ еси намъ. Еще же и в' тропарѣ напечатано: На пр^ѣтолѣ был еси Хр^ѣте со Оцѣмъ. И тѣ рѣчи Хр^ѣтѣ в' похъленіе и ѿметны, сею рѣчию сказъютъ намъ Г^ѣдне прибѣжище и на пр^ѣтоле его бытіе мимошедшее» (Симеон Полоцкий 1667, л. 133; Материалы, IV, 192). Лазарь воспринимает прошедшие времена книжного языка через призму категорий живого языка и делает это так же, как делали противники Максима за век с лишним до этого.

Еще яснее и четче сформулировано это восприятие у инока Савватия, подавшего в 1660-х годах челобитную с протестом против исправления книг. Савватий пишет: «сами справщики совершенно грамматики не умѣютъ и обычай имѣютъ тою своею мѣлкою грамматикою Бѣа опредѣляти мимошедшими времена и страшному и неопisanному Бж^ѣтву его гдѣ не довлѣетъ лица налагаютъ. В воскресном, г^ѣдрѣ, тропарѣ на пасху еже “во гробѣ с плотію” прежде сего печатали: “и на престолѣ бѣяше Хр^ѣте со Оцѣмъ и Дх^{омъ} вся исполняя неописанный”. А ѿнѣ в новой треоди напечатали мимошедшимъ временемъ: “... и на пр^ѣтлѣ былъ еси Хр^ѣте со Оцѣмъ и Дх^{омъ}”, якоже бы иногда был а иногда нѣсть <...> тою своею глупостию разлучаютъ Его от Оца и Дха, и от пр^ѣтола не всегда глѣют Его со Отцемъ и Дх^{омъ} на пр^ѣтолѣ быти <...> А индѣ за бысть – был же еси печатаютъ не гораздо. Яко же во псалтырѣ <...> прежде сего печатали: “Г^ѣди прибѣжище бысть намъ”, а ѿнѣ печатают: “Г^ѣди прибѣжище был еси намъ”. <...> А индѣ и глупіе того учинили <...> в субботу на вечернѣ на стиховнѣ в' славникѣ <...> егда первое обрѣте Ісѣ разслабленнаго при купѣли на одрѣ лежаща и сотвори его здрава, такоже соврали, напечатали, яко глѣ ему Ісѣ: “возми одрѣ свои и ходи, се здоровъ был еси, къ тому не сгрѣшай”; а онъ до Хр^ѣста здоровъ не бывалъ, а по исцеленіи боленъ не бѣ. <...> А учили такъ плутати недавно. Прежде сего и они так не печатавали. А свела их с ума несовершенная их грамматика да приѣзжие нехаи [видимо, имеются в виду украинцы. – В. Ж.]. В' бѣсловныхъ, г^ѣдрѣ, кнѣгахъ пишетъ, яко бѣяше непредѣльная рѣчь при Бжѣ глется искони и присносущное, а бысть при члвцѣ и при иныхъ тварѣхъ, отнележе наста что, обачѣ от начатка и то присносущное же. А был еси всегда глется мимошедшее, яко здѣ или ондѣ был <...> Непшуютъ себе, яко по грамматикѣ втораго ради лица за бѣяше и за бысть удобно глати был еси

и бывал еси. И грамматика в сихъ не потреба» (ГИМ, Увар. 497/102, XVII в., л. 6–8об.; ср.: Три челобитные 1862, 22–27; Успенский, III, 373–375; под «богословными книгами» имеется в виду Шестоднев Иоанна Экзарха Болгарского).

Савватий дифференцирует *бѣше*, *бысть* и *быль еси* семантически; первой форме приписывается состояние без начала и конца, второй – инхативное значение, а третьей – значение завершившегося в прошлом состояния. Такое восприятие временных категорий обусловлено характером традиционной образованности. Она, как говорилось выше (§ II-3), предполагала понимание книжных текстов с помощью ресурсов живого языка обучающегося, что и приводило к соотносению форм книжного языка с категориями языка живого. На этом соотносении основывалось и активное употребление книжного языка. Отталкивание от живого языка, бывшее начальным импульсом к возникновению грамматического подхода к книжному языку, разрушало этот механизм. Протесты против правки, осуществленной в рамках грамматического подхода, ярко демонстрируют, сколь значительной инновацией был этот подход для традиционной языковой ситуации. Конечно, грамматический подход определял лишь небольшую часть книжного узуса, в основном, переработку (справу) уже существовавших образцовых текстов. Вне этой сферы и в особенности в области активного языкового употребления (создания новых текстов) он мог существенно влиять на установки автора, но не детерминировал до конца реального употребления. В этом плане грамматический подход к церковнославянскому языку у восточных славян существенно отличался от, например, грамматического подхода к латыни у западных славян или немцев – эталонная ситуация реализации грамматического подхода (Живов и Успенский 1986, 269–270). Тем не менее и в этом редуцированном виде грамматический подход создает ряд особых свойств нового языкового сознания и приводит к дифференциации новых вариантов книжного языка.

6. Церковнославянский как ученый язык

В результате становления грамматического подхода сторонники и противники Максима, а позднее никоновские справщики и их оппоненты-старообрядцы по-разному оценивают лингвистическую образованность. Для адептов грамматического подхода знание языка состоит прежде всего в знании грамматики; для сторонников же текстологического подхода знание языка заключается в знании текстов. Ср. противоположные характеристики (понятно, тенденциозные), которые известный старообрядческий писатель диакон Феодор дает патриарху Иоакиму и Спиридону Потемкину: «не знал он писания, разве азбуки,... и книг святых не прошлец и не читатель: понеже человек был служивой, и жил в глухой деревни, и зайцы ловил, а у церкви в реткой велик день бывал» (патриарх Иоаким), «писанию святых книг искусен вельми бе, умея бо сам греческий и латинский язык до конца, и польский, и ученый бе человек, и вся дни живота своего над книгами просидел» (Спиридон Потемкин) (Титова 1989, 117, 119).

С различием двух названных установок связана, видимо, и разная оценка языковой компетентности Максима. Так, Зиновий Отенский (бывший, впрочем, учеником Максима, но в своих лингвистических взглядах во многом придерживавшийся традиционного направления) писал, что «Максимъ русскаго языка мало разумѣя бѣ» и что он не познал «опаснѣ языка русскаго» (Зиновий Отенский 1863, 964, 967); характерно, что эти заявления стоят рядом со ссылками на древние переводы; Зиновий, надо думать, имеет в виду недостаточную начитанность Максима. Нил Курлятев, напротив, утверждал, что Максим «русской языкъ и грамоту знал до конца» (Ковтун 1975, 98), указывая при этом именно на знание грамматики. Эту возможность разных критериев оценки необходимо вообще учитывать при интерпретации многочисленных высказываний о знании или незнании книжного языка, нередко встречающихся в русских полемических сочинениях.

Как было уже сказано, Максима дважды судили (в 1525 и в 1531 гг.), и среди выдвинутых против него обвинений фигурировали и аргументы чисто лингвистического характера. Проведенная Максимом справа была отвергнута, однако справа, основанная на одних лишь текстологических соображениях (поиски наиболее древних и наименее поврежденных в языковом отношении списков и ориентация на них при исправлении книг), оказывалась мало результативной: не находилось критериев для выделения наиболее исправных (или наиболее древних) кодексов и вместе с тем указания подобных кодексов оказывались противоречивыми. Когда с развитием книгопечатания книжная справа сделалась неустранимой составляющей книжного дела, обращение к грамматическим критериям стало неизбежным, и история книжной sprawy XVII в. показывает, что в той или иной мере к ним обращались справщики разных направлений. Как уже говорилось, принципы и конкретные параметры sprawy, проведенной Максимом, находят продолжение в деятельности никоновских и послениконовских справщиков. Грамматические критерии, однако, играли роль и в дониконовской справе, как можно видеть из полемики московских справщиков (Ивана Наседки и игумена Ильи) с Лаврентием Зизанием (ср. цитировавшийся выше отрывок из их прений). Таким образом, грамматический подход прочно утверждается в русской книжности, и отдельные протесты против его частных приложений остаются лишь второстепенными моментами в общем развитии.

Прямым следствием утверждавшегося грамматического подхода была переоценка предшествовавшей книжной традиции и, в частности, тех явлений, которые получили распространение со «вторым южнославянским влиянием». В литературе встречаются суждения, согласно которым в Московской Руси в XVI в. «наблюдается реакция на это влияние» (Успенский 1983, 64; ср. еще: Успенский 2002, 342–345; Ковтун 1971). Основным свидетельством этой реакции является предисловие ученика Максима Грека Нила Курлятева к переведенной Максимом в 1552 г. Псалтыри (см. публикацию: Ковтун 1975, 94–98), в котором языковая практика Максима противопоставляется языковой практике митрополита Киприана. Отталкивание от языковой практики Киприана, который как бы олицетворяет «второе южнославянское влияние» (как можно видеть из сказанного выше, такое

олицетворение может быть принято лишь с очень существенными оговорками), в языковой деятельности Максима и его учеников и рассматривается как названная выше «реакция». О чем же пишет Нил Курлятев?

Нил говорит прежде всего о том, что Максим был «добрѣ умѣющимъ грѣчески и латынски и руски, и словеньски, болгарски и сербьски языком и грамотамъ», и подчеркивает, что Максим «русской языкъ и грамоту знал до конца», т. е. владел русским церковнославянским в совершенстве, как ученый человек. Вместе с тем Нил обращает внимание читателя на то, что Максим кладет в основу своего употребления грамматические параметры и это позволяет ему последовательно передавать в славянском тексте глагольные формы: «Что повелительно или сказательно или вопросительно или будущее или минувшее и настоящее, все инокъ Максим грѣкъ сказал извѣстно потонку и исполнено на русской языкъ» (Ковтун 1975, 98). Таким образом, подчеркивается грамматическое знание Максима и как свидетельство этого грамматического умения указывается на дифференцированное и регламентированное употребление признаков книжности (глагольных форм). В этом контексте следует рассматривать и ту оценку, которую Нил дает митрополиту Киприану: «А Киприянь митрополит по гречески извѣстно не умѣл и русского языка довольно не зналъ» (там же, 96). Под знанием и умением Нил подразумевает грамматическое знание и грамматическое умение, и именно они (а отнюдь не обычные речевые навыки) отсутствовали, по мнению Нила, у Киприана. Это грамматическое знание рассматривается и как необходимая предпосылка правильного перевода. Вообще правильность порождения и воспроизведения текста требует соблюдения грамматических установлений, а правильность перевода – умения дать грамматический анализ переводимого текста и найти славянские эквиваленты для категорий греческого оригинала.

Именно этот подход отражается в диалоге Максима Грека и Нила, который воспроизводит Нил в своем предисловии. Максим говорит: «К тому^ж по грѣчески рѣчи ѿвмасия су, по руски чюдѣсная. И я ему о^твѣща^а: а у на^а стои^т чюдѣса. И старѣць о^твѣща^а: да у на^а по гречески Нилѣ прямо ѿвмасия су, а по вашему чюдѣсная. По грѣчески ѿвмата по нашему чюдеса» (Ковтун 1975, 97). Речь идет, видимо, о стихе Пс. 88: 6, который в стандартном славянском переводе читается так: «Исповѣдять небеса чудеса твоя Господи...» (ср. в русском переводе: «И небеса прославят чудные дела Твои, Господи»). В греческом тексте здесь стоит: «Ἐξομολογήσονται οἱ οὐρανοὶ τὰ θαυμάσια σου, κύριε». По мнению Максима, славянские переводчики не опознали здесь прилагательного θαυμάσιος в вин. мн. ср. рода (оно употреблено здесь в обобщенно-субстантивированном значении) и поэтому перевели его существительным «чудеса». Правильный перевод требует, с точки зрения Максима, уяснения грамматического статуса греческой формы и нахождения ее славянского грамматического эквивалента («чудесная твоя»). Неумение найти точный грамматический эквивалент рассматривается Максимом как следствие недостаточного знания греческой грамматики и недостаточной разработанности славянской. Целью оказывается такая разработка славянской грамматики, при которой она была бы во всех случаях способна передать грамматическую изощренность классических языков.

Этот взгляд на требования к грамматически исправному переводу усваивается и позднейшими поколениями русских книжников. Так, в том споре о молитве Господней, который вел Лаврентий Зизаний с московскими справщиками и который цитировался выше, имеется ссылка и на греческий текст молитвы с грамматическим разбором этого текста и с выводами о том, какая славянская конструкция должна передавать соответствующую греческую. Вот этот фрагмент: «Лаврентиі рече: По греческому языку так говорится, что освятится имя твое. Кто у вас умѣт по гречески? Мыж рѣхом ему: Умѣм по греческиі столко, что не дадим ни у каковы рѣчи никакова слога ни убавити, ни приложити. Да есть у государя нашего царя і великого князя Михаила Феодоровича всеа Русиі перевотчики греческого языка и грамоте умѣють и псалмы в церкви говорят, і они говорят: да святится, а не освятится, агиасѣито, а не: ина агиасѣито» (Прения 1859, 95; речь идет о следующих словах молитвы Господней: ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου; московские справщики указывают, что в молитве нет союза ἵνα, после которого возможно желательное наклонение). Как можно видеть, выработанные Максимом принципы находят применение и в справе дониконовского времени.

Такой подход к книжному языку делает ненужным и бесполезным «украшением» всякое некритическое подражание взятым в качестве модели южнославянским образцам. Именно такое некритическое подражание и ставится в упрек прежним переводчикам: «А пре^жнии перево^аницы нашего языка извѣст^{но} не знали, и они перевели ово греческ^и ово словес^аски, ово сербьски и ино бо^агар^аски» (Ковтун 1975, 96). Как показал Г. Кайперт (1985), речь у Курлятева идет не о радикальном отвержении результатов второго южнославянского влияния, а об отказе от некоторых периферийных элементов, не входящих в норму книжного языка как таковую. Можно сказать, что Нил отвергает все то, что, восходя к южнославянской книжной традиции, не обобщается в правилах и таким образом оказывается за пределами грамматической нормализации.

Так, в орфографии в качестве недостатков предшествующих переводов отмечается смешение отдельных букв, характерное для южнославянских рукописей и окказионально встречающееся в русских списках: «По рускому по нашему языку, гдѣ надобет^т а, а по сербьски ѣ, или ж по руски о, а по сербьски ж, по руски ы а по сербьски и» (Ковтун 1975, 96; ср.: Кайперт 1985, 149–151). В то же время Нил отнюдь не отвергает тех инноваций, которые появились со «вторым южнославянским влиянием» и вошли в правила русской церковнославянской орфографии (например, написание **жд** в соответствии с *dj, написание **ї** перед гласной и т. д.). Аналогичная установка реализуется и в лексике: «А рѣчи по нашему незаме^али, а сербьски или буде^т бо^агарски не замуди, по руски ме^алѣно или косно или гу^аниво языченъ, а сербьски му^аноязыченъ и про^ачие рѣчи намъ неразумны: бох^ама, васнь, рѣснотивие, цѣщи, ашуть и многа ины^х таковы^х мы не разумѣ^а ино сербьски и ино бо^агар^аски» (Ковтун 1975, 97; ср.: Кайперт 1985, 151–153)⁴⁶³.

⁴⁶³ Как показала Л. С. Ковтун, примеры непонятных слов взяты Курлятевым из «Тлъкования неудобъ познаваемомъ въ писаныхъ рѣчемъ», словарики, прилагаемом к Лествице Иоанна Синайского; перевод Лествицы был сделан в Болгарии, и «Толкование»

Отвергаются, таким образом, те специфически книжные элементы, которые остаются непонятными для русского книжника и требуют отдельной словарной (а не грамматической) выучки. О тех специфически книжных элементах, которые появляются в результате эксплуатации книжных словообразовательных моделей, Нил не говорит ничего и, видимо, принимает их без оговорок. Как пишет Г. Кайперт, «Er scheint keine Einwände gegen die zahlreichen neuen Ableitungen und Komposita zu haben, die durch den Zweiten südslavischen Einfluß auch ins ostslavische Schrifttum gelangt sind und so die derivativen Möglichkeiten in Russisch-Kirchenslavischen vermehren» (Кайперт 1985, 151). Можно полагать, что Нил отказывается от внешних путей пополнения книжной лексики и ориентируется на внутренние возможности расширения словарного запаса, соответствующие грамматическому подходу к построению книжной нормы.

Те элементы, которые не поддаются нормализации, воспринимаются при подобной установке как чуждые книжной норме. Поскольку грамматические правила тем или иным образом ориентированы на доступную русскому книжнику лингвистическую информацию, идущую по большей части из знания родного языка, формирующаяся при грамматическом подходе книжная норма опирается на автохтонную книжную традицию. Соответственно, те элементы, которые оказываются чуждыми этой норме, воспринимаются как иноязычные. Такое восприятие актуализует локальный характер отвергаемых элементов, их принадлежность к иным, не русским изводам книжного языка. Именно поэтому Нил и характеризует их как «сербские» и говорит, что появляются они в силу неправильного (неразумного) понимания книжного языка: «И нѣѣ многие у нас в руском языцѣ книги пишутъ от неразумия все по сер'бски и говорити по писму, по нашему языку, не умѣють прямо» (Ковтун 1975, 96); ср. приведенную выше цитату, где Нил упрекает неумелых переводчиков в том, что они переводили «ово словѣ^нски, ово сербѣски и ино бо^ггар'ски»⁴⁶⁴. В отличие от подобных книжников, Максим «все перевел з греческие грамоты на рускую

появляется в восточнославянских рукописях уже в XIV в. Курлятев пользовался второй редакцией этого словарика (Ковтун 1971, 6; публикацию «Толкования» см.: Ковтун 1963, 421–431), причем пользовался весьма избирательно, выбирая наиболее непонятные элементы (Кайперт 1985, 151). Сербскому или болгарскому эти слова приписаны вполне произвольно (Толстой 1988, 119).

⁴⁶⁴ И эти указания Нила на другие славянские языки отсылают, как отметила Ковтун (Ковтун 1971, 6), к «Тлъкованию неудобъ познаваемомъ въ писаныхъ рѣчехъ», в котором непонятным словам даются переводы, «понеже положены сѣть рѣчи въ книгахъ отъ началныхъ рѣводникъ ово словѣнски и ино сръбски и дръгаа вѣлгарски, их же не удоволишася рѣложити на рускыи» (Ковтун 1963, 421). Ко времени Нила эта трактовка непонятных слов как инославянских сделалась, видимо, штампом, использовавшимся книжниками при опознании неместного происхождения копируемых ими рукописей, см. в приписке к Словам Григория Богослова по рукописи 1479 г. (РНБ, Погод. 989), в которой говорится, что оригинал был написан «сербскою грамотою», а переводчик перевел «ово волгарьски <...> а ино сербски» и «не оудоволишася. прело[жи]ти на роу[с]скыи языкъ. по[н]еже шврѣтается во иномъ язы[ц]ѣ глѣ красенъ. а в дроу[с]къ не красенъ» (Гальченко 2003, 125).

грамоту без украшенія по рускому языку» (там же, 98). Именно к этому и сводится реакция на «второе южнославянское влияние»⁴⁶⁵.

Развитие грамматического подхода изменяет и соотношение, и интерпретацию регистров книжного языка. Повторим еще раз, что грамматический подход отнюдь не охватывает всю книжную письменность, он явно – и в XVII, и тем более в XVI в. – остается доступен лишь ограниченной группе книжников, тогда как большинство занимающихся книжной деятельностью не только не овладевает этой премудростью, но, видимо, и вообще не знакомо с грамматическими трактатами. Они овладевают книжным языком традиционным образом и традиционным же образом его используют. В силу этого гибридные тексты оказываются, как правило, не затронуты новым развитием, а гибридный регистр продолжает функционировать без существенных изменений. Меняется не его функционирование, а его восприятие: те авторы, которые усвоили грамматический подход, рассматривают, видимо, соответствующие тексты как «малограмотные», созданные невежами, не утрудившими себя грамматическим учением.

Можно предположить, например, что именно против такого рода книжников направлены филиппики старца Евдокима, автора «Простословия», одного из грамматических трактатов конца XVI в.: «Слыша^х невѣждѹ глѹща, рече· что ми оучити бѣк'ва; треба ми оучити книги. не стѣпа первыа стопы в'торыа не стѣпити. невозможно, первыа стопы не положив'ше, вторыа положить. тако^ж не лѣтъ не оумѣа начала оученіа, и в конецъ извѣстнѹ быти гораздымѹ. кто сначала не оучитса изсрадно, сеи много матетса. мнѹси спѣша^т оучити книги, ѡлагають расличны оученіа бѣквы и всакѹ простотѹ, хоташе скоро мѹдрѣ ины^х быти, и того ради не полѹчаю^т искуснаго оученіа» (Ягич 1896, 633–634). Евдоким говорит здесь о тех, кто, не овладев элементарными грамматическими знаниями, выучивает книги (т. е. прежде всего Псалтырь) и после этого принимается писать, что и дает в результате гибридные тексты.

Правильный путь состоит в последовательном овладении разными уровнями грамматического учения. В предисловии к «Простословию» Евдоким пишет: «Аще кто простоты не оуразѹмѣетъ, тои не може^т быти м'рѹ. аще кто внимае^т простотѹ, тои може^т обрѣсти и ващши м'ростей» (Ягич 1896, 629). Под «простотой» очевидно подразумеваются элементарные грамматические знания, которые излагаются (по крайней мере, отчасти) в данном трактате: «Ищѹщи^м разѹма и требѹющимъ оума пре^аложи^х некниж'ное оученіе грамотѹ в'кратцѹ, оучреди^х е разѹмнѹ ради скорого оученіа и для искѹснѣишаго оумѣніа книжнаго» (там же, 630). «Некнижное учение грамоте» (если только здесь нет описки «некниж'ное» вместо «книж'ное») означает, скорее всего, свод правил, изучение которых противопоставляется прямому выучиванию книг. Это элементарное обучение является необходимым условием для последующего овладения «искуснейшим умением книж-

⁴⁶⁵ Подобный же отказ от «старых и иностранных пословиц» в пользу элементов автохтонной книжной традиции, согласующихся с грамматической нормализацией, можно видеть и в предисловии Досифея Топоркова к отредактированному им в 1528–1529 гг. Синайскому патерику (Смирнов 1917, 149; см.: Успенский 2002, 346–347).

ным» (возможно, что пособием для этого второго этапа обучения должна была служить, по мысли автора, вторая часть «Простословия», представляющая собой переработку «Донатуса» Дм. Герасимова)⁴⁶⁶.

Подобное представление об иерархическом отношении разновидностей книжного языка стимулирует классификацию вариантных средств выражения как элементарных или грамматически изощренных, что и организует эти разновидности в целостные системы (ср.: Успенский 2002, 375–377). Так, в том же «Простословии» находим следующие указания: «Идѣже глѣтса моужско има **вѣспомани его**, и то^ж глѣють **во^зспомани и**. а идѣже глѣтса женско има **воспомані ея**, и то^ж глѣтса **вѣспомани ю**. а иде^ж глѣтса посре^анее има, не мѣжско, ни женско, ꙗко же ꙗбо, слѣнце, мѣре· **вѣспомани его**, и то^ж глѣють **вѣспомани е**. а идѣже глѣтса множественному имани **вѣспомани и^х**, и то^ж глѣють **вѣспомани а**» (Ягич 1896, 640). Таким образом, вариантные языковые средства книжного языка оказываются разделенными на более сложные (более ученые) и менее сложные (менее ученые), и эти характеристики усваиваются целостным языковым системам⁴⁶⁷.

В этом контексте возникает новое отношение к книжному языку и вместе с тем новый подход к тексту, в том числе и к основному корпусу текстов. Этот корпус перестает восприниматься учеными книжниками как неприкасаемое священное предание, и его «правильность» связывается не с древностью, а с ученой филологической обработкой. На церковнославянский переносятся те критерии обработанности и грамматического искусства, которые для классических языков создавались западноевропейским гуманистическим движением. Максим Грек оказывается здесь не только наиболее влия-

⁴⁶⁶ Та же мысль о двусоставном (элементарном и искусном) характере книжного учения может быть отмечена, видимо, и в трактате «Написание о падениях с тонкословием». Обучение искусному владению книжным языком представлено здесь как тяжелый труд, требующий индивидуальных усилий и несущий награду сам в себе: «Нѣсть в то^а ничтоже аще кто стажаніе ізгѣби^т, занеже изащен всегда богатъ. мѣж бо мѣрѣ, ꙗкоже рече, стажаніе многѣ. Хотѣти оумѣти іно са оучити. а хотѣти гораздѣ быти іно радѣти и оу бѣа просити и вна^тно зрѣти во ѹчимое, іно себе не щадѣти. Внимаи ѡ си^х ѡ калиграфе» (Ягич 1896, 488–489).

⁴⁶⁷ Данный фрагмент «Простословия» восходит, видимо, к трактату «Написание языком словенским о грамоте и о ея строении» (см.: Ягич 1896, 381; ср. еще 723). Вопрос о соотношении разных грамматических сочинений несомненно нуждается в подробном текстологическом исследовании, однако производность «Простословия» по отношению к «Написанию языком...» следует уже из того, что в «Простословии» орфографические предписания «Написания языком...» соединяются с грамматической частью, перерабатывающей «Донатус».

Та классификация вариантных средств выражения, которая наблюдается в «Простословии», может быть отмечена позднее и в «Наказании учителем», приложенном к учебной Псалтыри, изданной в Москве в 1645 г. Здесь говорится, что «**по просторѣчию молвитсѣ вмѣстѣ, ѱ, его**» (Буслаев 1861, стб. 1086). Эта классификация является, видимо, переосмыслением вариантных отношений, характерных для традиционного книжного языка (ср. о вариативности форм *и* и *его* в текстах восточнославянского происхождения: Кленин 1983, 29–59). Принципы классификации достаточно очевидны: к грамматически изощренной разновидности относится элемент, отсутствующий в разговорном языке, к элементарной – присутствующий и в разговорной, и в книжной речи.

тельной, но и в определенном смысле символической фигурой. Как уже упоминалось, в годы своей жизни в Италии он входил в круг гуманистов, группировавшихся вокруг Платоновской академии во Флоренции, а затем участвовал в издательской деятельности Альдо Мануция в Венеции (Денисов 1943; Хейни 1973). Позднейший его отход от гуманизма и обращение к греческой патристической традиции не сказались, надо думать, на его отношении к филологическому знанию и представлениях о критериях обработки текстов: гуманистическая эрудиция и филологическая критика оставались для него необходимой предпосылкой адекватного понимания и толкования – не только Аристотеля и Платона, но и святоотеческой литературы. Это отношение он переносит и на почву церковнославянского языка, причем сам этот перенос обуславливает два новых момента. Во-первых, утрачивается связь гуманистической филологии с задачами восстановления античного наследия, ее объектом делается исключительно литература христианская (поскольку античный компонент в церковнославянской книжности отсутствовал). Во-вторых, проблема адекватной интерпретации текста соединяется с проблемой адекватного перевода. При всем этом герменевтическая техника остается гуманистической, и эта формальная сторона с необходимостью обуславливает инновации мировоззренческого характера⁴⁶⁸.

Если гибридный регистр в новой перспективе оказывается языком невежд, то язык, следующий грамматической нормализации, становится ученым языком, и это не может не отразиться и на характере его реформирования, и на его социальных функциях. Его реформирование превращается в ученую разработку, доводящую его до той эталонной сложности, которая задана греческим и необходима – с точки зрения учеников Максима и продолжателей его начинаний – для адекватного перевода греческих текстов. Говоря о греческом языке, Максим Грек писал: «**Оно же да въдомо есть**

⁴⁶⁸ Это новое – в восточнославянском контексте – понимание не остается специфичным для Максима Грека (который, конечно, стоит среди славянских книжников особняком). Его воззрения утверждаются и в России (ср.: Фрейданк 1968, 99, 107), и на Украине благодаря целой плеяде его учеников (в частности кн. Курбскому и старцу Артемию, а опосредованно, возможно, и Ивану Федорову). На Украине идущая от Максима традиция в конце XVI в. находит поддержку и развитие в деятельности Острожской академии, а затем Львовской братской школы. Относительно первой Я. Исаевич справедливо замечает: «Before the founding of the Ostrih school, there had been in the Ukraine virtually no constant symbiosis between traditional forms of studying the Byzantine Greek cultural heritage and the more modern secular approaches to Hellenic studies that were the achievement of humanist scholarship. Men of letters at Ostrih tried to unite these trends and thus took the first steps in creating an institutionalized framework for a more modern model of Greek studies in eastern Europe» (Исаевич 1990, 100). Эта гуманистическая модель (возможно, несколько ущербная сравнительно со стандартами Максима Грека) распространялась, естественно, и на церковнославянскую книжность. С этой моделью связано, в частности, появление грамматик Зизания и Смотрицкого, закрепляющих новый подход к книжному языку. В XVII в. украинские инновации повлияли, в свою очередь, на культурные процессы в Москве, причем украинский элемент соединялся здесь с традициями Максима Грека (ср. вполне символическое в данном отношении использование приписываемых Максиму писаний в качестве предисловия к московскому изданию грамматики Смотрицкого 1648 г.).

вамъ, ꙗкѡ еллинскій азѣкъ, сирѣчь греческій, ꙗѡ естъ хитрѣйшій, не всакъ сице оудѡбъ · можетъ достигнѣти силы егѡ до конца, ꙗѡ не многа лѣта просидѣлъ кто боудетъ оу нарочитыѣ оучителей, и той ꙗѡ боудетъ грекъ родо^м и оумомъ остръ, еше же и охочъ, а точію не таковъ (иже) оучитсѧ оубѡ ѿчасти а в' совершеніе егѡ не дошолъ» (Максим Грек, III, 80). Объясняя эту особую сложность книжного греческого языка, Максим Грек указывает, что «еллинскыи глас къ еже изъобилувати многозначениемъ и многоименованием глаголаніи, но и чинми, образы различными глаголаніа отъ просивших в риторской тяжести древнихъ мужей умышленми доволнѣ связанъ и съкровенъ естъ, ихъ же в разумѣнии съврѣшенѣ намъ быти, еше многого времени и пота требуемъ» (Максим Грек, I², 162; Максим Грек, II, 312; ср.: Ягич 1896, 297–304; Иконников 1915, 178–180). Поскольку приобретение славянскимъ языкомъ равного достоинства с греческимъ связывалось с такой его грамматической нормализацией, при которой любые греческие грамматические различия находили эквивалент в славянскомъ, славянский также становился «хитрейшимъ» языкомъ, овладение которымъ требовало самозабвенного ученого труда. Как и в случае с греческимъ, совершенное знаніе славянскаго ставилось теперь в зависимость от овладения целымъ комплексомъ гуманитарныхъ дисциплин, поскольку «ꙗѡ кто не доволнѣ и совершеннѣ наоучилсѧ бѡдетъ, ꙗѡ грамматикѣи и пинтикѣи и риторикѣи самыѣ философѣи, не можетъ ꙗѡ и совершеннѣ ни же разѡумѣти писѡемаѣ, ни же ꙗѡ предложити ꙗ на нхъ азѣкъ» (Максим Грек, III, 62; ср.: Ягич 1896, 301). Церковнославянский в своей грамматически изощренной разновидности становится, такимъ образомъ, подчеркнуто ученымъ языкомъ.

В рамкахъ новаго отношенія къ книжному языку ставится и задача усовершенствованія церковнославянскаго, его ученой разработкѣ, доведенія его до той эталонной сложности, которая задана греческимъ и необходима – с точки зренія учениковъ Максима и продолжателей его начинаній – для адекватнаго перевода греческихъ текстовъ. Эта ученой разработкѣ актуализируетъ значеніе нормативной регламентаціи книжнаго языка (в первую очередь в сфере признаковъ книжности). Регламентація получаетъ при этомъ самостоятельную ценностъ, и это открываетъ путь для нормализаціи полностью искусственнаго характера. Красноречивой иллюстраціей можетъ служить трактовка системы прошедшихъ временъ в грамматикѣ Смотрицкаго. Как и другіе старопечатныя грамматикѣи («Адельфотес», грамматика Зизанія), грамматика Смотрицкаго выделяетъ четыре прошедшихъ времени в соответствии с четырьмя прошедшими временами греческаго языка (хотя образцомъ для Смотрицкаго и служитъ латинская грамматика). При этомъ, какъ справедливо отмѣчаетъ Н. Б. Мечковская (Мечковская 1984, 90), в грамматикѣ Смотрицкаго (равно как и в другихъ указанныхъ выше) «система прошедшихъ временъ не можетъ быть отождествлена с системой имперфекта, перфекта, плюсквамперфекта и аориста старославянскаго языка». Схема четырехъ временъ переносится из греческой грамматикѣи (хотя общая систематика идет из грамматикъ латинскихъ – см.: Коцюба 1975), и для заполнения недостающихъ звеньевъ использованы полностью искусственныя аналогическія образованія. Такъ, парадигма перваго спряженія для ед. числа выглядит следующимъ образомъ:

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|---------|
| Преходящее | чтохъ | челъ/чла/чло | чте |
| Прешедшее | читахъ | читаалъ/читала/ло | читаше |
| Мимошедшее | читаахъ | читаалъ/ала/ало | читааше |
| Непределное | прочтохъ | прочелъ/ла/ло | прочте |

(Смотрицкий 1619, л. О/2–3).

Как можно видеть, в этой парадигме по разным категориям разнесены варианты формы (стяженные и нестяженные формы имперфекта) и – что еще показательнее – для заполнения недостающих звеньев использованы полностью искусственные аналогические образования (*л*-формы с удвоением гласной в суффиксе – *читаалъ* и т. п.).

Подобная искусственная нормализация – лишь одно из частных следствий нового взгляда ученых авторов на книжный язык как на свою собственность. Это присвоение книжного языка выражается и в том, что для ученых он может становиться не столько языком традиции, сколько языком их собственной учености. Поэтому возникает стремление к употреблению его во всех тех ситуациях, в которых употребляются другие «ученые» языки – греческий и латынь. Он может использоваться как язык преподавания, ученых бесед и ученой переписки и т. д. Такие процессы происходят и на Украине, и в Руси Московской. О таком употреблении свидетельствует, например, запись беседы Симеона Полоцкого, Епифания Славинецкого и Паисия Лигарида с Николаем Спафарием в Москве в 1671 г. (см. публикацию: Голубев 1971; ср.: Успенский 1983, 87–89) и другие факты, указывающие на расширение функций ученого книжного языка (см. ниже).

Это новое отношение к церковнославянскому языку как к объекту ученого моделирования имеет далеко идущие последствия для истории русского литературного языка. В предшествующий период церковнославянский мог восприниматься как священный язык, как своеобразная «икона православия» (Успенский 1984а). Ему могло приписываться божественное происхождение (например, в Сказании о русской грамоте – см.: Живов 2002б, 155) или, в ином случае, он мог противопоставляться греческому как «святой» язык профанному (ср. у черноризца Храбра и идущей от него традиции: «словѣнꙗ скаа писмена стѣиши сѣѣ и чьстнѣиша. стѣ бѣ мѣжѣ створиѣа ꙗ ꙗꙗ, а грѣчьскаа елини погани» – Ягич 1896, 11; Куев 1967, 190–191; о данной традиции см.: Успенский 2002, 349–351). Такое восприятие находит частичную аналогию в средневековой Европе в понимании латыни как *lingua sacra* (хотя латынь с ее корпусом образцовых античных текстов никогда не отождествлялась с католической верой до такой степени, как церковнославянский идентифицировался с православием). Надо думать, что подобное восприятие не было социальной нормой, поскольку в нем наличествует слишком сильный момент рефлексии, предполагающей внешние стимулы, явно не актуальные для большинства грамотного населения Московской Руси. Нет никаких оснований приписывать такое восприятие «народному православию», что бы ни понимать под этим расплывчатым термином. Вместе с тем такая оппозиция предполагает слишком четкое противопостав-

ление русского и церковнославянского, которое могло конструироваться лишь узким кругом образованных книжников, заботившихся о размежевании книжного языка с живым. Тем не менее это восприятие показательно как прямая противоположность гуманистическому взгляду на язык.

Для гуманистической традиции ценность книжного языка состоит не в его «святости», а в его обработанности. Поэтому древность текста, в частности древность перевода, перестает рассматриваться как его принципиальное достоинство; существенно большее значение приобретают другие его свойства, определяемые ученостью редактора или переводчика. Поскольку стандартный книжный язык трактуется теперь как язык ученый, его «правильность» связывается не с древностью или святостью, а с ученой филологической обработкой. Образцы традиционного стандартного узуса, не подвергшиеся такой обработке, осмысляются как поврежденные недостаточным знанием; это относится, в принципе, и к текстам Св. Писания и богослужения, которые ранее служили бесспорным ориентиром для всей книжной деятельности. Вместе с тем филологическая критика (и грамматическая нормализация) неизбежно обнаруживает непоследовательность древних переводов и, соответственно, ставит под сомнение их совершенство.

Критическое отношение к кирилло-мефодиевскому наследию обнаруживается уже у Максима Грека, который, защищая производимую им справку, говорит о редактируемых им книгах: «... исправляю ихъ, в нихже растлѣшася ѡво оубо ѿ переписующихъ ихъ не наоученыхъ свѣщихъ и неискусныхъ в разумѣ и хитрости грамматикѣйствѣи, ѡво же и ѿ самѣхъ исперва сотворшихъ книжный переводъ прѣпопаматныхъ мѡжей – речеть бо сѧ истина· есть нѣгдѣ не полно разумѣвшє еллинскихъ реченїи и сего ради далече истины ѡпадѡша» (Максим Грек, III, 62; ср.: Ягич 1896, 301). Видимо, для первой половины XVI в. эти мысли были нехарактерны; это была позиция греческого книжника, едва ли разделявшаяся его русскими коллегами. Однако с распространением грамматического подхода утверждается и подобное отношение к древним переводам. Так, Афанасий Холмогорский, полемизируя со старообрядцами, указывал, почти дословно повторяя Максима, на особую сложность греческого языка («еллингреческїй азѣкъ есть зѣлѡ трѡденъ, имже всѧ стѣла книги ихже црковѣ содержитъ писаны, и не токмѡ малыя наѣки воспрїавъ, но и философскихъ и бгословскихъ наѣкъ ѡчащемѡса на дрѡгїй азѣкъ преводити книги зѣлѡ есть трѡднѡ. пакѡ азѣкъ мѡдрый...»). Трудность перевода преодолевается лишь постепенно, многими поколениями книжников, которые должны «исправити лѡчше. Ибо егда боши людей разумныхъ, боши единагѡ смыслатъ... И кромѣ прежднихъ мѡдрыхъ людей, и ихъ преводѡвъ. писанїе во стѡе вѣщаеть, пакѡ множество мѡдрыхъ спасенїе мїрѡ» (РГАДА, ф. 381, № 413, л. 82–82об.; Афанасий Холмогорский 1682, л. 262об.). Указав на несовершенство начальных переводов, Афанасий пишет: «ѡбаче ѿ онагѡ образа мнози лѡчше сотворѡють, но такїа похвалы лишѡтсѧ, ради первагѡ образца сотвореннагѡ, что первое есть дѣло всѧкое трѡднѣйшее, не ѡкаряютсѧ же что и лѡчше к' томѡ содѣлають. Но что боши дѣлають, израднѣйшее дѣло и честнѣйшее гѡвлѣтсѧ» (л. 82).

Такой подход, при всех оговорках (Афанасий явно более осторожен с памятью первых переводчиков, чем Максим), подрывает представление о

святости древних переводов. Традиционное культурное сознание, видевшее основу книжного языка в священных текстах, созданных славянскими первоучителями, перестает определять динамику книжного языка и характер литературного процесса. Эта роль переходит к книжникам, проникнутым новым культурным сознанием. Именно это новое сознание делает возможным ученое усвершенствование основного корпуса текстов, т. е. Св. Писания и богослужебных книг, и обуславливает необходимость их филологической интерпретации и критического разбора. Эти задачи решаются с помощью знаний, которые могут быть непосредственно с верой не связаны, т. е. носить секулярный характер. Ценность таких знаний не зависит от вероисповедной чистоты их источника, поэтому новое восприятие создает предпосылки для обращения к европейской учености и воспроизведения европейских моделей образования.

Для традиционной православной культуры, требующей духовного (в конечном счете откровенного) познания Св. Писания и предания, этот новый подход оказывается чрезвычайной новизной и вызывает глубокое противодействие. Отсюда возникают напряженные культурные конфликты, в частности, и конфликт никониан и старообрядцев, хотя противостояние «нового знания» и «старого невежества» отнюдь не сводится к расколу. Например, во время стрелецкого бунта 1682 г. патриарх Иоаким говорил представителю старообрядцев Никите Добрынину (Пустосвяту) во время прений в Грановитой палате в присутствии стрельцов: «Не вам подобает исправлять церковные дела, – вы должны повиноваться матери Святой Церкви и всем архиереям, пекущимся о вашем спасении; книги исправлены с греческих и наших харатейных книг по грамматике, а вы грамматического разума не коснулись и не знаете, какую содержит в себе силу». – «Мы пришли не о грамматике с тобою говорить, а о церковных догматах!» – закричал Никита» (Соловьев, XIII, стб. 917). Под догматами, впрочем, Никита понимал частные особенности обрядов.

Показательно, что сторонники традиционного подхода к книжному языку, рассматривающие его как неприкасаемую святыню и возражающие против всякой переработки сакрального текста, отвергают и всю ученую традицию, стоящую за такой переработкой, т. е. само понимание церковнославянского как языка ученого. Такая реакция имеет место и на Украине, и в Московской Руси, и вызванный никоновскими реформами раскол является (в данной перспективе) лишь частным ее случаем. Так, протопоп Аввакум писал: «Не ищите риторѣи и философіи, ни краснорѣчія, но здравымъ истиннымъ глаголомъ послѣдующе, поживите. Понеже риторъ и философъ не можетъ быти христїанинъ... И вси святїи нась научають, яко риторство и философство – внѣшняя блядь, свойственна огню негасимому» (РИБ, XXXIX, стб. 547–548). «Знания», столь важные для адептов новой (элитарной) культуры, рассматриваются как порочное отступление от всеобщей истины христианства. Аввакум в предисловии к своему Житию (редакция В) пишет: «По благословенію отца моего, старца Епифанія, писано моею рукою грѣшною протопопа Аввакума, и аще что реченно просто, и вы, Господа ради, чтущїи и слышащїи, не позазрите просторѣчію нашему, понеже люблю свой русской природной язык, виршами философскими не обыкъ рѣчи

красить, понеже не словесъ красныхъ Богъ слушаетъ, но дѣлъ нашихъ хочетъ. И Павелъ пишетъ: аще языки чловѣческими глаголю и ангельскими, любви же не имамъ, – ничто же есмь [I Кор. 13: 1]. Вотъ что много разсуждать: не латинскимъ языкомъ, ни греческимъ, ни еврейскимъ, ниже инымъ коимъ ищет от насъ говоры Господь, но любви с прочими добродѣтелями хочетъ; того ради я и не бегу о краснорѣчїи, и не унижаю своего языка русскаго» (РИБ, XXXIX, стб. 151). Под «русским природным языком» Аввакум явно понимает традиционный книжный язык (а не разговорный язык, как об этом иногда пишут), противопоставляя его ученому книжному языку, испорченному грамматикой. Как замечает в уже цитированном пассаже старообрядческий писатель инок Савватий о никонианах: «Свела их с ума несовершенная их грамматика» (Три челобитные 1862, 26–27; ГИМ, Увар. 497/102, л. 8–8об.).

Аналогичные высказывания можно найти у других старообрядческих авторов, равно как и у ряда ревнителей православия в Юго-Западной Руси конца XVI – начала XVII в., сталкивавшихся – при всем различии культурного контекста – с теми же проблемами (например, у Ивана Вишенского – Иван Вишенский 1955, 23, 162–163, 175–176, 194; см. подробнее: Успенский 2002, 380–385; Успенский 1988б). Весьма показательно в этом отношении, что сочинения Ивана Вишенского распространяются и находят заинтересованного читателя в старообрядческой среде (о возможном влиянии Ивана Вишенского на старообрядческих авторов см.: Голдблатт 1991б). В этот период в старообрядческой среде составляются особые сборники с выписками против риторики и философии. Один такой сборник был изъят у схваченного старообрядца и дошел до нас. В нем, в частности, находятся выписки из «Церковной истории» Барония типа: «Григорий Ниский епископ любил диалектику и риторику, а брат его Григорий Нанзианский поношая пишет к нему глаголя: почто возлюбил еси лутчи называти себя ритором нежели христианином. воспомяни откуда испал еси и прочая». Или из Златоуста: «Златоуст называет философов трапезными [так в изд.] псами, а нынешних мы философов как наречем их, разве песьими сынами. бес. л. 1803». Оттуда же, видимо, и ряд других выписок: «Христианом открывает Бог Духом Святым а не внешнюю [так в изд.] мудростию та бо яко раба ни бесчестная не оставлена бысть внити внутрь церкви ниже вникнути во Христовы тайны»; «Толико христианя мудрейши суть еллинских мудрецов елико посредство Платону и Духу Святому»; (из Ефрема Сирина) «И кроме философии и кроме риторики и кроме грамматики мощно есть верну сущу препрети всех противящихся истинне» (Материалы, I, 487–488)⁴⁶⁹.

⁴⁶⁹ Обширную сводку примеров с протестами против грамматики и других филологических дисциплин из сочинений как украинских, так и московских авторов приводит Б. А. Успенский (Успенский 1988б). Представляется, что именно в этом контексте актуализируется и представление о «святости» церковнославянского языка, о котором говорилось выше. Высказывания о «святости» церковнославянского встречаются у тех же самых украинских и русских авторов, которые отвергают как нечистое грамматическое и риторическое учение (например, у Иоанна Вишенского и ряда старообрядческих авторов). У этих высказываний, правда, есть своя уходящая в глубь веков традиция, однако

Описанные процессы приводят к существенному изменению языковой ситуации. Можно было бы полагать, что наряду с четырьмя регистрами письменного языка, о которых мы говорили выше, во второй половине XVII в. появляется еще один регистр – ученый церковнославянский. От стандартного церковнославянского он отличается характером ученой обработки. Ученый церковнославянский конструируется по подобию ученой латыни западного мира. На нем создаются новые тексты (такие, например, как стихи или ученые трактаты Симеона Полоцкого или Епифания Славинецкого), в своих культурно-исторических установках явно противопоставленные оригинальным текстам, производимым в рамках гибридного регистра, на нем при случае эти же самые ученые авторы могут беседовать, писать дневники и т. д. У этого регистра замечен потенциал экспансии. Во второй половине XVII – первой половине XVIII в. книжной справе подвергается целый ряд церковных текстов, как богослужебных, так и четых. Постепенно, однако, особенно при подготовке Елизаветинской Библии, язык богослужебных текстов, в частности Св. Писания для богослужебного употребления, начинает отличаться от четьего текста. Четий текст модернизируется (например, за счет устранения значительной части форм дв. числа, замены аориста 2 лица ед. числа на перфект со связкой), тогда как богослужебный оказывается более консервативным (см.: Успенский 2002, 237–238, 488–489). Это отделение четьего текста от богослужебного может рассматриваться как расширение ученого (модернизированного и грамматически «усовершенствованного») книжного языка на тексты Св. Писания.

Ученый церковнославянский, однако же, полноценным регистром не становится; он выходит из употребления, еще находясь в процессе формирования. С середины XVIII в. ученое духовенство не делает более попыток ввести церковнославянский в свое обиходное употребление. В этой функции оно использует формирующийся к тому времени стандартный литературный русский язык (в редких случаях наряду с латынью). Ученый церковнославянский оказывается дискредитирован в качестве «клерикального» языка, не подходящего для нового секуляризованного государства. Таким образом, то изменение языковой ситуации, которое начинается во второй половине XVII в., перекрывается новыми процессами формирования языкового стандарта. Этот революционный переворот в истории русского письменного языка становится понятен в перспективе процессов, требующих отдельного рассмотрения, – процессов социальной дифференциации адресатов письменных текстов и развития концепции «простоты» языка.

кажется, что в предшествующие эпохи восприятие церковнославянского как «святого» языка, созданного святыми мужами, остается на периферии культурного сознания. С XVI в. оно приобретает полемическую значимость – именно противостоя новому пониманию церковнославянского как ученого языка. Нет оснований экстраполировать эту оппозицию на более ранние периоды и связывать особенности функционирования книжного языка древней Руси с представлениями о его святости.

ГЛАВА IX. «ПРОСТОТА» ЯЗЫКА И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ АВТОРОВ И ИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

1. Регистры письменного языка и социальная стратификация

Отношение к церковнославянскому как к ученому языку открывает возможности для его разнообразной обработки. Поскольку выбор путей обработки зависит при таком подходе от принятых ученых оснований, становится возможной конкуренция разных способов совершенствования книжного языка. Таким способом может быть его эллинизация, т. е. нормализация славянской грамматики по моделям грамматики греческой (ср., например, деятельность Епифания Славинецкого и особенно чудовского инок Евфимия), но может быть и кодификация грамматических отличий греческого и церковнославянского при установлении соответствий между разными элементами и конструкциями (ср. синтаксическую часть в грамматике Мелетия Смотрицкого); может быть, наконец, освобождение церковнославянской грамматики от разного рода нерегулярностей, не поддающихся нормированию, и вытекающее отсюда его «упрощение» (ср., например, грамматику Федора Максимова и отчасти деятельность Федора Поликарпова). Свобода моделирования должна была, естественно, быть связанной со свободой интерпретации.

Действительно, каковы бы ни были реальные социальные рамки распространения грамматического подхода, он был питательной почвой для переосмысления всех аспектов книжной деятельности и, как мы видели, воздействовал в этом плане не только на адептов этого подхода, но и на книжников, которым он оставался чужд или враждебен. Хотя речь шла о характере формирования норм книжного языка (за счет обращения к текстам или за счет грамматических правил), т. е. о проблеме достаточно абстрактной, в функционирование книжного языка вводилось социальное измерение, ранее отсутствовавшее или малозначимое. Сама возможность грамматической образованности играла роль социального дифференциатора. Если раньше уровни владения книжным языком представляли собой континуум, то теперь прочерчивалась по крайней мере одна четкая граница: ученой элите, владеющей «грамматикой, и пиитикой, и риторикой, и самой философией», была противопоставлена вся остальная пишущая и читающая публика. Эта дифференциация создавала возможность обращать тексты к разному адресату: одни могли быть предназначены для ученых коллег, дру-

гие – для простецов. Поскольку выбор адресата был связан с выбором разновидности книжного языка, эти разновидности могли переосмысливаться как нейтральные, простые, изощренно риторические и т. д. В результате сначала на Украине, а потом и в Московской Руси возникали условия для усвоения и развития концепций «простоты» языка, чрезвычайно важных для истории славянской книжности.

В этой связи стоит заметить, что роль адресата в книжной деятельности более раннего времени была второстепенной. Можно указать на редкие случаи, когда выбор адресата осознавался как значимый. Например, Климент Смолятич, отвечая священнику Фоме, указывал, что послание, вызвавшее упреки Фомы, он «аще и писах, но не к тебе но ко князю», и именно в силу этого мог ссылаться на греческих «хитрецов» Платона и Аристотеля (Никольский 1892, 103–104). Понятно, что адресат с большей или меньшей ясностью просматривается и в ряде сборников: Мерила праведные предназначаются для правителей и судей, сборники аскетических поучений – для монахов. Дифференциация адресатов, однако, остается зачаточной и нечеткой, о чем свидетельствует, в частности, свободный переход текстов из одних компиляций в другие (например, из Мерила праведного в аскетический сборник). Обычным адресатом остается христианский народ в целом, без каких-либо спецификаций. Что же касается наиболее важных текстов – текстов литургических, то для них социальные характеристики адресата вообще не существуют: они обращены не к людям, а к Богу. Именно эту устойчивую модель, характеризующую русскую средневековую культуру, начинает постепенно подтачивать разбиравшийся нами грамматический подход (понятно, в ряду других схожих явлений). Переход от средневековой парадигмы к парадигме Нового времени наиболее отчетливо виден в процессах XVII столетия, которое о. Георгий Флоровский недаром называл веком «потерянного равновесия» (Флоровский 1988, 58).

Яснее всего это столкновение традиционного восприятия с новым проявляется в вопросе о многогласии, т. е. такой богослужебной практике, при которой одновременно читались разные части службы. Многогласие позволяло выполнить все предписания устава, т. е. вычитать все необходимое в обозримое время. Что-нибудь при этом понять и услышать из-за шума множества голосов часто было невозможно. Для традиционного сознания это и не было столь важно, поскольку богослужение было обращено не к пастве, а к Богу, а Бог может одновременно воспринять неограниченное число молений и славословий. Протесты против многогласия появляются в контексте религиозной реформы, начало которой можно отнести к 1630-м годам, а причину видеть в кризисе религиозного сознания как следствие катастрофы Смутного времени (ср.: Живов 2002б, 325). В челобитной девяти нижегородских священников патриарху Иоасафу 1636 г. священнослужители просят патриарха издать указ, исправляющий недостатки русской церковной жизни⁴⁷⁰. Первое, на что жалуются священники, – это многогласие в церковной службе:

⁴⁷⁰ Сама челобитная наполнена весьма красноречивым описанием этих недостатков, и исправление их представлено как необходимое условие для отвращения тех бедствий

Въ црквах гсдрь зѣло поскуру пѣнїе, не по правилом стых отцѣ ни наказанїю вас гсдрей, говорятъ голосов в пять и в шесть и боле, со всяким небрежением, поскуру. Ексапсалмы гсдрь такоже говорят с небрежениемъ не во един ж голос и в ту ж пору и псалтыр и каноны говорят, и в ту ж пору и поклоны творят невозбранно

(Рождественский 1902, 19–20).

Вопрос о многогласии становится едва ли не главным для движения русских религиозных реформаторов, так называемых боголюбцев, или ревнителей благочестия (см. о них: Паскаль 1938; Зеньковский 1970). Боголюбцы задаются вопросом: «кая же польза получить предстоящим в церкви людям во время божественнаго пения, егда в гласа два или три и множае вдруг говорят, – никакo ничесого, точию шум всуе, и без пользы, и пагуба с великим грехом» (Каптерев 1909, I, 88). Это новое понимание, разрушительное для традиционной сотериологии. Спасение ставится в зависимость от индивидуального благочестия, и духовные вожди требуют индивидуального участия каждого верующего в жизни церкви (ниже будет сказано о том, какая лингвистическая программа могла сочетаться с этой позицией). В 1649 г. царь, следуя настояниям боголюбцев, собрал церковный собор, проходивший под председательством патриарха Иосифа, противника реформаторской деятельности боголюбцев. Собор был против единогласия (Белокуров 1894, 37), и царь вынужден был отступить. Он побудил патриарха к тому, чтобы обратиться за советом к константинопольскому патриарху Парфению II. Парфений, вряд ли знакомый с практикой многогласия, высказался в пользу единогласия: «Лучше пять слов сказать со смыслом, и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке» (Зеньковский 1970, 121); В концепции Парфения сознательность верующих играла существенную роль, так что она была значительно ближе боголюбческой, чем традиционным представлениям русского православия. Основываясь на этом решении, царь приступил к подготовке нового церковного собора, который собрался 9 февраля 1651 г. и постановил «пети по святым церквам Божиим чинно и безмятежно, на Москве и по всем городам единогласно» (там же, 122).

Одновременно с этим процессом в рамках той многообразной смены культурных парадигм, которая характеризует XVII в., имеет место и другое развитие. Как уже говорилось (см.: § III-8), регистр делового языка получает в Московской Руси XVI–XVII вв. специфическое и стабильное оформление, отличающее его от других регистров письменного языка. Прежде всего, как

которые уже обрушились на Русь и неминуемо обрушатся опять «грех ради наших»: «Во истинну гсдрь образ Бжїи и сновство обругахом и пременихомся ко дщерем сатанинским – ко злым его прелестемъ, и не ощущаемъ Ноева члвка, сїирѣч званїя Хрсва, творим злая, придут ли на ны блгая? Чего не пострадахом? не пленена ли земля наша? не взяти ли гради наши? не падоша ли без оружія? не помроша ли скоти и не оскудѣша ли нивы? Сїя гсдрь вся ннѣ содѣяся пред очима нашими в наше наказанїе, и никакo ж воспомянухомся» (Рождественский 1902, 27). Подобные высказывания, известные и из других обличительных памятников этого времени (ср. там же, с. 5), как раз и указывают на связь реформационного движения с памятью о разорении Смутного времени.

и должно быть, это оформление основывается на особой синтаксической стратегии, основной характеристикой которой является лексический повтор (см. § V-3.2). Вместе с тем, с этим основным детерминирующим параметром постепенно начинают соотноситься разнообразные черты правописания, морфологии, фразеологических наборов, так что для XVI–XVII вв. можно говорить об особой приказной норме письменного языка, противостоящей норме книжного языка (которая реализуется в стандартном регистре церковнославянского и в особенности в нарождающейся разновидности ученого книжного языка; некоторые соображения на этот счет можно найти в книге: Кортава 1998; работа, впрочем, малосодержательна).

На уровне орфографии эта норма осуществляется как комплекс особых правописных навыков канцелярской скорописи. Эти навыки распространяются на ряд графических приемов, указывающих на сформировавшуюся отдельную традицию обучения скорописи, отличную от обучения книжному письму (см.: Успенский 2002, 299); так, например, в скорописи употребляются выносные буквы с особыми начерками, равно как и особые начертания ряда строчных букв (*к*, *в*, *т*) (см.: Беляев 1907, 10–11, 19–22). Вместе с тем скорописная орфография характеризуется и некоторыми собственно лингвистическими чертами, противопоставляющими ее книжному письму. Сюда относится отсутствие акцентуации, которое представляет собой одно из многих сходжений приказной скорописи и гражданского шрифта, введенного Петром I; эти сходжения позволяют говорить о хотя бы частичной преемственности (см. ниже, § X-2; ср.: Успенский 2002, 296).

В скорописи могут не различаться *ѣ* и *ѥ*; как отмечал И. С. Беляев, «начертание “ѣра” и “ѥря” <...> было довольно разнообразное и нередко писалось так схоже, что их трудно отличить друг от друга» (Беляев 1907, 24; ср. еще указание на неразличение *ѣ* и *ѥ* в ряде деловых текстов XVII в.: Котков и др. 1968, 11). Б. А. Успенский предположил, что «характерное для скорописи неразличение букв *ѣ* и *ѥ* восходит к южнославянскому смешению этих букв» (Успенский 2002, 296); прямых доказательств такой преемственности Успенский не приводит, но гипотеза кажется правдоподобной, поскольку к южнославянскому влиянию могут быть возведены и некоторые другие особенности скорописи (там же, 296; ср.: Щепкин 1967, 129–130).

Точно так же в скорописи могут не различаться буквы *ш* и *щ*; Беляев отмечает этот факт, указывая, что «буквы “ш” и “щ” в быстрой старинной скорописи часто писались очень похожими друг на друга» (Беляев 1907, 23). Такое смешение А. Пеннингтон находит в рукописи Котошихина; она пишет: «Five times Kotošixin writes *šč* in place of an expected *š* <...> Eleven times he writes *š* in place of an expected *šč*. Nine of these examples occur in the substantival suffix normally spelt *-ščik*”, with the variant *-čik*” after a dental stop» (Пеннингтон 1980, 205). Пеннингтон полагает, что в данном суффиксе «Kotošixin’s use of *š* for *šč* may well reflect his pronunciation» (там же, 206). Такое объяснение возможно, но оно не охватывает другие случаи смешения. Как я писал в соавторстве с Б. А. Успенским, «они могут объясняться графически: в памятниках скорописного письма такое смешение наблюдается достаточно часто (особенно в некаллиграфической скорописи, например, в

почерке Петра I), и это может свидетельствовать о восприятии их здесь как вариантов одной буквы» (Живов и Успенский 1983, 175–176)⁴⁷¹.

На морфологическом уровне к таким чертам относятся специфические особенности именного словоизменения. К таким чертам можно отнести флексию *-ой* в им.-вин. ед. прилагательных м. рода. В обычных делопроизводственных текстах это окончание употребляется вполне последовательно. Рассмотрю в качестве примера поданные московскими людьми с 1617 по 1667 г. челобитные, которые напечатаны в публикации С. И. Коткова и др. (Котков и др. 1968, 44–75). В этой выборке встречается 60 употреблений прилагательных в им.-вин. м. рода с флексией *-ой/-ей* с разными семантическими и стилистическими характеристиками, ср.: *беглоу* (с. 46, 47 [bis]), *старинноу* (с. 46, 47 [bis]), *великоу* (с. 49 [quater]), *саконноу* (с. 50), *котороу* (с. 51), *црьскоу суд* (с. 52 [bis], 53, 57, 59, 71), *стряпчеи конюх* (с. 56), *повалноу обыскъ* (с. 57, 58), *пятоу год* (с. 66), *великоу постъ* (с. 69), *црьскоу указ* (с. 69), *сбъзжеи двор* (с. 71), *млстивоу указ* (с. 74). Встречаются и флексии *-ый/-ий*, но их употребление ограничено формулой обращения к царю (или патриарху): *млсрдыи* (иногда: *млстивыи*) *гсдръ црь и великии кнзь*, встречающейся практически в каждой челобитной, ср. еще: *великии гсдръ свтѣишии патриархъ* (с. 49, 51), *великии гсдръ свтѣишии Никон патриархъ московский* (с. 69). Можно считать, таким образом, что флексии *-ой/-ей* представляют собой нормативный элемент приказного языка. Это норма утверждается, надо думать, уже в XVI в. Б. О. Унбегаун на основе актового материала этого столетия констатирует: «Au nominatif-accusatif singulier masculin on ne trouve

⁴⁷¹ Нельзя не отметить, что оба описанных выше случая смещения находят аналогию в некнижной письменности древнейшего периода. Смещение *ѣ* и *ѥ* хорошо известно в одноеровой орфографии, в XI в. представленной в книжной письменности (см. выше, § VI-6.4.1; см.: Тот 1985), но в книжной письменности выходящей из употребления к концу этого столетия и консервирующейся в письменности некнижной (в берестяных грамотах и граффити – Зализняк 2004а, 27–28). Сходным образом обстоит дело и с графемами *ш* и *щ*; в XI – начале XII в. смещение этих графем окказионально обнаруживается в книжных рукописях (в февральской минее РГАДА, ф. 381, № 103 – см.: Тот 1981, 156; Живов 2006а, 55), но позднее характеризует только письменность некнижную, берестяные грамоты и граффити (см. ряд примеров: Зализняк 1999, 565). А. А. Зализняк видит в этих примерах «некоторые основания предполагать, что в раннеписьменный период разграничение *ш* и *щ* было сопряжено примерно с такими же проблемами, как разграничение *ѣ* и *ѥ*; иначе говоря, для некоторой части пишущих (хотя, может быть, и небольшой) различия между показанными выше начертаниями могли не связываться с различиями двух разных букв (*ш* и *щ*)» (там же). Такое неразличение, надо думать, соотносится с фактом отсутствия букв *ѥ* и *щ* в ряде древнейших азбук (там же, 553, 558–560). В этой связи стоит упомянуть, что в тех же древнейших азбуках отсутствует и буква *ѣ*, и отсутствие этой буквы также может быть соотнесено со смещением *ѣ* и *ѥ* в берестяных грамотах (Зализняк 2004а, 34). В принципе, можно было бы думать о том, что некнижная письменность допускает меньшую дифференциацию графем, чем письменность книжная, и что между древним периодом и приказным языком XVI–XVII вв. существует в этом отношении определенная преемственность. Однако никаких реальных путей такой преемственности не просматривается, так что сходству явлений при сегодняшнем уровне знаний можно приписать лишь типологическую значимость.

normalement que les finales -ой, -ей <...> La présence dans nos textes des terminaisons -ый, -ий, dans les cas relativement rares, ne s'explique que par l'influence slavonne qui souvent peut être purement orthographique. Ainsi dans le titre du grand-prince de Moscou, великий князь ou великий государь, le mot великий ne connaît d'autre terminaison que -ий <...> En dehors de ce titre, le mot великий a toujours la terminaison -ой, par exemple: Турьскому Захарья великой грубникъ» (Унбегаун 1935а, 320).

Понятно, что эта норма отражается и в тех текстах, которые можно рассматривать как экстраполяцию канцелярского узуса на области функционирования, прямо к деловому регистру не принадлежащие. Так обстоит дело в сочинении Котошихина, которое в основной своей части написано в соответствии с нормами делового языка, но в тех частях, где речь идет не об административном устройстве Московского царства, а об истории и нравах этого государства (преимущественно в первой главе), имеет место выраженная интерференция с узусом гибридного регистра (Пеннингтон 1980, 400; Живов и Успенский 1983, 165–174). Употребление флексий им.-вин. ед. м. рода подробно описано А. Пеннингтон: «The normal endings are the Russian ones: -oj after a stem ending in a hard consonant (except -š- or -ž-) and -ej after a stem ending in a soft consonant or -š- or -ž-. The endings may be stressed or unstressed. The endings -yi and -ii, which are Ch. Sl. in origin, are restricted in use <...> In the first chapter the Ch. Sl. endings are fairly frequent (there are nineteen examples), and they occur in various contexts <...> Even in the first chapter the Russian endings are as common as the Ch. Sl., but they are used only in non-ecclesiastical phrases, e. g. c<a>rskoj ukaz<"> (fol. 8) <...> Outside the first chapter the Russian endings are used freely, and the Ch. Sl. endings are severely limited. In two place-names and in two titles they are apparently regular: *Velikii Novgorod<">* (2 x); *Ustjug<"> Velikii* (1 x); *velikii g<o>s<u>d<a>r'* (9 x); *velikii kn<ja>z'* (7 x). They are also preferred in Slavonized phrases and Ch. Sl. quotations, e. g. *bl<a>gorazumnyi čitatelju* (fols. 76, 230^v)» (Пеннингтон 1980, 251). Как можно заметить, флексии -ый/-уй появляются или в силу прямой регистровой интерференции, или в тех самых формульных выражениях, которые мы наблюдали и в реальных деловых документах.

И это явление находит аналоги в узусе XVI в. Отчасти сходным с сочинением Котошихина образом устроен Домострой, в котором первая часть и последняя (64-я) глава «Послание и наказание ото отца к сыну» написаны на существенно русифицированном гибридном церковнославянском, а основная часть изложена на языке, близком деловому. М. А. Соколова отмечает: «Флексии именительного падежа единственного числа мужского рода *ои* и *еи*, будучи достоянием живой стихии языка, а не книжного, наполняют главы деловой части "Домостроя". В них эта флексия использована 31 раз. В первой же части памятника и в 64 главе она встретила лишь по одному разу. Все прилагательные с этими флексиями принадлежат бытовой и хозяйственной лексике. Вот их перечень: пивной медовой винной бражной квасной уксусной кислостяной и всякой обиход (28); горохъ вареной (43) <...> В первой части "Домостроя" эта флексия имеется лишь в сочетании "пришенной сундук" (14) и в 64 главе – законной бракъ (67). Прилагательных с флексией *ьи-ий*, принадлежащей книжной стихии языка, всего 19, и

все они встречаются в первой части “Домостроя” и в его 64 главе. Лексические значения их в основном связаны с религией и церковью. Например: *благии бгъ* (22), *страх божии* (6 дважды)» (Соколова 1957, 156)⁴⁷². Весьма похожим образом структурировано и употребление флексии *-ие* в род. ед. прилагательных ж. рода, которое разбиралось выше (см. § VII-1).

Еще более показательно, что в XVII в. деловой регистр характеризуется особыми конфигурациями морфологических вариантов со статистическими параметрами, отличными от других регистров письменного языка. Так обстоит дело с *а*-экспансией в формах существительных *о*-склонения во мн. числе. Приказному языку свойственна такая статистическая конфигурация вариантов, при которой новые флексии в наибольшей степени затрагивают тв. мн., а в наименьшей – дат. мн. (см. выше, § VII-5). Эту конфигурацию мы находим в Вестях-Курантах, в «Учении и хитрости ратного строения пехотных людей» 1647 г. (перевод сочинения И. Я. фон Вальхаузена) (Станг 1952, 19–20), в сочинении Котошихина (Пеннингтон 1980, 235; см. подробнее: Живов 2004а, 289–296)⁴⁷³. Такая конфигурация обусловлена нормализацион-

⁴⁷² Мы несомненно имеем здесь дело с регистровой корреляцией. Флексия *-ый/-ий* была характеристикой регистров книжных, а флексия *-ой/-ей* – регистров не книжных. Надо полагать, что это различие отражалось и в произношении: в книжном произношении звучало *-ый/-ий*, в разговорном – *-ой/-ей*. Последующее вытеснение флексии *-ой/-ей* флексией *-ый/-ий* было обусловлено формированием полифункционального языкового стандарта, исключавшего отдельную норму делового языка (см. § X-7). Процесс поначалу был чисто орфографическим. Г. О. Винокур указывал, что в начале XVIII в. «почти всякое прилагательное могло иметь окончание *-ой*», тогда как к концу этого столетия, если судить по данным Словаря Академии Российской, немаркированным становится окончание *-ый*: «Вытеснение окончания *-ой* окончанием *-ый*, как я уверен, совершалось чисто книжным путем, независимо от произношения, существовавшего в данном окончании (в безударном, понятно, положении) в литературном диалекте с его возможными вариациями. Ведь, например, в московском произношении еще в начале XX в. произношение безударного окончания прилагательного в им.-вин. ед. мужск. рода как *-э* было совершенно живым и единственно возможным явлением, которое, можно сказать, только на наших глазах перешло на роль вытесняемого произношением книжным, с гласным типа “ы”» (Винокур 1947, 46). Новое стандартное произношение отражает влияние стандартной орфографии, а не появляется в результате какого-либо собственно фонетического процесса. Поэтому нет никакого смысла считать, что условия для этого были созданы аканьем, как это делают С. П. Обнорский (Обнорский 1960, 180) и Г. А. Хабургаев (Хабургаев 1990, 202); диалектное произношение вообще не имеет к этому процессу никакого отношения. Усвоение языкового стандарта предполагает отказ от такого произношения и в тех случаях, когда флексия произносится как *ѣ* или *аѣ*, и в тех случаях, когда она произносится как *оѣ*.

⁴⁷³ Технические причины создают сложности для обработки собственно делопроизводственного материала, поскольку для получения значимых статистических данных требуется объемный корпус однородных документов, а однородность текстов, созданных разными канцеляристами, неоспорна. Тем не менее, некоторые данные существуют. В недавней работе И. Миди анализировалась переписка русских пленных в Швеции в 1700–1715 гг. Письма разделялись на частные, полуофициальные и официальные. Оппозиция частных и официальных документов выражалась, в частности, и в разных статистических конфигурациях вариантов в косвенных падежах существительных *о*-склонения во

ной обработкой, устраняющей омонимию им.-вин. мн. и тв. мн. и противопоставляющей деловой регистр регистрам бытовой и гибридной письменности.

Не менее выразительно нормализационная установка просматривается и в употреблении окончаний прилагательных в им.-вин. падеже мн. числа (об истории этих окончаний см. § XII-4). В книжных текстах XVII в. данные флексии употребляются «безразборно», т. е. без согласования по роду и дифференциации по падежу. В бытовом регистре в таком безразборном употреблении находятся две флексии: *-ие/-ые* и *-ия/-ья*; конкретное употребление зависит от индивидуального выбора автора: одни безразлично употребляют оба окончания, другие предпочитают какое-то одно (Живов 2004а, 446–448). В деловых текстах нормативным оказывается окончание *-ие/-ые*. Только оно употребляется в Вестях-Курантах, тогда как у Котошихина оно доминирует (95,8%), при том что редкие примеры флексии *-ия/-ья* оказываются ожидаемым образом сосредоточены в первой главе. Сложнее обстоит дело в Уложении 1649 г., рукописный список и разные издания которого различаются по данному параметру, однако и здесь окончание *-ие/-ые* употребляется более, чем в 90% случаев (Живов 2004а, 438–446). Формы прилагательных на *-ия/-ья*, встретившиеся в Уложении и у Котошихина, могут интерпретироваться как отклонения от нормы, обусловленные различными факторами: книжными навыками редакторов текста, вторжением элементов книжных регистров под влиянием коммуникативной нестандартности сообщения и т. д. Для приказной нормы как таковой характерна полная унифицированность флексий им.-вин. мн., при которой в качестве единого внеродового показателя выступает окончание *-ие/-ые*, причем эту унифицированность нужно трактовать не как результат непосредственного влияния живого (разговорного) языка, а как черту нормализации, присущей данному регистру (на это прямо указывает узус бытового регистра).

Весьма показательны и употребление форм инфинитива. Если в бытовой письменности практически безраздельно господствуют формы на *-ть*, то в письменности деловой определенное употребление находят и формы на *-ти* (см. § VII-6). Они активно используются в тех текстах, которые представляют экстраполяцию канцелярского узуса на области функционирования, прямо к деловому регистру не принадлежащие. Так обстоит дело в Вестях-Курантах, в «Учении и хитрости ратного строения пехотных людей», в Уложении 1649 г. и сочинении Котошихина (см.: Живов 2004а, 166–181). Вместе с тем и в рамках собственно делопроизводственной документации формы на *-ти* могут использоваться как индикаторы особого статуса текста или его части – например, царского распоряжения (там же, 164–166; см. также § VII-6). В подобном использовании можно видеть не индивидуальные находки, а определенный профессиональный навык, отличающий приказного писца.

мн. числе. В частной переписке наиболее продвинутым оказывается местн. мн. и конфигурация в целом описывается формулой $L > I > D$ (73% – 56% – 44%); в официальных документах наблюдается соотношение $I > L > D$ (37% – 27% – 17%), известное нам и по другим памятникам деловой письменности (см.: Миди, I, 224–225).

Таким образом, приказной язык оказывается вполне ощутимым (и для пишущего, и для читающего) образом отличным от других письменных идиомов, требующим особой выучки и в этом отношении сходным со стандартным церковнославянским, ориентированным на грамматическое учение. Поскольку деловой регистр письменного языка начинает осознаться как особое умение, владеющие этим языком воспринимают его как свою собственность, как свой символический капитал. И здесь заметно сходство с тем, как ученые книжники рассматривают грамматически обработанный церковнославянский язык. Апроприация языка сообщает ему потенциал расширяющегося употребления. Канцелярские чиновники начинают использовать освоенный ими язык не только для производства деловых документов, но и для других целей.

Приказной язык – с теми или иными модификациями – идет в дело, когда перед приказными служащими встает задача создать текст необычного для канцелярского делопроизводства характера. Конечно, особенности коммуникативного задания таких текстов обуславливают существенные отличия в их риторических стратегиях от приказных документов. Эти отличия в первую очередь касаются синтаксической структуры. Однако специфические черты морфологии указывают на преемственность этих экстраполяций приказного узуса с породившим их идиомом. Так обстоит дело, например, с переводами, выполнявшимися приказными служащими, в частности с переводом «Учения и хитрости ратного строения пехотных людей» 1647 г. (перевод сочинения И. Я. фон Вальхаузена), первого книжного издания Московского Печатного двора, не носящего церковного характера, или с Вестями-Курантами, готовившимися переводчиками Посольского приказа. Как опыт такого же рода экспансии может рассматриваться сочинение Котошихина, использовавшего знакомый ему приказной язык для составления систематического описания русской административной системы. Эта экспансия приказного узуса на сферы с иным коммуникативным заданием предполагает определенное литературное умение, навыки изложения, сформировавшиеся в бюрократической среде и обеспечившие их обладателям особый профессиональный статус.

В этой связи нельзя не вспомнить о возникшей в 1630-е годы так называемой приказной поэтической школе (Панченко 1973, 34–78). Язык стихотворных посланий, которыми обменивались принадлежавшие этой школе авторы, к деловому регистру отношения не имеет. Это гибридный церковнославянский, использующий, впрочем, весьма ограниченное число не-книжных элементов. В принципе «приказные» поэты гордятся своей ученостью и своим владением книжным языком (см. цитаты с положительной оценкой «философии» – там же, 77; ср. еще там же, 46) и пишут в языковом отношении весьма изощренно. Однако прямой связи их текстов с грамматическим подходом не просматривается, никаких грамматических изысков и словообразовательных изобретений в их текстах не видно (А. М. Панченко упоминает, впрочем, глагол *философити*, характерный результат искусственного словопроизводства – там же, 76), а отступления от церковнославянского стандарта достаточно часты, ср., например, многочисленные л-формы

в одном из посланий справщика Савватия (ср. еще в тексте несогласованное причастие *хотя*):

Ты же льстил нам тогда аки некий злый, лукавый лис,
И всегдашний убогаго нашего дому вис.
Хотя от нас грешных слышати многих божественных словес,
Мы же, убозии, предподавахом тебе не в век.
Аки некий тщий сосуд пшеницею предполняли,
Теми божественными словесы ум твой напояли.
А того злаго лукавства и лести в тебе не знали,
Аще бы и ведали и мы тебе отнюдь тако и не открывали.
А есть и тогда проныречение твое в тебе зрели,
Да во очи тебе глаголати не посмели.
Что не хотя тебя раздражати,
И духовнаго союза с тобою разрушити
И яко некоторый младенец от сосцу материю [*так в изд.*] питался,
Тако и ты от наших многогрешных божественных словес
насыщавался.
И еще не смеем дерзо рещи, яко некоторый от безсловесных,
От крупниц, падающих от нас, грешных, принимал

(Шептаев 1965, 18).

Перечень отступлений можно пополнять и пополнять, ср. хотя бы в Стихотворной переписке Лариона и Феоктиста формы 2 лица презенса на *-шь*: *изволишь, узриш* (наряду с *обрящеши*), *изволишь* (Панченко 1973, 259–260), формы прилагательных во мн. числе: вин. мн. ср. рода *телесныя*, им. мн. м. рода *немилостивыя, лютыя* (там же, 261) и т. д. Выбор регистра соответствует тематике приказных посланий – по преимуществу нравоучительно-религиозной, хотя и с элементами литературной игры (там же, 70).

Элементы литературной игры весьма показательны. Они свидетельствуют о том, что круг авторов «приказных» виршей обладал определенным единством как в плане эстетической программы, так и в плане литературного быта. В число приказных поэтов входили не только служащие царских приказов (хотя бюрократы, в частности и достаточно видные, были важной частью этой литературной группы), но и ряд книжных справщиков, подчинявшихся, впрочем, приказу Большого дворца (Савватий, М. С. Рогов), некоторые священники и монахи. Приказные поэты были литературной школой с выраженным корпоративным сознанием (Панченко 1973, 42–52), и это, конечно, вполне новое явление, феномен переходной эпохи. Понятно, что у них новое авторское сознание, вполне индивидуализированное, лишенное той анонимности, которая была характерна для русского средневековья (см. выше, § III-2). Прямым выражением этого является записываемое в акrostихе имя автора. А. М. Панченко отмечает: «Приказным поэтам не было нужды скрывать имя адресата и имя автора, потому что послания вручались реальным и конкретным лицам» (там же, 67). Можно полагать, что титульный адресат послания, также нередко указывавшийся в акrostихе, не был единственным предполагаемым читателем этих текстов, – они переписывались и, видимо, распространялись в кругу приказных стихотворцев. Но вполне

очевидно, что эти тексты были ориентированы на определенный круг читателей (а не на деперсонализированного благочестивого христианина), и с этой ориентацией был связан выбор их литературной и лингвистической формы.

Рассмотренные выше (конечно, весьма фрагментарным и поверхностным образом) лингвистические и литературные процессы переходной эпохи приводят к тому, что возникает своего рода конкуренция идиомов. Одно и то же коммуникативное задание может реализоваться в разных регистрах письменного языка, что постепенно подтачивает основы регистровой дистрибуции. Такие тексты, как, скажем, Космография, могут быть переведены и на ученый церковнославянский, если переводом занят ученый книжник, адресующий его своим ученым коллегам, и на гибридный язык, если этот текст предназначается для более широкой читающей публики, и на язык приказной, если перевод должен служить географическим справочником для бюрократического аппарата и его предполагаемым читателем оказывается знаток канцелярского идиома. Эта диверсификация создает нестабильность языковой ситуации, подводящую к тем радикальным переменам, которые осуществляются в Петровскую эпоху. В этих переменях, однако, важнейшую роль играет не только эта нестабильность, но и другая фундаментальная черта лингвистического развития XVII в. – распространение концепции простоты языка.

2. Генезис концепции «простоты» языка

С идеей «простоты» языка традиционная славянская книжность сталкивается в XVI в. Хотя вопрос о понятности книжных текстов мог ставиться и ранее, однако именно в этом столетии он приобретает принципиальную значимость и становится действенным фактором изменения языковой ситуации в рамках *Slavia Orthodoxa*. Он вступает здесь в сложное взаимодействие с другими факторами, создавая новое отношение и к традиционному книжному языку, и к ученой языковой традиции, провоцирует изменения в функционировании отдельных разновидностей книжного языка и в конечном счете отказ от языка традиционной книжности как основного средства выражения культурных ценностей.

Процесс преобразования лингвистического мышления был общеевропейским, хотя в разных областях Европы он шел по-разному, с разной скоростью, обрастая спецификой национальных традиций и исходных условий и принося разные, порою очень несхожие результаты. В основе этого процесса лежала религиозная борьба, в большей или меньшей степени захватившая всю Европу и радикально преобразовавшая традиционную социальную организацию религиозной жизни: если раньше нормальной представлялась преемственность религиозных убеждений от поколения к поколению, то теперь эти убеждения оказываются в значительной степени сферой личного участия и индивидуального выбора. Государства начинают проводить конфессиональную политику, и само государственное строительство оказывается теснейшим образом связано с конфессионализацией и религиозным дисциплинированием населения (прежде всего мирян) (см.: Горски 2003).

Конфессионализация обеспечивает консолидацию населения, и государство, реорганизованное на принципах конфессионализации, обретает благодаря церковным институтам административные возможности дисциплинирования населения, контроля над ним (Шиндлинг 2004). В политике конфессионализации прямое принуждение сочетается с убеждением, индивид должен не только подчиниться, но и поверить, религиозная доктрина не столько навязывается сверху, сколько делается важнейшим инструментом социальной организации (см. обсуждение проблем конфессионализации и обзор литературы: Бётчер 2004).

В одном из своих аспектов, наиболее, пожалуй, важных для истории культуры, конфессионализация – это пропагандистское мероприятие, в которое вовлечено общество в целом (или, по крайней мере, те его секторы, которые доступны для индоктринации). Этот процесс начинается в рамках Реформации в различных ее проявлениях (см.: Хсиа 1989) и в протестантских общинах обуславливает и создание нового реформированного богослужения на народном языке, и перевод на этот язык Св. Писания, и широкое распространение написанной на том же языке полемической, катехитической и апологетической литературы. В католических странах параллельные процессы были вызваны к жизни Контрреформацией (Райнхард 1995). Контрреформация приводит к пересмотру всего традиционного религиозного наследия и формированию ригористической католической доктрины, противопоставленной традиционному разнообразию и разномыслию в религиозной жизни. Утверждение этой доктрины также требует последовательного перевоспитания и образования масс, как и утверждение доктрины протестантской, и в результате и здесь получает распространение полемическая, катехитическая и апологетическая литература; хотя богослужение остается латинским, однако распространяются пересказы библейской истории на народном языке, а в ходе дальнейшего развития – и переводы на него Св. Писания (равно как – у янсенистов – богослужебных текстов, печатаемых с параллельным переводом на французский язык для тех, кто, не зная латыни, хочет понимать богослужение). Убеждения каждого человека оказываются предметом борьбы противостоящих доктрин, предметом апроприации общества, которое этого человека контролирует, и поэтому религиозная полемика и доктринальная апологетика обращаются все к более широкой аудитории.

Эти процессы захватывают и православные области (ср.: Неделкович 1988). В одних случаях они являются непосредственным ответом на католический или протестантский прозелитизм и могут рассматриваться как элемент православной конфессионализации. В других случаях, однако, изменения религиозной практики являются не результатом прямого столкновения интересов, а отражают общеевропейское развитие культурно-религиозного сознания. Поскольку религиозное просвещение и религиозное дисциплинирование оказываются широко распространенными феноменами, изменяется, в частности, и деятельность духовенства в областях, оказавшихся под мусульманским владычеством; таким образом борьба за религиозные убеждения охватывает и славянский Юг. Во всех этих случаях доступность религиозного обучения, а следовательно, и понятность опре-

деленного круга религиозных текстов становится *condicio sine qua non* существования религиозной традиции. Таким образом, идея доступности религиозного образования оказывается в центре историко-культурного развития, и поэтому неудивительно, что она преобразует лингвистическое мышление и в конечном счете приводит к изменению культурно-языковой ситуации.

Не остается в стороне от этого процесса и православное славянство. Ранее всего перестройка лингвистического мышления захватывает Литовскую Русь (Рутению), непосредственно затронутую реформационными и контрреформационными процессами. Об этой перестройке свидетельствуют уже библейские переводы Фр. Скорины, который издает их, поскольку «не толико докторове а люди вченые в нихъ разумеють. но всакии человек' простии и посполитии чтучи их или слушаючи можетъ поразумети что есть потребно к' душному спасению его» (Карский 1921, 24; ср.: Владимиров 1888). В дальнейшем это развитие приводит к формированию «простой», или «русской мовы» как отдельного письменного языка Рутении, функционирующего наряду с церковнославянским (см.: Толстой 1963; Толстой 1988, 52–87; Успенский 1983, 64 сл.; Успенский 2002, 388–404; о простой мове как кальке с нем. *Gemeinsprache* и о связи этого понятия с Реформацией см.: Мозер 2002; см. также: Мозер 2005). Этот язык формируется на основе делового языка Литовской Руси, но его экспансия идет несравненно дальше, чем экспансия московского приказного языка. Он широко употребляется в проповеди, он вторгается в богослужение, на него делаются переводы Св. Писания и святоотеческой литературы.

Понятно, что задача создать понятный текст Св. Писания и в первую очередь Евангелия первоначально ставится протестантами. Так, В. Негалевский заявляет, что он изготавил свой перевод на «реч рускую» для тех «учоныхъ, богобойныхъ <...> людей, которые писма полского читати не умеют, а языка словенского читаючи писмом рускимъ выкладу з слов его не розумеют» (Назаревский 1911, 119). Равным образом и сочинивший Василий Тяпинский переводит Евангелие на простую мову (и издает его параллельно с церковнославянским текстом), полагая, что перевод послужит его читателям «для лѣпшого им розсудкоу» и что их «кѣ статочному розсудкѣ и ку оумееетности пан оучинит и взбоудитъ» (Владимиров 1889, 2; Довнар-Запольский 1899, 1043–1044). Однако в условиях религиозной реформы, пересекающей границы конфессий, эта апология «простого» языка усваивается и православными. В предисловии к Евангелию Учительному, изданному Г. А. Ходкевичем в 1569 г., издатель говорит: «Помыслилъ же былъ и се, иже бы сію книгу выразумѣнія ради простыхъ людей, преложити на простую молву и имѣлъ есми о томъ попеченіе великое <...> Того ради сію книгу яко здавна писаную, велѣлъ есми ее выдруковати, которая каждому не есть закрыта и к выразумлѣнію не трудна» (Владимиров 1888, 31–32). Можно вспомнить, что и православное Пересопницкое евангелие 1556–1561 гг. было переведено «для лепшого выразумленя люду христіанского посполитого» (там же, 30).

В XVII в. появляются новоболгарские переводы дамаскинов, «простой» язык которых отражает лингвистические установки Дамаскина Студита, писавшего *κοινῇ γλώσσῃ* в расчете на духовное просвещение широких масс

(Дель'Агата 1983, 92–94; Дель'Агата 1984, 158–159; Демина, III, 18–19). Греки, и в первую очередь греки, знакомые с западноевропейской конфессиональной ситуацией, также были вовлечены в религиозное реформирование, и именно с этим, надо думать, связан выбор «простого» языка в «Сокровище» (Θησαυρός) Дамаскина Студита, впервые напечатанном в Венеции в 1561 г. Греки также могли быть проводниками идей религиозного просвещения у славян, причем не только у славян южных, у которых было популярно сочинение Дамаскина, но и у славян восточных; предполагается, что известный киевский книжник Памва Берында, говоривший в предисловии к изданной в 1627 г. Постной Триоди о переводе Тарасия Земки с греческого «*на рускійскю бєсѣдѣ общію*» (Титов 1924, № 27, с. 178; ср.: Отроковский 1921, 9, 11), калькировал греч. выражение λόγος κοινῇ γλώσσῃ (Успенский 2002, 401). В XVII же столетии происходит обращение к «простому» языку и в Сербии.

Что касается Московской Руси, то соответствующие процессы здесь имеют более сложный и менее очевидный характер. Идея необходимости всеобщего религиозного просвещения развивается здесь в первой половине XVII в. в контексте тех попыток оцерковления всей русской жизни, установления благочиния и уставных правил в качестве нормы повседневной жизни всего населения, о которых говорилось выше. Эти опыты религиозного дисциплинирования, характерные для деятельности боголюбцев (ср.: Зеньковский 1970, 59–90), требовали активной проповеди и усиленного религиозного воспитания масс. Попытки претворить в жизнь эту утопическую программу можно видеть в деятельности Иоанна Неронова и протопопа Аввакума, реформаторская деятельность которых хорошо вписывается в европейский контекст раннего Нового времени.

Эта культурно-религиозная ситуация и служит, видимо, основой для активной проповеднической деятельности боголюбцев. Первым боголюбцем, начавшим проповедовать, был, видимо, Иоанн Неронов. Деятельность проповедника сама по себе нарушала сложившиеся в России традиции, поскольку, как уже говорилось, до XVII в. устная проповедь священниками не практиковалась. Как пишет С. А. Зеньковский,

деятельность Неронова по объяснению смысла учения Христа была чем-то совсем необычным и даже революционным для церковных нравов Руси того века. Проповеди этого нового и «революционного» священника не носили отвлеченного характера и были доступны каждому посетителю и прихожанину храма. – «Начаша прихожане слушати Божественного пения [так называли тогда церковную службу. – В. Ж.], и найпаче слушаще поучения его наслаждахуся», – говорит его биограф <...> «Иоанн же, почитавше им божественные книги с рассуждением и толковаше всяку речь ясно, и зело просто, слушателям простым. Поучая народ, кланяшеся на обе стороны до земли, со слезами моля дабы вси, слышаще, попечение имели всеми образы о спасении своем»... Но этой умирительной проповедью спасения душ Неронов не ограничивался, но еще просил прихожан и посетителей, «чтобы они и дальше несли слово Христово» и проповедовали его «в домах своих» и убеждали бы всех своих близких и самих

себя найти путь ко спасению. Этот опыт сделать и мирян носителями слова Божия уже был совсем необычен не только в русской, но даже и в Западной практике средневековья и скорее приближался к типу протестантской проповеди. Церковь не была единственным местом призывов Иоанна ко спасению, так как после церкви он обычно шел на улицы и площади города, «неся с собой книгу великого светильника Иоанна Златоуста, именуемую “Маргарит”, и возвещал всем путь спасения» (Зеньковский 1970, 78–79; см. цитируемые Зеньковским сведения о проповеднической деятельности Неронова в его Житии: Материалы, I, 257).

Подобная деятельность предполагала, естественно, употребление языка, понятного широкой аудитории. Каков в точности был этот язык, мы не знаем, однако определенное представление о нем дают отдельные тексты Наседки и Аввакума. Так, в дополнении к Житию Дионисия Зобниновского, написанном Наседкой, и в Житии Аввакума существенные фрагменты написаны на языке, почти полностью лишенном специфически книжных черт, – книжный характер текста обозначен здесь лишь единичным употреблением признаков книжности. Житие Аввакума в данном отношении достаточно хорошо изучено⁴⁷⁴, тогда как добавление Ивана Наседки к Житию Дионисия, написанному Симоном Азарьиным, заслуживает отдельного упоминания (о Дионисии и его Житии см.: Скворцов 1890; об Иване Наседке см.: Опарина 1998).

Язык этот гетерогенен, как и в Житии Аввакума, одни пассажи наполнены специфически книжными формами (признаками книжности), а в других эти формы появляются в виде единичных вкраплений. Поскольку в Житии Дионисия не ставятся те специфические идеологические и риторические задачи, которые присущи Житию Аввакума (утверждение святости автора, соединенное с подчеркнутым самоуничижением), выбор более книжного или менее книжного изложения не соотносится с оппозицией сакрального и профанного, не создает того контраста двух планов, на котором строится риторика неистового протопопа (см.: Виноградов 1980, 14–17), а скорее определяется противопоставлением точек зрения: рассказа очевидца и повествования безличного наблюдателя⁴⁷⁵. В качестве примера нарратива первого типа приведу рассказ Наседки о том, как он погребал мертвецов в Троице-Сергиевой лавре и ее слободах во время разорения Смутного времени:

⁴⁷⁴ См. в особенности работы В. А. Чернова: Чернов 1977; Чернов 1984а; Чернов 1984б. О функционировании в Житии аориста как признака книжности см. прежде всего: Тимберлейк 1995. Необоснованные попытки приписать формам аориста своего рода «идеологическую» стилистику как обозначения действий праведных персонажей (Аввакума и «его круга») см. в работе В. В. Семакова: Семаков 1985.

⁴⁷⁵ Такого рода противопоставление можно, конечно, приписать и Аввакуму, и интерпретация языкового поведения Аввакума в этих терминах предлагалась (Живов и Успенский 1983, 163), хотя сейчас я не стал бы формулировать эти наблюдения в рамках оппозиции русского и церковнославянского, а предпочел бы говорить о разной степени книжности в пределах гибридного языка. Для Аввакума, однако, существен контраст, который у Наседки никакой роли не играет.

И аз грешный, как память моя осяжет, что поновлял и причащал, и погребал с братом своим, и мне то в памяти есть гораздо; с четыре тысящи с братом Симоном погребли мы мертвецов: а имянно помню, что во один день в струбе у Николы чюдотворца в Клементьеве восемь сот шестьдесят человек, да в другом убогом доме похоронили мы же шесть сот сорок человек, да на Терентьеве роще четыре ста пятьдесят человек, да с Иваном священником Синьковским в монастыре у Живоначальныя Троицы, и в Служней слободе, и у Пятницы; а иногда по деревням мы же бродили с тем Синьковским Иваном по Дионисиеву же велению, и тех людей с тем Иваном священником считали мы, и по смете погребли более трех тысяч в тритцать недель; да зимою и весною погребал я ж по вся дни мертвецов тех людей, которые не хотели в убогих домах кластися; а бывало того многажды, что на день погребенья три, и четыре, а иногда и пять и шесть и более. А в одну могилу в те тритцать недель не бывало, чтоб одного человека погребсти, но три, четыре, и пять и шесть, а иногда десять и пятнатцать в одну могилу зарывали: все тыя беды продолжались полтора года. А по благословению святого Архимандрита Дионисия мало того было, чтоб нагих погребати, занеже от него приставы надзирали, и ему извещали. Как скоро нага обрящут мертвеца, и ему скажут; тотчас промысл обо всем бывал, и всему тому строй от него бысть, и ко всему приставы с лошадьми везде по путем и по лесам ездили, и смотрели того, чтоб звери не ели; и мученых от врагов мертвых и умирающих всех сбирали, и в странноприемницах привезши поили и кормили и лечили: а которые умирали, и после их одежишки худыя вымывал, бедным отдавали. А женской пол в тех их избах безпрестанно рубашки и саваны шили и мыли, а их за то миром всем, и из монастыря кормили и довольствовали одеждою и обувью, и во всяких нуждах их вся благая творили им

(Симон Азарьин 1817, 46–48).

Здесь можно отметить не только последовательное употребление л-форм за единственным исключением аориста *бысть*, но и лишенный каких-либо специфически книжных конструкций синтаксис, характеризующийся скорее использованием нестандартных синтаксических средств, возможно, имитирующих устное повествование, ср., например, постпозицию субъекта 1 лица, не свойственную книжному языку, но возможную в языке не книжном (*погребли мы, похоронили мы, считали мы, погребал я*; о препозиции субъектов 1 и 2 лица см. § V-5.1–3; пример с постпозицией субъекта 1 лица из берестяной грамоты № 885 см. § V-5.2.3; пример с аналогичной постпозицией из Жития Аввакума см. § V-5.2.2). Этот пассаж естественно сопоставить с обобщенным описанием бедствий Смутного времени, открывающим добавление Наседки:

Егда убо в 7113, от Христа 1610м году, грех ради наших Царствующий град Москва разорися, и все державствующие и владычествующии великою Россиею в плене быша от велика и до мала, и всяк чин и всяк возраст мужеска пола и женска, вси под огнем и под мечем

зле мучахуся, и не бе нигде никого, еже бы миловати друг друга, но вси грабители, яко беснии пси, друг друга угрызаху; и не бысть ни града, ни веси, ни села, ни поля, ни леса, ни дебри, ни пропасти ни пещеры, еже бы без мучения где Христианом укрытися можно было; и не токмо простыя места, но и святыя церкви и монастыри всюду сожигаемы и всякими сквернами оскверняемы бяху; паче же всего блудом и прелюбодейством не токмо простая чадь, но и священный чин, и от иночествующих, оскверняемы бяху различными видами от злодеев, и везде назии и босии, и голодом и жаждою всяк чин и возраст томим баше (там же, 43–44).

В этом пассаже, напротив, последовательно употребляются простые претериты за единственным исключением *можно было*; Наседка, видимо, не сообразил, как трансформировать эту безличную конструкцию в нечто более книжное, использующее, например, имперфект (скажем, *Христиане укрытися можаху*); выраженно книжный характер носят и синтаксические построения, ср. хотя бы широкое использование страдательных причастий и такие конструкции, как *еже бы миловати друг друга*. Такая гетерогенность укладывается в параметры гибридного регистра. Можно полагать, что выбор гибридного регистра в этом случае является сознательным. Он дает возможность обозначить языковыми средствами индивидуально-полемическую установку авторов (см. ниже), выделить личный голос пишущего. Правдоподобно, что такой же была и проповедь религиозных реформаторов: и Неронов, и Аввакум, как это и должно быть у реформаторов, обращали к своей аудитории личное свидетельство.

Вместе с тем лингвистические опыты боголюбцев и их непосредственных предшественников (таких, как Иван Наседка) связаны, как можно думать, с определенной духовной традицией, в общие установки которой входило упорядочение русской церковной культуры, религиозное просветительство и такие изменения в церковном обиходе, которые углубили бы влияние церковного учительства на все аспекты народной жизни. Таким образом деятельность Ивана Наседки, Арсения Глухого, а затем и боголюбцев может быть связана с традициями, идущими от Дионисия Зобниновского (стоит напомнить, что и Наседка, и Неронов были в разное время келейниками Дионисия) (см.: Якше 1984/1985; Скворцов 1890). От Дионисия же протягивается нить к Максиму Греку и его ученикам (см. об авторитетности Максима для Дионисия и его сотрудников: Скворцов 1890, 209–210, 249, 348; Опарина 1998, 45–46). У этой преемственности должен быть и лингвистический аспект, который, естественно, не может состоять в прямом воспроизведении языковой практики предшественников (различия здесь очевидны), но лишь в преемстве общего подхода к языку церковного учительства, преемстве, которое не исключает, конечно же, переосмысления заданных традицией прецедентов.

В этой связи нельзя не вспомнить ту оценку языковой практики Максима, которая дается в сочинениях ученика Максима Зиновия Отенского. Зиновий писал: «мняше <...> Максимъ, по книжнѣи рѣчи у насъ и обща рѣчь. Мню же и се лукаваго умышление въ христорборцѣхъ или в грубыхъ смыс-

ломъ, еже уподобляти и низводити книжныя рѣчи отъ общихъ народныхъ рѣчей <...> Максиму же нѣсть зазрѣнія, не познавшу опаснѣ языка русскаго...» (Зиновий Отенский 1863, 967). Таким образом, Максим обвиняется в том, что он не проводит последовательного различия между книжным и народным языком. Парадоксальным образом Максим оказывается здесь инициатором сближения этих двух языковых систем. Ориентация на разговорную речь была Максиму безусловно чужда. Ему, однако, было чуждо и стремление к противопоставлению книжного и разговорного языка, свойственное книжникам предшествующего поколения, то отталкивание от разговорного языка, которое становится целью искусного книжника после второго южнославянского влияния. Целью Максима была грамматическая нормализация, такая нормализация могла приводить к устранению специфически книжных форм (см. выше, § VIII-5-6) и к использованию естественных речевых навыков для овладения грамматическим искусством. Как уже говорилось, само это искусство допускало разные уровни грамматического знания, в том числе и элементарную грамматическую выучку, предполагавшую лишь ограниченное переоформление естественных речевых навыков.

Соответствующая языковая практика и могла рассматриваться как «низведение книжных речей отъ общихъ народных речей», предосудительное с точки зрения традиционной книжности (в частности, и потому, что не требовала в качестве основы грамотности обширной начитанности в церковной литературе – «начетничества»). Вместе с тем языковая практика оказывалась здесь в зависимости от уровня знаний, характерного для данного социума, и саму эту зависимость можно рассматривать как одну из реализаций идеи «простоты» языка. В этом плане можно говорить и о преемственности, соединяющей Максима с религиозными реформаторами XVII столетия: лингвистические установки Максима создают предпосылки для сознательного выбора языкового регистра (языковой разновидности) в зависимости от той аудитории, к которой обращен текст, т. е. в зависимости от восприятия языкового коллектива, а не от имманентных свойств текста. К простецу должен был быть обращен «простой» текст, что и подводит нас к идее «простоты» языка и связывает Максима с боголюбцами. Понятно, что при активной религиозно-просветительской деятельности эти потенциальные возможности актуализируются. Они реализуются в существенном упрощении языка тех произведений, которые предназначены для широкой аудитории. Таким образом, и в Московской Руси идея «простоты» языка получает своеобразную манифестацию.

Распространение идеи «простоты» языка на славянские страны отнюдь не было простым воспроизведением здесь той культурно-языковой ситуации, которая сложилась в западноевропейских государствах в результате реформационных и контрреформационных процессов. В самом деле, исходные условия были здесь кардинально отличны от западных, и это имело многочисленные и далеко идущие последствия. Во Франции, Англии, Германии национальные языки как языки культуры (литературные языки) существовали задолго до распространения идей языковой простоты. Так, французские геста, лэ, фабльо, рыцарский роман соседствовали с латинской литературой в течение многих веков, предшествовавших как Реформации и

Контрреформации, так и Ренессансу. Латынь и французский были четко противопоставлены в языковом сознании, и идеи языковой простоты выражались не в установлении новых отношений между этими языками, а в переделе культурной территории, на которой действовал каждый из них.

Между тем для православного славянства ситуация была иной. Здесь функционировал лишь один книжный язык – церковнославянский (в одном из его изводов) в его различных вариантах. Поэтому реализация идеи языковой простоты не могла опираться на сложившуюся языковую традицию, не могла быть перераспределением функций между церковнославянским и каким-то иным языком. В этих условиях была возможна одна из двух схем развития. Возможно было либо перераспределение функций между отдельными регистрами церковнославянского языка, один из которых осмыслялся при этом как «простой», либо создание нового языка, «простого», противопоставленного церковнославянскому. Обе эти схемы нашли применение в истории славянских письменных языков (см. ниже). Очевидно вместе с тем, что в обоих случаях создание словесности на «простом» языке сталкивалось с существенно большими трудностями и подлежало большим ограничениям, чем в западноевропейском варианте.

Реализация установки на «простоту» языка в значительной степени зависела от конкретного исторического контекста. Прямое столкновение с католической и протестантской пропагандой делало актуальной активную религиозную полемику, использующую те же средства, что и выступления противной стороны: полемические трактаты на «народном» языке и перевод на этот язык Св. Писания (ср. упоминавшееся выше православное Пересопницкое евангелие, см. о языке этого памятника: Плющ 1958, 143–148). Это развитие характерно для Украины (Литовской Руси); ряд явлений аналогичного порядка имеет место и в полемических сочинениях старообрядцев (ср. в этой связи работы Харви Голдблатта об Иване Вишенском и «apostolic simplicity»: Голдблатт 1991а; Голдблатт 1991б). Жизнь под иноверным (мусульманским) владычеством ставила иные задачи, прежде всего элементарного общедоступного религиозного назидания; в этих условиях «простой» язык применялся в первую очередь в нравоучительной или житийной литературе (ср. литературу дамаскинов), тогда как перевод Св. Писания актуальным вопросом не был.

В соответствии с этими различиями можно наблюдать и разный эффект того внутреннего противоречия, которое вносила в православную традицию концепция «простоты» языка. В самом деле, эта концепция требовала понятности и общедоступности религиозных текстов. Данное требование достаточно легко могло быть выполнено в отношении новосоздаваемых текстов: их можно было создавать на некоем новом «простом» языке. Однако переход на этот язык во всех сферах культурной деятельности означал бы отказ от всей предшествующей литературной традиции, от веками складывавшегося корпуса церковнославянских текстов, составлявших ядро православной культуры. Если культурные и религиозные потребности могли быть удовлетворены за счет литературы на новом языке, обращение к литературе на традиционном книжном языке оказывалось делом немногих ревнителей, и это ставило под угрозу ее существование в качестве живой

традиции – понятность нового шла вразрез с понятностью старого. Это противоречие побуждало к поискам компромисса между традиционностью и понятностью книжного языка. В разных ситуациях результат этого компромисса мог быть ближе к одному или к другому полюсу, к понятности или к традиционности; самый компромисс, однако, во всех случаях существенно отражался на функционировании «простых» текстов, ограничивая полифункциональность новых средств выражения, и накладывал определенный отпечаток на структуру «простого» языка (при всем разнообразии лингвистических манифестаций этой «простоты»).

На Украине (в Рутении) «руска мова» получает, как уже говорилось, самое широкое распространение, на ней пишутся полемические трактаты, проповеди, апологетическая и апокрифическая литература, на нее переводятся части Библии и отдельные фрагменты богослужения (Успенский 1983, 64 сл.). Однако при этом отнюдь не происходит полного вытеснения церковнославянского языка, напротив, прилагаются усилия к поддержанию церковнославянской традиции и к распространению обучения этому языку. При всем объеме литературной деятельности на «русской мове» этот язык все же остается в отношении к церковнославянскому «an auxiliary language» (Струминский 1984, 34). В частности, «руска мова» не является предметом обучения и целенаправленной кодификации – единственная грамматика «русской мовы», написанная на латыни И. Ужевичем в 1643 г. (Ужевич 1970; Горбач 1967), обращена к иностранному читателю и непосредственно об украинской языковой ситуации не свидетельствует, равно как и созданный тем же Ужевичем разговорник, в котором параллельно дается текст на украинском (*lingua popularis*) и на церковнославянском (*lingua sacra*) (Бунчик и Кайперт 2005). Употребление «простой мовы» является как бы вынужденным, и показательно, что в Киеве оно сокращается уже во второй половине XVII в. Это может быть связано как с постепенным распространением здесь церковнославянской образованности в результате деятельности Киево-Могилянской академии, так и с присоединением Киева к Москве, обеспечившим надежную защиту от католической пропаганды и тем самым сделавшим не столь актуальной полемическую установку в духовной литературе. Таким образом, полифункциональность «простой мовы» была ограниченной, и это отражало компромисс между понятностью и традиционностью; по мере того как уходили в прошлое условия, вызвавшие к жизни «простую мову», начало традиционности выступало на первый план и обуславливало возвращение к церковнославянскому языку.

Мне представляется сомнительным мнение тех исследователей (ср.: Бойчук 1962, 61–62; Струминский 1984, 28), которые связывают упадок «простой мовы» в Киеве (и на левобережной Украине) с процессами унификации, идущими в XVIII в., или с подчинением Киевской митрополии московскому патриарху в 1685 г. Как кажется, этот упадок начинается несколько ранее, в период деятельности Иннокентия Гизеля. Этот упадок, соответственно, следует объяснять преимущественно внутренними, а не внешними причинами. Очень показательно в этом плане, что предназначенные для массового читателя Четьи Минеи св. Димитрия Ростовского издаются на церковнославянском языке, а не на «простой мове» (первая часть появля-

ется в 1689 г.). Не менее существен тот факт, что в данном контексте может утверждаться понятность и доступность церковнославянского, его несходство в данном отношении с латынью у католиков.

Парадоксальным образом такие утверждения могут быть найдены у Феофана Прокоповича. Если в великорусский период своей деятельности он относился к церковнославянской учености весьма критически и, следуя языковым установкам Петра I, говорил о темноте и непонятности церковнославянского (см. ниже, § X-7), то в киевский период, напротив, он мог противопоставлять церковнославянский как понятный для народа язык таким мертвым языкам, как латынь. В курсе богословия, который Феофан читал в Киевской академии, он посвящал особую главу вопросу о том, «*utrum liceat S. Scripturam ex hebraeo, graeco, latino aut alio quopiam ignoto idiomate, in alias etiam linguas vnicuique nationi proprias, notas et vernaculas vertere; et quod huic cognatum est, non modo Sacerdotibus ac Magistris, sed etiam hominibus promiscue omnibus*» (Феофан Прокопович 1782, 236). Решая в принципе этот вопрос положительно, т. е. утверждая, что «*licere, imo debere S. Scripturam in linguas vernaculas converti*» (там же, 237), Феофан в то же время полагал, что у славян такая потребность отсутствует, поскольку они и так понимают церковнославянский текст: «*quemadmodum Graeci moderni diuersam in suis libris linguam habent a vulgari sua: illam tamen intelligunt, vti etiam Russi slauonicam*» (там же, 252). Таким образом, языковая ситуация в православных областях оказывается принципиально отличной от языковой ситуации в католических странах. Знаменательно также сопоставление с греческой ситуацией: Прокопович говорит о понятности текстов на книжном греческом, игнорируя тексты на «простом» греческом (типа «Сокровища» Дамаскина Студита), т. е. не связывая их появление с непонятностью традиционного книжного языка. Представляется, что данная точка зрения отражает тот процесс возрождения церковнославянской образованности, который имел место на Украине в конце XVII – начале XVIII в.⁴⁷⁶

⁴⁷⁶ В южнославянской ситуации распространение «простого» языка было жестко ограничено в функциональном отношении, и именно в этих ограничениях можно видеть дань традиционности, с которой православные славяне на Балканах связывают свою идентичность. По крайней мере до середины XVIII в. «простой» язык употреблялся исключительно в назидательной литературе, обращенной к «некнижной» аудитории. В этих узких рамках «простота» может выражаться очень радикально, в языке, непосредственно ориентированном на народные говоры. Именно так обстоит дело с сочинениями Гавриила Стефановича-Венцловича (Унбегаун 1935б, 23; Константины 1972, 163–186; Толстой 1979, 162–164): «простым диалектом» он пишет только «ради разумения простым чловѣком», «за сел'не и просце людѣ», тогда как обычным средством выражения остается для него церковнославянский язык. В ретроспекции эти опыты могут рассматриваться как начальные моменты истории нового литературного языка, ориентированного на живую народную речь (см. данную интерпретацию билингвизма Венцловича у О. Неделкович: Неделкович 1986), однако в функциональном отношении эти явления несопоставимы: «простой диалект» существует как частное отступление внутри церковнославянской традиции, не отменяя статуса церковнославянского как основного книжного языка. Сказанное о Венцловиче в полной мере относится и к болгарской и македонской литературе дамаскинов (ср. разные точки зрения на связь языка дамаскинов с новобол-

3. «Простота» языка в Московской Руси XVII в.

В Московской Руси культурно-языковая ситуация существенно отличалась от ситуации на Украине (в Рутении); потребность в «простом» языке отнюдь не была здесь столь настоятельна, как в Киеве, Львове или Вильне. Таким образом, здесь не было веских оснований для хотя бы частичного отказа от церковнославянской традиции. Здесь также во второй половине XVII в. появляется ряд памятников, написанных, по утверждению их авторов, на «простом» языке. При ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, что большинство таких памятников написано на стандартном церковнославянском, а заявления о «простоте» являются декларативными и могут быть поняты только в контексте противопоставления ученого и традиционного употреблений, возникшего с развитием грамматического подхода к книжному языку. Московские авторы второй половины XVII в., принадлежащие господствующей церкви, усваивают реформаторский дискурс простоты, но на практике реализуют установку на понятность, не выходя за рамки стандартного церковнославянского языка; их несомненно можно рассматривать как православных просветителей, но просвещают они, не прибегая к реформе языка (см. об установке проповедников второй половины XVII в.: Киселева 2011, 127–151).

Так написан «Обед душевный» Симеона Полоцкого и книга «Статир» неизвестного священника из Пермской епархии (Успенский 1994, 196–199). Особенно показательна языковая практика Полоцкого; будучи хорошо знаком с «простой мовой», он в условиях Московской Руси избирает в качестве ее эквивалента традиционную разновидность церковнославянского, явно предпочитая традиционность понятности и вместе с тем рассчитывая, как можно полагать, на относительно высокий уровень церковнославянской образованности, поддерживаемый в Москве у его предполагаемых читателей.

гарским литературным языком, зависящие от преимущественного внимания к материальному или функциональному аспекту: Велчева 1966; Шиманьски 1970; Демина, III, 29 сл.; Бернштейн 1963; Андрейчин 1977; Венедиктов 1979; Гиллин 1991).

Аналоги такого функционально замкнутого употребления языка, близкого к разговорному, можно обнаружить и в истории восточнославянской словесности. И здесь эти явления стоят особняком и не сказываются на общем развитии литературного языка. Так, в «Последовании о исповедании» Гавриила Бужинского на таком языке написан текст, с которым исповедник обращается к исповедуемому; при этом сказано: «Сіе написалось просторѣчно, да бы самое скудоумнѣйшее лице могло выразумѣть» (Гавриил Бужинский 1723, л. 32об.); просторечный текст находится в обрамлении церковнославянского. Показательно, что при переиздании «Последования» в 1760-х годах, когда полифункциональный русский литературный язык нового типа прочно занимает место в лингвистическом репертуаре, этот эксперимент Бужинского воспринимается как неоправданное нарушение норм и специфически просторечные формы из него устраняются. Таким же уникальным памятником является, видимо, «Наука христианская» Симеона Тимофеевича (1670 г.), написанная «барзо простою мовою и диялектом» (Успенский 2002, 389).

«Простота» Полоцкого соотнесена с тем механизмом иерархически упорядоченных вариантов книжного языка (более сложных и более простых), о котором говорилось выше. Декларации о простоте лишь демонстрируют в подобных случаях заботу автора об адресате своих сочинений, которая ограничивается отказом (добровольным или обусловленным недостатком образования) от грамматической изощренности, т. е. сводится к тому противостоянию «ученого» и «простого», которое возникло с развитием грамматического подхода к книжному языку. «Обед душевный» написан на стандартном церковнославянском языке, в целом ориентированном на грамматику Смотрицкого (ср. § VII-5) и практически не обнаруживающем элементов гибридности (см. об употреблении простых претеритов в проповедях Симеона Полоцкого: Живов 2004а, 567–568). Это и не удивительно, поскольку Симеон учился писать по-церковнославянски с грамматикой в руках⁴⁷⁷.

В этом контексте следует интерпретировать и его предисловие к «Обеду душевному»:

Оумыслихъ азъ гладнымъ православныхъ дѣшамъ дѣхъвнѣю трапезѣ,
обѣдъ дѣшевный ѿ пищѣ слова бжѣа оуготовати, и прѣстави во
дни воскресныа, на вселѣтное поприще, въ насыщеніе спасенное: да
ѿвергше брашна неполезнаа дѣшетлѣннаа, гадатъ сей обѣдъ дѣше-
цѣлевный, дѣшекрѣпителный, и дѣшеспасенный, такъ ѿ браше" блгнхъ
оуготованный. Аще же и нѣсть такъ иностранными зелѣи, хитростми
вѣтїйскими довлѣукрашенъ: Обаче весма чюждѣ всакагѣ вреда, паче
же дѣйственъ здравїа дѣшевнагѣ. Не ѹкрасихъ же ово за скѣдость
оума моего: Ово, такъ оудобѣе простое слово оуразѣмѣваемо естъ въ
писанїи, неже красотами хѣдожественными покровенное. Иако оудобѣе
гадро снѣдается излѣщенное нежели в' кожѣ си содержимое. Къ томѣ,
такъ прилѣчимся медоточныхъ оустъ слово чести, Амвросїа сѣгагѣ ѿ
красотѣ вѣтїйства глѣща сице: Бегѣ проповѣданїе и вѣра хрѣтїанскаа

⁴⁷⁷ Об этом Симеон пишет в предисловии к «Рифмологиону» 1679 г.:

Писахъ въ начале по языку тому,
иже свойственный бѣ моему дому.

Та же увидѣвъ многу ползу быти
славенскому ся чистому учить;
Взяхъ Граматику, прилѣжахъ читати,
бог же удобно даде ми ю знати.

Къ тому странная сущи ей подобна,
в знания ползу баше ми удобна.

Тако славенскимъ рѣчемъ приложихся,
елико далъ богъ знати научихся;
Сочинение возмогахъ познати

и образная въ славенскомъ держати (Симеон Полоцкий 1953, 218).

Конечно, какое-то знание церковнославянского было у Симеона и до его переезда в Москву, однако в Полоцке он писал на «простой мове», и переход к церковнославянскому писательству был связан с обращением к грамматике (см.: Успенский 1994, 193–194). Естественным результатом такого способа овладения книжным языком было использование его стандартной разновидности, хотя знакомство с московским церковнославянским узусом (гибридным) могло индуцировать окказиональные отступления от стандарта.

не требѹетъ, да не видитсѧ быти изъ хитрости и коварства чловѣческѧ мѹдрости, а не изъ правды. Что само и великій цѣркве свѣтильникъ и оучитель, бѣгомѹдрый Василій мѹдрствѹѧ, глаголетъ: Не вымышленнаѧ реченѧ, но простота лѣпа ми видитсѧ, и прилична исповѣданію хрѣтіанскагѡ имене, емѹже подобаетъ не во сѧвствованіе паче писати, нежели во ползѹ народнѹю. А понеже сице простотѹ слова толицын столпи цѣркве оубѣжиша: Ты бѣгочестивыи читателю прѣими любезнѡ обѣдѹ сей простоѹготованныи, и каждѹ здравѹ во спасеніе ти дѹшевное (Симеон Полоцкий 1681, л. 7об.–8).

Дискурс простоты языка обнаруживается здесь с полной ясностью; Симеон ссылается на Амвросия Медиоланского и Василия Великого и, хотя и не говорит о невозможности риторических украшений в христианских наставлениях, но подчеркивает, что проповедь таких украшений не требует. Предпочитая простоту, он вместе с тем предпочитает и понятность для той аудитории, к которой он обращается.

Особенно очевидна соотнесенность заявлений о «простоте» с иерархией вариантов церковнославянского в случае книги «Статир». Это сочинение, написанное неизвестным пермским священником в 1683–1684 гг., остается в рукописи (РГБ, Румянц. 411), однако оно неоднократно привлекало к себе внимание исследователей (см.: Востоков 1842, 629–633; Сухомлинов 1908, 434–438; Алексеев 1965; Успенский 1994, 196–199). В предисловии к книге автор говорит, что учительные сочинения, известные в русской книжности его времени, слишком сложны для его провинциальной аудитории. Это относится как к традиционным переводным сочинениям (например, беседам св. Иоанна Златоуста), так и к новым оригинальным (например, проповедям высоко чтимого автором Симеона Полоцкого). Так, сочинение Златоуста оказалось «сѣлѡ неразѹмнѣлно, не точію слышѧщимъ, но и чѹдѧщимъ, велми бо прѣпросты страны сѧ житѣли въ ней же ми шѣтити, не точію ѿ мирѧнъ, но і ѿ сценникѹ, иностраннѡмъ ѡзыкомъ, таѧ златѡустѧгѡ писанѧ нарицахѹ» (л. 5об.). Точно так же «шѣдѹ же и вечерю, люботрѹднагѡ и прѡмѡрагѡ мѡжа оца симѡвна полоцкагѡ слогъ, и таѧ простѣйшимъ людемъ за высотѹ словесѹ тажка бытѹ слышати и грѹбѡмъ разѹмомъ невнимѧтельна» (л. 5–5об.). Очевидно, что сама ориентированность на слушателей, на аудиторию является чертой нового культурного сознания, когда значимой оказывается не имманентная правильность текста, а его доступность, не соответствие традиционным образцам, а прагматическая оправданность формы⁴⁷⁸.

⁴⁷⁸ Эти декларации, скорее всего отражающие реальную ситуацию, в которой создавался «Статир», могли тем не менее следовать определенной традиции, в которой простота языка связывалась с лингвистической некомпетентностью инородцев. Автору «Статира» могло быть известно приписываемое (явно неосновательно) Максиму Греку предисловие к Житию свв. Зосимы и Савватия Соловецких. В этом предисловии говорится: «Іѡко же бо и сѧи творцы Житѧ блаженнѡхъ отецъ Зосимы и Саватѧ, Дософѧн, глаголю, оученикъ прѣподѡвнаго Зосимы, написахъ [вместо написа] оубо потонкѹ и неѹхищрено, іѡко же бо возможно тамо живѹщимъ чловѣкомъ глаголати же и прочитати. Понеже оубо тамо живѹщѧи чловѣцы близъ моря и окрѹгъ острова того мало свѣдахѹ россинскаго ѡзыка: близъ живѹще Ижера, Чюдѹ, Лопѹ, вдалѣе же Каалѧ и Мѡрманѧ и нѧиѧ

Вместе с тем лингвистическое исследование данного текста (см.: Живов 1990) показывает, что никаких сознательных отступлений от традиционного употребления церковнославянского автор не делает. Он последовательно использует простые претериты – в пропорциях, характерных именно для традиционного, а не для гибридного употребления (как и у Симеона, перфект без связки, т. е. *л*-форма появляется в «Статире» лишь окказионально, менее чем в 3% всех употреблений форм прошедших времен)⁴⁷⁹. Он пользу-

мнози азыци. Мнози бо ѿ тѣхъ прихожахъ во обитель преподобныхъ отецъ Зосимы и Саватѣа, и острижахъ главы своа, бывающе мниси. Того ради Досифеи нехъниренно, ни же добрословесѣмъ писаше, но тако воспоминанїа ради трѣдолюбнаго житїа превлаженныхъ онехъ отецъ, да слышаше, ревнѣють по нихъ добродѣтелемъ ихъ. Посихъ же слѣчиса быти Спиридонъ митрополитъ во обители Пречистыа Богородица, зовомоу Ферапонтовъ, тако же напѣди слово скажетъ въ Житїи блаженныхъ отецъ. Оумоленъ же емъ бывшъ, еже подробнъ емъ преписати и оудоврити достохвальное превыванїе, онъ же ѿчасти оу[во] исправи, но [и] добрословесѣмъ оу[краси], но не все, понеже оубо, тако же выше рекохъ[мъ], тамо ради живѣщихъ человекъ. Еце бо въ то время ѿ иныхъ градовъ немнози прихожахъ, постригахъ главы своа, но близживѣщихъ человекъ, тако же выше назнаменахъ, мало свѣдѣше русинскаго азыка. Нынѣ же по божественномъ апостолъ ависа благодать спасительнаа всѣмъ человекомъ, не токмо бо окрѣгъ острова того истиннии богочетци и Христовы поклонници, но благодатїю Его мнози азыци иновѣрнии превратнишася въ православнѣю и благочестивѣю христїанскѣю нашъ вѣрѣ и крестнишася во имя Отца и Сына и Свѣтаго Дѣха со отрицанїемъ первыа ихъ вѣры и проклатїемъ своеа имъ ереси» (Минеева 2001, II, 342–343). О том, как концептуализировалась эта «простота» в Житии Зосимы и Савватия, может свидетельствовать следующая цитата из текста Жития: «Единоу ѿ жителен тѣхъ, слѣчиса подѣремникъ его на лесѣхъ заходитиса, сиречь нашою помѣстною бесѣдоу рѣци, меринъ на долго время тамо емъ забавдитиса» (там же, 434). Отношение автора «Статиря» к своей пастве любопытно сопоставить с миссионерскими усилиями боголюбцев (см. о последних: Лавров 2001, 375–380).

⁴⁷⁹ Некоторые статистические данные для «Обеда душевного» Симеона см.: Живов 2004а, 567–568. В Слове во вторую неделю по Пасхе (Симеон Полоцкий 1681, л. 12об.–17об.) имеется лишь одна *л*-форма без связки, что составляет 2,04% всех форм прошедшего времени; в Слове в пятую неделю по Пасхе (там же, 53об.–58об.) встречается две таких формы, что составляет 2,56% всех форм прошедшего времени. В «Статире» в одном из обследованных Слов данный показатель равен 2,5%, в другом – 1,8% (Живов 1990, 144). Различие между узусом «Обеда душевного» и «Статиря» заметно в более тонких особенностях употребления. У Симеона употребление имперфекта в большинстве случаев мотивировано (как фоновое или узуальное действие), в «Статире» же мотивированность плохо просматривается. Так, скажем, в «Статире» встречается имперфект от глаголов сов. вида, однако не в значении повторяемого или узуального действия, как в традиционных стандартных церковнославянских текстах, а в общем значении прошедшего времени, ср.: *послѣдовахъ <...> до самаго мѣста идѣже и распахъ егѡ* (РГБ, Румянц. 411, л. 37); *Но сїи жены послѣдовахъ по немъ* (там же); *Сїи же ничтоже сѣмнѣшася, послѣдовахъ со мною скорбїю ведомъ гдѣ на крѣтъ* (там же, л. 38). Первый пример представляет собой заимствование из Учительного Евангелия Кирилла Транквиллиона (этот источник постоянно используется в «Статире»), однако у Кирилла находим: *на мѣстѣ идѣже распинахъ его* (Кирилл Транквиллион 1619, л. 143об.), и, таким образом, имеющаяся в «Статире» аномалия отсутствует. Точно так же без определенной мотивации употребляется окказионально бессвязочная *л*-форма, чередующаяся с формами аориста, ср.: *И венець свой возложи на главы еа, и до полъ црѣствїа ей дати шѣща, и повеленїе с нею*

ется исключительно формами инфинитива на *-ти* (Живов 2004а, 138). Автор «Статира» избегает по мере возможности свойственной гибриднему языку вариативности, хотя и не в состоянии нормализовать язык в соответствии со стандартами грамматического подхода. По конфигурациям морфологических вариантов его язык обнаруживает принадлежность к регистру стандартного церковнославянского и ближайшим образом напоминает язык Симеона Полоцкого. Так, в частности, объем *а*-экспансии (менее 6%) не превышает у него того, который мы находим у Симеона; как и у Симеона, у него у существительных м. рода *о*-склонения наиболее консервативен дат. мн., затем идет местн. мн., и наиболее продвинут тв. мн. (там же, 282). Если у Симеона эта конфигурация может быть связана с ориентацией на грамматику Смотрицкого, то для автора «Статира» образцом, надо думать, оказывается узус самого Симеона, в подражание проповедям которого написан «Статир». Типичной для стандартного церковнославянского регистра является в «Статире» и конфигурация вариантов флексий прилагательных в им. и вин. падежах мн. числа: автор достаточно редко отступает от нормы (в 7,12% случаев) и никогда не употребляет флексию *-ие/-ые* (см. подробнее: там же, 415–417).

В то же время нет оснований связывать заявления о «простоте» с риторической или содержательной элементарностью проповедей, как это делают М. И. Сухомлинов или Б. А. Успенский (Сухомлинов 1908, 437; Успенский 1983, 117). Можно предположить, что автор «Статира» ориентируется на традиционные образцовые церковнославянские тексты, которые служат для него постоянным источником компиляции, хотя он и не в состоянии адекватно воспроизвести их нормативные характеристики. Эта невозможность обусловлена отсутствием у него грамматической выучки, что автор вполне сознает. В самом деле, он говорит в предисловии: «*Вкромѣ бѣквы, часослова, и ѿалтыри ничтоже ѿчи^х, и то несовершенно. Грам^матикии же, ниже слыша^х какъ е^м навикають, а зрѣ е^м, ано инозѣчна ми зрѣтсѣ, риторѣки же нимало покѣси^{сѣ}, а философѣю ни^ж очима вида^х, мѣ^арыхъ же мѣ^жей ниже гдѣ на пѣти в лицѣ ѿсрѣтохъ, но токмо ѿ писаниа стѣг^а...*» (л. 60б.).

Вряд ли эти слова следует интерпретировать только как обычную для русской книжности формулу самоуничижения. По крайней мере, в другом месте предисловия автор наполняет самоуничижительную формулу вполне конкретным содержанием, явно выходящим за рамки соответствующего топоса, ср.: «*Азъ поселани^и сый и навозогрѣвѣ, сѣщій невѣжа. аще и ѿ правовѣрныхъ родителей, но ѿ простѣйши^х, не ѿ священнаго корене, ни ѿ слав^ана рода, нбо оца има^а ѿсмарѣ дѣда портнѣгѣ прадѣда скотопаса: а болши си^х не*

црѣкое общее нарекѣ (РГБ, Румянц. 411, л. 43); самже приближисѣ к непостижимѣ бжѣтвѣ, и в томѣ свѣтѣ ѿзрѣлѣ свѣтъ, единосѣчнагѣ слова бжѣа (там же, 162об.); И тѣ сѣтый Іѡанъ многѣа чюдеса сотвори^л, и демоны изгна (там же, л. 164об.). У автора «Статира» лингвистическая квалификация более низкого уровня, чем у Симеона, и поэтому, хотя текст и относится к регистру стандартного церковнославянского, в нем присутствуют единичные ошибки в окончаниях, которых у Симеона нет, например, смешение флексий аориста и имперфекта, ср.: *И многажды омывше слезами нозѣ егѣ, и власы главы своѣм отираша* (РГБ, Румянц. 411, л. 41).

свѣмъ» (л. 3). Таким образом, автор происходил не из духовной среды и не получил даже обычного для детей духовенства традиционного образования. Начитанность и привычка к книжному языку появляются у него довольно поздно, после того как он сделался дьяконом и служил в Пыскорском монастыре. Он пишет: «И препроводи^х лѣтъ пѣтерицѹ во вѣители сѣса прѣвѣраженіа пыскорскогѹ мѣтра: и тѣ покѣсихса ѿчасти стѣхъ книгъ читаніа. и воспріахъ малѹ вѣденіа во законѣ вѣіи. и єдва ѿраіичихса ѿ первагѹ скотомыслиа» (л. 3об.). Навыки книжного языка автор «Статира» получает, следовательно, из чтения, без какой-либо грамматической выучки. Соответственно, приведенные выше слова отражают, похоже, действительное представление автора о его лингвистической компетенции: он вполне четко описывает, как он овладел книжным языком, и говорит о непонятности для него грамматических руководств. Между тем он был неплохо знаком с изданиями, подготовленными московскими книжниками, и ощущал, видимо, что уровень его собственной книжной культуры не идет в сравнение с московским стандартом. Такая интерпретация в наибольшей степени согласуется и с его лингвистической практикой, с тем старанием соблюсти нормы книжного языка, которое можно наблюдать при анализе текстов⁴⁸⁰.

⁴⁸⁰ И предисловие, и самый текст «Статира» показывают, что его автор был в какой-то степени знаком с новыми идеями и представлениями, в том числе и с идеями грамматической нормализации. Здесь значимо само создание цикла проповедей как авторского сборника, трактовка ряда библейских сюжетов как завлекательных новелл, силлабические стихи (впрочем, неравносложные), которыми завершается книга (л. 271об.–274 второй фолиации) и т. п. То, как возникла идея создать сборник проповедей, описывается в предисловии следующим образом: «Слышахъ же іакѹ в росіи по многихъ градѣхъ, премѣрии сѣенницы, ѿоу стѣхъ побѣненіа читають, а не с книгъ, и людѣ сѣлаѹ любезно послашаша со мнѹгмъ ѡдивленіемъ. неѹ и кирилъ ставроменійскій в' книзѣ своей сѣлаѹ похваляетъ оуное оученіе, а книжное понѣждна глѣтъ. іакѹ всѣдѣша ѿ цркви мѣрии очетели [так!]. Онм же азъ поревновахъ хотѣа привлеци слѣшателя» (л. 5). Таким образом, автор явно ориентируется на новые явления в русской духовной жизни, готов следовать примеру украинского автора и себя самого воспринимает как новатора. Можно думать, что он усвоил и идею противопоставления ученого и традиционного знания. Именно как конфликт знания и невежества, просветительства и привычного невежества и описывает автор «Статира» свою проповедническую деятельность и реакцию на нее со стороны других священников и настроенных ими прихожан. Его нововведения вызывали протест, «сѣлаѹ во невѣжество исполненни жители страны сѣа іаже прѣрекѹ, велии бо ма ѡкорахѹ, и порнчахѹ, и сопротивляхѹмиса, и посмѣвахѹсѹ, и всакии хѹхнателмиса (вместо хѹхнателскими) иманы ѡкорахѹ, и всѣмъ быхъ в' претыканіе. заоуно дрѹгъ дрѹга развращающе, іакѹ не слѣшати оученіа моего, мнѹши іакѹ бы азъ новѹвожѹ, и глѹтъ: прежде сегѹ здѣ были сѣенницы добрыа и честныа, и такѹ не творили жили же попрѣстѹ, и мы били [так!] во изѹбавствѣ, а сей ѿкѹдѹ неѹдобнаа в'водитъ; ѹногѹ оца сѣгъ и тыа мѣри во ниже азъ выше иѣави. Тако во сѣлаѹ на злобѹ испѣтворниествованы людѣ сегѹ мѣста; не тоуіо насъ хоуѣтъ покорныхъ себѣ быти, но и црковь стѣю хоуѣтъ, и вса оуставы црковныа оутреннаа и вечернаа пѣніа, по ихъ грѣвомѹ ѹбываю да бы послѣдовали. не тоуіо ѿ меншихъ, но и ѿ началствѣемыхъ и содержанихъ мѣсто сіе: хоуѣтъ во неѹ сѣенникѹ слѣга бѣа вышнагѹ былъ бы прѣа ними іакѹ* послѣднѣйшій рабъ <...> вса же сіа испѣтворествовали сѣенницы, прежде мене бывшии и при мнѣ сѣиши... Огда же невѣгласи мене хѹхнахѹ,

Идея противопоставления ученого и традиционного знания в лингвистическом плане реализовалась в оппозиции грамматически нормализованного и традиционного типов книжного языка. Зная о грамматической учености, сам автор «Статира» пользуется, как свидетельствуют особенности его языка, традиционной разновидностью. Характерно, что, обращаясь к читателю, он пишет: «**Ѡ бл҃горазѹмный читателю, прочти книгѹ сѣю, и погрѣшенїа моегѡ неразѹмїа, в кротости дѹха исправи. аще не вблѣниши сѧ, и на просодїю расположи, неправѧа склоненїа, и недѡбныа падежи, и несвойственнаа званїа, всѧ сѣа премени. плевы же вбѣтши исторгни, и вместо еѧ здоровое постѣй, пшеницѹ же сохранивши не вреди**» (л. 8). И здесь подробное перечисление возможных языковых погрешностей побуждает думать, что автор придает этому заявлению не только этикетную, но и реальную значимость. Существенно, что с просьбой об исправлении автор «Статира» обращается не к читателю вообще, а лишь к читателю, искушенному в грамматике: «**Ѡ аще в нѣчесомѣ смѣтниси сѧ, не дерзай искоренити, или исправити, молю тѧ, и за вѣщаю, и прѣ^а бгѡмѣ засвидѣтельствѹю. аще ненавыченъ еси грама^атическагѡ ѹченїа, и не начѣ^т сѧ очески^х писанїй. бой сѧ мнѧщи исторгаючи плевы, да не исторгнеши пшеницѹ**» (л. 8об.). Как кажется, именно в этом отношении к грамматической учености и лежит ключ к высказываниям автора «Статира» о простоте языка.

Наряду с представлением об ученом и обычном книжном языке, наш автор усваивает и идею ориентации на адресата («**хѡтѧ привлѣци слѣшателя**», л. 5), доступности текста для данной аудитории, языковой простоты как понятности для неискушенного слушателя или читателя. Совмещение этих двух идей и обуславливает те заявления о языке, которые сделаны в предисловии. Поскольку язык «Статира» не является грамматически нормализованным, он оказывается «простым», оказывается тем славянским «просторечием», которое не отработано новой ученостью. Поскольку же этот язык «прост», он понятен и доступен – в представлениях автора традиционность, доступность и простота образуют единый комплекс понятий. Этот комплекс ставит «Статир» в контекст современного ему литературно-языкового процесса и служит оправданием для той лингвистической неизощренности, которую автор не мог не сознать.

«Неученый» вариант стандартного церковнославянского не был, впрочем, единственным способом реализации «простоты» языка в Московской Руси второй половины XVII в. Отдельные тексты, декларированные в качестве «простых», написаны на языке, отличном от стандартного книжного, причем выбор регистра явно связан с реформистской установкой пишущего. Наиболее ярким памятником этого рода является Псалтырь, переведенная в 1683 г. Авраамием Фирсовым. Псалтырь была, собственно, не столько переводом, сколько «компиляцией цсл. текста Псалтыри и переводов с польск. текстов, при этом обращение в каждом конкретном случае к тому или другому источнику диктовалось, по-видимому, критерием понятности текста» (Целунова 2006, 28). Как полагает Е. А. Целунова, «работа над переводом

оныа тогда величахѹсѧ» (л. 7–7об.). Перед нами типичное описание столкновения ученого реформатора с невежественной толпой.

Псалтыри <...> состояла в редактировании цсл. текста Псалтыри, в процессе которого переводчик заменял в нем слова, фразы, стихи и целые псалмы, руководствуясь индивидуальными представлениями о “простоте” языка и ориентируясь с этой целью на польск. тексты Псалтыри» (там же, 29); использовались при этом разные польские переводы Библии, как католические, так и протестантские (Краковская Библия Якуба Вуйка 1599 г., Библия Николая Радзивила 1563 г., Гданьская Библия 1632 г. – там же, 28). Каковы бы ни были конкретные методы перевода, результат в традиционной перспективе представлялся однозначным: вместо правильного церковнославянского языка, которым столь дорожили ученые книжники XVII в., Фирсов употребляет смесь книжного языка с некнижным, весьма похожую на ту, которую можно было наблюдать во многих гибридных текстах того же периода, но которая авторам, ориентировавшимся на основной корпус текстов как на образец языкового употребления, должна была казаться немыслимой в основном тексте православного благочестия. Показательно, что этот перевод подвергся запрету патриарха Иоакима, увидевшего в нем, надо думать, непосредственную угрозу православной традиции. В этом случае баланс между традиционностью и понятностью был явно нарушен, с его точки зрения, в сторону понятности, и это достаточно отчетливо обрисовывает специфику проблемы «простого» языка в Московской Руси.

Фирсов «портит» церковнославянскую Псалтырь, чтобы сделать ее понятной плохо понимающему церковнославянский язык читателю. Он подчеркивает, что духовная польза происходит лишь от чтения Псалтыри «с разумом»:

Ѣ читанїя слова бжїя с разꙋмо^м, приходи^т сладость дшїи <...> Ѣо читанїя слова бжїя, с разꙋмо^м, приходитъ члвкъ сокръшенїе дшїи <...> Просто рещи; всякагѡ блага набытїе бывае^т, Ѣ читанїя слова бжїя с разꙋмо^м. Ѣго ради да прилѣжи^м ко свѣтомꙋ писанїю: а паче же да прочитае^м сїю свѣтꙋю книгꙋ псалтирь, с разꙋмо^м и неспѣшнѡ: дабы разꙋмѣти глаголемѡ (Целунова 2006, 183).

Эта установка на понятность и определила «переводческие» задачи Фирсова:

И тоѡ ради вины, нѣтъ в сєи книгѣ псаломнои, исто^кованы псалмы, на нас^и про^сто^е словескои ѡзыкъ, с велики^м прилѣжанїе^м: самон належащїи, исти^нныи в нихъ двѡ^ѡ разꙋм^м, бѣзъ всякагѡ ꙋкрашенїя, ꙋдобнѣшагѡ ради разꙋма, на славꙋ, и честь стѡ^мꙋ имени бжїю, и всѣмъ людемъ во ѡбщꙋю по^лзꙋ (там же, 185; ср.: Целунова 1989, 28).

Перевод сделан на гибридный язык. Это ясно видно из его морфологических характеристик. Прежде всего можно указать на формы прошедшего времени глагола. Как отмечает Е. А. Целунова, «основной формой прошед. времени в ПсФ является универсальная форма на -л- (1658 примеров), что существенно отличает “простой” язык А. Фирсова от языка книжно-литературных произведений XVII в. и сближает его как с языком деловых памятников, так и с живой великорус. речью XVII в.» (Целунова 2006, 69). На самом деле, говорить о сближении с деловым регистром или с разговорным языком не стоит, поскольку, например, в тексте остается 347 примеров пер-

фекта со связкой (15,1% всех форм прошедших времен), 304 примера аориста (13,1%) и 9 примеров имперфекта (0,3%) (там же, 67); это, безусловно, не окказиональные отступления, а черты, определяющие языковую конфигурацию памятника, никакого сходства с деловым документом или устным текстом не имеющую. Формы перфекта со связкой употребляются преимущественно во втором лице ед. числа, и здесь видна связь отнюдь не с разговорным языком, а с грамматической традицией, в которой перфект вытесняет омонимичный аорист именно в этой парадигматической позиции (см. § VIII-5–6). Формы аориста в основном воспроизводят те же формы в обычной церковнославянской Псалтыри, однако в ряде случаев (таких случаев 36, что, понятно, исключает случайность) форма аориста не повторяет ту форму, которая стоит в данном месте в церковнославянской Псалтыри, и это означает, что Фирсов пользуется аористом, – это обычно для составителя гибридного текста, но странно для автора текста делового. При этом Фирсов порождает цепочки однородных глагольных форм, в которых аорист чередуется с перфектом; это характерно исключительно для гибридного регистра. Целунова указывает случаи, когда Фирсов заменял «одну из форм аориста формой на -л-», оставляя «другую без изменения»: *мечъ извлѣкоша грѣшницы, напругоша лѣкъ свои, низложити ѹбога и нища > извлѣкоша грѣшницы мечъ, и натянѣли лѣкъ свои, ѹбити ницагѣ и ѹбогагѣ* (Пс. 36: 14); *к тебѣ въздѣваша, и спасошася, на тя ѹповаша, и не постыдѣшася > к тебѣ възывали, и спасошася, и на тя ѹповали, и не посрамлены были* (Пс. 21: 6)⁴⁸¹ (см. еще: Целунова 1988).

В гибридную традицию полностью вписывается и употребление Фирсовым причастий (деепричастий). Многие формы оказываются согласованы по роду и числу, что и не удивительно, поскольку у Фирсова перед глазами был текст церковнославянской Псалтыри, в которой согласование не нарушалось. Между тем у Фирсова вполне значимая пропорция причастных (деепричастных) форм употреблена без согласования. Так, из 47 действит. причастий на -а/-я в 14 отсутствует согласование по роду и числу (Целунова 2006, 75). Из действительных причастий на -ще 21 согласуется с подлежащим, тогда как 11 не согласуется (там же, 76). Отсутствует согласование и в ряде примеров деепричастий прош. времени на -ши(ся) и -въ(ся); часто в этих случаях данные формы поддерживаются деепричастиями польских текстов (там же, 77).

Не менее показательна в плане регистровой принадлежности Псалтыри Фирсова вариативность элементов, не являющихся признаками книжности. Так, например, из 463 примеров инфинитива 103 употреблены в форме на -ть, что составляет 22,2% всех инфинитивов; такая пропорция вполне ха-

⁴⁸¹ У Фирсова есть и несколько ошибок в употреблении флексий аориста. Их всего четыре, но и это обращает на себя внимание, поскольку, если бы он хотел, он мог бы и не ошибаться, имея перед собой церковнославянскую Псалтырь; ошибки были для него допустимым элементом, именно в силу того, что текст был гибридным. Ср. примеры: «1 л. ед. ч. не обретеѣ в.м. цсл. не обретоуѣхъ (68: 21), погнѣоша в.м. цсл. истаяхъ (118: 158); 3 л. ед. ч. положихъ в.м. цсл. вложи (39: 4), бысть в.м. 3 л. мн. ч. быша (52: 4) (Целунова 2006, 152).

актерна для гибридных текстов, но не свойственна ни текстам не книжным, ни текстам стандартным церковнославянским (см. § VII-6; ср.: Живов 2004а, 137–184). Такой же вывод можно сделать и из употребления прилагательных в им.-вин. падеже мн. числа. Как отмечает Целунова, «из общего количества 406 примеров употребления прилагательных всех родов в формах Им. и В. мн. ч. в соответствии с цсл. нормой засвидетельствовано: у прилагательных муж. рода 68 примеров из 190 в Им. мн. ч. (64 примера из 66 – в В. мн. ч.), у прилагательных сред. рода 7 примеров из 21 (38 примеров из 74 – в В. пад.), а у прилагательных жен. рода 36 примеров из 37 (все 18 примеров – в В. пад.). Однако главное в данном случае не количество правильных и неправильных форм, а то, что в ПсФ получила отражение хорошо известная произведением XVII в. тенденция к унификации родовых флексий прилагательных в Им. и В. мн. ч., и в качестве унифицированного показателя этих форм А. Фирсов использует преимущественно флексию *-ья/-я*» (Целунова 2006, 55). Таким образом, пропорция несогласованных употреблений составляет 43,1%, что похоже на ряд гибридных текстов XVII в., но не характерно ни для текстов на стандартном церковнославянском, ни для текстов не книжных (см. § XII-4; ср.: Живов 2004а, 418–437).

Из сказанного вполне очевидно, что в этом случае выбор гибридного регистра имеет сознательный характер и представляет собой реформистскую инновацию, поскольку речь идет о наиболее важной для православного благочестия книге, общеизвестной в традиционной форме (т. е. как текст на стандартном книжном языке); новый текст противопоставляется традиционному как понятный непонятному или как «простой» сложному, а реализуется эта чаяемая автором простота в употреблении гибридного регистра, противоположаемого в данном случае стандартному церковнославянскому.

Существовал, видимо, и другой стимул для выбора нестандартного регистра. Когда сочинение носило полемический характер и должно было передать личную убежденность автора, пафос индивидуального подвига, стандартный книжный язык, который мог восприниматься как средство выражения единственной и надличностной истины (см.: Успенский 1994, 48–50), оказывался неподходящим. Действие данного стимула очень заметно в конфессиональной полемике на Украине в конце XVI – начале XVII в. Так, Иван Вишенский, утверждая непреходящую значимость церковнославянского языка, его святость и необходимость обучения ему, пишет об этом на «простой мове» (о лингвистических установках Ивана Вишенского см.: Грошель 1972, 10–14, 18–26). Так же спустя сто лет поступает и Михайло Андрул (Петров 1921, 241). Большинство великорусских полемических трактатов XVII в. написано, впрочем, на традиционном книжном языке, ср. хотя бы «Возражение или разорение смиренного Никона, Божию милостию патриарха. Противо вопросов боярина Симеона Стрешнева» (РГАДА, ф. 27, № 140, ч. III; Никон 1982), «Жезл правления» Симеона Полоцкого (Симеон Полоцкий 1667) или «Увет духовный» Афанасия Холмогорского (Афанасий Холмогорский 1682). Эти трактаты мыслятся не как защита личной точки зрения, а как обнаружение очевидной несовместимости точки зрения противника с надличностной и общепонятной догмой. Однако в тех случаях,

когда в задачу автора входила передача личной (субъективной) убежденности, отказ от стандартного книжного языка все же имел место. Так, видимо, обстояло дело с проповедью Иоанна Неронова и Аввакума (см. выше), отчасти и с писаниями этого последнего автора, и этот же фактор мог позднее воздействовать на язык старообрядческой полемической литературы.

Таким образом, идеи простоты языка получают в Московской Руси существенно иное воплощение, чем в других областях *Slavia Orthodoxa*. Идеи религиозного просвещения, доступности вероучительных текстов распространяются и здесь, более того, во второй половине XVII в. имеет место активное взаимодействие с Украиной, широкое усвоение достижений украинской книжной культуры. Если, однако, в Литовской Руси рассматриваемые процессы обусловили создание нового книжного языка, противопоставленного церковнославянскому, то в Московской Руси соответствующее развитие совершалось в рамках регистров традиционного книжного языка – в XVII в. новый книжный язык здесь не создается. На Украине устанавливается двуязычие и церковнославянский во многих сферах своего употребления конкурирует со вторым письменным языком, «простой мовой». Сходный параллелизм функций наблюдается во второй половине XVII в. и в Великороссии (см.: Успенский 1983, 84 сл.). В Великороссии, однако, в указанный период этот параллелизм возникает не за счет вторжения русского языка в сферу функционирования церковнославянского, а за счет вторжения церковнославянского в сферу функционирования русского языка. Так, наряду с русскими несерьезными текстами появляются пародийные тексты на церковнославянском языке, наряду с русской перепиской появляется переписка церковнославянская и т. д. Вообще для данного времени можно говорить об экспансии церковнославянского на все те сферы, которые осваиваются бурным культурным развитием этой эпохи⁴⁸².

Весьма показательно, что церковнославянский язык начинает активно использоваться в переписке. В качестве образца его эпистолярного употребления можно указать на письма новгородского митрополита Иова (ср., например, РГАДА, ф. 9, отд. II, № 6, л. 204–205), А. А. Курбатова (ср.: ПиБ, X, 648–649; РГАДА, ф. 9, отд. II, оп. 3, № 3, л. 75), И. И. Бутурлина (ср.: РГАДА, ф. 9, оп. 3, № 7, л. 203–204), Никифора Вяземского (ср.: ПиБ, I, 592–593), Федора Поликарпова (Черты из истории 1868) и др.

⁴⁸² О политической публицистике на церковнославянском языке см.: Кутина 1978, 247–249. О научной и технической церковнославянской литературе см.: там же, 249–251; ср. здесь такие примеры, как: «Егда убо человекъцы точию жилища полския имѣша, и вмѣсто всѣхъ богатств токмо стада одержаша, тогда себѣ дѣлаша ограды из пеневѣтвия древ сплетенныя» (Маллэ 1713, 2). Данные факты приводят Л. Л. Кутину к выводу, что «в первой трети XVIII в. <...> книжно-славянский язык значительно расширяет свои литературные функции и обнаруживает явную тенденцию к полифункциональности» (Кутина 1978, 252). Я бы полагал, что здесь – по инерции – продолжается то развитие, которое получил церковнославянский во второй половине XVII в. (о церковнославянских научных трактатах этого времени см.: Соболевский 1903а, 132 сл.); это развитие продолжается несмотря на то, что в конкуренцию с церковнославянским вступает новый «простой» язык, ему противопоставленный.

Сохранился «Календарь или мѣсяцесловъ хрістіанскій, по старому штілю или изчисленію, на лѣто отъ воплощенія бога слова, 1721 въ Типографіи Московской, лѣта господня 1720, въ ноябрѣ» с дневниковыми записями Ф. Поликарпова (РГАДА, БМСТ / Гр. п. № 120). Записи сделаны на церковнославянском языке, ср.: (Март 21) «вѣтръ вѣющій во всю нощь былъ»; (Апрель 19) «взяхо^м преводи^т Павопліа Δογματικῆ»; (Июнь 11–12) «полѣчи^х писмѡ чре^з почтѣ^х іѡ. ѿда^х прево^а часо^в...», (Октябрь 9–11) «сове^ршішася пѣтые кнѣи мѡyseовы правленіе^м. начахо^м честї Іисѣса Навіна. нача чести аѣ»; (Октябрь 23–24) «шконченѡ бысть кнѣи Іисѣса Навіна справленіемъ». Не менее показательна запись чудовского инок Евфимия на переводе толкования литургии: «за преведения мзду даях аз от себе» (Соборевский 1903а, 340). Все подобные факты говорят о существенном расширении сферы функционирования церковнославянского языка.

Особенно показательны здесь два момента. Во-первых, это употребление церковнославянского языка в качестве разговорного или, по крайней мере, в качестве некоего симулякра разговорного языка. Свидетельств мало, так что было бы опрошно предполагать, что церковнославянский в среде московских книжников был таким же средством общения, как латынь среди ученых и духовных лиц Западного мира. Тем не менее одно любопытное свидетельство имеется – это запись беседы Симеона Полоцкого, Епифания Славинецкого и Паисия Лигарида с Николаем Спафарием в Москве в 1671 г. (см. публикацию: Голубев 1971; ср.: Успенский 1994, 90). Беседа была ученой, богословскому диспуту предшествовал «естественнонаучный» спор, который должен был выявить ученые качества Спафария. Конечно, мы имеем дело не с устной речью, а с ее записью, в которой по-церковнославянски передаются не только высказывания участников беседы, но и соединительные слова протоколиста. Кажется правдоподобным, однако, что разговор велся по-славянски, поскольку Спафарий русского языка, видимо, не знал. Приведу выдержку:

Прежде трапезы абие внегда прииде Николай в дом беседе и сед во одежде теплей согрѣя зело, того ради совлекая ю с себе рече: «Движение творит теплоту». Симеон: «Не во всех», – рече. Николай рече: «Се древо и железо движением не точию согревается, но и огонь изводят». Симеон рече: «Не самым движением, но сопритрением единого ко другому. Сия же суть от четырех стихий. Того ради имут огонь в себе». Николай рече: «Вскую железо хладно, аще имать огонь в себе?». Симеон рече отвѣща: «Яко в нем стихия хладная преобладает». И приложи Симеон вопросити Николая: «Рцы ми, како огонь в железе содержится?». Отвѣща Николай: «Самым делом». Рече Симеон: «Аще самым делом огонь в железе содержится, но нож сей, лежащий на убрусе, сожжет и». На се неведе Николай, что отовѣдати. Исправи же его Епифаній, глаголя: «Не делом огонь есть в железе, ни, но множеством или силою, яко может притрением или ударением из него известися огонь». И прѣсташа о сем бесѣдовати (Голубев 1971, 298–299).

Возможно, участники говорили на разных языках (церковнославянском, латыни, греческом), а протоколист писал по-славянски. Сама предумыш-

ленность ученого диспута подталкивала к употреблению ученого языка, и церковнославянский выступал именно в этом качестве. Замечательно, что этот протокол отличается своей книжностью от цитировавшегося выше собеседования московских справщиков с Лаврентием Зизанием, которое – при всей своей богословской проблематике – велось на некнижном языке⁴⁸³.

Не менее существенной инновацией является применение церковнославянского в оригинальных юридических памятниках, т. е. в сфере, которая традиционно была закреплена за русским (некнижным) языком. К подобным юридическим текстам относится «Приказ, объявленный... собранному на смотре войску на Девичьем поле» от 28. VI. 1653 г. (ПСЗ, I, № 99, 291 – целиком по-церковнославянски), Уставная грамота от 30. IV. 1654 г. (ПСЗ, I, № 122, 320–322 – частично по-церковнославянски), «Статьи, учиненные благорасмотрением Царя и Великого Князя Алексея Михайловича по совету с Святейшим Паисием, Папою и Патриархом Александрийским...» от 11. I. 1669 г. (ПСЗ, I, № 442 – статьи 13–14) и т. д. (см. подробнее об этом процессе: Живов 2002б, 249–251). Эти новые явления существенно меняют культурно-языковую ситуацию, однако же отнюдь не уничтожают доминирующее положение церковнославянского как средства выражения культурных ценностей. Происходящие процессы связаны не с подрывом этого положения, а с расширением сферы культуры (подвергающегося контролю поведения). Если раньше разговорное общение или административная деятельность оставались в сфере быта, то теперь они могут существовать и как явления культуры и становиться предметом регламентации. Параллелизм функций русского и церковнославянского оказывается следствием этого переоборудования культурного пространства. В XVII в., однако, это развитие совершается в рамках элитарной культуры и не вызывает необходимости пожертвовать традиционностью книжного языка ради его большей понятности.

Поиски компромисса между традиционностью и понятностью, обусловленные распространением концепции простоты языка, сказывались и на структурных параметрах языка тех текстов, которые создавались в качестве «простых». Как уже говорилось, книжный характер церковнославянских текстов связывался в языковом сознании славянских книжников с ограниченным набором признаков книжности. Их последовательное и регламентированное употребление указывало на искусное владение книжным языком, на лингвистическую изошренность. В рамках подобного владения выделялась, видимо, традиционная стандартная разновидность (связанная с текстологическим подходом и определяемая начитанностью) и грамматически нормализованная разновидность (связанная с грамматическим подходом и

⁴⁸³ Опубликовавший текст И. Ф. Голубев полагал, что беседа велась на латыни. Его аргументы были опровергнуты Б. А. Успенским (Успенский 1994, 90). Тредиаковский в предисловии к «Езде в остров любви» пишет о «славенском языке», что, когда он был студентом Славяно-греко-латинской академии, он не только «им писывал, но и разговаривал со всеми» (Тредиаковский 1730, Предисл., л. 6), однако это свидетельство слишком позднее для обсуждаемых нами вопросов. В это время церковнославянскому учили как классическому языку и искусственные беседы на нем могли составлять элемент обучения.

определяемая грамматической выучкой). Употребление же церковнославянских элементов в качестве признаков книжности, свойственное гибриднему языку, указывало на обычное, неискusstvenное владение церковнославянским языком, доступное не слишком искушенному в книжном учении человеку. Характер активного владения соотносился с характером пассивного владения; к тем, кто плохо владел книжным языком, были обращены тексты попроще, не требующие особой выучки для уразумения. Дифференциация адресатов развивалась одновременно с дифференциацией адресантов.

«Грамматического разума не учен, но простец сый и писал своею рукою», – замечает о себе старец Авраамий в своих тетрадях 1696 г. (Бакланова 1951, 150), и тетради эти представляют собой типичный образец гибридного языка. Авраамий непоследовательно и без семантической дифференциации употребляет аорист и имперфект и не избегает *л*-форм без связки, ср.: «что деялось в Переяславле Залеском <...> и о кончине, сиречь преставлении боярина Петра Аврамовича и о терпении братии и всех сродников его <...> в каких печалех в то время были» (там же, 147–148), «И паки в Андрееве монастыре, о дву походех ко граду Азову и о взятъе его, и о возвращении от Азова к Москве, како шли опасно <...> и что деется в Преображенском и в Семеновском, о сем не писал, но волею переступил, зане уши мои слышати, и ноздри обоняти, и уста глаголати не хотят, и прилпе язык мой гортани моему» (там же, 148), «пришло время и приближися час» (с. 148). Недифференцированность аориста и имперфекта отражается и в смешении форм этих двух времен, ср.: *они же преслушаше* (с. 143), *инии начальствоваше беззаконно и нечестиво обезстрашася* (с. 144), *душа с телом не расташася* (с. 148). Деепричастия употребляются без согласования по роду и числу, ср.: *а инии царствуют, забыв страх божий* (с. 144), *к таким делам выбрав, приводят* (с. 152). Обнаруживаются не книжные синтаксические построения, ср.: «А кому почести имать, по приказом начальных людей посажено, где бывало преж сего по одному, а ныне тут два» (с. 145–146).

При таком отношении к разновидностям книжного языка переход от стандартного к гибриднему типу употребления признаков книжности несомненно должен был восприниматься как упрощение языка, как шаг в сторону его понятности. Вместе с тем, поскольку в языке сохранялись признаки книжности, этот переход не выводил языковое употребление за рамки традиционного книжного языка и не означал тем самым разрыва с традицией. Гибридный язык оказывался, таким образом, идеальным компромиссным вариантом, совмещающим в себе «простоту» и традиционность.

В этих условиях естественно, что в истории всех письменных языков *Slavia Orthodoxa* начальные этапы движения к «простому» языку охарактеризованы употреблением в этом качестве языка гибридного. В Литовской Руси соответствующим примером является перевод Библии, сделанный Франциском Скориной, равно как и его предисловия к отдельным библейским книгам. На славянском Юге новоболгарским дамаскинам предшествуют дамаскины церковнославянские; они содержат такие же декларации о простоте языка, как и дамаскины новоболгарские, но реализуется эта «простота» именно в языке гибридного типа. Когда во второй половине XVIII в. в Болгарии возникает потребность в общедоступной исторической литера-

туре, появляется написанная на таком же гибридном языке «История славяноболгарская» Паисия Хилендарского (см. к характеристике языка Паисия: Георгиева 1962; Венедиктов 1981, 15–20); в дальнейшем этот тип языка (с определенными модификациями) получает развитие в сочинениях представителей так называемой «церковнославянской» партии (Хр. Павлович, К. Фотинов и др.). Во второй половине XVII в. гибридный язык может осмысляться в качестве «простого» и в Московской Руси, и на общеславянском фоне этот факт выглядит закономерным. Свидетельством такого осмысления служит уже упоминавшаяся Псалтырь, переведенная в 1683 г. Авраамием Фирсовым. Понятно, что перевод на гибридный язык библейского текста представляет собой принципиально новый момент его употребления, указывающий на радикальное переосмысление понятия языковой правильности. Как уже говорилось, гибридный характер имеет и язык Жития протопопы Аввакума (см. материалы к характеристике языка: Кокрон 1962; Чернов 1977; Чернов 1984а).

Существенно подчеркнуть, что устойчивость использования гибридных вариантов в качестве «понятного» или «простого» книжного языка прямым образом соотнесена с важностью для данного социума поддержания связей с традиционной культурой. Так, длительное употребление гибридного языка в болгарской словесности вызвано именно тем, что такие деятели болгарского Возрождения, как Хр. Павлович или К. Фотинов, придавали особое значение культурному единству славянских народов, основанному на общей кирилло-мефодиевской традиции. Именно стремление не порывать с вековой культурно-языковой традицией накладывало ограничения на развитие литературных языков нового типа, ориентированных на живую местную речь: новые языки либо были компромиссными в своей структурной организации (гибридные языки в качестве «простых»), либо оставались неполноправными в функциональном отношении. Для того чтобы это положение изменилось, нужен был стимул историко-культурного характера: решимость создать новую культуру секулярного типа, радикально порывающую с прошлым и отводящую традиционной литературе сугубо подчиненное место в новом общественно-культурном развитии (именно так создает новый сербский язык Вук Караджич).

Историко-культурное и культурно-языковое развитие, связанное с идеями «простоты» книжного языка, создавало предпосылки для подобного радикального перелома, но отнюдь не предопределяло его. Действительно, сознательное употребление разного рода «простых» языков и соотнесение разновидностей книжного языка с разными степенями грамматической образованности формировали новое языковое сознание. Эти процессы (сколь бы ограниченный характер они ни носили) создавали возможность отстраненного взгляда на традиционный книжный язык. В оппозиции к «простому» этот язык оказывался «не простым», в оппозиции к грамматически элементарному он оказывался не элементарным, устремление «простого» языка к понятности для традиционного языка оборачивалось атрибутом «непонятности». В течение многих веков церковнославянский воспринимался как универсальный книжный язык, обслуживающий культуру в целом. С появлением «простых» вариантов значимость традиционного церков-

нославянского языка в культурно-языковой системе утверждается прежде всего за счет его церковно-религиозного употребления и за счет его ученой грамматической обработки. В этих условиях полный отказ от церковнославянского ассоциировался с отказом от православия и от той грамматической образованности, которая развивалась целиком в рамках религиозной культуры. В определенной перспективе это могло сообщать церковнославянскому атрибут клерикальности и вести к отказу от него как от «клерикального» языка. Однако само возникновение такой перспективы предполагало секуляризацию культуры. И действительно, описанная выше культурно-языковая ситуация «начала испытывать потрясения только тогда, когда на роль высшей литературы стала претендовать литература светская» (Винокур 1983, 258). Вместе с тем и самый характер новой культурно-языковой ситуации оказывался в зависимости от характера процесса секуляризации, поэтому специфика его протекания в России существенно сказывается на особенностях формирования русского литературного языка.

4. Секуляризация культуры, ее русская специфика и значимость для переосмысления языкового узуса

Процесс секуляризации культуры был начат в Европе Ренессансом – не потому, что до Ренессанса не было светской культуры, а потому, что эта культура не претендовала раньше на самостоятельность. Это развитие было революционным, однако оно имело органические корни в прошлом, прежде всего в системе светского образования, доставшегося средневековой Европе в наследство от Римской империи: сколь бы слабой ни становилась эта традиция, в какой бы мере ни делалась она придатком образования религиозного, она сохраняла способность регенерировать, что и создавало органическую почву для секуляризации. Преемственность Ренессанса в этом плане отчетливо проявляется, например, в характере освоения античной риторической традиции и античной мифологии (см.: Сезнек 1961; Живов и Успенский 1984). Частным моментом этой преемственности является и тот факт, что секулярная культура отнюдь не чужда связей с латинской языковой традицией и в этом плане не противопоставлена культуре религиозной. Поэтому процесс секуляризации не имеет прямого отношения к вопросу о языке. Секуляризация, конечно, могла выступать как один из факторов в том перераспределении сфер употребления, которое имело место между латынью и национальными литературными языками, однако само по себе понимание того или иного предмета знания как духовного или секулярного отнюдь не предопределяло языка, на котором об этом предмете писалось. Существенное значение для этого перераспределения имела демократизация образования, однако по крайней мере вплоть до XVIII в. демократизация была в большей степени свойственна духовной культуре, нежели культуре секулярной: секулярная культура оставалась куда более элитарной, нежели культура религиозная, которая в рамках религиозного дисциплинирования раннего Нового времени была обращена к массам и в силу этого нуждалась, как мы уже говорили, в понятном населению языке.

Исходные условия у восточных славян в целом и в Московской Руси в особенности были совершенно иными. Секулярная культура не имела здесь никаких органических корней, и в этом плане Русь отличалась не только от Запада, но и от Византии. Дело здесь, таким образом, не в специфике восточного христианства, как это иногда утверждается (ср.: Трубецкой 1973, 19–28), но в особенностях рецепции христианской культуры у восточных славян. Было бы, конечно, непростительной натяжкой утверждать, что все духовные интересы средневекового русского общества были исключительно религиозными, что жизнь двора или боярской вотчины была лишь облегченной репликой монастырского обихода, а санкционированный церковью ритуал поглощал любые духовные поиски вне церковной ограды. Тем не менее никаких институализованных форм светской культуры в средневековой Руси, как мы уже говорили (см. § III-2), не существовало.

Светская культура как автономное образование заявляет о себе в России лишь в XVII в. Были ли причиной этого типологически универсальные процессы социальной динамики на рубеже Нового времени, сыграли ли здесь роль частные факторы, такие, например, как знакомство с польским придворным обиходом во время царствования Лжедмитрия, сейчас может быть оставлено без внимания. Существенно, что уже в первой половине XVII в. появляются новые формы культурной деятельности, в частности, столь важное для самосознания культуры занятие, как стихотворство. Вторжение поэзии в сферу духовной культуры означает, что эстетическая деятельность как таковая обретает статус самостоятельного культурного феномена. Создание литературного текста формально перестает быть только лишь прагматическим актом, выполняющим дидактическую или апологетическую функцию, и превращается в творчество, основанное на эстетических ценностях. В силу этого литературная деятельность приобретает элемент рефлексии. Частным, но весьма знаменательным следствием этого развития оказывается появление «внутрилитературных» текстов, т. е. текстов, ставящих исключительно литературные задачи и предназначенных для собственно литературного обихода (имею в виду прежде всего жанр литературного послания). Такие тексты, создававшиеся так называемой «приказной школой» во второй четверти XVII в., обсуждались выше (§ IX-1).

Поскольку, как только что было сказано, собственные корни у светской культуры в России отсутствовали, их место занимают элементы заимствованные. Прежде чем появляются оригинальные светские повести (такие, как *Повесть о Савве Грудцыне* или *о Фроле Скобееве*), в Москве получает распространение переводной рыцарский роман, и именно эта заимствованная продукция образует ядро весьма ограниченной поначалу секулярной традиции. Однако, сколь бы ограничена она ни была и по своему содержанию, и по своему социальному адресату, она получает определенную автономию, и именно это представляет собой наиболее важную инновацию.

В полемическом трактате «О видимом образе Божиим», написанном в 1630-х годах, Иван Бегичев обвиняет своих оппонентов в богословском невежестве и утверждает, что им знакомы не богословские трактаты, а «баснословные повести», в числе которых он называет «еже о Бове королевиче»;

само соположение указывает на сознательное противопоставление духовной и светской традиций. Бегичев пишет:

... сам нимало отчасти искусен в божественных писаниих и стаибники твоя: Никифор Воеиков с товарищи, – сами оне с выеденое яйцо не знают, а вкупе с тобою на мя роптати не стыдятся. И все вы, кроме баснословные повести, глаголемыя еже о Бове королевиче, и мнящихся вами душеполезные быти, иже изложено есть от младенец, иже о куле и о лисице и о прочих иных таковых же баснословных [так в изд.] повестей и смехотворных писм, – божественных книг и богословных дохмат никаких не читали (Бегичев 1898, 4).

Оппозиция светской и духовной культуры формируется путем размежевания, и этот процесс прямо связан с религиозным дисциплинированием. Там, где раньше была неопределенная переходная область, теперь проводятся границы; то, что раньше сочеталось и благополучно сосуществовало, теперь оказывается в непримиримой вражде и требует однозначного выбора. Например, бракосочетание было безусловно христианским обрядом, одним из церковных таинств. Тем не менее оно сопровождалось обычно внецерковными ритуалами явно профанного характера. Традиционные свадебные обряды восходили при этом к славянскому языческому обиходу, и их приспособление к нормам христианского благочестия оставалось неполным и относительным. Как бы то ни было, в реальном свадебном торжестве два типа ритуального поведения (условно говоря, «христианский» и «языческий») оказывались переплетенными. Епископ или священник, который совершал бракосочетание, участвовал в свадебном пире и благословлял трапезу. Его участие давало своего рода санкцию пляскам, пению и играм, совершавшимся вокруг него, так что карнавальные или кощунственные элементы свадебной обрядности оказывались определенным образом нейтрализованными и легитимизированными. В рамках существовавшей социальной нормы традиционное свадебное веселье не воспринималось как противостоящее христианскому смыслу события. В XVII в. это восприятие может меняться.

В 1648 г. юный царь Алексей Михайлович женится на Марии Милославской; хотя традиционное распределение персонажей свадебного действия осталось без перемен (ср. описание свадебных чинов: ПСРЛ, XXXI, с. 164–168), торжества, устроенные по этому случаю, носили необычный характер. Как рассказывается в Житии Неронова, царский духовник Стефан Вонифатьев, поддерживавший Неронова и бывший одним из главных деятелей кружка боголюбцев, воспротивился неблагочестивому смешению традиций. В Житии сообщается, что «честный оный протопоп Стефан и молениями и запрещением устрои не быти в оно брачное время смеху никаковому, ниже кошунам, ни бесовским играциям, ни песнем студним, ни сопелному, ни трубному козлогласованию. И совершися той законный брак благочестиваго царя в тишине и в страхе Божии, и в пении и песнях духовных» (Материалы, I, с. 272). Таким образом, старинные обычаи оказались предметом переоценки, и при этом была проведена четкая граница между христианским и не христианским, духовным и профанным, так что – по крайней мере,

в наиболее значимой сфере официальной обрядности – было искоренено недопустимое с точки зрения нового восприятия смешение противостоящих начал.

Как только образуется ядро секулярной традиции, оно начинает обраться новым материалом, при этом необязательно взятым извне. Поскольку появляется выбор, старые тексты или иные культурные артефакты могут быть переосмыслены по новым моделям и включены в парадигму, к которой они раньше не относились. Так, летописи могут теперь пониматься как простое изложение событий прошлого, сопоставляться с западными историческими сочинениями и вместе с ними восприниматься как часть секулярной традиции. Например, «Скифская история» Андрея Лызлова, написанная в последнее десятилетие XVII в., представляет собой компиляцию из разнородных источников, причем заимствованные фрагменты образуют в совокупности полностью светское повествование, в котором не просматривается никакой религиозной установки. Показательно, что свои источники Лызлов определяет как «книги историй», указывая в их числе на равных правах Степенную книгу и Хронограф, с одной стороны, и Барония, Плиния, Кромера и Гваньини – с другой (Лызлов 1990, 7). Если в средневековой русской культуре летописание было частью духовной литературы, описывающей действие Божественного промысла в человеческой истории (см. выше, § III-5), а западные сочинения, поскольку они вообще были известны, рассматривались как безбожные писания, никак не причастные к религиозным истинам, то теперь эти сочинения оказываются в единой совокупности. Это и следствие секуляризации, и показатель ее воздействия на литературный процесс.

Сколь бы существенным ни было подобное обрастание светского ядра, ядро остается заимствованным, и это его качество определяет существенные семиотические характеристики секулярной традиции. В основе лежит общий механизм взаимодействия разнородных культур, вводимый в действие сменой контекста, т. е. механизм неадекватного перевода с одного языка культуры на другой, который в силу этой самой неадекватности получает творческий характер (см.: Лотман, I, 34–45; Клейн 1990). Культурный импорт (см. об этом понятии Клейн 2005, 319–323), в том числе и секуляризация и европеизация культуры, в России XVII–XVIII вв. выражается прежде всего в усвоении ряда внешних форм поведения, быта, литературы и т. д. В культуре-донаторе эти внешние элементы занимают исторически сложившееся место в устоявшейся культурной парадигме, они обладают историей, они соотносятся с определенной системой ценностей, образом жизни и способом мышления, что и создает их органичность. При пересадке на чуждую почву содержание внешних форм теряется, и, освободившись от своего наследственного содержания, заимствуемые формы получают неизвестную им прежде творческую способность: из форм выражения они становятся генераторами содержания.

Так, немецкое платье, в которое Петр I передел служивую Россию, выполняло в Европе лишь обычные функции одежды – прикрывало наготу, защищало от жары и холода и украшало своего владельца в соответствии с теми представлениями об изящном, которые на данный день диктовала

мода. Однако, переместившись в Россию, немецкий кафтан становился двигателем просвещения и олицетворением петровского абсолютизма, он получал воспитательную значимость и как символ новой культуры отделял просвещенных от погрязших в невежестве, приверженцев старины от вольных или невольных сторонников преобразований. Совершенно так же вели себя государственные учреждения и литературные жанры, философские доктрины и эстетические концепции. Обнаруживая, например, что «Риторика» Феофана Прокоповича почти целиком основана на аналогичных трактатах европейского умеренного барокко (Никола Коссена и Юния Мельхиора – Лахманн 1982; Кибальник 1983), мы естественно хотим поставить ее в тот же ряд, приписав ей тот же характер и те же функции, что и ее европейским образцам. Это сходство, однако, обманчиво. Риторика в Европе регулирует существующую речевую практику, рекомендуя читателю определенным образом сочетать риторическую стратегию с риторическими средствами. Та же риторика в России создает новую практику и поэтому не рекомендует, а предписывает, как вести себя при соответствующих европейских okazиях. При пересадке на русскую почву меняется модальность. Если в европейской риторике находим предписания типа «Когда произносишь приветственную речь монарху, лучше употребить такое-то расположение, такие-то фигуры и т. д.», то на русской почве это же предписание приобретает другой вид: «При встрече монарха ты должен произнести приветственную речь. Это делается так: берется такое-то расположение, применяются следующие фигуры...» и т. д. При всем внешнем тождестве правил они приобретают другой смысл, и риторика превращается в устав, регламентирующий всю область общественно значимого поведения (Dekorum-Rhetorik, по определению Р. Лахманн – Лахманн 1982, LXI сл.; ср.: Живов 1985б).

Эта метаморфоза секулярного дискурса в XVII в. едва ли бросается в глаза, поскольку секулярная культура замкнута в пределах очень ограниченной и достаточно закрытой социальной группы. Она практически не выходит за рамки двора и предназначается при этом для внутреннего потребления. При дворе Алексея Михайловича устраивается театр, но первоначально присутствуют на представлениях лишь приближенные к царю лица, не рассматривающие, надо думать, эти инновации как культурную реформу, а лишь как очередное изменение придворного обихода, уподобляющее русский двор другим европейским дворам⁴⁸⁴. Поскольку внутренняя жизнь двора и раньше стояла особняком в культурном процессе, столкновение традиционной и европеизированной культур носит ограниченный или, точнее говоря, капсулированный характер. Верховная власть сохраняет эту культуру для себя, а не насаждает ее среди своих подданных, поэтому

⁴⁸⁴ О том, что поначалу (в 1672 г.) Алексей Михайлович смотрел театральные представления, сидя в одиночестве в креслах в центре зала, а царица Наталия и дети пребывали в закрытой ложе, тогда как избранные придворные наблюдали за представлением с боку сцены см.: Лонгворт 1984, 211. Позднее в комедийной хоромине в Преображенском на представлении «с государем были в комедии бояре, окольные, думные дворяне, думные дьяки, ближние люди все, и стольники и стряпчие» (Забелин, II, 333). Но и на этих более поздних спектаклях публика оставалась избранной.

конфликт культур и стимулируемое им взаимодействие культурных парадигм лишь назревает, но еще не изменяет содержания основных категорий культуры. То, что просачивается из дворцовых палат наружу, может вызывать реакцию отторжения, однако это столкновение остается включенным в целиком религиозный дискурс, выступая как подчиненный момент раскола старообрядчества, т. е. конфликта двух религиозных течений, а не секулярной и религиозной культур⁴⁸⁵.

В Петровскую эпоху эта эзотерическая культура выходит на площадь. Это особенно заметно на примере того же театра. Как пишет Е. В. Петухов, «Петр с самого же начала взглянул на театр не как на личную или придворную забаву, а как на дело общественное. Боярин Ф. А. Головин, по поручению царя, приказал построить “комидийную хоромину” на Красной площади, у самого Кремля, причем весьма характерно то, что приказания эти встретили отпор со стороны дьяков посольского приказа, находивших эту затею весьма сомнительной; однако в декабре хоромина была готова, и уже на святках 1702–1703 года начались, вероятно, в ней представления» (Петухов 1916, 375). Сделавшись элементом публичной жизни, секулярная культура получает совершенно новую роль: она больше не услаждает немногих, а воспитывает общество целиком или во всяком случае ту его часть, до которой дотягиваются руки утверждающей новую культурную парадигму власти. Освоение нового секулярного дискурса становится критерием лояльности, и это коренным образом меняет ситуацию. Поскольку освоение нового дискурса становится проблемой жизни, лица, занятые в самых разных сферах деятельности, начинают приспособливать этот навязанный

⁴⁸⁵ Именно в этих рамках воспринимал театральные зрелища протопоп Аввакум. Рассказывая о театральном представлении при дворе Алексея Михайловича (речь идет о представлении на библейские темы с использованием той итальянской театральной техники, с помощью которой актеры спускались на сцену с потолка), Аввакум в «Книге толкований и нравоучений» пишет: «Мужика наредя архангелом Михаиломъ и сверху в полатѣ предъ него спустя, вопросили: кто еси ты и откуда? Онъ же рече: азъ есмь архистратигъ силы Господня, посланъ к тебѣ, великому Государю. Такъ ево заразила сила Божия, мраковиднова архангела, – пропалъ и душою и тѣломъ. Да не узнается; онъ свое совершаетъ. Горе, да толко, с нимъ!» (РИБ, XXXIX, стб. 466). Ср. сходные высказывания Аввакума в «Совете святым отцам преподобным» (Аввакум 1960, 255). Аналогичным образом смотрит на театральные представления и неизвестный последователь Аввакума, который пишет ему послание в Пустозерск после смерти Алексея Михайловича. В «Возвещении от сына духовного ко отцу духовному», посланном в 1676 г., рассказывается: «А до болезни той, как схватало его [Алексея Михайловича], тешился всяко, различными утешении и играми. Поделаны были такие игры, что во ум человеку невместно; от создания света и до потопа, и по потопа [д]о Христа <...> и то все против писма в ыграх было учинено: и распятие Христово, и погребение, и во ад сошествие, и воскресение, и на небеса вознесение. И таким играм иноверцы удивляясь, говорят: “Есть, де, в наших странах такие игры, камидиями их зовут, толко не во многих верах. Иные, де, у нас боятся и слышати сего, что во образ Христов да мужика ко кресту будто пригвождать, и главу тернием венчать, и пузырь подделав с кровию под пазуху, будто в ребра прободать <...> Избави, де, боже и слышати сего, что у вас в Руси затияли, таково красно, что всех иноземцов всем перещипали”» (Бубнов и Демкова 1981, 143).

язык к своим возможностям, навыкам и сложившимся представлениям. Это приспособление и приводит в действие тот механизм трансформации знаков европейской культуры в носители нового содержания, о котором было сказано выше. Оно оказывается особенно сложным и запутанным многочисленными и многослойными двусмысленностями, в силу того что с самого начала своего публичного существования новая система ценностей антагонистически противопоставлена традиционной, так что примирить их открыто и прямо оказывается невозможным.

В рамках этой новой системы ценностей и создается русский литературный язык нового типа, порывающий – по крайней мере, в замысле – со всей предшествующей книжной традицией. Этот новый литературный язык устраивается как часть новой секулярной культуры, и поэтому борьба за его господство становится составным элементом государственной политики, утверждающей единоначалие секулярной власти. Таким образом, с самого начала историко-культурное и культурно-языковое развитие, обусловленное европеизацией, порождает явления, весьма далекие от тех европейских образцов, на которые оно (данное развитие) ориентируется. Можно сказать, что подражание и повторение являются здесь такими лишь по внешнему виду. Европеизация русской культуры оказывается не столько перенесением, сколько переосмыслением европейских моделей, причем в процессе этого переосмысления меняют свое содержание основные категории и структуры европейской мысли. Процесс заимствования образует лишь поверхностный слой этого явления; обращение к реальному функционированию культурной системы и к тем культурным конфликтам, которые при этом возникают, показывает, насколько глубоко преобразованию подвергаются заимствуемые феномены и в сколь сложное отношение вступают они с традиционной культурой.

Подобное преобразование самым существенным образом сказалось и в изменении языковой ситуации. В рамках культурной политики Петра I европейское воспринималось как новое и прогрессивное, и проводимые им культурные реформы должны были воспроизвести соответствующие явления на русской почве. Одним из результатов этой политики был и русский литературный язык нового типа; с самого начала, однако, этот результат радикально отличался от своих европейских коррелятов. Эти отличия были заложены уже в самой его связи с культурной политикой секуляризации. Противопоставление традиционного книжного языка и литературного языка нового типа («простого» языка Петровской эпохи) вступало здесь в прямую связь с оппозицией традиционной и новой секулярной культуры; данная связь оказывалась специфической чертой русского языкового развития, не имеющей аналога в Европе. Секуляризация французской культуры была, надо думать, не менее радикальной, чем секуляризация Петровской эпохи, но к динамике французского языка этот процесс никакого отношения не имел. Связь между секуляризацией и формированием нового языкового стандарта – это характеристика русского культурно-языкового развития.

Эта связь вместе с тем обуславливает и ряд особых характеристик нового литературного языка, существенно сказывающихся в его развитии. Если в генезисе этого языка лежат идеи «простоты», то в его формировании

они оказываются отодвинутыми на второй план и уступают место иному культурному заданию – противостоять традиционному книжному языку. Это задание вытекает из соотносительности формирующегося литературного стандарта с системой новых культурных ценностей. Новый литературный язык становится знаком новой секулярной культуры, причем данное семиотическое задание определяет как его структурные характеристики, так и первоначальную сферу его функционирования (см. ниже, § X-7).

Таким образом, секуляризация, создавая возможность радикального разрыва с церковнославянской книжной традицией и последовательной реализации идей простоты языка, приводит вместе с тем к формированию такого литературного языка, для которого идеи простоты имеют лишь относительное значение, а основной характеристикой оказывается сама связь с новой секулярной культурой. До тех пор пока эта связь остается актуальной, новый литературный язык не может приобрести полифункциональности, присущей его европейским образцам. Будучи же ограничен в сфере своего функционирования, он не способен воплощать и навязывать обществу тот самый принцип единоначалия секулярной власти, который определяет замысел его создания. В силу этого расширение сферы функционирования нового литературного языка сплетается с проблемой утверждения нового имперского дискурса и запечатлевает все те эквивокции, с помощью которых русское самодержавие принимало обличье просвещенного абсолютизма, стремящегося ко всеобщему благу.

Не менее парадоксально и далеко от западноевропейских аналогов сочетание претензий нового литературного языка на универсальность и его реальных социальных параметров. Сословно-кастовая стратификация общества, закрепленная петровскими реформами и ограничившая до последней возможности социальную динамику, – постольку, поскольку на это была способна не слишком многочисленная и плохо обученная бюрократия (ср.: Владимирский-Буданов 1874), – привела не только к росту социального напряжения, но и к беспрецедентному культурному размежеванию общества. Разные социальные группы по-разному осваивали или не осваивали вовсе господствующую европеизированную культуру, в разной степени были привержены культуре традиционной, и в соответствии с этим каждая из них формировала собственный культурный язык, который затем передавался по наследству детям (поскольку дети в абсолютном большинстве случаев наследовали и профессию, и социальный статус родителей), и вместе с этим языком к детям переходило непонимание ценностей и представлений других социумов, непонимание, превращавшееся в устоявшуюся традицию и социальную норму. Как замечает И. де Мадариага, «With the introduction of Western secular ideas, the different classes lived at a different tempo, according to how much or how little of the new ways they adopted, and the unifying principle was gravely weakened» (Мадариага 1981, 111).

Этот процесс касался и языка. В разных социальных группах имеют хождение разные наборы текстов, по-разному комбинирующие элементы из того корпуса, который образуется традиционной духовной литературой, развлекательной переводной продукцией XVII в. и Петровской эпохи (типа Бовы или Петра златых ключей) и новой европеизированной литературой

последующего времени (ср.: Роте 1984). В силу этого у разных социальных групп оказывается разный языковой опыт, который они соотносят со своими культурными ценностями и трансформируют в активные языковые навыки, определяющие лингвистический облик вновь создаваемых текстов. Литературный язык нового типа призван быть общезначимым, однако в реальности его формирование приводит лишь к новой дифференциации письменных традиций, приобретающей к тому же социально мотивированный характер. Если позволить себе упрощенную и персонифицированную иллюстрацию, можно сказать, что старообрядец продолжает читать Пролог и писать на гибридном церковнославянском, попавший в милость архимандрит – имитировать красноречие Прокоповича, подьячий – наслаждаться Бовой и сочинять повести типа «Гистории королевича Архилабона» (ср.: Сиповский 1905; Берков 1949, 424), а Сумароков или Херасков – перелистывать французские и немецкие журналы, еще, впрочем, не твердо зная, «что народу мои творенья не понять». И при этом каждый презирает, а отчасти и ненавидит каждого. Таким образом, универсальность нового литературного языка превращается в фикцию, а его внедрение в общество оказывается в одном ряду с насаждением всех прочих политических и культурных фикций, что было важнейшей составляющей государственной политики в России XVIII в.

Все эти процессы, однако, касаются уже русского литературного языка нового типа, нового литературного стандарта, противопоставленного традиционному книжному (церковнославянскому) языку. Этот язык возникает, как уже было сказано, в рамках культурно-языковой политики Петра I и в течение многих десятилетий своего развития сохраняет следы петровской культурной парадигмы. Поэтому, чтобы перейти к этому развитию, мы обратимся далее к культурной и языковой политике царя-преобразователя.

ЧАСТЬ IV. ФОРМИРОВАНИЕ СТАНДАРТНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

ГЛАВА X. ИЗМЕНЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В ПЕТРОВСКУЮ ЭПОХУ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ «ГРАЖДАНСКОГО НАРЕЧИЯ» КАК НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

1. Историко-культурный контекст петровской реформы языка

Целью петровских преобразований было не только создание новой армии и нового флота, нового государственного управления и новой промышленности, но и создание новой культуры – культурная реформа занимает в деятельности Петра не меньшее место, чем реформы прагматического характера. Культурные инновации были не случайными атрибутами эпохи преобразований, а существеннейшим элементом государственной политики, призванным перевоспитать общество и внушить ему новую концепцию государственной власти. Недаром Феофан Прокопович в «Правде воли монаршей», являющейся апологией петровского самодержавия и петровских реформ, пишет, что «может Монарх Государь законно повелевати народу, не только все, что к знатной пользе отечества своего потребно, но и все, что ему ни понравится; только бы народу не вредно и воли Божией не противно было. Сему же могуществу его основание есть вышепомянутое, что народ правительской воли своей совлекся пред ним и всю власть над собою отдал ему, и сюда надлежат всякие обряды гражданские и церковные, перемена обычаев, употребление платья, домов, строения, чины и церемонии в пированиях, свадьбах, погребениях и прочая, и прочая, и прочая» (ПСЗ, VII, № 4870, 628). Излагая здесь – вслед за Гоббсом и Пуффендорфом (ср.: Гурвич 1915; Лентин 1996) – теорию общественного договора, Прокопович специально выделяет право монарха на культурные (семиотические) нововведения. У европейских теоретиков абсолютизма потребности в таких декларациях не возникало; сопоставление с их рассуждениями показывает, что в петровских преобразованиях культурной реформе отводилась особая, не имеющая прямых европейских аналогов роль.

Для Петровской эпохи подобные свидетельства многочисленны. Так, тот же Феофан в пространном слове «На похвалу Петра Великого» 1725 г. писал: «...Единоличное свое и собственное добро, есть ли бы не сообщил всему отечеству своему, никогда бы в добро себе не поставил... И мало ли тщанием своим зделал? что ни видим цветущее, а прежде сего нам и неведомое, не все ли то его заводы? есть ли на самое малейшее нечто, честное же и нужное посмотрим, на чиннейшее, глаголю, одеяние, и в дружестве обхождение, на трапезы и пированья, и прочия благоприятныя обычаи, не исповемы ли, что и сего ПЕТР наш научил? и чим мы прежде хвалилися, того ныне стыдимся» (Феофан Прокопович, II, 148–149). Очень четко об этой стороне преобразований Петра говорит французский посланник Кампредон в донесении от 14 марта 1721 г.: «Ce prince <...> s'est mis en tête de changer entièrement du noir en blanc, le génie, les mœurs et les coutumes de sa nation» (СРЮ, XL, 180)⁴⁸⁶.

Можно полагать, что именно в перестройке культуры Петр видел определенную гарантию устойчивости нового порядка. То, что мы называем расплывчатым словом *культура*, для носителя этой культуры было жизнью. Петр вводил новую жизнь, а в новой жизни была другая приверженность, другая приязнь и другая неприязнь. Новая жизнь отрицала жизнь старую. С позиции новой культуры традиционная культура расценивалась как невежество, варварство или даже «идолатство». Разрыв с прошлым был важнейшей составляющей той концепции русской истории, которую царь-реформатор внушал своим подданным, ср. его предисловие к Морскому регламенту:

Хотя всем есть известно о монархии Российской и ея початии, и что далее деда князя Владимира правдивой истории не имеем; но оставя сие историкам, возвратимся к состоянию. Оный вышере-

⁴⁸⁶ Показательно, что в «Записке о древней и новой России» именно культурная политика Петра вызывает недоумение и осуждение Карамзина: принимая европеизацию России, Карамзин смотрит на реформу культуры и быта как на нечто глубоко неевропейское, противоречащее и европейским теориям абсолютизма, и вообще европейскому взгляду на соотношение политики и частной жизни, публичного и приватного. Так, рассуждая о народном духе, он пишет, что этот дух «есть не что иное, как привязанность к нашему особенному, – не что иное, как уважение к своему народному достоинству... Любовь к Отечеству питается сими народными особенностями, безгрешными в глазах космополита, благотворными в глазах политика глубокомысленного. Просвещение достохвально, но в чем состоит оно? В знании нужного для благоденствия: художества, искусства, науки не имеют иной цены. Русская одежда, пища, борода не мешали заведению школ» (Карамзин 1914, 24–25). По мнению Карамзина, поправление народных обычаев было беззаконием: «Пусть сии обычаи естественно изменяются, но предписывать им Уставы есть насилие, незаконное и для Монарха Самодержавного. Народ в первоначальном завете с Венценосками, сказал им: “блюдите нашу безопасность вне и внутри, наказывайте злодеев, жертвуйте частию для спасения целого”, – но не сказал: “противоборствуйте нашим невинным склонностям и вкусам в домашней жизни”» (там же, 25). Реформа культуры и быта как ядро петровских преобразований оказываются для Карамзина, как и для всей последующей историографии, аномалией, противоречащей здравому смыслу и «закономерностям» государственного развития.

ченный Владимир как владычествовал и храбростию своею зело славен был, но паче прославился приведением своего отечества от тьмы идолопоклонства к свету Христовой веры. Но основав оную, вместо назидания и укрепления, яму к падению учинил, егда сынам своим на 12 частей сию монархию разделил, от чего плод сего насажденного зла еще при животе своем видел, когда Святополк двух своих братьев, а его детей, убил. Потом варвары, видя сию махину разсыпанную, тако начали обезпокоивать, что едва не всю под свою власть привели. И ежелиб милосердый Господь не воздвиг великаго князя Ивана Васильевича, то паки бы в идолатство пришли, или бусурманство; который Владимирово вредное дело исправил и расточенную махину паки в гору собрал и, яко новым крещением, силою воинскою христианство от вышереченных варваров свободил, и утвердил, и оных от ближняго соседства отогнал, котораго сын короною утвердил и, храбро владычествовав, от оных варваров весьма безопасно сочинил. Но потом, когда сия линия пресеклась злодейством Годунова, тогда через смятение едва паки к падению не пришла (Устрялов, II, 397–398; ср. еще предисловие Прокоповича к «Библиотеке» Аполлодора: Аполлодор 1725, предисл., 13–15).

С позиций традиционной культуры новый порядок выступал как бесовский, как царство Антихриста, и это восприятие было, несомненно, хорошо известно реформаторам (см.: Успенский 1976а; Живов и Успенский 1984, 216–221). В этих условиях выбор между традиционной и новой культурой выступал как своего рода религиозное решение (как *conversio*), связывающее человека на всю жизнь. Переход в новую культуру оказывался магическим обрядом отречения от традиционных духовных ценностей и принятия прямо противоположных им новых. Именно так рассматривал, например, кн. И. И. Хованский свое вступление во «Всешутейший собор»: «Брали меня в Преображенское, и на генеральном дворе Никита Зотов ставил меня в митрополиты, и дали мне для отречения столбец, и по тому письму я отрицался, а в отречении спрашивали вместо: веруешь ли? – пьешь ли? и тем своим отречением я себя и пуще бороды погубил, что не спорил, и лучше мне было мучения венец принять, нежели такое отречение чинить» (Соловьев, VIII, 101; о Всешутейшем соборе и его роли в политике Петра см.: Живов 2004а, 381–435; ср. также интересные, но спорные соображения в кн.: Зитцер 2004).

Обращение в «петровскую» веру обязывало к положительной рецепции всего комплекса петровских преобразований – от культа самого Петра до переустройства государственного управления. Это обращение лежит в основе всей петербургской культуры и конституирует в ней понимание отношений между обществом и властью – вне зависимости от того, имеем ли мы дело с концепциями революционными или консервативными. Понятно, что в этом контексте все сферы поведения получают первостепенную политическую и идеологическую значимость и сама сфера семиотизированного поведения существенно расширяется (ср.: Лотман 1976, 294–295). Поведение двоятся, противостояние делается принципом социальной организа-

ции, и в каждой сфере образуется оппозиция нового и старого, европейского и традиционного, секулярного и клерикального. Именно в этом контексте борьбы противостоящих начал является царство бинарных оппозиций.

Языковая политика Петра является органической частью всего этого процесса размежевания, а язык в полной мере воплощает новые отношения власти. «Птенцы гнезда Петрова» могли бы слово в слово повторить то, что писал Д. Бугур о Людовике XIV: «Les Rois doivent apprendre de luy à regner; mais les peuples doivent apprendre de luy à parler. Si la langue François est sous son regne ce qu'estoit la langue Latine sous celui d'Auguste, il est luy-mesme dans son siecle ce qu'Auguste estoit dans le sien» (Бугур 1671, 169). Эту роль преобразователя языка в той же мере признавали и противники петровской власти. Так, в антипетровских тетрадах подъячего Лариона Докукина, которые он хотел прибить к петербургской Троицкой церкви (1714–1718 гг.) и за которые он пострадал, говорилось: «Слова и звании нашего слованскаго языка и платья переменили главы и брады обрили и персоны свои ругательски обезчестили; несть в нас вида и доброты и разнствия съ иновѣрными языки» (Есипов, I, 183) – перемены в языке отчетливо связываются здесь с другими «семиотическими» преобразованиями царя-антихриста.

В процессе этих реформ традиционный книжный язык оказывается атрибутом старой культуры и на него распространяются все те негативные характеристики, которые приписывает старой культуре петровское просвещение. Новая культура должна была создать для себя новый язык, отличный от традиционного. Противостояние двух языков замышлялось при этом как материальное воплощение антагонизма двух культур. Именно поэтому старый книжный язык оказывался в представлениях петровских культуртрегеров варварским, клерикальным, невежественным, тогда как новому языку предстояло стать европейским, светским и просвещенным. Языковая политика Петровской эпохи и воплощала это четкое социально-политическое задание. Она была тем разрывом с традицией, который, как говорилось выше, требовался для создания нового литературного языка, противопоставленного церковнославянскому. Новый литературный язык возникает не самопроизвольно, не вырастает, словно трава на лугу, как это часто трактуется, а появляется в результате вполне сознательной языковой политики.

2. Создание гражданского шрифта

Наиболее наглядным образом социальное задание петровской языковой политики выразилось в реформе азбуки, т. е. в создании русского гражданского шрифта. Разделение алфавита на церковный и гражданский накладывало противопоставление светского и духовного на все печатные тексты, и эта оппозиция текстов создавала новую понятийную схему для противопоставления церковнославянского и русского языков. За оппозицией на графическом уровне должно было последовать противопоставление прочих языковых характеристик. В этом смысле реформа азбуки схематически содержит в себе все основные моменты петровской языковой политики.

Сама инициатива введения гражданского шрифта принадлежит Петру, и вся подготовка к этому предприятию проходит под непосредственным его наблюдением (см. Живов 1986в, 64–65). Петром же была очерчена и сфера применения новой азбуки, т. е. та область, которая выделялась в качестве своего рода опричного владения новой культуры. На первом издании Азбуки 29 января 1710 г. рукою Петра написано: «Сими литеры печатать исторические и мануфактурныя книги. А которыя подчернены [имеются в виду зачеркнутые Петром кириллические буквы. – В. Ж.], тех [в] вышеписанных книгах не употреблять» (ПиБ, X, 27, ср. 476–477; ср. еще: Шицгал 1959, 265; Шицгал 1974, 36). Этот указ, очевидно, может рассматриваться как окончательное оформление предшествующего решения. В самом деле, еще 1 января 1708 г. Петр указывал, чтобы новыми «азбуками напечатать книгу геометрию на русском языке, которая прислана из военного походу и иные гражданские книги печатать теми ж новыми азбуками» (Браиловский 1894, № 10, 254; Шицгал 1959, 259; Проскурнин 1959, 378 сл.). Предполагалось, надо думать, что светские книги пишутся на русском языке и печатаются гражданским шрифтом, а духовные книги пишутся на церковнославянском языке и печатаются церковным шрифтом.

Несмотря на указ от 1 января 1708 г., остается неясным, предусматривалось ли такое распределение функций с самого начала работы над новой азбукой. С одной стороны, книги гражданской и церковной тематики явно мыслились как два разных типа изданий, имеющих разные функции и разного адресата, и в этом плане стремление по-разному их оформить представляется естественным. Некоторый прецедент такого разделения можно видеть уже в привилегии Яну Тесингу, данной ему в феврале 1700 г. В ней говорилось, что Петр I «повелели ему в том городе Амстердаме печатать Европейския, Азиатския и Америцкия земныя и морския картины и чертежи, и всякие печатные листы и персоны, и о земных и морских ратных людех, математическия, архитектурския, и городостроительныя и иныя художественныя книги на Славянском и на Голанском языке вместе, также Славянским и Голанским языком порознь по особну, с подлинным размером и с прямым известнованием, кроме церковных Славянских Греческаго языка книг, потому что книги церковныя Славянския Греческия, со исправлением всего православнаго устава Восточныя церкви, печатаются в нашем царствующем граде Москве» (ПиБ, I, № 291, 329; ср.: Быкова и Гуревич 1958, 321).

С другой стороны, однако, в письмах Петра 1708 г. с указаниями о новой азбуке несколько раз говорится о том, чтобы в качестве пробы была напечатана «какая нибудь молитва» (ПиБ, VIII, 1, 303), «какая нибудь молитва... хотя “Отче наш”» (там же, 289). Эти предписания, возможно, говорят о том, что первоначально Петр намеревался перевести на новую азбуку всю печать: церковная сфера подлежала такому же обновлению, как и сфера гражданская. Сохранение кириллицы в церковных книгах оказывается в этом случае уступкой Петра традиционной церковной культуре: реформа шрифта в богослужебных книгах традиционным сознанием не могла не быть воспринята как отказ от православного славяно-греческого благочестия. Во всяком случае Федор Поликарпов утверждал, что реформированной азбукой без букв Ѧ, Ѱ, ѿ, и т. п. «книгъ црковныхъ печатать нево³можно»

(РГАДА, ф. 381, № 423, л. 43), и это мнение, по-видимому, было доведено до сведения царя. Поскольку радикальная реформа религии в планы Петра не входила (в отличие от реформы церковного управления), церковникам, не разделявшим, как правило, идей петровского просвещения, их церковные книги были оставлены в прежнем виде. Соответственно, старая азбука осмысливается как знак цепляющейся за прошлое церковной культуры, новая же азбука становится символом преобразований. Отношения между старым и новым шрифтом моделируют и отношения между старым и новым литературным языком.

Кажется вероятным, что установленная таким образом связь между церковнославянским языком и церковными книгами, с одной стороны, и русским («простым») языком и гражданскими книгами, с другой, имел в виду Петр и тогда, когда 9 июня 1710 г. писал И. А. Мусину-Пушкину о присылке книг для составления Петербургской библиотеки: «Доставить все, какая есть на славенском и российском языке, церковныя и гражданския книги» (ПиБ, X, 182, ср. 615)⁴⁸⁷. Итак, предписываемое Петром тематическое распределение шрифтов соответствует границам между новой культурой и старой культурой (в том объеме, в котором она допускалась в новом обществе): церковнославянский язык и церковный шрифт обслуживают старую культуру, а русский язык и гражданский шрифт обслуживают новую культуру секуляризованной государственности.

В реформе азбуки значимым оказывается как изменение формы букв, так и изменение самого состава азбуки. Изменение состава азбуки свелось в конечном счете к исключению букв Ѡ, ѡ, Ѱ и ликвидации надстрочных знаков. Этот итог, однако, был уже результатом определенного компромисса. Первоначально Петр распоряжается сделать шрифт, в котором отсутствуют как надстрочные знаки, так и девять букв славянской азбуки. «К этим исключенным буквам относятся: 6 букв, дублирующих одни и те же звуки (“иже”, “земля”, “омега”, “ук”, “ферт”, “ижица”), греческие сочетания “кси”, “пси”, а также лигатура “от”» (Шицгал 1959, 81; Шицгал 1974, 38). Именно этот состав шрифта представлен в пробной азбуке Михаила Ефремова (1707 г.), и именно так напечатана первая набранная гражданским шрифтом книга – «Геометрія славенскі семлемѣріе» (1708 г.).

Такое радикальное сокращение было, видимо, с сомнением воспринято советчиками Петра. 8 мая 1708 г. Петр пишет Мусину-Пушкину, что «в книгах новой печати надлежит ставить точки и силы так же, как и в прежней

⁴⁸⁷ В других случаях Петр, естественно, мог соотносить оппозицию церковнославянского и русского языков не с противопоставлением гражданского и церковного, а с противопоставлением письменного и устного. Так, в письме к П. М. Апраксину от 31 июля 1709 г. Петр отдает распоряжения, касающиеся обучения придворного шута Вымени, француза по происхождению, перебравшегося в Москву из Польши и получившего прозвище «самоедского князя»: «Самоедскова князя... вели учить по-русски говорить, также и в грамоте по славенски исподоволь» (ПиБ, IX, 329–330). Соотнесение последнего рода не показательно, поскольку является данью традиции, привычной схемой языкового сознания предшествующей эпохи, ср. известное замечание Лудольфа: «Adeoquē apud illos dicitur, loquendum est Russice & scribendum est Slavonice» (Лудольф 1696, Praefatio, A/2).

печати было» (ПиБ, VII, 1, 159), а в июле–августе 1708 г. заказывает амстердамским и московским словолитчикам все те буквы, которые были ранее исключены (Шицгал 1959, 81). Это, однако, не было окончательным решением. В январе 1709 г. Петр снова возвращается к первоначальному варианту и распоряжается печатать «бес применения новоисправленных литер и сил, но только одною амстрадамскою печатью, какова она вывезена» (письмо к М. П. Гагарину от 25 января 1709 г. и И. А. Мусину-Пушкину от того же числа – ПиБ, IX, 1, 50)⁴⁸⁸. Хотя это распоряжение было сделано относительно только одной книги, оно отвечало на запрос Мусина-Пушкина, имевший общий характер. Мусин-Пушкин 16 января 1709 г. писал Петру: «И я велел один лист Римплеровой книги напечатать амстрадамскими литерами без акцентов и без новоправленных литер <...> А впредь с акцентами и с новопереправленными литеры печатать ли, о сем твоего царского величества указу ожидаю» (ПиБ, IX, 2, 542–543). Судя по тому, что впоследствии книги новой печати печатались без надстрочных знаков, частное указание Петра об акцентах было распространено на всю типографскую практику, связанную с гражданским шрифтом. Что же касается состава букв, то здесь был достигнут некоторый компромисс. В правленной Петром азбуке 1710 г., утверждавшей окончательную форму гражданского шрифта, были оставлены буквы и, з, ъ, ф, в, ѓ; буквы ѿ, ѡ, ѱ были, однако, вычеркнуты (ПиБ, X, вклейка перед с. 27).

Каковы бы ни были колебания, очевидно, что изменение состава азбуки вело к расподоблению славянского (русского) алфавита и алфавита греческого – в кириллице, как известно, и широкое употребление букв ѡ, в, ѱ, ѓ и употребление надстрочных знаков развилось под греческим влиянием в составе второго южнославянского влияния (Талев 1973, 61–62; Ворт 1983б, 352–353; Успенский 2002, 304, 312–313). Это изменение, тем самым, выступает как выражение новой ориентации петровской культуры, противопоставленной той эллинофильской ориентации, которая была свойственна просвещению предшествовавшего периода. Изменение состава азбуки, таким образом, могло связываться с отказом Петра от православного «славяно-греческого» благочестия.

В этой связи становится понятным, что И. А. Мусин-Пушкин воспринимает распоряжения Петра с волнением и, получив письмо царя от 25 января 1709 г., сразу же обращается к Федору Поликарпову, непосредственному исполнителю азбучной реформы и в то же время одному из видных представителей традиционной образованности. Он трижды пишет Поликарпову (24 февраля, 9 и 31 марта), прося его рассказать о том, в чем смысл употребления букв и, з, ѓ, ѱ и «верхней просодии»⁴⁸⁹. Мне не удалось найти ответного

⁴⁸⁸ В письме Мусину-Пушкину Петр указывает относительно «новопереправленных» букв: «Я толко оныя велел делать, а печатать ими не приказывал, только писал, чтоб силы ставили, а ныне и сил ставить не вели» (ПиБ, IX, 1, 50).

⁴⁸⁹ В письме от 24 февраля Мусин-Пушкин писал: «... ³дела^и о всехъ литерахъ старо^и азбуке <ѿ> что раз^иличіе междѣ землѣю і зело^и і междѣ ижемъ и і и междѣ складо^и когда написать кси і литерою ѣ і междѣ ферто^и и ѳ и протчими какъ ты сказыва^и мнѣ что бѣзо^и всехъ литеръ старые наши азбуки книгъ црковныхъ печатать нево³можно такожѣ о

письма Поликарпова, однако его аргументация может быть восстановлена из его предисловия к изданному им в 1701 г. «Букварю», где специально рассматривается вопрос об этих знаках. Общий смысл этой аргументации как раз и состоит в том, что данные знаки необходимы в правильном (книжном) письме в силу связи этого письма с греческим и использования этих знаков для дифференциации значений (т. е. в тех искусственных орфографических предписаниях, которые распространяются после второго южнославянского влияния и связаны с развитием грамматического подхода к книжному языку (см. выше, § VIII-2, 4).

В «Правильном обучении чиннаго чтения и писания», предворяющем «Букварю», Поликарпов требует, в частности, от учащегося: «Просвѣдѣи или оударенни чиннѣ разѹмѣ реченій тавлати, ино бо мѣка, ино мѣка. ино бѣди, и ино бѣди, и прочаа... Вмѣстѣ ѿ, не пиши кс. такѣ ѿенѣа, не ксенѣа. ѿенофонтѣ, не ксенофонтѣ, ни в' противное такѣ ксемѣ, а не ѿемѣ. вмѣстѣ ѿ, не пиши пс: такѣ ѿаломѣ, а не псаломѣ. ни впротивное, такѣ пси, а не ѿси. Такожѣ храни читателю впаснѣ коеждѣ лѣтеры, или писмене приличное свойство и въ греческихѣ реченіихѣ, такоже въ послѣдѹющихѣ образѣхѣ зриши. Вмѣстѣ ѿ не глаголи ф, ниже т, такѣ ѿеодѣръ, а не феодѣръ. ни теодѣръ, ни хѣѿеодѣръ. Противно бо разѹмѣ по произведенію реченіа, зане чрезѣ ѿ: ѿеодѣръ, бѣодѣръ, чрезѣ ф, феодѣръ, смѣодѣръ. Вмѣстѣ ѿ, не глаголи ѿ, такѣ мартѣрій, а не мартѣрій. еѿпѣ, а не еѿпѣ. тѣѿѿнѣ, а не тѣѿѿнѣ» (Поликарпов 1701, л. 6–7)⁴⁹⁰.

силахѣ окѣсия^х вариа^х ѿ о прѣтчихѣ что в нихѣ сила. немешка^н здела^н и пришли ко ^ннѣ, понеже прилежно все^м хоти^м ведать» (РГАДА, ф. 381, № 423, л. 43). В письме от 9 марта говорится: «О литѣра^х стары^х писа^н я тебѣ что разлічія ме^ждѣ землею и зело^м [так] такоже ме^ждѣ ф. и ѿ. и какѣ написа^н складо^м или ме^ждѣ литерою ѿ. что есть разнѣость. тако^ж ѿ в про^чихѣ о ^нсемѣ о^тпиши ко ^ннѣ пространѣно тако^ж и о вѣрѣх^нихѣ сила^х что что значи^т окѣсия вариа и про^чее» (там же, л. 52; в ломаные скобки поставлено вычеркнутое Мусиным-Пушкиным). В письме от 31 марта содержится напоминание о ранее высказанной просьбе. Два первых письма полностью и выдержки из третьего опубликованы в моей работе (Живов 1986в, 65).

⁴⁹⁰ Принцип семантической дифференциации греческих имен в зависимости от их правописания еще более четко высказан в грамматическом трактате Поликарпова 1724 г., обосновывавшем, очевидно, ту же точку зрения, которую когда-то Поликарпов высказывал Мусину-Пушкину. Здесь говорится: «Богласнаѣ писмена ф и ѿ како правописаніемѣ разѹмѣ дѣлѣтъ; Сѣа писмена и правописаніемѣ разѹмѣ и сама себе въ произношеніи дѣлѣтъ такѣ какѣ и в видѣ естества своего различна. Како ѹбо правописаніемѣ разѹмѣ дѣлѣтъ; Такѣ на примѣръ: когда вмѣсто гвоздя вонзиши гдѣ копѣе, не бѣдетѣ тѣ значить твердости, ниже можетѣ назватисѣ копѣе гвоздемѣ, но гвоздь вонзаетсѣ для ѹтвержденіа, а копѣе для показаніа вонѣкнихѣ орѹдїи, аще и ова сѣтъ желѣза. Подобенѣ же и сѣа лѣтерѣ правописаніемѣ разѹмѣ дѣлѣтъ, такѣ: когда напишетсѣ в'какомѣ либо иностранно^м имени ѿ, на прикладѣ Ѣеодѣръ, или Ѣеодѣлактѣ, тогда на славенскомѣ значить Ѣеодѣръ бѣжї дарѣ Ѣеодѣлактѣ бѣгомѣ хранимый, а ежели напишетсѣ в'тѣхѣ же или в'таковыхѣ же именахѣ ф, Феодѣръ, или феодѣлактѣ, тогда противное бѣдетѣ значить Феодѣръ смѣода^р, и феодѣлактѣ смѣемѣ хранимый, такое бо разнѣство в'знаменованіи имѣютѣ» (Бабаева 2000, 159, ср. РГАДА, ф. 201, № 6, л. 62–63). Те же различия проводятся и в «Технологии» 1725 г., ср. здесь: «Ф, и Ѣ, во единомѣ ли значеніи и произношеніи; такоже в' значеніи, такѣ и в' произношеніи не сѣтъ едини, но весьма разны,

Как явствует из всей истории послениконовской sprawy, верность греческим формам в языке была внешним выражением верности восточному православию в вере. Осмысляя эту грекофильскую ориентацию в западных терминах, Петр и его последователи понимают ее как клерикальную оппозицию. Азбучная реформа является одним из первых свидетельств этого культурного антагонизма – «клерикальные» буквы изгоняются из светской азбуки и отдаются в достояние, по выражению Тредиаковского, «греческую давню по славенски, или лучше, славенствующим по гречески» (Тредиаковский 1748, 69/III, 44).

Грекофильской ориентации церковной культуры противостояла латинофильская ориентация Петра и его приверженцев, отчасти, возможно, отражавшая культурную доминанту предшествующей эпохи (культуру двора Федора Алексеевича и царевны Софьи), но прежде всего обнаруживавшая антагонизм по отношению к традиционной культуре и ориентацию на Запад. Изменение формы букв в гражданском алфавите непосредственно отражает новую значимость латинского образца. «В графическую основу гражданского шрифта входит <...> несомненно латинский шрифт антиква» (Шицгал 1959, 84; ср. 107–114; ср. еще: Кальдор 1969–1970; Шицгал 1974, 39–46). Именно ориентация на латинский шрифт побуждает Петра при первоначальном сокращении алфавита выбрать из пар омофоничных букв те буквы, которые соответствуют латинскому алфавиту: *i* (а не *u*), *s* (а не *z*). Недаром словолитчик Михаил Ефремов писал Петру в январе 1708 г. о присланных «из походу» образцах гражданского шрифта как о «русских с латинским почерком» (Двухсотлетие... 1908, 11).

Связь гражданского шрифта с латиницей была очевидна современникам и воспринималась именно как заимствование чужестранной модели и разрыв с ученой орфографией, ориентированной на греческий образец и отразившей развитие грамматического подхода в рамках традиционной церковнославянской образованности. В грамматическом трактате, написанном Ф. Поликарповым в начале 1720-х годов (ср.: Соболевский 1908б, с. II), указывается и на этот латинский образец, и на отказ от традиционных норм (прежде всего «верхострочных просодий»). Новая орфография названа здесь «страннообразной» и породившие ее чужие страны именуются «латинскими» (РГАДА, ф. 201, № 6, л. 34об.–36; Бабаева 2000, 149). Позднее об этом же говорит и В. К. Тредиаковский, для которого вопросы культурно-семиоти-

оба же не в' славенскихъ, но в' греческихъ реченїяхъ, чesw ради cїя писмена ꙗ славянѣ и странная нарицаются, какw Феодоръ чрезъ ф пишемый толкѣется смѣодаръ <...> Феодоръ же чрезъ ѳ, пишемый, толкѣется бѣодаръ» (Бабаева 2000, 252, ср. НРБ, НСРК, F 1921. 60, 26).

Для характеристики того отношения к рассматриваемым здесь орфографическим признакам, которое сложилось в рамках традиционной церковнославянской образованности, весьма показательно заявление холмогорского епископа Афанасия, в своих филологических воззрениях весьма напоминающего Поликарпова. Полемизируя со старообрядцами и настаивая на утверждении грамматического подхода к книжному языку, он отвергает авторитет древних рукописей, не испытанных греческого влияния в орфографии, и утверждает: «Правописания же и верхняя просодии и точек отнюд не было нигде, имиже свет писания открывается» (Афанасий Холмогорский 1682, л. 261об.).

ческой интерпретации азбучной реформы были не менее актуальны, чем для Ф. Поликарпова: «Самая первая, и самая главная причина к изобретению прекрасного нынешняго гражданского типа, было желание, чтоб нашим буквам быть подобным, сколько возможно, буквам нынешняго, а не готического, латинскаго типа... сие ясно, и тверже всякаго свидетельства доказывает нынешняя их фигура, которая, сколько возможно, подобиется латинской форме букв, а от греческия всею статью удаляется, какою весь наш старый Алфавит составлен, ныне в церковной токмо печати употребляемый» (Тредиаковский 1748, 120–122/III, 76–77; ср. еще: 1748, 256/III, 170). Несомненно, что современники воспринимали эту связь с латинской традицией не только как формальное обстоятельство, но и как непосредственное воплощение культурной политики Петра – его «западничества» и его ненависти к отечественной старине.

Латинский подтекст в создававшейся Петром культуре связывал преобразованную Россию не столько с Римом христианским, сколько с Римом императорским (см.: Лотман и Успенский 1982). А. И. Богданов в своем «Кратком введении и историческом изыскании о начале... всех азбучных слов...» сообщает, что впервые прообраз гражданского шрифта был использован в надписях на триумфальных воротах, построенных для триумфального въезда Петра в Москву 9 ноября 1703 г. (Пекарский, НЛ, II, 75; Шицгал 1959, 23). Тогда студенты Славяно-греко-латинской академии «положили надписи российскими словами по виду начертания латинскаго характера» (Кобленц 1958, 149).

Ориентация на латинский образец новой официальной секулярной культуры соотносила нарождавшийся имперский дискурс с введением гражданского шрифта, а сам этот шрифт делала символом петровского секулярного просвещения. Традиционная культура осознается в качестве кликальной и оттесняется на периферию вместе со старым шрифтом. Как уже говорилось, это может рассматриваться как своего рода компромисс; хорошей иллюстрацией путей его реализации может служить позиция Федора Поликарпова, которого Петр активно использовал в своих культурных начинаниях, несмотря на то что Поликарпову создаваемая Петром новая светская культура вообще была, видимо, чужда и враждебна. Однако, выполняя поручения царя, Поликарпов (как и его многочисленные единомышленники) негоцировал для себя возможность трудиться и в рамках традиционной культуры, пусть и отброшенной на обочину социально-культурного процесса. В этой негоциации играло роль и противопоставление греческого и латинского подтекстов сосуществующих культурных систем.

В «Букваре трязычным» Поликарпов прямо противопоставляет светскую и церковную культуру, светские и церковные книги, не оставляя при этом сомнения в том, какой традиции он сам привержен. В частности, в «Букваре» говорится: «Не есѣпа фрѣгѣйскагѣ здѣ смѣхотворныа оузрѣте басни тѣпографскѣ зрѣмы, но вѣрѣщете себѣ предложенъ стостепенный в' нѣо восходѣ, стоголавѣ глаголю ге'надѣа патрѣарха сѣагѣ, егѣже к' блѣгочестѣю возвожденѣе, аще ѣакѣвлѣ лѣствѣнцѣ оуподобѣтѣ кто, не погрѣшитѣ негли, аѣкѣ возвождѣтѣ в' горнѣй сѣѣ» (Поликарпов 1701, л. 5–5об.). Издаваемое в «Букваре» сочинение патриарха Геннадия противопоставляется здесь опуб-

ликованным за год перед этим в Амстердаме у Яна Тесинга басням Эзопа (Эзоп 1700). Само это противопоставление ясно говорит о неприятии петровских культурных новшеств и приверженности церковной традиции. Такова исходная позиция Поликарпова. В дальнейшем, однако, он больше не выступает со столь прямыми нападка на петровские начинания. Можно думать, что он признает (скорее всего, поневоле) автономную светскую культуру и стремится лишь к тому, чтобы не допустить ее контаминации с церковной традицией, т. е. к тому, чтобы обеспечить хотя бы относительную автономию и культуре церковной. В этом и состоит компромисс, на котором Петр сходится со своими противниками.

Действительно, в предисловии к «Трехязычному лексикону» 1704 г. Поликарпов делает попытку обособить друг от друга светскую и церковную культуры, задав им разные исходные основания: латинской культуры и латинского языка, употребляющегося преимущественно «во гражданских и школьных делах», для культуры светской, греческой культуры и греческого языка, на котором написано Св. Писание, для культуры церковной. О греческом здесь говорится: «... православная наша вѣра произрасте ѿ восточнагоу греческагоу бл҃гочестїа, и весь законъ, прѣрочи, и стѣхъ оцѣ премѣростїю и добродѣтели просїавшихъ, б҃годохновенныя книги в' различныхъ временахъ и мѣстахъ на нашъ языкъ преведены съ греческагоу же діалекта. Ихже реченїи и до днесь руссїйскїй народъ, паче же стѣхъ книги, и црковнїи чинове держатъ непремѣнны» (Поликарпов 1704, л. 6). О латинском сказано: «Приложиса же и третїй языкъ латїнскїи тогѣ ради, яковъ нынѣ по кр҃гѣ земномѣ сей діалектъ паче иныхъ, во гражданскихъ, и школьныхъ дѣлѣхъ вноситсѣ. Такожде и ѿ всакихъ набожахъ и хѣдожествахъ ко чл҃веческомѣ жителствѣ нуждныхъ, книги премнѣги съ иныхъ языковѣхъ преведены, и вновь сочинены на семъ языкѣхъ обрѣтаются. Вкратцѣ рещи, нѣсть комѣ лишитисѣ вѣрести, егѣже бы пожелаалъ имѣти ко своей потребѣ, такъ хѣдожникъ, яковъ и военныхъ дѣлѣхъ искѣсныи ратворецъ» (там же, л. 6об.; ср.: Пекарский, НЛ, I, 191). Здесь, таким образом, очерчены разные сферы применения греческого и латыни, и это деление соотносится с тем противопоставлением светской и духовной культуры, которое лежит в основании петровской языковой политики⁴⁹¹.

⁴⁹¹ Не могу согласиться с возражениями, высказанными против данной интерпретации Г. Кайнептом («Diese Interpretation ist schon deshalb fragwürdig, weil die Zivilangelegenheiten und das Bildungswesen, um die es hier beim Lateinischen geht, weder dessen einzige Anwendungsbereiche sind noch als Inbegriff weltlicher Kultur gelten können» – Кайнепт 1988а, XVI). В действительности, конечно, сфера применения латыни в Петровскую эпоху не сводилась к той, которая обозначена Поликарповым; уже в 1700-е годы латынь утверждается в духовном образовании, и московская Славяно-греко-латинская академия повторяет здесь академию киевскую. Как относился к этому Поликарпов, мы в точности не знаем. Он мог, как последователь грекофилов, считать эту экспансию латыни в духовную сферу неправомерной и не включать специально духовные предметы в рубрику «школьных дел». Однако не исключено, что в качестве вспомогательного языка он допускал латынь и в этой области. Тем не менее, согласно Поликарпову, латынь нужна прежде всего там, где речь идет не о вере и спасении души, а «о всяких науках и художествах, ко человеческому жителству нужных». Выступают ли эти «науки и художества», равно как «гражданские и школьные дела», в качестве воплощения светской культуры, неясно в силу того, что

Существенно, что к 1704 г. программа Поликарпова несколько меняется: речь идет уже не о борьбе со светской культурой, а о защите независимости церковной традиции, принципиально не допускающей европеизирующих преобразований. Приведенное утверждение Поликарпова о невозможности новой азбуки в церковных книгах непосредственно соотносится с этой последней программой.

Следует иметь в виду и еще один аспект. Использование римского имперского образца, обращение к античности и – шире – к европейским моделям вообще накладывалось на культурные парадигмы предшествующей эпохи. Оно могло при этом интерпретироваться современниками как обращение к «нечистой», «бесовской» культуре (Лотман и Успенский 1977). Немецкое платье, в которое Петр передел российское шляхетство, не было новинкой – бесов рисовали в этом платье задолго до Петра (Успенский 1976б). Точно так же Юноны, Минервы и Геркулесы, украшавшие торжества Петра-триумфатора, были вполне известными персонажами еллинского идопоклонства, отождествлявшегося на Руси с поклонением нечистой силе (Живов и Успенский 1984). Такому же двуликому тождеству может подчиняться и гражданский шрифт: с одной стороны, он ассоциируется с латинскими и вообще европейскими образцами, с другой – может пониматься как трансформация скорописи.

В самом деле, начертания букв в гражданском шрифте (особенно в наиболее ранних его вариантах) во многих случаях прямо восходят к скорописи, которую некоторые исследователи рассматривают как «первооснову русского гражданского шрифта» (Шицгал 1974, 39; Шицгал 1959, 82–114). И эта связь была очевидна для современников, в частности, для самого устройства новой азбуки. В письме М. П. Гагарину от 8 ноября 1708 г. Петр распоряжался: «Напечатать азбуку полную, в которой бы все были литеры, которые деланы на Москве, а не в Амьстрадаме, а которых слов тут нет, и те взять из Астрадамских. Толко “добро”, “твердо” напечатать которые сходны к печати, а не к скорописи, как здесь объявлено: “Д”, “Т”» (ПиБ, VIII, 1, 289). Таким образом, в случае двух букв специально декретируется следование традиционной кириллической форме, отличной от скорописной, – сходство других букв со скорописными начертаниями было само собой разумеющимся.

Противопоставление уставного письма (и соответственно кириллического набора) скорописи могло связываться с оппозицией семантических сфер – сакрального и профанного, церковного и мирского, культурного и внекультурного (Успенский 1983, 60–64). Так, противопоставляя для ряда

Поликарпов понятием светской культуры не пользуется. Как бы то ни было, он ставит в соответствие двум языкам, греческому и латыни, две разных области культуры. Область, отданная латыни, соотносится с той сферой светских интересов, которую утверждала как инновацию петровская культурная политика и в которой осуществлялись культурные реформы Петра 1700-х годов. Сколь бы искусственным ни было это соотнесение, очевидно, что с его помощью Поликарпов негоцирует автономность церковной культуры, которая требует греческого языка и традиционной образованности. Существенно, что в культурных преобразованиях Петра этот компромисс оказывается принятым.

букв два рода написаний, Т. Фенне указывает в предисловии к своему разговорнику 1607 г., что один применяется, когда пишут «о божественных, царских или господских вещах», тогда как другой – когда пишут «о вещах адских и низменных» (Фенне, I, 23; II, 17); вряд ли такая формулировка адекватно описывала русское культурное сознание, однако какое-то соотношение графических различий с основными культурными оппозициями, значимое для какого-то (пусть избранного) сектора русского общества, она отражала. Эта связь и создает культурную предысторию противопоставления церковного и гражданского шрифта; она подверглась при этом переосмыслению: в сферу культа и культуры вводится подчеркнуто профанное, светское, не обладавшее с традиционной точки зрения культурной ценностью. И в данном случае европейские формы оказываются трансформацией того, что уже содержалось в русском культурном наследии: традиционные элементы не исчезают, а получают новое смысловое задание.

Итак, устройство нового наречия начинается с создания гражданского шрифта, причем орфография оказывается здесь зеркалом культуры. Противопоставление старой и новой орфографии устанавливает то семиотическое разграничение культурных сфер, которое кладется в основу функционального распределения традиционного (церковнославянского) и нового («простого») литературного языка. Оппозиция двух языков входит в единый комплекс с оппозицией церковного и гражданского шрифта и соотносится тем самым с целой чередой взаимосвязанных культурных противопоставлений: эллино-славянского учения и «славено-латинской» образованности, святоотеческого предания и эллинской мудрости, греко-русского православия и римско-европейского просвещения, церковной культуры и светской (секулярной) культуры, священства и царства, Церкви и Империи.

3. Языковая политика Петра

Цели и результаты азбучной реформы Петра достаточно очевидны: мы знаем, какая традиция была отвергнута, и видим, что представляло собой то новое, что было создано в процессе реформы. Задачи и результаты языковой политики Петра в целом не даны нам с такой же наглядностью.

Обычно указывается, что в Петровскую эпоху имеет место отказ (или окончательный отказ) от церковнославянского языка в качестве литературного и становление в этом качестве русского языка (см., например: Ларин 1975, 275). Поскольку литературный язык понимается весьма нечетким образом, а термины *русский* и *церковнославянский* носят генетический, а не функциональный характер, они, как уже отмечалось, плохо подходят для описания процессов преобразования письменного языка. Оказывается, что, с одной стороны, церковнославянский ограничивается в своем употреблении, а с другой – церковнославянские же «элементы» получают широкое распространение. Поскольку функциональная значимость этих элементов остается невыясненной, неясным оказывается и состав нового литературного языка, его отличия от языка традиционной книжности. В. В. Виноградов может даже утверждать, что «литературный стиль Петровской эпохи,

несмотря на свой смешанный состав, не переставал быть и называться “славянским”» (Виноградов 1938, 75).

Следствием такого подхода является вывод, что культурная и языковая политика Петра при всем своем радикализме последовательного выражения в языковой практике не нашла; если она и принесла какие-то результаты, то охарактеризованы они могут быть лишь как хаотическое смешение разнородных черт, не поддающихся никакой систематизации. Это, по словам Н. А. Мещерского, «причудливое смешение тех основных речевых элементов, из которых исторически сложился к этому времени русский литературный язык. Это, с одной стороны, слова, выражения и грамматические формы традиционного, церковнокнижного происхождения; с другой – это слова и словоформы просторечного, даже диалектного характера; с третьей – это иноязычные элементы речи, зачастую слабо освоенные русским языком в фонетическом, морфологическом и семантическом отношении» (Мещерский 1981, 150; ср.: Левин 1972, 216–218).

Ход исследовательской мысли во всех этих случаях вполне понятен. Поскольку в качестве исходных берутся генетические параметры, единственный вывод, который можно сделать, наблюдая языковой материал, – это заключение о его генетической разнородности. Именно генетическая разнородность и оказывается в этом случае основной характеристикой языка Петровской эпохи; по этому параметру все его составляющие распадаются на три компонента: церковнославянские элементы, русские элементы и заимствованные элементы. Поскольку трудно представить себе какие-либо языковые элементы, которые не входили бы в одну из этих трех категорий, подобная характеристика языка оказывается довольно тривиальной. Более того, становится не совсем ясным, в чем состоит новизна языка Петровской эпохи. В самом деле, смешение генетически русских и генетически церковнославянских элементов было свойственно, как мы видели, и письменному языку предшествующего периода; имелось в этом языке и некоторое количество заимствований (в том числе и слабо освоенных). Этот момент и служит В. В. Виноградову основанием для вывода о том, что литературным языком Петровской эпохи остается церковнославянский.

В плане генетических параметров наиболее ярким отличием литературного языка петровского времени от предшествующей традиции является чисто количественный момент – число заимствований. Именно поэтому на них и сосредоточивают свое внимание историки литературного языка, обращающиеся к данному периоду (ср.: Соболевский 1980, 119–120; Виноградов 1938, 59–62; Мещерский 1981, 143–150; Исаченко, II, 545–548). Очевидно, однако, что заимствования – это частная характеристика языка, ничего не дающая для определения его статуса: сколько бы заимствований из голландского или немецкого ни появилось в рассматриваемый период, русский язык не становился от этого голландским или немецким и даже не сближался с ними. Если основная новизна состоит в заимствованиях, то ничего существенно нового в языке Петровской эпохи нет; он ничем принципиально не отличается от языка традиционной книжности.

Столь же неудовлетворительна попытка объяснить возникновение нового идиoma как результат собственно литературного развития. Подобного

взгляда на динамику письменного языка придерживался Г. О. Винокур (Винокур 1959, 111 сл.). Сформулированный Винокуром тезис (впрочем, не новый, поскольку аналогичные соображения высказывались и Е. Ф. Будде, и В. В. Виноградовым), согласно которому «объективное» развитие литературы создает потребность в новом литературном языке, становится затем общим местом в работах по истории русского литературного языка. Винокур полагает, что «уже в последние десятилетия XVII в. традиционный литературный язык [имеется в виду церковнославянский. – В. Ж.], овеянный атмосферой церковной культуры, оказывается все менее пригодным в качестве орудия литературного творчества, в котором начинают преобладать светские мотивы. Появление новых жанров (вроде виршей и школьной драмы), распространение переводных повестей западноевропейского происхождения и разного рода подражаний им приводит к тому, что церковнославянский язык в литературных произведениях конца XVII и начала XVIII в. содержит много грамматических ошибок, все чаще вступает в гротескное соединение с западноевропейскими заимствованиями, а граница, отделяющая его от языка деловых документов, становится все менее отчетливой» (там же, 113).

Данный тезис плохо согласуется с наблюдаемыми фактами. Светская литература действительно появляется в XVII в., причем уже в первой половине этого столетия, а не в последние десятилетия, как полагает Винокур (ср.: Живов 2002б, 323–340), однако никак не заметно, чтобы она испытывала какие-либо стеснения из-за пользования церковнославянским языком. Как говорилось выше (см. § IX-3), на этом языке пишутся и вирши, и школьные драмы, и переводные повести. Никак не видно, чтобы аористы, или обороты дательного самостоятельного, или инфинитивные конструкции, или какие-либо иные элементы, маркирующие язык этих текстов как церковнославянский, как-либо сдерживали «литературное творчество». На этом языке можно было бы еще писать столетиями, и аорист так же хорошо вплетался бы в ткань литературного новаторства, как *passé simple* в новеллы Мопассана или в прустовский нарратив.

Винокур, конечно, прав, указывая на многочисленные «грамматические ошибки» в языке переводных повестей и подражающих им сочинений. Однако тот язык, который мы находим в переводных повестях, вовсе не был новинкой переходного периода. Сходные «грамматические ошибки» могут быть найдены и в летописных памятниках XVI – начала XVII в. (например, в Пискаревском летописце или в Новгородской второй летописи), и в повестях Смутного времени, и в отдельных житиях. Это хорошо нам знакомый гибридный регистр книжного языка, несколько расширяющий сферу употребления в XVII в., но ни в какой мере не являющийся инновацией.

Из этого следует, что ничего принципиально нового в языке переводных повестей XVII в. или других «литературных» памятников этого периода нет и ни о каком кризисе церковнославянского языка узус данных памятников не свидетельствует. Лингвистический облик данных памятников определяется тем, что они создаются в рамках гибридного регистра, что само по себе вполне естественно: именно этот регистр (а не стандартный церковнославянский, представленный прежде всего в богослужебных текстах, и не

деловой регистр, предназначенный для администрирования и документации) более всего открыт для новых коммуникативных заданий, в том числе и для новых литературных жанров. Узус рассматриваемых текстов не возникает в них как некоторая инновация, но наследуется ими из текстов других жанров. Неверная картина, рисуемая Винокуром и его последователями, возникает из-за того, что они остаются в плену у представления о языковых системах (в данном случае церковнославянского и русского) и трактуют тексты гибридного регистра не как образцы особой лингвистической традиции, а как возникающие по случаю отклонения от стандартной системы, выражающиеся в «грамматических ошибках»: «ошибка», повторяемая в течение нескольких столетий, становится конститутивной чертой автономного узуса.

Безосновательно и утверждение Винокура о «гротескном соединении» церковнославянского языка с западноевропейскими заимствованиями. Церковнославянский язык (в разных своих вариантах) – это основной язык книжной культуры. В XVII – начале XVIII в. пуризм несколько этой культуре не свойствен. Скорее напротив, заимствованные элементы могут восприниматься как украшение⁴⁹². Именно так, в частности, они функционируют в украинской барочной проповеди и в подражающих ей великорусских гомилетических текстах (у Симеона Полоцкого, Дмитрия Ростовского, Стефана Яворского и других проповедников). Крайнее выражение данная тенденция находит в барочном макаронизме⁴⁹³, и на этом фоне употребление заимст-

⁴⁹² Именно так пишет о них Симеон Полоцкий в предисловии к «Вертограду многоцветному», стихотворному собранию, написанному, понятно, по-церковнославянски: «Тѣмже аз, многогрѣшный рабъ божій, его божественною благодатию сподобивыйся странных идиоматъ пребогатоцвѣтныхъ вертограды видѣти, посѣтити и тѣхъ пресладостными и душеполѣзными цвѣты услаждения душеживителнаго вкусити, тѣхъ положихъ многое и трудъ немалый, да и в домашній ми языкъ славенскій, яко во оплотъ или ограждение церкви Россійския, оттуду пресаждение корней и пренесение сѣменъ богодухновенно-цвѣтородныхъ содѣю, – не скудость убо исполняя, но богатому богатство прилагая, занеже имущему дается» (Симеон Полоцкий 1953, 206). Конечно, это орнаментальное употребление заимствованных элементов (не только, надо думать, лексических, но и дискурсивно-риторических в широком смысле) было новшеством, но новшеством, не выходящим за рамки ученого книжного языка. В этом плане данное явление сходно с регулярным силлабическим стихосложением, также развивающемся в пределах книжного языка и трактуемым Симеоном как его обогащение и усовершенствование, ср. обоснование поэтической формы в том же предисловии к «Вертограду»: «Къ тымъ и того ради, да рифмотворное писание распространяется в нашемъ славенскомъ книжномъ языкѣ, – еже во инѣхъ волею честь имать и ублажение и творцевъ си достойнаго не лишаетъ отъ бога и отъ челоуѣкъ возмездія и славы» (там же, 208; ср. о поэтике «Вертограда»: Сазонова 2006, 558–606).

⁴⁹³ О барочном макаронизме в украинской литературе XVII – начала XVIII в. и о его продолжении в текстах украинских авторов, переселившихся в Петербург, см.: Броджи-Беркофф 1999; Броджи-Беркофф 2005. Дж. Броджи-Беркофф справедливо указывает, что термин *макаронизм* употребляется в этом контексте не в строгом смысле пародийного использования латинских грамматических средств в сочетании с нелатинской (итальянской, польской, французской) лексикой, а в расширительном значении: «The present texts alternate words and locutions following different impulses: linguistic automatism, stylistic aim, the lack of equivalents, the connection of word and object – these and other factors dictated the

вованний никакого «гротескного соединения» не создает. Данная характеристика анахронистична, она отражает стилистические принципы, формирующиеся лишь позднее, в 1730-е годы. И в ней опять сказывается представление о церковнославянском как о самозамкнутой (*à la Saussure*) языковой системе. Таким образом, и данное объяснение не согласуется с фактами и основано на искаженной картине языковых процессов XVII в. Во всех рассмотренных построениях оказывается, что те явления, которым приписывается значение новаторского преобразования Петровской эпохи, присутствовали уже в предшествующем столетии, и соответственно Петр ничего радикального в сферу языка не привнес.

Между тем у Петра имелась достаточно определенная лингвистическая концепция. О ней свидетельствуют его многочисленные высказывания о языке, раскрывающие основные положения его языковой политики. Петр требует каких-то изменений в языке, и какие-то изменения производятся, так что нельзя думать, что идеи царя не нашли никакого воплощения в языковой практике. Однако для выявления этих изменений и определения их значимости нужна адекватная методология – как в плане отбора релевантного материала, так и в плане уяснения функциональных категорий, необходимых для его описания. Речь идет об интерпретации лингвистической программы Петра с помощью тех текстов, в которых она непосредственно реализовалась. Подобная интерпретация требует, несомненно, не генетических, а функциональных категорий. Ни сам Петр, ни его сподвижники не занимались этимологией или исторической грамматикой, поэтому, называя те или иные языковые элементы «славянскими», «русскими», «словами Посольского приказа» и т. д., они исходили не из происхождения этих элементов, а из их функционирования. Содержание данных обозначений определялось языковым сознанием рассматриваемой эпохи, которое описывается функциональными категориями, учитывающими многократное переосмысление генетически разнородных элементов в длительном процессе взаимодействия регистров письменного языка в предшествующий исторический период. Анализ культурно-языковых инноваций петровского времени распадается, следовательно, на две части. Во-первых, должны быть выяснены языковые установки Петра, выяснены в том виде, в котором они выразились в лингвистических декларациях царя и его сподвижников. Во-вторых, эти установки должны быть раскрыты на материале реализовавшихся их текстов.

Лингвистические декларации Петра достаточно многочисленны и свидетельствуют, как можно думать, о намерении царя вытеснить традиционный книжный язык из сферы светской культуры. Исключительное значение имеет в данном плане история перевода «Географии генеральной» Бернарда Варения (см. о ней: Лукичева 1974; Успенский 1983, 96–99; Живов 1986б); в этой истории отчетливо выразились все основные моменты языковой политики Петра.

choice of one linguistic code or the other. It was not a codified system dictated by literary genre (parody), but the reflection of a socio-cultural situation of plurilinguism, exploited for personal communication inside a "respublica literarum"» (Броджи-Беркофф 2005, 12).

В начале 1715 г. Петр распорядился перевести книгу Варения, которая содержала сумму современных сведений по естественным наукам; перевод ее был в силу этого весьма актуален для петровского просвещения, для борьбы с тем, что с точки зрения Петра было предрассудками и суевериями средневековой культуры. К октябрю 1716 г. перевод этого пространного сочинения был уже закончен и переписан. Книга была переведена на церковнославянский язык, и в предисловии к ее переводу Ф. Поликарпов писал: «Убо и мне (коснувшемуся превода книги сея) должность надлежала последовати якоже сенсу, так и тексту авторову и не общенародным диалектом Российским преводити сия, но хранити по возможности регулы чина грамматического, дабы тако изъяснил высоту и красоту слова и слога авторова» (БАН, Петровская галерея, № 72, л. 9; цит. по: Успенский 1983, 98). Перевод был отослан на одобрение Петру (эта поднесенная Петру рукопись как раз и хранится в собрании БАН). Петру он не понравился, и И. А. Мусин-Пушкин 2 июня 1717 г. по поручению царя сообщал Поликарпову: «... посылаю к тебе и Географию перевода твоего, которая за неискусством либо каким переведена гораздо плохо: того ради исправь не высокими словами славенскими, но простым русским языком... Со всем усердием трудися, и высоких слов славенских класть не надобяъ, но Посольского приказу употреби слова» (Черты из истории 1868, стб. 1054–1055). В соответствии с указаниями царя делается новая редакция перевода, которая и печатается в Москве в 1718 г. В предисловии к этому изданию Поликарпов «с потрудившимся в деле сем клеветством» пишет: «Моя же должность объявити, яко преводих сию, не на самыи славенскыи высокыи диалект против авторова сочинения, и хранения правил грамматических: Но множае гражданскаго посредственнаго употреблях наречия, охраняя сенс и речи самого оригинала иноязычнаго» (Варений 1718, предисл., л. 17об.). Новая редакция перевода удовлетворила царя – Мусин-Пушкин сообщал Поликарпову 25 августа 1718 г. «о географіи что... принята ї угодна егво величествѹ» (РГАДА, ф. 381, № 423, л. 317).

Итак, рассматриваемый эпизод представляет собой, в сущности, столкновение двух антагонистических лингвистических установок. Поликарпов переводит «Географию генеральную» на церковнославянский и, заранее полемизируя с Петром, обосновывает выбор языка тем, что «общенародный российский диалект» не в состоянии передать «высоту и красоту» латинского оригинала; только лишь церковнославянский может, на его взгляд, соответствовать достоинству культурного языка. Петр решительно отвергает подобные воззрения, говоря о плохом качестве перевода и «неискусстве» переводчика, и требует, чтобы перевод был сделан «простым русским языком». Тем самым он приписывает этому языку необходимое достоинство и усваивает ему роль языка новой культуры. Этот язык Поликарпов и называет «гражданским посредственным наречием», отмечая в то же время невозможность в нем «хранения правил грамматических».

Для развития данного конфликта показательным, видимо, что Поликарпов не хочет брать на себя переработку текста, которая сводилась, на его взгляд, к абсурдному разрушению «регул чина грамматического». Эту неприятную работу он перепоручает своему бывшему учителю Софронию Лихуду, отношения с которым были у него в интересующее нас время до-

вольно натянутыми. Софроний, надо думать, был удачной кандидатурой еще и в силу того, что, будучи греком, он – в отличие от других московских книжников – вряд ли являлся принципиальным адептом церковнославянской образованности, не допускавшим в качестве культурного иного языка, нежели церковнославянский. Лингвистические взгляды Софрония Лихуда пока еще в полной мере не исследованы. Софроний приехал в Москву в 1685 г., занимался здесь преподаванием греческого, латыни, итальянского, был одним из основных деятелей новгородской школы, устроенной митрополитом Иовом, вместе со своим братом занимался переводами на славянский (Сменцовский 1899, 349), принимал участие в комиссии по пересмотру и исправлению славянской Библии и т. д. Софроний был, таким образом, представителем не только греческой, но и славянской образованности. Можно думать, что его лингвистическое мировоззрение формировалось в русле той эллино-славянской учености, приверженцами которой были Евфимий, патриарх Иоаким и др. (вместе с ними Лихуды боролись против латинофилов в конце 1680-х годов), а также ученики Лихудов (Поликарпов, Ник. Семенов, Ф. Максимов – ср.: Яламас 1991–1992; Страхова 1998, 39–42). Для всего этого направления характерно подчеркнутое внимание к грамматической норме церковнославянского языка, его совершенствованию и кодификации, восприятие его как полифункционального литературного языка, аналогичного латыни и греческому. В отличие от Евфимия, однако, Лихуды не рассматривали, видимо, церковнославянский как тождественный по своему устройству греческому и не считали, что само это устройство имеет сакральный характер. На это указывает, в частности, ограниченная грецизация славянского текста в правленных Софронием библейских книгах (см.: Бобрик 1988); идущая от Лихудов грамматическая традиция уделяет, видимо, существенное внимание отличиям греческого от церковнославянского (как показывают грамматические сочинения Поликарпова и Ф. Максимова – влияние на них грамматических сочинений Лихудов требует особого исследования).

Для Софрония Лихуда (как и для его учеников) образцом при конструировании отношений церковнославянского и «простого» языков должны были служить отношения между книжным греческим языком и греческим «простым» (димотикой), ориентированным на новогреческие диалекты (ср.: Успенский 1983, 106; Страхова 1986, 67–68). Показательно, что в русских источниках конца XVII – начала XVIII в. димотика может называться «простым греческим языком» или «общим греческим диалектом» (ср., например: Горский и Невоструев, II, 2, 657; Горский и Невоструев, II, 3, 293; Соболевский 1903а, 336; Соболевский 1908а, 43–44), т. е. так же, *mutatis mutandis*, как и «простой» русский язык Петровской эпохи (ср.: Успенский 1983, 65; Страхова 1998, 59–75). Такое наименование димотики встречается и у самих Лихудов (см. цитату ниже). Задача переделки текста с церковнославянского языка на «простой» не могла не ассоциироваться с известными в Москве прецедентами перевода (как сказано в одной рукописи) с «ветхаго еллинскаго языка, егоже нынешнии еллини не разумеют» на «общий греческий язык» (Соболевский 1903а, 356; Страхова 1998, 64–68). Для поствизантийского периода это была широко распространенная практика, и Лихуды

учили такому переводу своих студентов. В своей челобитной 1687 г. они писали: «... работа нѣа великая явна естъ всѣмъ чреѣ предѣспѣнїе ѹчениковъ нашихъ, которыя выѣчили грамматїкѣ еллинскѣю, и латїнскѣю, поетїкѣ, ї часть риторики. языкъ же нѣшъ простый и еллинскїй, и латинскїй глѹще исправнѹ и добръѣ» (РГАДА, ф. 159, оп. 2, гг. 1685/99, № 2991, л. 231; я благодарен Д. Яламасу, указавшему мне на эту рукопись). Обучение включало в себя переводы с книжного греческого на димотику и наоборот (Яламас 1992). Естественно в этих условиях, что Поликарпов вряд ли мог найти более подходящую фигуру для выполнения задачи переделки с книжного славянского на «простой», чем Софроний Лихуд, лучше чем кто-либо другой знакомый с греческой практикой.

О принадлежности второй редакции перевода Софронию свидетельствует правленная рукопись «Географии», в основе которой лежит первая редакция перевода, тогда как правленный текст выступает как оригинал наборного экземпляра 1718 г. (РГАДА, ф. 381, № 1008). В конце рукописи на л. 919об. киноварью записано: «† Слава всеправителю и попечителю Бѣѣ, начатое сїе дѣло, правленїе^м ѹкончати прѣѣде кончины моя изволивше^м въ лѣто Гдѣне 1718 Маїа въ 26. день: ѹдержанїи же мя волѣзни тяжкїя [нрзб. – бѣ да^л?]». Тем же почерком выполнена киноварная правка во всей рукописи.

Таким образом, именно Софронию Лихуду принадлежит окончательная редакция изданного в 1718 г. текста, т. е. именно он выполнил указание Петра о замене традиционного книжного языка на «простой русский язык», что и засвидетельствовало победу лингвистических установок Петра над лингвистическими установками Поликарпова (и других традиционалистов). Таким образом, «высокому славенскому слогу» оказывается противопоставленным «гражданское посредственное наречие», и воля Петра состоит именно в том, чтобы гражданские книги писались на этом гражданском наречии (точно так же как печатались бы гражданским шрифтом). Те же лингвистические установки отражаются и в ряде других высказываний Петра.

Так, в тех же выражениях, что и в цитировавшемся письме Мусина-Пушкина относительно «Географии генеральной», передаются указания царя Феофилакту Лопатинскому, бывшему в 1717 г. ректором московской Славяно-греко-латинской академии: «По именному царскаго величества указу присланныя от его величества два лексикона один с латинскаго на французскїй язык, другой с латинскаго на галландскїй велено под латинскїя речи подвѣсть славянскїя слова <...> А по окончанїю онаго дела, с тех же лексиконов извольте сделать лексикон с славенскаго языка на латинской, токмо во всех не извольте высоких слов славенских класть, но паче простым русским языком» (письмо Мусина-Пушкина от 2 июня 1717 г. – Черты из истории 1868, стб. 1053–1054; аналогичное замечание о словарях содержится и в письме к Поликарпову: там же, стб. 1054; ср.: Пекарский, НЛ, I, 411).

Такого же рода указания делает Мусин-Пушкин и префекту московской академии Гавриилу (Бужинскому), о чем он и сообщает Петру в письме от 10 декабря 1716 г.: «Письмо вашего величества, писанное о книге Еразма, что в переводе с голландским не согласно, дабы оную выправить, прислать к вашему величеству письменную, получил я сего месяца в 3 день <...> я пре-

фекту приказал, чтобы исправил и речения б клал некоторыя русским обходительным языком» (Пекарский, НЛ, II, 368). Речь идет о книге «Разговоры дружеския. Дезидерия Ерасма» (Эразм 1716). И в этом случае замечания Мусина-Пушкина несомненно отражают языковые установки Петра.

Об устойчивости этих установок говорит и позднейшее распоряжение Петра о переводе на русский язык «Библиотеки» Аполлодора, издание которой задумывалось Петром как своего рода руководство в антиклерикальном просвещении. Действительно, распространение мифологических знаний становится в Петровскую эпоху частью государственной политики, направленной на европеизацию страны. Представляется неслучайным, что Петр поручает перевод Аполлодора именно Синоду: поскольку религиозное осмысление античной мифологии как бесовской веры было свойственно прежде всего консервативным кругам, заботившимся о чистоте веры, борьба с таким осмыслением оказывалась частью государственной церковной политики, которую и должен был осуществлять Синод в качестве государственного учреждения. Если старая (патриаршая) церковная организация была, по мысли Петра, рассадником невежества, то новое (синодальное) управление было призвано содействовать просвещению, борьбе с невежеством; соответственно популяризация мифологии оказывалась в сфере обязанностей Синода⁴⁹⁴. С этим связано и указание Петра переводить данную книгу на русский язык, т. е. на язык нового просвещения, противостоящий языку старого невежества – церковнославянскому. В самом деле, в «предъувещании от преводника книги сея» (А. К. Барсова) к изданию этого перевода указывается: «Минувшаго 1722 году въ Декабрѣ мѣсяцѣ Всепресвѣтлѣишии Державнѣишии ПЕТРЪ ВЕЛИКІИ, Императоръ и Самодержецъ Всероссійскіи, Отецъ Отечества: По благополучномъ отъ Асіискихъ предѣлъ, съ присно-

⁴⁹⁴ Феофан Прокопович в предисловии к книге Аполлодора специально подчеркивает, что язычеством является именно обрядоверие; такое понимание язычества эксплицитно противостоит традиционной идеологии. «Когда, глаголю, сами своимъ мозгомъ мудрствовать начинаемъ, не слѣпотствуемъ ли по подобію языческому, мало ли у насъ набасно от лжеучителей суевѣрїя и басень; и многіи ли не вѣруютъ им; не токмо многіи вѣруютъ, но и когда слышатъ проповѣдуемыя прямые путь спасенія, отъ неложныхъ словесъ самаго Бога, по словеси пророческому, окаменѣвають сердца своими, и ушима тяжко слышать, а очи свои смежаютъ: А суевѣрныя росказы сладцѣ пріемлютъ: не спрашивая ни мало, чемъ сіе, или оное преданіе утверждается; гдѣ написано; обрѣтается ли въ священномъ писаніи; научили ли тако Апостоли, и имъ послѣдовавшии отцы; но просто и без всякаго разсужденія вѣруютъ. Таковіи убо, когда чтуть Аполлодорову сію книгу, и удивляются слѣпому языку вѣроятію; да помышляютъ и о самихъ себѣ, како опасни суть» (Аполлодор 1725, предисл., 13–15). Таким образом, издание Аполлодора реализует идеи рационалистического просвещения, которые Петр использовал как орудие в борьбе с религиозно-культурным традиционализмом. Издание книги Аполлодора оказывается частью борьбы с «суевериями» как существенного элемента религиозного дисциплинирования; эксцессы (в понимании Петра и Прокоповича) православного благочестия приравниваются, как показывает предисловие Прокоповича, к языческим верованиям и подлежат изничтожению (см.: Живов 2012а). В соответствии с аналогичным идеологическим заданием предписывается и употребление просвещенного «общего российского языка», противопоставленного клерикальному церковнославянскому.

памятнымъ триумфомъ, и съ Дербенскимъ ключемъ, возвращенїи своемъ въ Москву: егда высокою своею Монаршею особою благоизволилъ быти в Святѣишемъ Правителствующемъ Синодѣ: тогда и сею Аполлодора Грамматика Афинеискаго книгу Еллинскимъ и Латинскимъ діалекты изданную вручилъ Святѣишему Правителствующему Синоду, повелѣвая да бы преведена была на общїи Россиискїи языкъ» (Аполлодор 1725, предисл., 19). Издание Аполлодора было важным мероприятием петровской культурной политики, поэтому в данном случае языковые требования оказываются особенно значимыми.

О сходном распоряжении Петра сообщает и Д. Кантемир в предисловии к составленной им в 1722 г. «Системе мухамеданския религии»: «...сонзволнѣлъ его цѣрское величество и мнѣ... рабу своему поручити, дабыхъ о Мухамеданской религїи, и о политическомъ Муслиманскаго народа правленїи нѣкое нижнимъ ступлѣмъ и просторѣчїемъ изданїе» (РГАДА, ф. 381, № 1035, л. 13 – я благодарен Н. Н. Запольской, указавшей мне на эту рукопись).

Наконец, 19 апреля 1724 г. Петр пишет указ Синоду о составлении кратких поучений, причем распоряжается «просто написать так, чтоб и поселянин знал, или на двое: поселянам простые, а в городах покрасивее для сладости слышащих, как вам удобнее покажется» (ПСЗ, VII, № 4493, 278; Пекарский, НЛ, I, 181 – у Пекарского неточности в цитате). Можно думать, что и здесь Петр требует разрыва с традиционным языковым поведением, предусматривая в то же время определенные языковые вариации, зависящие от адресата текста. Создается впечатление, что маркированные элементы церковнославянского воспринимаются при этом как риторическое украшение, допускаемое в угоду вкусам и привычкам городского населения и создающие ту зависимость языкового кода от социокультурного задания, которая отчетливо проявляется, например, в языковой практике Феофана Прокоповича (ср.: Живов 1985а, 78–81; Живов 1985б, 276–277).

4. «Гражданское наречие» и устранение признаков книжности

Подобные высказывания позволяют достаточно четко представить лингвистические установки Петра. Очевидно, что его распоряжения об употреблении «простого», «посредственного», «общего» языка были направлены против предшествующей языковой традиции, когда церковнославянский выступал в качестве универсального языка культуры. Его место – по крайней мере, в сфере новой культуры – должен был занять иной язык, который и определялся перечисленными выше эпитетами. Как уже говорилось выше (см. § IX-4), такие эпитеты могли прилагаться к широкому спектру языковых разновидностей с весьма несхожими структурными характеристиками. Поэтому возникает вопрос, чем же именно был тот «простой» язык, который соответствовал замыслам Петра. Наиболее четкий ответ на этот вопрос содержится, как уже говорилось, в правленных текстах, отредактированных в соответствии с языковыми установками новой культурной политики.

К таким текстам относится прежде всего «География генеральная»: нам известно отрицательное отношение Петра к первоначальной редакции пе-

ревода и его положительное отношение к окончательной редакции. Соответственно, 900 без малого листов упоминавшейся выше правленной рукописи, по которой можно видеть переход от одной редакции к другой, могут рассматриваться как прямая реализация лингвистических установок Петра. Очевидно, что «высокие славенские слова» – это именно то, что устранялось из текста, а «простой русский язык» – это язык окончательной редакции. Характер правки, произведенной Софронием Лихудом, с несомненностью обнаруживает, что речь идет не о стилистическом редактировании, а об изменении самого языка: церковнославянский язык заменяется здесь языком нецерковнославянским. В чем же должна была выражаться эта замена? Она, естественно, должна была иметь дело не с теми признаками, с которыми связывает противопоставление церковнославянского и русского языков современный исследователь, а с теми чертами, которые отличали традиционный книжный язык от некнижного в языковом сознании Петровской эпохи. Именно эти черты и подлежали устранению, и, как мы увидим далее, работа Софрония Лихуда воплощала прежде всего императивы этого языкового сознания, а не индивидуальные пристрастия редактора.

Исправления, которые вносит Лихуд, распространяются лишь на ограниченный набор признаков, в основном морфологического и синтаксического характера. К морфологической правке относится замена форм аориста и имперфекта формами некнижного прошедшего времени (*л*-формами без связки), опущение связки в перфекте, замена атематического спряжения аналогическими образованиями, форм инфинитива на *-ти* формами инфинитива на *-ть*, форм 2 л. ед. ч. на *-ши* формами на *-шь*, форм дв. числа на формы мн. числа, наречий на *-ѣ* наречиями на *-о*, элиминация форм превосходной степени с суффиксом *-айш/-ѣйш* и форм сравнительной степени с суффиксом *-ш-*.

Замены аориста и имперфекта на *л*-формы довольно последовательно проведены по всему тексту книги. Приведу примеры устранения форм аориста (здесь и далее в ломаных скобках даются зачеркнутые буквы, курсивом выделено то, что писал исправитель): описа<хwm>ли л. 67, прои<зыде>зошло л. 68, послал л. 68, про<идоша>шли л. 68, приказал л. 68об., воспрі<яша>яли л. 68об., зна<ша>ли л. 68об., писа<ша>ли л. 69, встави<ша>ли л. 69, шбы<коша>кли л. 78об., бысть → была л. 81, предложил л. 81, прелсти → обманѹлъ л. 84, бысть → был л. 84, 203, 808об., хотѣ<ша>ли л. 94об., написал л. 98об., сотвори → учинилъ л. 104, полѹчи<ша>ли л. 201об., разѹмѣ<ша>ли л. 202, бысть → сталося л. 202, погиб<оша>ли л. 301об., взяло л. 331, бысть → было л. 335, 438об., называ<ша>ли л. 344, возвѣсти<ша>ли л. 353, и т. д.

Не менее последовательно устраняются и формы имперфекта: мняшеса → мнилось л. 65, упражня<хѹся>лися л. 68, имѣ<яхѹ>ли л. 68, 68об., бяхѹ → были л. 68, 79об., воинствоваше → воевал л. 68об., имѣ<яше>л л. 68об., 98об., баше → была л. 68об., 77об., 186, 444, вѣд<яхѹ>али л. 68об. (bis), незна<ахѹ>ли л. 69, познава<хѹ>ли л. 69, баше → было л. 69, 202, 883, позна<хѹ>ли л. 69, баше → былъ л. 79, 80, 98об., мн<яше>ѣл л. 79об., 80, ѹтвержда<хѹ>ли л. 79об., покѹша<ше>лся л. 80, глѹаше → сказывалъ л. 80, ѹтвержда<хѹ>лися л. 93, ѹтвержда<ше>л л. 96, немощаше>гло л. 96,

содержа<ше>лся л. 98об., покѣша<шеся>лся онъ л. 99, ѹпотребля<ше>л л. 100, показова<ше>ло л. 147об., бѣше → сталося л. 288, 301, смотр<яхъ>ѣли л. 308об., измета<ше>ла л. 342, ѡбдержа<ше>л л. 361об., и т. д.

Характерно, что, исправляя формы 1 лица, Софроний добавляет личные местоимения, например: ѹвѣщава<хомъ>ли мы л. 327об., мы присовокупѣ<хѡмъ>ли л. 65, положи<хомъ>ли мы л. 76об., прѣяхомъ → взяли мы л. 85об., 105, мы показа<хомъ>ли л. 94, 217об., предложи<хомъ>ли мы л. 100об., глѣхомъ → мы сказали л. 101, 201, прѣяхомъ → мы взяли л. 111об., приве<дохомъ>ли мы л. 120об., сказа<хомъ>ли мы л. 120об., раздѣли<хомъ>ли мы л. 201, изтолкова<хомъ>ли мы л. 214, мы постави<хомъ>ли л. 214об., глѣхомъ → мы бесѣдовали л. 227, ѡстави<х>л я л. 292, избра<х>л я л. 292, ѹвѣщава<хомъ>ли мы л. 327об., рѣхъ → сказал я л. 339об., я не возмо<гохъ>г л. 357об., плы<хъ>л я л. 364, рѣхъ → я сказал л. 634, 874, я взя<х>л л. 645 и т. д. Таким образом, переходя от «высоких слов славенских» к «простому» языку, Софроний тем не менее ориентируется на церковнославянский, сохраняя грамматическую информацию, содержащуюся в церковнославянском тексте и – в обычном случае – не выражаемую в тексте некнижном (о морфологической правке см. подробнее: Живов 1986б, 249–251).

К синтаксической правке относится замена согласованных причастных форм в деепричастной функции на несогласованные, устранение дательного самостоятельного, конструкции *еже* + инфинитив, замена оборотов *да* + презенс на императив или придаточное с союзом *дабы*, устранение инверсий, замена одинарного отрицания двойным, конструкций с существительным в родительном падеже на конструкции с притяжательным (или относительным) прилагательным. Так, например, Софроний исправляет согласованные причастия во мн. числе на общую форму, в качестве которой выступает старое причастие ед. числа м. рода, ср.: поработив<ше>ъ л. 68, разсмотря<юще>я л. 70, ѡтлож<ивше>а л. 85, ѡстав<ивше>я лл. 382, 391, 631об., видя<ще> л. 497 и т. д. Оказионально в качестве нейтральной может употребляться и старая форма ед. числа ж. рода, например при заменах дательного самостоятельного: привед<енъ>ши <бывшъ> л. 726об., да<ной>вши <бывшей> лл. 747, 781об., 784об., 785об.⁴⁹⁵

В первоначальном переводе дательный самостоятельный рутинно употребляется при формулировании геометрических задач; Софроний подставляет вместо дательного самостоятельного деепричастный оборот: <Симъ> Сїе учин<еным>я <бывшим>, <да> привед<ется>и мѣсто со^анца на мерїдїанъ л. 726; <Симъ бывшимъ> Сїе учиня <да> усмотря<ется>и ѡ^т ѣба дистанці<а>ю лѣны л. 771об.; Глобѣс<ъ>ъ враща<емъ>я, кїи пу^кты... л. 572. Замена производится и в том случае, когда результатом оказывается абсолютный деепричастный оборот, ср.: Учин<енъ>я <бывшъ> уравниені<ю>е, явленна

⁴⁹⁵ Интересно, что Софроний не оставляет вполне свои книжные языковые навыки; книжный язык продолжает определять его представления о правильности. Когда он отвлекается от задачи превращения церковнославянского текста в «простой», он исправляет ошибки, нарушающие церковнославянские грамматические нормы, ср. следующие примеры: гора... разсѣдш<е>ися л. 189, изведш<е>ися вода л. 248, корабелникъ... хотя<ще>щѣ л. 907.

бѣдетъ правда предло<женія>а л. 718 (о синтаксической правке см. подробнее: Живов 1986б, 251–252).

Что же касается лексической правки (не имеющей чисто редакторского характера поисков оптимального русского соответствия для латинского термина), то она относится почти исключительно к служебным элементам (местоимения, союзы, частицы, отдельные наречия). Так, например, довольно последовательно устраняются относительные местоимения *иже*, *еже*, *яже* и их косвенные формы, например: *еже* → которое л. 63об., *иже* → кто л. 82, *иже* → которые лл. 224об., 373 и т. д., *яже* → которые лл. 198об., 356, 376об. и т. д. Сходному замещению подвергается ряд книжных союзов, а именно *аще*, *ибо*, *неже*, *обаже*, *поне*, *яко* (в сравнительной и изъяснительной функциях), ср.: *аще* → бѣде лл. 676об., 679, 686 и т. д., *аще* → ежели лл. 63, 72об., 75 и т. д., *аще* → хотя лл. 66, 67, 68 и т. д., *ибо* → понеже лл. 63об., 68об., 69об. и т. д., *ибѡ* → потому что л. 73об., *обаже* → однакож лл. 68об., 162об., 213 и т. д., *поне* → хотя лл. 63, 64, 223об., 224, *яко* → какъ лл. 63, 67об. и т. д., *якоже* → какъ лл. 68об., 75об. (bis), 325об. и т. д., *яко* → что лл. 68об. (ter), 69 (bis) и т. д. Устранению подвергаются также союзы и частицы *бо* и *убо*; *бо* чаще всего заменяется союзом *ибо* (лл. 65, 331, 446 и т. д.; это указывает на неопределенный статус союза *ибо* в отношении оппозиции книжного и не-книжного языков); заменой для *бо* служит также союз *понеже* (лл. 82, 202, 219, 331). Частица *убо*, как правило, просто вычеркивается.

Полнозначная лексика в противопоставлении книжного и «простого» языка практически роли не играет. Таким образом, изменение языка первоначального перевода «Географии генеральной» состоит в устранении признаков книжности в том их составе, который сложился в конце XVII – начале XVIII в., т. е. тех элементов, которые в предшествующей традиции указывали на книжный характер текста (видимо, эти представления могли не полностью совпадать у разных авторов, однако общее ядро существовало). «Простой» язык определяется не в своей самостоятельной норме, а лишь негативно по отношению к традиционному книжному (церковнославянскому) языку (подробный анализ этих проблем см.: Живов 1986б).

О негативной зависимости «простого» языка по отношению к традиционному книжному языку ярко свидетельствует тот факт, что Софроний, производя замену по одному признаку, может игнорировать остальные. Так, на л. 96 Софроний правит (в ломаные скобки здесь и далее ставится зачеркнутое, внесенное же Софронием дается курсивом):

... <что> *понеже* егда вавуланъ ѿ *Алѣ* Александра пл<е>бненъ был, обрѣтены тамъ <сѣть> помраченія затмѣнія слнца написан<н>ы<е> и нисл<е>ны<е> за лѣта многа прежде Ржѣтва Хрѣтова, еже безъ познанія с<е>и<я> земли фѣгѣры <познанія> быти нем<о>жаше>гло бы.

В данной фразе Софроний устраняет имперфект и инверсию; вычеркивает связку в сказуемом, заменяет полные причастия краткими в предикативном употреблении – правка по этим признакам характерна для всего текста «Географии». Вместе с тем Софроний сохраняет оборот с *еже*, обычно заменяемый им на оборот с *который*, форму *лѣта многа* при обычной замене кратких прилагательных полными в атрибутивной функции и оконча-

ния им.-вин. мн. ср. рода *a/ая* на *u/ue*, инфинитив на *-ти*, часто заменяемый на форму с *-ть*. Этот неисчерпывающий характер замен свойствен всей рукописи и не может быть объяснен невнимательностью справщика. Можно думать, что данное обстоятельство как раз и является следствием того, что «простой» язык определен относительно традиционного книжного языка лишь негативно, а не как самостоятельная норма. Данностью являются признаки, противопоставляющие традиционный книжный и «простой» язык, и эта данность позволяет понять, как упростить церковнославянский текст. Поэтому правка представляет собой не перевод с языка на язык, а движение от церковнославянского в сторону «простого» языка. Если какие-то изменения внесены, эта минимальная задача оказывается выполненной, хотя бы исправления и не коснулись всех корректируемых признаков. Норма «простого» языка предстает как идеальный результат всех соответствующих коррекций; в конкретных текстах она осуществляется лишь частично.

Таким образом, у Лихуда, как и у его современников, нет ясного представления о том, каким должен быть книжный (культурный) текст на русском («простом») языке, имеются лишь представления о признаках, противопоставляющих книжный и некнижный язык, выработанное языковым сознанием предшествующих эпох. Эти представления и обуславливают понимание распоряжений Петра, требовавшего отказа от языка традиционной книжности. О том, что речь идет здесь не об индивидуальных воззрениях Лихуда, а о языковом сознании данного периода, свидетельствует почти тождественная по составу признаков правка, встречающаяся в других рукописях. Я могу указать здесь на «Историю Петра Великого» Феофана Прокоповича с правкой самого Феофана (РГАДА, ф. 9, оп. 1, № 1) и на перевод «Библиотеки» Аполлодора, сделанный А. К. Барсовым (наборная рукопись с исправлениями справщиков синодальной типографии Кречетовского и Максимова – РГАДА, ф. 381, № 1015; запись справщиков см. на л. 9). Хотя сравнительно с «Географией генеральной» материал этих рукописей относительно невелик, эти данные позволяют сделать вывод о том, что представление о «простом» языке как об определенной трансформации традиционного книжного языка (книжный язык без признаков книжности) было общим для широкого круга авторов (книжников). Внедрение этой трансформации в качестве языка новой культуры может рассматриваться как адекватная реализация языковой политики Петра, выражающая цели его реформы и раскрывающая подлинное значение использованных им понятий.

Правка Феофана Прокоповича особенно значима, поскольку Феофан был одним из главных выразителей культурной политики Петра, и его деятельность в 1717–1726 гг. столь же достоверно говорит об этой политике, как и деятельность самого царя. «История Петра Великого» дошла до нас в писарской копии, написанной одним почерком (издание с обширной лингвистической правкой М. Щербатова см.: Феофан Прокопович 1773). Изложение событий начинается в данном сочинении с 1672 г. Вплоть до 1696 г. (смерть Иоанна Алексеевича) рассказ ведется на гибридном церковнославянском. Эта часть повествования имеет компилятивный характер (см.: Шмурло 1912, примеч., 16–18; Пештич, I, 142–143), и именно в ней, на лл. 3–17, сосредоточена лингвистическая правка Феофана. Эта правка также

имеет целью изменение характера языка: церковнославянский заменяется на «простой» русский язык. В правку вовлечены следующие признаки: формы аориста и имперфекта заменяются на формы не книжного прошедшего времени, согласованные причастия заменяются в деепричастной функции несогласованными, инфинитивы на *-ти* – инфинитивами на *-ть*, формы дв. числа – на формы мн. числа, обороты с дательным самостоятельным – на временные придаточные; изменяется также ряд служебных слов (*егда* на *когда*, *обаче* на *однакожь*, *аще же* на *а хотя* и т. д.) (подробный анализ правки см.: Живов 1988в).

Приведу несколько примеров замены простых претеритов: великии вскорѣ въздвиге^ж глѣся трусь (л. 3об.), Несконча^ссяже^лос' дѣло прѣние^м словесны^м (л. 7об.), Ис церкви выше^а в село коломенское <о^тиде> пошелъ (л. 11об.); Иоаннъ о^т рожества своего <боляше> боленъ былъ очима (л. 3об.), І оными обуча^сше^лся чинной стрелбѣ <...> и інымъ обыка^сше^л Іскуствамъ ратнымъ (л. 10). Сходно с правкой в «Географии генеральной» и обращение Прокоповича с согласованными причастиями, ср.: И недовольны кровопролитіе^м вчерашнимъ вшед^сше^т в палаты истязывать стали... на убійство о^тца црцына (л. 5–5об.); вмѣсто давнего своего стрелцовъ прозванія, приписали себѣ новое, <нарекшеся> нарицая себе надворною пѣхотою (л. 8); Послали послы до губернатора <жалующеся> жаляся о то^м свое^м нещастіи (л. 16).

Не менее показательна правка на рукописи «Библиотеки» Аполлодора. Как уже говорилось, Петр распорядился перевести эту книгу на «общий российский язык». В отличие от Ф. Поликарпова, ее переводчик А. К. Барсов сразу же послушался царя. Для него, однако, естественно было книжный текст писать на традиционном книжном языке (ср., в частности, написанное по-церковнославянски «Предувещание»), а писание на «общем российском языке» выступало как эксперимент, как искусственная задача, при выполнении которой он время от времени сбивался на привычные для него славянские формы. Именно эти огрехи и исправляют справщики синодальной типографии, готовившие текст к печати. Эта правка опять же затрагивает те самые признаки, которые оказались значимыми при переработке «Географии генеральной». Здесь находим замену форм аориста и имперфекта формами не книжного прошедшего времени, инфинитивов на *-ти* инфинитивами на *-ть*, родительного принадлежности на притяжательные прилагательные, оборотов с дательным самостоятельным и Accusativus cum infinitivo на придаточные предложения, союза *яко* на союз *что*, опущение частицы *убо*⁴⁹⁶.

⁴⁹⁶ В этот же ряд свидетельств может быть поставлена и та правка, которую вносил В. Н. Татищев во вторую редакцию своей «Истории российской» (см. о ней подробно: Запольская 1999). Вторая часть этого сочинения была первоначально написана на «древнем наречии» (Татищев, IV, 38–39), что позволяло использовать источники без их переработки. Затем, однако, Татищев решил, что изложение «в наречии древнем и слоге инде от краткости, инде от избыточнаго разпространения повести не всякому вразумительно», и поэтому он был «принужден всю ее в настоящее наречие преложить» (Татищев, I, 91). Хотя эта работа осуществлялась уже в 1740-х годах, она была обусловлена

Если отвлечься от ряда частных, правка во всех этих случаях оказывается тождественной, и это, безусловно, очень значимый факт. Феофан Прокопович и Софроний Лихуд принадлежат к совершенно разным кругам, они являются приверженцами разных, во многом противопоставленных культурно-политических и литературно-языковых традиций, и поэтому сходство их правки нельзя объяснить какими-либо внешними причинами. Тождество правки должно основываться на тождестве языкового сознания, на том, что все лица, участвовавшие в подобной работе, одинаковым в целом образом представляют себе, какие маркированные элементы определяют книжный язык (т. е. выступают как признаки книжности) и, следовательно, должны быть устранены при трансформации его в «простой». За этим тождеством языковых представлений должна была стоять и общая литературно-языковая (письменная) традиция – традиция таких текстов, книжный характер которых реализовался именно в данном наборе специфически книжных языковых черт. Эту традицию естественно видеть в гибридном регистре книжного языка; в этом случае формирование русского литературного языка нового типа и должно связываться с трансформацией данной литературно-языковой традиции.

Свидетельством такого же понимания соотношений между традиционным книжным языком и языком «простым» являются и некоторые грамматические сочинения, появляющиеся в Петровскую эпоху. Так, в «Технологии» Ф. Поликарпова 1725 г. (НРБ, НСРК, F 1921. 60; ср.: Бабаева 2000, 252 сл.) указывается ряд различий «славенской» и «великороссийской» грамматики. К этим различиям относятся, в частности, наличие/отсутствие простых претеритов, звательной формы, дв. числа, суффиксальное или аналитическое образование сравнительной и превосходной степени (Успенский 1994, 110–111). Как пишет Б. А. Успенский,

нельзя не отметить, что кодификация различий между церковнославянским и русским языком основывается на тех же противопоставлениях, которые проводятся при переделке церковнославянского текста в текст на «простом» языке <...> Речь идет, в сущности, об одной и той же системе противопоставлений, которая в одном случае фиксируется в грамматическом описании, в другом реализуется в языковой правке. Во всех этих случаях «простой» русский язык

теми же задачами, которые ставили перед собой книжники Петровской эпохи, и основывалась в значительной степени на том же языковом сознании. Ее ближайшее сходство с тем материалом, который мы извлекли из рукописей петровского времени, указывает на устойчивость в понимании соотношения между традиционным книжным и новым «простым» языком и позволяет рассматривать соответствующие данные как релевантные и для характеристики более раннего периода. При сопоставлении двух редакций второй части (см. их публикацию: Татищев, I; Татищев, IV) обнаруживается, что в результате правки аорист и имперфект заменяются на формы не книжного прошедшего времени, устраняется связка в перфекте, инфинитивы на *-ти* заменяются инфинитивами на *-ть*, формы 2 л. ед. ч. на *-ши* – формами на *-шь*, формы дв. числа – формами мн. числа, формы атематических глаголов – аналогическими формами, согласованные причастия в деепричастной функции – несогласованными, дательный самостоятельный исправляется на причастный оборот, одинарное отрицание – на двойное отрицание (Запольская 1999).

противопоставлен церковнославянскому языку по ограниченному числу признаков, в результате чего оказывается возможным более или менее автоматическое преобразование церковнославянского текста в русский и наоборот (Успенский 2002, 509).

Как можно думать (см. выше), Поликарпов неодобрительно относился к утверждению «простого» языка в качестве литературного, однако в том, что касается самих различий между традиционным книжным и «простым» языком, его представления не отличались от представлений других авторов.

5. Отталкивание от старого книжного языка и возникновение «петровского пула». Синтаксический уровень

Исключение маркированно книжных элементов (проведенное, впрочем, в текстах новой секулярной культуры не всегда с полной последовательностью⁴⁹⁷) имело, таким образом, символический характер. Констатируя это исключение, мы, понятно, не отвечаем на вопрос о том, что осталось в новом языке или, иными словами, какой материал был употреблен при его создании. Для этого материала едва ли не справедлива характеристика А. В. Исаченко, который, описывая язык петровского времени, говорит о «die Ratlosigkeit, das sprachliche Chaos» (Исаченко, II, 532). Первобытный хаос – это то состояние, из которого рождается новая жизнь. В чем состояла хаотичность нового идиома, поддается объяснению. Те элементы, которые ранее были распределены по разным письменным традициям (по разным регистрам письменного языка), теперь оказываются сваленными в одну кучу, которую я, в перспективе дальнейшего развития, предпочитаю называть «петровским пулом» (Живов 2002а, 7–10). Та вариативность, которая ранее была упорядочена фрагментацией узуса по разным регистрам, теперь оказывается неупорядоченной в рамках единого нефрагментированного узуса.

Это смешение узусов можно наблюдать на разных языковых уровнях. Наиболее существен в данном отношении синтаксис. Петровская политика европеизации культуры, частью которой была и его языковая реформа, предполагала усвоение и переработку тех риторических стратегий, которые были присущи европейскому культурному дискурсу этой эпохи, а новые риторические установки должны были сказаться и на синтаксическом устройстве текстов новой культуры. При этом стоит иметь в виду, что эти тексты в существенной своей части были переводными, и тем самым формирование нового синтаксического стандарта могло идти по тому же пути, по которому когда-то, во времена Кирилла и Мефодия, формировался синтаксис церковнославянского языка, т. е. за счет соединения калькированных синтаксических построений оригинала с языковыми средствами языка перевода.

⁴⁹⁷ Об остаточных формах аориста в отредактированном переводе «Географии генеральной» Б. Варения (Варений 1718) см. в работе: Хютль-Фольтер 1987б. Ср. еще редкие формы аориста и имперфекта в «Книге мирозрения» Х. Гюйгенса в переводе И.-В. Пауса (цитирую по второму изданию: Гюйгенс 1724): *овладѣша, служашу, малѣвахуся, прѣмѣтѣша, познаша* (Гюйгенс 1724, 1).

О западноевропейском происхождении синтаксического стандарта русского литературного языка писали в 1970-е годы А. В. Исаченко и Г. Хютль-Фольтер, указывавшие, что именно на синтаксическом уровне формирование русского литературного языка нового типа представляет собой разрыв с предшествующими традициями. Как отмечала Г. Хютль-Фольтер, «der Syntax als höchste Ebene im hierarchischen System der Sprache kommt entscheidende Bedeutung bei der Beurteilung zu, ob ein sprachlich stark gemischter Text in der einen oder anderen Sprache abgefasst ist» (Хютль-Фольтер 1978б, 188). Основываясь на этом общем положении, исследовательница делала вывод, что «[г]лубокие преобразования в области синтаксиса, которые происходили в русском литературном языке с начала и до конца XVIII в., завершившиеся в Новом слоге, убедительно доказывают, на наш взгляд, мнение, что речь идет о новообразовании [т. е. что русский литературный язык XVIII в. представляет собой новообразование. – В. Ж.]. Иначе говоря, синтаксис нового языка равным образом отличается от синтаксиса церковнославянского языка и делового» (Хютль-Фольтер 1987а, 9).

Ряд примеров, приводившихся при обсуждении этого вопроса, был весьма выразителен и прекрасно иллюстрировал общий тезис. Так, например, А. В. Исаченко полемизировал с Е. Т. Черкасовой, утверждавшей, что «синтаксический строй русского языка <...> изначально развивался по собственному пути» (Черкасова 1972, 81) (Черкасова в свой черед полемизировала с Б. О. Унбегауном) и в качестве доказательства рассматривавшей средства союзного подчинения. Если Черкасова заявляла, что эти средства сложились «в недрах живой народной речи» (там же, 78), то Исаченко резонно замечал, что «eine ansehnliche Zahl russischer Konjunktionen keineswegs als Schöpfungen der russischen Kanzleisprache, sondern als Lehnprägungen aus dem Französischen, Deutschen oder Polnischen zu erklären sind» (Исаченко 1974, 270). В частности, например, союз *благодаря тому что* появляется именно как калька фр. *grâce à* или нем. *dank* (с дативом), о чем и свидетельствует дативное управление, при том что глагол *благодарить* управляет вин. падежом (Исаченко 1974, 270). Отсюда делался вывод, что разрыв в преемственности был обусловлен ориентацией на синтаксис новых европейских языков (французского и немецкого), откуда и был усвоен новый принцип синтаксического построения. «Es ist wohl bekannt, – утверждает Г. Хютль-Фольтер, – dass der kirchenslavische Anteil auf den Gebiet der Syntax im Laufe des 18. Jahrhunderts durch lateinische und westeuropäische Vorbilder abgelöst wurde, wobei das Französische den umfassendsten und nachhaltigsten Einfluss auf die neuere russische Schriftsprache ausübte» (Хютль-Фольтер 1978б, 189).

Мне такое суждение представляется слишком радикальным. Перелом, видимо, и в самом деле имел место, и внешние образцы сыграли в нем определенную роль, однако вряд ли при этом стоит преуменьшать значение преемственности. Ситуация в Петровскую эпоху не была аналогична той, которая имела место при начале славянской письменности. Кирилл и Мефодий начинали с пустого места; поскольку речь шла о славянском, никаких навыков письменного изложения не было ни у них, ни у их учеников. Авторы XVIII в. были в принципиально ином положении. Они обладали сло-

жившимися навыками книжного письма, и тот сознательный пересмотр, которому подвергала эти навыки языковая реформа (процесс формирования нового литературного языка), не мог полностью изгнать их из памяти и заменить свежими, но мог лишь выборочно их модифицировать (наглядной иллюстрацией этого феномена является рассмотренное выше языковое поведение Софрония Лихуда, сбивавшегося на нормативные книжные формы, когда он отвлекался от задачи придерживаться «простого» языка). Процесс состоял именно в пересмотре и отборе из существовавшего запаса, в приспособлении его к новым коммуникативным задачам, но – очевидным образом – не в смене языкового материала. К синтаксису это относится не в меньшей мере, чем к другим уровням.

Приведу один частный, но вполне показательный пример. Г. Хютль-Фольтер, исследуя ряд переводов с французского, которые могут рассматриваться как тексты, воплощавшие новый языковой стандарт, указывает, что от многих старых конструкций в анализируемых памятниках сохраняются лишь единичные следы, имея в виду, в частности, относительные предложения с союзами *иже, яже, еже* (Хютль-Фольтер 1996, 35). Они оказываются вытесненными относительными предложениями с *который*, широко представленными, действительно, в рассматриваемых текстах. Исследовательница не утверждает, понятно, что данный тип относительных предложений возникает только в XVIII в., но отмечает, что в текстах XVIII в. он встречается несравненно чаще, чем в текстах XVII в. Например, у Котошихина построения с *тот – который* встречаются лишь 9 раз, тогда как в анализируемых Г. Хютль-Фольтер переводах примеры исчисляются десятками (там же, 44). До какой степени справедливо предлагаемое исследовательницей объяснение, согласно которому утверждение относительных предложений с *который* в новом языковом стандарте обусловлено их соответствием французским синтаксическим построениям?⁴⁹⁸

⁴⁹⁸ Г. Хютль-Фольтер детально проанализировала два обширных перевода с французского: «Разговоры о множестве миров господина Фонтенелла парижской Академии наук секретаря. С французского перевел и потребными примечаниями изъяснил князь Антиох Кантемир в Москве 1730 году» (Кантемир 1740) и «Военное состояние Оттоманския империи с ея приращением и упадком. Сочинено чрез графа де Марсильи» (перевод В. К. Тредиаковского – Тредиаковский 1737а). Рассматривая придаточные с *который* без антецедента в главном предложении, Хютль-Фольтер отмечает, что в этих текстах рассматриваемые относительные придаточные по большей части воспроизводят аналогичные придаточные французского оригинала (с союзами *qui* и *que*, а также *dont*, *duquel*, *lequel*, *où*); в «Разговорах» подобное воспроизведение покрывает 449 предложений из 494 (т. е. 91%), в «Военном состоянии» – 744 из 879 (т. е. 85%). Релятивные придаточные с *который* оказываются, таким образом, прочно укоренены в синтаксической организации анализируемых текстов, о чем свидетельствует и использование их для передачи иных конструкций французских оригиналов: Кантемир пользуется ими для перевода приименного родительного и инфинитивных конструкций, Тредиаковский, прибегая к этому средству чаще, чем Кантемир, употребляет их в качестве соответствия для причастных конструкций (52 случая), самостоятельных предложений (21 случай), различных атрибутивных конструкций (47 случаев), придаточных другого типа и инфинитивных конструкций (8 случаев).

Относительные союзы *иже, яже, еже* действительно перестают употребляться в текстах XVIII в., и их место занимает союз *который*, однако это по существу лексическая замена, не меняющая сама по себе синтаксического построения. Эти служебные слова принадлежат к числу признаков книжности, и их устранение как раз и символизирует разрыв с церковнославянской языковой традицией (о правке, которой подвергает эти союзы С. Лихуд, редактируя перевод «Географии генеральной» Б. Варения, ср. выше § X-4; см. также: Живов 1986б, 253). Этот процесс, естественно, никак с влиянием французского или немецкого синтаксиса не связан. Именно замены *иже, яже, еже* на *который* и обуславливают рост того типа относительных предложений, на которых останавливает внимание исследователь. Относительное подчинение было широко представлено в синтаксисе книжных регистров письменного языка, входило в навыки книжного изложения, и трансформация этих навыков состояла лишь в том, что вместо одного относительного местоимения авторы новых текстов стали употреблять другое. Синтаксическое построение при этом никак существенно не изменилось, и вряд ли сколько-нибудь значимо изменились статистические параметры, если иметь в виду частоту употребления относительных предложений рассматриваемой конструкции вне зависимости от того, какое из относительных местоимений служит средством связи⁴⁹⁹.

Широкое использование в переводах относительных придаточных в соответствии с относительными придаточными французских оригиналов позволяет исследовательнице сделать вывод, что именно синтаксическая организация этих последних обуславливает употребительность придаточных с *который* в анализируемых русских текстах. При этом «позиция придаточных с *который* в переводах практически всегда совпадает с их позицией в оригиналах. В «Разговорах» (651 пример) придаточные с *который* употреблены в препозиции 3 раза, в интерпозиции 131 раз и в постпозиции 517 раз, при этом лишь в 7 случаях перевод отклоняется от оригинала. В «Военном состоянии» из 1105 относительных придаточных с *который* 160 находятся в интерпозиции, 944 в постпозиции и одно в препозиции. Лишь в одном случае позиция в переводе не совпадает с позицией в оригинале» (Хютль-Фольтер 1996, 38–39). Влияние французского синтаксиса сказывается и в прямых синтаксических галлицизмах. К их числу автор относит цепочки из придаточных с *который*, связанных сочинительными союзами типа (пример из «Разговоров»): «Такие они люди, *которым* смех неизвестное дело, *которым* надобно целый день, чтоб отвечать на самое малейшее предложение, и *которым* Катон Утицкой показался бы чрез меру шутлив и непостоянен» (во французском та же структура: «... *qui* ne savent... *qui* repnent... *et qui* eussent trouvé»). Другим галлицизмом является соединение с помощью сочинительного союза придаточного с *который* и определения, например (пример из «Военного состояния»): «Сие делает *очень знатную сумму, и которую* нельзя считать» («... *ce qui* monte, à *une somme très considerable, et qu'on* ne peut calculer»). На основании этих данных автор приходит к общему выводу: «Французский язык оказал сильнейшее влияние на выбор определенных моделей относительных придаточных, которые сделались наиболее употребительными конструкциями в новом литературном русском языке и остаются таковыми по сей день» (там же, 39).

⁴⁹⁹ Приведу в качестве иллюстрации данные из уже упоминавшейся «Скифской истории» Андрея Лызлова (Лызлов 1990), сочинения не переводного, а оригинального, написанного на обычном книжном языке допетровской эпохи (в традиции гибридного регистра). В первой части этого сочинения я насчитал 65 относительных придаточных

О преимственности между устройством относительного подчинения в гибридном регистре и в новом литературном языке может, как кажется, свидетельствовать такая частная деталь, как позиция относительного местоимения, указывающего на принадлежность стоящего в придаточном существительного определяемому имени. В текстах первой половины XVIII в. (в отличие от современного языка) относительное местоимение ставится в большинстве случаев в начале придаточного, ср. примеры из «Разговоров о множестве миров» Фонтенеля в переводе А. Кантемира: «Меркурии <...> близок к Солнцу, в котораго лучах почти всегда скрыт живет» («*dans les rayons duquel*»); «однакож изрядно можно изобразить себе в уме такое солнце, котораго часть некая покрыта пятнами неподвижными» (Хютль-Фольтер 1996, 49). Ср. также в (также переводном) «Кратком описании комментариев Академии наук»: «многіе греческіе преводники въ Арапѣхъ были <...> въ которыхъ число и сего Алсалема Алтаржемана причести надлежитъ» (Краткое описание 1728, 182–183). Аналогичные примеры легко найти и в оригинальных текстах, ср. у Татищева в «Разговоре дву приятелей»: «Однако ж во всяком суждении нужно, чтоб умовоображения или сущие знания действительно предходили, из которых совокупления и разделения правильное суждение последует»; «Мафематика почитается за часть действительную философии, которой начало хотя некоторые хотят доказывать якобы от египтян...» (Татищев 1979, 57, 73). Ср. еще в текстах Петровской эпохи, например в «Истории Петра Великого» Феофана Прокоповича: «в санктъ питербурхъ пошелъ, котораго строение осмотрѣвъ, возвратился паки въ нарву» (РГАДА, ф. 9, оп. 1, № 1, л. 94об.); «от запада лѣсъ великий котораго часть нѣкая стороною полунощною к востоку длиною с версту протягается» (л. 185).

Характерность этой позиции никак не может быть обусловлена французским подтекстом, зато легко объясняется как воспроизведение порядка слов в придаточных с книжными относительными местоимениями в род. падеже *егоже, еяже, ихже*, всегда занимающими начальную позицию, ср. у Лызлова: «половцы, чрез их же землю бегоша» (Лызлов 1990, 16). То, что в современном литературном языке относительное местоимение стоит после существительного («к солнцу, в лучах которого...»), возможно, и в самом деле обусловлено влиянием западноевропейского синтаксиса, однако этот

полной структуры с *иже* (в различных формах) и *идеже*, еще четыре придаточных с *иже* и нулевым сказуемым (типа «до пределов хийских, иже со Индиєю») и четыре относительных придаточных с *который* (не отличающихся по своему строению от аналогичных придаточных современного языка). Первая часть занимает всего 14 печатных страниц, так что плотность употребления относительных придаточных вполне сравнима с той, которая наблюдается в переводных текстах XVIII в., ср. типичный период: «От сих убо татар монгаилов изъидоша сии татарове, иже суть к нам, савроматом, пришельцы, их же называем крымския, монконския, перекопские, белгородские, очаковские, и все те народы, иже обитают около езера Палюсмеотис, то есть Азовскаго моря» (Лызлов 1990, 13). Если заменить *иже* на *которые*, *ихже* на *которых* и т. д., мы получим вполне обычные для нового литературного стандарта фразы, так что ничто не мешает видеть в подобных текстах (наряду с текстами французскими) прецедент той синтаксической организации нарратива, которая наблюдается в переводных памятниках XVIII в.

процесс относится не ко времени первоначального формирования языкового стандарта, а к более позднему периоду. В середине XVIII в. в литературном языке оказываются возможными оба словорасположения – с препозицией и с постпозицией относительного местоимения, и процесс нормализации состоит в постепенном устранении варианта с препозицией.

Связь синтаксического построения в формирующемся языковом стандарте с новыми риторическими стратегиями не выражается в прямом калькировании синтаксических конструкций западноевропейских языков; когда такое калькирование имеет место, оно играет лишь частную и второстепенную роль. Эта связь проявляется прежде всего в утверждении логического развертывания как универсального, т. е. распространяющегося на все виды регламентированного письма принципа. Как мы видели (см. § V-1), ситуационный синтаксис и присущее ему нарушение проективности характерны прежде всего для некнижных регистров письменного языка допетровской эпохи. Хотя они и проникают в единичных случаях в гибридный регистр, они остаются в целом закрепленными за отдельными функциональными разновидностями письменного узуса и для книжного языка представляют собой аномалию. В Петровскую эпоху распределение языковых средств по регистрам перестает регулировать язык новой секулярной письменности; различные языковые средства начинают употребляться «безразборно», что и можно определить как «петровский пул». «Безразборность» прежде всего характеризует употребление морфологических вариантов (см. ниже), однако она затрагивает и синтаксис. В текстах, порожденных новой секулярной культурой, можно обнаружить синтаксические построения, характерные прежде как для книжных, так и для некнижных регистров письменного языка.

Петровский пул определяет тот диапазон языкового разнообразия, из которого в XVIII в. совершается выбор при формировании русского литературного языка нового типа – выбор, в результате которого на смену множественности регистров приходит единый стандарт письменного языка. В ходе этого процесса из формирующегося языкового стандарта последовательно устраняются элементы ситуационного синтаксиса. Этот процесс и дает то противопоставление стандарта письменного языка и разговорной речи, которое стало предметом описания в современном русском языке (в так называемой коллоквиалистике – см.: Земская 1973; Земская, Китайгородская, Ширяев 1981; Лаптева 1976; см. выше, Введение-II). Связующие письменный и устный языки синтаксические стратегии элиминируются как примета «неевропейского» риторического устройства речи.

Элиминация данных стратегий, как и в целом «европеизация» синтаксиса, осуществляется постепенно, переходя от жанров письменности, более значимых в новом культурном пространстве, к жанрам менее значимым. Те конструкции с нарушением проективности, т. е. элементами ситуационного синтаксиса, которые мы отмечали в гибридных текстах (прежде всего, в летописях), в исторических сочинениях авторов XVIII в. (например, Татищева) полностью отсутствуют. В частной и деловой переписке деятелей XVIII в., в том числе и принадлежавших культурной элите, они продолжают быть достаточно обычными. Приведу несколько произвольных примеров из пере-

писки князей Голицыных 1770-х годов: «По написани оного писма дворъ Андреевской по прежнему вашему дозволению продалъ и ценой савсемъ уговорился Никалаю Михайлычу Нащокину за 2500 ру» (Котков 1981, 30); «Приложенное при сем писмо на имя Захара Яковлевича Карнеева покорно прошу оное доставить, которой находится при Павле Сергеевиче Потемкине» (там же, 40)⁵⁰⁰. Наряду с жанровым, процесс этот имеет и социальное измерение: авторы, принадлежащие к культурной элите, избавляются от элементов ситуационного синтаксиса быстрее, чем авторы из других слоев общества.

Связь «европейских» риторических стратегий с преобразованием синтаксиса (в частности, с устранением элементов ситуационного синтаксиса) и пути ее реализации в формировании русского литературного языка видны тем отчетливее, чем более крупные единицы текста мы рассматриваем. Весьма показательны в этом отношении средства обеспечения связанности текста, о которых уже говорилось выше (§ V-3). Как мы видели, для делового регистра преимущественным средством связи становится с определенного времени лексический повтор, тогда как книжным регистрам он в целом был не свойствен. В гибридные тексты он проникает лишь ограниченно, благодаря интерференции, а в стандартных церковнославянских текстах практически никогда не используется. Можно полагать, что запрет на повтор в книжном языке восходит – как к своему первоначальному источнику – к античной риторической традиции, в которой повтор стилистически маркирован (см. выше, § V-3.2). В дальнейшем развитии книжных регистров эта традиция – при отсутствии в средневековой Руси риторического обучения – лишь поддерживается, с большим успехом в стандартном церковнославянском, с меньшим – в гибридном языке⁵⁰¹.

⁵⁰⁰ Нарушение проективности сосуществует в эпистолярной письменности XVIII в. с другими элементами разговорного синтаксиса. Здесь можно обнаружить, например, упоминавшийся выше именительный темы (ср.: «Дети – по состоянию воспы все идет изрядно») или именительный перечисления (ср.: «Им по лошади прислал, а мне хотя бы корову и буйвол»; «Лишние лошади я нонеча собрала два цуга, один меринов, а другой – жеребцы вороные»). Нередко встречаются и специфические для разговорной речи глагольные номинации типа «Я приехала, он мне подал на немецком языке на четырех листах написано». Весь спектр синтаксических коллоквиализмов в переписке XVIII в. был рассмотрен в дипломной работе моего ученика А. Я. Ярина (Ярин 1986), выводами и примерами которого я здесь пользуюсь. Добавлю еще несколько колоритных примеров из писем Петра Великого: «Подводы зѣло хорошо, что велѣно съ лишкомъ» (ПИБ, II, 70); «Артиллерія и прочая къ чему надобна желаете вѣдать, о чемъ многократно ваша милость извѣстенъ, что было зимою дѣлано и для чего Александръ посыланъ былъ» (там же, 71); «За старостію и за увѣчемъ перемѣнить полковниковъ: Юрья Абрама, Ивана Трейдена, Михайла фонъ-Стоусберха, Ивана Сака; да на умершева на Матѣвева мѣсто Трейдена: къ Си(н)бирскому зборному полку, у котораго былъ Иванъ Англеръ; на Иваново мѣсто Какошкина» (там же, 12–13). Специфически разговорные конструкции продолжают появляться в эпистолярной письменности и позднее, хотя и их спектр, и частота употребления постепенно сокращаются (ср.: Кручинина 1976).

⁵⁰¹ Однако и в гибридных текстах использование лексического повтора носит ограниченный характер, примеры встречаются лишь в текстах, в наибольшей степени подвер-

Когда наступает эпоха нового литературного языка, терпимости приходит конец. Как и в рассмотренном выше случае с дистантным расположением членов словосочетания, синтаксические построения, основанные на лексическом повторе, отвергаются новым языковым стандартом. Движущий мотив этого отвержения достаточно очевиден: это ориентация на западные образцы. Эта новая «европейская» установка, однако, не действует напрямую, но приводит к актуализации той восходящей к античности языковой традиции, которая в латентной форме сохранялась церковнославянским стандартом. Это развитие, в свою очередь, определяет то фиксированное расхождение между письменным литературным языком и разговорной речью, которое имеет место в современном русском языке и распространяется, в частности, на средства обеспечения связанности текста: лексический повтор, используемый разговорной речью, оказывается недопустимым в письменном языке.

Более подробно данный процесс может быть рассмотрен на примере наименования референта в относительных предложениях с местоимением *который* типа «А будет кому лучится ехать из Московского государства для торгового промыслу или иного для какого своего дела в *ыное государство, которое государство* с Московским государством мирно» (Уложение VI, 1 – Уложение 1987, 24). Эта та конструкция, которую Г. О. Винокур отмечает в качестве специфического для делового языка «повторения определяемого слова в конструкции относительного подчинения» (Винокур 1959, 112). При таком построении местоимение *который* выделяет связующий лексический компонент и его функции по существу аналогичны

женных интерференции не книжных регистров, или в специальных обстоятельствах, обусловливающих отклонения от гибридного узуса. Так, единичные примеры могут быть обнаружены в Новгородской второй летописи; об элементах не книжного синтаксиса в этом памятнике уже говорилось (см. § V-1, 2):

Мѣсяца июля въ 14 в понеделник, на *Легощи улицы* за церковию *святых мученикъ Фрола и Лавра* и *обретоша гроб* верхъ земли, и *обрѣтоша во гробѣ тѣло* цило <...> *девицу* именем Гликерию, старосты Пянтеля, тоя же *улицы Легощи*. А сказывала жена старая Настасия *владыки* Леониду, помнила как *тоя девицу* тут провожали лѣтъ с пятьдесят. И *владыка* проводилъ *тую девицу собором* и ходилъ со кресты всѣм *соборомъ* на *Легощу улицы* и молебны пѣлъ въ церкви *святыхъ мученикъ Фрол и Лавра* всѣм *соборомъ* и положили *тую девицу* на ином мѣсте (ПСРЛ, XXX, 192 – s. a. 1572).

Аналогичные примеры могут быть извлечены из Мазуринского летописца XVII в.:

А велено ему королю говорити о *путимских землях*, что литовския люди на *путимских землях* поставили города и слободы и села и деревни, а по польскому договору *те* было *земли* отвести в государеву сторону к Путимлю. И литовские судьи, которые съезжались з государевыми судьями, правды не учинили, *путимские земли* не отдали, норовя своим польским и литовским комиссаром, которые *путимские земли* засели (ПСРЛ, XXXI, 163 – s. a. 1637).

В последнем случае излагается и, видимо, близко к тексту посольский наказ, т. е. та деловая бумага, которая была подготовлена в Посольском приказе для послов, отправлявшихся на переговоры с польским королем. Эта генетическая связь и обуславливает отклонение от обычного гибридного узуса.

функциям определенного артикля или дейктического местоимения при повторяемом существительном. В случае препозиции придаточного лексический повтор оформляется местоимением *который* при начальном употреблении и каким-либо дейктическим местоимением при следующем вхождении лексемы, ср. в том же Уложении: «А *которым* людем доведется о судных своих и о иных каких делах бити челом государю, и *тем* людем о тех своих делах челобитные свои подавать в приказах бояром» (X, 20 – Уложение 1987, 33)⁵⁰².

Такого рода конструкции представлены в разных регистрах письменного языка средневековой Руси – исключая, понятным образом, лишь стандартный церковнославянский⁵⁰³. Особенно часты они в деловых текстах, из которых и были взяты приведенные выше примеры. Такое употребление соответствует коммуникативному заданию этих текстов, обеспечивая однозначность референциального отождествления. В дополнение к примерам из Уложения 1649 г. приведу примеры из сочинения Котошихина: «... а с тѣмъ родом *тот* род на *котороі* род ѹчнут биті челом бывалі они на слѣжбах і в посылках без спорѹ...» (Пеннингтон 1980, 56); «а *котороі* члвкъ ѹчнет на гсдна своег биті челом ложно или затѣет на гсдна своего какое воровское гсдрственное дѣло не хотя ѹ нег служіт и по сыску *такому* члвку бывает наказание кнѣтом...» (там же, 134; ср.: Коротаева 1964, 57)⁵⁰⁴.

⁵⁰² См. об этих конструкциях: Кершиене 1979, 76–77 с многочисленными примерами из грамот, юридических кодексов и некоторых других текстов, примыкающих по языку к деловым («Учение и хитрость ратного строения» 1647 г.; см. об этом памятнике: Станг 1952). Самый ранний их приводимых Р. Б. Кершиене примеров относится к 1471 г. и взят из договорной грамоты Новгорода с великим князем Иваном Васильевичем: «и ѹ **вашего ѡца оу митрополита. которын митрополит оу ваѣ ѹ великиѹ кнѣзен. ни бѹдеѹ**» (Шахматов 1886, № 20, с. 279; см.: Кершиене 1979, 77). См. также: Митренина 2012, 65–71; О. В. Митренина справедливо видит в таких построениях свидетельство того, что *который* функционирует в них не как относительное местоимение и конструкции являются «псевдо-коррелятивными».

⁵⁰³ Впрочем, и здесь в маргинальных для стандартного регистра текстах можно найти единичные исключения. Так, в «Слове благодарственном» патриарха Иоакима 1683 г. читаем: «Внегда воста на стѣю бжїю црквь ересь велїа, стѣхѹ икѡнѹ поклонїе ѡрницающаѹ: **Которѹю ересь ѡбличи <...> стѣын вселенскїй седмый соборѹ**» (Иоаким 1683, 30).

⁵⁰⁴ Аналогичное употребление находим и в челобитных, ср. челобитную Луки Дырина 1681 г.: «и он голова Гаврило Карповъ гсдрвы *денги и кубы* <...> сорит *которые денги посланы и кубы на харчи*» (Котков, Астахина и др. 1984, 201). Самым ранним примером этого рода является новгородская берестяная грамота № 310 1400-х годов, которая представляет собой челобитную посаднику Андрею Ивановичу: «цѣловитник. восподицѹ посадникѹ новгородцомѹ. ѡнедрїю. ивановицѹ ѡ тѣѹ. гѣ. ключника ѡ вавѹлы и. ѡ тѣѹхъ хрестїанѹ **которыѹ хрестїанн. с ылова пришли за тѣѹ захарка. да нестерке**» (Зализняк 2004а, 670). Этот пример появляется как раз тогда, когда деловые тексты начинают использовать лексический повтор в качестве средства обеспечения связанности текста. Позднее распространение предложений с *который* в постпозиции может, конечно, рассматриваться как феномен экспансии «relative properties of this pronoun» (Митренина 2012, 67), однако предложения с повтором определяемого слова представляют собой особый случай, и датировать их появление феноменами столь общего характера не кажется целесообразным.

Из не книжных регистров данные конструкции проникают и в гибридные тексты, их можно (хотя и редко) найти в летописях, ср. в Новгородской второй летописи: *«людеи громом побилѡ много, згорѣло много в городи и тѣх, которыи люди збѣжали на поле»* (ПСРЛ, XXX, 148 – s. a. 1542); *«И поставили заставу по улицам и сторожеи, в которойи улице челоуѣкъ умереть знаменемъ и тѣ двѡры запирали и с людми и корьмили тѣхъ людеи улицею»* (ПСРЛ, XXX, 159 – s. a. 1572)⁵⁰⁵. Аналогичное употребление в Летописце 1619–1691 гг. (характерным образом, в прямой речи, более свободной для проникновения не книжных элементов): *«Дохтур же им рече истинну: “Аз убо которыми водками составными его, государя, лечил, и тех составных водок стклянка осталася и есть в аптеке, стоит в погребце, в науголном заднем гнезде”»* (ПСРЛ, XXXI, 197 – s. a. 1682). Появляются они и в переводных рыцарских романах, ср. в Повести о Петре Златых Ключей: *«Видя отец сыновию породу, яко склонен есть к делам воинским, содела великий пир для великих господ в кралевстве французском, на который пир созвал сродников своих»* (Кузьмина 1964, 276); *«И вышед на брег, гулял по берегу и нашел хороший луг, на котором лугу много было пахучих всяких цветов»* (там же, 317); *«И как те бочки с тем сокровищем ей достались, которым сокровищем соорудила церковь и больницы»* (там же, 325).

И эти конструкции отвергаются формирующимся языковым стандартом. Они противоречат тому строению фразы, образцом для которого служит традиционный книжный язык и обработанный синтаксис новых западноевропейских языков. Процесс устранения этих конструкций занимает всего несколько десятилетий. Существенно при этом, что в Петровскую эпоху, когда начинается формирование языкового стандарта и происходит объединение языковых средств, распределенных ранее по разным регистрам, эти конструкции получают значительное распространение. Действительно, в текстах петровского времени (как делового, так и неделового характера) они вполне обычны (ср. ряд примеров у Э. И. Коротаевой: Коротаева 1964, 57). Многочисленные употребления такого рода могут быть найдены, например, в переводе «Библиотеки» Аполлодора, сделанном А. К. Барсовым (примеры из приложенного к изданию перевода трактата С. Бохарта): *«Во образъ того буди намъ Фабула или басня о Сатурнѣ и трехъ сынахъ его <...> въ которойи басни давно уже мужіе ученые обоняли истинную о Нои и трехъ сынахъ его Історію»* (Аполлодор 1725, 300); *«О семъ Амонѣ или Гамонѣ писаніе ясно воспоминаеть на трехъ мѣстахъ, которыя мѣста непрямо разумѣють толкователи»* (там же, 325); *«<...> злодѣяніе сталося въ Коркирѣ островѣ Феакіискомъ которыи островъ инако и Арпіи <...> прозывано»* (там же, 341–

⁵⁰⁵ Связь с помощью лексического повтора может состоять не только в воспроизведении тождественной лексики, но и в употреблении деривата или синонима, однозначно отсылающего к предшествующему вхождению. Понятно, что в рамках риторической традиции подобные разновидности лексического повтора не подвергаются, вообще говоря, столь же строгим ограничениям, как повтор тождественного элемента. В случае конструкций с *который* эти ограничения, однако, действуют с неменьшей силой.

342)⁵⁰⁶. Подобное усвоение не книжных синтаксических конструкций формирующимся языковым стандартом, в своих синтаксических характеристиках в основном воспроизводящим синтаксические параметры книжных регистров, как раз и свидетельствует об образовании «петровского пула».

6. «Петровский пул» и морфологическая вариативность

Как уже говорилось (см. гл. VII), конфигурации морфологических вариантов обусловлены преемственностью письменных навыков в рамках отдельных регистров письменного языка. В Петровскую эпоху эти линии преемственности оказываются нарушенными, так что разные конфигурации оказываются перемешанными, что и соответствует идее «петровского пула». Смешение было обусловлено двумя типами факторов. С одной стороны, коммуникативное задание тех текстов, которые имели принципиальное значение для петровской культурной политики (сюда относятся различные «научные» издания, политические трактаты и т. д.), было относительно новым, неоднозначно вписывавшимся в традиционные рамки. Если в предшествующий период коммуникативное задание определяло выбор регистра, то теперь появлялись тексты, соотношение которых с регистрами не было автоматическим: новые тексты находились в своего рода пространстве между регистрами; это мешало преемственности, приводило к разрыву с традициями и к активной интерференции письменных навыков разного происхождения. С другой стороны, люди, которые занимались созданием этих важных текстов, были весьма неоднородной группой, у них был разный кругозор и разные навыки.

В первых книгах, напечатанных гражданским шрифтом, отчетливо виден разрыв с предшествующей языковой традицией книжной печати, перелом в языке соответствует при этом культурному водоразделу: первые издания гражданской печати являются секулярными по содержанию, что, хотя и имело некоторые прецеденты в прошлом, было несомненно существ-

⁵⁰⁶ Распространение данной конструкции в текстах Петровской эпохи, относящихся к разным жанрам и объединенным лишь своей принадлежностью новой секулярной культуре, может быть проиллюстрировано многими примерами. В «Истории Петра Великого» Феофана Прокоповича встречаем: «разводятся бо и паки сходятся многими тѣсными улицами: в которыхъ улицахъ по обѣ стороны в стѣнахъ мало прокопанныхъ почиваютъ нетлѣнная помянутыхъ преподобныхъ тѣлеса» (РГАДА, ф. 9, оп. 1, № 1, л. 112); «караванъ великий грековъ купцовъ в росию идучихъ розбили за которой разбой ис казны государевой <...> сто тысячь ефимковъ заплачено» (л. 181об.). В «Геометрии славенски землемерии»: «на данои прямои линей, часть цѣркуля написати, въ которой части уголь обрѣтатися будетъ равенъ даному углу» (Геометрия 1708, 157). В «Географии генеральной» Б. Варения в переводе Ф. Поликарпова: «причина есть облаковъ разрушеніе, заходящимъ солнцемъ бывающее, которые облаки прежде вѣтромъ восточнымъ къ западу бывають собраны» (Варений 1718, 354). Стоит еще указать на «Последование о исповедании» Гавриила Бужинского, в котором собеседование священника с исповедующимся написано намеренно «просторечно»; в этой части мы находим: «которую своєю ложью ѿводитъ простыхъ людей ѿ правова пѣти, которой пѣтъ бѣтъ намъ показалъ, и вводитъ въ погнѣвь вѣчную» (Гавриил Бужинский 1723, л. 14).

венной инновацией, соответствовавшей культурным и политическим установкам царя-преобразователя. Первые издания были переводами, причем переводами на некнижный язык (язык без признаков книжности). И это само по себе не было абсолютной новинкой, поскольку в XVII в. такие книги публиковались (имею в виду Уложение 1649 г. и «Учение и хитрость ратнаго строенія пѣхотныхъ людей» 1647 г.). Переводы в основном делались в Посольском приказе (хотя не всегда ясно, кто именно готовил к печати каждый из текстов), так что можно было бы ожидать, что язык их будет продолжать традицию некнижной письменности. Однако лингвистические особенности этих текстов существенно отличаются по ряду параметров от некнижных текстов предшествующей эпохи; именно при анализе морфологических показателей обнаруживается, что прежние навыки некнижного письма в них больше не работают (или работают не в полной мере); так обстоит дело, например, с окончаниями существительных в косвенных падежах мн. числа, которые, как мы видели выше (§ VII-5), в разных конфигурациях, с разным соотношением старых и новых форм реализовались в разных регистрах письменного языка XVII в.

Первой книгой, изданной гражданским шрифтом, была «Геометрія славенскі семлемѣріе» (Геометрия 1708). Пропорция новых форм в этом сочинении составляет 65,6% и превосходит все то, что наблюдается в памятниках XVII в. (вне зависимости от регистра), равно как в деловых и бытовых текстах Петровской эпохи, не имеющих отношения к петровской культурной политике и потому характеризующихся регистровой преемственностью (см. подробнее: Живов 2004а, 319–322). При этом ни на что не похожей оказывается и статистическая конфигурация старых и новых флексий. В отличие от того, что наблюдалось в текстах разных регистров в предшествующую эпоху, в «Геометрии» у существительных м. рода о-склонения наиболее продвинутым в плане а-экспансии оказывается дат. мн. (100% новых флексий), затем идет местн. мн. с 90% новых флексий, тогда как наиболее консервативен тв. мн. (43% новых флексий). Это соотношение падежей свидетельствует не только о разрыве преемственности, но и о новом восприятии старых флексий: поскольку они наиболее наглядным образом отличаются от новых флексий, они рассматриваются как индикаторы лингвистической компетентности пишущего.

Еще более радикально устранение старых флексий в книге «О способах творящих водохождение рек свободное» (Буйе 1713), также относящейся к числу первых изданий гражданской печати. Новые флексии употребляются здесь в 93,38% случаев, так что старые флексии встречаются лишь окказионально. Статистические данные имеют следующий вид (Живов 2004а, 324):

| | | м. р. о-скл. | м. р. јо-скл. | ср. р. о-скл. | ср. р. јо-скл. | м. р. с-скл. | м. р. і-скл. | ж. р. і-скл. |
|----|---------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Д. | омъ/емъ | — | — | — | — | — | 2 | — |
| | амъ/амъ | 9 | 2 | 12 | 3 | — | — | 1 |
| М. | ехъ/ѣхъ | — | — | 2 | — | — | — | — |
| | ахъ/ахъ | 30 | 1 | 23 | 5 | — | — | 3 |

| | м. р. о-скл. | м. р. jo-скл. | ср. р. о-скл. | ср. р. jo-скл. | м. р. С-скл. | м. р. i-скл. | ж. р. i-скл. |
|------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ы/и | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Т. ами/ами | 31 | 1 | 5 | — | — | 1 | 2 |
| ми | — | — | — | — | — | 1 | 4 |

Можно вообще сказать, что старые флексии сохраняются только в периферийных «малых» классах (в *i*-склонении), тогда как в *о*-склонении они встречаются только по недосмотру. Приведу примеры старых форм: дат. мн.: *людѣмъ* (с. 12, 72), местн. мн.: *дѣлѣхъ* (предисл., с. 2), *мѣстѣхъ* (с. 4), тв. мн.: *порогі* (с. 95); *гвоздми* (с. 24 – однако *гвоздями*, с. 21); *вѣтви* (с. 9), *снастми* (с. 25), *вѣтми* (с. 28), *снастми* (с. 90).

Равным образом и в «Географии генеральной», которая готовилась, как мы знаем, отнюдь не переводчиками Посольского приказа, а людьми, воспитанными в старой книжной традиции, новые флексии встречаются в 80%. Особенно значимы характеристики «малых» классов. Им свойственна консервативность, которая не находит аналогии в деловых и бытовых текстах Петровской эпохи. Можно думать, что у данной группы создателей нового языка различаются самые принципы нормализации «больших» (существительные м. и ср. рода *о*-склонения) и «малых» (существительные м. и ж. рода *i*-склонения, существительные м. рода *С*-склонения) классов. Если для первых пропорция старых флексий составляет всего 10,58%, то для последних – 70,45% (Живов 2004а, 325–327). Такие параметры указывают на искусственную нормализацию. Только подобной нормализацией можно объяснить исключительную консервативность «малых» классов, никак не соответствующую параметрам ненормированных письменных текстов, и в этой перспективе той же нормализацией естественно объяснять и доминирующее употребление новых флексий в «больших» классах (у существительных м. и ср. рода *о*-склонения), также контрастирующее с ненормированным письменным узусом. Можно было бы предположить, что книжники Печатного двора, пытаясь сохранить те письменные навыки, которые представляются им освященными грамматической традицией, отыгрываются – в отличие от переводчика книги Буйе – на периферийных «малых» классах, смирившись с инновативным узусом в «больших» классах. Старые флексии в «малых» классах отмечаются в следующих формах: дат. мн.: *римляномъ*, с. 164; *звѣремъ*, с. 91, *людѣмъ*, с. 4, 91, *дождемъ*, с. 183; *вещемъ*, с. 43, *частемъ*, с. 57, 112, 115, 118 (bis), 191, *пропаستمъ*, с. 129; местн. мн.: *согдѣанѣхъ*, с. 88, *татарѣхъ*, с. 105; *звѣрехъ*, с. 5, *путехъ*, с. 21, *днѣхъ*, с. 167; *частехъ*, с. 2, 5, 27, 44, 59, (bis), 84, 85, 100, 102 (bis), 108, 119, 120, 121 (bis), 122, 126, 131, 136, 137, 138 (bis), 139 (bis), 142, 143, 147, 148, 149, 162, 177, *бранехъ*, с. 7, *вещехъ*, с. 45, *нощехъ*, с. 91; тв. мн.: *татары*, с. 107; *путми*, с. 16, 83, *каменми*, с. 180; *степенми*, с. 91 (bis – может трактоваться и как форма м. рода), *плоскостми*, с. 112, *частми*, с. 119, *пропастми*, с. 129, *трудностми*, с. 134, *сѣтми*, с. 144.

Эти примеры позволяют говорить о том, что становление «простого» языка Петровской эпохи как культурного феномена (конституировавшегося, в частности, изданиями гражданской печати на русском языке) вклю-

чает момент искусственного разрыва с предшествующими традициями и указывает на начало (в эмбриональной форме) нормализационных процессов, формировавших новые навыки письменного языка. Имел место разрыв с традицией, который, видимо, свидетельствует о том, что переводчики воспринимали издания гражданского шрифта как новое в культурном и лингвистическом отношении коммуникативное задание. Эта новизна побуждала их рассматривать традиционные варианты как неподходящие и в силу этого обращаться к тем составляющим лингвистического опыта, которые лежали вне традиции, прежде всего, можно предположить, к опыту разговорного употребления. Ясно, что вполне последовательно ориентироваться на этот опыт в выборе морфологических вариантов они не могли, хотя бы потому, что синтаксис создаваемых ими текстов не имел отношения к разговорному, но статистический сдвиг эта ориентация давала.

Труженики Посольского приказа не были, как мы уже видели, единственными агентами петровской культурной политики; у Петра были обширные просветительские планы и очень небольшой круг работников, способных хотя бы с грехом пополам эти планы воплощать. Поэтому Петр поручает перевод и издание избираемых им книг людям с разным культурным и языковым опытом. Он не мог не воспользоваться, в частности, услугами сотрудников московского Печатного двора, возглавлявшегося в то время Федором Поликарповым. У этих книжников были совсем иные исходные установки, знания и навыки, как в области филологии, так и в сфере культурно-идеологических представлений. Петровская секулярная культура была для них чужой и враждебной, петровские эксперименты в языковом строительстве воспринимались ими как неоправданные и деструктивные. Федор Поликарпов с неодобрением смотрел, как мы уже говорили (§ X-2), и на азбучную реформу Петра, полагая, что без исключенных Петром букв и надстрочных знаков «книгъ црковныхъ печатать нево³можно» (РГАДА, ф. 381, № 423, л. 43; см.: Живов 1986в), как невозможна без них в целом православная ученость и благочестие.

Еще более неприемлемы для этого круга были попытки отказаться от сложившихся навыков книжного письма в морфологии, синтаксисе и лексике. Именно на этой почве развивается конфликт вокруг перевода «Географии генеральной» Б. Варения, о котором говорилось выше. Привычной работой для справщиков Печатного двора было устранение морфологической вариативности при подготовке книг к изданию. В стандартных церковнославянских текстах, которые печатались в Московской типографии, морфологическая вариативность появлялась лишь окказионально, в качестве ошибок переписчика или наборщика того оригинала, с которого печатался текст. Поэтому варианты, отклоняющиеся от церковнославянской нормы, воспринимались справщиками именно как ошибки, подлежащие исправлению. Теперь перед ними стояла абсурдная в данной перспективе задача – отказаться от «правильных» вариантов в пользу «неправильных».

Те морфологические варианты, которые однозначно с противопоставлением регистров не соотносились (как, например, формы косвенных падежей существительного во мн. числе в отличие, скажем, от форм имперфекта), экстерминации могли не подвергаться, однако оставалось непонятным, что

с ними делать. Справщик привык заниматься справой, т. е. нормализационная установка была частью его профессионального подхода к тексту. Однако как править по определению «неправильный» текст, не могло не быть головоломной задачей. С одной стороны, многолетние навыки подталкивали исправлявшего перевод Софрония Лихуда вводить нормативные книжные формы вместо ненормативных (для стандартного церковнославянского) вариантов. Так, в частности, в род. ед. существительных склонения на согласный он правит *цѣкви* на *цѣкве*, *времени* на *времене*; в им. мн. о-склонения *острова* на *островы*; в им.-вин. ед. м. рода склонения прилагательных он устраняет окказионально появляющиеся окончания *-ой/-ей* (исправляет *цѣлой* на *цѣлый*, *третьей* на *третий*, *прямой* на *прямый*, *сѣлечной* на *сѣлечный*), в род. ед. ж. рода появляются замены *земной* на *земныя*, *особой* на *особыя*, *всякой* на *всякия* и т. д., устраняются формы второго родительного и второго местного – *от верхѣ* заменяется на *от верха*, *из бокѣ* на *из бока*, *въ пескѣ* на *въ пескъ* (Живов 1986б, 256–257).

С другой стороны, Софроний и его коллеги не могли не понимать, что они имеют дело не с традиционным книжным языком, а с новообразованием, к которому их прежние навыки неприменимы. Если этому новообразованию должна быть присуща какая-то норма (а справщик не может представить себе никак не регламентированный узус, поскольку это лишает его работу всякого смысла), то как-то от нормы традиционного книжного языка она должна отличаться. Поэтому в ряде случаев Софроний вводит ненормативные (в рамках традиционной нормы) варианты взамен нормативных. Так, в частности, в дат.-местн. ед. в мягкой разновидности а-склонения и о-склонения существительных *-и* заменяется на *-ѣ* (*земли* на *землѣ*, *мори* на *морѣ*, *корабли* на *кораблѣ*, *обществѣи* на *обществѣѣ*), в им.-вин. мн. ср. р. прилагательных в полной форме *-ая* заменяется на *-ыя*, в краткой форме *-а* на *-ы* (*сочиненаа* на *сочиненыя*, *малаа* на *малыя*, *общая* на *общия*, *подвышена* на *подвышены*, *неравна* на *неравны* и т. д.) (там же, 256–257).

В принципе, в такой разнонаправленной нормализации можно видеть эмбрион сформировавшейся позднее синтетической нормы, соединявшей морфологические варианты, распределенные ранее по разным регистрам. Однако некоторые исправления, сделанные Лихудом, противоречивы, он заменяет *а* на *ѣ* в одних случаях и *ѣ* на *а* в других. Например, в местн. мн. существительных о-склонения он заменяет *островѣх* на *островах*, *брезѣхъ* на *брегахъ*, но вместе с тем *мѣстахъ* на *мѣстѣхъ*; наиболее выразительна эта противоречивость в трактовке чередований заднеязычных со свистящими, ср., с одной стороны: *книзѣ* на *книгѣ*, *источницы* на *источники*, на *воздѣсѣ* на *на въздѣхѣ*, а с другой стороны: *въ книгѣ* на *въ книзѣ*, *брегѣ* на *брезѣ* (Живов 1986б, 256–257). Такая противоречивость свидетельствует о том, что единого плана (скажем, плана формирования синтетической нормы) у него не было. Лихуд сохранял нормализационную установку, но терялся в том, как нужно нормализацию проводить.

Таким образом, уже в Петровскую эпоху формирование нового секулярного языка сочеталось с поисками новой морфологической нормы, однако ни самой этой нормы, ни путей ее выработки найдено не было. Употребление морфологических вариантов в новом идиоме оставалось неоднород-

ным, неопределенность пути ощущалась здесь в существенно большей степени, чем в лексике и синтаксисе, поскольку его выбор никак не диктовался ни европейским образцом, ни коммуникативным заданием новых культурных текстов. Та вариативность, которая ранее была упорядочена фрагментацией узуса по разным регистрам, теперь оказывается неупорядоченной в рамках единого нефрагментированного узуса, того самого «петровского пула», о котором мы говорили выше.

Хотя разрыв с традициями, обусловленный новой культурной политикой, характеризовал все те тексты Петровской эпохи, которые эту культурную политику реализовали, он мог в разной мере затрагивать разные конфигурации морфологических вариантов. Безусловным было отталкивание лишь в области признаков книжности; в этом случае оно как раз и символизировало появление нового «гражданского наречия», противопоставленного старому книжному языку. Вне этой сферы преемственность могла сохраняться. Об этой возможности однозначно свидетельствуют все те же правленные тексты, хотя реализоваться в них она может по-разному.

В «Истории Петра Великого» Феофана Прокоповича морфологическая вариативность, не связанная с признаками книжности, остается не затронутой редакторской работой. Материалы рассматриваемой рукописи позволяют отнести к вариациям данного типа *-омъ/-амъ* в дат. мн., *-ы/-ами* в тв. мн., *-ѣхъ/-ахъ* в местн. мн. существительных, *-ый/-ой* в им.-вин. ед. м. рода, *-аго/-ого* в род.-вин. ед. м. и ср. рода, *-ья/-ой* в род. ед. ж. рода, *-иу/-ие/-ья/-ая* в им.-вин. мн. (вне согласования по роду) в словоизменении прилагательных. В неизменном виде сохраняется и вариативность лексем с приставками *раз-* и *роз-*, полногласных и неполногласных форм и т. д. (Живов 1988в, 16–24). В «Библиотеке» Аполлодора и в «Географии генеральной» дело обстоит несколько иным образом. В «Библиотеке» Аполлодора вариативность данного типа существенно ограничена. Исходный текст нормализован в отношении ряда данных признаков, причем характер нормализации в большой степени соответствует здесь предписаниям нормативных грамматик традиционного книжного языка (например, грамматики Смотрицкого в издании 1721 г.). Так, в рассматриваемой рукописи довольно последовательно выдерживаются окончания *-ый/-ий* в им.-вин. ед. м. рода, *-аго/-яго* в род.-вин. ед. м. и ср. рода, *-ья/-ия* в род. ед. ж. рода. Поскольку данные окончания последовательно употребляются в тексте, который декларирован в качестве сочинения на «общем российском диалекте» и который по ряду других признаков, релевантных для противопоставления книжного и некнижного языков, правится в сторону от традиционного книжного языка, очевидно, что окончания *-ый*, *-аго*, *-ья* не воспринимаются как специфические признаки этого языка. Их употребление определяется не выбором языкового кода, а – вне зависимости от этого выбора – орфографической нормой письменного (печатного) текста.

Такая же в общем картина наблюдается и в «Географии генеральной», хотя и в ней, как мы видели, предпринимаются попытки нормализации при том, что принципы нормализации остаются неясными и сама нормализация имеет разнонаправленный характер. Несвязанность подобной нормализации с проблемой изменения языка следует и из того факта, что она может

проводиться в текстах, изначально написанных на «простом» языке и даже предназначенных быть образцами этого языка. Нормализующая правка этого рода имеется, например, в наборной рукописи «Юности честного зерцала» (РГАДА, ф. 381, № 1021). На эту книгу могут ссылаться как на образец стандартного употребления гражданского шрифта и орфографической практики новопечатных книг (ср. такую ссылку у Федора Поликарпова: РГАДА, ф. 201, № 6, л. 35об.; Бабаева 2000, 149). О характере орфографического нормирования в данной рукописи говорят такие замены, как *другова* на *другаго* 14об., *ево* на *его* 17об. (bis), *в страхе* на *въ страсть* 21об. (то же – 23об.), *должны* на *должни* в им. мн. (л. 1). Как и в других текстах, отредактированных типографскими справщиками, проблема нормализации решается здесь преимущественно закреплением традиционных книжных вариантов.

Итак, если в отношении к признакам книжности правка Прокоповича, типографских справщиков и Лихуда обнаруживает почти полное сходство, то в отношении тех языковых черт, которые не соотносились с оппозицией языковых кодов, разные авторы поступают по-разному. Принципиальное значение имеют, однако, не указанные различия, а то, что самый объем данной сферы у Прокоповича, Лихуда и типографских справщиков в значительной степени совпадает: это склонение существительных и склонение прилагательных. Прокопович сохраняет имеющую здесь место вариативность, а Лихуд пытается ее устранить. Как можно думать, установка Лихуда обусловлена тем, что «География генеральная» готовится к набору; нормализующая правка, которую вносит Лихуд, ближайшим образом напоминает обычную деятельность типографского справщика, устраняющего ошибки в писцовой копии. Разница лишь в том, что справщики обычно работают с традиционными книжными текстами, а Лихуд исправляет текст на «простом» языке. Однако именно для сферы черт, не соотносящихся с оппозицией языковых кодов, это различие оказывается несущественным и создается возможность прямой преемственности в характере нормализации (что мы и наблюдаем в «Библиотеке» Аполлодора или в «Юности честном зерцале»).

Как бы ни обстояло дело с отношением разных авторов к разным конфигурациям морфологических вариантов, общий результат состоит в том, что узус Петровской эпохи оказывается в данном отношении хаотичным, смешивающим старые традиции и не дающим ясного ответа на вопрос о том, как будет формироваться традиция новая, что окажется приемлемым, а что неприемлемым для нового языкового стандарта. Собственно, для этого периода и нельзя говорить о стандарте, а только о разрушении старой регистровой дистрибуции, которое оказывается предпосылкой для возникновения данного стандарта в будущем.

В этом плане особенно показательны формы прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа. В XVII в. в этой сфере имело место достаточно четкое распределение конфигураций вариантов по регистрам. В стандартном церковнославянском употребляется традиционный книжный набор флексий, согласованных по роду и падежу: флексия *-ии* в им. м. рода, флексия *-ия/-ья* в вин. м. рода и им.-вин. ж. рода, флексия *-ая/-ья* в им.-вин. ср. рода; этот набор нормативен и, поскольку определение «правильной» флексии регулируется простыми правилами, воспроизводится без существенных вариаций.

В гибридном регистре употребляются те же флексии плюс «безродовая» флексия *-ие/-ые*, появляющаяся в результате интерференции с некнижными регистрами и постепенно – на протяжении XVII в. – упрочивающая свое положение. Это не единственное отличие гибридной конфигурации от стандартной книжной. Для гибридного регистра согласование по роду и падежу оказывается факультативным; если флексии *-ии/-ьи* и *-ая/-яя* в подавляющем большинстве случаев употребляются согласованно, то окончание *-ия/-ья* имеет тенденцию употребляться без согласования по роду и падежу, становясь тем самым второй «безродовой» флексией; вариативность этих флексий присуща всем гибридным текстам, хотя размеры колебаний в разных текстах различны. Очевидно, в силу интерференции с гибридным регистром в конфигурации бытового регистра присутствуют два варианта: флексии *-ие/-ые* и *-ия/-ья*; они обе употребляются несогласованно. Отличие гибридного регистра от бытового состоит в употреблении «родовых» флексий *-ии/-ьи* и *-ая/-яя*; в бытовых текстах они встречаются лишь в виде исключений и их появление мотивировано как феномен чужого слова. В деловом регистре основным вариантом является *-ие/-ые*, тогда как появление в некоторых памятниках флексии *-ия/-ья* окказионально и связано с влиянием книжной письменности; флексия *-ие/-ые* имеет в деловом регистре нормативный характер (см. подробнее: Живов 2004а, 408–451).

Обобщая наши наблюдения над факторами, определяющими разнообразное употребление прилагательных в им.-вин. падеже мн. числа в разных регистрах письменного языка XVII в., можно представить их в виде следующей таблицы:

| | Наличие согласовательной интенции | Отсутствие согласовательной интенции |
|--|---|--|
| Наличие нормирующей установки | Стандартный книжный регистр | Некнижный деловой регистр |
| Отсутствие нормирующей установки | Гибридный книжный регистр | Некнижный бытовой регистр |

В Петровскую эпоху в разных текстах на «простом» языке обнаруживаются разные конфигурации. В некоторых из них употребление сходствует с характерным для делового регистра, однако с определенными отступлениями, не укладывающимися в деловую норму; например, в книге Буйе господствует безродовое окончание *-ие/-ые*, встречающееся в 94% случаев, однако в безродовом употреблении встречается и окончание *-ия/-ья*. В других воспроизведена дистрибуция, характерная для гибридного узуса. Таковы, например, «Библиотека» Аполлодора в переводе Барсова или «География

генеральная» Б. Варения. Так, в последней безродовая флексия *-ие/-ые* встречается в 48% случаев, безродовая флексия *-ия/-ья* в 34% случаев, однако встречаются и согласованные флексии *-ии/-ьи* (в 6% случаев) и *-ая/-ья* (в 12% случаев). Составители этих текстов явно не готовы полностью расстаться с согласовательным принципом в употреблении окончаний прилагательных, они сохраняют некоторую, хотя и весьма ограниченную преемственность с книжным языком предшествующей эпохи. В текстах третьего рода конфигурация морфологических вариантов ближайшим образом напоминает ту, которая свойственна бытовой письменности. Например, в книге «Геометрія славенскї землемѣріе» 1708 г. или в «Книге мирозрения» Гюйгенса (Гюйгенс 1724) флексии *-ие/-ые* и *-ия/-ья* употребляются совершенно безразлично и согласовательная интенция отсутствует: в «Геометрии» *-ия/-ья* употреблено в 69% случаев, *-ие/-ые* – в 30% случаев; в «Книге мирозрения» соотношение несколько иное: *-ия/-ья* употреблено в 47% случаев, *-ие/-ые* – в 50% случаев; недостающие проценты приходятся на окказиональные употребления флексий *-ии/-ьи* и *-ая/-ья* (подробный анализ см.: Живов 2004а, 451–463).

Можно полагать, что авторы конструируют свой узус на экспериментальной основе, приспособливая царящий вокруг хаос к своим индивидуальным вкусам. «Простой» язык допускает широкую вариативность и сам по себе существует в разнообразных вариантах. Можно было бы сказать, что в Петровскую эпоху функционирует не «простой» язык, но «простые» языки. Это, однако же, не вполне правомерное утверждение, поскольку эти разновидности объединены отсутствием признаков книжности, что указывает на общую установку и относительное единство всех этих вариантов. Именно поэтому мне представляется предпочтительным говорить о «петровском пуле». Это то разнообразие, из которого впоследствии конструируется норма нового языкового стандарта.

7. Статус «гражданского наречия»

Что представляло собой «гражданское наречие» в социолингвистическом плане, насколько правомерно говорить о нем как о русском литературном языке нового типа, как это нередко делается в работах последнего времени (ср., например: Хютль-Фольтер 1987а)? Литературный язык, т. е. универсальный языковой стандарт, должен представлять собой, согласно дефиниции, восходящей к Пражским тезисам (Вахек 1964), идиом, характеризующийся полифункциональностью, общезначимостью, кодифицированностью и дифференциацией стилистических средств (см. выше, Введение-I; лучший и практически единственный очерк развития этих качеств в истории русского языка см. в работе: Кайперт 1999; здесь можно найти и литературу вопроса). Язык новой секулярной культуры, созданный в результате петровских реформ, явно этими свойствами не обладал и в этом плане кардинальным образом отличался от французского, английского или итальянского языка той же эпохи, выработавших языковой стандарт, удовлетворявший данным условиям. Хотя Петр в своем языковом строительстве ориентировался на

западноевропейские модели, полученный результат был совсем не сходен со своим образцом (как, впрочем, и в случае большинства других инноваций Петра).

Действительно, этот язык замышлялся и представлял собой «гражданское наречие», т. е. язык, ограниченный в своем употреблении светской сферой, тогда как в сфере духовной продолжал господствовать старый книжный (церковнославянский) язык, и никаких попыток реформировать эту ситуацию не предпринималось. Нет оснований думать, что у Петра хотя бы потенциально присутствовали идеи распространения «простого» языка на церковную сферу по образцу, например, протестантских стран Европы. Проповеди в эпоху Петра становятся важным элементом государственного просвещения, прежде всего политического (имею в виду торжественные проповеди на различные государственные празднества, прежде всего военные победы, равно как и такие произведения, как «Слово о власти и чести царской» Феофана Прокоповича). Тем не менее они продолжают произноситься по-церковнославянски (правда, нередко на его гибридном варианте: см. об эволюции гомилетического языка Прокоповича: Кутина 1981; Кутина 1982; Живов 1985а; Живов 1996, 376–383), и никаких нареканий от царя эта ситуация не вызывает. При Петре начинает работать комиссия по исправлению библейского перевода; в указе Петра от 4 ноября 1712 г. говорилось, что перевод следует «согласить <...> в главах и стихах, и в речах против греческой Библии, грамматическим чином», и это важное занятие поручается Софронию Лихуду, Феофилакту Лопатинскому, Федору Поликарпову и другим справщикам московской типографии под верховным руководством Стефана Яворского; «грамматический чин» отсылал к традициям книжной sprawy XVII в., направленной на совершенствование церковнославянского языка и никакого подрыва этого языка не предусматривающей (о библейской справе XVIII в. см.: Бобрик 1988; Бобрик 1990). Язык религиозной культуры никакому реформированию в Петровскую эпоху не подвергался – ни в богослужении, ни в проповеди, ни в изложении Св. Писания⁵⁰⁷.

Одно это обстоятельство лишало новосозданный идиом полифункциональности: он был ограничен пределами секулярной культуры. И азбучная реформа Петра, и его неоднократно повторяемые требования писать «просто» имеют в виду одну и ту же цель – дать новой культуре новые средства выражения. В результате этой языковой политики оппозиция языков – традиционного книжного (церковнославянского) и «простого» (русского) – связывается с оппозицией культур. В условиях культурного конфликта церковнославянский и русский язык оказываются при этом антагонистически

⁵⁰⁷ Возможно, что у Петра не было ясного представления о том, понятен или непонятен церковнославянский язык в традиционной сфере своего применения. Как говорилось выше, Феофан Прокопович в начальный период своей деятельности полагал, что русские понимают славянский язык Св. Писания и поэтому оно не нуждается в переводе; в этом отношении он противопоставлял славянский и латынь (см. выше, § IX-2). Эту точку зрения могли разделять с теми или иными оговорками и другие украинские духовные авторы. Петр, читавший церковнославянские тексты и прислушивавшийся к украинским экспертам, мог придерживаться сходных взглядов.

противопоставленными, они больше не дополняют друг друга, но вступают в спор о верховенстве. В этом конфликте происходит и переоценка церковнославянского языка: если новый «простой» язык определяется как гражданский, то старый книжный язык с неизбежностью принимает атрибут церковного. Не случайно именно в этот период в первый раз появляется само словосочетание «церковный славянский язык» – ранее «славенский» язык никто так не называл. Действительно, Гавриил Бужинский, вполне усвоивший петровскую языковую программу, в письме к Томасу Консетту, британскому капеллану в Петербурге, написанном в мае 1726 г., превозносит своего адресата за то, что тот – в отличие от других иностранцев – владеет не только разговорным языком (*vernaculum nostrum*), но и «церковным славянским стилем» (*Ecclesiasticum Slavonicum Stylum*) (Крейкрафт 1982, 369).

Итак, в рамках петровской культурной политики церковнославянский язык начинает восприниматься как язык специфически духовный, клерикальный, противопоставленный русскому литературному языку как языку новой светской образованности. Эта смена оценок отчетливее всего заметна в изменении лингвистических взглядов Феофана Прокоповича, с 1710-х годов главного помощника Петра в вопросах религии и церкви. Если в киевский период Прокопович считал славянский понятным языком, обладающим достоинством культурного языка, то, переехав в Петербург, Прокопович начинает смотреть на него как на непонятный клерикальный язык. Он переносит на него те характеристики, которые Петр и его приверженцы приписывали всей традиционной религиозной культуре в целом: церковнославянский оказывается языком непросвещенным и препятствующим просвещению, языком ложного знания, стоящим на пути знания подлинного, языком непонятным и мешающим пониманию. Такая оценка церковнославянского подразумевается (хотя и не высказывается эксплицитно) в «Духовном Регламенте», написанном Феофаном Прокоповичем в 1718 г. и отредактированном Петром I. Говоря здесь о необходимости «имети некия краткия и простым человеком уразумительныя и ясныя книжицы, в которыхъ заключится все, что к народному наставлению довольно есть», Феофан заявляет, что имеющиеся церковнославянские катехизические сочинения непонятны и неудобны для обучения «простого народа». Он пишет: «Книга исповедания православнаго, немалая есть, и для того в памяти простых человек не удобъ вмещаема: и писано не просторечно, и для того простым не вельми внятна. Також и книги великих учителей: Златоустого, Феофилакта, и прочих писаны суть еллинскимъ языкомъ, и в том токмо внятны суть: а перевод ихъ славенский сталъ теменъ, и с трудностию разумеется отъ человекъ и обученныхъ, а простымъ невежамъ отнюдъ непостижаемый есть» (Верховской, II, 37 1-ой пагинации/Духовный Регламент 1904, 25–26). Та же мысль и в предисловии к «Первому учению отрокомъ». Феофан заявляет здесь, что «настала нѣжда общаѧ сочинити книжицѣ съ толкованіемъ Десятословіѧ законнагѧ, ѿ Бога преданнагѧ. Но и сѣ не многѧ еще пользовало. ибо въ Россіи были таковыѧ книжицы, но понеже славенскимъ высокимъ діалектомъ, а не просторѣчїемъ написаны, да и не учено книжицамъ тымъ отрокѣмъ: тогѧ ради лишались доселѣ отроцы подобающагѧ себѣ воспитаніѧ» (Феофан Прокопович 1790, л. 6). Следует иметь в виду, что в приведенных

цитатах речь идет о широко распространенных изданиях, отражавших стандартную практику церковнославянского языка второй половины XVII – начала XVIII в. (см. подробнее: Живов 1996, 128–130).

Таким образом, Феофан объявляет непонятным и темным обычный книжный язык. Этот взгляд был явно полемически направлен против традиционных воззрений; традиционный взгляд на церковнославянский язык как на естественный язык образованности присоединялся здесь Феофаном ко всему тому комплексу «непросвещенных» и «клерикальных» воззрений, который приписывался противникам петровской церковной политики. Хотя по своей форме заявления Феофана мало чем отличаются от обычных призывов к «простоте» языка (см. § IX-3), однако они предполагают куда более радикальное отвержение традиционной лингвистической идеологии, чем типичные высказывания такого рода. В них осуждается та языковая традиция, которая сама претендовала на «простоту», и сами категории понятности и доступности получают не свойственное им полемическое содержание.

Со всей отчетливостью эта полемическая направленность установки на «понятность» обнаруживается в мнении Феофана об исправлении библейского перевода от 10 августа 1736 г.: «Ветхое Славенского языка грамматическое учение весьма есть грубое, как в наречиях многих, так и в складе речей. Наречия обретаются обетшалыя, которые довно уже износились и стали онучами, да и чтущим неудоборазуменныя, например: елма, колма, вресноту, убо, непшую, потщаваю, плищ, щуди, голимый и проч., а склады бывають стропотные, наипаче эллинизмы, то есть наречия не [*далее пропущено по?*] природе славенского, но по природе эллинского языка сопрягаемая, например: учуся грамоте, вместо грамоты, понеже еллинское σπουδῶν, учуся, сопрягается с дательным падежем; також и следующие: прииде, во еже освятити, а для чего бы не тако: прииде освятити, а во еже лишнее и темность наводит; надеюся быти прощению, а не лучше ли: надеюся, яко будет прощение и проч. и проч.; а люде [*так в изд.*] не искусный и силы диалектов неразуумеющий, нашед в лексиконе таковыя стропотности и гнилости, помышляют, что они нашли премудрость и оных употребляют, для удивления народного, а своего смеха достойнаго чванства сами безумными книгочии» (ОДДС, III, прилож., XXIII–XXVI).

В этом мнении Феофана дается оценка той редакции библейского перевода, которая была сделана в Москве по указу Петра 1712 г. Это мнение, впрочем, высказано уже в послепетровское время, когда Феофан одержал победу над своими противниками-традиционалистами и стремился искоренить оставшиеся плоды их деятельности. В это время он, как, видимо, и Петр в последние годы своего царствования, отказывается от того компромисса, при котором церковная культура оставалась традиционной, сосуществуя с господствующей и доминирующей секулярной культурой, насаждаемой государством. Какая радикализация языковой политики могла стать следствием этой смены позиций, насколько глубокую реформу церковнославянского языка (или даже отказ от него) она предполагала, представляется неясным, поскольку в том же 1736 г. Феофан умирает и в церковной среде преемников его лингвистического реформизма не остается. Прочитирован-

ные высказывания показывают лишь, в какую сторону мог развиваться тот конфликт позиций и идеологий, которым ознаменованы последние годы правления Петра.

Возвращаясь в Петровскую эпоху, мы можем констатировать, что языковое поведение непосредственно связывается с культурно-политическими программами, и эта связь определяет как новый статус традиционного книжного языка, так и характер формирования русского литературного языка нового типа. Секуляризация выступает как движущий момент языковой динамики, и этим создается радикальное отличие языковой ситуации в «европеизирующейся» России от языковой ситуации в Западной Европе. Новому литературному языку оказывается заданной культурная избирательность, противоречащая его претензиям на полифункциональность; это не может не привести в дальнейшем к конфликту двух несовместимых свойств – полифункциональности и «гражданскости». Вместе с тем секулярная доминанта столь определенно связывает новый язык с набором новых культурных ценностей, что придает ему символическую значимость, подавляющую другие присущие полифункциональному языку характеристики, прежде всего, универсальность, т. е. доступность для всего образованного социума. В результате лингвистическое детище Петра попадает в исключительно сложный и насыщенный противоречиями культурный контекст, имеющий важное значение для всего его последующего развития.

Как можно видеть, «гражданское наречие» не обладало и общезначимостью. Хотя царь прилагал усилия к тому, чтобы новый язык получил распространение в обществе (именно так можно рассматривать обсуждавшиеся выше указания пользоваться в издаваемой секулярной литературе «простым русским языком»), эта работа заметным успехом не увенчалась. Никаких институций, утверждавших новый языковой стандарт, при жизни Петра создано не было: ни школ, в которых преподавали бы этот язык, ни академий или ученых собраний, которые занимались бы его совершенствованием. Издававшаяся на этом языке литература читалась лишь небольшим кругом европеизирующейся элиты и даже у нее большим спросом не пользовалась. Число лиц, активно владевших этим языком, измерялось хорошо если десятками.

Новый язык оставался некодифицированным. Издававшиеся в Петровскую эпоху грамматики были грамматиками церковнославянского языка (грамматика Ф. Максимова 1723 г., издание грамматики Смотрицкого, осуществленное Ф. Поликарповым в 1721 г.), тогда как первые опыты описания нецерковнославянского языка (грамматики Лудольфа, Глюка, Сойе, Афанасьева – см.: Успенский 1992; Успенский, III, 437–627) для русской публики не предназначались. Хотя проложенные в них пути кодификации русского языка были затем восприняты и развиты петербургскими академическими филологами, при Петре никаких кодификационных попыток не предпринималось.

Хотя некоторые исследователи (прежде всего В. В. Виноградов) без всяких оговорок пишут о стилистических характеристиках различных текстов Петровской эпохи, ни о какой стилистической дифференциации в новосозданном идиоме говорить не приходится. Для нее просто не могло быть места

в «петровском пуле», образовавшемся в результате разрушения существовавших прежде связей между коммуникативным заданием текста и отбором употреблявшихся в нем языковых элементов; никакого нового упорядочения этих связей в рассматриваемый период даже не намечалось (а именно такое упорядочение есть первый и необходимый шаг к стилистической дифференциации).

Тем не менее возникший в результате петровского языкового строительства идиом был определенным шагом к созданию полифункционального языкового стандарта. Как и многие другие петровские творения, он был залогом нового в силу того, что сокрушал старое. В данном случае разрушенным оказывался тот фрагментированный по регистрам узус, в рамках которого разным сферам употребления (разным коммуникативным функциям) соответствовал разный язык. Сформировавшийся при Петре идиом («петровский пул») объединял языковые элементы, ранее соотносившиеся с разными сферами употребления, он не был привязан ни к какой письменной традиции и вследствие этого обладал потенциалом полифункциональности.

8. Понятность «гражданского наречия» и роль заимствований

Новый литературный язык, создававшийся в соответствии с петровской культурной политикой, должен был противостоять традиционному как понятный непонятному; в то же время он выступал как «гражданское наречие», т. е. как язык секулярной культуры, превращая тем самым традиционный книжный язык в средство выражения культуры клерикальной. Это означало, что создававшийся при Петре литературный язык нового типа не мыслился как полифункциональный. Он выступал не только как средство выражения новой культуры, но и как ее символическое воплощение. Данная семиотическая функция нового литературного языка могла вступать в противоречие с тем требованием понятности и доступности, которое выдвигалось в качестве основной причины его создания. Это противоречие с особой выразительностью проявилось в широком употреблении неосвоенных или малоосвоенных заимствований в текстах петровского времени, написанных на новом «гражданском наречии».

В чем должна была выражаться европейская натура нового литературного языка, не было вполне ясно его устроителям, и решение этого вопроса заняло практически все XVIII столетие. Простейший ответ давал лексический уровень, и именно этим простым путем шли авторы Петровской эпохи. Он заключался в широком употреблении заимствований, часто неассимилированных и в большинстве случаев коммуникативно избыточных. Заимствования из западноевропейских языков усваиваются в это время в чрезвычайном количестве, история их усвоения была предметом многочисленных исследований (см.: Христиани 1906; Смирнов 1910; Биржакова, Войнова, Кутина 1972; Оттен 1985; Крейкрафт 2004). Процесс этот настолько интенсивен, что часто именно он рассматривается как основная черта языкового развития данного периода. Чаще всего употребление заимствований обус-

ловлено не потребностями в сообщении новой информации, а маркировкой культурной позиции пишущего (говорящего).

Заимствования служат символами новой культуры. С этой культурой формируемый таким образом литературный язык разделяет и ее европейзирующие установки, и ее полемическую направленность в отношении к предшествующей культурной и языковой традиции. Такой путь не уникален в европейском языковом строительстве данного периода, вполне отчетливо он прослеживается, например, в истории немецкого языка XVII – начала XVIII в., заимствования из французского широко распространяются здесь в текстах разных жанров, прежде всего в галантной поэзии, но отчасти и в романе, и в нарождающейся журналистике. Точно так же, как в России, они выражают прежде всего новую культурную ориентацию, ориентацию на господствующую в Европе французскую культуру, и их появление лишь в малой степени обусловлено необходимостью обозначить новые понятия или вещи; наблюдаются здесь и характерные внутритекстовые глоссы, например, в переводах Мартина Опица и в особенности у Ганса Мошероша (ср.: Хенне 1966, 116–117). Русское языковое строительство развивается, видимо, не без оглядки на этот прецедент.

Однако уже в Германии XVII в. такое решение воспринимается как неудовлетворительное и вызывает пуристическую реакцию (находящую обоснование, в частности, в трудах Ю. Г. Шоттеля или Ф. Цезена⁵⁰⁸). Побудительные мотивы этой реакции достаточно очевидны, один из них имеет более поверхностный, а другой – более глубокий характер. Первый определяется культурной ориентацией на Францию, законодательницу хорошего вкуса в континентальной Европе. Подражая французам, нужно было стать столь же ревностными пуристами, как и сами французы, и расправиться с теми самыми заимствованиями из французского, которыми щеголяли офранцузившиеся петиметры. Немецкий пуризм перекликается с французским и, в свою очередь, служит, видимо, одним из проводников французской лингвистической моды в европеизирующуюся Россию. Второй мотив вытекает из задач формирования национального литературного языка. Общеобязательный языковой стандарт символизировал власть абсолютистского государства, и заимствования противоречили этой символической функции, поскольку они воплощали обращение к внешнему авторитету и тем самым нарушали абсолютистскую парадигму. В силу этого попытки решения проблемы «европейского» литературного языка за счет заимствований были обречены на неудачу и скоротечны⁵⁰⁹.

⁵⁰⁸ Было бы любопытно выяснить, знал ли что-нибудь об орфографических и лексикологических экспериментах фон Цезена В. К. Тредиаковский или напрашивающиеся аналогии его деятельности в зрелый период с деятельностью немецкого автора объясняются сходством лингвистических и культурных задач. Грамматические сочинения Шоттеля повлияли на И.-В. Пауса, а через его посредство и на все дальнейшее развитие русской грамматической мысли.

⁵⁰⁹ Стоит оговориться, что русская культурно-языковая ситуация этого периода обнаруживает некоторые сходства с немецкой, но отнюдь не повторяет ее. Достаточно указать, что одним из основных источников нового немецкого языкового стандарта был

Широкое усвоение заимствований в Петровскую эпоху практически повсеместно связывается с интенсивным развитием в различных областях науки, хозяйства, государственной и военной организации, культуры; создается впечатление, что лексические заимствования Петровской эпохи были по большей части мотивированы заимствованием новых вещей и понятий. Этот прагматический фактор безусловно играл определенную роль в процессе заимствования, однако он не был единственным и, возможно, был не самым важным. Как уже говорилось, заимствования выступали прежде всего как показатель новой культурной ориентации, т. е. выполняли в первую очередь не прагматическую, а семиотическую функцию. Их употребление свидетельствовало о причастности новой петровской культуре, об усвоении новой системы ценностей и вместе с тем об отказе от традиционных представлений. Интенсивность употребления заимствованной лексики была обусловлена именно этой ее ролью, тем, что слова приходили не вслед за вещами и понятиями, а опережая их или не соотносясь с ними.

С полной отчетливостью эта семиотическая функция заимствований проявляется в тех случаях, когда заимствования сопровождаются в тексте глоссой, дающей эквивалент заимствованной лексемы из привычного для читателя словаря. Так, например, в Объявлении Сенату от 13 июня 1718 г. Петр пишет: «Но однакож, дабы не погрешить в том, того ради прошу вас, дабы истинною сие дело вершили, чему достойно, не флатируя (или не похлебуя) мне...» (Устрялов, VI, 516). Очевидно, что употребление заимствования (*флатировать*), вряд ли привычному большинству сенаторов, наряду с его точным русским эквивалентом (*похлѣбить*), не обусловлено никакой коммуникативной необходимостью, но выступает как условный признак петровского европеизма. Подобная же практика, имеющая то же самое семиотическое задание, свойственна и сподвижникам Петра (ср., например, у Прокоповича в «Правде воли монаршей»: *презерватива, или предохранительное врачество, резонами или доводами, резоны или доводы, экземпли или примѣры* и т. д. – ПСЗ, VII, № 4870, 606, 607, 634) и может быть выделена вообще как характерная черта той «гражданской» литературы, которую насыщал Петр (ср.: Василевская 1967; Биржакова, Войнова, Кутина 1972, 63; ср.

Лютеровский перевод Библии; к нему постоянно обращались авторы, занятые проблемами языкового строительства, и в XVII, и в XVIII столетии (преимущественно, понятно, работавшие в протестантских княжествах Германии). Этот источник связывал новый языковой стандарт с национальной традицией и, не ограничивая значимости этого стандарта как символа нового просвещения, создавал для него предысторию в национальной традиции. В России никакого подобного источника не было (на что в свое время указывал М. В. Ломоносов в «Рассуждении о пользе книг церковных», ср.: «... как Немецкой народ стал священныя книги читать и службу слушать на своем языке; тогда богатство его умножилось и произошли искусные писатели» – Ломоносов IV, 226/VII², 588; ср.: Кайперт 1991; Пиккио 1992, 144). Славянская Библия воспринималась реформаторами письменного языка как часть отвергаемой «неевропейской» традиции. Поэтому культурный разлом, символизировавшийся новым стандартом, был существенно более глубоким и создавал более сложные проблемы в устройстве этого стандарта (ср. еще о значении немецкого образца, Лютеровской Библии и появлении концепта «церковных книг»: Унбегаун 1973; Кайперт 1994; Кайперт 1996).

еще многочисленные примеры подобных глосс в словаре заимствований – под рубрикой «глоссы» – в последнем из указанных исследований: там же, 101–170).

Особенно многочисленны подобные глоссы в законодательных памятниках Петровской эпохи, и это может быть поставлено в прямую связь с тем, что данные памятники играют роль не только юридического документа, но и в неменьшей степени дидактического сочинения (ср.: Морозов 1880, 254–255; Живов 2002б, 270–272). Употребление глосс в памятниках петровского законодательства выполняет ту же дидактическую функцию, что и эти памятники в целом. Заимствование и глоссы к нему как бы воплощают столкновение старого и нового государственного порядка и служат руководством к правильному гражданскому поведению. По существу они создают нормативный словарь нового государственного дельца, самую свою речь обнаруживающего приятие новых политических представлений. Глоссы однозначно указывают на совмещение этой символической функции заимствований с их коммуникативной избыточностью. Приведу примеры из «Генерального Регламента или Устава» 1720 г. (ПСЗ, VI, № 3534, 141–160): *вместо Генеральной инструкции (наказа), дирекцию (или управление), о ваканциях (или упалых местах), реляции (отписки), квитанцию (или росписку) книгу иметь, генеральные формуляры (образцовые письма), акциденции или доходы, о ландкартах или чертежах Государевых, рапорт (или доношение)* и т. д. Показательно, что к «Генеральному Регламенту» приложено «Толкование иностранных речей», которое выступает в качестве своего рода инструкции по речевому поведению для нового государственного человека.

Внутритекстовые глоссы свидетельствуют о процессе переименования, при котором старые вещи получают новые имена (ср.: Биржакова, Войнова, Кутина 1972, 289–290). Культурная значимость такого процесса очевидна: строительство новой культуры отражается здесь как целенаправленная мифотворческая деятельность, символически расправляющаяся со старым и столь же символически насаждающая новое. Как и в других аналогичных ситуациях, новые имена являются знаками нового универсума, а само переименование обнаруживает непреходящую актуальность того архаического слоя сознания, в котором мифотворчество обнаруживается прежде всего в создании новых имен: связь между именем и денотатом воспринимается как неконвенциональная, так что новое имя преобразует старую вещь и включает ее в новый социально-космический порядок.

Итак, заимствования выполняли прежде всего семиотическую функцию, что с наибольшей ясностью проявляется в глоссах. Глоссирование заимствований не решает, однако, проблемы понятности, поскольку при всей своей интенсивности оно имеет окказиональный характер и множество новых заимствований остается без пояснения. Широкое употребление заимствований делает тексты на новом гражданском языке малопонятными для существенной части той аудитории, к которой они обращены. Ситуации непонимания, вызванные употреблением заимствований и приводящие к анекдотическим результатам, описаны в современных источниках (см.: Печкарский, ИА, II, 53; Татищев 1990, 227–230; Обнорский и Бархударов, II, 2,

90–91). Один из наиболее красноречивых примеров можно найти в письме В. Н. Татищева В. К. Тредиаковскому 1736 г. Здесь говорится:

Во употреблении иноязычных слов наипаче всех виден был генерал-майор Лука Чириков, которой прежде был генерал-адъютант при генерал-фельтмаршале графе Шереметеве, а потом оберштер-крыгскамисар. Человек был умной, да страстию любопытствия побежден. И хотя он никакого языка чужаго совершенно не знал, да многие иноязычные слова часто же некстати и не в той силе, в которой они точно употребляются, клал, как сочиненной им устав камисариатской свидетельствует, однакож вскоре по издании оного, как никто всех слов точно разуместь не мог, принужден он был все те слова толковать, а иные выкидывать или переменять. Он же в 1711-м году в марте месяце прислал указ, чтоб послать капитана и 120 человек драгун на реку Днестр и стать ему ниже Каменца, а выше Конец-поля в авантажном месте. Оной капитан пришед на Днестр, спрашивал об оном городе, понеже в польском «место» значит «город», но как ему никто сказать не мог, то он более 60 миль по Днестру шед до пустого оного Конец-поля и не нашед, паки к Каменцу, поморя более половины лошадей, поворотился, и писал, что такого города не нашел. А междо тем татара, без вести в тех местах переправясь, пакости поделали, ибо все надеялись, что драгуны на Днестр посланы. Того ж году на реке Прут в июне месяце отдал он у пороля приказ, чтоб на завтра поутру рано со всех драгунских полков собрать по 200 человек фуражиров да по 100 чел[овек] для прикрытия, а с пехотных полков по 50 фуражиров; над оными быть подполковнику и 2 маиорам, по очереди, по собрании всех перво марширует подполковник Себедекен, за ним фуражиры, а марш заключат драгуны. По которому назавтрее в 5-м часу все собрався ожидали подполковника Себедекина, но видя, что уже около полудня было, драгунский подполковник послал спрашивать в пехоту, ес[ть] ли у них такой подполковник званием, и получа отповедь, что нет, послал к генералу Янушу сказать, что подполковника Себедекина нет, а без него итти не смеют. И как тогда фельтмаршал и генерал отъехали в обоз к государю верст с 10, то дождались отповеди пополудни, что «бедекен» не прозвище подполковника, но «прикрытие» разумеется. Однакож все лошади более суток бес корма простояли и немалой вред понесли, к которому и то причитали, что назавтре подполковник Пиц, быв в прикрытии фуражиров, за тощету лошадей противо нападения татар действовать надлежаше не мог, где немало людей потерял и сам пленен (Татищев 1990, 227–230).

Разноязычие, находящееся в прямом противоречии с требованием понятности, становится фактом языкового и культурного сознания данного времени, так что появляются пародийные тексты, специально описывающие данную ситуацию (пародирующие ее, см.: Записки ОР ГБЛ, XVII, 153). Во всех этих случаях разноязычие, воплощающееся в непонимании, оказыва-

ется лишь наиболее ярким проявлением той борьбы за всеобщность нового литературного языка, которая вступала в противоречие с нарастающей дифференциацией языкового опыта разных социальных групп⁵¹⁰.

Особую значимость имеет то обстоятельство, что интенсивное употребление заимствований характеризует законодательные памятники: они оказываются недоступными для понимания при том, что их понимание и исполнение вменяется в обязанность подданным вне зависимости от их осведомленности в иностранных языках. Жалобы на непонятность законов становятся устойчивой чертой русского общественного развития в XVIII в., и это обстоятельство создает определенную перспективу для оценки петровской языковой политики в целом. Интенсивность употребления заимствований в законодательных памятниках можно проиллюстрировать хотя бы на примере уже упоминавшегося Воинского Устава 1716 г. Кроме тех заимствований, которые в нем глоссируются, встречается еще целый ряд подобных же лексических элементов, которые читатель должен был понимать своими силами, например: *патент, офицер, кавалерия, инфантерия, арест, пас, президент, фискал, штраф, артикул, шпицрутен, гарнизон, regiment, профос, маркиентер, гевальдигер, банкет, регулы, меланхолия, магазейн, цейхгауз, процесс, кригсрехт, эскекуция* и т. д. Показательно, что ряд заимствований появляется впервые именно в законодательных актах. В силу этого подобные тексты оставались, естественно, в значительной мере непонятными.

Понятность и доступность нового языка, провозглашаемые реформаторами, оказываются лозунгами, отражающими стандартные лингвистические установки европейской культуры (прежде всего протестантской, хотя идеи «простоты», как мы видели, отнюдь не ограничены конфессиональными рамками) и получающими в русских условиях скорее полемическое, нежели реальное значение. Новый литературный язык есть прежде всего выражение новой культуры. С этой культурой он разделяет и ее европеизи-

⁵¹⁰ Позднее в XVIII в. приводящее к непониманию разноязычие становится постоянной темой комического обыгрывания в комедии, причем всякий раз языковое непонимание иллюстрирует столкновение противоборствующих культурных традиций и отражает тем самым культурную гетерогенность общества, созданную петровскими преобразованиями. Так, в комедии Городничанинова «Митрофанушка в отставке» находим следующий диалог: «Заслуженов. Так это невеста будет не по вашему вкусу. Домоседова. И! мой отец. Какой в ней вкус. Вить она не баранина. Заслуженов (удерживает смех). Митрофанушка. Эк ты, матушка, бякнула. Разве о баранине речь зашла» (Городничанинов 1800, 87). Непонимание возникает здесь в результате столкновения прямого значения слова *вкус* и его нового переносного значения, появляющегося как семантическая калька франц. *goût*. В «Чудовищах» Сумарокова такого же рода непонимание обыгрывается в диалоге Дюлижа и Арликина: «Дюлиж. Ин скажи мне: видима ли молодая твоя госпожа? Арликин. Она вить не дух, чтоб ее не лъзя было видеть, у нее и руки есть и ноги, и все то есть у нее, что у других ее сестер» (Сумароков, V, 265). Здесь также непонимание возникает вследствие того, что Делиж употребляет семантическую кальку с французского: *быть видимым* соответствует *être visible* 'быть готовым к приему визитов, принимать'. Таким образом, непонимание как частный случай противостояния культур возникает как следствие западноевропейского влияния на язык определенной части общества.

рующие установки, и ее полемическую направленность в отношении к отечественной традиции, и ее непонятность для традиционно воспитанной аудитории. Преодоление этой социальной и функциональной ограниченности нового литературного языка занимает многие десятилетия и завершается по существу только при коммунистическом режиме, когда окончательно уничтожается традиционная культура, изменяется социальная структура общества (в частности, многократно возрастает городское население), а в ходе борьбы с безграмотностью насаждается не только умение читать и писать, но и привычка к той разновидности литературного языка, которую принесла с собой революционная эпоха. В десятилетия же, непосредственно следующие за Петровской эпохой, происходит постепенное нарастание этого процесса. Он имеет чисто социальный аспект – экспансию секулярной европеизированной культуры, включавшей и новый литературный язык. Он имеет, однако, и аспект собственно лингвистический – нормализацию и кодификацию нового литературного языка, выработку критериев нормализации, пересмотр связей нового литературного языка с предшествовавшими литературно-языковыми традициями. Стабилизация лингвистического облика нового литературного языка также захватывает немалый период, завершаясь лишь в Пушкинское время. Основные линии этого развития мы и рассмотрим в дальнейшем.

ГЛАВА XI. НОРМАЛИЗАЦИЯ ЯЗЫКА И УТВЕРЖДЕНИЕ РОЛИ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нормализация языка. Возникновение академической грамматической традиции

Итак, культурная политика Петра привела к радикальному изменению языковой ситуации. Говоря о Петровской эпохе, М. П. Погодин справедливо задавался вопросом, «не точно ли такая же революция происходила в языке, как и в государстве». Характеризуя далее как «хаотическое» состояние литературного языка в результате петровской революции, он ставит вопрос: «Не из этой ли хаотической массы возникло и расцвело наше славное слово?» (Погодин, I, 349).

Оценка Погодина во многом справедлива. «Гражданское наречие», возникшее в Петровскую эпоху, было, как мы видели, хаотичным. Оно формировалось в отталкивании от старой книжной нормы, но своей собственной нормой не обладало. Такое положение было аномальным как с точки зрения традиционных представлений о книжном языке, так и с точки зрения усваиваемых в этот период европейских концепций: литературность текста требовала формальной манифестации, культурная функция текста соотносилась с обработанностью языка; в Европе XVIII в. хаотичность языкового узуса воспринималась как старомодное безобразие. Обработанность в традиционном книжном языке реализовалась в признаках книжности. Одним из следствий их устранения было появление новых параметров, в которых выражалась обработанность литературного языка. Они состояли в регламентации и унификации вариантов, и соответственно выработка новой нормы осуществлялась прежде всего как устранение немотивированной вариативности, отчасти доставшейся «гражданскому наречию» в наследство от предшествующего состояния письменного языка, но при этом существенно возросшей именно в новом «простом» языке. Как уже говорилось, «петровский пул» формируется в результате того, что варианты, ранее распределенные по разным регистрам письменного языка, теперь лишаются регистровой приуроченности, образуя единое пространство вариативности. Именно эта вариативность должна была подвергнуться регламентации для того, чтобы стандартный русский язык сделался похож на культивированные европейские стандартные языки. Эта задача и определяет пути даль-

нейшего развития русского письменного языка, его нормализации. Нормализация литературного языка воспринимается (нормализаторами) как его европеизация. Основной компонент нормализации – кодификация. Кодификация, т. е. создание нормативного лингвистического (грамматического) руководства, утверждает господство новой нормы как символической проекции новой государственной культуры. В России эта новая государственная культура была декларативно «европейской», именно в этом качестве она противопоставлялась в господствующем дискурсе культуре традиционной, и поэтому норма литературного языка должна была стать нормой «европейской».

В чем должна была выражаться европейская натура нового литературного языка, не было вполне ясно его устроителям, и решение этого вопроса заняло практически все XVIII столетие. Проблемы нормализации – орфографической, грамматической и стилистической – были центральными для всего этого времени вплоть до Пушкинской эпохи. Разработка принципов нормализации была одним из основных факторов, стимулировавших развитие русского литературного языка. В общем контексте культурного развития XVIII в. очевидно, что ориентиром в этой разработке должен был оказаться европейский опыт устроения литературных языков. Нормализация в разной мере и с разной степенью эксплицитности затрагивала разные уровни языка. Новый литературный язык, как уже говорилось, должен был выполнять коммуникативные задачи, которые ранее были распределены между разными регистрами письменного языка, и обладать авторитетом, воплощая в себе дискурс культурного господства секулярной власти. Эти требования к литературному языку не могли не обусловить новых коммуникативных задач письменного языка и, в силу этого, новых риторических стратегий, организующих литературный язык. Эти инновации в первую очередь сказывались на лексике и на синтаксисе. В лексике, как было показано (см. § X-8), проблему европеизации первоначально, в Петровскую эпоху, пытались решить простейшим образом через усвоение многочисленных заимствований, часто неассимилированных и в большинстве случаев коммуникативно избыточных.

После недолгого периода активного употребления заимствований (как символов европейской ориентации) господствующим принципом становится пуризм. Пуризм в сочетании с необходимостью семантических инноваций (выражений новых смыслов, порождаемых новой культурной ситуацией) предполагает не только отказ от заимствований, но и обогащение словаря за счет словообразовательного и семантического калькирования и упорядочение этого разрастающегося и разнородного лексического материала по стилистическим категориям (см. ниже).

Несколько иным образом происходит «европеизация» синтаксиса. В синтаксисе прямая нормализаторская регламентация имеет лишь ограниченный характер – прежде всего ввиду того, что традиционная грамматика давала лишь немногие инструменты для описания допустимых и недопустимых синтаксических конструкций: синтаксические «правила» покрывали лишь самую незначительную часть синтаксических построений (употребление падежей с предлогами и т. п.). В принципе в синтаксисе вариативность

(в выборе синтаксических конструкций, в порядке слов) связана с большим числом плохо формализуемых факторов, так что ее устранение никогда в качестве реальной задачи и не ставилось. Нормализация в синтаксисе основывалась не на прямых предписаниях, а на подражании и утверждении навыков, возникавших в первую очередь в переводной литературе и синтезировавших старые традиции книжного изложения с европейскими синтаксическими моделями. Наиболее заметным результатом этого процесса было, как уже говорилось, утверждение принципа логического развертывания и устранение элементов ситуационного синтаксиса. Это не создавало четких правил синтаксического построения предложения, но выделяло определенное множество ненормативных конструкций; нормализация в этом случае не могла не быть негативной.

Показательным в этом отношении представляются построения с повторением определяемого слова в конструкции относительного (или псевдо-относительного) подчинения. Выше (§ X-5) говорилось о том, как эти конструкции становятся частью «петровского пула». Данные конструкции, восходящие к деловому регистру старого письменного языка, продолжают употребляться и в текстах, создававшихся в конце 1720-х годов академическими переводчиками, т. е. в рамках той деятельности, которой, как будет показано далее, было предназначено стать основным контекстом для выработки новой нормы. Так, их можно встретить в первом труде академических переводчиков, «Кратком описании комментариев Академии наук» (Краткое описание 1728). Ср. здесь: «въ другіе книжицы собираются, *которые книжицы* въ пользу юношамъ Россійскимъ со временем напишутся» (с. 5); «ежели бы ірраціональные количества въ данномъ *равненіи* кривыя лінѣи случилися, изъ *котораго равненія* оная ірраціональная количества въ семь методѣ конечно изъяти надлежитъ» (с. 34). Аналогичные конструкции находим и в «Примечаниях к ведомостям», изданных Академией наук в 1728–1729 гг. Ср. здесь: «И тогда его Король хотя зѣло милостиво принялъ, но однакожъ прежнимъ *чиномъ* еще не пожаловалъ, *которои чинъ* Кардиналь фон Флери <...> отправляетъ» (Примечания 1728, 4); «Его Королевское величество <...> соизволилъ свои *уставъ* публиковать <...> *по которому уставу* всякая честь и все преимущества <...>» (там же, 18–19); «Непотисмусъ <...> есть *власть и почтеніе* сродственниковъ при жизни Папы, *которую власть и почтеніе* оные сродственники при управленіи штатскихъ дѣлъ имѣютъ» (там же, 1729, 42–43); «ко оному крючку надобно тонкую изъ простаго льна спряденую *нитку* привязать, съ *которою ниткою* Асбестовые хлопки оборачиваніемъ оного веретена соединяются» (там же, 83).

Тексты, появляющиеся в 1730-е годы в рамках элитарной европеизированной культуры, данные конструкции больше уже не используют. Они стремительно исчезают из нового стандарта, так что в элитарной литературе этого периода заметны только их последние остатки. Так, А. Кантемир в своем переводе «Разговоров о множестве миров» Фонтенеля (1730 г.) в основном употребляет *который* (несколько сот раз) в согласии с утверждающимися новыми нормами (известными нам по современному литературному языку и соответствующими функциям франц. *qui, que* – Хютль-Фольтер 1996, 70) и лишь в одном случае пользуется описанной выше кон-

струкцией: «Нынешние Паписты говорят, что город Рим Папе Силвестру от Костантина великаго Греческаго Императора жалованною *грамотою* в вечное владение отдан, *которои грамоты* однакож нигде неможно показать...» (там же, 55). Тредиаковский, переводя «Военное состояние Оттоманския империи с ея приращением и упадком» графа де Марсильи (Тредиаковский 1737а), не допускает ни одного такого употребления, хотя стандартные конструкции с *который* представлены сотнями примеров (Хютль-Фольтер 1996, 71). Таким образом, к концу 1730-х годов в создававшемся в этот период стандарте «европейские» нормы синтаксического построения (по крайней мере в части, относящейся к использованию лексического повтора) утверждаются в формируемом академическими филологами стандарте в полном объеме.

Забегая вперед, стоит отметить, что у этого процесса есть свое социальное измерение. Предложения с *который* и повтором референта можно обнаружить, например, в известной «Истории о российском матросе Василии Кориотском», написанной, по моему мнению, в 1730-х годах⁵¹¹. Ср. здесь: «... и *просил* его, чтоб он во Францию сходил с товарами..., *по которому прошению* он Василий не ослушался оного гостя» (Моисеева 1965, 192–193); «поплыша морем к *пристани*, *от которой пристани* к Цесари почтовые буеры бегают» (там же, 199); «Василея <...> принесло к некоему малому *острову*, на *которой остров* вышел, нача горько плакати» (там же, 206).

⁵¹¹ Эта «История» относится к «повестям Петровской эпохи»; данное традиционное обозначение условно, хотя ряд исследователей пытался обосновать подобную хронологию как реальную датировку (ср.: Майков 1889, 192; Сиповский 1905, с. L–LII; Берков 1949). Они основывались как на характере упоминаемых в «Истории» реалий (например, отправка русских матросов для обучения за границу), так и на лингвистических параметрах. Аргументы обоих типов наивны и обусловлены игнорированием отличий неэлитарной литературы от элитарной как в характере исторической памяти (литература мифологизирует прошлое, а не запечатлевает настоящее), так и в стилистических приоритетах. Так, для Сиповского «довольно верные данные» для датировки дает «своеобразный петровский стиль, обильный варваризмами». К подобным датирующим варваризмам Сиповский относит «ария (вм. песня), апортамент (вм. комната), ассамблея, притти в алтерацию (измениться в лице), дешперат (обморок), конфузия, презент, пароль (обещание, “слово”) и мн. др.» (Сиповский 1905, с. LI). Действительно, из высокой литературы варваризмы этого рода в 1730–1740-е годы постепенно уходят (хотя и для высокой литературы период избавления от заимствований никак не совпадает с концом царствования Петра, ср., например, указанную Сиповским *алтерацию* в стихах П. Буслаева 1734 г. – СРЯ XVIII в., I, 54); они становятся чертой, противопоставляющей «новую» «европейскую» литературу литературе петровского времени (см. ниже, § XI-4). Однако само формирование новой «европейской» литературы (Тредиаковский, Ломоносов и т. п.) обуславливает разделение литературы на высокую и низовую. Так называемые повести петровского времени относятся к низовой литературе, для которой классицистический пуризм, вызвавший бегство от заимствований в литературе высокой, остается вполне чуждым явлением и варваризмы сохраняют значимость примет новой (заведенной Петром) культуры; показательно, что и язык повестей остается гибридным церковнославянским, в то время как высокая литература занята выработкой нового литературного языка, противопоставленного церковнославянскому. Именно в этом контексте следует рассматривать и синтаксические явления «Истории».

Аналогично и с препозицией придаточного: «И на котором кораблю был Василий, и оный корабль волнами разбит» (там же, 193). «Гистория о Василии» не может, конечно, рассматриваться как памятник нового литературного языка, однако она создается в рамках той самой европеизированной культуры, которая производит на свет новый языковой стандарт и вместе с тем стремительно развивает социальную дифференциацию предполагаемого читателя. Нормализация обращена к образованной элите, в текстах же, предназначенных для менее образованных секторов общества (пусть и европеизированных), консервируются обороты, характерные для предшествующего состояния письменного языка (для «петровского пула») ⁵¹².

Наиболее поддающимися нормализации уровнями являются орфография и морфология, поскольку, как уже говорилось, орфографические и морфологические варианты не связаны непосредственно с коммуникативным заданием и поэтому легко поддаются универсальной регламентации. Вместе с тем для такой регламентации традиционная грамматика располагает

⁵¹² Чтобы не возвращаться в дальнейшем к данной синтаксической конструкции и отметить другие аспекты социальной дифференциации в процессе нормализации стандартного языка, укажу еще на ряд примеров данного синтаксического построения в текстах послепетровской эпохи. Как будет сказано ниже (§ XIII-1), нормы нового языкового стандарта, приобретая полифункциональность, постепенно распространялись и на деловой язык, так что и из него устранились предложения с повторением определяемого слова при *который*. И у этого процесса были свои задержки и отклонения. В провинциальной деловой письменности интересующая нас конструкция продолжала употребляться и тогда, когда столичные канцеляристы от нее избавились. Так, в допросных речах ссыльного Федора Воротилова, записанных иркутскими следователями в 1785 г., находим: «2^е апреля на 3^е ч[исло] на хлебномъ рынке из лавки балаганского купца Ивана Петухова обще съ салдатомъ Иваномъ Кунгуровымъ у *которой лавки* болты отвернули взошли оба: покрали разнаго товару» (Майоров 2006, 90). Ср. еще нерчинский документ 1744 г.: «к имеющимъ Нерчинской канцелярии приказнымъ служителямъ какъ ис казаковъ такъ и из разночинцовъ и ис протчихъ чиновъ и поныне в помощь никого *не определено* жъ за *которымъ де неопределениемъ* в Нерчинской канцелярии всякие ея Императорского величества дела отправляются не безъ малого труда и беспокойства» (там же, 22).

В плане элитарной ограниченности формирующегося в XVIII в. языкового стандарта еще более показательно, что рассматриваемая конструкция встречается в духовной литературе. Мы находим ее, например, в проповеди Амвросия Юшкевича 1743 г.: «оудари в ланитѣ Ииса. которое оудареніе толь тажестно стало быть Иисѣ» (Амвросий Юшкевич 1744, л. 6). Неоднократно встречается она и в сочинениях митрополита Платона Левшина, в частности его «Православномъ учении» 1765 г., ср. здесь: «тѣло <...> разѣма и воли вмѣстити не можетъ, который разѣмъ и волю мы въ дѣшѣ нашей оусматриваемъ» (Платон Левшин 1765, л. 70б.); «Сей высокій способъ спасенія нашегѣ Бгѣ ѿкрылъ дѣйствителнѣ, который способъ блгословенное Хртїанство почитаетъ подъ именемъ ѿкровенія» (там же, л. 180б.); «оупотребилъ его на приѣготовленіе насъ в' вѣрѣ Хртѣвой, которое приѣготовленіе состоитъ въ томъ, что законъ <...> приводитъ насъ ко вправдателю нашему Хртѣ» (там же, л. 24–240б.). Не отказывается Платон от этих конструкций и в своих поздних проповедях, ср.: «Остроту меча глагола Божія притупляетъ онъ мудрованіями вѣка, или правилами мірскими, которыя правила называетъ Павелъ стихіями или началами міра» (Платон Левшин, XX, 135). Когда и как исчезает рассматриваемая конструкция из различных маргинальных языковых традиций, требует отдельного исследования.

вполне адекватными инструментами – нормативными грамматиками, включающими правила правописания (они требуют лишь весьма примитивного формализма) и фиксирующими основные парадигмы в именном и глагольном словоизменении; эти парадигмы снабжаются списками особых случаев (исключений), для которых требуются специальные правила.

Орфографическая регламентация реализует, можно сказать, чистую нормативность. При этом регламентация правописания, не связанная с морфологическими параметрами (типа «*жи, ши* пиши через *и*» или списков слов, в которых пишется *ѣ*), существенно проще, чем регламентация морфологических вариантов. Она основана на ограниченном числе факторов, прежде всего на меняющемся соотношении следования традиции и следования произношению в его исторической динамике (об истории нормирования правописания см.: Успенский 1975; Григорьева 2004). Определенные орфографические инновации предлагаются уже в грамматическом очерке Адодуrowa 1731 г. (указания на избыточность букв *з, и, ѳ* – Адодуrow 1731, 4–6). Свидетельством напряженной работы в этой сфере является и правка, которой Адодуrow подвергает русский текст немецкой грамматики М. Шванвица. Первое издание этой грамматики выходит в 1730 г. (Шванвиц 1730) и в целом отражает то состояние «гражданского» языка, которое было ему свойственно до начала нормализующей обработки; последующие два издания (Шванвиц 1734; Шванвиц 1745) были исправлены в их русской части В. Е. Адодуrowым и Я. Штелином (Бауманн 1969; Кайперт 1983; Рязанская 1988); эти исправления являются ценнейшим свидетельством динамики норм литературного языка. В сфере орфографии правка 1734 г. указывает на регламентацию целого ряда моментов, например распределения букв *и* и *і* (перед гласной, *и* в прочих случаях; этимологическое написание в заимствованных словах), *ѣ* и *ѳ* (этимологический принцип) и т. п. (Рязанская 1988). В 1735 г. Российское собрание (см. о нем ниже) принимает решение об исключении из гражданского алфавита букв *ѵ, њ, ѣ*, реформированный таким образом алфавит вводится в практику Академической типографии (Тредиаковский 1748, 360; Пекарский, ИА, I, 639–640). Дальнейшая работа в этом направлении связана с идеями, высказывавшимися Адодуrowым в его заметке об употреблении букв *ѣ* и *ѵ* 1737 г. и в курсе русской орфографии, читавшемся им в Академической гимназии в 1738–1740-х годах (см.: Успенский 1975). Активные опыты 1730-х годов создают основу для всех последующих дискуссий по вопросам русской орфографии (см. прежде всего «Разговор об орфографии» Тредиаковского – Тредиаковский 1748; ср. еще: Винокур 1948; Успенский 1975).

Те сложные процессы переосмысления узусов, присущих разным регистрам письменного языка, выбора преемственности, трактовки омонимии и т. д., о которых будет сказано ниже, в наибольшей степени проявляются в нормализации морфологических вариантов. Нормализация в морфологии, таким образом, наиболее показательна для всего процесса регламентации нового литературного стандарта. Обратившись к морфологии, мы получаем возможность увидеть, когда, как, в какой среде и в отношении каких текстов начал развиваться данный процесс.

Со смертью Петра давление на существовавшие при нем институты языкового строительства (Посольский приказ, Печатный двор, отдельные переводчики, работавшие по поручению царя) прекращается, и они в качестве генераторов нового узуса сходят со сцены. Им на смену появляется новая институция, более независимая от власти (поскольку власть перестает интересоваться лингвистическими проблемами) и более схожая с аналогичными европейскими заведениями, – Академия наук. Академия наук, открывшаяся в 1725 г. уже после смерти ее августейшего основателя, не была гуманитарным учреждением (как Французская академия) и, согласно первоначальному замыслу, специально русским языком заниматься не собиралась. Эти занятия оказались включенными в сферу деятельности Академии постепенно, поначалу филологические штудии имели в ней исключительно прикладной характер. Поле их приложения были, во-первых, переводы на русский язык академических трудов, во-вторых, преподавание русского языка в Академической гимназии. В 1728 г. выходит «Краткое описание комментариев Академии наук. Часть первая на 1726 год» (Краткое описание 1728), переведенное с латыни и немецкого, и в том же году начинают издаваться «Примечания к ведомостям», переведившиеся с немецкого. В переводческой деятельности участвуют И. Ильинский, М. Шванвиц, В. Е. Адодуров, М. Сатаров.

«Краткое описание комментариев Академии наук» может служить превосходной иллюстрацией того состояния письменного языка, которое предшествовало нормализации, образно говоря, той стартовой линии, с которой началась нормализация. Отдельные переводчики, участвовавшие в этом издании, пишут в соответствии со своими индивидуальными предпочтениями, так что узус в целом отличается чрезвычайной пестротой и в полной мере демонстрирует ту гетерогенность «петровского пула», о которой мы говорили выше. Так, например, непоследовательно употребление форм инфинитива; В. Е. Адодуров употребляет старые формы инфинитива (на *-ти*, *-тися* и т. д.) в 89% случаев; еще более пристрастен к старым формам И. Ильинский, пользующийся ими в 95% случаев; совсем иной узус у М. Сатарова, который старые флексии допускает лишь в 23% употреблений (Живов 2004а, 198–199). Разнобой царит в употреблении старых и новых флексий в косвенных падежах мн. числа существительных (там же, 334). По-разному, с разными конфигурациями вариантов и разной их частотой, употребляются окончания прилагательных в им.-вин. мн. числа: Адодуров и Ильинский не полностью отказываются от согласовательного принципа, в основном согласованно употребляя флексии *-ии/-ьи* и *-ая/-ья*, как это характерно для гибридной традиции, но при этом активно используют безродовую флексию *-ие/-ые*; Сатаров, напротив, согласовательному принципу следует лишь в малой степени, флексию *-ие/-ые* практически не употребляет, а в качестве безродовой пользуется флексией *-ия/-ья* (там же, 464–468). Отсутствует унификация и по ряду других морфологических признаков.

С конца 1728 г. начинают издаваться «Примечания к ведомостям», переводное (с немецкого) периодическое издание Академии наук, в подготовке которого участвует та же группа академических переводчиков, что и в издании «Краткого описания». Здесь, однако, нормализационная установка

просматривается с полной наглядностью. Так, инфинитив на *-ть* полностью вытесняет инфинитив на *-ти*: в первых семи выпусках «Примечаний» (Примечания 1728, 1–56) инфинитивы на *-ть* употребляются в 97% случаев, а отступления представляют собой, видимо, результат недосмотра (Живов 2004а, 199–201)⁵¹³. Для окончаний прилагательных в им.-вин. мн. числа унифицированным вариантом становится флексия *-ие/-ые*. В первых семи выпусках «Примечаний» (Примечания 1728, 1–56) флексия *-ие/-ые* употребляется в 98% случаев, и в выпусках 1729 г. наблюдается этот же узус (Живов 2004а, 468–471)⁵¹⁴. Сопоставление «Краткого описания» и «Примечаний» за 1728 г. позволяет однозначно датировать начало нормализаторской деятельности академических филологов серединой 1728 г.

Не все, конечно, было сделано сразу, и не все нормализационные решения были окончательными, однако начало было положено, и унификация продвигалась достаточно быстрыми темпами. Так, что касается утверждения новых флексий в косвенных падежах мн. числа (*а*-экспансия), то здесь нормализационный процесс идет медленнее и постепенней; в «Примечаниях» первых семи выпусков 1728 г. старые флексии употребляются лишь ненамного реже, чем в «Кратком описании»; в выпусках 1729 и 1731 гг. их употребление незначительно сокращается в сравнении с выпусками 1728 г. и, тем самым, немотивированная вариативность сохраняется; значимый сдвиг происходит только в 1734 г., когда в основных классах существительных начинают последовательно употребляться новые окончания *-амъ*, *-ами*,

⁵¹³ Правда, в последних трех выпусках за 1728 г. (Примечания 1728, 57–80) вновь находим прежний ненормализованный узус, старые флексии встречаются в половине случаев, причем даже в формах инфинитива на *-ть* старые флексии употреблены в 39% случаев, а у возвратных глаголов и глаголов на *-сти* старые формы безусловно доминируют. Такой узус находит аналоги в текстах Петровской эпохи (например, в «Библиотеке» Аполлодора), связь с установившейся в предшествующий период традицией проявляется в консервативности форм инфинитива от возвратных глаголов. Кто был ответствен за этот шаг назад, остается неясным, однако прошлое вернулось ненадолго, с 1729 г. нормализованный узус вновь оказывается главенствующей чертой академической языковой практики. В выпусках 1729 г. (Примечания 1729, 225–246) в основном классе инфинитивов установленная норма соблюдается без отступлений – употребляются исключительно формы на *-ть*. Явный прогресс характеризует и класс возвратных глаголов; старая традиция просматривается лишь в виде редких реликтов, так что и в этом классе новая форма делается нормативной. Подобные зигзаги нормализации отчетливо указывают на тот факт, что языковой стандарт создается маленьким кружком «европеизаторов» языка, что это не некое натуральное развитие, а своего рода индивидуальный проект, лишь постепенно приобретающий общую значимость.

⁵¹⁴ В первых выпусках 1728 г. флексия *-ая/-ья* появляется всего три раза и все три раза в субстантивированных прилагательных: *различная* (с. 28), *пространная* (с. 32). *пространнибишая* (с. 40); морфологический архаизм соотнесен здесь с синтаксическим архаизмом. Два случая согласованного употребления флексии *-ия/-ья* кажутся случайным отступлением. И в этом случае последние три выпуска (Примечания 1728, 57–80) свидетельствуют о возврате к узусу предшествующего периода; достаточно высока пропорция согласованных употреблений (50%), флексия *-ие/-ые* употребляется всего в 32% случаев, наряду с *-ие/-ые* в качестве безродовой функционирует флексия *-ия/-ья* (Живов 2004а, 469–470).

-ахъ, а старые флексии остаются лишь в единичных формах *i*-склонения, хотя и в этих классах их употребление подвергается частичной регламентации (там же, 334–338). В 1733 г. пересматривается унифицирующий принцип в употреблении окончаний прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа. Согласно новому правилу флексия *-ие/-ые* употребляется с м. родом, а флексия *-ия/-ья* – с ж. и ср. родом. Это искусственное нормализационное решение представляет собой, с одной стороны, компромисс между различными языковыми практиками, а с другой – более тонкую регламентацию узуса, вновь вводящую согласовательный принцип (см. ниже, § XII-4).

Каковы были конкретные мотивы этого предприятия, вряд ли может быть установлено с полной определенностью. Толчком могли послужить академические интриги, связанные с попытками И.-В. Пауса опубликовать написанную им славяно-русскую грамматику в качестве нормативного академического труда. Отвлекаясь от частных обстоятельств, нетрудно назвать принципиальные побуждения к нормализаторской деятельности. В европейской перспективе «петровский пул» был аномалией, а Академия наук была создана как европейская институция и должна была утверждать в России европейское просвещение. Просвещенная страна должна была обладать языковым стандартом, а языковой стандарт должен был быть упорядочен и кодифицирован. Конечно, русский язык поначалу не входил в установленную сферу деятельности Академии наук. Академия наук замышлялась Петром не как гуманитарная институция, однако когда она появилась на свет, Петра в живых уже не было и можно было позволить себе некоторую свободу в определении сферы деятельности. Поскольку вспомогательная филологическая деятельность сама собою сосредоточивалась в Академии, оставалось лишь добавить к ней ученый компонент, чтобы обработка языка оказалась в сфере ее забот.

Действительно, хотя в Академии трудились почти исключительно иностранцы, они предпринимали попытки обращаться к русскому обществу. Несмотря на то что первая попытка издавать академические труды как на латыни и немецком, так и в русском переводе (уже упоминавшееся «Краткое описание комментариев Академии наук» 1728 г.) не нашла понимания, эта деятельность продолжалась. Она нашла выражение и в издании газеты «Санкт-Петербургские ведомости» (с конца 1727 г.), и в особенности в публикации одновременно на немецком и на русском собственного академического журнала «Примечания к ведомостям» (с осени 1728 г.). В результате образуется кружок академических переводчиков; одним из первых его филологических предприятий становится подготовка и издание необходимого для их деятельности пособия – Вейсманова «*Deutsch-Lateinisch- und Russischen Lexicon*» (см. об этом издании: Брин 1983). Существенно при этом и то обстоятельство, что с 1727 г. в Академической типографии сосредоточивается практически вся гражданская издательская деятельность (см.: Маркер 1985, 41–50)⁵¹⁵. Это означало, в частности, что Академия монополизировала

⁵¹⁵ Согласно указу Петра II от 16 октября 1727 г. (ПСЗ, VII, № 5175, с. 873–874) «друкарням в Санктпетербурге быть в двух местах, а именно: для печатания указов в Сенате, для печатания ж исторических книг, которые на Российский язык переведены, и в Синоде

единственный существовавший в этот период канал, по которому языковые нормы могли оказывать влияние на общество.

Существенное значение для обработки нового идиома имело и преподавание языков при Академии. Хотя обучение русскому языку как родному начинается, видимо, не ранее второй половины 1730-х годов, преподавание латыни и немецкого создавало то филологическое пространство, в котором и русский язык должен был обзавестись теми атрибутами, которые присущи преподаваемому языку. В. Е. Адодуров, один из академических переводчиков, сообщает о себе: «[Я] при Академии наук учился языкам латинскому, немецкому и французскому и при том имел случай собственные мои недостатки в правильном употреблении природного нашего языка несколько усмотреть и оные в себе, по возможности, исправить» (Пекарский, ИА, I, 511). Для преподавания русского языка, в частности для преподавания его обучающимся в Академии иностранцам нужно было создать его грамматику. Такие опыты появляются с конца 1720-х годов. Первым из них оказывается «Славяно-русская грамматика» И.-В. Пауса 1729 г. (ср. о ней: Михальчи 1964; Михальчи 1968; Михальчи 1969; Живов и Кайперт 1996; Хутерер 2001; Кайперт 2009). В преемственной связи с нею находятся грамматика М. Шванвица 1730 г. (Кайперт 1992; Кайперт 2002) и грамматический очерк Адодурова 1731 г. (Адодуров 1731), напечатанный в приложении к Вейсманову лексикону. Последние два сочинения черпают материал из грамматики Пауса, однако кодифицируют его в соответствии с принципами, полемически противопоставленными паусовским, так что теоретические основания кодификации и нормализации оказываются предметом рефлексии и противостояния. Именно в результате этой академической деятельности новый идиом получает первые атрибуты литературного языка – кодифицированность и, как неизбежное следствие кодификации, элементы нормализованности. Именно в процессе данной работы возникает академическая грамматическая традиция.

На лингвистических свойствах этой традиции мы остановимся ниже, сейчас же отметим следующий существенный момент: никакого отношения к литературе данное развитие не имеет, оно совершается вне всякой связи с литературным процессом и реализуется в текстах, которые даже при расширительном понимании не могут быть названы литературными⁵¹⁶. Появ-

апробованы будут, при Академии, а прочим, которые здесь были в Синоде и в Александрове монастыре Невском, те перевести в Москву со всеми инструментами, и печатать только одне церковныя книги». Интересно, что книги гражданской печати числятся как «исторические», что не может не ассоциироваться с указом Петра I о введении гражданской азбуки, которой должны были печататься «исторические и мануфактурныя книги» (ПиБ, X, 27); исчезновение «мануфактурных» книг тоже любопытно как свидетельство ревизии петровской политики. Хотя указ не был выполнен в полном объеме, издания гражданского шрифта в 1730–1740-х годах появлялись почти исключительно в Академической типографии.

⁵¹⁶ Имею в виду рассматривавшееся выше «Краткое описание», в котором были переведены различные математические, географические, физические и анатомические трактаты, и первые выпуски «Примечаний к ведомостям», содержавших обзор происшествий в мире и описание интересных явлений в природе. Постепенно содержание «Примеча-

ление новой литературы, т. е. литературы, непосредственно ориентированной на европейские образцы и противопоставляющей себя литературе предшествующего периода (литературе XVII в. и Петровской эпохи), происходит практически в то же время (в качестве условной даты можно было бы рассматривать время написания Первой сатиры Кантемира, т. е. 1729 г.). Понятно, что оба интересующих нас процесса – создание новой европейской секулярной литературы и опыты обработки нового секулярного идиома по образцу западноевропейских литературных языков – исходят из одной и той же социальной среды, из той части европеизирующейся элиты, которая связывает социальный успех с образованностью и просвещением. Оба процесса основаны на одной и той же историко-культурной установке: избавление от «барочного варварства» Петровской эпохи и утверждение современных европейских моделей (моделей, утверждавшихся во Франции и Германии начала XVIII в.). Важно тем не менее, что на начальном этапе эти процессы разобщены и их взаимодействие может рассматриваться как следующий этап в русском языковом и литературном развитии.

2. Синтетический характер академической нормализации (морфология)

Никаких новых общелингвистических идей у первых кодификаторов русского языка, естественно, не было. Грамматическое описание основывалось на тех принципах, которые были знакомы академическим филологам из грамматик других языков, прежде всего латыни и немецкого. Однако применение этих принципов к русскому материалу было отнюдь не механическим предприятием, а творческим экспериментом, обладающим теми историко-культурными свойствами, которые присущи процессам неадекватного перевода, связанным со сменой культурного контекста (об общих параметрах подобных процессов см.: Клейн 1990; Клейн 2005, 319–323). Приложение европейских кодификационных моделей ставило вопрос о том, как поступать со столь неевропейским явлением, как лингвистическая гетерогенность, обусловленная соединением церковнославянского и русского языкового материала, как справляться с порожденной этим соединением вариативностью. Именно в решении этого вопроса Шванвиц и Адодуров противостоят Паусу (см.: Живов и Кайперт 1996).

Конечно, грамматическое описание русского языка не было в конце 1720-х годов беспрецедентным предприятием. Грамматики русского языка создавались по крайней мере с конца XVII в. (со времен Лудольфа), по большей части иностранцами (кое-что было и до Лудольфа, но в становлении

ний» становится более разнообразным; в них появляются стихи (панегирические, обращенные к Анне Иоанновне, стихи на фейерверк, перевод французской эпиграммы – см. Примечания 1734, 4, 74, 140–141), выдержки из «The Spectator», переведенные с французского, возможно, В. К. Тредиаковским (Примечания 1731, 43–44; см. о них: Левин 1990, 19; Пекарский, ИА, II, 27; Солнцев 1892, 130–131; Живов 2009б, 64–66). Это изменение репертуара, однако же, происходит уже на фоне соединения литературных и лингвистических задач в начале 1730-х годов.

русской грамматической мысли никакой роли не сыграло, ср.: Успенский, III, 437–572). Грамматика Пауса в ряде аспектов продолжала незавершенный опыт грамматического описания пастора Глюка (см.: Кайперт, Успенский, Живов 1994), в школе которого в Москве в свое время работал Паус. Однако в конце 1720-х годов речь шла не только о грамматическом описании русского языка, но и о создании нормативной грамматики, которая определила бы конструкцию нового языкового стандарта, а тем самым и историко-культурную ориентацию русского языкового строительства, его отношение к национальному прошлому и европейскому будущему.

Европейский опыт обусловил отрыв новой филологической мысли от традиционной славянской грамматической учености, однако этот отрыв не был ни полным, ни последовательным. На практике имел место определенный синтез новых установок со старой грамматической традицией, наиболее очевидным образом выразившийся в постоянном использовании грамматики Смотрицкого при создании грамматик нового литературного языка; влияния Смотрицкого не избегает еще и Ломоносов, и это свидетельствует о преемственности новой филологии в отношении к прежней грамматической традиции. Характер синтеза новых установок и прежней традиции не был единообразным – он мог разниться от автора к автору и от периода к периоду. Как пишут Л. Дюрович и А. Шоберг (Дюрович и Шоберг 1987, 266), в начальный период было отнюдь не ясно, «где между церковнославянским и разговорным русским полюсами должен лежать новый, намечающийся литературный язык». То или иное сочетание определялось общей лингвистической программой и изменялось по мере смены программ. Данные изменения определенным образом соотносились с ориентацией на разговорное употребление или на литературную традицию, с тем, как понималось в лингвистической программе значение «правил» и «разума». Та или иная значимость отдельных критериев отражалась в конкретных нормализационных решениях. Эти решения свидетельствуют именно о процессе нормализации, а не о славянизации или русификации литературного языка. Сравнивая язык ряда текстов XVIII в., в которых в склонении прилагательных окончанием им.-вин. ед. м. рода является *-ой/-ей*, а окончанием род. ед. м. и ср. рода – *-аго/-яго*, с современным русским языком, где в соответствующих формах находим *-ый/-ий* (в безударном положении) и *-ого/-его*, нельзя не заключить, что понятия славянизации и русификации менее всего подходят для описания эволюции языкового стандарта и что отбор вариантов отражает процесс многократного переосмысления того языкового материала, который – в виде «гражданского наречия» или «петровского пула» – лежал в начале этого процесса.

В результате данного процесса присущая «гражданскому наречию» вариативность довольно последовательно изгоняется из литературного языка – либо за счет стилистической дифференциации вариантов (так, например, в середине XVIII в. могут дифференцироваться флексии *-ой* и *-ья* в род. ед. прилагательных ж. рода), либо за счет исключения одного из них (как, например, происходит при устранении старых флексий *-омъ*, *-ы*, *-ѣхъ* в косвенных падежах существительных во мн. числе), либо, наконец, за счет установления их дополнительной дистрибуции вариантов (как, например,

-ой под ударением, -ый в безударном положении в им.-вин. ед. прилагательных м. рода). Решения менялись в зависимости от критериев, критерии вытекали из лингвистических программ, лингвистические программы соотносились с культурными позициями. Картина осложняется тем, что элементы, сделавшиеся нормативными в один период под влиянием одной лингвистической идеологии, могут в принципе переходить в следующий период как данность и не оцениваться с позиций изменившихся лингвистических установок.

Церковнославянская грамматическая традиция играла в данном процессе двойственную роль. Во-первых, она фиксировала грамматическую норму традиционного книжного языка и в силу этого могла выступать как точка отсчета при создании нормы нового литературного языка: задача отталкивания от традиционного книжного языка требовала представления о том, от чего именно нужно оттолкнуться; в систематизированном виде эти сведения и давали грамматики церковнославянского языка. Вместе с тем и в прямом противоречии с этой первой ролью та же грамматическая традиция отражала навыки книжного (грамотного) письма, не соотносившиеся с противопоставлением языковых кодов и в силу этого переносившиеся в литературный язык нового типа.

Казалось бы, задача отталкивания в морфологии была очень простой: можно было взять грамматику Смотрицкого, сопоставить с ней русский разговорный язык (что соответствовало бы ориентации на разговорное употребление) и заменить несовпадающие формы элементами, известными из разговорного употребления. Однако сказать легче, чем сделать. Как хорошо известно, реальная разговорная речь с большим трудом откладывается в сознании носителя языка. Те расхождения между традиционным книжным языком и языком разговорным, которые были очевидны для языкового сознания, конституировали в языковой деятельности предшествующей эпохи набор признаков книжности, которые и были устранены при формировании в Петровскую эпоху «простого» языка. При актуализации генетических параметров в 1720–1730-е годы (см. об этом процессе ниже, § XI-4) эти устраненные элементы переосмыслились как «славянизмы», однако выделение их в качестве особой категории никаких задач нормализации нового литературного языка не решало (поскольку в новом языке этих элементов уже не было). Если эти элементы и играли какую-либо роль в интересующем нас процессе, то она была весьма ограничена. В поисках генетического размежевания нового литературного языка с традиционным они выступали как своего рода центр притяжения для тех грамматических «славянизмов», которые еще только предстояло найти. Упрощая, можно сказать, что, переосмысляя какую-либо форму как «славянскую», устроители нового литературного языка приписывали ей тот же статус, что и, скажем, изгнанным из этого языка формам аориста.

Что, однако, должно быть переосмыслено подобным образом, отнюдь не было очевидным. Как мы уже видели, узусу письменного языка была свойственна широкая вариативность, и разделение этих вариантов на «славянские» и «русские» наталкивалось на существенные трудности. При ориентации на разговорное употребление формальной сложностью было уста-

новление соответствий между устной речью и ее письменной фиксацией, в силу чего и проявляется повышенный интерес к проблемам правописания и стремление приблизить его к орфографии, основанной на фонетическом принципе (см. орфографические работы В. Е. Адодурова – Успенский 1975). Содержательная сложность возникала в результате того, что варианты разговорного происхождения противоречили навыкам грамотного письма, т. е. воспринимались прежде всего не как «русские», а как «неграмотные». В этих условиях разделение вариантов по генетическому принципу наталкивалось на сопротивление внедренного в сознание носителей лингвистического мышления.

В данном контексте и оказывался чрезвычайно важным второй источник нормализаторских инноваций академической филологии – грамматические описания русского языка, созданные иностранцами. Они ставили перед собой задачу описать русский язык в соответствии с наблюдаемым ими узусом. Этот узус они, естественно, могли понимать по-разному, в разной степени обращая внимание на устное употребление и некнижные письменные тексты. Они могли использовать и использовали в качестве пособия церковнославянские грамматики (грамматику Смотрицкого). При всем этом, однако, тех трудностей в размежевании русского и церковнославянского, с которыми сталкивались носители русского языка и вместе с тем традиционного языкового сознания, иностранные филологи не испытывали. В силу этого они могли в достаточно большом объеме квалифицировать известные им варианты как русские или славянские, что создавало основу для обсуждения различных нормализационных решений в 1730-е годы.

Пространный список отличий церковнославянского от русского приводится в грамматике Лудольфа, которая имела в Петербурге (см.: Винтер 1958, 758–762) и скорее всего была известна всем академическим филологам (Шванвицу, Адодурову, Тредиаковскому). Хотя задачи привести исчерпывающий список отличий Лудольф не ставил, его перечень достаточно пространен и включает формы претерита, различия в именном словоизменении (чередование заднеязычных со свистящими в славянском в отличие от русского, *-go/-vo* в род. ед. м. и ср. рода), лексико-морфонологические характеристики (полногласие, *ч* на месте *щ*, *о* на месте *е* в начале слова) и ряд собственно лексических оппозиций, ср.: «*А Slavonicum duas consonantes sequens mutatur in duo o. Slav. глава caput Russice голова... Ё Slavonicum à Russis saepe mutatur in o. Slav. единъ unus Russ. одинъ...* In declinationibus Slavonicae linguae consonantes nominativi in nonnullis casibus mutantur, sed in Russica dialectu retinentur v. g. *рѣка* manus in dativo & ablat. singulari facit *рѣцѣ*, in lingua Russica vero *рѣкѣ*... Similiter quoque in declinatione nominum Slavonicorum *г* in *з* & *ж*. *х* in *с* nonnumquam mutatur. *Щ* Slavonicum, à Russis frequenter mutatur in *ч*. Slav. *нощъ* nox Russ. *ночь*... In adjectivis Slavonicis genetivus singularis masculini & neutri definit in *го* sed in lingua Russica in *во*... In verbis Slavonicis praeteritum definit in *х* sed in verbis Russicis in *л*. *любихъ* amavi *любилъ*... Interdum quoque vocabula prorsus differunt. Slav. *глаголю*, *река*ъ,

днѣсь, вынѣ, истина, тѣнѣ... Russ. говорю, сказалъ, сегоднѣ, всегда, всегда, правда, даромъ» (Лудольф 1696, 4–5)⁵¹⁷.

Иначе обстоит дело с грамматикой пастора Глюка 1704 г (см. издание: Кайперт, Успенский, Живов 1994). Маловероятно, что академические филологи ее знали, однако безусловно знал ее И.-В. Паус, который и оказывается связующим звеном между Глюком и академической традицией. Описывая русский язык, Глюк широко пользовался грамматикой Смотрицкого, в ряде случаев отталкиваясь от него, но в ряде случаев сохраняя его нормы (там же, 54–61, 77–86); в то же время Лудольфа Глюк либо не знал, либо сознательно игнорировал. Из грамматического материала, как правило, устраняются маркированные славянизмы (признаки книжности) и в ряде случаев проводятся нормализационные решения, противоположающие русскую норму церковнославянской (например, у существительных в косвенных падежах мн. числа унифицируются окончания *-амъ*, *-ами*, *-ахъ* – там же, 74–76), однако никакого последовательного противопоставления русского и церковнославянского не устанавливается⁵¹⁸. Грамматика, написанная Глюком, предназначалась для обучения русскому языку в организованной Глюком школе и в силу этого имела «синтетический» характер, соединяя материал традиционного книжного и некнижного языка. Этим грамматика Глюка радикально отличалась от грамматики Лудольфа: грамматика Лудольфа была описательной, грамматика Глюка – конструктивной.

Линия, идущая от Глюка, была продолжена, хотя и с рядом существенных инноваций, его сотрудником по устроенной в Москве школе И.-В. Паусом. Паус, так же как и Глюк, ориентировался на широкий диапазон текстов, как некнижных, так и традиционных книжных. Именно это широкое понимание узуса побуждало его к синтетическому рассмотрению русского и церковнославянского, что и отразилось в названии его грамматики – «Grammatica Slavono-Russica» (ср. Винтер 1958, 758)⁵¹⁹. Паус полагал, что сла-

⁵¹⁷ Составленный Лудольфом перечень дословно воспроизводится в грамматике Сойе в разделе об отличиях русского от церковнославянского (Сойе, I, 30–33), однако в тексте грамматики сюда добавляется еще одно отличие: «L'Infinitif dans la langue Esclavonne se termine en *и*, et dans la dialecte en *ь*, qui en fait la difference, comme *читать* lire, *вѣрить* croire» (там же, 130). Эта инновация, впрочем, не имеет для нас значения, поскольку грамматика Сойе в Петербурге не была известна и на академическую традицию повлиять не могла.

⁵¹⁸ Эксплицитно отличия двух языков отмечены лишь в трех случаях. Говорится о том, что в славянском языке дв. число более употребительно, чем в русском (там же, 238), и указывается противопоставление форм вин. ед. «*тѣбѣ* Sl. *тиѣ*» (там же, 252) и им. мн. ж. рода «*нѣи* Sl. *нѣиѣ*» (там же, 261).

⁵¹⁹ Грамматика Пауса осталась неопубликованной. Паус представил ее в Академию наук 10 декабря 1729 г. с просьбой переписать и вернуть оригинал (Материалы АН, I, 592). Неясно, была ли сделана полная беловая копия (в Архиве Академии наук сохранились лишь первые листы переписанного набело экземпляра – Разряд III, № 332), однако печатать эту грамматику Академия отказалась. После смерти Пауса в 1735 г. черновая рукопись грамматики попала в Библиотеку Академии, в которой она и хранится по сей день (Библиотека Академии наук, Собр. иностранных рукописей, Q 192). Попытка опубликовать эту рукопись была предпринята Д. Е. Михальчи в 1960-е годы, однако издание не

вянский и русский образуют своеобразное единство, так что «*zwey языки können jawohl brüder u[nd] 2. Sprachen Schwester[n] werden*» (Библиотека Академии наук, Собр. иностранных рукописей, Q 192, л. 3об.). Его грамматика, завершенная в 1729 г., была предназначена для одновременного изучения обоих языков. В «*Observationes*», посланных в Академию наук в 1732 г., он писал: «*Daß beide dialecti, slavonisch und russische [!], deren jene in geistlichen und Kirchen-sachen von alters her, diese aber bei unsern Zeiten in Staats- und Regimentssachen nach der Zivilität und gemeinen Wesen schaltet und waltet, so daß dieselben nun in diesem kleinen Buch als Bruder und Schwester... beieinander in Frieden leben*» (Винтер 1958, 759). Он обосновывал необходимость изучения славянского одновременно с русским именно тем, что без него останутся непонятными церковные книги, тексты, трактующие «*höhen u. geistl. Sachen*», равно как ученые и исторические сочинения (БАН, Q 192, л. 3). В этом же ключе Паус замечает, что на «славяно-русском» языке говорят, читают и пишут книги, рукописные сочинения и указы. Простой народ употребляет в разговоре множество духовных формул, восходящих к Библии и потому славянских (там же, л. 5).

Для Пауса, в отличие от Глюка, синтетический подход актуализирует поиск признаков, противопологающих два языка, поскольку избранная им модель синтетического описания предполагала фиксацию общей для русского и славянского основы, которая дополняется указанием всех различий между двумя языками. В силу этого генетические характеристики приобретают для Пауса первостепенное значение, и соответствующие данные отличаются у него наибольшей полнотой. Он повторяет с многочисленными дополнениями и некоторыми исправлениями перечень, приводимый Лудольфом (там же, л. 22об.–24), и в конце этого перечисления замечает, что отличия русского от церковнославянского «в акциденциях» (т. е. в грамматических показателях) будут показаны при рассмотрении частей речи. Действительно, различия между русским и церковнославянским регулярно упоминаются во всех разделах морфологического описания «славяно-русского» языка. Так, при описании категорий имени говорится о том, что в славянском постоянно употребляется дв. число, тогда как в русском его употребление ограничено словосочетаниями, в которых имя согласуется с числительным *два, двѣ* (л. 42, 44), равно как *три* и *четыре*; Паус следует здесь Лудольфу (1696, 12–13). Образование превосходной степени в славянском описывается как добавление *ѣй* или *ай* в форму сравнительной степени (и трактовка, и пример совпадают с Лудольфом – Лудольф 1696, 20); для русского вместо этого указывается образование с помощью «местоимения» *само*, слова *всѣхъ* или деминутива.

Многочисленные замечания о различиях славянского и русского делаются при описании склонения существительных. Вслед за Лудольфом Паус

состоялось. В результате появился лишь ряд статей Д. Е. Михальчи, посвященных этой грамматике (Михальчи 1964; Михальчи 1968; Михальчи 1969а), и его докторская диссертация «Славяно-русская грамматика Иоганна Вернера Паузе» (Михальчи 1969б), в которой основное место занимала публикация текста грамматики, в ряде отношений не совсем удовлетворительная.

указывает, что в русском, в отличие от славянского, вокатив совпадает с номинативом не только во множественном, но и в ед. числе, кроме слов *Господи*, *Боже* и других «священных» (*sacris*) наименований, связанных с религией (лл. 44, 45об., 48об.). Отмечается, что у одушевленных существительных м. рода аккузатив равен генитиву, для ед. числа это рассматривается как общая норма, тогда как для мн. числа указывается, что в славянском это не всегда имеет место (л. 48). Говорится (и здесь Паус повторяет Лудольфа), что в славянском, в отличие от русского, у существительных, кончающихся на *г*, *к* и *х*, эти буквы переходят в ряде падежей (местн. ед., им., зват., местн. мн.) в *з*, *ц* и *с* (л. 48об.). В отдельных парадигмах противопоставлен (как русское и славянское) целый ряд конкретных флексий. Сюда, в частности, относятся некоторые флексии в парадигме слова *судія* (в частности рус. -ѣ в дат. ед. противопоставлено слав. -и – л. 47), окончание -амъ в дат. мн. о-склонения у существительных м. рода, противопоставленное «славянскому» -омъ (л. 49), окончание -ахъ в местн. мн., противопоставленное слав. -ехъ и -ѣхъ (л. 49). Указывается, что в славянском собирательное от *господинъ* *господіе*, а в русском *господи* или (согласно употреблению) *господа* (л. 56). В парадигмах склонения на -ер- славянским *матерь*, *мати*, *дци* соответствует русское *мать*, *дочь*, причем у этих существительных в славянском окончание род. ед. -е, а в русском часто -и, в дат. ед. в славянском -и, в русском -ѣ (л. 59).

Не менее тщательно зафиксированы различия в склонении прилагательных, при этом говорится, что, несмотря на различия, сходства в славянском и русском склонении достаточно многочисленны, чтобы в рамках одной парадигмы отметить славянские варианты буквой *S*, а русские – буквой *R* (л. 60). Для прилагательных также указывается признак наличия/отсутствия чередования заднеязычных со свистящими и шипящими (л. 60). К числу отдельных различающихся в русском и славянском флексий отнесены окончания род. ед. и вин. ед. м. (и ср.) рода *оѡ*, *ово*, *ова* (л. 60) – слав. -аго (л. 61); род. ед. ж. рода -ой, -ей, а также -ые, которым противопоставлено слав. -ья/-ия. Отмечено, что в им.-вин. мн. ч. ср. рода в русском часто употребляется окончание -ие или -ые (л. 60об.), тогда как в парадигме прилагательного *добрый* приводится флексия -ая (л. 61–61об.). В парадигме прилагательного *добрый* в им. ед. м. рода окончание -ой дается с пометой *R* (русское), окончание -ый – с пометой *S* (славянское). Трактовка большинства указанных вариантов как генетически противопоставленных появляется у Пауса впервые, в ряде случаев Паус мог прийти к ней, сопоставляя парадигмы Смотрицкого и Глюка, однако многие его наблюдения полностью оригинальны.

Наиболее контрастно, естественно, различия между славянским и русским выделяются при описании глагола, в парадигме которого сосредоточиваются основные признаки книжности. В «Observationes» 1732 г. Паус писал даже, что «nur müssen slavonischerseits die ungeheure Endungen in den praeteritis und indefinitis wegbleiben, so ist weniger difference unter ihnen beiden» (Винтер 1958, 759). Паус указывает, что в претерите «wird slav. *x* verwandelt in *лъ*, *f. ла*, *n. ло* welches durch alle personen geht» (л. 104). В специальном примечании (л. 104) указывается, что в презенсе и футуруме во 2 л. ед. ч. славянским окончаниям -еши, -иши соответствуют русские -ешь,

-ишѣ. Здесь же отмечается, что, так же как во 2 л. ед. ч., слав. *и* переходит в рус. *ь* в инфинитиве. Вслед за Лудольфом Паус вводит в русскую глагольную парадигму сложное будущее со вспомогательными глаголами *стану* или *буду*, причем как и у Глюка, и в отличие от Лудольфа, оно выступает у него наряду с простым будущим (образуемым с помощью «прибавления» или аугмента – л. 103об.).

Инновации Пауса сыграли весьма существенную роль в нормализации морфологических вариантов и установлении репертуара славяно-русских оппозиций в академической традиции 1730-х годов. Его грамматика была известна Адодурову и Шванвицу, скорее всего также и Тредиаковскому, а возможно и Ломоносову (Живов и Кайперт 1996, 25–26; Кайперт 2009, 180). Хотя и Адодуров, и Шванвиц с Паусом враждовали, они во многом воспользовались его разысканиями. Вражда была обусловлена не только личными причинами, но и противоположностью теоретических установок. Паус, как уже сказано, считал, что русский и церковнославянский представляют своеобразное единство, тогда как Шванвиц и Адодуров следовали петровской культурно-языковой доктрине, противопоставившей эти языки, требовавшей их размежевания и объявлявшей русский самодостаточным. Синтетический подход Пауса развязывал ему руки в квалификации как славянских самых разных морфологических элементов, эта квалификация лишь устанавливала определенную систематику в вариантах внутри славяно-русского языка. У Адодурова положение было куда сложнее. В своем кратком грамматическом очерке 1731 г. Адодуров формулирует принцип, согласно которому все славянские формы (конкретно, правда, речь идет только о склонении) должны быть изгнаны из нового литературного языка и заменены «естественными» («природными») элементами. Сказав о необоснованных пристрастиях «любителей славенских выражений» (правдоподобно, что здесь имелся в виду, в частности, Паус), Адодуров формулирует свою позицию: «Allein da nunmehr aller *Slavonismus* vornehmlich eine solche Art zu decliniren aus der Rußischen Sprache exuliret, und einen geßlichen Laut in denen Ohren derer Heutigen erreget, so wird man auch nicht verdenken können, wenn man solches allhier übergangen und vielmehr dafür der natürlichen Art zu decliniren nachgegangen ist» (Адодуров 1731, 26). Поэтому, квалифицировав тот или иной элемент как славянский, Адодуров должен был изгнать его из состава нового литературного языка. В силу этого ему приходилось балансировать между стремлением к отмежеванию русского от церковнославянского и приемлемостью учиненной таким образом потравы с точки зрения навыков грамотности.

Необходимость компромисса приводит к тому, что Адодуров определяет в качестве славянизмов значительно меньший корпус элементов, чем Паус, зачисляя в него преимущественно те формы, с которыми ему было не жаль расстаться. Зависимость от Пауса, однако, просматривается вполне отчетливо. В наибольшей степени показательны те пассажи, в которых Адодуров обсуждает церковнославянско-русские оппозиции – вне зависимости от того, совпадает ли адодуровская трактовка с интерпретацией Пауса. Отмечу, что, кроме грамматики Пауса, Адодурову был несомненно известен Лудольф. В качестве общего фона нужно иметь в виду, что замечания о цер-

ковнославянском характере тех или иных элементов отнюдь не были необходимы при изложении русского грамматического материала. Эти элементы можно было просто обойти молчанием. Это ясно видно из того, что в грамматике Гренинга, представляющей собой в морфологическом разделе переработку краткого очерка Адодурова (или грамматики Шванвица – ср. об отношениях между очерком Адодурова и грамматикой Гренинга: Унбегаун 1969б, с. XII–XIV; Успенский 1975, 27–44; Бауманн 1980; Кайперт 1988б; Кайперт 1989б; Живов 1992, 266–267), все замечания о русско-славянских оппозициях опущены (ср.: Гренинг 1750, 77, 80, 82).

Интересующие нас комментарии Адодурова – сверх той антиславянской филиппики, которая цитировалась выше, – немногочисленны и производят впечатление случайного набора. В качестве славянизма Адодуров отмечает дв. число, которое «in der Rußischen Sprache ist... nicht gebräuchlich» (Адодуров 1731, 13). Констатация славянского характера дв. числа является общим местом всех предшествующих описаний русского языка, так что Адодуров мог здесь следовать как Лудольфу, так и Паусу. Отталкивание от обоих предшественников видно в замечании о словосочетаниях с числительными *два, три, четыре*. Адодуров полагает, что после этих числительных употребляется род. ед. существительного, а не форма дв. числа (там же, 32–33), и указывает, что ошибаются те, кто приписывает русскому языку дв. число, исходя из неправильного понимания примеров *два попа, три рва, четыре колодезя*. Первый пример отсылает к Лудольфу, однако упоминание заблуждающихся во мн. числе свидетельствует о том, что имеется в виду не только Лудольф, но и Паус.

Славянизмами, по мнению Адодурова, являются особые формы вокатива, поскольку в русском вокатив и номинатив совпадают; исключение составляют слова «чисто славенские или такие, в которых русские хотят подражать славянам» (*пастырю, жено, Христе, Боже, челове́че*) (там же, 13). И это наблюдение представляет собой общее место, так как соответствующие замечания имеются и у Лудольфа, и у Пауса. Экспликацией содержащегося в этих грамматиках утверждения о том, что особая форма вокатива сохраняется у слов «spectantibus ad religionem» (Лудольф 1696, 15) или «in welchen sie die Religion empfangen» (Паус, л. 44), является и приводимый Адодуровым список примеров.

Далее в качестве славянизма указываются формы дат. ед. мягкой разновидности *а*-склонения с окончанием *-и* вместо *-ѣ*; такие формы, согласно Адодурову, полностью противоречат «гению русского языка» (Адодуров 1731, 15). Это наблюдение у Лудольфа отсутствует (в каком бы то ни было виде), но находит соответствие в вариантах, приводимых Паусом в парадигмах мягкой разновидности и его пометах к парадигме слова *судія*.

Говоря об аномальном образовании косвенных падежей от слов *мать* и *дочь*, Адодуров поясняет, что «иррегулярные окончания» обусловлены принадлежностью обоих к славянскому, при том что «in derselben Sprache den *Nominatium* auf *мать* und *дочь* formiren» (там же, 23). Это замечание также может быть соотнесено с наблюдениями Пауса, согласно которому русские формы косвенных падежей «nimt d. *er* an von slav. *дщерь*» (л. 59). Адодуров в нескольких случаях исправляет предлагаемую Паусом пара-

дигму, но сохраняет постулируемую Паусом языковую соотнесенность вариантов.

В им. мн. четвертого склонения Аододуров выделяет формы типа *князіе, каменіе*; некоторые, говорит он, предпочитают их формам *князья, каменья*, хотя это неправильно, и превращает данные слова в славянские, поскольку указанные окончания именно этому языку и принадлежат (там же, 26). Это наблюдение восходит к Паусу, который указывает те же варианты с той же характеристикой в парадигме слов *князь, свидѣтель* и *день*. В пояснениях к четвертому склонению Аододуров указывает также, что в русском языке не употребляется слово *Господь* во мн. числе; когда такие формы встречаются, они являются славянизмами и по значению и по форме (в русском отсутствует «славянское» значение ‘господин’) (там же, 27). Здесь Аододуров несомненно развивает Пауса, который писал о возможности употребления слова *господь* во мн. числе в славянском и приводил его парадигму (л. 56об.), полностью сходную (для ед. числа) с парадигмой Аододурова. Зависимость в этом случае очевидна⁵²⁰.

Не менее существенно, что в ряде случаев Аододуров без всяких оговорок о соотношении русского и церковнославянского устраняет те элементы, которые в качестве славянских определил Паус. Так, например, у Аододурова не приводятся и никак не упоминаются флексии дат. мн. и местн. мн. *-омъ* и *-ѣхъ/-ехъ*, хотя в современных ему текстах они встречались; стимулом могло быть определение их как «славянских» у Пауса. Приводя формы слова *день*, Аододуров (Аододуров 1731, 26) дает для род. ед. только форму *дня*, форма *дни*

⁵²⁰ Три замечания Аододурова хотя и не повторяют паусовских, но, видимо, полемически направлены против паусовских интерпретаций. Это относится к трактовке степеней сравнения, где Аододуров квалифицирует в качестве славянизмов формы сравнительной степени с суффиксом *-ш-* (*честныи – честнѣишій*), полагая, что в русском сравнительная степень прилагательных отсутствует и для сравнения используются «сравнительные наречия» (*умнѣе, богатѣе, дороже*); превосходная степень, на взгляд Аододурова, в церковнославянском и русском совпадает (*честнѣишій*), хотя в русском имеются и другие способы образования превосходной степени, отсутствующие в церковнославянском (Аододуров 1731, 11–12). У Аододурова в тв. мн. четвертого склонения в качестве русского окончания указывается *-іями*, ему противостоят славянские окончания *-іи* или *-ьми* (имеются в виду формы типа *ученіи* или *ученьми*), которыми обычно пользуются «любители славянских выражений» и по поводу которых Аододуров и выступает со своей декларацией об изгнании славянизмов (Аододуров 1731, 26). Наконец, приведя иррегулярные контрактивные формы (кратких) прилагательных (*божья, божье воп божій, свѣтель, золь, сыновень воп свѣтлый, злый, сыновній*), Аододуров замечает, что эти славянские прилагательные должны подробно рассматриваться в славянской грамматике, к предмету же его сочинения они не относятся (Аододуров 1731, 28–29). И в этом случае имеет место, видимо, полемика с Паусом, разбирающим эти прилагательные и указывающим, что они вполне обычны «in der Slav. Rußischen Sprache» (л. 61). Паус при этом определяет в качестве синтаксических условий их употребления как предикативную, так и определительную функции (преимущественно с постпозицией определения), ссылается на Лудольфа, у которого говорится о контракции прилагательных в предикативной функции (1696, 20), и приводит примеры из славянской Библии (л. 61–61об.). Аододуров, видимо, все употребления кратких прилагательных рассматривает как черту, свойственную исключительно славянскому.

даже не упомянута, и это опять же может быть объяснено квалификацией последней формы как славянской у Пауса. Во 2 л. ед. ч. презенса и футурума Адодуров дает исключительно флексии на *-шь* (там же, 40–43), повторяя здесь Лудольфа и Пауса. Точно так же только в форме на *-ть* дается и инфинитив, что соответствует решению Пауса и вместе с тем – значимым образом – противоречит употреблению того самого Вейсманова лексикона, в приложении к которому напечатан адодуровский очерк (Брин 1983, 24).

Однако следовать за Паусом до конца Адодуров не может, поскольку в этом случае ему пришлось бы устранить такие элементы, которые представляются ему нормативными, необходимыми для нового литературного языка, если грамотность сохраняет для него какое-либо значение. Так, у Адодурова в склонении прилагательных для род. ед. м. (и ср.) и вин. ед. м. рода даются варианты *добраго* и *доброво* (Адодуров 1731, 30), т. е. флексия *-аго* не интерпретируется как славянизм, как это делает Паус. В род. ед. ж. рода Адодуров кодифицирует флексию *-ья*, которую Паус определяет как славянскую. В им. ед. м. рода дается форма *добрый*, тогда как у Пауса здесь появляется специально русский вариант *доброи*. Такие примеры можно умножить. Представляется, что во всех этих случаях Адодуров решает игнорировать противопоставление русского и церковнославянского и нормализовать формы, соответствующие книжной письменной традиции.

Итак, академические филологи 1730-х годов исходят из концепции, прямо противопоставленной концепции Пауса и требовавшей пуристического устранения славянских элементов из «самодостаточного», на их взгляд, русского языка. Эта установка актуализирует для них параметры генетической противопоставленности русского и церковнославянского и обуславливает их резко отрицательное отношение к синтетическому опыту Пауса. Вместе с тем задачи нормализации нового литературного языка ограничивают для них возможности «очищения» этого языка от «славянизмов», пуризм в морфологии находит лишь весьма ограниченное применение. Нереализованность пуристической установки проявляется и в том, что отдельные элементы характеризуются как «славенские», но тем не менее вопрос об их изгнании не стоит. Так обстоит дело с «иррегулярными» словоформами с основой *матер-* и *дочер-*, а также с формами ед. числа слова *Господь*; они сохраняются очевидно потому, что их нечем заменить, однако в этом случае противоречивой оказывается оговорка об их «славенском» характере – она не согласуется с декларацией об изгнании из склонения всех славянизмов. Утверждаемая академическими филологами норма имеет синтетический характер, соединяя в себе и отталкивание от церковнославянской грамматической традиции, и преемственность в отношении этой же традиции. Именно эта синтетическая норма проводится в академических изданиях и оказывается тем самым запечатлена в корпусе образцовых текстов, на которые ориентируется письменный узус культурной элиты.

Это развитие позволяет говорить об академической традиции в формировании русского языкового стандарта. Вокруг Академической гимназии и Академической типографии, институций, которые обеспечивают введение русского языка в обиход академического преподавания и публикацию книг на новом «гражданском» наречии, складывается круг филологов (Адодуров,

Шванвиц, Тредиаковский, Тауберт, позднее В. Лебедев), объединенных общими в целом установками и занятых созданием норм (прежде всего орфографических и морфологических) нового литературного языка. Работа носила в значительной степени коллективный характер (можно предположить, например, что материалы, с помощью которых преподавал один из ученых этой группы, затем могли использоваться и пополняться другими), так что авторство отдельных текстов иногда трудно определить. Представляется целесообразным вслед за Л. Дюровичем (Дюрович 1992) говорить о «грамматике Академической гимназии» как совокупности текстов, представляющих единую традицию, подводящую нас к «Российской грамматике» Ломоносова и закладывающую основы для формирования русского языкового стандарта.

3. Лингвистические программы. Роль изящной словесности

Как уже говорилось, на начальном этапе академическая нормализация ни на какую литературу не ориентируется и ни с каким литературным развитием не соотносится. Это обстоятельство важно потому, что оно указывает на задачи, которые возникали при соединении данных процессов. Новая литература должна была приспособить для своих нужд тот нарождавшийся языковой стандарт, который создавался в академической переводческой практике. Первым за это дело принимается Василий Тредиаковский, возвращающийся в 1730 г. в Россию. Он привозит с собою свои литературные труды (перевод «Езды в остров любви» П. Талемана и небольшую подборку собственных стихотворений) и предпринимает усилия для того, чтобы из своих литературных занятий сделать академическую деятельность. В определенной мере ему это удается.

В этом контексте можно взглянуть и на сформулированную Тредиаковским лингвистическую программу, заявленную им в хрестоматийном абзаце из предисловия к «Езде в остров любви». Она в целом соответствует тем языковым установкам, которыми руководствовались академические переводчики, но соединяет их с задачами формирования новой европеизированной литературы. Вообще надо заметить, что влияние здесь идет в обоих направлениях. Тредиаковский в это время ближайшим образом сотрудничает с Адодуровым, так что лингвистическая программа формулируется ими, видимо, совместно. В этой программе просматриваются черты петровской языковой политики, однако она идет дальше и содержит качественно новые моменты. В предисловии к «Езде в остров любви» (1730 г.) Тредиаковский пишет:

На меня, прошу вас покорно, неизволте погневаться, (буде вы еще глубокословныя держите славенщизны) что я оную неславенским языком перевел, но почти самым простым Руским словом, то есть каковым мы меж собою говорим. Сие я учинил следуюш[и]х ради причин. Первая: язык славенской, у нас есть язык церковной; а сия книга мирская. Другая: язык славе[н]ской в нынешнем веке у нас очюнь темен, и многия его наши читая неразумеют; А сия книга есть

СЛАДКИЯ ЛЮБВИ, тогоради всем должна быть вразумительна. Третья: которая вам покажется может быть самая легкая, но которая у меня идет за самую важную, то есть, что язык славенской ныне жесток моим ушам слышится, хотя прежде сего не толко я им писывал, но и разговаривал со всеми: но за то у всех я прошу прощения, при которых я с глупословием моим славенским особым РЕЧЕТОЧЦЕМ хотел себя показыв[а]ть

(Тредиаковский 1730, предисл., л. 60б.–7/III, 649–650).

В этих словах отпечаток петровской культурной программы выступает с полной очевидностью. Славянский язык рассматривается как язык традиционной церковной культуры, непригодный для выражения новых культурных ценностей. Использование церковнославянского вне рамок традиционной (духовной) культуры объявляется «глупословием», идущим от нелепого желания прослыть «особым речеточцем», и это в точности соответствует поношению «чванства безумных книжечий», употребляющих церковнославянский «для удивления народного», у Феофана Прокоповича. К Прокоповичу же (к «Духовному Регламенту») восходит и положение о темноте церковнославянского, о его недоступности многим читающим (см. выше, § X-7; ср.: Успенский 1985, 124; Живов 1996, 128–131). Языком новой культуры Тредиаковский провозглашает «самое простое Руское слово».

Вместе с тем в приведенных словах можно выделить принципиально новые моменты, посторонние для мысли Петра и его сподвижников. Во-первых, оппозиция церковнославянского и русского языков оценивается в эстетических категориях, и именно эта эстетическая оценка выдвигается как главная причина, побуждающая к переходу на русский язык. Высказывание Тредиаковского совпадает при этом с высказыванием Адодурова: как и Тредиаковский, Адодуров говорит о «жесткости» церковнославянского языка – «nunmehr aller Slavonismus... einen greßlichen Laut in denen Ohren derer Heutigen erreget» (Адодуров 1731, 26; ср.: Унбегаун 1958, 110; Успенский 1975, 65); в противоположность церковнославянскому русский оценивается как «изящный» (zierlich) (Успенский 1975, 66–67; Успенский 1985, 80–88). Эстетическая оценка языкового материала является, следовательно, общей позицией первых кодификаторов. Во-вторых, новый литературный язык ориентирован на разговорное употребление, на тот язык, «каковым мы меж собой говорим». Такая теоретическая установка также была новшеством (Петр, напомню, говорил о «словах Посольского приказа», т. е. в качестве ориентира указывал не на разговорный язык, а на одну из письменных традиций). И эта установка была, видимо, общей для Тредиаковского и Адодурова (см.: Успенский 1975, 55–57). Как будет видно из дальнейшего, оба эти новые положения сыграли существеннейшую роль в развитии литературного языка. Эстетическая установка требует не простого отталкивания от прежней книжной традиции (как было раньше), а обработки нового литературного языка, возникшего в результате этого отталкивания; разговорное же употребление выступает как тот критерий, которым следует руководствоваться при этой обработке. Это и было результатом приложения к русской языковой ситуации европейского образца.

Источником учения, согласно которому литературный язык должен быть ориентирован на разговорное употребление культурной элиты, были французы. К. Воже́ла, влияние идей которого было определяющим для всех лингвистических программ, связанных с классицизмом, основывал «*bon usage*» на «*la façon de parler de la plus saine partie de la Cour, conformément a la façon d'escrire de la plus saine partie des Auteurs du temps*» (Воже́ла 1647, л. а10б.). Его продолжатель, К. Бюфье, предпочитал говорить о «*la plus nombreuse partie*», поскольку, на его взгляд, «*la plus nombreuse partie est quelque chose de palpable & de fixe; au lieu que la plus saine partie peut souvent devenir insensible ou arbitraire*» (Бюфье 1709, 22). Свои нюансы вносили в эту формулировку Д. Бугур, О. Ракан, Т. Корнель и многие другие. Однако, каковы бы ни были вариации, в них сохраняется общее идущее от Воже́ла ядро. Именно эта концепция определяла те категории слов и конструкций, которые должны были быть исключены из хорошего языка, – это были те элементы, по которым *gentil homme* опознавал отставшего от моды или прибывшего из провинции чужака. Это ядро и было усвоено Тредиаковским и Аододуровым. Именно в русле данных идей Тредиаковский писал о языке, «каковым мы меж собой говорим». В Речи к Российскому собранию 1735 г., посвященной устройению и усовершенствованию русского языка, эта установка формулируется более определенно, в качестве ориентира указывается «двор Ея Величества в слове наиучтивейший... благоразумнейшие Ея Министры, и премудрейшие Священноначальники... знатнейшее и искуснейшее дворянство» и, наконец, «собственное о нем [языке] разсуждение, и воспринятое от всех разумных употребление» (Тредиаковский 1735б, 13/1935, 331). В 1736 г. французская формулировка почти буквально повторяется в «Письме некоего россиянина», где грамматику предлагается основывать «*sur le meilleur usage de la cour et des habiles gens*» (Тредиаковский 1849, 105; ср.: Томашевский 1959, 44–45; Успенский 1985, 131–134; Синьорини 1988, 519–521). Итак, усвоенная от французов концепция чистоты языка задавала общее направление нормализации нового литературного языка.

Аододуров в грамматическом очерке 1731 г. говорит о «жесткости» церковнославянского языка и, как мы видели, предлагает изгнать из словоизменительных парадигм нового языкового стандарта все «славянизмы» (Аододуров 1731, 26; ср.: Унбегаун 1958, 110; Успенский 1975, 65); в противоположность церковнославянскому русский оценивается как «изящный» (*zierlich*) (Успенский 1975, 66–67; Успенский 1985, 80–88). Точно так же Тредиаковский в предисловии к «Езде» заявляет, что «язык славенской ныне жесток моим ушам слышится» и что прежде всего по этой причине он издаваемую книгу «неславенским языком перевел, но почти самым простым Руским словом, то есть каковым мы меж собою говорим» (Тредиаковский 1730, предисл., л. боб.-7/III, 649–650). Тредиаковский, таким образом, выражает готовность присоединиться к тому направлению нормализации языкового стандарта, которое избрали академические переводчики.

Таковы во всяком случае декларации. Если, однако же, взглянуть на языковую практику, то здесь обнаруживаются расхождения. Так, скажем, в академических публикациях 1729–1730-х годов в качестве унифицированного окончания им.-вин. мн. числа (для всех трех родов) выступает флексия

-ие/-ые, ее же в том же качестве приводит и М. Шванвиц в своей немецкой грамматике 1730 г. (Шванвиц 1730). Тредиаковский, однако, в «Езде в остров любви» предпочитает в качестве унифицированного окончание -ия/-ья (флексия -ие/-ые появляется в «Езде» лишь в виде окказионального отклонения). Еще показательнее употребление инфинитива. Как свидетельствуют «Примечания к ведомостям», в академической практике нормативной является только форма на -ть, тогда как форма на -ти полностью исключена из употребления (имею в виду глаголы с ударением на основе). Тредиаковский в «Езде» следует этой норме в прозаическом тексте, и это выглядит как свидетельство его согласия с академической нормализацией; в стихотворном тексте, однако, дело обстоит иным образом, инфинитивы на -ти употребляются здесь без всяких ограничений (наряду с инфинитивами на -ть), ср., например, в рифмах: *творити – быти* (Тредиаковский 1730, 30), *смягчити – быти* (с. 35), *небыти – забыти* (с. 90), *здати – изъяти* (с. 105), *любити – быти* (с. 105).

В данном случае мы явно имеем дело с поэтической вольностью; позднее, в «Новом и кратком способе к сложению российских стихов» 1735 г., Тредиаковский специально оговаривает возможность употребления инфинитивов на -ти в этом качестве (Тредиаковский 1735б, 16). Говоря о поэтических вольностях в стихотворстве 1730–1740-х годов, Винокур замечает: «Основной исторический смысл явления “вольностей” заключается в том, что в нем обнаружилось серьезное противоречие между процессом развития общенационального языка и интересами стихотворной литературы: ради этих интересов писатели, стремившиеся полностью освободить литературу от церковнославянского языка, вопреки своим собственным стремлениям, удерживали в стихотворном языке церковнославянские формы» (Винокур 1959, 129–130). Приведенные выше данные позволяют взглянуть на данное явление совсем иным образом. Мы имеем здесь дело не с «противоречиями» во взглядах первых русских поэтов, а с результатом приспособления формировавшегося вне литературы языкового стандарта к задачам литературного сочинительства.

Понятно, что ни о каком «общенациональном» языке в этот период речь не идет. Хотя тому языковому стандарту, который начинают вырабатывать в послепетровское время, предстояло в далеком будущем стать общеобязательным (как это и пристало настоящему литературному языку), на начальном этапе он был явлением узко элитарным. Он воспринимался в качестве нормативного не только не всем грамотным обществом (составлявшим меньшинство в населении России), но даже не всей европеизирующейся элитой. Первоначально он был достоянием ученой элиты, исчислявшейся в десятках, а не в сотнях человек. Приспособление данной нормы к задачам литературы означало, что к этому узкому кругу присоединялся еще один узкий круг, тех, кто производил и потреблял тексты новой европеизированной литературы. Как показал успех «Езды в остров любви», этот круг был способен достаточно быстро расширяться (опять же в ограниченных пределах европеизирующейся элиты). Сыграло ли роль это обстоятельство или более частные причины, но претензии Тредиаковского были удовлетворены.

Показательно, что в «Anfangs-Gründe der Russischen Sprache» Адодурова в парадигме прилагательных в им.-вин. мн. числа в качестве вариантных «per tria genera» даются флексии *-ие* и *-ья* (Адодуров 1731, 30). Это отступление от установившейся к тому времени академической нормы, запечатлевшейся в «Примечаниях к ведомостям» за 1728 и 1729 гг. (Живов 2004а, 468–470) и зафиксированной в сочинениях М. Шванвица, чей «Compendium Grammaticae Russicae» 1731 г. был одним из основных источников «Anfangs-Gründe der Russischen Sprache» (там же, 487–488)⁵²¹. Вместе с тем в «Езде в остров любви» Тредиаковского, изданной в 1730 г., основным безродовым окончанием является *-ья* (там же, 471–472). Кажется вполне правдоподобным, что Адодуров, кодифицируя в своем очерке оба «безродовых» окончания, предлагает компромисс между двумя этими узусами и, таким образом, идет навстречу Тредиаковскому, т. е. тому «узусу литературы», который существовал на данный момент.

Кодифицируя в инфинитиве формы на *-ть*, Адодуров находит нужным указать, что в стихах возможно также употребление формы на *-ти* (там же, 44). Относительно инфинитивов на *-ти* в «Anfangs-Gründe» сказано следующее: «In dem Lexico hat man den Infinitivum gemeinlich auf и als читати lesen, ausgehend gesetzt, dahingegen endiget sich bey vorhergehenden Paradigmatis der Infinitivus auf ь als дѣлать machen. Es ist deswegen zu wissen, daß alle Verba das ь im Infinitivo <...> auch in der 2 Persona Futuri Indicativi und endlich auch bey dem Futuro Participii mit и veraⁿndern, wenn solches die Gelegenheit, als in Versen, erfordert. Im Schreiben und Reden jedoch ist die Contractio mit ь dem andern vorzuziehen. Exempel davon sind дѣлати an statt дѣлать machen <...> буду дѣлати an statt буду дѣлать ich werde machen, имущій дѣлати an statt имущій дѣлать einer der da machen wird» (там же, 44). Варианты на *-ти* трактуются, следовательно, как поэтическая вольность, и это указание несомненно отсылает к стихотворным опытам Тредиаковского. Здесь, таким образом, будущий литературный язык впервые соприкасается с литературой.

⁵²¹ Хотя в «Compendium Grammaticae Russicae» парадигмы прилагательных отсутствуют (Кайперт 2002), о принципах, которым следовал Шванвиц в кодификации прилагательных, можно судить по его немецкой грамматике 1730 г. (Шванвиц 1730). В этом сочинении зафиксированы исключительно формы на *-ие/-ье* для всех трех родов, что соответствовало употреблению, отразившемуся в «Примечаниях к ведомостям» за этот период. В переводе немецких парадигм он дает «Ном: gute, добрые <...> Ак: gute, добрыхъ, добрые», помечая при этом «во всѣхъ трехъ родахъ» (Шванвиц 1730, 175). Понятно, конечно, что «во всѣхъ трехъ родахъ» относится не к русской парадигме, а к немецкой и является простым переводом «durch alle Genera» как помете при немецких формах мн. числа, однако, как показывают формы вин. мн. и как явствует из сопоставления со следующим изданием немецкой грамматики, Шванвиц приводит все русские соответствия, т. е. форма *добрые* также приписывается всем трем родам. Это подтверждают и другие примеры, встречающиеся в переводах немецких парадигм, ср.: *такіе мужья, такіе господа, такіе дома* (с. 195–197); *какіе мужья, какіе господа, какіе дома* (Ном.), *какіе дома* (Ак.) (с. 199–201).

4. Русский пуризм как реплика французского классицистического пуризма

По мысли академических филологов, русскому литературному языку предстояло стать регламентированным, чистым и совершенным. Вставал, естественно, вопрос, что есть совершенство и что есть чистота. Общая обработка нового литературного языка требовала уяснения руководящих принципов лингвостилистической теории. В середине XVIII в. господствующей в Европе оставалась лингвостилистическая доктрина французского классицизма, и именно к ней обращаются русские авторы. Петербургская культура была декларативно культурой европейской, и новой концепцией языковой правильности неизбежно должна была стать концепция европейская. Создавая в России европейскую по типу литературу, Тредиаковский создавал здесь и европейский литературный язык – в обоих случаях образцом служила Франция, т. е. сложившаяся во Франции теория литературы и литературного языка (ср.: Ахингер 1970, 16–29). Точно так же как руководящим началом новой литературы становился буалоизм (ср.: Пумпянский 1937; Пумпянский 1983), руководящим началом нового литературного языка оказывались лингвостилистические теории К. Вожеля и его многочисленных последователей и интерпретаторов, включая пуристов Французской Академии (см. общий обзор этих теорий: Брюно, III, 1–65, 152–227; Брюно, IV, 2–77; Брюно 1969; Гуковская 1957).

Воззрения французских академиков успешно распространялись по всей Европе – «Российские Европии» должны были наложить на себя и это французское ярмо, каким бы тяжелым оно ни было. «Сверх того, – говорил Тредиаковский в Российском собрании, – первые ли мы в Европе, которым сие не токмо трудно, но почти и весьма неприступно быть кажется? были, были таковые, которые не бояся того, но смотря на будущую из сего пользу, начали, продолжили, и некоторые с похвалою окончили. Например: не трудно было, в самом начале, Флорентинской Академии старание возъиметь о чистоте своего языка; возъимела. Не страшно было, думаю, предпринять так же и Французской Академии, чтоб совершеннейшим учинить свойство их диалекта; предприняла. Не возможно, чаю, сперва казалось Леипцигскому Сообществу подражать толь благоуспешно вышереченным оным Академиям, коль те начавши окончили щастливо; подражает, и подражала благополучно» (Тредиаковский 1735а, 12/1935, 330–331). Руководством на этом пути совершенствования должна была служить образцовая литература. Поскольку в России такой литературы (по крайней мере, на взгляд Тредиаковского) не было, ориентирами становились античные и французские авторы. Тредиаковский восклицает: «Помогут нам... премногие творцы Римские, а наипаче хитрый и сладкий в слове Марк Туллий Цицерон. Помогут Французские Балзаки, Костарды, Патрю и прочие безчисленные» (там же, 14/331).

Понятно, что к орфографической и морфологической нормализации античные авторы, даже столь славные, как Цицерон, могли иметь лишь весьма косвенное отношение. Однако устанавливавшаяся связь между языковой

нормализацией и литературой актуализировала лексический отбор, традиционно считавшийся той сферой, в которой проявляется мастерство автора, его умение распорядиться ресурсами языка. Литература обладала жанрами, а жанры – в их классицистическом исполнении – соотносили тематику и словарь, и в силу этого в сфере стилистической дифференциации лексики изящная литература была главной движущей силой.

В сфере лексики классицистическая доктрина (доктрина пуризма) в ее вожеластистском варианте ориентировала литературный язык на идеализированную речь двора: лексика литературного произведения должна была соответствовать естественности, непринужденности, легкости и столичному лоску придворной речи. Соответственно, «чистый» язык должен был быть свободен от диалектной лексики (примета провинциала), архаизмов (примета человека, отставшего от моды), ученых слов (латинизмов), судейской лексики (*la langue du Palais*), слов низких и грубых (оскорбляющих «хороший вкус» и «благопристойность»). В «чистом» языке не было также места заимствованиям и неологизмам, которые, согласно тогдашнему взгляду, затрудняли легкость восприятия и вносили варварскую дисгармонию в совершенство французского языка (отношение к последним двум категориям могло быть, впрочем, и несколько более мягким, однако и при таком отношении заимствования и неологизмы допускались лишь в самом ограниченном количестве). Как говорил Н. Фаре в своей речи в Академии, она должна «*nettoyer la langue des ordures qu'elle avoit contractées, ou dans la bouche du peuple ou dans la foule du Palais et dans les impuretés de la chicane, ou par les mauvais usages des courtisans ignorants, ou par l'abus de ceux qui la corrompent en l'écrivant...*» (Капю, I, 203). В рамках «чистой» лексики выделялись слова высокого, среднего и низкого рода. Классицистическая доктрина давала, таким образом, готовую систему рубрик, по которым должна была распределяться «чистая» и «нечистая» лексика. Российским европейцам оставалось лишь приложить эту систему к лексическому материалу родного языка⁵²².

⁵²² Следует заметить в этом контексте, что и в целом проект языкового строительства, который пытались реализовать академические филологи, следовал французскому образцу. В 1735 г. Тредиаковский организует Российское собрание, которое и должно было заняться этим проектом. Хотя заведение, судя по немногим имеющимся у нас сведениям, было весьма скромным, планы были грандиозными и в точности напоминали планы Французской Академии. Действительно, как следует из речи Тредиаковского, Российскому собранию предстояло позаботиться «о Грамматике доброй и исправной, согласной мудрых употреблению», «о дикционарии полным и довольном», «о Реторике, и Стихотворной Науке» (Тредиаковский 1735а, 6–7/1935, 327–328). Эта программа является точной копией устава Французской Академии, в 26-м пункте которого говорится: «Il sera composé un Dictionnaire, une Grammaire, une Rhétorique et une Poétique sur les observations de l'Académie» (Ливе, I, 493; Капю, I, 206). Определенное значение имел, видимо, и тот факт, что аналогичные проекты были и у немецких филологов этого времени. Они вполне могли быть знакомы членам Российского собрания (Тредиаковский ссылается на опыт лейпцигского *Deutsche Gesellschaft*, возглавлявшегося И.-Х. Готшедом) и, надо думать, немецким членам Академии наук, что могло обеспечивать их сочувственное внимание к аналогичным русским опытам (ср.: Живов 1996, 172–173).

Между тем языковая ситуация в России начала XVIII в. радикально отличалась от языковой ситуации во Франции середины XVII в.: в России не было ни сложившегося речевого употребления двора, ни общепринятой литературной традиции, т. е. не было тех принципиальных ориентиров, которые подразумевались во всех построениях французского пуризма (ср.: Мартель 1933, 34–35). Подгонка русского материала под французские рубрики была поэтому достаточно оригинальным предприятием, предполагавшим радикальное переосмысление самих категорий французской теории. Хотя для первого этапа обработки нового литературного языка (до середины 1740-х годов) свидетельств того, в какие конкретные формы выливался этот процесс, почти не сохранилось, самый факт рецепции системы пуристических рубрик устанавливается достаточно четко.

Понятие *архаизма* предполагает литературную традицию, внутри которой определенные элементы служат приметой «старых» сочинений. При отсутствии (или при отрицании) такой традиции архаизмы не могут не быть фикцией, так как отсутствует само заведение, где стареют и умирают слова. Тем не менее Тредиаковский говорит об архаизмах и указывает, что они могут употребляться лишь ограниченно: «Словам: *рыцерь, ратоборец, рать, витязь, всадник, богатырь* и прочим подобным, ныне в прозе не употребляемым, можно в Стихе остаться» (Тредиаковский 1735б, 18/1963, 379). Сама приводимая лексика свидетельствует об искусственном конституировании данной категории: называются не столько устаревшие слова, сколько устаревшие реалии средневекового исторического обихода.

Об отрицательном восприятии *заимствований* может свидетельствовать тот факт, что на фоне интенсивного употребления заимствований в литературе первых десятилетий XVIII в., когда заимствования выступают как стилистическое украшение и вместе с тем как знак новой культурной ориентации (см. выше, § X-8), в «Езде в остров любви», например, «число прямых лексических варваризмов, в частности галлицизмов, весьма ограничено (всего 37 слов, причем среди них преобладают слова не новые даже и для петровского времени...)» (Сорокин 1976, 47; ср.: Алексеев 1982, 89, 96–97). Здесь можно указать и на «Предисловие к переводу Иустиновой истории» А. Кантемира (написанное, впрочем, после 1738 г.), в котором он говорит, что старался переводить «неупотребляя чужестранных речей, которые я по крайней возможности искал миновать» (Дружинин 1887, 198; ср.: Веселитский 1974, 39–42). Против «чужестранных» слов выступает в своем письме к Тредиаковскому 1736 г. и В. Н. Татищев; интересно, что, на его взгляд, эти слова «наиболее самохвалыные и никакого языка не знающие секретари и подьячие мешают, которые глупость крайнюю за великой себе разум почитают и, чем стыдиться надобно, тем хвастают» (Татищев 1990, 224). Употребление заимствований из элитарного и престижного превращается в презируемое и свойственное, по мнению Татищева, лишь низшим слоям образованного общества; эта мгновенная трансформация оценок – несомненный результат усвоения классицистического пуризма.

Казалось бы, для русской филологической мысли рассматриваемого периода было бы естественным отождествление французского *«la langue du Palais»* с *приказным языком*, что должно было бы выразиться в пре-

дупреждении против приказных слов и оборотов. Однако ни в сочинениях Тредиаковского, ни в сочинениях других авторов 1730-х годов никаких упоминаний о приказном языке нет, а Татищев, как мы видели, ставит подъячим в вину не особый язык, а пристрастие к заимствованиям; это, надо думать, говорит о том, что данный язык как особая норма оказывается совершенно не актуальным для культурно-языкового сознания этого времени. В данном факте можно видеть еще одно доказательство того, что приказной язык никакого отношения к формированию русского литературного языка нового типа не имел, что он перестал осознаваться как отдельная традиция и постепенно вытеснялся из сферы своего функционирования новым литературным языком (см. § XIII-1). Такое вытеснение шло по мере того, как законодательно-административная деятельность включалась в область культурного творчества. В подобной ситуации и оказывалось, что внутри культуры никакой приказной традиции не существует и, следовательно, отсутствует коррелят для французского судейского языка (который во Франции – при всем негативном отношении к нему – был все же феноменом культуры).

Отмечу еще, что в ранних произведениях Тредиаковского и Адодурова не содержится никаких указаний на их отношение к «низким», «грубым» или «просторечным» словам. Правда, Адодуров в своем орфографическом очерке 1738–1740 гг. пользуется «народным употреблением» как негативной характеристикой (Успенский 1975, 97, ср. 56–57), однако речь у него идет о правописании, тогда как никакие конкретные элементы языка с подобными категориями не связываются. Следует думать, что лексическая рубрика просторечия вообще неприложима к языковой практике первых реформаторов русского языка (Тредиаковского, Адодурова, Кантемира). В самом деле, в языковой ситуации первых десятилетий XVIII в. книжное и просторечное выступают как соотносительные (взаимодополнительные) категории, тогда как нейтральное пространство между ними отсутствует. Отказываясь от книжной традиции, т. е. от церковнославянского языкового наследия, реформаторы не оставляли для себя возможности характеризовать как просторечные какие бы то ни было элементы нового литературного языка. Поэтому все указания исследователей на обилие просторечной или вульгарной лексики в сатирах Кантемира, в «Езде в остров любви» или в сделанных Тредиаковским переводах итальянских пьес (см.: Виноградов 1938, 70–71; Алексеев 1982, 89, 95) представляются анахронистическими – к языку начала XVIII в. прилагаются те категории, которые сделались актуальными лишь существенно позже (ср.: Князькова 1974, 20–24)⁵²³.

⁵²³ «Низкое» и «грубое» описывают скорее содержание слов, чем их социолингвистические характеристики (как в случае «просторечия»), и в этом плане они могли бы быть освоены с большей легкостью. Вопрос о том, почему этого в начальный период становления языкового стандарта не происходит, представляет известный интерес, хотя и не имеет однозначного ответа. Один из моментов – освоение представлений о том, что прилично, а что неприлично, весьма детально разработанных во французской придворной культуре, но, видимо, не вполне применимых к русской придворной жизни (безусловно неприменимых в Петровскую эпоху и лишь ограниченно применимых при его ближай-

Усвоение французских лингвостилистических концепций предполагало уподобление русской языковой ситуации языковой ситуации Франции. Именно такое уподобление проводит Тредиаковский в примечании к переводу «Военного состояния Оттоманския империи» графа де Марсильи. Тредиаковский пишет:

Подлинно, что Российский язык все свое основание имеет на самом Славенском языке; однако, когда праведно можно сказать, что Французской, или лучше Италианской, не самой Латинской язык, хотя и от Латинского происходит; то с такоуж справедливостию надлежит думать, что Российский язык есть не Славенской: ибо как Италианец не разумеет, когда говорят по Латински, так мало и Славянин, когда говорят по Российски, а Россианин, когда по Славенски (Тредиаковский 1737a, 16; ср.: Успенский 1985, 105–120).

Классическая схема европейской *Questione della lingua* с ее противопоставлением мертвой латыни и живых европейских языков переносится в Россию, причем аналогом латыни выступает церковнославянский, а аналогом разговорных национальных языков – русский. Значимость этого сопоставления состоит не только в том, что оно позволяло рассматривать новый литературный язык как живой, противопоставленный церковнославянскому языку как мертвому, и соответственно переносить на русский язык те принципы обработки, которые были сформулированы для европейских (живых) литературных языков, но и в том, что само восприятие языкового материала получало принципиально новые основания. Поскольку оппозиция старого книжного и нового литературного языка уподоблялась отношениям латыни и французского (или итальянского), оценка языковых элементов попадала в зависимость от генетических параметров, подобных тем, с помощью которых выделяли латинизмы во французском или итальянском. В соответствии с этим оформляется и представление о церковнославянских элементах в новом литературном языке. Элементы языка традиционной

ших наследниках). Вместе с тем весьма специфичными в 1730–1740-е годы были и стратегии новой литературы. Тредиаковский во всяком случае сознательно эпатирует своего читателя, рассчитывая на скандал и быстрый успех; это выразительный случай «*stratégie du succès*» в терминах Алена Виала (Виала 1985, 184–185; см. подробнее об этой стратегии у Тредиаковского: Живов 2002b, 565–567). Язык перевода приспособлен к тому, чтобы завлечь и скандализовать читателя, и в этом плане язык соответствует характеру описания, той откровенной сексуальности (можно было бы сказать, элементам порнографии), которую Тредиаковский ставит на место деликатной эротичности («*delicate eroticism*»), по выражению С. Карлинского (Карлинский 1963, 230), французского оригинала (подборку примеров см. у И. З. Сермана – Серман 1973, 108–109; ср. еще: Успенский 2008, 122–123). Как пишет Карлинский, «*Trediakovsky had to resort to outspoken physical descriptions that would have shocked Abbe Tallemant*». Мне не кажется, в отличие от Карлинского, что Тредиаковский был вынужден эротизировать Таллемана в силу отсутствия в России галантной любви или что он, как полагает Ю. С. Сорокин, стремился «перевести» своих читателей в круг более привычных им представлений» (Сорокин 1976, 48); в конце концов в переводах многих стихотворений из «Езды» он спокойно обходился без непристойностей. Это была сознательная стратегия эпатажа, и она обуславливала возможность слов «низких и грубых».

книжности оказываются аналогами латинизмов во французском литературном языке. Тем самым они вписываются в подготовленную классицистической теорией рубрику ученых слов и в результате получают стилистическую значимость (естественно, отрицательную). Именно в рамках пуристической концепции славянизмы и приобретают статус особой стилистической категории, т. е. генетическая характеристика языкового элемента начинает рассматриваться как фактор, определяющий его стилистические параметры.

Этот кардинальный момент следует особо подчеркнуть, поскольку в нашем восприятии он затушеван внешней преемственностью терминологии: «славенским» называли книжный язык книжники XVI–XVII вв., о «высоких славенских словах» говорил Петр, и эти же выражения употребляли первые кодификаторы нового литературного языка. Когда в петровское время «славенский» употреблялся как обозначение языка, противопоставленного «простому», это терминологическое различие обладало достаточно ясным языковым коррелятом. Однако, как было показано выше, противопоставление двух языков осуществлялось за счет ограниченного набора признаков, языковые элементы вне этого набора с оппозицией языковых кодов не соотносились. Лексический уровень, равно как и целый ряд морфологических элементов допускали широкую вариативность, не связанную с противопоставлением книжного и некнижного языков. Употребление тех или иных вариантов не было дифференцированным, в частности, они не несли фиксированного стилистического задания. Поэтому славянизмы как стилистическая категория в период до 1730-х годов не существовали, и появление их в этом качестве было радикальным теоретическим новшеством. Это в особенности относится к лексическому уровню.

Сама мысль о генетических славянизмах как особом элементе словаря возникает в результате поиска критериев нормализации нового литературного языка и приложения к русскому языковому материалу лингвистических категорий классицистического пуризма. Славянизмы выделяются как аналог латинизмов, однако их стилистическая оценка не только воспроизводит те негативные коннотации, которые связываются с латинизмами во французском, но и вбирает в себя ту отрицательную квалификацию, которую получили в рамках петровской языковой политики специфически книжные слова. Таким образом, отрицательное отношение к традиционному книжному языку (церковнославянскому) переносится здесь на лексический уровень. Это приводит к ряду теоретических и практических трудностей, преодоление которых оказывается важным стимулом развития нового литературного языка.

В самом деле, прежде чем бороться с славянизмами, нужно было определить их состав. Латино-французская модель с логической необходимостью вела к идее параллельных словарей. Однако если латино-французские словари реально существовали, то словари, последовательно соотносившие книжную и некнижную лексику, отсутствовали, сама идея их создания была принципиально чужеродной для великорусской языковой ситуации и практически нереализуемой в силу характера специфически книжной лексики. Переводные словари предполагают, что лексика одного языка получает полный набор соответствий из другого языка. Между лексикой церковно-

славянского и русского языков такие отношения не устанавливались. За пределами ограниченного числа коррелянтных пар, основывающихся на морфонологических или словообразовательных признаках, но весьма разнородных по стилистическим характеристикам, усматривались лишь единичные соответствия (типа *глаз* – *око*), тогда как основная масса слов оставалась общей для обоих языков и разделению на классы славянского и русского не поддавалась. Тем не менее попытки выделить класс лексических славянизмов и ограничить сферу их употребления предпринимались, и это явно свидетельствует о том, насколько императивным было задание, полученное от новоусвоенной теории.

Данная установка ясно прослеживается в словарях, составлявшихся В. Н. Татищевым. Как и следовало ожидать, стремление последовательно разделить славянизмы и русизмы актуализировало прежде всего известные морфонологические и морфологические признаки, так или иначе связанные с различной генетической основой книжного и некнижного языка, такие как полногласие/неполногласие, *ж/жд* на месте **dj*, *ч/щ* на месте **tj* и **kt'*, *о/е* в начале слова, *-ть/-ти* в инфинитиве, приставки *роз-/раз-*, *вы-/из-*, *в-/во-* и т. д. Они явно провоцируют Татищева на постановку различительных помет «р.» (русское) и «сл.» (славенское). Даже в рамках этих признаков, однако, противопоставление не проведено последовательно. Так, очень широко использовано полногласие, здесь создаются даже искусственные противопоставления типа *короче* – сл. *краще*, *оперетися* – сл. *опретися*, однако здесь же находим *перегородка* – сл. *передель* (Аверьянова 1957, 63, 77, 80; Аверьянова 1964, 242). Еще большая непоследовательность в других признаках. Например, при наличии таких пар, как *знать* – *знати*, *есть* – сл. *ясти*, *лить* – сл. *лити* и т. д. обычно инфинитивы даются в форме на *-ти*, причем в ряде случаев эта форма прямо может быть обозначена как русская, ср. *гредати* – р. *грети*, *даяти* – р. *давати*, *обладѣти* – р. *овладѣти* и т. д. (Аверьянова 1957, 55, 59, 66, 50, 51, 74; Аверьянова 1964, 102, 123, 166, 80, 84, 223). Наряду с парами, противопоставленными приставками *вы-/из-*, находим *изгнаніе* – р. *изгонѣ* (Аверьянова 1957, 59); наряду с парами, противопоставленными приставками *роз-/раз-*, находим *разглагольствовати* – р. *разговаривати*, *раздражение* – р. *раздражнєнє*, *размерити* – р. *размерять* (Аверьянова 1964, 338, 340, 343).

Подобные примеры позволяют думать, что для Татищева было актуально прежде всего само задание противопоставить русизмы и славянизмы, тогда как конкретные признаки, на которых основывались такие противопоставления, не имели самостоятельного значения. Поэтому, когда удается противопоставить две лексемы по одному какому-нибудь признаку, все другие признаки оказываются нерелевантными и, как правило, осуществляют свое церковнославянское, а не русское значение. Это показывает, что привычными для Татищева были скорее церковнославянские формы, а русские были определены только негативно, в отталкивании от привычных церковнославянских. По существу это тот же подход, что и у Софрония Лихуда при исправлении «Географии генеральной»: Татищев вовлекает в противопоставление русского и церковнославянского новые признаки, но исходными для него, как и для Лихуда, по-прежнему остаются формы книжного языка,

соответствующие его навыкам письменного книжного языка; это указывает на глубинное тождество их языковых представлений и на их общий генезис.

Словари В. Н. Татищева красноречиво свидетельствуют, что практическая реализация идеи размежевания церковнославянской и русской лексики давала лишь конгломерат разнородно устроенных пар, не решавших никаких задач литературной стилистики. За новоустрояемой оппозицией церковнославянской и русской лексики отчетливо просматривается традиционная оппозиция лексики специфически книжной и нейтральной. Расставляя свои пометы, Татищев в одних случаях просто подменяет искомое противопоставление традиционной оппозицией, ср.: *глупый* – сл. *буй*, *лакомится* – сл. *сластолюбствовать*, *левая* – сл. *шуяя*, *ножны* – сл. *ноже-влагалище*, *однакожь* – сл. *обаче* (Аверьянова 1957, 48, 65, 73, 76), тогда как в других случаях он подбирает пару для нейтральной лексемы, пользуясь элементами подчеркнуто некнижными, иногда имеющими даже выраженный диалектный характер, ср.: *доколе* – р. *покуль*, *ватага* – сл. *обчество*, *лазунчик* – сл. *соглядатель*, *спіонъ* (там же, 53, 43, 65). Здесь ясно видно, как новая теоретическая установка вступает в конфликт со старым языковым сознанием и внутренними свойствами обрабатываемого языкового материала. Новая установка требует изгнания славянизмов, но что такое славянизм, остается непонятым.

Итак, введение генетических параметров в русскую лингвостилистическую теорию, построенную на принципах классицистического пуризма, приводит к новому пониманию соотношения сосуществующих в языке вариантов на разных языковых уровнях. Первые попытки приложения этих параметров к конкретному языковому материалу в рамках данной теории не приводят, однако, к последовательной классификации вариантов ни в лексике, ни в морфологии; они имеют скорее символическую, нежели практическую значимость. Эти опыты декларативно свидетельствуют об усвоении русскими авторами европейских теорий, но то соотношение генетических и стилистических характеристик, которое было само собой разумеющимся во французской или немецкой языковой ситуации, в России сталкивается с существенными трудностями. В лексике эти трудности возникают прежде всего в силу того, что и языковая практика, и языковое сознание, складывавшиеся веками, строились на объединении словарного материала книжной традиции и разговорного языка и функциональном переосмыслении вариантов, при котором происхождение слова было лишь третьестепенным фактором. В морфологии основным источником трудностей было противоречие между генетическими (или квазигенетическими) характеристиками и грамматической традицией, благодаря которой употребление ряда морфологических элементов ассоциировалось не с противопоставлением разного типа языков, а с грамотностью как таковой.

Эти сложности приводят к постепенному осознанию специфики русской языковой ситуации. Неадекватность генетических параметров показывала, что самый характер русского языкового материала чем-то отличал русский от других европейских языков. Поэтому описанные выше опыты создавали потенциальную возможность для новых теоретических изысканий. Их результатом была концепция «славенороссийского» языка как литературного

языка, соединяющего в себе церковнославянское и русское начала. В этом переосмыслении едва ли не важнейшую роль играла литература. Со второй половины 1730-х годов, когда усилиями Тредиаковского, а несколько позже Ломоносова и Сумарокова составляется минимальный корпус образцовых (претендующих на образцовость) текстов, получает смысл общий тезис, который Винокур ошибочно преподносит в качестве универсального: «[Р]азвитие литературного языка должно рассматриваться в самой тесной зависимости от развития самой литературы» (Винокур 1959, 135). Жанровая структура корпуса литературы определяет решение кардинальных проблем, возникавших в процессе создания языкового стандарта. Стремление изгнать из языкового стандарта все «славянизмы» очень скоро перестает быть актуальным, поскольку – вне зависимости от авторских намерений – имеет место преемственность основных жанров новой литературы с церковнославянской панегирической литературой предшествующего периода (см. подробнее: Живов 1996, 243–264). Со второй половины 1730-х годов в нормализующем отборе языковых средств из «петровского пула» все большую роль играют лингвистические навыки, восходящие к старой книжной (церковнославянской) традиции.

Это не означает, что принятые ранее нормализационные решения подвергаются немедленному пересмотру, однако там, где порядок наведен не был, традиционные навыки книжного письма оказываются куда более важным фактором при отборе приличествующих новому идиому элементов, нежели прежнее стремление порвать с церковнославянским языком. Одним из следствий этой ситуации оказывается определенная несогласованность в стандартизации разных уровней языка, уже отмечавшаяся исследователями (см.: Хютль-Фольтер 1984–1985). Морфологическая норма была в существенной степени сформирована уже к середине 1730-х годов, и в нормализационном отборе вариантов отталкивание от церковнославянского играет здесь достаточно заметную роль. Синтаксис и особенно лексика оставались по большей части нерегламентированными, и их регламентация пошла по другому пути.

ГЛАВА XII. СЛАВЯНОРОССИЙСКИЙ ЯЗЫК И СИНТЕЗ КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВЫХ ТРАДИЦИЙ

1. Адаптация классицистического пуризма к русской литературно-языковой ситуации

Как было показано, в ранний период формирования русского литературного языка нового типа теоретические воззрения радикально противостояли складывавшейся практике. Теоретически провозглашалась установка на разговорное употребление, а отношение к предшествующей литературно-языковой традиции было резко негативным. Практически, напротив, имела место преимственность в отношении к предшествующей литературно-языковой традиции, тогда как установка на разговорное употребление не осуществлялась (или осуществлялась лишь в символических частностях, таких как введение в орфографию отдельных элементов передачи разговорного произношения). Заимствованная у французов концепция литературного языка приобретала в русских условиях новые очертания. В частности, если французский классицизм апеллировал как к разговорному употреблению, так и к литературной традиции, то его русские наследники от последнего пункта отказывались. Этот отказ был связан с петровской языковой политикой, определявшей церковнославянский как клерикальный язык, непригодный для новой культуры. Теоретический отказ от церковнославянского языкового наследия был обусловлен тем антагонизмом секулярной и клерикальной культур, который развился в ходе петровских преобразований. На фоне этого антагонизма происходит рецепция классицистических языковых теорий. Оппозиция русского и церковнославянского оказывается при этом заданной, и из французских теорий извлекаются термины, в которых эту оппозицию можно было бы описать. Эти термины носят генетический характер, и в результате противопоставление русского и церковнославянского уподобляется противопоставлению французского и латыни, что, в свой черед, приводит к уподоблению славянизмов в русской языковой ситуации латинизмам во французской языковой ситуации.

Такое положение вещей создавало ряд неудобств, и это делало его неустойчивым. Во-первых, само пользование фиктивной теорией оказывается скорее препятствием для обработки языка, нежели стимулом его развития, поскольку критерии обработки становятся фиктивными и не могут служить

реальным руководством при решении конкретных вопросов. Во-вторых, возникало противоречие между желанием устроить новый литературный язык на европейских основаниях и попытками построить гражданский язык, противопоставленный языку церковному. В самом деле, никакой аналогии для сосуществования двух языков с подобной дифференциацией функций в Европе не было. С европейской точки зрения ограничение функций литературного языка одной лишь светской сферой представлялось свидетельством его ущербности, недостаточного «богатства», не позволяющего ему с равным успехом описывать как низкие, так и высокие материи.

Языковая политика Петра при всей ее ориентированности на Европу приносила, как уже говорилось (см. § X-3–5), вовсе не европейский результат. Действительно, особый гражданский язык, противопоставленный церковному, скорее был новой трансформацией русской языковой ситуации предшествующего периода, новой перегруппировкой регистров, нежели копией с европейских образцов, являвших идеал универсального (полифункционального) национального языка. Увлеченные борьбой с церковнославянским, первые кодификаторы нового литературного языка могли поначалу не замечать этого противоречия, но по мере расширения функционального диапазона нового языка (когда на нем появилась не только научно-техническая литература и книги «сладкия любви», но и риторические панегирики и философские рассуждения) несоответствие исходного замысла европейскому идеалу должно было становиться все более и более очевидным.

Между тем к середине 1740-х годов складывается новая культурно-историческая ситуация. Политика Петра приносит свои плоды: создается новое общество и новая культура. Хотя антагонизм этой культуры по отношению к культуре традиционной до конца не исчезает, он приобретает новые формы. Вырастает поколение, для которого эта культура привычна с детства; для столичного дворянства оппозиция традиционной и новой культуры – это уже не оппозиция старых привычек и убеждений новой, только что освоенной идеологии, а оппозиция собственной элитарной культуры культуре непросвещенного общества. В частности, к середине 1740-х годов утверждается определенный синтез реформированного православия и императорского культа, так что борьба с «клерикализмом» перестает быть актуальной проблемой. Соответственно перестает быть актуальной и борьба с церковнославянской языковой традицией. Равным образом и новый литературный язык в какой-то мере теряет свою новизну, накапливаются написанные на нем тексты и сам акт писания на нем перестает быть беспрецедентной смелостью. При всем различии этих текстов в плане конкретных форм они объединены общей установкой – ориентацией на нормализованный литературный язык, отвечающий требованиям классицистического пуризма.

Существование текстов на новом литературном языке принципиально легализовало – с позиций того же классицистического пуризма – ссылки на литературную традицию, и это создавало потенциальную возможность обращения к текстам (а не только к разговорному употреблению) как критерию языковой правильности. Вместе с тем эти тексты свидетельствовали,

что русский может выполнять функции литературного языка и при некотором усовершенствовании сделает это не хуже, чем латынь или любой из европейских языков. Поэтому актуальным становится уже вопрос не о равноправии нового литературного языка с традиционным книжным языком (церковнославянским), а о его равноправии с другими культурными языками Европы, т. е. о его способности выражать все разнообразие понятий и явлений европейской культуры. Как замечает А. А. Алексеев, «в эпоху бурного развития национального самосознания оказывается уже недостаточно считать, что “мы народ уж новый”, как это было в Петровскую эпоху, необходимо было встать на одном уровне с Европой» (Алексеев 1982, 126).

Данная перспектива требовала избавления от того дуализма гражданского и церковного языка, который входил в программу 1730-х годов. Как можно было выполнить эту задачу? Логичным было бы перевести для этого на свой язык Св. Писание и церковную службу, как это сделали в свое время немцы или англичане. Связь совершенствования литературного языка с переводом на него духовной литературы вполне актуальна для культурного сознания рассматриваемой эпохи. О немецком прецеденте, причем именно о развитии языка в протестантской части Германии, пишет Ломоносов: «... как Немецкой народ стал священныя книги читать и службу слушать на своем языке; тогда богатство его умножилось и произошли искусные писатели» (Ломоносов IV, 226/VII², 588; ср.: Кайперт 1991; Пиккио 1992, 144). Возможно была, видимо, и ориентация на прецедент французский, когда на свой язык переводится богословская литература, историко-церковные сочинения, проповедь и т. д. Этот путь был опасным, трудоемким, противоречащим традиционным устоям русского общества и дававшим малую надежду на успех. Открывался, однако, и другой путь – пусть менее логичный, но зато более простой и верный. Этот путь состоял в том, чтобы как-то объединить русский и церковнославянский, новый и старый книжный язык, настолько, по крайней мере, чтобы о них при случае можно было бы говорить как об одном языке. Если бы нашлась такая рубрика, которая позволяла бы рассматривать церковнославянский и русский как два варианта одного языка, то требование полифункциональности оказалось бы выполненным само собой: новая литература на русском языке охватывала бы «все гражданское», а старая церковнославянская литература охватывала бы «все божественное». Как мы знаем, этот путь не был особой новинкой, он был отвергнутой возможностью. Паус смотрел на кодифицируемый им языковой стандарт именно таким образом и свою кодификацию именовал «Grammatica Slavono-Russica» (см. выше, § XI-2). К решению Пауса вполне можно было вернуться, игнорируя при этом приоритет этого враждебного новым академическим филологам автора.

Именно так и поступает Тредиаковский. Первые шаги в данном направлении можно найти уже в его «Слове о витийстве», написанном в 1745 г. Тредиаковский противопоставляет здесь иностранные языки «природному» языку. Употребление «природного» языка (в отличие от иностранных) как раз и отличается искомой полифункциональностью, ему свойственно, по словам Тредиаковского, «наичастейшее употребление, и почитай ежечасное». И Тредиаковский продолжает (1745а, 57–59):

Ибо куда бы кто, в самом порядочном городе, ни пошел, везде он природный свой язык услышать имеет. Ежели в большой колокол благовестят ему в Церковь; в Церкви природным его языком молитвы проливаются, так Божие проповедуется Слово. Буде, для должности, или для любопытства, впустится верховного Самодержца в Палаты; в Палате все... природным языком и взаимно себе поздравляют, и доброжелание свое объявляют, и друг другу приветствуют, и прочее разговаривают как искренне, так и лицемерно, а сей он язык услышав, и сам для чести не захочет другим говорить. Пускай претстанет в Сенате пред Сенаторами; в Сенате также природным языком, и о нужде своей претставит, и что они определят, темже языком написано будет. Пускай войдет в судейскую пред Судью; пред Судьею равным образом, как дело свое оправданием, или уликою очистит, ежели оно справедливое, так и обвинен будет за оное, буде оно не справедливое, природным языком. Угодноль ему будет вытти на площадь? На площади природным языком и сам говорить имеет, и от других <...> разговоры поймет. Пускай придет смотреть в праздник комедию; и на театре природным языком баснь претставляется <...> Что больше? Величавшему солдату потакать станет, природным языком; работника наймет, природным языком; приятелей поздравит, природным языком; детям наставление преподает, природным языком; другую самого себя половину, или ласково примолвит, или гневно с нею говорить станет, природным языком.

Итак, согласно утверждению Тредиаковского, повсеместно – и в светской, и в церковной сфере – употребляется единый «природный» язык; Тредиаковский не уточняет, какой именно – русский или церковнославянский, – но очевидно, что при таком подходе само это противопоставление как-то снимается. Если вспомнить радикальные заявления Тредиаковского в предисловии к «Езде в остров любви», замечания Адодурова о славянизмах в его грамматическом очерке, отрицательное отношение Адодурова к концепции Пауса и т. д., совершившийся переворот в понимании соотношения церковнославянского и русского языков кажется почти невероятным. В более широкой перспективе, однако, представление об определенном единстве русского и церковнославянского выглядит достаточно обычным и традиционным. Петровская эпоха была недалеким прошлым, а в течение многих предшествующих веков никакого противопоставления двух языков в языковом сознании не фиксировалось, и в любом случае наименование «русский» могло свободно прилагаться и к книжному языку, и к языку не-книжной письменности, и к языку разговорному (ср.: Дель'Агата 1986, 186). Можно полагать, что теперь это традиционное восприятие подвергается новому переосмыслению, и в этом модифицированном виде для него открывается новое поприще.

В «Слове о витийстве» Тредиаковский затрагивает интересующий нас вопрос лишь мимоходом, не вдаваясь в подробности. Единство русского и церковнославянского не столько утверждается, сколько подразумевается. Вопрос этот был, однако, слишком важным и требовал разъяснения. Предстояло определить природу подразумеваемого единства, причем категории

старого восприятия, свойственного допетровской эпохе, теперь не годились: и русский, и «славенский» были теперь полноправными письменными языками, со своей письменной традицией, оба были кодифицированы, отличия одного от другого неоднократно обсуждались и трактовались в генетических терминах. Задача была сложной, и можно заметить сразу же, что и Тредиаковский, и Ломоносов справились с ней лишь отчасти. Совместить противопоставленность и единство можно было лишь с помощью сложных и искусственных построений. Тем не менее в работах конца 1740-х – 1750-х годов делаются попытки решить эту задачу.

В написанной через год после «Слова о витийстве» статье «О правописании прилагательных» (первый вариант – 1746 г.) Тредиаковский уже намечает тот путь сведения русского и церковнославянского воедино, который он будет развивать и в дальнейшем. Он пишет здесь о «сличии и сходстве, по самой бóльшей части славенского с нашим языком, о котором всем весьма есть извесно, что он нашему источник и корень, и с которым наш мало нечто разнится» (Ломоносов, IV, примеч., 12–13; ср.: Вомперский 1968, 87). Понятие «корня», «коренных» свойств языка – не изобретение Тредиаковского. И во Франции, и в Германии в XVII – начале XVIII в. оживленно обсуждается вопрос о коренных свойствах языка, о его константных качествах, остающихся неизменными при всех инновациях, вносимых обычаем (употреблением), и определяющих дух языка (*génie de la langue*). Рассуждения о гении различных языков встречаются во французской литературе настолько часто, что было бы бессмысленно приводить отдельные примеры (ср.: Козлов 1988). В самом общем смысле гений языка понимается как совокупность его специфических характеристик, определяющих отличие данного языка от других, и его тождество самому себе на разных этапах развития (в этом смысле говорится, в частности, о перемене гения языка при переходе от латыни к французскому).

Рассуждения Тредиаковского должны интерпретироваться именно на фоне этих европейских концепций. Указывая, что славенский является корнем русского и что русский почти от славенского не отступает, Тредиаковский дает тем самым понять, что коренные качества этих языков тождественны, что при частных различиях формы они обладают единым духом или единой природой. Это утверждение эксплицитно высказано в «Разговоре об орфографии» (1748 г.). Тредиаковский здесь вновь с большой подробностью обсуждает вопрос об окончании прилагательных во мн. числе. Доказывая, что в мужском роде в этих окончаниях последней гласной должна быть *и*, Тредиаковский в качестве первой причины указывает на «славенского языка единство с нашим» (Тредиаковский 1748, 295/III, 199). Когда же чужестранный человек высказывает сомнения и говорит, что «не токмо славенский язык не один с вашим, но почитай и не сходен» (там же, 297/201), российский человек, т. е. Тредиаковский, излагает, что он вкладывает в понятие единства:

Тот язык не может быть не один с каким другим, который имеет одну во всем распространении своем, природу с тем другим: ибо единство природы в каких вещах, означает, что те вещи одно и тож имеют существо, то есть, что оне одно и тож между собою. А понеже,

русский наш язык имеет одну, во всем распространении своем, природу с славенским: ибо теж самыя в нем имена и глаголы; теж прочие скланяемые, и нескланяемые ча́сти; теж склонения имен и спряжения глаголов... притом теж предлоги, и техже падежей требующии; теж надглаголия и с темиж падежами полагающияся; теж союзы; тож самое сочинение не токмо в рассуждении предложения частей, но и что касается до всех правлений; теж пра́вила, и теж самыя изъятия; словом, тотже самый дух и одна таж душа́ в нашем, которая и в славенском, так что русский наш язык и называется славенороссийский, то есть, российский по народу, а славенский по своей природе (там же, 298–299/202–203).

Таким образом, единство природы состоит в тождестве основных структурных характеристик; на фоне этого тождества отдельные частные расхождения оказываются незначимыми:

Вся разность, которая находится у нашего с славенским, касается токмо, так сказать, до поверхности языка, а не до внутренности, тем что состоит она либо в нововводных словах, воспрятых от чужих языков; либо в отменных весьма немногих словах, как за славенское *ашче*, у нас *ежели*; либо в простейшем выговоре от народа введенном, как вместо *глава*, *голова*, вместо *пити*, *пить*, вместо *млеко*, *молоко*. Но такая разность не мешает нимало, быть нашему языку одним и темже с славенским: ибо ложно скажется, что Новгородский язык есть не русский, длятого что внем *лони* и *дежа*, за наше *давно*, и *квашня*. Мешалаб она, ежелиб была такая, какая у Латинскаго с французским, италианским, и гишпанским, длятого что сии три языка отменились от латинскаго всею природою сочинения, хотя и ясно видимо, что оне произошли от него... (там же, 300/203).

Единство церковнославянского и русского Тредиаковский обосновывает и тем фактом, что русские не нуждаются в обучении для понимания церковнославянского: «Да сверхъ того, всяк и не ученый наш совершенно разумеет Славенский язык в церьковных наших употребляемый книгах, чемуб отнюд быть невозможно, ежелиб славенский язык нё был один и тотже с нашим» (Тредиаковский 1748, 299–300/III, 203). Поскольку в новой концепции Тредиаковского единство церковнославянского и русского предполагает тождество грамматической структуры, обучение церковнославянскому оказывается ненужным. Под обучением – в соответствии с европейскими моделями – понимается правильное грамматическое изучение языка, и Тредиаковский, характерным образом, обращает внимание не на элементы такого обучения, появляющиеся в России со времени заведения школ в конце XVII в., а на многовековую традицию усвоения книжного языка с помощью заучивания текстов; эту традицию он в качестве обучения не рассматривает и строит новую концепцию, учитывая различия в этом отношении между Западом и Россией.

Этот новый взгляд радикально противостоит прежним воззрениям Тредиаковского, еще в 1737 г. писавшего, что «Россианин» так же не понимает, «когда говорят по Славенски», «как Италиянец не разумеет, когда говорят по Латински». Изменение данной точки зрения имеет непосредственное

значение для квалификации славянизмов. Для французского пуризма латинизмы являются «учеными словами» именно в силу того, что латынь требует специального обучения. Этот аргумент сохраняет силу и для славянизмов в рамках концепции молодого Тредиаковского. Если, однако, церковнославянскому учиться не надо, то и славянизмы никакого отпечатка школы не носят и «учеными словами» не являются.

Изменение представлений о соотношении русского и церковнославянского непосредственно отражается на конституции литературного языка: теперь он не противопоставляется церковнославянскому, а включает его в себя. Литературный «славенороссийский» язык выступает как объединение церковнославянского («славенского»), который является для него «щитом и утверждением» (Тредиаковский, III, 372), и русского языков (ср.: Успенский 1985, 175–176). Это объединение характеризует как грамматическую структуру, так и словарный состав. Примером реализации подобного синтеза может служить «Тилемахида» Тредиаковского, в которой в спряжении атематических глаголов соседствуют церковнославянские (неаналогические формы типа *имамъ, вѣмъ*) и русские формы, употребляются причастия типа *приведый, принесый* (Алексеев 1981, 77–78), дательный самостоятельный и вместе с тем деепричастные обороты. Тредиаковский вообще в большой степени подчиняет свою языковую практику обновленной теоретической концепции. Так, он перестает использовать в качестве поэтической вольности инфинитивы на *-ти*, поскольку, видимо, инфинитив с безударным *-ти* приравнивается, как и у Пауса, к фундаментальным различиям русского и церковнославянского (наиболее показательным в этом отношении текстом является его стихотворное переложение Псалтыри, осуществленное в основном в конце 1740-х – начале 1750-х годов)⁵²⁴. Вместе с тем Тредиаковский начинает широко употреблять тв. мн. на *-ы* от существительных разных склонений, так как этот вариант, согласно новой трактовке, легализуется тем фактом, что у русского и церковнославянского «теж склонения имен»; тв. мн. на *-ы* выступает как выразительная поэтическая вольность (ее выразительность явственно проявляется при сравнении с окончаниями дат. мн.

⁵²⁴ Действительно, в стихотворном переложении Псалтыри последовательно употребляется инфинитив на *-ть*, хотя церковнославянский оригинал, естественно, побуждал к иному выбору, и в этом плане текст переложения особенно значим: он указывает на сознательность и нормативность принятого решения (ср.: Плетнева 1987). Отступления от реализуемой в переложении нормы крайне немногочисленны: *зрѣти* в переводе XXIV псалма («Къ Богу долгъ всегда мнѣ зрѣти:/ Нѡги извлечеть отъ сѣти» – Тредиаковский 1989, 66), *владѣти* в переводе псалма XXX (с той же рифмой *сѣти* – с. 77). Нормативность выбора подчеркивается последовательным употреблением формы на *-сть* от глаголов с окончательным ударением: *несть* (с. 10), *привесть* (с. 59, 115), *вознесть* (с. 347) и т. д. (эта норма распространяется, однако, не на все глаголы, ср.: *спасти*, с. 260).

Не менее показательна и «Тилемахида»; инфинитивов с безударным *-ти* в этом тексте не встречается; *-ть* занимает доминирующее положение и в формах инфинитива от глаголов с окончательным ударением, ср.: *принести* (Тредиаковский 1766, I, 62), *грести* (I, 62), *вывести* (I, 65), *привести* (I, 128; II, 173 bis), *извѣсти* (I, 129), *пасть* ('*pascere*' – I, 132), *произвести* (II, 177), однако и здесь *спасті* (I, 62); такие формы встречаются и в прозаических изложениях содержания в начале каждой книги, ср.: *отвезть* (I, 55).

на -омъ и местн. мн. на -ѣхъ), которую Тредиаковский позволяет себе именно потому, что «природа» славенороссийского языка допускает подобное употребление. При этом понятие поэтической вольности трансформируется, видимо, в новую категорию. Допускаемые на данных основаниях архаические элементы из чистого подспорья в версификации превращаются в показатель высокого стиля в поэзии. Такое переосмысление на первый план выдвигает формы тв. мн. – как в силу того, что различие старых и новых форм выражено здесь наиболее ярко, так и в силу того, что они отличаются по числу слогов (превращение старых форм в стилистические характеристики поэтического текста опирается на традицию их употребления в качестве поэтических вольностей)⁵²⁵.

⁵²⁵ В переложении Псалтыри старые флексии употребляются в достаточно большом объеме, их пропорция составляет около четверти всех флексий тв. мн. (см.: Живов 2004а, 346). При этом в прозаическом тексте употребляется исключительно флексия -ами/-ями (и -ми в форме *людьми*), ср.: *Стихами* (Тредиаковский 1989, 3 (тер), 4), *Свѣтилами*, с. 5, *холмами*, с. 5, *учасниками*, с. 6, 93, *Псалмами*, с. 7, *Пророками*, с. 8, *врагами*, с. 43, 76, 289, 300, *непріятелями*, с. 24, 175, *вещами*, с. 62, 244, *склонностями*, с. 68, *устами*, с. 84, *народами*, с. 163, *рассужденіями*, с. 124, *Філістімлянами*, с. 142, 197, *избавленіями*, с. 187, *знаками*, с. 187, *Іудеями*, с. 211, *дарами*, с. 239, *людьми*, с. 257, *дѣлами* 293. Старые формы появляются только в поэтическом тексте и должны, следовательно, интерпретироваться как поэтические вольности. Таковы прежде всего формы на -ы/-и: *Князи*, с. 11, 294, *зубы*, с. 20, *дѣлы*, с. 23, *Языки*, с. 49, *кровопивцы*, с. 68, *усы*, с. 168, *человѣки*, с. 229, 237, 273, 278, 280 (bis), *чады*, с. 295, *внуки*, с. 295, *привѣты*, с. 299. К числу поэтических вольностей, т. е. ненормативных форм, допускаемых поэтическим текстом, следует отнести, видимо, и тв. мн. на -ми (кроме нормативных форм *людьми*, *дѣтьми*). С одной стороны, формы на -ми образуются у Тредиаковского не только от существительных *i*-склонения, и в этом случае они явно являются ненормативными. С другой стороны, в прозаическом тексте у существительных *ж* рода *i*-склонения фиксируются исключительно формы на -ями, так что правдоподобно, что они ненормативны и для этого класса. В поэтическом тексте находим: *мастьми*, с. 61, *очми*, с. 61, 240, 286, *вервми*, с. 62, *пѣсньми*, с. 84, 110, 174, 257, 268, *костьми*, с. 127, *сѣтьми*, с. 148, *крѣпостьми*, с. 234, *степьми*, с. 281, *гусльми*, с. 283, *ушми*, с. 296, *плечми*, с. 296.

Еще более показательна «Тилемахида». Как отмечает А. А. Алексеев, «в склонении существительных часто употребляется старый тв. п. мн. ч., совпадающий с вин. п. в муж. роде: *толикими чуды*, *моими Совѣты* и т. п. Неожиданно подобную парадигму получают имена женского рода: *многими жертвы*, *острыми искры*, с *Нимфы твоими*, “Быстро парит в Колесницѣ своей *Голубицы катимой*”. Ср. также... старый дат. п. *людем*, местный *во всѣх напастех*... Часты случаи стяжения в склонении существительных ср. рода на -ие: ... *подкрѣпленными*, *свѣдѣньми*» (Алексеев 1981, 77–78). Более подробный анализ (Живов 2004а, 348–349) показывает, насколько существенное место занимает это явление. Если в дат. мн. и местн. мн. старые флексии появляются лишь в единичных случаях, то в тв. мн. пропорция старых форм составляет 46,4% от всех форм тв. мн. (кроме существительных *a*-склонения). Весьма показательно, что для отдельных типов существительных старые (ненормативные) флексии оказываются обязательными; именно так обстоит дело с существительными ср. рода на -іе, которые постоянно употребляются с флексией -ми. У существительных м. рода *o*-склонения (твердой разновидности) формы на -ы образуются более чем в трети случаев, ср. примеры: *вѣтры* (Тредиаковский 1766, II, 15, 136), *ароматы* (с. 92), *персты* (с. 97), *непріятельми* (с. 20), *омерзеньми* (с. 1), *воздыханьми* (с. 33). В этом контексте становятся понятны и нередкие случаи употребления тв. мн. на

К сходной концепции литературного языка приходит (хотя несколько позже, чем Тредиаковский) и Ломоносов. Так же как Тредиаковский, Ломоносов рассматривает грамматическую структуру литературного языка как определенный синтез церковнославянской и русской грамматики. Несомненно, что у Ломоносова, при четкости его грамматического мышления, это соединение имеет совершенно сознательный характер. В самом деле, в «Примечаниях на предложение о множественном окончании прилагательных имен» Ломоносов отвергает аргумент Тредиаковского (говорившего, что при отсутствии однозначного употребления русский литературный язык, ориентируясь на церковнославянский, должен в им.-вин. мн. м. рода принимать окончание *-ии/-ьи*) и утверждает: «... Славенской язык от Великороссийскаго ничем столько не разнится, как окончаниями речений. Например, пославенски единственные прилагательные мужеские именительные падежи кончатся на *ый* и *йй*, *богатый*, *старый*, *синий*; а повеликороссийски кончатся на *ой* и *ей*, *богатой*, *старшей*, *синей*» (Ломоносов, IV, 1/VII², 83). Различие вариантных окончаний прилагательных в им. мн. Ломоносов приравнивает к другим морфологическим показателям, противопоставляющим русский и церковнославянский (в частности, к простым претеритам и *л*-формам). Ломоносов тем самым полемически отвергает синтезирующую академическую грамматическую традицию, вводящую в грамматику литературного языка нового типа многие формы, утвердившиеся в церковнославянской грамматической традиции, но не осознававшиеся как специфически книжные. Такую точку зрения Ломоносов высказывает в 1746 г., и этот взгляд можно отнести к тем филологическим инновациям, которые были обусловлены переосмыслением вариативности в генетических терминах⁵²⁶.

Тем более знаменательно, что в «Российской грамматике» (1755 г.), описывающей структуру русского литературного языка в соответствии с ломоносовскими представлениями 1750-х годов, эти окончания даются как сосуществующие варианты (§ 161 – IV, 77/VII², 452); никаких ограничений на употребление этих вариантов, по видимости, не накладывается, кроме особо оговоренного случая страдательных причастий прошедшего времени; о них сказано, что «от Славенских происшедшия лутче на *ЫЙ*, нежели на *ОЙ*, простыя Российския приличнее на *ОЙ*, нежели на *ЫЙ*, кончатся»

-ы от существительных *а*-склонения, ср. в нашем материале: *священными Мусы* (II, с. 47), *съ Мусы* (II, с. 47), *съ мычащими Кравы* (II, с. 77), *тремя Евмениды* (II, с. 139). В «Тилемахиде», таким образом, нормализация решительно приносится в жертву поэтической выразительности и в качестве стилистически маркированного элемента выступают все те формы, которые в «Езде в остров любви» Тредиаковский мог употреблять как поэтические вольности.

⁵²⁶ Не стоит, видимо, обсуждать, до какой степени в выборе подобной позиции могли сказаться академические интриги. Ломоносов несомненно стремился дискредитировать Тредиаковского, получившего в 1745 г. место профессора Академии по риторике, и представить себя как главного и единственного достойного специалиста. Ему это в целом вполне удалось, так что в середине 1750-х годов это перестало быть для него актуальной задачей.

(§ 446 – там же, 186/548), – здесь, тем самым, употребление вариантных форм связывается с их генетическими характеристиками. Существенно, однако, что и славянские и русские формы равно включаются в состав литературного языка, причем на практике Ломоносов предпочитает именно формы первого рода (см.: Мартель 1933, 80). Таким образом, в 1750-х годах Ломоносов принимает прежде отвергавшуюся им синтезирующую академическую грамматическую традицию (возможно, не без влияния грамматики И.-В. Пауса), а вместе с тем, видимо, и то возведение этого синтеза к славянской древности, на основе которого переосмыслял данный синтез Тредиаковский. Путь к усвоению церковнославянских форм был открыт, и позднейшие авторы могут идти по нему сколь угодно далеко, употребляя окказионально и аорист, и имперфект, и другие маркированные грамматические славянизмы.

Существенно отметить, что если раньше употребление подобных форм автоматически переводило текст из не книжных регистров в книжные, то теперь этот механизм больше не работает. Церковнославянские и русские формы свободно совмещаются в литературном языке, и употребление церковнославянских форм служит не показателем языкового регистра, а выразителем определенного стилистического задания. Механизм регистров вытесняется механизмом стилей; одним из принципиальных следствий этой перемены было изменение в понимании границы между церковнославянским и русским языком. Церковнославянский и русский противопоставляются теперь не как, скажем, язык с аористом и язык без аориста (как было в XVII и начале XVIII в.), а как язык с немотивированным, постоянным и обязательным употреблением аориста и язык со стилистически обусловленным, окказиональным и факультативным употреблением аориста. Таким образом, церковнославянский («славенский») может отождествляться теперь исключительно со стандартным церковнославянским, тогда как гибридная разновидность церковнославянского оказывается мало чем отличной на внешний взгляд от нового «славенороссийского» языка. Показательно, что Сумароков (Сумароков, VI, 280; Ломоносов, VII², 821) в своих отзывах о проповедях Прокоповича (проповеди написаны на гибридном церковнославянском – Живов 1985а; Живов 1996, 144–145) указывает на нечистоту его языка, но не говорит об этом языке как церковнославянском. Такое изменение языкового сознания прокладывает путь к пониманию церковнославянского как языка богослужения и богослужебных книг (образцов стандартного языка), т. е. как культового языка, подобного латыни⁵²⁷.

⁵²⁷ Оценки языка Прокоповича весьма показательны. Прокопович, благодаря, видимо, тому, что он олицетворял петровскую культурную политику, оказывается в середине XVIII в. в числе образцовых авторов. Именно в этом контексте происходит переосмысление гибридного церковнославянского языка его проповедей как «славенороссийского» языка, включающего большое количество маркированных церковнославянских элементов. Этот язык, однако, остается «нечистым», и поэтому похвалы Феофану почти постоянно сопровождаются упреками в нечистоте языка. Эта двойственность начинается еще с Ломоносова, который исключает похвальный отзыв о Феофане как ораторе из своей «Риторики» (см.: Ломоносов, VII², 174); предполагают, что он делает это, не желая «ста-

2. Реинтерпретация пуристических рубрик в лексике и опыты ее стилистической дифференциации

Новый литературный язык, предусматривая синтез церковнославянской и русской грамматической структуры, тем более предусматривал синтез церковнославянского и русского словарного материала. Как уже говорилось, на лексическом уровне церковнославянский и русский вообще последовательному размежеванию не поддавались, так что синтезирующий подход был неплохим решением для задачи, которая иным образом не решалась. Подобный синтез предполагал, что теперь и русские и церковнославянские слова понимались как «чистые» – пуристическая установка не отвергалась, а изменяла свой характер.

О чистоте церковнославянского языка и соответственно церковнославянского компонента в русском литературном («гражданском») языке Тредиаковский очень отчетливо говорит в эпиграмме «Не знаю кто певцов...» 1753–1755 гг. (Успенский, II, 377):

Славенский наш язык есть правило неложно,
Как книги нам писать и чище коль возможно.
В Гражданском и доднесь однак не в площадном,
Славенском по всему составу в нас одном.
Кто ближе подойдет к сему в словах избранных
Тот и любяя всем писец есть, и не в странных.
У немцев то не так ни у французов тожь,

вить в пример автора, который не соблюдал “чистоты штиля”» (Кочеткова 1974, 65; ср.: Ломоносов, VII², 821). Исключил похвальный отзыв о Феофане из своей Эпистолы о русском языке (1748 г.) и Сумароков – видимо, по тем же соображениям. В этом исключенном отзыве содержится сравнение Прокоповича с Цицероном и вместе с тем замечание о нечистоте языка:

Последователь сей пресладка Цицерона
И красноречия Российского корона.
Хоть в чистом слоге он и часто погрешал;
Но красноречия премного показал.
Он Ритор из числа во всей Европе главных,
Как Мосгейм, Бурдалу, между мужей преславных.

(Гринберг и Успенский 1992, 223; Ломоносов, VII², 281).

В чем состояли эти погрешности, Сумароков объясняет позднее: «... малороссийския речения, и требуемая, не ведаю ради чего чужестранные слова, сочинения ево несколько безобразят; но они довольно заплачены другою чистотою» (Сумароков, VI, 280).

Можно привести еще суждение С. Ф. Наковальнина в предисловии к изданию «Слов и речей» Феофана: «Естьли же кто тем чести ему убавить захочет, что в словах своих употреблял он неровной слог, мешая в Словенской язык, который главным был сочинений его основанием, простонародныя иногда, а иногда в великой России неупотребляемая речи; то на первое легко с Цицероном и Горацием ответствовать можно, что и самым подлым речам честь делает употребление разумных людей, а в другом извинит его то, что он будучи упражнен многими важнейшими делами, не имел времени вникнуть во всю тонкость и красоту языка» (Феофан Прокопович, I, предисл., л. 2–3).

Им нравен тот язык кой с общим самым схожь.
Но нашей чистоте вся мера есть славенский
Не щегольков ниже и грубый деревенски.

Ломоносов, видимо, приходит к представлению о чистоте церковнославянского компонента несколько позже, чем Тредиаковский, что, вообще говоря, позволяет предполагать влияние Тредиаковского на Ломоносова в этом вопросе⁵²⁸.

В связи с этим менялась интерпретация пуристических рубрик. Поскольку с л а в я н и з м ы были признаны «чистой» лексикой, они больше не входили в разряд ученых слов. Этим данная рубрика была полностью опущена и в пуризме рассматриваемого типа больше никакой роли не играла. Для нее здесь и в самом деле не было места, так как и Тредиаковский и Ломоносов в согласии со своими новыми воззрениями относятся теперь к лингвистической учености не как к педантству, а как к необходимой предпосылке искусного владения литературным языком. Тредиаковский постоянно ссылается на употребление ученых и искусных в языке людей (ср.: Тредиаковский 1748, 307–325/III, 208–224 и т. д.), Ломоносов же превозносит грамматическое учение (ср.: Ломоносов, IV, 11/VII², 392; ср. еще VII², 581, 891) и указывает, что лишённые этого учения стеснены в употреблении литературного языка (IV, 128/VII², 496)⁵²⁹.

⁵²⁸ Во всяком случае в конце 1740-х годов Ломоносов еще не связывает «чистоты» языка с церковнославянским языковым наследием. Говоря в «Риторике» 1748 г. о чистоте штиля, Ломоносов ставит ее в зависимость «от основательного знания языка, от частаго чтения хороших книг, и от обхождения с людьми, которые говорят чисто. В первом способствует прилежное изучение правил грамматических, во втором выбирание из книг хороших речений, пословий и пословиц; в третьем старание о чистом выговоре при людях, которые красоту языка знают и наблюдают. Что до чтения книг надлежит, то перед прочими советую держаться книг церковных (для изобилия речений, не для чистоты) от которых чувствую себе немалую пользу. Сие все каждому за необходимое дело почитать должно: ибо кто хочет говорить красно, тому надлежит сперва говорить чисто и иметь довольство пристойных и избранных речений к изображению своих мыслей» (Ломоносов, III, 219–220/VII², 236–237). Таким образом, чистота штиля связывается со знанием грамматики и с разговорной речью людей, «которые говорят чисто» (такая разновидность пуризма хорошо известна в Европе начала XVIII в. – см.: Живов 1996, 350–355), тогда как к церковнославянской литературно-языковой традиции возводится не чистота языка, а изобилие слов. При этом изобилие слов рассматривается, как кажется, в качестве дополнительной характеристики, тогда как чистота является основой правильного писания. Лексика церковных книг, следовательно, трактуется как средство украсить речь, т. е. не как стилистически нейтральный элемент, а как показатель возвышенного.

⁵²⁹ На первый взгляд, иное отношение к славянизмам у Сумарокова. По мнению Б. А. Успенского, «Сумароков в “Эпистоле о русском языке” ориентирует русский литературный язык на разговорное употребление <...> выступая при этом как противник славянизмов <...> Эта языковая программа соответствует взглядам, провозглашенным в свое время молодым Тредиаковским, – последователем которого, в сущности, и является Сумароков» (Успенский 1984б, 92; ср., впрочем, иную точку зрения, высказанную позднее: Гринберг и Успенский 1992, 195). В самом деле, лексические и грамматические элементы церковнославянского могут в комедиях Сумарокова быть одним из признаков

С принципиальным изменением взгляда на славянизмы новую интерпретацию получает и рубрика *а р х а и з м о в*. Ранее церковнославянская ли-

речевой маски педанта, ср., например, в «Тресотиниусе» слова педанта Ксаксоксимеиуса: «Подаждь ми перо, и абие положу знамение преславного моего имени, его же не всяк язык нареши может» (Сумароков, V, 322). Используемые таким образом церковнославянские элементы (нарекание *абие*, конструкция с *иже*) принадлежат, однако, к числу тех маркированных признаков книжности, которые определяли книжный язык в языковом сознании конца XVII – начала XVIII в. и которые как Тредиаковский, так и Ломоносов оставляли вне литературного («славенороссийского») языка. Речь здесь идет не об отношении к славянизмам или разговорному употреблению, а о полемическом изображении литературного противника. Изображая Тредиаковского как педанта, Сумароков ищет, что можно было бы поставить на место специально ученых слов, и наряду с латинскими выражениями вводит в этой функции «обветшалые» славянские слова, не характерные для языковой практики Тредиаковского, но символизирующие благодаря своей неупотребительности мнимую ученость.

То, однако, как Сумароков определяет источники чистоты и правильности языка, указывает на общность его теоретических воззрений с концепциями его литературных противников. Критикуя встречающиеся у Ломоносова формы прилагательных им.-вин. ед. м. р. типа *бывшей* (вместо *бывший*), Сумароков в статье «К бессмысленным рифмотворцам» пишет: «А то еще и страннее, что многия правилу сему, ни на естестве языка, ни на древних книгах, ни на употреблении основанному, следуют» (Сумароков, IX, 279); то же и в позднейшей статье «О правописании»: «... Сие нововведенное правило, не имеет основания, ни на свойстве языка, ни на древних книгах, ни на употреблении: а единственно на произволении г. Ломоносова» (Сумароков, X, 6). Таким образом, наряду с употреблением, в качестве источника правильности и чистоты выступает «естество языка», что практически означает грамматику, и «древние книги», т. е., надо думать, церковные книги, которые являются субститутами литературной традиции. Соответственно и у него литературный язык объединяет церковнославянские и русские образования, а специфические формы разговорного языка узакониваются не как нормативные, но как допустимые варианты и употребляются спорадически. Эти формы и обозначаются критиками Сумарокова как «подлые» или «простонародные» (ср.: Клейн и Живов 1987, 258 сл.), что, понятно, соответствует не столько их реальным социолингвистическим свойствам, сколько критическим рубрикам французского пуризма. Вряд ли правы М. С. Гринберг и Б. А. Успенский, полагая, что «дурное» или «подлое» употребление рассматривается Сумароковым «строго в социолингвистическом плане» (Гринберг и Успенский 1992, 209).

До начала столкновений Сумарокова с Тредиаковским и Ломоносовым его лингвистические воззрения развивались в том же направлении, что и взгляды его будущих противников. Его критика обусловлена не расхождением концепций, а полемическим заданием, когда Сумароков претендует на положение единственного европейски мыслящего автора, борющегося с доморощенными вымыслами. Эта претензия побуждает его критиковать Тредиаковского, а затем и Ломоносова с «европейских» позиций, причем непосредственное перенесение положений французского пуризма в русский контекст в ряде случаев уподобляет его высказывания заявлениям молодого Тредиаковского. Это сходство имеет все же поверхностный характер; важнее, что, отстаивая свою независимость от ученого авторитета противников, Сумароков во многом отвергает ту жесткую регламентацию (систему запретов), которой были заняты и Тредиаковский, и Ломоносов, рассматривая ее, видимо, как педанство, которым его противники подменяют необходимость авторского эстетического выбора. Во всяком случае никакого запрета на «славянизмы» языковая программа Сумарокова не содержала.

тературная традиция сознательно игнорировалась, и поэтому употребительность или неупотребительность слова в рамках данной традиции к новому литературному языку никакого отношения не имела. Теперь, однако, когда церковнославянский вводится в диапазон нового литературного языка, церковнославянская литературная традиция оказывается значимой – значимой теоретически, а не только практически. Соответственно, Тредиаковский говорит о «славенских обыкновенных и всех [читай: всем] ведомых словах» (Пекарский 1865, 109), а Ломоносов – о таких, которые, «хотя обще употребляются мало, а особливо в разговорах; однако всем грамотным людям разумительны» (IV, 227/VII², 588). Очевидно, подразумевается, что подобным «чистым» славянским словам противостоят «нечистые», неупотребительные славянские слова, т. е. архаизмы. И действительно, Ломоносов специально выделяет «неупотребительныя и весьма обетшалья» славянские слова, такие как «*обоваю, рясны, овогда, свѣнѣ* и сим подобныя» (IV, 227/VII², 588), а в «Материалах к российской грамматике» упоминает «о старых словах российских церковных» (VII², 607)⁵³⁰. Сходные соображения были, видимо, и у Тредиаковского – можно предположить, что, критикуя Сумарокова за употребление в «Хореве» слова *седалище* в значении 'сидения', Тредиаковский рассматривает это значение как – в отношении к славенороссийскому литературному языку – архаическое.

Сумароков, конечно, был литературным противником Тредиаковского (а позднее и Ломоносова), но понимание архаизмов было у него таким же, как и у его врагов. Он понимал их как элементы церковнославянского языка, вышедшие из литературного употребления. Говоря в «Эпистоле о русском языке» 1748 г. об источниках «богатства» (изобилия) литературного языка, он пишет:

Имеем сверх того духовных много книг:
Кто винен в том, что ты псалтыри не постиг,
И бегучи по ней, как в быстром море судно,
С конца в конец раз сто промчался безразсудно.
Коль, АЩЕ, ТОЧИЮ, обычай истребил;
Кто нудит, чтоб ты их опять в язык вводил?
А что из старины поныне неотменно,
То, может быть тобой повсюду положенно.
Не мни, что наш язык, не тот, что в книгах чтем,
Которы мы с тобой, не Русскими зовем.
Он тотже, а когда б он был иной, как мыслиш,

⁵³⁰ «Обетшальные» славенские слова составляют определенный канон, повторяющийся из работы в работу и являющийся своего рода символом устарелого и непонятного в церковнославянском языке (или устарелости и непонятности самого этого языка). На формирование этого канона оказали, видимо, влияние конкордансы к Псалтыри, Новому Завету и Апостолу, напечатанные в России в конце 1720 – 1730-х годах (Кайперт 1994, 27–35). В своих пометах на «Новом и кратком способе» Тредиаковского Ломоносов добавляет к частице *бо* слова *свѣнѣ* и *бохма* (Берков 1936, 56), что, видимо, должно указывать на неуместность употребления этой частицы как «обетшалого» архаического элемента. Показательно, что через двадцать лет он возвращается к тем же примерам.

Лиш только от того, что ты его не смыслиш;
Так чтож осталось бы при Русском языке?

(Сумароков 1748, 7).

В приведенных строках утверждается единство церковнославянского и русского языков и в соответствии с этим говорится, что взятые из церковных книг слова могут свободно употребляться в литературном языке (исключение таких слов привело бы к катастрофическому обеднению русского языка – «Так чтож осталось бы при Русском языке?»). Не должны употребляться лишь те церковнославянские слова, которые «обычай истребил», т. е. слова, ставшие архаизмами. Под «обычаем» (usage) явно при этом имеется в виду не разговорное употребление, а употребление внутри литературной традиции.

Происходят изменения и в трактовке заимствований. Если раньше отталкивание от церковнославянского побуждало к употреблению заимствований как допустимого (хотя и в ограниченных размерах) «гражданского» эквивалента изгоняемых «церковных» слов (это не исключало, конечно, принципиально пуристического подхода к заимствованиям в теоретических построениях), то теперь, с усвоением церковнославянских элементов «гражданскому» языку, борьба с заимствованиями становится актуальной и реализуемой задачей. Эта борьба оказывается в то же время естественным компонентом новой установки языкового строительства: в создании литературного языка, противопоставленного церковнославянскому, заимствования могли играть определенную роль; в создании же языка, равного по достоинству литературным языкам Европы, его избавление от иноязычных (новозаимствованных) элементов непосредственно связывается с утверждением его самодостаточности. Пуризм становится не претенциозным симулякром французского образца, а полнокровной культурно-языковой политикой со всеми присущими ей атрибутами (потенциальной ксенофобией и т. д.). Понятно поэтому, что в предисловии к «Аргениде» Тредиаковский (Тредиаковский 1751, I, LX–LXI) указывает на отказ от заимствований как на особое достоинство своего перевода: «Почитай ни одного от меня в сем сего Автора токмо перевода не употреблено чужестраннаго слѡва, сколькоб которыя у нас ныне в употреблении нѣ-были; но все возможные изобразил нарочно, кроме митологических, славенороссийскими равномерными речами». В соответствии с этой установкой в «Трех рассуждениях» 1758 г. Тредиаковский (Тредиаковский 1773, 241/III, 511) говорит и о том, что «ныне страждет и наш Славенороссийский [язык], принявший в себя слова чужеродныя западныя», а переиздавая в 1752 г. оду «О сдаче города Гданска», исключает из нее заимствованную лексику (Алексеев 1982, 96).

Таким же образом развиваются и взгляды Ломоносова. Показательно, что в «Рассуждении о пользе книг церковных» он прямо связывает усвоение литературным языком церковнославянского языкового компонента с избавлением от новоевропейских заимствований: «старательным и осторожным употреблением сроднаго нам кореннаго Славенскаго языка купно с Российским отвратятся дикия и странныя слѡва нелепости, входящая к нам из чужих языков <...> Оныя неприличности ныне небрежением чтения книг

церковных вкрадываются к нам нечувствительно, искажают собственную красоту нашего языка, подвергают его всегдашней перемене, и к упадку преклоняют. Сие все показанным способом пресечется; и Российский язык в полной силе, красоте и богатстве переменам и упадку неподвержен утвердится» (Ломоносов, IV, 230/VII², 591). В другом месте он пишет, что «ныне принимать чужих не должно чтобы не упасть в варварство как Латинскому» (Ломоносов IV, примеч., 245/VII², 768).

К теме заимствований как слов, повреждающих чистоту языка, неоднократно возвращается и Сумароков (например, в статьях «О истреблении чужих слов из Русского языка» и «О коренных словах Русского языка» – Сумароков, IX, 244–247, 249–256), причем характерно, что уже в «Эпистоле о русском языке» 1748 г. предосудительность заимствований связывается с «богатством» русского языка: к заимствованиям прибегает лишь неуч, не умеющий этим богатством пользоваться (богатство же происходит именно от соединения русского с церковнославянским). Сумароков пишет:

Другой не выучась так грамоте, как должно,
Поруски, думает, всево сказать не можно,
И взяв пригоршни слов чужих, сплетает речь,
Языком собственным, достойну только сжечь.

.....

Перенимай у тех, хоть много их, хоть мало,
Которых тщание искусству ревновало,
И показало им, коль мысль сия дика,
Что не имеем мы богатства языка.

(Сумароков 1748, 4, 6)⁵³¹.

⁵³¹ Поношение заимствований становится вообще в это время общим местом российской филологии. Эволюция взглядов, сходная с той, которую можно наблюдать у Тредиаковского и Ломоносова, имеет место и у В. Н. Татищева. В 1730-е годы протест Татищева против заимствований был ограниченным. В основном Татищев осуждает тех людей, «большею частию неразумных и неученых», которые «от хвастовства и неразумности не токмо в разговорах, но в письмах весьма нужных странные слова употребляют, да и к тому же не в той силе и разуме или неправильно, а для чего то, сами сказать не умеют, кроме хвастать, что умеют чужие слова выговорить; а что ис того вреда происходит, того они разсудить не могут» («Разговор дву приятелей о пользе науки и училищах» – Татищев 1979, 91; ср. еще 56, 97; см. также письмо Татищева к Тредиаковскому от 18. II. 1736 г. – Татищев 1990, 227–230; Обнорский и Бархударов, II, 2, 88–91; см. выше, § X-8). Терминологические заимствования Татищев допускает и даже может рассматривать их как «умножение» языка (Татищев 1979, 98–99) – «неполезно» употреблять лишь такие заимствования, которые могут быть без труда заменены известными русскими словами. Из переписки Татищева с П. Рычковым в 1750 г. вырисовывается более жесткое отношение к терминологическим заимствованиям. Употребление таких терминов воспринимается теперь Татищевым как «гнусное»; можно предположить, что в принципе он считал нужным заменять их русскими (славянскими) неологизмами. Изменение позиции подчеркивается тем обстоятельством, что Рычков был учеником и последователем Татищева, но его ученичество приходится на оренбургский период жизни Татищева (1737–1739), т. е. его языковые навыки складывались под влиянием татищевских воззрений конца 1730-х годов. В согласии с этими навыками Рычков на десятилетие позже пишет

Наиболее радикальную метаморфозу переживает рубрика слов в у л ь - гарных и низких. Протесты против «народного» (т. е. простонародного) употребления могли высказываться и раньше, но раньше они имели умозрительный характер и никакого влияния на языковую практику не оказывали. Теперь, при изменившейся установке, в усвоенных новым литературным языком славянизмах был обретен неиссякаемый источник заведомо не-просторечной лексики, и поэтому любое слово, осознанное по тем или иным причинам как русизм, могло быть отнесено в разряд вулгаризмов. Как уже говорилось, социальные характеристики, приписываемые тому или иному языковому употреблению, были обычно вымышленными, репликами французских суждений, а не реальными наблюдениями. При отсутствии нормализованной разговорной речи никакой обоснованной границы между «допустимыми» (чистыми) и «недопустимыми» (нечистыми) русизмами проведено быть не могло – то или иное решение зависело от индивидуальных вкусов, пристрастий, полемического или неполемического контекста и допускало неограниченное разнообразие вариаций.

Позиции Ломоносова в этом вопросе кажутся умеренными. В своей грамматике он кодифицирует такие формы, как *глядь*, *бряк*, *хватъ*, отмечая в то же время, что они представляют собой «особливое свойство простаго Российскаго языка» (Ломоносов, IV, 175/VII², 539). В «Рассуждении о пользе книг церковных» он исключает из литературного языка «презренные слова, которых ни в каком штиле употребить не пристойно, как только в подлых комедиях» (там же, 227/589); как выделить эти слова, Ломоносов не уточняет, а само по себе подобное суждение является общим местом классицистических концепций благопристойности (*bienséance*).

Для суждения о Тредиаковском имеется значительно больше материала, однако он неоднозначен: в своей языковой практике он широко пользуется собственно русскими элементами (см.: Алексеев 1981, 80–88), тогда как в своих теоретических и полемических выступлениях может резко ограничивать их употребление. В «Разговоре об орфографии» Тредиаковский неоднократно противопоставляет правильное употребление и употребление «подлости и кресьян», «блинниково употребление», «употребление, испорченное от простаков» и т. д. (Тредиаковский 1748, 307, 312, 314,

сочинение о русских торгах и промыслах. Татищев в феврале 1750 г. посылает ему отзыв об этом труде: «О торгах русских и промыслах сочинение ваше хвалы достойно, хотя негде недостаточно, а инде погрешно, для того я послал оное в Москву, чтоб переписать и потом дополнить. Междо оными первое и главное: вменены латинския и французския слова, что все ученые за гнусно почитают» (Пекарский 1867, 19). Ответное письмо Рычкова из Оренбурга от 5. V. 1750 г. характерным образом рисует те пути, по которым распространялось новое пуристическое направление: «Что я в письмах и сочинениях моих иностранныя иногда слова включаю, сие не от чего иного происходит, как от недовольнаго знания наших, свойственно к тем делам надлежащих терминов, в чем нижайше прошу милостиваго оставления. Я никогда без крайней нужды таких иноязычных слов не употреблял, а впредь буду стараться, чтоб в лучшее сведение наших придтить и оных, ежели можно, никогда уже не употреблять» (Пекарский 1867, 24; ср., впрочем, в этом же письме такие выражения, как *присланныхъ ко мнѣ ремарковъ, методъ вообще апробуется* и т. д., так что сразу избавиться от дурной привычки Рычкову не удалось).

315, 325; см. ниже). При этом он говорит о полногласных формах и инфинитивах на *-ть* как об употребляющихся «в простейшем выговоре от народа введенном» (там же, 300), что, конечно, свидетельствует о полной фактивности социальных характеристик (никакой сектор общества не употреблял в разговорной речи значимых неполногласных форм или инфинитивов на *-ти*). Еще радикальнее Тредиаковский относит к «площадному употреблению» противопоставленные славянизмам русизмы в своей критике Сумарокова. Здесь к «подлому употреблению» и «площадным» или «ниским» вольностям отнесены формы типа *подобьем, молнья, Божьему, понятие, безумье* вместо *подобием, молния, Божиему, понятие, безумие*, окончание *-ой/-ей* вместо *-ья/-ия* в род. ед. ж. р. прилагательных и притяжательных местоимений, «*опять за паки, этот за сей, эта за сия, это за сие*» и т. д. (Куник 1865, 450, 456, 469, 476, 477, 479).

По существу противопоставление «чистого» и «низкого» («подлого») оказывается у Тредиаковского (во всяком случае в полемическом контексте) простым переименованием прежней генетической оппозиции славянского и русского. Характерно, что в этих новых рамках продолжается старая работа по классификации языковых вариантов – с той лишь разницей, что те признаки, которые ранее противопоставляли языки, теперь противопоставляют «доброе употребление» «подлому употреблению». В статье «О множественном прилагательных имен окончании» в варианте 1755 г. Тредиаковский пишет: «Все наши сии прилагательныя имена, в единственном числе, в мужеском роде, именительный падеж имеют на (й), которое называется кратким, а пред сим (й) кратким всегда бывает или (и) или (ы), инакож отнюдь никогда в чистом языке <...> Чтож некоторые не токмо говоря просто, но и на письме употребляют пред тем (й) кратким литеру (о), вместо или (и) или (ы) <...> то сии, неправым таким употреблением писанным, сливают странно именительный единственный мужеский, с дательным единственным женским» (Пекарский 1865, 104). Об этом же говорится и в эпиграмме «Не знаю кто певцов...» (Успенский, II, 377)⁵³². Очевидно, что в очерченных условиях предписываемая классицистическим пуризмом борьба с вульгаризмами могла реализоваться в отказе от разговорных форм в пользу книжных (что, естественно, западной пуристической доктриной – по крайней мере, французской – не предусматривалось).

⁵³² В это новое противопоставление «чистого» и «подлого» вовлекаются и новые оппозиции, например, оппозиция приставок *роз-/раз-*, которая ранее с противопоставлением языков не связывалась. Так, в «Трех рассуждениях» Тредиаковского (Тредиаковский 1773, 195/III, 474) читаем: «... нет во всем нашем языке предлога РОС или РОЗ <...> есть подобный токмо сему предлог, но тот не РОС, да РАС и РАЗ <...> Подлинно, чернь и самая подлость выговаривают: *розбить* вместо *разбить*, *розвесть* вместо *развесть*... и прочая; но сии Словесники от учтивейших людей знающих в языке силу, всегда осмеяемы бывают». Эта же оппозиция распространяется теперь и на собственно лексические пары, ср. в эпиграмме «Не знаю кто певцов...» (Успенский, II, 377):

Не голос чтется там, но сладостнейши глас,
Читают око все, хоть говорят все ж глаз
Не лоб там но чело, не щоки но ланиты,
Не губы и не рот, уста там багряниты.

В результате этого развития изменяется соотношение русизмов и славянизмов, входящих в коррелятивные пары. Если раньше русизм мог рассматриваться как основная форма, а употребление славянизма было связано с теми или иными ограничениями, то теперь ограничениям подвергаются русизмы, тогда как славянизмы становятся основной формой. В частности, если раньше как поэтическая вольность трактовались преимущественно славянизмы, то теперь в разряд вольностей могут попадать противопоставленные им русизмы. Так, Тредиаковский говорит о «некоторых народных и стихотворческих вольностях, каковы суть сии: *иль*, вместо *или*; *спать*, вместо *спати*» (Пекарский 1865, 106). Равным образом, в «Письме от приятеля приятелю» Сумароков осуждается за то, что пишет *молнья* вместо *молния*, *к престолу Божьему* вместо *к престолу Божиему*, причем эти написания названы «ниской вольностию», «самой большой и <...> площадной вольностию» (Куник 1865, 469)⁵³³. Таким образом, «славенский» компонент выступал как заведомо чистый, а русский реализовался по мере надобности. Результатом и был «славенороссийский» язык как воплощение славянизирующего пуризма. Как языковая норма этот язык остается господствующим вплоть до конца XVIII в.

Совершившаяся метаморфоза пуристических установок приводила к тому, что новый литературный язык мог с равным успехом черпать и из русского, и из церковнославянского источника. Прежняя установка стесняла авторов в выборе языковых элементов – по крайней мере, в теории. Новая установка, благодаря одной только перемене словесных формулировок, создавала исключительное изобилие слов, контрастно выделявшееся на фоне прежней скудости. Еще в 1733 г. академические переводчики в «Предсказании», помещенном (1 января) в «Примечании к ведомостям», писали: «Мы поныне <...> особливо о том тщание имели, чтобы некоторые нужные материи, которые от большой части великим мраком художественных слов покрыты, нетрудным и ясным предложением на надлежащий свет вывести что также не очень легкий труд есть, понеже как немецкий язык, на котором мы пишем, так и русский, на который наши мысли перекладываются, ко изображению всех идеи еще не довольно способен» (Берков 1952, 72).

Не проходит и двадцати лет, и изобилие слов становится доминирующей характеристикой, приписываемой новому литературному языку (см.: Алексеев 1982, 118 сл.). Непосредственная причина этого – в усвоении литературным языком церковнославянского языкового материала. Эта причина, однако, входит в сложный комплекс воззрений, делающих славянизирующий пуризм аналогом принятых в Европе лингвостилистических теорий. В «Рассуждении о пользе книг церковных» Ломоносов говорит, что «мы при-

⁵³³ Позиции Сумарокова и Ломоносова несколько менее радикальны, хотя в целом обнаруживают ту же рецепцию данной пуристической рубрики. Как и Ломоносов, Сумароков не считает любые русизмы, коррелирующие со славянизмами, вульгарными. Такие пары у него образуют стилистическую оппозицию и создают возможность выбора, которым и пользуется умелый автор. Для высоких жанров основным членом этой оппозиции остаются славянизмы, а их «русские» корреляты характеризуются как «вольность», которая должна быть оправдана особыми соображениями (ср.: Сумароков, X, 97).

обрели от книг церковных богатство к сильному изображению идей важных и высоких» (Ломоносов, IV, 229/VII², 590). Благодаря этому богатству «многообразныя естественныя свойства и перемены... имеют у нас пристойныя и вещь выражающія речи [sc. слова]» (там же, 10/392). Рассуждая, очевидно, по той же схеме, Тредиаковский пишет о Сумарокове, что из-за незнания церковных книг у него нет «обилия избранных слов» (Куник 1865, 496). Легализация церковнославянского лексического наследия сразу делает русский литературный язык изобильным и дает ему особое место среди литературных языков классицизма.

В европейских представлениях XVII–XVIII вв. богатство было характеристикой древних языков (греческого и латыни), тогда как новым языкам, и в первую очередь французскому, были свойственны ясность и чистота (обзор европейских представлений о «богатстве» языков см.: Живов 1996, 308–328). В рамках дихотомии древних и новых языков церковнославянский очевидно относился к «древним»: он обладал тем же изобилием слов, что греческий и латынь, теми же характеристиками словосложения и словообразования, той же флективной структурой. По мысли французских авторов, богатство латинского языка образовалось благодаря влиянию на него греческого (Роллень, I, 42–43; ср.: Тредиаковский 1745а, 79). На той же почве выросло и богатство церковнославянского. С описания этой роли греческого и начинает Ломоносов свое «Рассуждение о пользе книг церковных»:

В древние времена, когда Славенский народ не знал употребления письменно изображать свои мысли, которые тогда были ограничены, для неведения многих вещей и действий, ученым народам известных; тогда и язык его не мог изобиловать таким множеством речений и выражений разума, как ныне читаем. Сие богатство больше всего приобретено купно с Греческим Христианским законом, когда церковныя книги переведены с Греческаго языка на Славенский для славословия Божия. Отменная красота, изобилие, важность и сила Еллинскаго слова, коль высоко почитается; о том довольно свидетельствуют словесных наук любители <...> Ясно сие видеть можно вникнувшим в книги церковныя на Славенском языке, коль много мы от переводу ветхаго и новаго завета, поучений отеческих, духовных песней Дамаскиновых и других творцев канонов видим в Славенском языке Греческаго изобилия

(Ломоносов, IV, 226/VII², 587).

Итак, греческий оказывается первоначальным источником богатства всех культурных языков, а латынь и церковнославянский являются его законными наследниками.

Сделавшись преемником церковнославянского, новый литературный язык должен был унаследовать и его изобилие: то богатство, которое церковнославянский получил от греческого, он передал теперь русскому литературному языку. Сказав о красоте и силе греческого, воспринятых церковнославянским, Ломоносов продолжает: «... и оттуду умножаем довольство Российскаго слова, которое и собственным своим достатком велико и к приятию греческих красот посредством Славенскаго сродно» (Ломоносов, IV, 226/VII², 587). Поскольку русский литературный язык рассматривается как

единый по своей природе с церковнославянским, он также оказывается причастен гению древних языков и прежде всего их лексическому изобилию⁵³⁴.

Аналогичным образом рассуждает и Тредиаковский. Так же, как Ломоносов, он ставит русский литературный язык («славенороссийский») в один ряд с языками классическими и при этом противопоставляет его французскому (как языку новому и бедному). В предисловии к «Тилемахиде» он пишет о «славенороссийском» языке: «Природа ему даровала все изобилие и сладость того Еллинского, а всю важность и сановитость Латинского. На чтож нам претерпевать добровольно скудость и тесноту Французскую, имеющим всякородное богатство и пространство Славенороссийское» (Тредиаковский 1766, I, I/II, XIII). В другом месте он утверждает, что русский язык «не токмо литься может Сочно как Французский, но и шествовать Пышно как Латинский, и стремиться еще Пылко как Греческий» (Тредиаковский, РИ, XII, XXI). Повторяя в «Трех рассуждениях» обычный для европейской мысли рассказ о том, как классические языки в результате нашествия варварских народов сами упали в варварство, изменили свою природу и дали в ходе этого процесса французский, испанский, новогреческий и т. д., Тредиаковский приравнивает «славенороссийский» к классическим языкам до их упадка:

Едва вошли Северный народы в Италию, как и начал латинский язык быть повреждаем. Франки, завладевши Галлами, тотчас Римский у них язык, вероятно в употреблении бывший с Римских времен, испортили, и произвели Французский... подобным же несколько образом приключилось и в Константинополе от Турок с Греческим: тож ныне страждет и наш Славенороссийский, принявший в себя слова чужеродныя западныя, от единого токмо теснейшаго сообщения с западными народами. Однако, наш никогда во всеконечное повреждение упасть не возможет: твердо и во веки его содержит, хранит, и спасает от проказы Славенский книжный

(Тредиаковский 1773, 241/III, 511).

Тредиаковский подразумевает, что «классический» славенороссийский язык подвергается такому же нападению варварских языков (видимо, французского и немецкого), как когда-то латынь и греческий, однако он защищен от падения не подверженным переменам церковнославянским языком, от которого славенороссийский и получил свою «классичность». Принадлежность славенороссийского к «древним» языкам и его принципиальное отличие от «новых» обозначено здесь с полной ясностью⁵³⁵.

⁵³⁴ Ср. схожий ход мысли у ученика Ломоносова Н. Поповского: «Чтож касается до изобилия Российскаго языка, – в том перед нами Римляне похвалиться не могут. Нет такой мысли, кою бы по Российски изъяснить было не возможно» (Поповский 1755, 173).

⁵³⁵ Рассуждение о разрушении классических древних языков варварскими народами, приводимое как предупреждение против порчи русского языка, появляется и у Сумарокова, воспроизводящего, очевидно, не Тредиаковского, а тот же общеевропейский топос. Упомянув исчезновение в русском языке такого элемента его исторического богатства, как простые претериты, Сумароков пишет: «[Л]ишаем мы ежедневно и оставших кра-

Новое представление о русском литературном языке как «древнем» приводит Тредиаковского к грекофильству (см. подробнее: Успенский 1985, 165, 169–170), и это отражается на его языковой и литературной практике. Сюда относится, например, широкое употребление в «Тилемахиде» и ряде других произведений зрелого периода сложных слов (в особенности сложных прилагательных). В «Тилемахиде» сложные прилагательные часто соответствуют простым прилагательным французского оригинала (см.: Орлов 1935, 41–42; Петрова 1966)⁵³⁶. Как показал Д. Чижевский, большинство сложных слов, употребляемых Тредиаковским, находит прямое соответствие в церковнославянских текстах, и их стилистические функции могут рассматриваться как трансформация сложившейся в церковнославянской литературе традиции (Чижевский 1940, 114–120). Для европейской лингвистической мысли сложные слова были приметой «древних» языков, так что, вводя их в русский литературный язык, Тредиаковский и этим демонстрировал его «древность» (см. подробнее об этой проблеме: Живов 1996, 316–317).

Изменение концепции литературного языка и вызванная этим перемена в отношении к греческому образцу обусловили и новую оценку нерифмованного стиха. В филологической мысли конца XVII – XVIII в. возможность нерифмованного стиха связывалась с богатством языка, с существованием особого поэтического наречия, которое само по себе, вне зависимости от рифмы, противопоставляет поэтический текст прозаическому, и специально со свободным порядком слов, который создает возможность поэтически выразительного словорасположения, поэтического построения предложения, противопоставленного прозаическому (ср.: Кантемир, II, 2–3). Указывая на отличия русского стихотворства от французского и на возможность в русском безрифменного стиха, Кантемир говорит о двух параметрах: об особом стихотворном наречии и о порядке слов. Французский «принужден <...> непременно поставлять местоимение прежде имени, имя прежде слова [т.е. глагола, *verbum*], слово прежде наречия, и, наконец управляемую словом речь в своем падеже, то есть не позволено на французском языке предложение частей слова, без которых двух помочей необходимо нужно украшать стих рифмою; а инако был бы он речь простосложная» (Кантемир, II, 2–3).

сот нашего языка: а современем и всех лишимся. Еллин и Римлян лишили Варвары языков, а мы лишим себя нашего прекраснаго языка сами» (Сумароков, X, 23).

⁵³⁶ Как замечает А. А. Алексеев, «единственный образец здесь был греческий язык “Илиады” и “Одиссеи”, при том что набор словообразовательных моделей был дан церковнославянским языком» (Алексеев 1981, 87). Употребляя сложные прилагательные, Тредиаковский сознательно создавал в «Тилемахиде» эпический гомеровский колорит; вместе с тем он демонстрировал, что новый литературный язык способен полностью воспринять лексическое изобилие, идущее из греческого и церковнославянского. Эту цель преследовал Тредиаковский, употребляя сложные слова (в ряде случаев неологизмы) и в других произведениях, ср., например, в предисловии к «Римской истории» Роллена *нектароливая Сочность, Сиренолестныхъ затѣй, вострубила добраязычно* (см.: Тредиаковский, РИ, I, с. Е, А1), в предисловии к «Тилемахиде» и т. д.

Тредиаковский следует за Кантемиром и в вопросе о рифме. По общему для филологов XVII–XVIII вв. мнению, возникновение рифмы в европейской поэзии относилось ко временам варварства, причем потребность в рифме рассматривалась как результат изменения духа древних языков, вызванного варварским (германским) влиянием, обусловившим обеднение фонетической структуры и смену словарного материала. Нерифмованный стих соответствует гению древних языков, рифмованный – гению новых (см.: Живов 1996, 317–320). Тредиаковский повторяет эти схемы. В трактате «О древнем, среднем и новом стихотворении российском» 1755 г. он пишет: «С готическим временем, не знаю какой рассеялся повсюду, на западе и на востоке, толь сильный дух любления и склонности к рифмам, что-не-токмо, так называемых живых языков в стихах, за нежную сладость, и великолепное украшение почлись рифмы, но и степенные языки, Греческий по превосходству и римский не хотели быть, как то уже я объявил, без оных» (Тредиаковский 1935, 424). Существенно, что безрифменные стихи в древних языках понимаются как благородные, а рифмованные – как простонародные, т. е. противопоставление рифмованных и безрифменных стихов связывается с оппозицией «благородного» и «простонародного» употребления. Так, Тредиаковский пишет, что рифмованные стихи «греки прозвали... политическими, то есть, простонародными» (там же), и в то же время о нерифмованных гекзаметрах замечает: «В сих греческих и римских стихах, гекзаметров, одних собою состоящих, не соглашает рифмами: обиднаб была сия шумиха, древнему благородному сих народов драгоценному безрифмическому золоту, в окончаниях стихов» (там же, 439). Пользуясь нерифмованным стихом (прежде всего нерифмованным гекзаметром в «Тилемахиде»), Тредиаковский подчеркивает, что литературный русский язык (его «благородное» или «разумное» употребление – социальные характеристики, как всегда, фиктивны) подобен по своим свойствам «древним» языкам⁵³⁷.

⁵³⁷ Гекзаметры «Тилемахиды» несомненно имеют принципиальное значение для филологической мысли Тредиаковского. Согласно французским представлениям, рифмованный александрийский стих приличествует эпической поэме на «новом» языке, соответствующем требованиям пуристической доктрины, тогда как нерифмованный гекзаметр свойствен эпической поэме на «древних» языках, в той или иной мере свободных от пуристических ограничений. В последнем случае в качестве образца выступает Гомер. В контексте спора «древних» и «новых» безусловно значимым представляется отзыв Тредиаковского о языке Гомера, прямо противоположный тому, что писал о нем Фонтенель – автор безусловно для Тредиаковского авторитетный и одно время служивший ему образцом для подражания (см.: Успенский 1985, 148–149). То, что «новые» считали недостатками гомеровского языка, говорящими об отсутствии у Гомера хорошего вкуса и понятия о чистом языке, Тредиаковский рассматривает как положительные качества, являющие особое богатство гомеровской речи: «Омир преходит часто от громкого Гласа к тихому, от высокого к нежному, от умиленного к Ироическому, а от приятного к твердому, суровому и некак свирепому. Сравнений и уподоблений пренеисчетное в нем богатство; и сие коль ни разнородное, но всегда приличное и свойственное» (Тредиаковский 1766, I, IX/II, XIII). Такая переоценка гомеровского языка не могла не соотноситься с общей переоценкой «богатства» древних языков – оно явно рассматривается как положительное качество, желательное поэтому и для русского литературного языка.

Итак, рассматривая церковнославянский и русский как единые по природе и определяя церковнославянский в качестве компонента «славенороссийского», Тредиаковский и Ломоносов вводят русский литературный язык в число древних и приписывают ему приличествующее «древним» языкам изобилие. Это обосновывается, в частности, исторической схемой, согласно которой словесное изобилие переходит от греческого к церковнославянскому, а от церковнославянского к русскому литературному языку. Положительное отношение к греческому наследию в русском литературном языке находим и у Сумарокова, писавшего, что «греческия слова введены в наш язык по необходимости, и делают ему украшение» (Сумароков, IX, 246). Мысль об обогащении языков в результате переводов с греческого на латынь, а затем на другие европейские языки высказывалась уже А. Кантемиром в «Предисловии к переводу Иустиновой истории» (1738–1744 гг.) (см.: Дружинин 1887, 197), предвосхитившего в этом отношении своих младших современников. В последней трети XVIII в. данная схема прочно входит в русскую филологическую мысль, становясь общим местом в рассуждениях о русском языке и его характерных свойствах⁵³⁸.

Усвоение новым литературным языком церковнославянского языкового наследия ставило перед этим языком специфические, ранее не возникавшие проблемы. Если прежде литературный текст рассматривался как по определению русский (славянизмы в нем либо не воспринимались как таковые, либо трактовались как поэтические вольности), то теперь, когда в литературный текст с равным правом входят и русские и церковнославян-

⁵³⁸ Постоянное повторение этой схемы показывает, насколько непосредственное отношение она имеет к осмыслению достоинства славенороссийского языка и к формированию того славянизирующего пуризма, который был рассмотрен выше (ср.: Пиккио 1992). Приведу некоторые примеры. А. А. Барсов писал: «... мы Россияне сверх сего имеем еще особенный не исчерпаемый кладязь изобилия... в священных наших и церковных Славенских книгах, происходящий непосредственно от Греческаго источника» (Барсов 1775, 266). В этом же смысле высказывалась и Российская Академия, в ряде случаев почти дословно повторяя Ломоносова: «Греки принешие к Славенским племенам Христианский закон, тщилися о разпространении онаго преложением книг священных и церьковных на язык Славенский <...> От преложения оных на Славенский язык, приобрел сей обилие, важность, силу, краткость в изображении мыслей, удобность к сложению слов, и другия красоты языка Греческаго <...> Язык Российский, имея незаблемым основанием язык Славенский, посредством книг священных и церковных, сохранил то же преимущество» (САР¹, I, VII–VIII). Тот же ход мыслей и у Моисея Гумилевского. Он указывает на греческий язык как на «обильный источник к обогащению Российскаго Слова» (Моисей Гумилевский 1786, 8) и говорит, что «наш Российский язык пребыл бы доселе столько же тесным и недостаточным, каков он находился во времена С. Князя Владимира, ежели бы различные переводы не снабдили его обилием, а наипаче церковныя книги, с Греческаго на Славенский язык переложенныя. Кто бы от себя изобрести мог мысль и слово *созбездначальный, матеродовственный, златоустый, воскресение, Троица* и проч. ежели бы не сделан был перевод с Греческих церковных книг» (там же, 22). Соответственно, русский язык занимает особое место среди европейских как «не токмо терпящий слова сложныя [о значении сложных слов см. выше. – В. Ж.], раздельныя, перемненныя и производныя преимущественно пред прочими языками, но еще оными перемнами особенно и украшающийся» (там же, 23–24).

ские элементы, возникает проблема языковой гетерогенности текста. В принципе требование языковой и стилистической однородности – неотъемлемая принадлежность классицистической установки, сознательно противопоставленной барочному макаронизму. Макаронические сочетания осуждали, понятно, и русские теоретики – когда макаронизмы бросались им в глаза. Так, например, Кантемир отмечает (Кантемир 1744, 22/II, 19): «... ежели случаются два прилагательных и существительное, то оба неотменно должно кончить темже образом. Например: вместо *чистою рукою* можно писать *чистой рукою*: но гораздо *у́ху* противно *чистою рукою*».

Русские теоретики мыслили в лингвостилистических категориях европейского классицизма. Естественно, что и при решении проблемы макаронизма они старались осмыслить ее в рамках тех рубрик, которыми снабжали их трактаты западных законодателей языка. На Западе проблема лексического отбора – отбора «чистых» слов для данного текста (жанра) – решалась с помощью классификации слов на стилистические разряды и соотнесения этих разрядов с жанровой иерархией классицистической поэтики. Именно так и осуществлялась стилистическая дифференциация. Слова разделялись на высокие, средние и низкие (*sublime, médiocre, et bas*); на три категории разделялись и жанры; соответственно, в высоких жанрах преимущественно употреблялись высокие слова, в средних – средние, а в низких – низкие. Основным принципом классификации был тематический: к разряду высоких относились слова, обозначающие высокие материи, к разряду низких – низкие материи и т. д. Соотнесение этой классификации с жанрами выступало как само собой разумеющееся, поскольку в высоких жанрах речь шла преимущественно о высоких материях, в низких – о низких, а средние помещались посередине. Эта классификация не была ни четкой, ни исчерпывающей и основывалась на стилистических нюансах, не поддававшихся теоретическому обобщению. Она предполагала стилистическую характеристику отдельных слов, а отнюдь не распределение всего словарного материала по трем разрядам.

Комплекс идей, связанный со стилистическим нормированием в рамках так называемой теории трех стилей и восходящий к риторической традиции античности, был хорошо известен русским теоретикам (ср.: Виноградов 1938, 92; Вомперский 1970; Чижевский 1970а; Исаченко 1976, 392–393). Именно отсюда было усвоено представление о прочной связи лексического отбора с жанровой характеристикой текста. Общие указания на такую связь можно найти и в «Рассуждении о оде во обще» Тредиаковского (Тредиаковский 1734) и в «Эпистоле о стихотворстве» Сумарокова 1748 г. («Знай в стихотворстве ты различие родов, И что начнеш, ищи к тому приличных слов...» – Сумароков 1748, 10; далее следуют общие рекомендации по жанрам). Однако общие семантико-стилистические принципы «поиска приличных слов» с оппозицией русского и церковнославянского никак не соотносились – введение в лингвистическую теорию генетических параметров стилистических проблем никак не затрагивало. Установление такого соотнесения и было актуальной задачей русской стилистики: семантико-стилистические критерии отбора должны были быть соединены с генетическими.

Систематически (хотя – именно в силу этого – в отвлечении от литературной практики) решает эти вопросы Ломоносов. Решение Ломоносова основано на отказе от разделения всей лексики на высокую, среднюю и низкую, хотя идея связи между лексическим отбором и жанровой иерархией сохраняет полную силу. Тематическую классификацию слов на высокие, средние и низкие, достаточно неопределенную в приложении к конкретному материалу и приспособленную лишь для отдельных стилистических оценок, а не для распределения всего словаря по четким лексическим разрядам, Ломоносов заменяет классификацией по генетическим признакам, которая в принципе дает для любого слова однозначную характеристику. Эта классификация выступает как окончательное распространение на лексику генетических параметров, сделавшихся актуальными в начале нормализаторской деятельности русских филологов. Генетическую классификацию Ломоносов соотносит с жанрами, и именно этот теоретический *tour de force* лежит в основе знаменитой ломоносовской теории трех штилей. В результате этого соотнесения возможность появления в одном тексте (жанре) генетически разнородных слов, т. е. возникновения макаронических сочетаний, оказывается ограниченной. Очевидно, что теория трех штилей решает (по крайней мере, теоретически) совсем иные задачи, нежели те, которые ставили перед собой стилистические теории классицизма.

Как достигается это ограничение макаронизма? В пределах чистой лексики выделяются три разряда слов:

(1) «славенские», отсутствующие в русском языке, – «кои хотя обще употребляются мало, а особливо в разговорах; однако всем грамотным людям вразумительны, например: *отверзаю, Господень, насажденный, взываю*»;

(2) «славенороссийские», т. е. слова, общие церковнославянскому и русскому языкам, – «которые у древних Славян и ныне у Россиян обще употребительны, например: *Богъ, слава, рука, нынѣ, почитаю*»;

(3) «Российские простонародные», т. е. русские слова, «которых нет в остатках Славенского языка, то есть в церковных книгах, например: *говорю, ручей, которой, пока, лишь*»

(Ломоносов, IV, 227/VII², 588).

Два дополнительных разряда в эту классификацию не входят, но специально оговариваются как недопустимые в литературном языке вообще. Из числа «славенских» «выключаются» слова «неупотребительныя и весьма обетшальныя», как *обаваю, рясны, овогда, свѣнѣ*, из числа «российских простонародных» «выключаются» «презренные слова, которых ни в каком штиле употребить непристойно, как только в подлых комедиях». В этой классификации впервые четко говорится об общем для церковнославянского и русского лексическом фонде, и это позволяет Ломоносову отметить проблему сплошного противопоставления церковнославянского и русского словарей, завожившую в тупик предшествующие опыты лексического нормирования.

Далее Ломоносов соотносит эту классификацию с жанровой иерархией. В высоких жанрах («высоком штиле») должны употребляться славенские и славенороссийские слова, в низких жанрах («низком штиле») – славенорос-

сийские и российские слова, тогда как в средних жанрах («среднем штиле») могут быть употреблены и славенские, и славенороссийские, и российские слова (там же, 227–228/588–590). Таким образом, проблема макаронизма оказывается решенной для высокого и низкого штилей. Средний же штиль, в котором допускаются и «славенские» и «российские» слова, нуждается в особых ограничениях. И в самом деле, Ломоносов пишет: «В сем штиле должно наблюдать всевозможную равность, которая особливо тем теряется, когда речение Славенское положено будет подле Российскаго простонароднаго» (там же, 228/589). Предложенная Ломоносовым схема решала, что делать с избытком слов, образовавшимся от соединения в литературном языке церковнославянского и русского словаря, упорядочивая это избыток в соответствии со стилистическими представлениями классицизма. Европейские рубрики и здесь получали новый смысл, лишавший их, возможно, собственно стилистической значимости (ср.: Мартель 1933, 56), но позволявший описать специфические отношения русского и церковнославянского компонентов внутри нового литературного языка.

В то же время построение Ломоносова оставляет некоторую двойственность в понимании славянизмов. С одной стороны, они получают статус чистых слов, являющихся органической частью нового литературного языка; поэтому в плане языковой «чистоты» они ограничениям не подлежат. С другой стороны, славянизмы обладают у Ломоносова определенной стилистической характеристикой и подпадают поэтому под ограничения стилистического порядка. В изложенной выше схеме такого же рода ограничения распространяются, однако, и на русизмы; славянизмы и русизмы вообще располагаются здесь совершенно симметрично, и в требовании не употреблять их рядом никакой специальной «высокости» славянизмов не подразумевается. Вместе с тем у Ломоносова имеются высказывания, касающиеся именно стилистического нормирования славянизмов. Так, описывая лексический состав среднего штиля, Ломоносов говорит, что в него «можно принять некоторые речения Славенския в высоком штиле употребительныя, однако с великою осторожностью, чтоб слог не казался надутым» (Ломоносов, IV, 228/ VII², 589). Равным образом, в заметках «О нынешнем состоянии словесных наук в России» он помечает в одном из пунктов плана: «Не у места Славенчизна. Дщерь» (Ломоносов, VII², 581), – речь, видимо, должна была идти о стилистически неоправданном употреблении славянизмов. Здесь славянизмы приравнены к высоким словам европейских стилистических теорий, которым хорошо известны ограничения данного типа (самый термин «надутый» является калькой с фр. *enflé*, *gonflé*, лат. *am-pullatus* – см.: Успенский 1985, 92–96) – «надутым» объявляется здесь употребление «высоких» слов, не соотношенное с высотой материи.

Итак, у Ломоносова намечается два различных понимания славянизмов: как элементов стилистически нейтральных (для высоких и средних жанров) и как элементов специально «высоких», употребление которых требует особого оправдания. Эта двойственность обусловлена, в конечном счете, тем, что генетические параметры искусственно связываются со стилистическими: славянизм как стилистическая категория является одновременно и продолжением «высоких слов славенских», т. е. маркированных книжных

элементов, и результатом нового генетического понимания «славянского», когда в этот разряд попадают стилистические нейтральные элементы, которым новая теория приписывает «славянское» происхождение. Итак, у Ломоносова утверждаются два разных понимания славянизмов, и оба они получают развитие в позднейших лингвостилистических теориях.

Система стилистических оценок, основанных на генетических параметрах, которая была разработана Ломоносовым в «Рассуждении о пользе книг церковных» применительно к лексике, просматривается и в его сочинениях, посвященных грамматике. Морфологические варианты также могли быть соотнесены с генетическими параметрами и также могли подвергаться стилистической дифференциации. Однако применительно к грамматическому уровню стилистические параметры носят у Ломоносова непоследовательный, выборочный и до некоторой степени случайный характер. Дело здесь, видимо, не в специфике грамматического уровня, а в том, что лексическая классификация решала искусственную теоретическую задачу – сочетать риторическую теорию трех стилей с генетическими характеристиками лексики и дать аналог классицистической стилистической концепции; в грамматике эта искусственная задача не вставала.

Ломоносов в своих грамматических построениях работает в рамках академической грамматической традиции, которая имела синтетический – объединяющий русские и церковнославянские элементы – характер. Если в 1730-е годы этот синтез находился в некотором противоречии с общими языковыми установками, требовавшими размежевания русского и церковнославянского, то в рассматриваемый период это противоречие оказалось устраненным. Показательно, что в своей грамматике Ломоносов дает в качестве сосуществующих вариантов окончания им.-вин. ед. прилагательных м. рода *-ый*, *-ой* и *-ей* (§ 161 – Ломоносов, IV, 77/VII², 452), тогда как за десятилетие перед этим он противопоставлял эти же самые окончания как относящиеся к двум языкам. В результате подобного объединения в грамматике возникает та же проблема, что и в лексике, – что делать с новообретенным изобилием, угрожающим макаронизмом. В грамматике, однако, эта проблема носила лишь весьма ограниченный характер, поскольку очень ограниченным было само изобилие. Так, скажем, следуя утвержденной академической грамматической традицией нормализации форм инфинитива, Ломоносов фиксирует в своей грамматике (для безударного положения) лишь вариант на *-ть* и *-чь* (Ломоносов IV, 132, 135, 141, 153, 160/VII², 500, 503, 508, 510, 525), тогда как варианты на *-ти* и *-чи* устранены и никаких проблем с ними не возникает.

Изобилие образовалось лишь там, где академическая грамматическая традиция не выработала унифицированного решения и допускала немотивированную вариативность. Именно для этих немногих случаев Ломоносов пытается ввести стилистическую дифференциацию вариантов. Здесь он идет по тому же пути, что и в антимакаронических рекомендациях, относящихся к среднему штилю. Он не исключает ни один из вариантов, но стремится к «всевозможной равности», предписывая заботиться о том, чтобы варианты разной стилистической окраски не встречались рядом. Для таких предписаний он не нуждается в тройном членении элементов, которым он

пользовался в лексике, а лишь в бинарном противопоставлении вариантов «высоких» и «низких» или – в генетических терминах – «славенских» и «русских». Разряд «славяно-русских» элементов, представлявший столь существенную инновацию в лексической классификации, в грамматике соответствовал устоявшейся грамматической традиции, той синтетической основе русской грамматики, для которой более не было существенно противопоставление русского и церковнославянского, что позволяло рассматривать элементы этой основы как общие, а не относящиеся к одному из языков. Поэтому вопрос о гетерогенности вставал лишь относительно тех грамматических элементов, для которых, по крайней мере с точки зрения Ломоносова, генетическая характеристика продолжала быть актуальной.

Набор этих элементов очень невелик, он существенно ужат по сравнению с тем, что фигурировало в предшествующей грамматической традиции, и дополнен (хотя и незначительно) собственными инновациями Ломоносова. К этим последним относится рассмотрение в качестве стилистически значимых (и имплицитно, следовательно, обладающих релевантной генетической характеристикой, т. е. славянизмов) страдательных причастий на *-мый*, деепричастий на *-я* (которым противопоставлены «русские» деепричастия на *-ючи*), второй родительный и второй предложный падежи существительных м. рода⁵³⁹ и порядковые числительные типа *второйнадесять*. С языковой практикой эти инновации оказались практически не связанными: причастия и деепричастия были усвоены литературным языком настолько прочно, что их стилистическая или генетическая выделенность в целом не осознавалась, второй родительный и второй предложный употреблялись как до «Российской грамматики», так и после нее вне соответствия с предложенными Ломоносовым правилами, порядковые числительные типа *второйнадесять* вообще литературным языком освоены не были. Из известных предшествующей грамматической традиции противопоставлений Ломоносов упоминает флексии им.-вин. ед. м. рода *-ый/-ой*, род. ед. м. и ср. рода *-аго/-ого* и род. ед. ж. рода *-ья/-ой* (эти оппозиции фигурировали и в грамматике Пауса).

Этим и исчерпывается состав стилистически маркированных и потому нуждающихся в особой регламентации элементов, которые отмечены в грамматике Ломоносова. Ограниченность этого набора показывает, что Ломоносов продолжает синтетическую грамматическую традицию академической филологии, а отнюдь не исходит из представления о славяно-русском двуязычии⁵⁴⁰. Ломоносов в своей грамматической регламентации стремится

⁵³⁹ Второй родительный в качестве особенности русского языка, противопоставляющей его церковнославянскому, отмечен в «Технологии» Поликарпова, согласно которому в русском языке «не живѣщихъ вещей числа единственнаго на ѣ кончающихся именъ родительный болѣе употребляется, на ѣ, а не на а, такъ указъ, указѣ» (Бабаева 2000, 288). Вряд ли сочинение Поликарпова было известно Ломоносову. Существенно, что академической традицией до Ломоносова этот признак игнорировался.

⁵⁴⁰ Поэтому, рассматривая грамматический уровень, неоправданно утверждать, как это делает Б. А. Успенский, что в концепции Ломоносова «русский литературный язык содержит в себе проекцию церковнославянско-русского двуязычия: отношения между язы-

к установлению той же «равности», что и в текстах «среднего штиля», т. е. к устранению потенциального макаронизма. Проблема макаронизма ставится на двух уровнях: формообразования (микроуровне) и словосочетания (макроуровне). В первом случае запрещается порождение «нечистых» (макаронических) слов, во втором – «нечистое» (макароническое) соположение элементов.

К микроуровневым запретам относятся замечания Ломоносова о причастиях, деепричастиях и образовании сравнительной и превосходной степени. Действительные причастия нельзя производить от глаголов, которые «только в простых разговорах употребительны»; они обладают «высокостью» и должны употребляться «в высоком роде стихов» (§ 343 – Ломоносов, IV, 127–128/VII², 496). Страдательные причастия наст. времени на *-мый* также не могут производиться от «Российских глаголов, у Славян в употреблении не бывших», в силу чего *трогаемый, качаемый, мараемый* «весьма дики и слуху несносны» (§ 444 – там же, IV, 185/VII², 547–548). Что же касается страдательных причастий прош. времени, то здесь образования от «российских» и «славенских» глаголов различаются формой: с первыми употребляются окончания *-ой* и *-ого*, и они «на конце один Н имеют»; для вторых нужны окончания *-ый* и *-аго* (§ 446 – там же, IV, 186/VII², 548). Деепричастия на *-ючи* «пристойнее у точных российских глаголов, нежели у тех, которые от славенских происходят; и, напротив того, деепричастия на *-я* употребительнее у славенских, нежели у российских. Например, лучше сказать *толкаячи*, нежели *толкая*, но, напротив того, лучше употребить *держая*, нежели *держаячи*» (§ 356 – IV, 131/VII², 499). Такие же предписания формулируются и для сравнительной и превосходной степени (§ 215 – IV, 94/VII², 467; см. подробнее: Живов 1996, 338–344). Поскольку данные элементы в правилах своего формообразования получают генетическую характеристику, они приобретают и стилистическую выделенность и поэтому ограничивается их употребление в текстах низкого (или, напротив, высокого) штиля. Так, о действительных причастиях сказано: «Употребляются только в письме, а в простых разговорах должно их изображать чрез возносительные местоимения: *который, которая, которое*» (Ломоносов, IV, 127). Подобные замечания делаются и о других элементах, снабжаемых генетической характеристикой.

Вместе с тем генетически противопоставляемые варианты ограничиваются и в своей сочетаемости на макроуровне. Именно такие ограничения налагаются на варианты флексий род. ед. *-а/-у* и местн. ед. *-ѣ/-у*. Ср. в грамматике о местн. ед.: «Как во многих других случаях, так и здесь наблюдать надлежит, что в штиле высоком, где российский язык к славенскому клонится, окончание на *Ѣ* преимуществует: *очищенное въ горнѣ злато; жить въ домѣ Бога вышнаго; въ потѣ лица трудъ совершать; скрыть въ ровѣ зависти; ходить въ свѣтѣ лица Господня*, но те же слова в простом слоге или в обыкновенных разговорах больше в предложном *У* любят: *медъ въ горну плавить; въ поту домой прибѣжалъ; на рву жить; въ свѣту стоять*» (§ 190 – Ломоно-

ками (в рамках языковой ситуации) переносятся на отношение между стилями (в рамках литературного языка)» (Успенский 1994, 145).

сов, IV, 87–88/VII², 461). Сходные замечания делаются относительно род. ед. (в материалах к грамматике) и относительно числительных (там же, VII², 647–648; ср. в грамматике § 172 – там же, IV, 83/VII², 457; § 259 – там же, IV, 105/VII², 476).

Таким образом, в грамматическом описании выделяется не три класса элементов, как в лексике, а всего два: русский и славенский, или низкий и высокий. Этого двойного членения совершенно достаточно для выявления гетерогенных сочетаний и формулировки рекомендаций, как их избегать. Данное построение, следовательно, ясно показывает, что предназначенное для лексики тройное членение вполне искусственно и не столько решает задачи устранения макаронизма, сколько служит оформлению проблемы макаронизма в традиционных для классицистической стилистики категориях и вместе с тем изгнанию этой проблемы из рассуждений о корпусе «чистой» лексики: три лексических класса соответствуют классической схеме, описывающей корпус «чистой» лексики, и поэтому наличие в нем генетически разнородных элементов перестает противоречить пуристической теории. В лексике решаются не столько реальные проблемы стилистического нормирования, сколько проблема языковой гетерогенности, возникающая в силу необходимости нормализовать то изобилие, которое обнаружилось в русском языке в результате усвоения ему церковнославянского компонента. Как уже указывалось в литературе (Мартель 1933, 56), на языковую практику, в том числе и на языковую практику самого Ломоносова, эта регламентация заметного влияния не оказала. Регламентация нужна была не непосредственно ради практики, а прежде всего ради осмысления формируемого языкового стандарта как соответствующего европейским установкам. Тем не менее и в этом символическом виде разделение лексики на разряды сообщало возводимому зданию литературного языка атрибут стилистической дифференциации.

3. Роль литературы и социолингвистические характеристики литературного языка

Мы видели, что ориентация на литературное употребление (употребление изящной словесности) становится критерием языкового нормирования еще в начале 1730-х годов. Это сказывается на допущении поэтических вольностей и на ряде характерных эквивокаций, оправдывающих отступления от языка, «каковым мы меж собой говорим», в определенных литературных текстах. Этим, однако, взаимодействие литературы и литературного языка не ограничивается. В формировании языковых стандартов в Западной Европе одним из основных критериев нормализации было наличие той или иной формы, оборота или конструкции у образцовых авторов. О необходимости данного критерия для установления правильного употребления пишет, например, К. Вожела, уточняя свою мысль о важности разговорного употребления: «Toutefois quelque avantage que nous donnions à la Cour, elle n'est pas suffisante toute seule de servir de règle, il faut que la Cour & les bons Auteurs y concourent, & ce n'est que de cette conformité que se trouue entre les

deux, que l'Vsage s'establit» (Вожела 1647, л. а2). Тредиаковский несомненно был знаком с французскими принципами нормализации языка. В Речи 1735 г., он заявлял: «Помогут нам <...> премногие творцы Римские, а наипаче хитрый и сладкий в слове Марк Туллий Цицерон. Помогут Французские Балзаки, Костарды, Патрю и прочие безчисленные» (Тредиаковский 1735а, 14). Беда была в том, что никакими Бальзаками и Патрю русская литература не располагала.

Фактическое отсутствие не мешало утверждению принципа, хотя его реализация в этих условиях обладала любопытной спецификой и специфическим образом влияла на языковую практику немногочисленных литераторов. Литература присваивала себе роль той вербальной среды, в которой должен вырабатываться языковой стандарт. Отсутствие регламентированного разговорного узуса, подобного употреблению французского двора, создавало для этой апроприации особенно благоприятные условия. При этом когорту образцовых авторов замещали редкие цветы, выросшие на российском Парнасе. Они были ограничены и в количественном, и в жанровом отношении. Хотя в 1730-е годы изготовленные образцы имелись лишь в единичных экземплярах (несколько од, две элегии, один мадригал и т. д.), они образовали иерархически упорядоченное множество; иерархия определялась как универсальными принципами классицистической поэтики, так и социальной прагматикой, которая на вершину жанровой пирамиды ставила обращенную к правящему монарху оду. Эта русская жанровая специфика видоизменяла рецепцию усвоенных от французов лингвистических представлений и вела к тому пересмотру лексических пуристических рубрик, который был рассмотрен выше.

Торжественная ода, обращенная к монарху, была включена в уже существовавшие традиции панегирической литературы. Она выполняла функцию стихотворного славословия в рамках разработанного еще в Петровскую эпоху «гражданского культа» (нецерковных церемоний, визуализировавших власть царя), и это обуславливало ее лингвостилистическую преемственность в отношении торжественной силлабической поэзии и ее параллелизм с торжественной проповедью, выполнявшей аналогичные функции в рамках «церковного культа» (о церковном и гражданском культе см.: Живов 2002б, 385–402; Вортман, I, 42–51). Фразеология и стилистика силлабического панегирика восходили, с одной стороны, к фразеологии и стилистике барочной проповеди (см.: Позднеев 1961, 340 сл.; Панченко 1973, 233), а с другой – к фразеологии и стилистике славянской Псалтыри (ср.: Позднеев, там же). Эти связи переносятся теперь и на одическую поэзию (см.: Морозов 1880, 97, 269; Соболевский 1890, 1–6; Успенский и Живов 1983, 47–48; Роте 1984, 95; Клейн и Живов 1987, 276 сл.; Сазонова 1987; Живов 2002б, 648–656). Вслед за преемственностью поэтики шла и преемственность языка, и поэтому традиционная книжная лексика и фразеология оказывались необходимым компонентом одической речи. Теоретическим построениям оставалось лишь узаконить эти результаты литературного процесса, и в этом случае литература приобретала (уже в 1730-е годы) ту роль направляющей развитие литературного языка силы, которой она еще не обладала в 1720-е годы и которую ей предстояло играть в течение последующего периода.

В этом случае особенно отчетливо видно, что без старой книжной лексики новый идиом обойтись не мог: только старые книжные регистры содержали слова, обозначающие множество абстрактных понятий и культурных реалий. Обращение к прошлому шло несомненно вразрез с его декларативным отрицанием, с пафосом построения нового мира и новой литературы, но реальная преемственность оставалась существенным фактором, который мог быть лишь прикрыт хитроумными формулировками, но не мог быть исключен. В панегирических жанрах книжная лексика и некоторые книжные синтаксические построения были закреплены сложившейся традицией, не поддававшейся сколько-нибудь существенной модификации. В лингвостилистических построениях первых русских литераторов, переносивших на русскую почву доктрины классицистического пуризма, это употребление легализуется. Именно здесь спасительной находкой оказываются «книги церковные». Они включаются в качестве образцовых текстов в скудный до этого момента корпус новой русской литературы и легализуют лингвистическое наследие традиционной книжности: Бальзака и Патрю заменяет Св. Писание. Это решение (которое могло обосновываться европейскими прецедентами использования метафоры псалмов в панегирической поэзии) стало общим для всех действовавших тогда русских авторов (Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова) и было несомненно ярким примером того, как «развитие самой литературы» (по выражению Г. О. Винокура – Винокур 1959, 135) воздействовало на формирование языкового стандарта⁵⁴¹.

⁵⁴¹ Несомненно, это решение противоречило первоначальным установкам создателей «гражданского наречия», и на начальных этапах создания языкового стандарта, в 1730–1750-х годах, это приводило к кардинальному расхождению лингвистической теории и языковой практики. При всякой оказии эти противоречия выходили наружу и разрушали картину образцового европейского развития. С этим связано противостояние критической и практической установок в литературном процессе этого периода: теоретические постулаты реализуются прежде всего в критике чужих текстов и не распространяются на собственную литературную продукцию, свободно отклоняющуюся от ригористического европейского образца. Это приводит к тому, что авторы постоянно обвиняют друг друга в одних и тех же погрешностях. Отступления в пользу старой литературно-языковой традиции никогда не узакониваются прямо, но только с помощью обиняков и натяжек. Соответственно, при критическом подходе, когда пуристическая доктрина является во всем своем ригоризме, эти принятые допущения превращаются в непростительные ошибки, свидетельствующие о неумелости и дурном вкусе автора. Критическая установка и практическая установка существуют обособленно друг от друга, высказываемые замечания и совершаемые погрешности зависят не столько от автора, сколько от того, какова установка того или иного произведения. Примеры многочисленны.

Так, Сумароков нападает на Ломоносова, упрекая его в «бессмысленных» метафорах, в том сочетании «далековатых идей», которое оказывается в противоречии с нормами классицистической поэтики и побуждает говорить о барочном характере ломоносовских од (ср.: Чижевский 1960; Чижевский 1970б; Морозов 1965; Морозов 1974). Этот конфликт теоретических взглядов безусловно связан с вопросом о преемственности в отношении церковнославянской литературной традиции, которая «ohne metaphorischen Ausdruck gar nicht denkbar ist» (Pote 1984, 95). Начиная с Гуковского (Гуковский 2001), данный конфликт рассматривается как адекватное отражение принципиальных разли-

В 1750–1760-х годах приобщение «книг церковных» к кругу нормативных источников языкового стандарта было легализовано, в частности, в «Рассуждении о пользе книг церковных» Ломоносова. Однако у этой легализации были неизбежные последствия. Она эксплицировала гетерогенность создаваемого языкового стандарта, и это ставило новую задачу стилистического упорядочения: нужно было определить, как различные вариантные языковые средства должны соотноситься с коммуникативным заданием текста. В допетровскую эпоху, как мы знаем, подобное упорядочение обеспечивалось системой относительно автономных регистров. Этот порядок петровским языковым строительством был разрушен. На начальных этапах нормализации компенсировать эту утрату не казалось необходимым. Академические переводчики работали с текстами, в коммуникативном отношении достаточно однородными, и главной проблемой для них было удаление из «петровского пула» тех языковых элементов, которые не согласовались с конструкцией нового языкового стандарта. Соотнесение вариантных средств с типом текста оказывалось в подобных условиях неактуальной задачей.

У литераторов дело обстояло иным образом. Литература мыслилась как иерархическая система жанров, и разные жанры, в согласии с рецептированной русскими классицистической теорией, должны были отличаться в языковом отношении. Стилистические теории 1740–1750-х годов как раз и выполняли указанную задачу. Я имею в виду не только рассмотренную выше теорию трех штилей Ломоносова, но и множество разнообразных стилистических рекомендаций, содержащихся в сочинениях Тредиаковского (прежде всего в «Письме от приятеля приятелю») и Сумарокова (прежде всего в «Епистоле о стихотворстве»). Ломоносовская теория не имела, как говорилось выше, значения практического руководства (см.: Пиккио 1992; Кайперт 1994; Живов 1996, 335–338), однако она присваивала языковому стандарту идею стилистической дифференциации, и в силу этого литературно-языковая практика писателей приобретала нормопологающий характер и в стилистической сфере.

Таким образом, в первые десятилетия послепетровского периода новый идиом приобретает некоторые черты литературного языка. Во-первых, он становится предметом обучения и подвергается кодификации; особо значима в этом отношении «Российская грамматика» Ломоносова, написанная по-русски и для русских. Во-вторых, в нем появляются элементы стилистической дифференциации. Хотя до последовательного стилистического разграничения всех вариантных языковых элементов остается еще очень долгий путь, по крайней мере теоретически такая дифференциация уже предусматривается. Она оказывается как бы заложенной в конфигурацию

чий в стихотворческой практике (ср.: Лахманн 1981), что приводит к недооценке рационального момента в одическом стиле Ломоносова и к игнорированию барочных элементов в поэтике од Сумарокова. В основе этого лежит неправомерное отождествление критической и практической установок. Между тем у Сумарокова нет ничего похожего на такое тождество. Показательно, что он неоднократно употребляет в торжественных одах те самые выражения, с помощью которых он пародирует Ломоносова (см.: Живов 1996, 248–249; Живов 2007, 40–44).

нового языкового стандарта, так что расширение его функционального диапазона (сфер употребления) и жанрового репертуара должно привести к наполнению созданных стилистических рубрик разнообразным языковым материалом. Определенный сдвиг – и в теоретическом замысле, и в языковой практике – происходит и в отношении полифункциональности. Полифункциональным новый языковой стандарт, конечно, не становится, однако в диапазон его функций, первоначально ограниченный «историческими и мануфактурными книгами», входит (и занимает главенствующее место) литература, а включение в число источников новой нормы церковных книг создает потенциал для распространения нового идиома на сферу духовной литературы.

Практически никаких изменений не происходит лишь в отношении общеобязательности. Новый языковой стандарт остается достоянием небольшой части образованной элиты, а возникшие за этот период образовательные институты (Академическая гимназия, Шляхетный корпус, Московский университет) существенной экспансии нового идиома пока еще не дают. Малочисленность лиц, пользующихся новым языковым стандартом, представляется существенным фактором в его динамике. Иногда говорят о том, что литературное и языковое развитие в России XVIII в. является «ускоренным». За этим стоит представление о какой-то эталонной эволюции (представленной, скажем, литературами Франции и Германии), в котором те же смены литературных установок занимают более столетия, – Россия проходит этот путь лет за тридцать. Количество практикующих литераторов и многочисленность публикуемых ими творений явно играет в этих расхождениях существенную роль: большая толпа всегда движется медленнее, чем маленькая летучая команда. Изменения, которые затрагивают литературные и языковые навыки сотни авторов и их читателей, неизмеримо волатильнее, чем перемены, касающиеся производителей и потребителей массовой литературы⁵⁴². Ускоренное развитие как раз и оказывается результатом столкновения и взаимодействия разнообразных позиций в маленькой группе вершителей судеб русского языка, на деятельность которых не воздействует консерватизм языковых навыков большого читательского общества.

⁵⁴² В полной мере литература становится массовой, а ее производство делается профессией, когда возникает книжный рынок. Во Франции это происходит в начале XVIII в., в Германии и Англии – в середине этого же столетия (ср.: Коллинз 1928). Россия в этом отношении отстает существенно, почти на целый век (см.: Гриц, Тренин, Никитин 1929; Мейнье 1966). В 1830 г. А. С. Пушкин писал А. Х. Бенкендорфу: «10 лет тому назад литературою занималось у нас весьма малое число любителей. Они видели в ней приятное, благородное упражнение – но еще не отросль промышленности: читателей было еще мало; книжная торговля ограничивалась переводами кой-каких романов и перепечат. <анием> сонн. <иков> и пес. <енников>» (Пушкин, XIV, 279; ср.: Благой 1931, 34–47). Однако возникновению книжного рынка предшествует период (обычно не слишком краткий), когда и поставщики, и покупатели многократно умножаются, что и создает возможность для профессиональной литературной и издательской деятельности. Во Франции этот процесс количественного роста начинается в XVII в., в России – не ранее царствования Екатерины Великой (см. ниже).

4. Ускоренное развитие и нестабильность стандарта – иллюстрация: нормализация окончаний прилагательных в именительном-винительном падеже множественного числа

Перипетии формирования языкового стандарта можно проиллюстрировать историей нормализации окончаний прилагательных в им.-вин. мн. числа. Употребление этих окончаний колебалось от начала нормализации в 1728 г. и вплоть до регламентации орфографии при заведении народных училищ в 1780-х годах. В течение почти шестидесяти лет, едва ли не основных для формирования языковой нормы, в употреблении этих окончаний не только не было последовательности, но и единства установок. Напротив, отцы новой русской литературы и сочетавшегося с этой литературой языкового стандарта (Тредиаковский, Ломоносов и Сумароков) ожесточенно спорили по данному вопросу, и в этих спорах сталкивались те принципиально разные установки, на которых предполагалось основывать устройство русского литературного языка. Недаром Тредиаковский в 1758 г. в своем доношении в Академию наук, объясняющем, почему он перестал посещать академические собрания, и подводящем итог его академической деятельности, заявляет, что не может вынести гонений от своих сотоварищей (Ломоносова) и что его злодеи стремятся, дабы «употребляющего меня праведно и с твердым основанием (*и*), в окончаниях прилагательных множественных мужеских целых, всемерно низвергнуть в пропасть безславия» (Пекарский 1866, 179; Пекарский, ИА II, 208), т. е. причисляет регламентацию занимающих нас флексий к основным достижениям своей академической жизни. Показательно и то, как эти теоретические битвы отражаются (или, напротив, не отражаются) на реальном узусе.

В допетровскую эпоху употребление данных флексий было различным в разных регистрах, и эти различия в XVII в. реализовались вполне отчетливо. В стандартном церковнославянском употреблялся традиционный книжный набор флексий, согласованных по роду и падежу: флексия *-и* в им. мн. м. рода, флексия *-и*я/*-ы*я в вин. мн. м. рода и им.-вин. ж. рода, флексия *-а*я/*-я*я в им.-вин. ср. рода. В гибридном регистре употребляются те же флексии плюс «безродовая» флексия *-и*е/*-ы*е, появляющаяся в результате интерференции с некнижными регистрами и постепенно – на протяжении XVII в. – упрочивающая свое положение. Это не единственное отличие гибридной конфигурации от стандартной книжной. Для гибридного регистра согласование по роду и падежу оказывается факультативным; если флексии *-и*и/*-ы*и и *-а*я/*-я*я в подавляющем большинстве случаев употребляются согласованно, то окончание *-и*я/*-ы*я имеет тенденцию употребляться без согласования по роду и падежу, становясь тем самым второй «безродовой» флексией. Очевидно, в силу интерференции с гибридным регистром в конфигурации бытового регистра присутствуют два варианта: флексии *-и*е/*-ы*е и *-и*я/*-ы*я; они обе употребляются несогласованно. Отличие гибридного регистра от бытового состоит в употреблении «родовых» флексий *-и*и/*-ы*и и *-а*я/*-я*я; в бытовых текстах они встречаются лишь в виде исключений и их появление

мотивировано как феномен чужого слова. В деловом регистре основным вариантом является *-ие/-ые*, тогда как появление в некоторых памятниках флексии *-ия/-ья* окказионально и связано с влиянием книжной письменности (см. подробно: Живов 2004а, 408–451).

В Петровскую эпоху распределенные по регистрам конфигурации вариантов оказались смешанными в едином недифференцированном узусе. В некоторых из текстов этого периода употребление сходствует с характерным для делового регистра, однако с определенными отступлениями, не укладывающимися в деловую норму. В других воспроизведена дистрибуция, характерная для гибридного узуса (таковы, например, «Библиотека» Аполлодора в переводе Барсова или «География генеральная» Б. Варения); составители этих текстов явно не готовы расстаться с согласовательным принципом в употреблении окончаний прилагательных. В третьих конфигурация морфологических вариантов ближайшим образом напоминает ту, которая свойственна бытовой письменности (см.: Живов 2004а, 451–463). Это «безразборное» употребление характерно и для «Краткого описания комментариев Академии наук» 1728 г., которое можно рассматривать как тот нулевой уровень, с которого стартовала академическая нормализация (см. выше, § XI-1).

Как уже говорилось (см. § XI-3), с началом академической нормализации унифицированным окончанием прилагательных им.-вин. мн. числа (для всех трех родов) становится флексия *-ие/-ые*, которую мы и находим в «Примечаниях к ведомостям» за 1728–1730-е годы. Ее же в том же качестве приводит и М. Шванвиц в своей немецкой грамматике 1730 г. (Шванвиц 1730). Однако эта норма оказывается принятой не всем академическим сообществом: Тредиаковский в «Езде в остров любви» 1730 г. употребляет в качестве унифицированного окончание *-ия/-ья*. Адодуров в «Anfangs-Gründe» 1731 г. кодифицирует оба окончания: в качестве вариантных «per tria genera» даются флексии *-ые* и *-ья* (Адодуров 1731, 30). Это, видимо, было уступкой Тредиаковскому или, если угодно, уступкой узусу изящной словесности, главным текстом которой и была в это время «Езда в остров любви».

Именно на фоне этого компромисса представляется вполне понятным правило 1733 г., о котором сообщает Тредиаковский и которое реализуется в «Примечаниях к ведомостям» за этот год. Это правило сохраняет достигнутый в «Anfangs-Gründe» компромисс, но возвращает утраченную в них регламентированность. Согласно новому правилу флексия *-ие/-ые* употребляется с м. родом, а флексия *-ия/-ья* – с ж. и ср. родом. Это искусственное нормализационное решение представляет собой, с одной стороны, компромисс между различными языковыми практиками, а с другой – более тонкую регламентацию узуса, вновь вводящую согласовательный принцип. О том, что в 1733 г. в Академической типографии было введено такое правило, причем именно как правило обязательное для академических изданий, сообщает Тредиаковский в статье о правописании прилагательных 1755 г. (Пекарский 1865, 103, 107, 109). Прежние безродовые флексии *-ие/-ые* и *-ия/-ья* были оставлены в употреблении, и в этом плане новый узус оказывался компромиссом между двумя линиями академической языковой практики. Две эти флексии, однако, были теперь реконцептуализированы как

родовые, т. е. для нового языкового стандарта вновь оказывался актуальным согласовательный принцип, ранее воспринимавшийся и как примета старой книжной нормы. Благодаря этому решению из нового языкового стандарта устранялась вариативность, и тем самым употребление форм прилагательного во мн. числе превращалось из «безразборного» в регламентированное, как это и приличествовало новому языковому стандарту в соответствии с европейскими представлениями об обработанном языке⁵⁴³.

В принципе историю кодификации прилагательных в им.-вин. мн. числа здесь можно было бы и закончить, поскольку, как известно, правило 1733 г. оставалось в силе вплоть до орфографической реформы 1917–1918 гг. Конечно, оно не с самого начала реализовалось повсеместно, в середине XVIII в. многие авторы, непосредственно не связанные с Академией наук, продолжали писать так, как они привыкли. Об этом прямо говорит Тредиаковский: «Сказать правду, <...> на безразборныя окончания, в прилагательных наших множественных целых, больше походу во всем простом народе, и во всех простых и приказных сочинениях: определенные постоянно с 1733 года, токмо что обретающиися при академических музах употребляют, и очень редко кто из сторонних. Имею я честь знать у нас и тако́ва человека, который во всех трех родах оныя окончания пишет токмо что на одно (е)» (Тредиаковский 1748, 339/III, 230). Постепенное внедрение установленной академическими филологами нормы связано с развитием школьного обучения русскому языку (см. ниже). Это, однако, не вся история. Вскоре после того как новая норма была кодифицирована, в академическом кругу появились первые диссиденты, которые с новым правилом были по разным соображениям не согласны и пытались изменить складывавшуюся языковую практику.

Первым атаку на правило 1733 г. начал неутомимый экспериментатор Тредиаковский, и это было связано с начавшимся общим изменением его лингвистических взглядов. 3 февраля 1746 г. он подал в Академию наук рассуждение, озаглавленное «De plurali nominum adjectivorum integrorum Russica lingua scribendorum terminatione». Стоит сразу же отметить, что раньше Тредиаковский никаких возражений против установленной нормы не высказывал и следовал ей в издававшихся им в Академической типографии книгах, например, в «Оде о взятии города Гданска» и «Рассуждении о оде во обще», изданных Тредиаковским в 1734 г. (Тредиаковский 1734), в дважды изданной «Истинной политике знатных и благородных особ» (Тредиаков-

⁵⁴³ Первое известное нам грамматическое сочинение, в котором запечатлевается правило 1733 г., – это второе издание немецкой грамматики Шванвица, которое было отредактировано Адодуровым. Там, где в первом издании указывалось одно окончание, во втором фиксируются два, например: «Имен. похваляюще, ія lobende <...> Вин. похваляющихъ, іе, ія lobende <...> чрезъ всѣ три роды» (Шванвиц 1734, 159); «Имен. похваленные, ыя gelobte <...> Вин. похваленныхъ, ыя, похваленные gelobte <...> чрезъ всѣ три роды» (с. 163). О том, что имеется в виду распределение этих окончаний по родам, говорят примеры в других парадигмах, ср.: *такіе мужи, такія господа, такіе дома* (с. 147); *какіе мужи, какія господа, какіе дома* (Имен.), *какіе дома* (Вин.) (с. 151–153). Об этом же свидетельствует и текст грамматики, в котором в прилагательных ж. и ср. рода произведена последовательная замена флексии *-ие/-ые* на флексию *-ия/-ья*.

ский 17376; Тредиаковский 17456) или в «Слове о витийстве» 1745 г. (Тредиаковский 1745а). К середине 1740-х годов его взгляды на соотношение русского и церковнославянского стали меняться. Если раньше он рассматривал оппозицию двух этих языков как аналогичную оппозиции французского (или итальянского) и латыни, то теперь он склоняется к мысли о фундаментальной специфике русской языковой ситуации, обусловленной тем, что русский един по природе со славенским, тогда как французский, итальянский и испанский «отменились от латинского всею природою сочинения, хотя и ясно видимо, что оне произошли от него» (Тредиаковский 1748, 300/III, 203) (см. об этой перемене выше, § XII-2). Окончания прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа, утвержденные правилом 1733 г., противоречили этой единой природе «сочинения» (т. е. словоизменения) и поэтому не удовлетворяли Тредиаковского.

Поскольку предложения 1746 г. не были приняты Академией наук (по решению И. Д. Шумахера после критики Ломоносова – см.: Ломоносов, VII², 802), Тредиаковский продолжает настойчиво возвращаться к этому вопросу, снабжая свои предложения более развернутой аргументацией в «Разговоре об орфографии» 1748 г., а затем в отдельной статье 1755 г. (Пекарский 1865). То, что Тредиаковский предлагает взамен правила 1733 г., обычно связывается с «ориентацией на церковнославянскую языковую модель» (Успенский 1985, 162). Это, вообще говоря, верно, хотя ориентация оказывается здесь не прямой. Тредиаковский не предлагает вернуться к церковнославянской системе окончаний, а придумывает свою собственную, не менее искусственную, чем та, которая вводилась правилом 1733 г., а далее уже не без труда доказывает, что его изобретение соответствует «славенской» природе русского языка. Тредиаковский настаивает, что «нашим окончаниям множественного числа целых, а не усеченных имен, как именных, так местоименных, и причасных, мужеского женского, и среднего рода, надлежит быть следующим:

| ІМЕН. | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| муж. | жен. | сред. |
| Святѣи Істинні | Святые Істинные | Святѣя Істинныя |
| МЪСТОІМ. | | |
| Онѣи Которѣи | Оные Которые | Онѣя Которыя |
| ПРІЧАС. | | |
| Угождающѣи Угодѣвшѣи | Угождающѣе Угодѣвшѣе | Угождающѣя Угодѣвшѣя» |

(Тредиаковский 1748, 293–294/III, 198; ср. ту же таблицу: Пекарский 1865, 112).

Аргументы, которые приводит Тредиakovский в пользу своей системы, разнообразны. Он и в самом деле начинает с того, что, называя «окончение прилагательных множественное мужеское на *е*» неправильным, доказывает эту неправильность нарушением в случае этого окончания «сличия и сходства, по самой бóльшей части славенскаго с нашим языка, о котором всем весьма есть извесно, что он нашему источник и корень, и с которым наш мало нечто разнится» (Ломоносов, IV, примеч., 12–13; ср.: Вомперский 1968, 87). Тредиakovский ссылается при этом на церковнославянские формы, в которых «окончение <...> непременно есть на *и*», на сравнительные данные («малороссийский язык», а также сербский, польский и чешский), и, наконец, на внутреннюю аналогию, а именно на *и* в окончаниях притяжательных прилагательных (Ломоносов, IV, примеч., 12), приводя «тучу, чтоб так сказать, доказательств» (Тредиakovский 1748, 295/III, 199). Аналогия, на взгляд Тредиakovского, требует, чтобы прилагательные м. рода во мн. числе кончались на *и*, он ссылается при этом не только на притяжательные прилагательные, но и на указательные, личные и притяжательные местоимения. Здесь, естественно, уже начинаются сложности, поскольку эти «аналогические» формы кончаются на *и* вне зависимости от рода и Тредиakovскому приходится оговариваться, что, «хотя сие окончание *и*, есть общее всем трем родам», однако оно особенно сродно «прилагательным множественным мужескаго рода, как первейшаго и чеснейшаго прочих обоих» (Ломоносов, IV, примеч., 14). Таким образом, ориентация на церковнославянскую модель сочетается в аргументации Тредиakovского с другими факторами, которые можно было бы назвать внутриграмматическими.

Существенно, что выбором окончания им. мн. м. рода сближение с природой церковнославянского и ограничивается. Если окончание им. мн. м. рода действительно совпадает у Тредиakovского с церковнославянским, то окончания им.-вин. мн. ж. и ср. рода (равно как и вин. мн. м. рода) с церковнославянским образцом не совпадают. Их Тредиakovский вводит на основании сомнительных аргументов, имеющих дело даже не с аналогией, а с оптимальным устройством парадигмы. Собственно говоря, у него остается в запасе два окончания – *-ие/-ые* и *-ия/-ыя*, и аргументация сводится к тому, почему *-е* больше подходит для женского, а *-я* – для ср. рода. В предложениях 1746 г. основным доводом в пользу *-е* в им. мн. ж. рода является устранение омонимии между им. мн. и род. ед.: «Сему же различию лучше быть, нежели не быть между именительным множественным, и родительным единственным женскими, для того что оба падежа кончатся ныне подобно, так: *святыя* жены именительный множественный, и *святыя* жены родительной единственной: ибо всегда и везде лучшее есть и почитается распорядок, нежели сумесь» (там же, 24); тот же аргумент почти дословно повторяется в трактате 1755 г., причем указывается, что «всегда и везде предпочитается различие смятности» (Пекарский 1865, 111). Устранение омонимии – важный резон практически для всех грамматистов этой эпохи – обуславливает выбор *-ие/-ые* для ж. р., что оставляет *-ия/-ыя* на долю ср. рода. К славянизации или русификации этот аргумент отношения не имеет.

В «Разговоре об орфографии» в связи с вопросом об окончании прилагательных во мн. числе подробно обсуждается теоретический вопрос о значе-

нии употребления в языке и соотношении грамматических правил и употребления⁵⁴⁴. Интересующий нас сейчас вывод Тредиаковского, сделанный уже в статье 1746 г., состоит в том, что при наличии в употреблении вариантов в качестве грамматической нормы должен быть избран тот, который согласен с «разумом»: «Ежели употребление будет в чем двоякое, или и больше; то тому должно следовать, которое согласнее с разумом, и от сего зашчищено быть может» (Ломоносов, IV, примеч., 17; см. развитие этого положения в «Разговоре об орфографии» – Тредиаковский 1748, 323–324/III, 219–220; эта аргументация воспроизводится и в трактате 1755 г. – Пекарский 1865, 108–110). В этом контексте решается вопрос о выборе окончания для ж. и ср. рода. «Разум» утверждает, что «ежели средний род кончить на (е), а женский на (я); то 1). множественный именительный падеж женский не различится от единственного родительного, хотя и находится он в таком состоянии, что отмениться может, без повреждения природы в языке. Следовательно, есть замешательство: а умъ твердит лучше быть распределению и распорядку. 2). Средний род всегда и непременно оканчивается на (я) в славянском языке. Следовательно, должно ему оканчиваться и у нас постоянно. Посему, понеже должно быть между сими родами различию, женскому осталось быть на (е). 3). Понеже все существительныя имена, среднего рода, во множественном числе, именительный свой падеж оканчивают или на (а) или на (я): то лучше, для приятности слуху, кончить и прилагательныя средня так, чтоб, звоном подобным в окончаниях, согласны они были с окончаниями своих существительных» (там же, 335–336/227–228).

Б. А. Успенский полагает, что ориентация на церковнославянский проявляется в самом различении во мн. числе трех родовых форм: «В самом деле, в плане содержания, т. е. на категориальном уровне, правописание Тредиаковского однозначно коррелирует с церковнославянским – в обоих случаях различаются все три рода» (Успенский 1984б, 105; Успенский, II, 379–380). Формально такая корреляция, действительно, имеет место, однако Тредиаковский к этому моменту не апеллирует. Согласовательный принцип, который мог ассоциироваться с церковнославянской грамматической традицией, присутствует и в регламентации, которую Тредиаковский ниспровергает, а предпочтительность тернарной оппозиции в отношении к бинарной не представлялась, видимо, достаточно весомым аргументом. Тредиаковский и здесь доказывает свою правоту не обращением к церковнославянскому образцу, а общеграмматическими соображениями: «[К]оторых имен род есть различен, тех необходимо долженствует быть окончание различное, ежели сие различие может зделаться не в противность свойству и природе языка, для того что все роды наших имен больше окончаниями разбираются. Но что роды женской и средней между собою разнятся, то сие всегда пребудет истинно» (Ломоносов, IV, примеч., 23).

Правило 1733 г. не воспроизводило, как мы знаем, никакое из существовавших ранее употреблений и в этом плане не было ни «славянизацией»,

⁵⁴⁴ Об эволюции взглядов Тредиаковского на употребление и о том, какую трансформацию претерпевают при этом идущие от К. Вожела формулировки см.: Успенский 1985, 183–196; Живов 1996, 350–368.

ни «русификацией» языковой практики. Это было искусственное нормализационное решение, значимость которого именно в нормализации и заключалась. То же самое можно сказать и о системе, предложенной Тредиаковским. Как правильно замечает П. А. Клубков, «предлагавшиеся Тредиаковским орфографические новации представляли собой не столько “славянизацию” орфографии, сколько ее “рационализацию”» (Клубков 1999, 76). Аргумент, относящийся к соответствию окончания им. мн. м. рода на *-и* единой природе русского и славянского, в его построениях вторичен. Тредиаковский не отождествляет новый литературный язык с церковнославянским и не восстанавливает церковнославянскую систему окончаний мн. числа. В этом смысле он признает, что русский язык отличается от церковнославянского, хотя они и являются едиными по природе. Отличаясь от церковнославянского, русский язык находится, однако же, в беспорядке, он не имеет «исправной грамматики» и нуждается в усовершенствовании.

«Худое употребление», которое Тредиаковский приравнивает к «незнанию» (Тредиаковский 1748, 330/III, 224), не создает основы для этого совершенствования, в обычном произношении конечные гласные окончаний смешиваются. «Подлинно много таких, – пишет Тредиаковский, – которые выговором оканчивают те имена на (е); но больше и таких, которые тотже падеж, тогож числѣ, и тогож рода, не токмо выговаривая, но и на письме то на (я), то на (е) кончат. Пускай посмотрятъ все наши книги, печатанные гражданским типом прежде 1733 года. Пускай также справится, кто изволит, и с сочинениями приказных людей поныне» (там же, 328–329/223). «Доброе употребление» должно отличаться от «худого», «безразборного», однако правило 1733 г. доброго употребления не обеспечивает, а только усугубляет существующие недостатки⁵⁴⁵. Устранение «безразборности» и установление различия для «трех родов имен» и оказывается совершенствованием языка, и это усовершенствование осуществляется на основе русского (а не церковнославянского) языка, поскольку именно он в силу редукции конечных безударных гласных создает почву для грамматических манипуляций Тредиаковского.

В принципе система, придуманная Тредиаковским, была не лучше и не хуже той, которая предлагалась правилом 1733 г. Так же, как и эта последняя, она не соответствовала узусу, существовавшему до нововведения, и требовала от пишущих усвоения новых письменных навыков. Существенным достоинством системы 1733 г. было, однако, то, что ко времени выступления Тредиаковского она уже реализовалась в практике академического книгопечатания в течение тринадцати лет. Никакого стимула к новой реформе, кроме амбиций Тредиаковского, не было, а академическое началь-

⁵⁴⁵ «Впрочем, я сказал бы, что лучше быть в наших оных прилагательных именах двум безразборным окончаниям, ежелиб они совершенно различали три рода имен, в чем превеликая есть нужда исправному, красному и чистому языку, сверх того, что сей токмо приводит писателя в храм славы и памяти, а о чем всем мало зоботится простонародный язык, нежели оным постоянным, определенным с 1733 года, длятого что они, как женский род не различают с средним, так мужеский род переменили на (е) вместо (і) в безответную противность природе нашего выговора» (Тредиаковский 1748, 340/III, 231).

ство (прежде всего Шумахер) этим амбициям не симпатизировало. Предложение Тредиаковского было отдано на рассмотрение Ломоносову, который отверг все те аргументы, которыми Тредиаковский его обосновывал.

Касаясь флексии *-и* в им. мн. м. рода, Ломоносов прежде всего обращается к генетической классификации морфологических вариантов (традиция которой восходит к Лудольфу и Паусу – см.: Живов и Кайперт 1996; Живов 1996, 212–214) и указывает, что «Славенской язык от Великороссийского ничем столько не разнится, как окончаниями речений» (Ломоносов, IV, 1/VII², 83), и логично заключает, что церковнославянские окончания не могут быть основанием для выбора «великороссийских»⁵⁴⁶. Единственный недостаток этого контраргумента состоит в том, что в новом литературном языке были закреплены в качестве нормативных (или близких к нормативным) такие флексии, как *-аго/-яго* в род. ед. м. и ср. рода или *-ья/-ия* в род. ед. ж. рода, на которые могла быть распространена та же схема рассуждений, что и на окончание *-ии* в им. мн. м. рода. Однако генетические характеристики не были для филологов этого времени неизменным атрибутом тех или иных морфологических показателей, они оставались предметом грамматических манипуляций, посредством которых одни показатели вводились в сетку генетических оппозиций, а другие из нее выводились и рассматривались как элементы языкового стандарта.

Не представляются Ломоносову убедительными и сравнительные данные, они в принципе не могут служить ориентиром для нормализации русского языка: «[Е]жели нам в сем случае Малороссиянам последовать, не взирая на общее употребление, то Великороссийской язык тем больше испортится, нежели исправится. Тоже надлежит разуметь и о других Великороссийскому сродных языках» (Ломоносов, IV, 2/VII², 83). Не устраивает Ломоносова и критерий внутренней аналогии, «ибо всякое [слово. – В. Ж.] надлежит к своему собственному склонению, в котором каждое от употребления положено». Это и определяет общий вывод: «Из сего всего явствует, что к постановлению окончаний прилагательных множественных имен никакие теоретические доводы не довольны; но как во всей грамматике, так и в сем случае одному употреблению повиноваться должно» (там же, IV, 2/VII², 84).

Главным критерием нормализации остается для Ломоносова употребление – в полном соответствии с западноевропейскими лингвистическими теориями его времени, впервые сформулированными К. Вожела в применении к проблемам формирования французского языкового стандарта. Недаром Тредиаковский в «Разговоре об ортографии» уделяет столько внимания вопросу о дифференциации «худого» и «доброго» употребления. В прило-

⁵⁴⁶ Доказывая это положение, Ломоносов подбирает в качестве примеров те флексии, генетическая противопоставленность которых не вызывала у тогдашних филологов никаких сомнений: «Пославенски, *сыновѣмъ, дѣлѣмъ, рѣцѣ, мене, пихомъ, кланяхуся*; повеликороссийски, *сыновьямъ, дѣламъ, руки, меня, (мы) пили, (они) кланялись*. Таким же образом и множественныя прилагательныя мужеския в именительном падеже Славенския разны от Великороссийскихъ» (Ломоносов, IV, 1/VII², 83). Генетическая противопоставленность флексий прилагательных в им.-вин. мн. числа не была столь очевидна.

жении к русской языковой ситуации этого времени критерий употребления вовсе не выглядит таким самоочевидным, как его подает Ломоносов. Ломоносов имеет в виду прежде всего разговорное употребление; оно, однако, не могло служить критерием при нормализации лексики и синтаксиса, поскольку должно было бы исключить из письменного стандарта лексические «славянизмы» и многие необходимые в письменном изложении синтаксические построения. С проблемой лексических «славянизмов» русские филологи к тому времени уже столкнулись и, видимо, осознали бесперспективность в этой сфере вожеластицкого радикализма (ср.: Живов 1996, 214 сл.).

Если критерий разговорного употребления не действовал в лексике и синтаксисе, следовало ли ригористически придерживаться его в морфологии? Эти сомнения и побуждают Тредиаковского различать разные типы узуса, лишь декларативно сохраняя приверженность вожеластистскому разговорному употреблению; употребление, основанное на разуме, и употребление ученых или искусных людей по существу легализуют письменный узус в качестве отдельного ориентира (ср.: Живов 1996, 350–368). Определенные явления разговорного употребления могут трактоваться как ошибки, недопустимые в письменном узусе: «В дружеских разговорах ошибка не столько ставится в строку; в письмах больше подвержена осмеянию: но погрешение, или незнание почитай ужé непростительно в печати» (Тредиаковский 1748, 330–331/III, 224).

Хотя Ломоносов переосмыслял категорию употребления во многом сходным образом, в замечаниях на предложения Тредиаковского он пользуется этим понятием в его исходном значении (отсылающем в первую очередь к разговорной речи и фиксирующим ее текстам). Сейчас не столь важно, поступает ли он так, преследуя полемические цели или в силу того, что к переосмыслению данной категории он пришел несколькими годами позже (ср. §§ 164, 165 «Риторики» 1748 г. – Ломоносов, III, 219/VII², 236–237). Он пишет: «Подлинно что употребление множественного окончания Великороссийских прилагательных имен в именительном падеже не постоянно; однако не так, как в сих параграфах предложено. Ибо на *е* множественное окончание во всех родах употребительнее нежели на *я*. Что явствует во всех печатных и рукописных гражданских книгах от Великороссиян сочиненных, каковы суть, уложение указные книги и другия печатныя и писменныя прáва и указы. А на *и* окончания множественного прилагательных в книгах от Великороссиян сочиненных и переведенных нигде видать мне не случилось. Что ж надлежит до неявственного произношения последнего писмени в тихих разговорах, то хотя слухом и трудно распознать; однако сие бывает явно в двух случаях: 1) когда один другому из дали кричит, 2) в писмах» (Ломоносов, IV, 2–3/VII², 84–86).

Ориентация на разговорное употребление делает для Ломоносова сомнительным согласовательный принцип. Он пишет: «Окончение множественных прилагательных женских в именительном на *е* утверждается особливо на требуемом различии родов. Однако я рассуждаю, что такого различия родов, котораго в Российском языке нет, в новь замышлять не надлежит» (там же, IV, 3–4/VII², 86). Эти же соображения определяют и отношение Ломоносова к правилу 1733 г.: «Наконец мое мнение в том состоит,

что введенное за 10 и больше лет в академической типографии употребление множественных прилагательных окончаний мужеского на *е* а женского и среднего на *я* хотя довольно основания не имеет, однако свойству нынешняго Великороссийскаго (языка не) противно. А предложенное в сих пунктах мужеское прилагательных множественных на *и* употреблению Великороссийскаго языка противно. И так лутче буду я в прозе употреблять оное как уже несколько старое нежели сие новое и незрелое, а в стихах *е* и *я* во всех родах класть без разбору, смотря как потребует оных сложение; ибо сие свойству Великороссийскаго языка не противно» (там же, IV, 4/VII², 87).

В своей языковой практике Ломоносов в целом придерживался тех принципов, которые он изложил в своих замечаниях на предложения Тредиаковского. В прозаических сочинениях он и в самом деле следует правилу 1733 г. (см.: Живов 2004а, 498–499). В поэтических произведениях дело обстоит несколько иным образом. В «Примечаниях» Ломоносов фактически постулирует право поэта употреблять в стихах «безразборные» окончания, «смотря как потребует оных сложение». Отступления от правила 1733 г. рассматриваются тем самым как поэтическая вольность, потребность в которой может быть обусловлена рифмой (понятно, не размером). Не ясно, следует ли здесь говорить о фонетической или о графической рифме. В обычном екающем произношении заударные *е* и *я* не различались (как об этом свидетельствует и сам Ломоносов – см. выше, ср.: Панов 1990, 398–400), однако поэтическая декламация обладала особой фонетикой и могла избегать редукции там, где для разговорной речи она была нормативной. В этом смысле поэтическая декламация реализовала «полный стиль» произношения (как его понимает М. В. Панов), т. е. основывалась на тех самых *Lento-Formen*, к которым апеллирует Ломоносов, противопоставляя крик «тихим разговорам». Как полагает М. В. Панов, «главными опорами у Ломоносова здесь были: во-первых, навыки церковно-славянского произношения; <...> во-вторых, диалектные привычки Ломоносова» (там же, 433). Действительно, в церковном произношении редукция была ограничена, а в говоре Холмогор, как пишет А. Грандильевский, «[з]вук *я* служит вместо звука *е* в <...> окончании прилагательных в именительном падеже множественного числа мужеского рода на *е* (худыя, толстыя, кривыя вместо худые, толстые, кривые)» (Грандильевский 1907, 22). Таким образом, в поэтическом произношении флексии *-ья/-ия* и *-ье/-ие* могли, действительно, различаться, и в этом случае обсуждаемая поэтическая вольность способствовала фонетической точности рифмовки.

Впрочем, как правило, Ломоносов и в поэзии соблюдает то распределение форм прилагательных по родам, которое предписывалось правилом 1733 г. Отступления немногочисленны и в трех случаях явно обусловлены подбором точной рифмы к слову «Россия» (Ломоносов, IV, 105, 133, 139, 186). В двух других текстах отступления никак не мотивированы и могут трактоваться либо как случайные огрехи, либо как реализация той «безразборности», которую Ломоносов, не рассматривая правило 1733 г. как абсолютную норму, считает принципиально допустимой для русского языкового стандарта, ср.: *недремлющѣ очѣ стрегущѣе небесный градъ* (с. 125), *Власы събды простираетъ* (с. 188).

Таковы были взгляды Ломоносова на интересующую нас проблему, и такова была его языковая практика. Нет ничего удивительного в том, что в своей «Российской грамматике» он отступает от сложившейся академической традиции. В 1755–1757 гг., когда печатается грамматика, Ломоносов был на вершине своих академических успехов и мог позволить себе со скепсисом относиться к нормативным предписаниям своих предшественников, выставляя себя самого как создателя нового языкового стандарта. Действительно, в склонении прилагательных во мн. числе вообще не предусмотрено различие по роду и даются флексии для им. мн. *ые, ыя, ѳе, ѳя, ѳи* (последняя для «сокращенного», по терминологии Ломоносова, склонения прилагательных), для вин. мн. *ыхъ, ихъ, ые, ѳе, ѳи* (Ломоносов, IV, 78/VII², 152 – § 161). Отсутствие флексий *ыя, ѳя* в вин. мн. – случайность, обусловленная, видимо, нехваткой места в таблице; в приводимых парадигмах находим: им. мн. *истинные* или *истинныя*, вин. мн. *истинныхъ* или *истинные* или *истинныя*; им. мн. *прежніе, прежнія*, вин. мн. *прежнихъ, прежніе, прежнія* (там же, 79–80/453–454). В § 119 грамматики Ломоносов возвращается к полемике с Тредиаковским и, утверждая невозможность флексии на *-и* в им. мн. м. рода, констатирует, что флексии на *-е* и на *-я* равно подходят для всех трех родов⁵⁴⁷.

Поскольку правило 1733 г. пытались подорвать и Тредиаковский, и Ломоносов, нет ничего удивительного в том, что за это же дело взялся и Сумароков: все трое претендовали на славу первого благодетеля новой русской литературы и нового русского литературного языка, и те проблемы, которые ставились одним из трех, вскоре подхватывались его соперниками и решались, понятно, в духе, противоположном ранее предложенному решению. Правило 1733 г. было безымянным, и каждый из трех претендентов стремился дать свое имя переустройству окончаний прилагательных во мн. числе, ставшему животрепещущим вопросом после выступления Тредиаковского. Как замечает П. П. Пекарский, «Сумароков, вообще писавший крайне безграмотно, так как вовсе не знал грамматики, хотел однако отличиться от своих литературных врагов, а потому уверял, что все прилагательные в именительном множественного числа следует писать на *я*» (Пекарский, ИА, II, 658–659).

Оставляя на совести Пекарского суждение о безграмотности Сумарокова, замечу, что северный Расин скептически относился к опытам ученой нормализации языка, порицая своих соперников за академическое педантизм (см. Живов 2007, 20–28). Так, по крайней мере, обстояло дело, пока его литературные враги были живы. Это отношение к грамматике он декларирует в статье, напечатанной в «Трудолюбивой пчеле» в 1759 г., переходя от

⁵⁴⁷ В § 119 Ломоносов пишет: «В окончании прилагательных множественного числа мужеского рода, вместо *Е* или *Я*, некоторые ставят везде *И*, что употреблению и слуху весьма противно. Употребление букв *Е* и *Я* в прилагательных множественного числа всех родов в Великороссийском языке от начала исторических и других писателей Московских, а особливо от времен Великого Государя Царя Иоанна Васильевича, и до нынешняго времени непрерывно было <...> и ныне от знающих писателей содержится» (Ломоносов, IV, 54–55/VII², 132).

данной декларации к вопросу об окончании прилагательных, он пишет: «Имена прилагательныя кончаются у меня во множественном всех родов в именительном падеже на Я. А потому что я по единому только собственному моему произволению ни каких себе правил не предписываю, и не только другим, но и самому себе в грамматике законодателем быть не дерзаю, памятуя то, что Грамматика повинуется языку, а не язык Грамматике; так должен я объявить вам, ради чего я все прилагательныя так окончаваю. Ради того что все так говорят. А для чего так говорить начали, о том спросите древних предков наших, ежели вы к тому случай имеете. А всенародного употребления не возможно опровергнуть, да и не для чего. Другой на сие довод столько ж важен: В Славенских наших книгах, прилагательныя имена, множественного числа <...> рода мужескаго кончаются на И. В женском и среднем на Я. Ежели нам следуя тому поступать; так мы Славенским мужеским окончанием введем нечто несвойственное в нынешний язык наш, к чему народ не только привыкать не может, но и не станет. Какому же последую правилу окончаєте вы во множественном прилагательныя имена на Е? Вы скажете: так пишут ныне. Кто так пишет ныне? Все, вы скажете. Право не все, ибо не все еще сим заражены и ни когда не заразятся, а то, что не имеет ни малейшаго основания, стоять не может» (Трудолюбивая пчела 1759, 265–267; ср.: Сумароков, VI, 308–309).

Позднее Сумароков еще два раза возвращается к этому вопросу, в статье «О правописании», написанной в 1768–1771 гг., и в дополнениях к ней, известных как «Примечание о правописании» и написанных не ранее 1773 г. Здесь он уже принимает на себя миссию законодателя и предписывает употреблять флексию *-ия/-ья* во всех родах. В статье «О правописании» говорится: «В старину прилагательное в разных родах так писалось: *Великии мужи, великия области, великия моря*; с чего ж мы в роде Мужеском пишем *Великие*? Литера Е никогда роду мужескому не принадлежала в нашем языке: да и выговариваем мы *великия мужи*; так когда отставило употребление писать *великии*; не должно ли писать во всех родах одинако; ибо *великие* ни которому роду не свойственно, ниже роду мужескому в нашем языке: а *великия* свойственны двум родам, а по употреблению и третьему. Ни кто сего правила не устанавливал; но невежеством ввезено в наш язык, ко трудности и ко безобразию онаго» (Сумароков, X, 29–30). Как можно видеть, Сумароков не слишком хорошо знает церковнославянскую грамматику, но для него эти сведения непринципиальны, поскольку он полагает, что данная система была отставлена «употреблением». Предложенную Тредиаковским флексию *-ии* Сумароков отвергает как славянизм, и это оставляет для него только одну возможность – распространить на все три рода флексию *-ия/-ья*, что он и предлагает в качестве новой регламентации. Он, впрочем, не настаивает на ее общеобязательности, хотя намекает, что он и есть тот единственный писатель, который способен предложить разумное правило. На употребление он ссылается с тем же его пониманием, как и Ломоносов, т. е. обнаруживая его в первую очередь в разговорной речи. В отличие от Ломоносова, однако, в произношении он слышит (полагает, что слышит) *великия*, а не *великие*. На этом основании и на основании того, что флексия *-ия/-ья* уже употребляется у прилагательных ж. и ср. рода, Сумароков закреп-

пляет эту флексию для всех трех родов, создавая тем самым новое правило, отличающееся простотой, но полностью игнорирующее согласовательный принцип⁵⁴⁸.

Что касается соотношения предлагаемой Сумароковым нормы с его собственной языковой практикой, отдельные детали остаются здесь не вполне ясными. В самых ранних публикациях Сумарокова встречаются обе флексии, *-ие/-ые* и *-ия/-ья*, причем употребляются они без согласования по роду. Между тем уже в «Двух епистолах» 1748 г. наблюдается употребление флексии *-ия/-ья* в качестве унифицированной; соответствующие формы мы находим как в стихотворном, так и в прозаическом тексте. Отсюда можно было бы сделать вывод, что Сумароков приходит к унифицированному употреблению флексии *-ия/-ья* уже в 1748 г. и затем придерживается его всю жизнь. Хотя исключить этого нельзя, не все факты согласуются с подобной гипотезой. Так, в одах Сумарокова, напечатанных в «Ежемесячных сочинениях», прилагательные в им.-вин. мн. м. рода употребляются как с флексией *-ия/-ья*, так и с флексией *-ие/-ые* (Ежемесячные сочинения 1755, XII, 489, 492; 1758, VII, 6; XI, 388, 393). В последующих прижизненных изданиях этих од флексии *-ие/-ые* заменены во всех приведенных примерах на флексии *-ия/-ья*. Уже через год, в стихах Сумарокова в «Трудолюбивой пчеле» за 1759 г., в которой была напечатана и статья «К типографским наборщикам», последовательно выдерживается окончание *-ия/-ья* для всех родов. Возникает вопрос, как интерпретировать эти данные. Означают ли они, что колебания в языковой практике Сумарокова продолжались вплоть до 1759 г., когда он эксплицитно сформулировал свою позицию и стал приводить в соответствие с ней свои языковые навыки? Или же появление флексии *-ие/-ые* в одах, напечатанных в «Ежемесячных сочинениях», обусловлено вмешательством тех самых «типографских наборщиков», к которым затем обращается Сумароков? Однозначный ответ здесь вряд ли возможен. Очевидно, однако, что Сумароков располагал опытом унифицированного упо-

⁵⁴⁸ В «Примечании о правописании» Сумароков пишет: «Какое правило приказало нам писати прилагательныя во множественном Е. и Я? Е. в мужеском выдумали так же подъячия, а позабыв завед людей во сей не основательный лабиринт, хотя многия и мучатся над различием родов[,] мешаются, и гадят язык еще более. Г. Тредьяковский смешное еще правило устави, ради показания новаго, но худаго изобретения: ИИ ІЕ АЯ. Ежели следовати старине; так должно писати *Непорочніи, непорочныя, непорочная*: но ИИ пахнет отверженною от нас хотя и неделно Славенщизною: и осталось писати во всех трех родах *непорочныя*. А другия писатели сего за твердое правило еще неприемлют, так пускай писатели выдумывают такая правила, какия они хотят; но сколько мы писателей имеем?» (Сумароков, X, 42). Любопытно, что, по мнению Сумарокова, флексию *-ие/-ые* в м. роде ввели в употребление подъячие; это, конечно, воспроизводит общий тезис Сумарокова, согласно которому русский язык испортили и портят подъячие (см.: Живов 1996, 302–305), однако не исключено, что данная мысль была навеяна ссылкой Тредиаковского на «сочинения приказных людей» (Тредиаковский 1748, 329/III, 223). Кажется вероятным, что, говоря о других писателях, которые не принимают его правило, Сумароков отзывается на замечания В. Светова, писавшего в 1773 г. о привлекательности сумароковского правила, однако ставившего его реализацию в зависимость от согласия «всех Российских писателей» (Светов 1773, 24; см. ниже).

требления флексии *-ия/-ья* уже в конце 1740-х годов, и именно к этому опыту он обратился в 1759 г., стремясь противопоставить свое правило предписаниям Ломоносова и Тредиаковского. Понятно, что, однажды определив свои позиции, он от них больше не отступал и, переиздавая свои сочинения, приводил их в соответствие с сформулированным им принципом.

Узус, сформированный Сумароковым, существенного развития не получил, как, впрочем, и инновации его литературных противников. Правда, грамматика Ломоносова пользовалась большим авторитетом вплоть до начала XIX в., а сам он воспринимался как первый кодификатор нового литературного стандарта. Тем не менее академическую языковую практику, основанную на правиле 1733 г., ему изменить не удалось. Изменение нормы, предложенное в «Российской грамматике», оказывает определенное влияние на дальнейшую кодификацию, но не воздействует заметным образом на развитие письменных навыков⁵⁴⁹.

⁵⁴⁹ Воспроизведение ломоносовской кодификации наблюдаем в ряде грамматических сочинений второй половины XVIII в. Так, скажем, в «Российской универсальной грамматике» Н. Курганова (Курганов 1769) в парадигме прилагательных во мн. числе в им. мн. даются формы *честные или честныя*, в вин. мн. *ихъ, или честные, ья* (с. 16); никакого распределения по родам не предусмотрено. Данная кодификационная схема без изменений воспроизводится и в последующих изданиях этой популярной книги (ср.: Курганов 1777, 14). Точно так же, без всяких существенных модификаций, ломоносовская кодификация воспроизводится и в грамматике Якоба Родде (Родде 1773). В таблице дается характерный набор ломоносовских окончаний: «Pluralis per tria genera. Nom. *ые, ья, ie, ia, ъи, <...>* Acc. *ыхъ ихъ ые, ie, ъи, Voc. ые, ья, ie, ia, ъи*» (с. 46), а в парадигмах варианты формы без распределения по родам: «Nom. *дѣбрые, oder дѣбрыя, die guten, <...>* Acc. *дѣбрые oder дѣбрыя, die guten, Voc. дѣбрые. gute*» (с. 47); «Nom. *прѣжніе, прѣжнія, die vorigen, <...>* Acc. *прѣжнихъ, прѣжніе, прѣжнія, Voc. прѣжніе, прѣжнія*» (с. 48). Похожую картину мы находим в «Кратких правилах российской грамматики», впервые изданных в 1773 г. (Краткие правила 1773). В таблице здесь даются те же самые флексии, что и у Ломоносова: «Им. *ые, ья, ie, ia, ъи. Вин. ихъ, ихъ, ые, ie, еи. Зва. ые, ie, ia, ья, ъи*» (с. 20); несовпадение наборов окончаний в им. мн. и вин. мн. восходит к тому же источнику. На него указывают и лексемы, которые даются в парадигмах. «И. Истинные, или ныя. <...> В. истинныхъ, ные, ныя. <...> И. Прѣжніе <...> В. прѣжнихъ, ніе, нія» (с. 21). На этом, однако, верность ломоносовской традиции кончается. В XVI главе книги «Краткия примечания о Правописании» в параграфе, где говорится об ошибочных написаниях *е* вместо *я*, сообщается: «Сие смешение литер (*е*) и (*я*) особливо бывает во множественном числе имен прилагательных, то есть тех, которые значат свойство и качество вещи или лица. Но о том по большей части принято правило такое, чтоб оныя прилагательныя в мужеском роде кончать на (*е*), а в женском и среднем на (*я*), на пр. *господѣ добрые, госпожи добрыя, деревья добрыя, столбы крѣпкіе, оконницы большія, стѣкла бѣлыя*» (с. 86). Эта кривая кодификация правила 1733 г. воспроизводится и в последующих изданиях «Кратких правил» (Краткие правила 1780, 27–29, 88; Краткие правила 1796, 29–31, 99).

Еще более показательно издание «Кратких правил» 1784 г. (Краткие правила 1784), в которых о распределении окончаний по родам говорится уже не в дополнительной главе, а в основном грамматическом описании. Таблицы и парадигмы и здесь соответствуют ломоносовской кодификации, родовые различия во мн. числе в них не предусмотрены. В таблице, в точности как и у Ломоносова, в им. мн. даются окончания *ые, ья, ie, ia, ъи*, в вин. мн. – *ыхъ, ихъ, ые, ie, ъи* (Краткие правила 1784, 94 – и здесь отсутствие флексий *ья*,

Для хронологии процесса, в результате которого родовое различие, введенное правилом 1733 г., утверждается в качестве общеобязательной нормы, показателен «Опыт нового российского правописания» В. Светова, вышедший из печати в 1773 г. (Светов 1773). Автор фиксирует интересующую нас норму как элемент сложившегося узуса; этот узус не кажется ему безупречным, но он описывает его как данность, которая может быть изменена лишь как следствие изменения в языковой практике «Российских писателей». Здесь говорится: «Множественнаго числа именительные и звательные падежи имен прилагательных мужескаго рода кончатся на *Е*, *храбрые полководцы, геройскіе подвиги*; женскаго вещь значащих и средняго имени-тельные, винительные и звательные на *Я*, *громкія побѣды, побѣдоносныя войска*. Для средняго рода, кажется, должно бы выдумать особливое окончание. Г. Тредиаковский пишет в мужеском: *древніи Егїптяне*, в женском: *достопамятныя вещи*, в среднем: *таинственныя изображенія*; Г. Сумароков во всех трех родах кончит на *Я*. (см. ТРУД. ПЧ.), что можно бы принять за правило, когда бы все Российские писатели в том утвердились. Пишут неправильно: *военныя корабли, крѣпкіе стасти, сгуствшіеся облака*» (с. 23–24). Именно на этот пассаж откликается, видимо, Сумароков в «Примечании о правописании» (см. выше), польщенный, надо думать, упоминанием его рекомендаций в «Трудолюбивой пчеле», но скептически относящийся к согласованной воле российских писателей; Сумароков в свои последние годы воспринимает Российский Парнас как свою вотчину и не понимает, почему не все следуют созданным им образцам. Чего хочет сам В. Светов, остается неясным. Компромиссный характер правила 1733 г., объединявшего два существовавших в то время академических узуса, для него, понятным образом, неактуален (практика академических изданий до 1733 г. вряд ли ему известна), он видит в этом правиле лишь логическую непоследовательность и предлагает либо распространить согласовательный принцип на ср. род, сделав его отличным от ж. рода, либо вообще отказаться от данного принципа. Никто, однако, до 1917 г. не отозвался на эти пожелания.

В 1787 г. появляется «Краткая российская грамматика» Е. Б. Сырейщикова, предназначенная для насаждаемых Екатериной народных училищ. Этот опыт кодификации, достаточно примитивный в собственно лингвистическом плане, представляется тем не менее весьма важным в социолингвистическом отношении, поскольку приобретающее грамотность население усваивало зафиксированные в нем нормы и формировало на их основе свои

ія в вин. мн. говорит о прямом заимствовании из Ломоносова). В парадигмах приводятся формы им. мн. *честные, или честныя*, вин. мн. *честныхъ, честные, или честныя* (с. 95), им. мн. *искренніе, или ія*, вин. мн. *искреннихъ, или іе, или ія* (с. 96), им. мн. *ближніе, ія*, вин. мн. *ближнихъ, іе, ія* (с. 97). В специальном параграфе, однако, оговаривается: «Окончания прилагательных имен в именительном множественнаго числа на *Е* и на *Я* хотя оба могут равномерно служить как для мужескаго, так и для женскаго и средняго родов; однако *Е* приличнее употреблено быть может при именах мужескаго, а *Я* при именах женскаго и средняго рода. На пр. *добрые воины, быстрыя рѣки, похвальныя дѣла*» (с. 100–101). Хотя автор послушно следует за Ломоносовым, этот параграф явно фиксирует поставленную Ломоносовым под сомнение, но продолжающую быть актуальной норму.

письменные навыки. У Сырейщикова приведена лишь таблица склонения имен прилагательных. В интересующей нас части, содержащей флексии мн. числа, она выглядит следующим образом (Сырейщиков 1787, 11):

| Род мужеский | Род женский | Род средний |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Имен. ые. ѳе | ыя. ѳя. ыи | ыя. ѳя. ыи |
| Вин. ыхъ. ихъ. ые. ѳе | ыхъ. ихъ. ыя. ѳя. ыи | ымъ [так!]. ихъ. ыя. ѳя. ыи |
| Зват. ые. ѳе | ыя. ѳя. ыи | ыя. ѳя. ыи |

Никаких колебаний, заметных в предшествующих изданиях, здесь нет. Правило 1733 г. проведено в качестве безусловной нормы, и именно так оно и осваивалось той частью населения, которая училась русской грамоте.

Собственно говоря, «Краткая российская грамматика» предписывает учащимся ту норму, которая оговаривалась (но не давалась в виде грамматических таблиц) в «Руководстве учителям перваго и втораго класса народных училищ Российской Империи» (Руководство учителям 1783), изданном в процессе подготовки все той же екатерининской реформы народного образования. Здесь говорилось: «Часто смешиваются буквы *е* и *я*, особливо в именах прилагательных множественнаго числа. И хотя в простом выговоре не имеют почти совсем никакого различия; однако в правописании оно весьма наблюдается, ибо *е* приличествует именам мужескаго, *я* женскаго и средняго родам, на пр: *храбрые воины, громкія побѣды, великолѣпныя зданія*. *Примечание.* Некоторые, чтоб различить окончаниями все три рода, выдумали для мужеских *и*, и писали: *побѣдоносныи, честныи* и проч. Однако новейшими писателями сие правило по справедливости отвергается» (с. 16 второй пагинации). В этом пассаже характерно и восходящее к Ломоносову замечание о том, что окончания не различаются «в простом выговоре», и упоминание о предложении Тредиаковского как о неоправданной выдумке.

Первоначально грамматика для народных училищ была заказана А. А. Барсову (см.: Барсов 1981, 20–27), однако знаменитый филолог вместо краткого справочника написал объемистый труд, оставшийся в то время ненапечатанным. Именно взамен его и была издана «Краткая грамматика» Сырейщикова, ученика и родственника Барсова. Не задаваясь сейчас вопросом о том, повлияла ли «Российская грамматика» Барсова на работу Сырейщикова, стоит отметить, что и у Барсова известное распределение окончаний по родам выступает как данность русского грамматического устройства. Барсов пишет: «Во множественном числе <...> именительный <...> мужескаго рода делается из своего именительнаго единственнаго по большей части переменою, <ѳ> на *е*, как: дѳбрый дѳбрые, великій великіе, пригѳжій пригѳжіе, ѳбщій ѳбщіе, дрѳвній. дрѳвніе; и проч. <...> Сие окончание мужескаго рода переменя на *я*, произойдет именительный множественный женскаго и средняго рода: дѳбрые дѳбрыя, великіе великія, ѳбщіе ѳбщія, дрѳвніе дрѳвнія» (Барсов 1981, 471). За этими формообразовательными правилами следуют общие указания о том, что винительный сходствует «в неодуше-

ленных с именительным», и ряд парадигм, в точности реализующих предположенные им правила (с. 472–474)⁵⁵⁰.

Свое окончательное утверждение данная система находит в «Российской грамматике сочиненной Императорскою Российскою Академиею» (Российская грамматика 1802). В правилах правописания здесь говорится: «Прилагательныя имена, следуя общему употреблению, в именительном падеже множественного числа в отношении к мужескому роду оканчиваются на *е*, а к женскому и среднему на *я*, напр: *оныя вѣки, блестящїе лучи, рѣдкія вещи, блаженныя времена*, а не *оныи вѣки*, или *блестящїи лучи* и проч.» (с. 28). В соответствии с этим устроена и таблица склонения имен прилагательных (вклейка между с. 88 и 89), в которой в им. мн. м. рода даются флексии *ые, ы, ѳе, и*, а в им. мн. ж. и ср. рода – флексии *ыя, ы, ѳя, и*; вин. мн. воспроизводит те же окончания с добавлением *ыхъ и ихъ* для вин.=род. Та же система выдерживается и в парадигмах; в им. и вин. мн. м. рода приводятся формы *мудрыя, великіе, пригожіе, древніе*; в им. и вин. мн. ж. и ср. рода формы *мудрыя, великія, пригожія, древнія* (с. 89–95). Вся последующая традиция школьных грамматик XIX в. следует за этим образцом (ср., например: Греч 1828, 28–30), и это обеспечивает формирование соответствующих письменных навыков в качестве общеобязательных для всего грамотного населения.

Таким образом, нормализация завершается лишь тогда, когда возникают институции, принуждающие грамотную часть общества к использованию языкового стандарта, наблюдающие за его стабильностью и основывающие на важной роли хранителей языковой правильности свой социальный статус. Стандарт работает, когда он становится символическим капиталом (в терминах П. Бурдьё). Это не значит, конечно, что после этого всякая динамика языкового стандарта прекращается, однако она становится контролируемой, причем контроль осуществляет корпорация ревнителей языка, обычно поддерживающая единую линию в течение десятилетий. Контролируемость означает консерватизм, в большей или меньшей степени характерный для любого сообщества словесников, когда у них есть традиция, которую они считают нужным охранять (другая ситуация может быть в революционные эпохи, о чем будет говориться в дальнейшем, см. § XIV-2).

До тех пор пока такая институализованная традиция не возникла, узус подвижен, и именно эта подвижность хорошо видна на примере окончаний

⁵⁵⁰ Из сложившейся нормы исходит, надо думать, и Аполлос Байбаков, указывающий в таблице склонения прилагательных в «Российском языке» следующие флексии мн. числа в интересующих нас падежах (Аполлос Байбаков 1794, 29):

| | муж. | женск. | сред. |
|-----|---------|--------|--------------|
| им. | ые, ѳе | ыя, ѳя | ыя ые, ѳя ѳе |
| в. | ыхъ, ѳе | ыя, ѳя | ыя, ѳя |
| з. | ые, ѳе | ыя, ѳя | ыя, ѳя |

Странный набор окончаний в им. мн. представляет собой, видимо, недоразумение – судя по наборам флексий в вин. мн. ср. рода и зват. мн. ср. рода, которые, в принципе, должны совпадать с им. мн. ср. рода. Если пренебречь этой странностью, очевидно, что Байбаков фиксирует сложившуюся систему.

прилагательных в им.-вин. падеже мн. числа. Каждый из отцов новой русской литературы предлагает свое решение, связывая с ролью законодателя языка свое положение на Парнасе. Эти индивидуальные проекты реализуют разные концепции языкового стандарта в его отношении к языковому наследию предшествующих эпох, разговорному языку современного общества и индивидуальному вкусу. Будучи индивидуальными, они имеют лишь очень ограниченное влияние на реальное языковое употребление образованного общества в целом, поскольку ни одна из этих конструкций не обладает присущей сформировавшемуся литературному языку общеобязательностью. Побеждает то, что приобретает институционализацию – в школьном преподавании и книгоиздательской практике. В разбираемом случае, характерным образом, победившим оказался не один из вариантов, предлагавшийся отцами русской литературы, а безымянное создание Академической типографии, преимущество которого состоит в давности употребления; давность эта не велика, но в условиях нестабильности и смен ориентации и двенадцать лет становятся почтенным сроком. Ускоренное развитие не исключает того, что отдельные моменты превращаются из инноваций в традицию, и именно эта традиция преобразуется затем в общеобязательный стандарт. Однако же от эпохи Тредиаковского и Ломоносова это преобразование отделено длительным периодом, когда формирующийся стандарт приобретает новое социолингвистическое измерение.

ГЛАВА XIII. УТВЕРЖДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИТЕРАТУРНОГО СТАНДАРТА (ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ, СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОСТЬ)

1. **Дворянская апроприация нового идиома и социолингвистические последствия этого процесса**

Ситуация с общеобязательностью начинает меняться с конца 1750-х годов. Никаких радикальных сдвигов в это время не происходит. Констатируя отсутствие революционных перемен в интеллектуальном кругозоре русской элиты между 1740-ми и 1760-ми годами, Г. Маркер замечает: «Yet the fact remains that the intellectual world of the 1760s and 1770s looked very different from the world of 1740s. But if ideas, politics, mentalities, and professional activity had not changed very much, what was new? The answer, it seems to me, must begin with numbers: There simply were many more laymen – both gentry and nongentry – coming out of secondary school and engaging in intellectual activity in the 1760s than there had ever been before. That they were not, strictly speaking, professional writers is true enough, but the mere fact that they dedicated much of their time to intellectual pursuits is a change in itself. The particular forms which this intellectual interest took are certainly well known in the literature: new journals, clubs, masonic lodges, translating and publishing societies, reading circles, and even private secondary schools» (Маркер 1985, 70–71).

Процесс начинается еще в конце 1750-х годов, когда появляются первые издания (включая периодические) Кадетского корпуса. Они могут рассматриваться как символическая веха, указывающая на то, что интеллектуальные занятия, литература, а вместе с ними и литературный язык перестают быть достоянием академических филологов и придворных одописцев (таких как Третьяковский, Ломоносов, Теплов) и апроприируются образованным (преимущественно дворянским) обществом в целом. Зачатки этого процесса могут быть усмотрены и в более раннее время, наиболее значимой в этом отношении фигурой является Сумароков, однако ощутимый харак-

тер смена собственника языкового стандарта получает лишь в самом конце Елизаветинской эпохи.

Екатерининское царствование придает этому феномену стабильный характер, определяющий для длительного периода развития русского языка и культуры – вплоть до 40-х годов XIX в. Время Екатерины – это эпоха пишущего и читающего дворянского общества. Во главе его стоит пишущая и читающая императрица, начинающая свое царствование с написания «Наказа» и издания «Всякой всячины». Интеллектуальные занятия делаются привлекательными, поскольку, среди прочего, могут служить неплохим началом для дворянской карьеры. О том, насколько важен был пример императрицы, ярко свидетельствует тот хоровод сатирических журналов, который образовался вокруг «Всякой всячины» (Семенников 1914; Джоунз 1978; Джоунз 1984)⁵⁵¹.

Г. О. Винокур вряд ли прав, полагая, что в эту эпоху развитие языкового стандарта следует предначертаниям Ломоносова: «Ломоносов лучше других деятелей этого времени понял, каким путем объективно совершается развитие русской литературной речи, и именно он сделал прочным приобретением русского культурного сознания взгляд на русский литературный язык как на результат скрещения начал “славянского” и “российского”» (Винокур 1959, 138). «Скрещение» присутствовало, как мы знаем, уже в «петровском пуле» и сохранялось на всех последующих этапах развития нового идиома, причем характеризовало, хотя и в разной степени, все уровни языка. В морфологии оно запечатлелось в попытках грамматической кодификации нового идиома – от грамматик Шванвица и Адодурова до «Российской грамматики» Ломоносова. В синтаксисе, в наибольшей степени законсервировавшем

⁵⁵¹ У. Глисон отмечает, что «the use of literary skills to enhance one's political standing was a common practice among eighteenth-century Russian writers». Он приводит и ряд примеров такой торговли талантом. «Fonvisin, for example, published several translations to certify his linguistic skills before Golitsyn offered him his first appointment, he translated *Alzire* in 1763 and, within a year, was rewarded with a promotion in rank; and his career was furthered by *Brigadier*, written by 1769 when he was again promoted. The same timing of literary work and bureaucratic promotion was evident in Bogdanovich's career» (Глисон 1981, 116). Аналогичные факты отмечает Глисон и в биографиях Ржевского, С. Нарышкина, Домашнева и Павла Фонвизина. Он говорит, правда, что в отличие от Фонвизина и Богдановича цель этих последних состояла только в том, чтобы «to find sinecures that facilitated their literary endeavors which, in turn, won them additional notice and promotion» (там же, 117), в то время как Фонвизин и Богданович оставались идеалистами, стремившимися прежде всего к установлению гармонических отношений между своими нравственными идеалами и своим социальным поведением. Это противопоставление не кажется бесспорным, но – как бы то ни было – во всех этих случаях работает один и тот же механизм, который связывает литературные занятия с общественным успехом, и с точки зрения социологии литературы именно этот механизм имеет принципиальное значение. Для нас существенно, что дворяне начинают использовать литературные занятия подобным образом только в Екатерининскую эпоху, тогда как раньше это, видимо, было чертой недворянского поведения (Сумароков представляет собой особый случай; его одержимость литературой никак надеждами на карьерный успех не питалась); трудно не связать этот момент с литературными занятиями императрицы.

«славенское» начало, ломоносовская языковая практика никакими специальными инновациями не отличалась, а ломоносовские теории ничего в этой области не реформировали. Никакой завершенной формы не придал Ломоносов этому скрещению и в лексике, в «Рассуждении о пользе книг церковных» он лишь констатировал гетерогенный характер лексического фонда нового идиoma и попытался связать эту гетерогенность со стилистическими параметрами; как уже говорилось, эта красивая теоретическая конструкция практического воплощения не получила.

Таким образом, «скрещении» имело место с самого возникновения нового идиoma, конкретные его параметры постоянно пересматривались, и никакого окончательного вида Ломоносов ему не придает. Напротив, смена собственника нового идиoma сопровождается, как это и всегда бывает, перепланировкой приобретенного объекта, отнюдь не входившей в намерения предшествующего владельца. Винокур сосредоточивает внимание на Ломоносове, но выпускает из виду Сумарокова, который в начале Екатерининского царствования был никак не менее влиятельной фигурой. Сумарокова же академическая нормализация во многом не устраивала. Нормализаторскую деятельность академических филологов он оценивает как бессмысленное педанство, противопоставленное эстетическому выбору, совершаемому обладающим вкусом автором. Подрывая авторитет ломоносовской грамматики и указывая, что она «ни каким Ученым Собранием не утверждена» (Сумароков, X, 38), Сумароков раздраженно замечает, что этот авторитет основывается «на сем правиле, что г. Ломоносов был Академик; так полагают основание на Академии, хотя он не составлял Академии, но был ее член; и ни Академия, ни Россия того не утвердила: да и утверждати того Академии не можно; ибо она в Науках, а не в Словесных Науках упражняется» (там же, 6–7). Таким образом, регламентация языка и литературы, исходящая из Академии наук, объявляется лишенной ценности. Ученые, состоящие в Академии, не способны совершенствовать язык и литературу, а вся академическая традиция состоит лишь в создании бессмысленных правил, «ненадобных безделок», которые лишь производят видимость учености, а в действительности мешают «воображению и умствованию» автора. Согласно Сумарокову, язык получает свое достоинство не столько в результате ученой обработки (нормализации), сколько благодаря вкусу и умению тех авторов, «которых тщание искусству ревновало» (Сумароков 1748, 4, 6). Несколько огрубляя, можно полагать, что у этой позиции есть определенное социальное измерение: благородное дворянское общество не готово подчиняться предписаниям, измышленным учеными разночинцами (подробнее о воззрениях Сумарокова см.: Живов 2007).

Это дворянская апроприация находит вполне ясное выражение в языковой практике Сумарокова. Он демонстративно пересматривает те нормализационные решения, которые были зафиксированы в академической кодификации. Именно этим объясняется, на мой взгляд, широкое употребление у Сумарокова форм инфинитива на *-ти*⁵⁵². Та форма языкового стан-

⁵⁵² Не будучи поставлены в контекст культурно-языковой ситуации Екатерининской эпохи, эти формы не получают адекватной интерпретации. Так, Г. О. Винокур пишет:

дарта, которая была создана академическими филологами, подобные формы инфинитива полностью исключала. В прозаических текстах они перестают употребляться уже в начале 1730-х годов, а в качестве поэтической вольности – с середины 1740-х. Сумароков этой регламентации подчиняться не хочет. Многочисленные формы инфинитива на *-ти* встречаются, например, в его эклогах: *имѣти* («Калиста» – Сумароков 1769, 251; 1774, 30), *убрати* («Сильвия» – 1769, 271; 1774, 50), *имѣти*, *быти*, *молвити*, *искати* («Белиза» – 1774, 32–33) и т. д. Сумароков ценит вариативность инфинитива и не хочет отказываться от нее, поскольку она увеличивает гибкость поэтической речи. На это указывают, в частности, исправления в эклоге «Дельфира»: «И можно бѣ было вдругъ ихъ все *окинуть* глазомъ» (1769, 261) – «И можно бѣ было вдругъ *окинути* ихъ глазомъ» (1774, 39); «Что было *отвѣчать!*» (1774, 40) – «*Отвѣтствовати* что» (1774, список опечаток).

Вариативность форм инфинитива свойственна и прозаическим текстам Сумарокова, и здесь речь явно не идет о вольности, а о принципиальном стремлении к разнообразию, нежелании ограничивать тот языковой материал, которым располагал русский литературный язык. Так, например, в «Некоторых статьях о добродетели» формы инфинитива на *-ти* и на *-ть* встречаются в примерно равной пропорции (с незначительным превосходством первых). Следующий пассаж хорошо иллюстрирует характер вариативности: «Не *дѣлати* зла, хорошо; но сие благо еще похвалы не заслуживаетъ: столбъ худа не делаетъ; но столбъ за то еще почтенія не удостоивается. Не *дѣлатъ* худа, неестъ добродетель: добродетель есть *дѣлати* людямъ добро, коли можно: похвально и то, что я могу и не *дѣлатъ* людямъ худа; но то еще не добродетель. Но можетъ ли еще ето *быти*, что бы кто не смогъ людямъ *дѣлати* добра?» (Сумароков, VI, 239). Как совершенно очевидно из этого примера, никакой стилистической нагрузки формы на *-ти*, вопреки мнению Винокура, не несут.

Сумароков формулирует и нечто подобное теоретическому обоснованию своего пристрастия. В позднем «Примечании о правописании» Сумароков пишет: «Глаголы *любити*, *слышати* и протч. в неопределенном без вольности ТИ, а по вольности, принятой и утвержденной ко красоте языка *любить* могут великое производить изобилие и легкость, *Любить хвалу* хуже, нежели *любити хвалу*. Сим образом и предлоги украшают *во глубинѣ*, а не *въ глубинѣ*; лутче *во Италии*, нежели *въ Италии*; лутче *во Ерусалимѣ*, не-

«Высокая поэзия очень широко пользовалась всеми теми морфологическими архаизмами, которые считались допустимыми в стихотворном языке “вольностями”, вроде энклитических форм местоимений (*мя, ты, ся* и т. п.), инфинитивов на *-ти* безударное, зват. падежа и т. д., причем нет сомнения, что все подобные формы, помимо своего чисто версификационного значения, могли приобретать также в рамках соответствующих жанров значение элементов языка высокого и торжественного. Интересно, как частность, что Ломоносов совершенно не пользуется такими формами, как *мя, ты, ся*, и очень редко прибегает к инфинитиву на *-ти* безударное, тогда как в стихах Сумарокова эти языковые условности представлены в изобилии» (Винокур 1959, 147). Как мы увидим, данные формы представлены у Сумарокова не только в стихах, они не нужны ему для целей версификации и не несут никакой стилистической нагрузки.

жели *въ Ерусалимѣ*» (Сумароков, X, 43). Стоит заметить, что вольностью объявляется инфинитив на *-ть*, а не на *-ти*, а выбор формы соотносится с поисками благозвучия, и в этом плане Сумароков вступает в прямую полемику с Ломоносовым, который кодифицирует в своей грамматике только форму на *-ть* и заявляет, что она благозвучнее формы на *-ти* (§ 119 – Ломоносов IV, 55/VII², 432). Poleмика переводится в область эстетических оценок, и, подчеркивая этот эстетический момент, Сумароков как бы указывает, что вкус играет большую роль, чем нормализационные решения. Именно это полемическое задание и отражается с начала 1760-х годов в языковой практике Сумарокова⁵⁵³.

Не менее показательно разобранное выше (см. § XII-4) отношение Сумарокова к тому правилу употребления флексий в им.-вин. мн. числа, которое было введено в Академической типографии в 1733 г. и предполагало употребление флексии *-ие/-ые* в м. роде и флексии *-ия/-ья* в ж. и ср. роде. Явно противопоставляя себя академической традиции, Сумароков закрепляет флексию *-ия/-ья* для всех трех родов, создавая тем самым новое, отличающееся простотой, правило. Как уже говорилось, по мнению Сумарокова, флексию *-ие/-ые* в м. роде ввели в употребление подьячие; и в этом случае у протеста против академической нормализации выявляется социальное измерение.

Как мы видим, языковой стандарт, оказавшись в руках дворянской элиты, обнаруживает свою неустойчивость, эфемерность своей конструкции. Нормализованный академическими филологами новый идиом не приобретает статуса универсальной нормы, он не укоренен ни в каких институтах, значимых для всего образованного общества. Он не усваивается обществом как необходимая часть культурной традиции, как это должно быть с полноценными литературными языками, его новые пользователи переделывают его по своему вкусу. Возникают своего рода частные варианты языкового стандарта, претендующие на равные права с тем, который они получили в наследство. Замечу, что предложенные Сумароковым решения лишь в ретроспективе кажутся индивидуальными чудачествами, несопоставимыми с предписаниями Ломоносова, якобы угадавшего, каким будет «объективное» развитие «общенационального» языка. Для современников это были допустимые варианты, и некоторые (например, Василий Майков) предпочитали сумароковский. Вполне очевидно, что таким важным атрибутом литературных языков, как общеобязательность, созданный академическими авторами стандарт на этом этапе еще не обладал.

⁵⁵³ Замечательно, что такая практика опознавалась современниками как выпад против академической традиции обработки языка и вызывала протест академических авторов. А. А. Барсов, в своих общих установках следовавший Ломоносову, в своей «Российской грамматике» замечал: «В новейшие времена покусились некоторые и кроме стихов и проч. употреблять *ти* вместо *ть*, да еще и в комедиях и проч. Но в сем случае оное есть не иное что как городской а не московской выговор; при том же и употребляют оное большая часть не постоянно и без всякаго, как видно, и для самих себя правила» (Барсов 1981, 592). Под «некоторыми», надо полагать, подразумевается прежде всего Сумароков.

Хотя единообразие не было даже в такой легко нормируемой области, как морфология, зато было разнообразие, прежде всего разнообразие текстов, различающихся своими жанровыми и функциональными характеристиками. С появлением читающего общества появляется и удовлетворяющая его запросы литература – как переводная, так и оригинальная. Литература перестает быть тем в сущности экспериментальным пространством, в котором горстка авторов на материале нескольких публично значимых жанров иллюстрирует приложимость своих филологических концепций⁵⁵⁴, она превращается в саморазвивающуюся деятельность, которая не только в качестве теоретического принципа, но и в качестве реального узуса воздействует на формирование языкового стандарта.

В этом контексте следует оценивать и высказываемый порою тезис, согласно которому языковой стандарт создавался в соответствии с рецептами Ломоносова, который отвел особое место для «среднего штиля» и тем самым наметил магистральный путь развития для «общенационального» русского языка (см.: Винокур 1959, 161; Хабургаев 1983). «Средний штиль» у Ломоносова – это рубрика без всякой плоти. В его собственной литературной практике он практически никакой роли не играет и поэтому никакой преемственности создать не может. Винокур полагал, что цитировавшиеся выше рекомендации Ломоносова (об осторожности в среднем штиле) воплотились в языковой практике, однако «образцы этого слога находим преимущественно в таких отделах письменности XVIII в., которые не входят в число основных и стойких жанров художественной литературы классицизма. Это сочинения научные, популярные, общеобразовательные, публицистические и т. д.» (Винокур 1959, 139). По мнению Винокура, «собственно художественная литература принимала небольшое, скорее – косвенное участие в выработке этого стандарта в течение XVIII в. Вплоть до эпохи Карамзина и Пушкина русская художественная литература, как общее правило, по своему языку оказывалась или “выше” или “ниже” описанной средней нормы» (там же, 143). Остается неясным, зачем и почему авторы подобных сочинений могли руководствоваться стилистическими рекомендациями Ломоносова, которые на тексты данных типов не распространялись и авторов этих текстов скорее всего не интересовали. Неясно и то, в силу чего литература, которой тот же Ломоносов отводит ведущую роль в моделировании

⁵⁵⁴ Наиболее красноречивый пример такого иллюстративного функционирования литературы дает нам поэтическое состязание Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова 1743 г. Они перелагают 143-й псалом для того, чтобы решить теоретический филологический вопрос о том, как стихотворный размер (ямб или хорей) должен соотноситься с жанрово-стилистическими характеристиками произведения. Конечно, поэтические состязания – это не выдумка российских авторов, и действуют они в рамках сложившейся европейской традиции (ср.: Гуковский 2001, 251–276; Шишкин 1983). Однако смена культурного контекста, когда состязаются не разные таланты и даже не разные литературные направления, а разные решения теоретической проблемы, превращает этот поэтический турнир в ученый эксперимент. Из элемента литературной жизни, которой в этот период в России фактически не существует, состязание превращается в элемент литературного планирования.

языкового стандарта и его стилистической системы, этой роли не играет, причем как раз в то время, когда у нее появляются относительно многочисленные потребители.

Не менее трудно определить, каким аршином можно смерить, что «выше» и что «ниже», если только в качестве этого аршина не брать современный стандарт, считая его идеальной мерой, к которой «объективно» стремился русский язык. Ясно, что к литературному развитию в эпоху от Ломоносова до Карамзина (или, иными словами, в Екатерининскую эпоху) этот аршин никакого отношения не имеет, и никаким телеологическим оправданием данный анахронизм не обладает. Та стилистическая норма, которая возникает позднее (впрочем, не в эпоху Карамзина, а в эпоху пушкинской зрелости), в рассматриваемый период отсутствует. Никакой золотой середины, по сторонам которой располагаются неоправданная стилистическая высокость и неоправданная стилистическая низкость, в литературной практике не существует. Существует непрерывный спектр разнообразных стилистических решений с очень существенными колебаниями, не соотносящимися однозначно с жанровой принадлежностью произведения. Имею в виду не ощущаемую сейчас разную степень «высокости» или «низкости» образцов одного жанра (скажем, переложений псалмов не только во всем их многообразии, но даже и в творчестве одного Державина) – такое утверждение предполагает, что мы уже знаем, что высоко и что низко (т. е. обладаем нормой, нормативной стилистической дифференциацией); имею в виду то обстоятельство, что одни и те же языковые элементы (лексические или морфологические единицы или синтаксические конструкции) в разных текстах появляются с совершенно несхожими стилистическими заданиями (примером могут служить сложные прилагательные).

Сам по себе этот феномен хорошо известен. В исследованиях по языку XVIII в. не раз говорилось и об экспансии «высоких» элементов в жанры, не предполагающие их употребления, и о широком использовании в других жанрах (например, в басне) «просторечной» грубой лексики, неуместной в изящной словесности. Так, например, по словам В. Д. Левина, «роль, место и функции архаической, “славенской” лексики <...> были очень значительны и не ограничивались прикрепленностью к традиционным высоким жанрам»; по его мнению, «высокая лексика <...> оторвана <...> от высокого стиля» (Левин 1964, 50, 56). В. Д. Левин приводит в качестве примера произведения Фонвизина. Маркированно книжная лексика («славянизмы») встречается у него не только в «Слове на выздоровление великого князя Павла Петровича» и в переводном «Похвальном слове Марку Аврелию», но и в переводе сентиментального романа Битобе «Иосиф» или в нравоучительном рассказе из античной истории «Каллисфен». Правда, В. Д. Левин, говоря о «Иосифе», замечает, что «чувствительность вообще легко переходит в риторику», и обилие «славянизмов» связывает именно с данным моментом (там же, 56), однако данный аргумент подразумевает, что все риторические построения имеют маркированно книжный (по крайней мере, в плане лексики) характер, что вовсе не очевидно.

Как мне представляется, все подобные характеристики представляют собой анахронизмы, которым в реальности соответствуют разнонаправлен-

ные поиски приемлемой стилистической дифференциации языковых элементов. Фонвизин не стремится сделать язык «Иосифа» таким же, как язык похвального слова, но ищет слога (стиля), «какового мы еще не имеем», так что для него «главное затруднение состояло в избрании слога» (Фонвизин 1769, предисл., л. 10б.–2; Фонвизин, I, 443–444). Тексты, лежащие вне изящной словесности, реализуют то, что Винокур называет «средним слогом», именно потому, что им подобные поиски не свойственны, поскольку им не нужны элементы, обладающие стилистической выразительностью и, следовательно, поскольку им вообще чужда задача стилистической дифференциации.

Новый языковой стандарт приобретает стилистическую дифференциацию не в научных или общеобразовательных сочинениях, а прежде всего в изящной словесности, как это происходит и в истории других литературных языков. Язык литературы оказывает здесь прямое воздействие на литературный язык; этот процесс становится возможен благодаря тому, что получает развитие многожанровая, объединенная интертекстуальными связями литература. В период «от Ломоносова до Карамзина» данный процесс постепенно набирает силу, хотя и далек до завершения. Динамика этого процесса состоит в том, что тот запас разнородных языковых средств, который был опробован в немногих жанрах литературы предшествующего периода (оде, трагедии, комедии, сатире, песне), приспособливается теперь к более сложной жанровой структуре и к тем новым эстетическим задачам, которые провоцировали новые жанры. Одни элементы оказывались при этом более подвижными, приемлемыми для разных авторов и пригодными для разных жанров, другие – более специфическими. В результате накапливались многочисленные прецеденты употребления, которые формировали, с одной стороны, стилистически нейтральный корпус употребительных элементов, а с другой – корпус элементов маркированных, отсылавших к отдельным жанрам или к отдельным литературным направлениям. Таким образом в формирующемся языковом стандарте появляются элементы стилистической дифференциации, впрочем, еще не складывающиеся в законченную систему, но создающие основу для пересмотра и совершенствования (чем, в частности, и занимается Карамзин – см. ниже). Литературный язык тем самым обрывает приличествующими ему атрибутами.

В этот же период существенно увеличивается полифункциональность нового идиома. Можно полагать, что именно апроприация языкового стандарта социальной элитой (дворянством) обуславливала его социальный престиж, воздействовавший на вкусы и навыки других секторов общества. Дворянство было куда более мощным социальным ориентиром, чем академические труженики. Наиболее ярким событием в этом плане является распространение русского языка в духовной литературе. Оно начинается, собственно, еще в елизаветинское царствование в проповеднической деятельности Гедеоны Кривовского (см.: Челлберг 1957; Живов 1996, 390–396), и у него, придворного проповедника, оно, несомненно, связано со стремлением быть привлекательным для придворного общества. Назначение придворным проповедником было первым шагом в быстром возвышении Гедеоны. В 1758 г. он становится членом синода и почти сразу же после этого

архимандритом первого монастыря в России – Троице-Сергиевой лавры. В 1761 г. он посвящается в сан епископа псковского с оставлением придворным проповедником. По характеристике П. В. Знаменского, «это был монах живой, эмансипированный, притом же придворный, всем обязанный мирской власти, которая так высоко вознесла его над его собратиями. Он и жил, как вельможа» (Знаменский 1875, № 2, 106). К концу жизни Гедеон, несмотря на свою молодость, был едва ли не самым влиятельным духовным иерархом. Два виднейших деятеля екатерининского царствования, петербургский митрополит Гавриил Петров и московский Платон Левшин обязаны своим начальным возвышением его протекции.

Гедеон Криновский проповедует по-русски, а не на гибридном церковнославянском, как делали его предшественники. Новаторский в плане языка характер проповедей Гедеона был впервые отмечен Филаретом Гумилевским, который писал: «Относительно языка он уже не следует примеру прежних проповедников, – употребляет язык народный, дополняя его богослужебным; окончания слов, изменения их и синтаксис у него – русские» (Филарет Гумилевский 1884, 332). Этот переход от гибридного языка к русскому достигается – как и в истории языка светской литературы – исключением из текстов тех самых признаков книжности, которые ранее вводились в него для обозначения их книжного характера. В контексте отказа от риторической усложненности, декларируемой Гедеоном (Гедеон Криновский, I, предисл., л. 5об.), исключение маркированных церковнославянских элементов может в принципе пониматься как свидетельство их нового осмысления: не как показателей языкового регистра, а как элементов возвышенного (аффектированного) стиля. Если принять эту точку зрения, оказывается, что в своих языковых воззрениях Гедеон прямо сходствует со светскими авторами своего времени и, возможно, действует под влиянием их концепций. Характерно, что инновации Гедеона не остались незамеченными светскими авторами. Сумароков писал о Гедеоне: «Гедеон есть Российский Флешьер; цветности имеет он еще более нежели Феофан; сожалительно то что мало было в нем силы и огня, и что он по недостатку пылкости часто наполнял проповеди свои историями и баснями, сим бедным запасом, истинного красноречия. Приятность, нежность, тонкость были ему свойственны, и после Феофана опустошенный Российский парнас, или церковь лишенная риторския сладости, смертию великаго Архиепископа, обрадовала Россию сим Гедеоном мужем великаго во красноречии достоинства» (Сумароков, VI, 281); можно заметить, что Сумароков приписывает красноречию Гедеона те самые атрибуты, которые он рассматривает как основные положительные характеристики для светской литературы: на светскую и духовную литературу распространяются одни и те же стилистические критерии.

В царствование Екатерины употребление русского языка захватывает не только гомилетику, но и богословскую литературу и агиографию. Правда, русский язык духовной литературы отличается по ряду параметров от языка светской литературы (от формирующегося языкового стандарта), но в Екатерининскую эпоху эти отличия не имеют характера сознательно созданного барьера, так что здесь происходит определенное сближение (см.:

Живов 1995б; ср. еще ниже), причем сближение, задаваемое доминирующим светским языковым стандартом, постепенно подчиняющим себе узус духовной литературы. Особенности духовной литературы превращаются в стилистические варианты внутри единого языкового стандарта, а сам этот стандарт оказывается более полифункциональным.

Литературно-языковой стандарт начинает функционировать и в административно-деловой сфере. Карамзин в «Историческом похвальном слове Екатерине II» упоминает об изменении делового языка в интересующую нас эпоху: «[Е]стьли слог приказный уже не всегда устрашает нас своим варварством; естьли необходимыя правила Логики и языка соблюдаются не редко в определениях судилищ; естьли Министерство находит всегда довольно юношей, способных быть его орудиями и служить отечеству во всех частях своими знаниями; то государство обязано сею пользою Московскому Университету» (Карамзин, I, 367)⁵⁵⁵. Деловой язык начинает восприниматься как

⁵⁵⁵ Замечания о «варварстве» делового языка должны быть поставлены в контекст повторяющихся в течение почти всего XVIII в. (до середины Екатерининского царствования) заявлений о необходимости писать законы на правильном и понятном языке. Так, В. Н. Татищев в 1736 г. пишет: «надобно, чтоб закон просто и внятно таким языком написан был, которым подзаконные говорят, чтоб и простейшей человек силу закона и волю законодателя правильно разуместь мог», и поэтому в законах необходимо «речение простое и гладкое, дабы каждому и простейшему так вразумительно было, как воля законодателя есть. И для того ни какое иноязычное слово, ниже риторическое сложение в законах употребляться может» (Татищев 1990, 224, 227). Тот же Татищев в своих замечаниях на инструкцию о новой ревизии 1743 г. прямо связывает исполнение законов с грамматической правильностью их изложения: «... нужно, чтоб... то, что мы кому внушаем, ясно к понятию изречено было; для того потребно такое речение употреблять, чтоб все было вразумительно не токмо в обществе, но и в малейших того частях. Речение имеет части слова [т. е. части речи. – В. Ж.], а в словах части суть буквы; для того нужно, чтоб всякое слово слышасий в том разуме принимал, в котором сказыватель полагает» (Татищев 1979, 361). Специальная глава «О составлении и слоге законов» имеется в «Наказе» Екатерины. Здесь, в частности, говорится о том, что «слог законов должен быть краток, прост», что «когда слог законов надут и высокопарен, то они иначе не почитаются, как только сочинением, изъясляющим высокомерие и гордость», и что, наконец, «законы делаются для всех людей; все люди должны по оным поступать: следовательно надобно, чтобы все люди оные и разуместь могли», и поэтому в законах «надлежит убежать выражений витиеватых, гордых или пышных» (Екатерина 1770, 294–298). Этому вторит М. М. Щербатов: «Законы должны быть писаны слогом простым, но чистым, дабы всякому могли понятны быть; слова в них должны быть употреблены хотя избранные, но не изыскиваемые» (Щербатов, I, стб. 371). Несмотря на все эти декларации, вразумительность законов оставалась *pium desiderium* едва ли не до конца XVIII в. Об этом недвусмысленно заявляет тот же Щербатов: «Входя в состояние Российской империи, где штатская служба по большей части служит убежищем отошедшим от военной службы, много ли есть таких судей, которые б знали законы, или, по крайней мере, знали бы и понимали разум их из грамматического сложения российского слова? А однако таковые не токмо в нижние судьи, но и в вышние, не учась, определяются; закон хотя еще не ясный, им еще не яснее кажется; суд идет развратный и противуречительный; законы затмеваются, а народ страждет» (там же, стб. 423–424). Именно эту проблему решало распространение на деловую сферу общеупотребительного языкового стандарта.

частная разновидность общего стандарта, и в результате к нему прилагаются те оценки, которые принадлежат области стилистического нормирования литературного языка. Так, А. В. Храповицкий сообщает в своем дневнике под 29 сентября 1788 г., что императрица раздражалась на «пухлость слога П. В. Завадовского, протокол писавшего» (Храповицкий 1874, 163–164). Сам Храповицкий, напротив, старается составлять деловые бумаги на языке, совпадающем с литературным стандартом, так что Державин отмечает, что «Храповицкий был хороший стихотворец и прозаический писатель, который ввел легкий и приятный слог в канцелярския дела» (там же, VIII–IX). Дальнейшее развитие этой тенденции имеет место в царствование Александра I (см.: Винокур 1983, 270). С включением делопроизводства в диапазон функций языкового стандарта можно было бы соотнести и многочисленные выпады против языка «подьячих» в литературно-языковой полемике второй половины XVIII в. (ср.: Успенский 1985, 43–44)⁵⁵⁶.

Итак, в Екатерининскую эпоху новый языковой стандарт приобретает ряд важнейших атрибутов литературного языка. Существенно возрастает сфера его применения. Из языка, выдуманного немногочисленной группой академических филологов и ограниченного в своем употреблении немногими практикуемыми ими жанрами изящной словесности и учеными академическими сочинениями, он превращается в язык многообразной и быстро развивающейся литературы. Благодаря этому он получает отсутствовавший у него прежде престиж, что побуждает использовать его и вне сферы изящной словесности (в духовной литературе, административно-деловых сочинениях). Став языком многожанровой литературы, реализующей разные эстетические установки, новый языковой стандарт приобретает стилистическую дифференцированность, не отливающуюся еще в законченную стилистическую систему, но конституирующую то пространство, в котором накапливающиеся литературные прецеденты формируют стилистическую норму. Вместе с тем распространение нового языка в (преимущественно дворянском) обществе лишает академических нормализаторов контроля над его нормами. Они становятся размытыми и зависящими от пристрастий отдельных авторов. Эта размытость является следствием отсутствия институтов, обеспечивающих общеобязательность норм литературного языка. Возникновение таких институтов характеризует важнейший этап в последующем становлении литературного стандарта.

⁵⁵⁶ Как мне приходилось аргументировать в другом месте (Живов 1996, 302–305), включение рубрики приказных слов в категории русского классицистического пуризма представляет собою воспроизведение французской модели и в этом плане может трактоваться как искусственное. Однако и во французском пуризме выделение *la langue de la chicane* в качестве особого нечистого элемента связано с формированием французского языкового стандарта как полифункционального. Можно полагать, что и выделение рассматриваемой рубрики, и распространение литературного стандарта на деловую сферу, и взаимосвязь этих явлений являются составляющими единого процесса языкового строительства, ориентированного на западноевропейские, преимущественно французские образцы.

2. Языковой стандарт и школьное образование

Важнейшим институтом, обеспечивающим общеобязательность языкового стандарта, является начальная школа. Начальная школа создает нормативные навыки письма, логического синтаксиса и стилистически нейтрального словоупотребления, которые составляют основу языкового стандарта. Именно этот институт выразительным образом отсутствует в тех процессах, которые были рассмотрены выше. Начальное образование остается традиционным, состоящим в обучении чтению по складам и выучивании наизусть Часослова и Псалтыри (о характере традиционного образования см. выше, § II-1–2), никакого отношения к новому языковому стандарту оно не имеет. Им заняты не академические филологи или их выученики, а дьячки и семинаристы, т. е. люди, стоящие вне нового образованного класса, обладающие лишь навыками церковнославянского языка и не имеющие ни умения, ни стимулов, ни инструментов, нужных для обучения новому литературному языку.

Навыки нового литературного языка формировались лишь в процессе среднего образования, существенно менее доступного даже для дворянства, не говоря уж о других секторах общества. Не менее важно, что знакомство с новым языковым стандартом накладывалось на уже сложившееся знание церковнославянского языка (сколь бы несовершенным ни было это последнее – можно вспомнить многочисленные ошибки в церковнославянском в филологических писаниях Сумарокова). Неизбежным следствием была нестабильность во владении новым литературным языком, интерференция между двумя освоенными нормами, при том что обе обычно оставались освоенными недостаточно именно в силу несогласованности начального и среднего образования; эта нестабильность усугублялась неоднородностью читательского опыта пользователей нового идиома: нормативный корпус текстов отсутствовал, и поэтому читательский опыт был неспособен генерировать стабильные навыки письменного языка.

Эта ситуация находит наиболее наглядное проявление в том, как обстоит дело с владением церковным и гражданским шрифтом. В силу той структуры обучения, о которой говорилось выше, гражданский шрифт осваивался только в процессе среднего образования. Это создавало своеобразную социальную проекцию противопоставления двух графических систем: гражданский шрифт был привычен для элиты, получившей образование, выходящее за рамки элементарного, церковный – для неэлитарных секторов общества. Как отмечает Г. Маркер, «between 1726 and 1755, civil typographies printed only four new editions of the *Zertsalo* with the civil abecedarium and no other civil primers of any sort. These printings were produced expressly for students at the Academy's gymnasia (and possibly those of the new Corps of Cadets) rather than for primary-school children. During these same decades the Synod's Moscow Typography printed nearly 300,000 church primers of various sorts, and, by all accounts, it was the Moscow primers that made their way to primary schools and teachers. As before, the follow-up texts were the breviary and the psalter» (Маркер 1994, 11). Такое положение сохраняется и в 1760–1770-е годы, хотя в это время и делаются первые попытки переориентиро-

вать начальное обучение грамоте на гражданскую азбуку. Так, в генеральном плане Воспитательного дома (1763 и 1767 гг.) И. И. Бецкий предлагает начинать с изучения печатных букварей «на употребительном ныне языке», «которым пользуемся от природы» (Житецкий 1903, 44).

Ситуация начинает меняться лишь в 1780-е годы. В сентябре 1782 г. была учреждена Комиссия для заведения в России народных училищ (ПСЗ, XXI, № 15507, с. 663–664), а в 1786 г. Екатерина утвердила Устав народным училищам в Российской империи (ПСЗ, XXII, № 16421, с. 646–669). Именно с введением государственного контроля в начальном образовании гражданский шрифт становится основой элементарного обучения и, соответственно, базовым знанием образованного общества. В «Руководстве учителям первого и второго класса» Янковича де Мириево, главного разработчика школьной реформы, изданном в 1783 г., говорится: «В Российских книгах употребительны две печати; а именно: церковная и гражданская. Знание как той, так и другой равно всякому необходимо, а потому обучать должно обеим вместе. Но как в учении начинать всегда должно с самого легкого; а печать гражданская имеет то преимущество, что она как в чтении и складах легче, так и в азбуке проще и короче, то и должно начинать всегда с печати гражданской» (Руководство учителям 1783, 29 [первой пагинации]; Толстой 1886, 54). По «Руководству учителям» Устав народным училищам предписывает обучать учеников первого класса «первоначальным правилам Грамматики» (ПСЗ, XXII, № 16421, с. 646). Безусловно, ситуация изменилась не в одно мгновение; новая система отнюдь не сразу заработала в полную силу. К тому же в утверждении гражданской азбуки как базового знания сыграла роль не только екатерининская реформа образования, но и то немаловажное обстоятельство, что с 1770-х годов издается (массовыми тиражами) «Начальное учение человеком» митрополита Платона Левшина, напечатанное как церковным, так и гражданским шрифтом: это элементарное пособие совмещало, таким образом, традиционное религиозное образование с изучением гражданки (см.: Маркер 1994, 18).

Как бы ни соотносились между собою различные компоненты интересующего нас изменения, каким бы медленным ни был его ход, в 1780-е годы появляются те институты, которые призваны обеспечить общеобязательность языкового стандарта. Начальное образование подводит ученика к овладению языковым стандартом, а знание гражданского шрифта дает ему доступ к корпусу образцовых текстов, образующему его читательский опыт и формирующему тем самым навыки письма, соответствующие языковому стандарту. О том, насколько радикально меняется образовательная парадигма и насколько успешно было внедрение новой системы, могут свидетельствовать «Записки» Д. Н. Свербеева. Свербеев, родившийся в 1799 г., учился грамоте традиционным способом и в результате знал Псалтырь наизусть. В начале XIX в. это было уже такой редкостью, что маленького Свербеева возили по московским знатым домам и показывали как диковинку (см.: Свербеев, I, 41–43)⁵⁵⁷. Речь идет, конечно, лишь об образованной элите,

⁵⁵⁷ Картина, нарисованная Свербеевым, интересна в нескольких отношениях, так что я позволю себе пространную цитату: «Отличительной чертой <...> первого и главного

однако несомненно, что круг лиц, привычных к русскому литературному языку, постепенно расширялся, тогда как круг лиц, грамотность которых была связана с церковными книгами, пропорционально сужался. Хотя и постепенное, однако же институализованное распространение языкового стандарта как раз и означало утверждение его общеобязательности.

Церковнославянская грамотность, впрочем, оставалась важным компонентом традиционной культуры вплоть до установления советского режима. Определенная часть низших слоев населения (ее количественные характеристики не поддаются выяснению) продолжала обучаться грамоте по-старому и владеть соответствующими навыками чтения церковных книг. Эти люди, видимо, могли лишь с трудом разбирать гражданскую печать или вовсе были к этому неспособны и во всяком случае не обладали навыками письма. Поэтому господствующая культура рассматривала их как неграмотных, и именно в таком качестве они фигурировали в переписи 1897 г. (см. важные соображения об этом социо-культурном феномене в работах: Кравецкий 1999; Кравецкий и Плетнева 2001, 25–40). Здесь стоит отметить два момента. Во-первых, церковнославянская грамотность и грамотность, предполагаемая новым языковым стандартом, решали разные задачи. Традиционная грамотность была ориентирована на умение внятно читать в церкви, а умение писать выступало как вторичное и факультативное; в этой связи понятно, почему в учебных пособиях для изучения нового языкового стандарта подчеркивалась необходимость обучения письму. Во-вторых, в соответствии с этими разными целями различались и системы обучения. Традиционная система обучения чтению по складам не создавала навыков активного владения письменным языком. То умение, которое она сообщала, не могло быть легко приспособлено для решения тех задач, которые диктовались секулярными культурными практиками «регулярного» государства. В силу этого два типа грамотности формировали два разных культурных мира, в значительной степени не пересекавшихся и не обладавших способностью к взаимопониманию.

моего наставника была не только набожность и усердие к церкви, но и вместе изумительная начитанность божественных книг. Он, кажется, знал наизусть не одну Псалтирь, что еще часто встречалось, а и все Евангелие. Как выучил он меня грамоте, церковной и гражданской, я сам не знаю. Шести лет от роду читал я отчетливо и бойко и ту и другую. Каждое утро молились мы с Варфоломеевичем по строго-заведенному им порядку. После чтения утренних молитв вычитывал я одну кафизму, а потом апостол и Евангелие дня; затем после чая следовал сидячий урок чтения, весь состоявший из упражнения в нем по божественным книгам <...> от частого повторения до того усвоил я практическое знание церковного нашего языка, что удивлял таким познанием многих <...> и вот на показ свету начали меня развозить по гостям <...> Таким образом часто отправлялись мы втроем в разные дома и большею частью в дома людей знатных. Везли меня к графу Пушкину <...> Там задавалось мне чтение псалма при конце обедни, что не мешало однако чтению после службы какого-нибудь отрывка из Псалтири или Евангелия <...> Сначала это мне почти нравилось, но потом сделалось просто моим несчастьем. У графа Пушкина были почти моих лет сыновья и дочери, воспитываемые совсем иначе, они, казалось мне, смотрят на меня с каким-то презрением» (Свербеев, I, 41–43).

Конкретные параметры экспансии языкового стандарта можно увидеть, обратившись к тем частным моментам, которые уже рассматривались выше. Весьма показательна в данном отношении знакомая нам история форм прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа. Как мы видели, норма, выработанная академическими филологами для прилагательных в им.-вин. падеже мн. числа, требовала употребления флексии *-ие/-ые* в м. роде и флексии *-ия/-ья* в ж. и ср. роде. В литературной практике 1760–1770-х годов эта норма находила лишь весьма непоследовательную реализацию, причем в особенности это относилось к духовной литературе (написанной по-русски, а не по-церковнославянски). Так, например, в «Собрании разных слов и поучений на все воскресные и праздничные дни» (Гавриил и Платон, I–III), важнейшем гомилетическом памятнике Екатерининской эпохи, определившем устойчивые черты духовного языка этого периода (издание было составлено и отредактировано митрополитом Гавриилом Петровым и впервые напечатано в Синодальной типографии в Москве в 1775 г., затем оно неоднократно переиздавалось), отклонения от академической нормы находим более чем в пятой части употреблений⁵⁵⁸.

В 1783 г. в процессе подготовки екатерининской реформы народного образования появляется «Руководство учителям первого и второго класса народных училищ Российской Империи». Здесь говорилось (см. цитату выше, § XII-4), что буквы *е* и *я* часто смешиваются, причем «особливо в именах прилагательных множественного числа». В «Руководстве» указывается, что различение этих букв в прилагательных мн. числа не обладает фонетическим основанием, поскольку они «в простом выговоре не имеют почти совсем никакого различия»; тем не менее различать их в правописании необходимо, «ибо *е* причислует именам мужескаго, *я* женскаго и среднего родам» (Руководство учителям 1783, 16 второй пагинации). В соответствии с этими указаниями флексии прилагательных кодифицируются и в «Краткой российской грамматике» Е. Б. Сырейщикова, предназначенной для насаждаемых Екатериной народных училищ (Сырейщиков 1787, 11).

Показательно, что эта регламентация дает хотя и не немедленный, но вполне ощутимый эффект. Не только бесследно исчезают те легкомыслен-

⁵⁵⁸ Эти отклонения состоят в многочисленных и никак не мотивированных употреблениях флексии *-ия/-ья* в вин. мн. прилагательных м. рода (что соответствует старой церковнославянской норме), окказиональных употреблениях флексии *-ие/-ые* с прилагательными ж. и ср. рода, нередких употреблениях флексии *-ия/-ья* в им. мн. прилагательных ж. рода и в неоднократном употреблении старых «родовых» флексий *-ии/-ьи* и *-ая/-ья*. Употребление «родовых» флексий по большей части мотивировано; *-ии/-ьи* появляется в причастиях, формах превосходной степени и обращениях к слушателям, ср.: *возрастающіи* (Гавриил и Платон, I, л. 4об.), *пропадающіи* (I, л. 9), *богатѣйшіи* (I, л. 11), *возлюбленніи* (I, л. 15), *слушатели благочестивіи* (I, лл. 107, 118об., 119), и т. д.; флексия *-ая/-ья* встречается только в субстантивированных прилагательных с обобщенным значением или в прилагательных, определяющих эти последние и воспринимающих аномальную флексию субстантивированных прилагательных в силу своей однородности с ними, ср.: *многая* (I, л. 7об. [bis]), *вся благая* (I, лл. 8, 11, II, л. 68), *земная благая* (I, л. 121) и т. д. Данный узус определяется компромиссом между традициями гибридного регистра и светским употреблением.

ные забавы с языковым стандартом, которые позволял себе Сумароков, но и узус духовной литературы на русском языке приводится в соответствие с нормой. Эти изменения легко проследить на материале проповедей митрополита Платона Левшина, издававшихся по мере их написания в течение почти сорока лет. В первых томах, содержащих проповеди 1760–1770-х годов, узус во всех существенных чертах совпадает с описанным выше для «Собрания разных слов и поучений» 1775 г. Совсем иную картину наблюдаем в его поздних проповедях, произнесенных в конце Павловского и начале Александровского царствования и опубликованных в последних двух томах собрания его поучительных слов, напечатанных в Синодальной типографии в 1803 г. (Платон Левшин, XIX–XX). Здесь отступления от общелитературного стандарта составляют менее 8%, причем в основном они состоят из мотивированных употреблений флексий *-ии* в им. мн. м. рода и *-ая/-ья* в им.-вин. мн. ср. рода⁵⁵⁹.

Следующее поколение духовных авторов продвигается еще дальше, так что их употребление вплотную приближается к общелитературному стандарту. Примером могут служить проповеди Феофилакта Русанова; два тома его «Поучительных слов и речей» были опубликованы вторым изданием в 1809 г. в Синодальной типографии (Феофилакт Русанов, I–II); в них отступления от общелитературного стандарта единичны (менее 2% случаев) и могут рассматриваться как случайные погрешности⁵⁶⁰. Такое развитие как

⁵⁵⁹ Полностью исчезают формы им. мн. м. рода с флексией *-ия/-ья*. Столь характерное для духовного узуса предшествующего периода окончание *-ия/-ья* в вин. мн. м. рода сохраняется лишь в немногих случаях, существенно уступая по частоте окончанию *-ие/-ье*, соответствующему новому стандарту. Единичные употребления флексии *-ии/-ьи* в им. мн. м. рода мотивированы, они встречаются в контексте обращения к аудитории: *о возлюбленніи* (XIX, 24), *благословенніи Христіане!* (XIX, 57), хотя в этом же контексте возможны и формы со стандартной флексией: *благочестивые града сего жители!* (XX, 121), *благочестивые Христіане!* (XX, 125). Употребление форм им.-вин. мн. ср. рода с флексией *-ая/-ья* синтаксически мотивировано, в соответствии с ранее установившейся практикой они появляются в субстантивированных прилагательных в обобщенном значении и в прилагательных, выступающих в качестве определения к последним: *таковая благая* (XIX, 17), *невидимая, видимая, удаленная, присущая, будущая, настоящая* (XIX, 34), *вся <...> благая* (XIX, 322), *вся благая и земная, и небесная* (XIX, 325), *благая нетлѣнная* (XIX, 328, 331). Единственный случай употребления аномальной флексии без данной мотивации находим в необычном восклицании: *о чада свѣтообразная церковная* (XIX, 17); можно предположить, что здесь действует мотивация стилистическая (см. подробнее: Живов 2004а, 525–526).

⁵⁶⁰ Понятно, что, когда мы имеем дело с окказиональными ляпсусами, говорить об их мотивированности можно лишь с большой натяжкой. Отмечу все же, что в двух случаях из трех аномальное окончание встречается в действительных причастиях, это тот грамматический контекст, который стимулировал те же аномалии в предшествующий период: *лицемѣрные богомолы, мнящіи во многоглаголаніи своеѣмъ услышаны быти* (I, 7); *Сотвори, да и колеблющіися утвердятся въ шествиѣ по спасительнымъ стезямъ Твоего закона* (II, 36). В обоих случаях специфична не только грамматическая форма (в конце концов в большинстве случаев Феофилакт употребляет действительные причастия со стандартными флексиями), но и стилистический контекст. В первом употреблении стилистическая выделенность (торжественность обличения) отмечена дополнительно и

раз и свидетельствует о том, что языковой стандарт приобретает общеобязательность, приличествующую литературному языку. Существенно, что это утверждение общеобязательности по крайней мере на начальном этапе вновь никак с литературной динамикой не связано. Нормативные пособия для народных училищ создаются не писателями, а учеными филологами, а литература лишь следует установленной вне ее норме. Впрочем, ученые филологи, следуя европейскому примеру, начинают ссылаться на литературное употребление, как мы это видели в «Руководстве учителям» (неопределенная ссылка на «новейших писателей», которые противопоставляются Тредиаковскому); сама возможность таких ссылок обусловлена тем, что, в отличие от времен юного Тредиаковского, литература теперь существует.

3. Синтаксическая реформа Карамзина и роль изящной словесности

Это не означает, однако, что утверждение общеобязательности происходит вовсе независимо от литературы. Школьное обучение языковому стандарту по-разному обеспечивает нормативность разных уровней языка. Если правописные и морфологические нормы внушаются за счет прямого заучивания правил, то в синтаксисе и стилистике правила играют лишь второстепенную роль. Судя по грамматическим пособиям конца XVIII в., в этот период роль правил в данных сферах языка вообще ничтожна. Это означает, что нормализация, имевшая место на данных уровнях, была обусловлена не школьным обучением, а накоплением читательского опыта, источником которого была литература. Именно чтение как культурная практика образованного общества, конструирующая само это общество, было той институцией, от которой зависело утверждение языкового стандарта в синтаксисе и стилистике. Школьная реформа создавала благоприятные условия для распространения чтения и тем самым косвенно способствовала регламентации и данных аспектов языка, однако прямого воздействия на них элементарное образование не оказывало⁵⁶¹.

аномальной для Феофилакта формой инфинитива *быти*. Во втором случае контекстом оказывается завершительная молитва, т. е. та рамочная составляющая проповеди, которая нередко бывает обозначена аномальными формами. Третье нарушение появляется в предложении, вводящем цитату из Плача Иеремии: «Они до сего *теплѣи* бяху, а при семъ чудесномъ явленіи возгорѣшася ревностію къ Богу и закону, якоже мощи имъ съ Іереміемъ глаголати...» (I, 22). Стилистическая маркированность этого предложения очевидна, она отмечена лингвистическими элементами, куда более однозначно отсылающими к традиционной церковнославянской книжности, чем формы прилагательных во мн. числе; имею в виду простые претериты и конструкцию *яко* с инфинитивом в целевом значении (ср. также формы инфинитива); к тому же и само прилагательное *теплый* может отсылать к известному обличению «теплоты» в Апокалипсисе (Откр. 3: 15).

⁵⁶¹ Конечно, учителя, преподававшие словесность, поправляли речевые ошибки своих воспитанников уже в XIX в., и в этом плане синтаксический и стилистический уровни подвергались дидактической регламентации; в элементарное образование такая регла-

Процесс утверждения языкового стандарта в синтаксисе можно наблюдать на материале частной и деловой переписки культурной элиты. Именно на этом материале видно, как стандартные синтаксические построения становятся навыками письма, навыками изложения любой информации вне зависимости от ее специфики. В элитарной эпистолярной письменности 1760–1770-х годов элементы ситуационного синтаксиса остаются вполне обычными (см. выше, § X-5). В ходе утверждения языкового стандарта такие синтаксические построения осознаются как специфически разговорные, недопустимые в письменном языке. Эталоном, задающим нормативные синтаксические стратегии, оказывается при этом литература. Те, кто культивирует чтение, научаются такими стратегиями в письменной речи не пользоваться. Хотя специфически разговорные конструкции продолжают появляться в эпистолярной письменности и позднее, однако их репертуар становится все ограниченнее, а частота употребления постепенно сокращается, причем быстрота их исчезновения соотносится с социальным статусом пишущего (ср.: Кручинина 1976).

Этот процесс структурирован несомненно и по жанровым признакам, однако он слишком мало изучен, чтобы имело смысл рассуждать о его деталях. Ясно, что во многих жанрах (таких как жанры высокой поэзии) синтаксические коллоквиализмы никогда не появлялись. Ничтожна вероятность таких синтаксических элементов и в переводной прозе: поскольку ситуационный синтаксис был чужд иноязычным оригиналам, для него не было места и в их переводах (о синтаксическом калькировании как составляющей формирования синтаксиса русского литературного языка см. выше, § X-5). Соответственно и те оригинальные прозаические тексты, которые писались в подражание переводным, ситуационный синтаксис, как правило, не эксплуатировали. Именно в силу этого эпистолярная письменность оказывается основным полем, на котором играет ситуационный синтаксис. Основным, но не единственным.

Любопытным образом, синтаксические коллоквиализмы нередко появляются в проповеди. Отчасти это, видимо, связано с тем, что проповедь по крайней мере номинально представляет собою беседу проповедника с пастором, и элементы оральности могут выступать как сигналы, имитирующие непосредственность устного общения. Отчасти причиной может быть то обстоятельство, что русский язык в проповеди XVIII в. был относительно новым новшеством, располагавшимся в ином дискурсивном пространстве, нежели светская словесность; к тому же русская гомилетическая традиция в значительно меньшей степени была ориентирована на переводные образцы, чем светская литература. Как бы то ни было, в этом жанре синтаксические кол-

ментация, однако, не входила. Насколько распространенной была практика исправления синтаксических и стилистических погрешностей в школьном образовании XIX в., остается неизвестным (собрать материал по этой проблеме было бы интересной исследовательской задачей). В любом случае кажется правдоподобным, что авторы середины XIX в., создававшие тексты для массового чтения и часто не обладавшие элитарным образованием, в основном ориентировались на литературные образцы, а не на навыки, приобретенные в школе.

локвализмы могут быть обнаружены. Приведу несколько примеров из проповедей самого знаменитого проповедника второй половины XVIII в. митрополита Платона Левшина: «Грѣшникъ, когда оставляетъ грѣхъ, и начинаетъ благочестиво жить; онъ являетъ живой образъ воскресенія» (Платон Левшин, XIX, 30); «Древо, говоритъ Евангеліе, чтобъ почестъ его прямо живымъ, потребно, чтобъ оно приносило плоды» (там же, 36–37); «Ибо всѣ просвѣщенные и честные, читая или слыша о таковомъ поступкѣ Сергіевомъ, никто его не осуждаетъ» (там же, 63). В проповедях более позднего времени такие конструкции исчезают.

Процесс устранения подобных построений и создает то противопоставление стандарта письменного языка и разговорной речи, которое стало предметом описания в современном русском языке (в так называемой коллоквиалистике – см.: Земская 1973; Земская, Китайгородская, Ширяев 1981; Лаптева 1976). Как уже говорилось, выделение разговорного языка как особого регистра, характеризующегося прежде всего специфическим синтаксисом, происходит именно в силу утверждения языкового стандарта в письменной форме литературного языка (см. § X-5). При этом связующие письменный и устный языки синтаксические стратегии элиминируются как примета «неевропейского» риторического устройства речи. «Европейское» риторическое устройство задается литературой, причем литература, которая может служить таким настраивающим синтаксический уровень языка камертоном, должна моделировать коммуникативные задания, соответствующие основным культурным практикам данного общества.

Те тексты, которые находились в центре литературного процесса в середине XVIII в., никакого руководства в данной области не сообщали. Риторический период торжественной оды, похвального слова или трагедии не мог служить образцом или подспорьем при написании частного или делового письма, при создании нарратива, имеющего дело с повседневной жизнью. Те синтаксические стратегии, которые разрабатывались представителями русского классицизма, были слишком узки по своему коммуникативному диапазону, чтобы обеспечить синтаксическую регламентацию в новом языковом стандарте. В этом плане язык русской литературы был не в состоянии вести за собой русский литературный язык. Русская культурно-языковая ситуация существенно отличалась в данном аспекте от той, на которую ориентировались русские авторы, – будь то культурно-языковая ситуация Франции, Италии или Англии. Там существовал большой корпус литературы, периферийный для классицистического канона, но задававший образцы правильности и изящества для разных сфер образованной языковой деятельности (например, письма Геза де Бальзака). В России подобный корпус только еще предстояло создать.

Именно здесь решающим шагом оказывается ранняя литературная деятельность Карамзина и его единомышленников. О карамзинской реформе синтаксиса писал в общих словах Я. К. Грот (Грот 1899, 46–98). Он указывал, что Карамзин «находил “длинные” ломоносовские периоды “утомительными”, расположение их не “всегда сообразным с течением мыслей, не всегда приятным для слуха”. Было также показано, что до Карамзина господство ломоносовского синтаксиса в русской прозе, за исключением только

некоторых родов сочинений, не прекращалось; иначе и быть не могло: Ломоносов еще всеми был признаваем за образец языка и слога. Карамзин отнесся к нему критически и высказал неодобрение его стилистических начал. В противоположность им он считал нужным: 1) Писать *недлинными, неумолимыми* предложениями. 2) Располагать слова *сообразно с течением мыслей* и с особыми законами языка. “Лучший, то-есть истинный порядок”, по замечанию Карамзина, “всегда *один* для расположения слов; Русская грамматика не определяет его: тем хуже для дурных писателей!” Эти два правила относятся к синтаксису, которого упрощение, таким образом, совершилось в сочинениях Карамзина вовсе не в силу подражания французскому или английскому языку, а в силу потребности русского ума и вкуса» (там же, 77).

Таким образом, Карамзину приписывается утверждение в русских литературных текстах принципа логического развертывания, который Грот, по характерному для его эпохи заблуждению, относит к «потребностям русского ума и вкуса». В. В. Виноградов описывает этот реформированный Карамзиным синтаксис следующим образом:

Вводится как норма такой порядок слов: 1) подлежащее впереди сказуемого и дополнений; 2) имя прилагательное перед существительным, наречие перед глаголом; слова, обозначающие свойство, употребляемые для замены прилагательных и наречий, ставятся на их месте, например: *природа щедрою рукою рассыпает благие дары* (пример И. И. Давыдова); 3) в сложном предложении слова и члены управляющие помещаются возле управляемых; 4) среди дополнений, зависящих от глагола, – впереди дат. или твор. пад., после всех – вин. пад.; 5) слова на вопрос: “где?”, “когда?”, т. е. слова, рисующие обстоятельства действия, ставятся перед глаголом; предложные обстоятельства конструируются, зависящие от сказуемого, следуют за ним; например: *Сократ уже в последний раз, на праге смерти беседовал о вечности*; 6) все приложения должны находиться после главных понятий; 7) “слова, которые потребно определить, должно ставить впереди слов определяющих” – например, род. пад. всегда после управляющего слова (*житель лесов, кот в сапогах*). Этот порядок признается нормальным для системы литературного языка (Виноградов 1938, 169).

Не все в этом описании карамзинской реформы хорошо сформулировано, и отдельные пункты не вполне соответствуют карамзинскому употреблению, однако в целом это почти адекватное описание – и не столько даже реформированного «нового слога», сколько современного русского литературного языка, который Виноградов, понятно, рассматривает как «нормальный для системы литературного языка». В частности, это употребление соответствует требованию проективности (см. о проективности §§ V-1, X-5), которая регулярно нарушалась в ораторской прозе и панегирической поэзии Ломоносова и его последователей⁵⁶². Виноградов пишет о карамзинской

⁵⁶² Виноградов приводит два примера ломоносовской прозы, сопоставляя их с пассажем из «Наталии, боярской дочери» Карамзина. Примеры из Ломоносова следующие:

реформе синтаксиса в параграфе, озаглавленном «Приемы и принципы смешения русского языка с французским», и тем самым вполне ясно осознает и эксплицитно указывает, что новый порядок слов устанавливается «под влиянием западноевропейских языков, – французского, а в начале XIX в. и английского», хотя и оговаривается, что этот порядок соответствует «синтаксическим тенденциям самого русского языка» (там же, 168).

Каковы эти тенденции, не совсем ясно, и не похоже, что Карамзин что-либо подобное в своей реформистской практике учитывал. Нет особых сомнений в том, что в начале своей литературной карьеры, когда как раз и образуется «новый слог» с его новой «приятностью», Карамзин о «русском уме и вкусе» не помышлял, а думал о том, как бы русскому языку усвоить те синтактико-стилистические характеристики, которые он находил в языках европейских и в первую очередь во французском. Об этом вполне открыто писал сам Карамзин – прежде всего в письме к Г. П. Каменеву: «Вознамерясь выйти на сцену, я не мог сыскать ни одного из Русских сочинителей, который бы был достоин подражания, и отдавая всю справедливость красноречию Ломоносова, не упустил я заметить штиль его *дикий, варварский*, вовсе не свойственный нынешнему веку, и старался писать чище и живее. Я имел в голове некоторых иностранных Авторов: сначала подражал им, но после писал уже *своим*, ни от кого *не заимствованным* слогом» (Второв 1845, 58).

Связь карамзинского нового слога с синтаксисом новых европейских языков и в первую очередь французского была совершенно очевидна тому поколению филологов, для которых этот феномен еще ощущался как новый, как начало нового периода, перекрытого затем пушкинскими образцами. Н. И. Греч писал, что «Карамзин <...> угадал и употребил русское словосочинение <...> Он увидел и доказал на деле, что русскому языку, основанному на собственных своих, а не на древних началах, свойственна конструкция новых языков, простая, прямая, логическая» (Греч, I, 127). Подробнее об этом же Греч писал в «Учебной книге русской словесности»: «Карамзин по справедливости предпочел словосочинение французское и английское периодам латинским и немецким, в которое дотоле ковали русский язык; он видел, что язык сей, пользуясь в поэзии и в высшем красноречии свободою языков древних, должен в прозе дидактической, повествовательной и разговорной придерживаться выражений народных, следовать словосочинению логическому, господствующему в новых языках европейских» (Греч 1830, с. XII). Об этом же немногим позже писал и С. П. Шевырев (см.: Виноградов 1935, 57–58).

«Уже мы, римляне, Катилину, столь дерзновенно насильствовавшего, на злодеяния покушавшегося, гибелью отечеству угрожавшего, из града нашего изгнали» (этот период, в котором дополнения стоят перед причастным предикатом, а притяжательное местоимение после определяемого имени, Виноградов считает «латинским»); «Благополучна Россия, что единым языком едину веру исповедует, и единою благочестивейшею самодержицею управляется, великий в ней пример к утверждению в православии видит» (этот период Виноградов называет «немецким») (Виноградов 1938, 169). Пример из Карамзина можно не приводить, поскольку в нем словорасположение такое же, как в современном русском литературном языке.

Кажется более целесообразным не рассуждать о том, что, как об этом пишет И. И. Ковтунова, «в целом <...> особенности французского синтаксиса соответствовали естественным тенденциям русского языка, стремившегося освободиться от иноязычных и инострантурных напластований и выработать собственные литературные формы “синтаксического течения” речи» (Ковтунова 1969, 142). Как уже говорилось, тенденции были различны в разных типах текстов (см. § X-5), а «естественность» в письменном языке может осмысляться иначе, чем «естественность» в языке разговорном. Как бы ни обстояло дело с тенденциями русского языка, французское влияние не вызывает особых сомнений. Б. А. Успенский весьма недвусмысленно пишет: «Карамзин в значительной степени перестраивает структуру русского периода, ориентируясь при этом на синтаксический строй французского языка. Это проявляется, например, в постпозиции прилагательного, в более строгой постановке подлежащего перед сказуемым, в результате чего рема может предшествовать у Карамзина теме, ср., например: “Мальчик лет тринадцати был проводником моим” (“Остров Борнгольм”), “Опасности и героическая дружба были любимой его мечтою” (“Рыцарь нашего времени”) и т. п.» (Успенский 1985, 28)⁵⁶³.

⁵⁶³ Б. А. Успенский основывается на выводах И. И. Ковтуновой, несколько упрощая их и убирая не полностью достоверное. Так, Ковтунова приписывает постпозиции качественных прилагательных значение «стилистического средства», обладающего «высокой окраской (а не вообще книжной)» (Ковтунова 1969, 158). Примеры, которые приводит Ковтунова, в целом не слишком убедительны, ср.: «И геройство пылает огнем дел великих, жертвует драгоценным спокойствием и всеми милыми радостями жизни... кому? неблагодарным!» (там же, 159). Подчеркивает ли постпозиция *великих* величие дел, а препозиция *драгоценным* обыденность спокойствия? Это не очевидно. Статистики Ковтунова не приводит, и поэтому нельзя понять, насколько интенсивно Карамзин использует постпозицию прилагательных. Выборочные подсчеты по тексту «Писем русского путешественника» показывают, что постпозиция достаточно редка, менее 5% (это соответствует мнению Виноградова о том, что Карамзин утверждает препозицию прилагательных), а единичные ее использования отнюдь не всегда обнаруживают какое-либо стилистическое задание, ср.: «Автор осмелился вывести на сцену жену неверную» (Карамзин 1984, 40). Таким образом, можно согласиться с тем, что прилагательные, стоящие в постпозиции, обусловлены французским влиянием, но размеры этого влияния в данном случае ограничены, а стилистические характеристики не ясны. Ковтунова указывает, что особенно интенсивно постпозиция используется в «Марфе-посаднице», и связывает это с «патетическим тоном» данного произведения (Ковтунова 1969, 158). Не уверен в правоте этого заключения. Карамзин мог таким странным образом маркировать русскую старину; в любом случае русская историческая повесть сама по себе вряд ли может быть средоточием французского словорасположения. Замечу еще, что Карамзин часто ставит в постпозицию к определяемому имени притяжательные местоимения (например, *на могиле ея*), что никак французским образцом не объясняется; при переработке своих повестей он в отдельных случаях (хотя совсем не последовательно) может заменять в этих конструкциях постпозицию на препозицию (например, *на ея могиле*) (Виноградов 1966, 241, 257), что тоже, конечно, никак с французскими моделями не связано.

Более однозначно, кажется, указывает на французское влияние препозиция субъекта в нерасчлененных предложениях или предложениях с подлежащим-ремой, примеры которых приводит Успенский. Такие предложения не вполне естественны для современ-

Успенский полагает, что «ориентируясь на французский синтаксис, Карамзин одновременно ориентируется и на разговорную речь» (там же). В общем виде такая ориентация у Карамзина и в самом деле присутствует. Карамзин вслед за Вожела и его французскими последователями связывает формирование нового слога с разговорным употреблением (там же, 61–65). Однако у русских, в силу отсутствия нормализованной разговорной речи (подобной, например, речи французского двора) эта связь не могла не иметь ограниченного характера. Карамзин в статье «От чего в России мало авторских талантов» замечал: «Французы пишут как говорят, а Русские обо многих предметах должны еще говорить так, как напишет человек с талантом» (Карамзин, III, 529; ср.: Грот 1899, 71; Успенский 1985, 18). Ориентация на разговорную речь практически реализуется лишь негативно, как стремление избегать специфически книжных синтаксических построений. В. В. Виноградов замечает: «Карамзиным выдвигается лозунг борьбы с громоздкими, запутанными, беззвучными или патетически-ораторскими, торжественно-декламативными конструкциями, которые отчасти были унаследованы от церковно-славянской традиции, отчасти укоренились под влиянием латино-немецкой ученой речи. Принцип произносимой речи, принцип легкого чтения литературного текста, принцип перевода стиха и прозы в звучание, свободное от искусственных интонаций высокого слога, ложатся в основу новой стилистики. Проблема легкого логического членения речи, проблема естественной связи и последовательности мыслей была основной в карамзинской реформе синтаксиса» (Виноградов 1938, 179–180; ср. более подробную парафразу этих же мыслей: Виноградов 1941, 271–277).

Это, однако, было отталкивание от книжной речи, а не следование речи разговорной. И. И. Ковтунова совершенно справедливо пишет: «Следует подчеркнуть, что в синтаксисе Карамзина вопрос стоял о легко произносимой фразе, но никоим образом не о разговорной или близкой к разговорной (в подлинном смысле этого слова). Заслуга Карамзина именно в том и состояла, что он утвердил новую систему литературного, книжного синтаксиса, противопоставив ее старым формам книжного синтаксиса» (Ковтунова 1969, 179). Разъясняя отношение карамзинского синтаксиса к собственно разговорной речи, Ковтунова в примечании замечает: «То есть учитывая, что синтаксис разговорной речи представляет собой иную систему, сильно отличающуюся от системы книжной речи – особенно в отношении порядка слов и интонации. Другое дело, что так, как писал Карамзин, можно было говорить (это была устная форма книжной речи), а так, как писал Ломоносов, нельзя было говорить ни при каких обстоятельствах» (там же, примеч. 61). Таким образом, ориентиром для Карамзина служила не реальная разговорная речь, а «легкий» синтаксис новых европейских языков (в первую

ного русского языка, что и побуждает искать для них специального объяснения; в силу этого Ковтунова и говорит о французском влиянии (там же, 170–177). Однако статистическими данными о препозиции субъекта в нерасчлененных предложениях в докарамзинский период мы не располагаем, они вполне могли отличаться от характерных для современного русского языка (ср.: Тернер 2006), а это делает не вполне достоверными выводы о «французском» новаторстве Карамзина.

очередь французского), т. е. синтаксис логического развертывания, решавший, если воспользоваться выражением Виноградова, «проблему легкого логического членения речи».

Именно стремление к этому легкому членению привело к устранению различного рода инверсий, к помещению рядом синтаксически связанных между собою слов, к изгнанию таких конструкций, «как управляемые и примыкающие члены перед глаголами, именами существительными и прилагательными и инфинитив и спрягаемая часть глагола перед связкой» (Ковтунова 1969, 156–157). Устранение остатков подобного словорасположения можно наблюдать у самого Карамзина, когда он исправляет собственные тексты (Виноградов 1966, 247). Конечно, речь идет в первую очередь о тех синтаксических чертах, которые характеризовали ораторскую прозу и панегирическую поэзию; Карамзин отказывается от них, поскольку эти черты были противопоказаны «изящной прозе». Однако было бы упрощением думать, что новаторство Карамзина состоит в том, что он пишет «Бедную Лизу» языком, отличным от языка похвальных слов Ломоносова. «Легкая проза» предшествующего Карамзину периода также пестрела теми конструкциями, которые Карамзин приговорил к изгнанию (хотя и в пропорции, не сравнимой с ораторской прозой этого же времени)⁵⁶⁴.

Это касается и Фонвизина. И. И. Ковтунова разделяет его прозу на произведения среднего и высокого слога (Ковтунова 1969, 143–151). Критерии этого разделения неоднозначны. Прежде всего они апеллируют к жанру: похвальные слова относятся к высокому слогу, а письма или «Чистосердечное признание» (автобиографическая проза) – к среднему. Однако это деление удовлетворительной лингвистической картины не дает. Уже упомянутый сентиментальный роман Битобе «Иосиф» переведен «высоким языком», использующим все те синтаксические построения, которые характерны и для ораторской прозы (равным образом «высокость» характерна и для лексики этого перевода). Как пишет Ковтунова, «по жанру оно должно было бы относиться к среднему слогу, но по языку эта повесть в значительной степени примыкала к высокому слогу» (там же, 147); это же может быть сказано и относительно оригинальной повести «Каллисфен»⁵⁶⁵. Однако и в

⁵⁶⁴ Ср., например, в «Пригожей поварихе» Михаила Чулкова: получили мы победу под Полтавою, на котором сражении убит несчастный муж мой (Чулков 1989, 290), и иметь их никогда не надеялась (там же, 292), признаюсь, что так скоро *отбоярить* его совесть меня зазирила (там же, 293), чувствовала я прямо свое несчастье (там же, 297), и оным он мне не понравился (там же, 299), в несмненной будучи надежде (там же, 303), а о благодарности к нему я тогда и не помышляла (там же, 304), никакого подозрения иметь было не можно (там же, 307–308), Ахалю поступать со мною вольно запретить мне было не можно (там же, 313), однако я на оный ничего не отвечала (там же, 314) и т. д.

⁵⁶⁵ Ковтунова объясняет это следующим образом: «В языке “Иосифа” проявилась характерная черта эпохи: во всех тех случаях, когда к языку прозы предъявлялись эстетические требования, неизбежно привлекались средства высокого слога, даже если произведение не относилось к “высоким” жанрам» (Ковтунова 1969, 149). Это объяснение, возможно, верно по существу, но циркулярно, поскольку неясно, в силу чего какие-то конструкции могут быть охарактеризованы как «средства высокого слога» при том, что они встречаются вне «высоких» (по жанру или тематике) текстов. Неясно, иными сло-

тех произведениях, в которых жанровые (тематические) и языковые характеристики в целом совпадают, в текстах, которые Ковтунова относит к «среднему слогу», предосудительные (в карамзинской перспективе) конструкции нередки. Ковтунова приводит ряд примеров (хотя и не приводит статистических данных), в частности, постановки управляемых членов перед существительным (*латинского языка учитель*), управляемых членов перед глаголом (*ниже о себе хорошего мнения не имеет*), дислокации (дистантного расположения) прилагательного и существительного (*немощное злобы усилие, главные души его свойства*) (там же, 145).

Таким образом, Карамзин делает словесность «изящной», эта изящность ориентирована на французскую легкость (для чтения и произнесения) в словорасположении, и эта ориентация обуславливает параметры синтаксической реформы Карамзина. К этим выводам остается лишь добавить социальный и литературный контекст. Винокур об этом развитии пишет следующим образом: «[Д]ействительный удар той системе литературного языка, которая сложилась на почве классицизма, был нанесен только тогда, когда литературе трех стилей оказалась противопоставлена литература одного, общего стиля. Язык этой литературы нового типа, вождем которой был Карамзин, есть дальнейшее развитие среднего слога, но только перенесенного с деловой и теоретической почвы на почву беллетристики. По своему морфологическому строю – это правильный книжный язык своего времени, за отдельными частными исключениями соответствующий примерно нормам “Грамматики” Ломоносова. Но с синтаксической стороны эта новая стадия среднего слога значительно отличается от прежней, так как приспособлена к нуждам светской беллетристики, ориентированной на западноевропейские образцы» (Винокур 1959, 160–161).

С нашей точки зрения эта формулировка – при том что наблюдение в общем справедливо – неточна в ряде отношений, и эта неточность имеет содержательные последствия. Во-первых, «на почве классицизма» русский литературный язык еще не сложился, образовался лишь своего рода полужабука литературного языка, лишенный и полноценной стилистической дифференциации, и общеобязательности. Во-вторых, никакой «литературы трех стилей» не существовало, и никакая литература одного стиля не пришла ей на смену. Как уже говорилось, «средний штиль» – это лишен-

вами, насколько возможно говорить об имманентной высоте отдельных синтаксических построений. Благоразумнее во всяком случае думать, что во времена Фонвизина стилистическая дифференциация однозначно подобные конструкции не захватывала, что эта стилистическая дифференциация появилась лишь тогда, когда Карамзин сформулировал требования «приятности» или «изящества» (ср. у Карамзина в «Пантеоне Российских Авторов» «приятность слога, называемая Французами *élégance*» – Грот 1899, 68). Изящество (легкость) ассоциировалось с принципом линейной развертки текста, когда управляемые слова ставятся после управляющих и исключается дистантное расположение членов словосочетания. Ковтунова говорит в этой связи о «нормализации ритмико-интонационной структуры текста» (Ковтунова 1969, 185), но определение этих параметров для письменного текста не может быть очевидным, и поэтому я предпочитаю избегать подобных объяснений.

ный плоти теоретический конструкт Ломоносова, из которого никакого общего стиля развиться не могло. Карамзин работал на другом поле, нежели Ломоносов, и преемственность между ними отсутствовала.

Карамзин не заводит литературу «одного стиля», переноса в нее язык, существовавший на «деловой и теоретической почве», а создает новое литературное пространство. В нем отрабатываются риторические стратегии, соответствующие культурным практикам образованного общества; можно сказать, что он риторически конструирует образованное общество. Ода или похвальное слово остаются в литературе, не изменяя существенно своего языка (в том числе и на синтаксическом уровне). Однако в литературном пространстве Карамзина и создаваемого им общества эти жанры располагаются на отдаленной периферии. В центре оказываются те жанры (как стихотворные, так и прозаические), которые способны создать средства выражения для культурных практик «хорошего» общества. Нет оснований думать, что эта жанровая революция обусловлена задачами языкового строительства, однако именно в результате этого переворота язык литературы вновь оказывается вожаком литературного языка.

Карамзин создает образцовые (для его эпохи) литературные произведения, и подражание этим произведениям, в частности, и в языковом плане закрепляет во всеобщем употреблении (или в употреблении, наиболее успешным образом претендующем на всеобщность) синтаксические и лексические параметры нового слога. И. И. Ковтунова пишет, что до Карамзина «эстетическую функцию <...> выполняли средства высокого стиля. Непревзойденными и наиболее авторитетными образцами эстетически организованной речи в области прозы все еще оставались произведения Ломоносова, уже очень далекие от новых языковых тенденций и вкусов. Выход из этого положения мог быть только один: создание нового эстетического идеала прозы, который был бы противопоставлен старому эстетическому идеалу, создание новых эстетических норм, которые бы вытеснили старые эстетические нормы – и, наконец, – создание таких эстетически значимых образцов прозаической речи, которые воплотили бы в себе новые языковые тенденции, закрепили бы их в качестве непререкаемой нормы и тем самым раз навсегда устранили бы необходимость обращаться к средствам высокого слога. Таким гением был Карамзин, который явился творцом “изящной прозы” в русской литературе. “Изящная проза” оттеснила ораторское красноречие <...> и сделала невозможным те гибридные формы, которые находили свое воплощение в произведениях, написанных на “славяно-русском” языке» (Ковтунова 1969, 152).

Конечно, эта перемена ориентиров в формировании литературного языка не была лишь эпифеноменом смены литературных направлений, случайным следствием того, что классицизм был потеснен сентиментализмом или романтизмом и эстетика возвышенного разума уступила место эстетике человеческого чувства. Эстетическое вряд ли было важнее социального, привлекательность прозы Карамзина обеспечивалась не только ее эстетическими свойствами (весьма бледными в перспективе Пушкинской эпохи), но ее «общественными идеалами». У Карамзина был не только и не столько литературный или лингвистический проект, сколько проект соци-

альный: создание просвещенного и чувствительного общества. Инструментом конструирования такого общества должна была быть литература, и именно в рамках этого проекта Карамзин начинает издавать «Московский журнал», а затем приновравливает свою журналистскую деятельность к потребностям и вкусам созданной им читающей публики (ср.: Кросс 1971, 176–179).

Язык, на котором думает это по-западному просвещенное общество, не мог быть безразличен для данного проекта, так что лингвистические инновации были его органической частью. Говоря о прежнем языковом стандарте и полемизируя с его апологетами, Карамзин в заметке «О богатстве языка» 1795 г. пишет: «Истинное богатство языка состоит не во множестве звуков, не во множестве слов, но в числе мыслей, выражаемых оным. Богатой язык есть тот, в котором вы найдете слова не только для означения главных идей, но и для изъяснения их различий, их оттенков, большей или меньшей силы, простоты и сложности. Иначе он беден; беден со всеми миллионами слов своих. Какая польза, что в Арабском языке некоторые телесные вещи, на пример мечь и лев, имеют 500 имен, когда он не выражает никаких тонких нравственных понятий и чувств» (Шевырев 1854, № 12, 184; ср. еще: Карамзин, III, 641; ссылка на арабский делается явно в духе французских протестов против восточной пышности).

«Новый слог», культивировавшийся Карамзиным и его единомышленниками, как раз и должен был создать средства выражения для «тонких нравственных понятий и чувств», тот «метафизический язык», о котором позднее говорил Пушкин (Пушкин, X, 120). Понятно, что эта задача требовала не только развития лексического запаса, но и диверсификации риторических стратегий и воплощающих их синтаксических построений. Именно это было стимулом для синтаксических инноваций «нового слога». Данная установка делает понятным и то, почему Карамзин использует в качестве источника этих инноваций калькирование западноевропейских (французских и английских) синтаксических построений: именно там, в царстве Просвещения, риторические стратегии обладали достаточным богатством и изощренностью. Как раз разработка этих стратегий, а не спорадическое употребление элементов «щегольского наречия» и тем более не жеманная прециозность, без достаточных оснований приписываемая карамзинскому языку, составляют основу «нового слога» (о мифологии, сложившейся вокруг карамзинских преобразований, см.: Проскурин 2000, 19–46).

Карамзин не был первым, кто прибегал к западному источнику синтаксических инноваций. Переводная литература, столь значимая для русского XVIII в., использовала синтаксическое калькирование чрезвычайно широко. Можно полагать, что само утверждение в новом идиоме принципа логического развертывания совершается при посредстве и под воздействием переводческой практики: переводя с французского или немецкого, русские авторы отбирали из старого книжного запаса те построения, которые соответствовали переводимым оригиналам (ср.: Живов 1997). Однако создававшийся таким образом репертуар синтаксических построений не был однороден, как не были однородны и переводимые тексты (переводы с латыни и греческого имели едва ли не то же значение, что и переводы с но-

вых европейских языков). Для высокой поэзии, в докарамзинскую эпоху претендовавшей на эталонный статус как в литературе, так и в языке, наиболее важен был сложный риторический период. Именно от него, как мы видели, Карамзин и отказывается в пользу легкого и прозрачного построения не осложненного ораторством нарратива. И здесь, конечно, Карамзин не был абсолютным новатором. В письмах Фонвизина из Италии и Франции или в корреспонденции М. Н. Муравьева он мог найти для себя приемлемый или почти приемлемый образец. Однако и здесь социальное важнее эстетического: та риторика, которая раньше располагалась на периферии публичной сферы, у Карамзина становится центральной.

Проект Карамзина оказался в целом чрезвычайно успешным. Ему удалось создать то общество, которое потребляло производимый в его кругу литературный продукт и в соответствии с предложенными литературными моделями формировало свои социальные навыки (можно вспомнить паломничество московских барышень к пруду, в котором утопилась бедная Лиза). К числу этих социальных навыков относился и способ изложения чувств, переживаний и нравственных соображений. Образованное общество читает Карамзина и начинает писать так, как пишут в «Московском журнале» или «Вестнике Европы». Конечно, и этот процесс совершается не в один год (и здесь надо учитывать, что часть образованного общества предпочитала писать по-французски), но именно на этом пути утверждается общеобязательность языкового стандарта в синтаксисе и стилистике.

На этом можно было бы остановиться, поскольку на том этапе, до которого мы добрались, языковой стандарт приобрел все необходимые для литературного языка достоинства: общеобязательность, полифункциональность, кодифицированность и стилистическую дифференциацию. Однако конструкция литературного стандарта, предложенная Карамзиным, оказалась воспринята лишь частично. И та полифункциональность, и та стилистическая дифференцированность, которые навязывались карамзинской моделью, были слишком жестко связаны с его идеологическими установками (утверждение первичности частной жизни), литературными пристрастиями (сентиментализм) и ориентацией на определенный сектор читающего общества (светское общество), чтобы быть усвоенными в качестве универсальной нормы. Эта конструкция оказывается слишком полемичной, она и вызывает полемику, так что устойчивые черты литературный стандарт приобретает только в результате разрешения тех противоречий, которые эта полемика выявила. Речь идет о спорах так называемых «архаистов» и «новаторов».

4. Спор архаистов и новаторов и стабилизация русского литературного языка

Итак, появление карамзинского «нового слога» представляет собой реформирование языкового стандарта, приспособляющего его к выполнению новых коммуникативных и жанровых задач. Эти задачи возникают в новой культурно-языковой ситуации, обусловленной как развитием культурных

практик образованного общества, так и диверсификацией жанрового репертуара изящной словесности. «Новый слог» может рассматриваться как продолжение дворянской апроприации литературного стандарта. Появление «нового слога» подрывает позиции «славенороссийского» литературного языка. В лингвостилистической программе Карамзина и его последователей значим прежде всего самый момент отталкивания. Карамзин выступает как реформатор языка, порывающий с прошлым, и этим прошлым является именно славенороссийский язык предшествующего периода. Свидетельством может служить та периодизация истории литературного языка, которую предлагает сам Карамзин: «Разделяя слог наш на эпохи, первую должно начать с Кантемира, вторую с Ломоносова, третью с переводов Славяно-Русских Господина Елагина и его многочисленных подражателей, а четвертую с нашего времени, в которое образуется приятность слога» (Карамзин, I, 577). Предшествующий Карамзину период, означенный именами Елагина и Фонвизина, рассматривается карамзинистами как эпоха безраздельного и неоправданного влияния церковного языка, который никакого отношения к приятности слога иметь не должен. Говоря о том, что Фонвизин в детстве читал за богослужением, Вяземский замечает: «Не соглашаюсь с автором, который приписывает упомянутым благочестивым упражнением знание свое в Русском языке. Дьячки и семинаристы, которые верно более его читали священные книги, не почитаются-же у нас знатоками в языке и правильнейшими грамотеями. Помощь Славянского языка, вопреки мнению его собственному и мнению многих литераторов наших, была не только не полезна, но может быть и вредна Фон-Визину: он без размышления пользовался ею и не умел справиться в согласовании языка церковного с языком общества, когда покушался на такое сочетание» (Вяземский, V, 18–19).

Подобное согласование объявляется принципиально невозможным, польза книг церковных – несуществующей, и отсюда славенороссийский язык оказывается фикцией, которая была выдумана не справлявшимися с языком авторами для прикрытия своих погрешностей. Дашков пишет о «мнимом Славенороссийском языке» (Дашков 1811, 3; ср. еще: Дашков 1810, 258–259, 264–265), а Вяземский (V, 36) заявляет: «В языках не бывает двуглавых созданий, или сросшихся Сиамцев; и тем лучше: ибо такой язык был-бы урод». «Славенороссийскому» языку приписывается неустранимый макаронизм («пестрота»), при котором сомнительны какие бы то ни было поиски чистоты.

Продолжая рассуждать в категориях европейских лингвостилистических теорий, карамзинисты отвергают тезис о единстве природы русского и церковнославянского, на котором держалось все построение «славенороссийского» языка. Положению о единстве природ полемически противопоставляется положение об их разности: разделяваясь с литературным прошлым, карамзинисты прилагают к истории русского языка известные схемы преобразования латыни в романские языки в результате контаминации ее с варварскими наречиями. Так, Дашков писал, что, «хотя основанием Рускаго языка есть Славенский», однако «в наречие Руское вмешалось множество Татарских и других иностранных слов» и поэтому «оное наречие отделилось совершенно от своего корня несходством некоторых слов, и разностию в

спряжениях и даже в правилах синтаксиса, и таким образом стало особым языком, как другие Европейские» (Дашков 1811, 32). В другом месте он замечает: «Язык, которым говорим мы, давно уже отделился от Славенского введением множества Татарских слов и выражений, совсем прежде неизвестных» (Дашков 1810, 260). Равным образом и Вяземский (V, 35) пишет о невозможности сочетания «форм, оборотов, свойств [т. е. разных природ. – В. Ж.] двух языков, или даже одного и того-же языка, но изменившегося в постепенных своих возрастах». Вяземский пишет здесь о уже не раз упоминавшемся фонвизинском переводе «Иосифа» Битобе, и этот перевод выступает для него как образец макаронического слога, принципиально погрешающего против языковой чистоты. Замечания Вяземского представляют собой не частную критику фонвизинской стилистики, а принципиальное отвержение тех воззрений, на основе которых формировался «славено-русский» язык. В самом деле, в предисловии Фонвизина к его переводу проблема согласования церковнославянского и русского элемента ставится как основной вопрос литературного языка, и перевод должен был по замыслу автора быть образцом такого согласования, он задумывался Фонвизинным как принципиальный стилистический компромисс⁵⁶⁶. Именно этот компромисс и не устраивает Вяземского. Он пишет:

<...> По каким-то преданиям, Фон-Визин почитается у нас, после Ломоносова, первым писателем, умевшим сочетать языки Славянский и Русский. Новиков сказал о сем переводе, что переводчик держался в нем важности Славянского и чистоты Российского языка [Вяземский цитирует «Опыт исторического словаря о российских писателях» – см.: Новиков 1772, 231]. С его слов, все повторили то-же. Во-первых, кажется, должно-бы обозначить о каком сочетании идет здесь дело, ибо нельзя-же определить, что в Русском языке нет важности, или в Славянском чистоты, ему свойственной. Есть сочетание одних слов, и есть сочетание форм, оборотов, свойств двух языков <...> Первое сочетание полезно и даже необходимо <...> Второе сочетание несбыточно и нежелательно: оно не может быть естественно и, следовательно, не будет изящно <...> Перваго сочетания держались и держатся все писатели наши, втораго не нахожу нигде, ни у Ломоно-

⁵⁶⁶ Фонвизин писал: «Все наши книги писаны или Славенским, или нынешним языком. Может быть, я ошибаюсь; но мне кажется, что в переводе таких книг, каков Телемак, Аргенида, Иосиф и прочия сего рода, потребно держаться токмо важности Славенского языка: но при том наблюдать и ясность нашего; ибо хотя Славенской язык и сам собою ясен, но не для тех, кои в нем не упражняются. Следовательно слог должен быть такой, каковаго мы еще не имеем. Телемак переведен Славенским; а в Аргениде нашел я много наших нынешних выражений не весьма, кажется, сходственных с важностию сея книги. И так главное затруднение состояло в избрании слога. Множество приходило мне на мысль Славенских слов и речений, которыя, не имея себе примера, принужден я был оставить, бояся или возмутить ясность, или тронуть нежность слуха. Приходили мне на мысль наши нынешния слова и речения, весьма употребительныя в сообществе, но не имея примеру, оставляя я оныя, опасаясь того, что не довольно изобразят они важность авторской мысли» (Фонвизин 1769, предисл., л. 1об.-2; Фонвизин, I, 443-444).

сова, ни у Кострова, ни у самого Петрова, который всех откровеннее поработался Славянскому игу. Говорю: нигде; ибо не признаю за сочетание то, в чем нет согласия <...> Прозаический язык Ломоносова – тело, оживленное то Германским, то Латинским духом, коему даны в пособие Славянские слова. Язык Фон-Визина при тех-же пособиях часто сбивается на галлицизмы. Ни в том, ни в другом, нет чисто Русского, ни чисто Славянского, ни даже чисто Славяно-Русского языка; если чистота может быть при подобной пестроте

(Вяземский, V, 35–36).

«Славенороссийскому» языку приписывается здесь неустрашимый макаронизм («пестрота»), при котором сомнительны какие бы то ни было поиски чистоты.

Отказывая русскому и церковнославянскому в единстве природы, карамзинисты понимают церковнославянский (и «славенороссийский») как «особливой язык книжной, которому надобно учиться как чужестранному» (Макаров, I, 2, 38–39). В результате славянизмы предстают как заимствования, подлежащие устранению из «чистого» языка. Цель карамзинистов именно в том, чтобы доказать принадлежность славянизмов к «нечистым» элементам, один из путей этого – подвести их под рубрику заимствований. Но это не единственный путь. С тем же успехом они могут фигурировать и в качестве архаизмов, что соответствует пониманию церковнославянского как устаревшего и невразумительного. Так, П. И. Макаров относит к временам Ломоносова «образование новаго языка» (там же, 20) и считает, что с этих пор церковнославянский делается так же непонятен, как язык домалербовской Франции. Приравнивая русскую языковую ситуацию к французской, Макаров спрашивает: «Всякой ли Француз может ныне понимать Монтаня, или Рабеле?» (там же, 22). Поскольку доломоносовские литературные тексты оказываются непонятными и не соответствующими современному узусу, «более двух третей Рускаго Словаря остается без употребления» (там же) – славянизмы трактуются как вышедшие из употребления слова, т. е. архаизмы. Как видно по приводившейся выше цитате из заметки Карамзина «О богатстве языка», карамзинисты, разрушая славянорусский синтез, ниспровергают и концепцию особого богатства русского («славенороссийского») языка: славянизмы оказываются занятым элементом, а сокровищница славенороссийского языка – банкротом⁵⁶⁷.

⁵⁶⁷ В этой связи стоит привести и слова Вяземского в статье «О злоупотреблении слов» 1827 г. Он рассуждает об отсутствии в русском точного соответствия французскому глаголу *déguiser*: «... нет у нас и еще кое каких слов, не смотря на восклицания патриотических, или (извините!) отечественнолюбных филологов, или (извините!) словолюбцев, удивляющихся богатству нашего языка, богатого, прибавим также мимоходом, вещественными, физическими запасами, но часто остающегося в долгу, когда требуем от него слов утонченных, отвлеченных и нравственных» (Вяземский, I, 270). Славенорусское богатство, на взгляд Вяземского, ничего не дает для «метафизического» языка, для тех коммуникативных задач, которые стоят перед по-европейски образованным обществом, ср. подборку аналогичных высказываний от Пушкина до Белинского у Ю. С. Сорокина (Сорокин 1965, 55–56).

Все построение, основанное на отнесении русского литературного языка к числу «древних» (см. § XII-2), рушится, а источники его «древности» подвергаются осмеянию. В этом плане особенно показательно изменение отношения к греческому влиянию на церковнославянский. Для карамзинистов это влияние не сообщает славянскому особому достоинства, но искажает его природу. Карамзин пишет: «Авторы или переводчики наших духовных книг образовали язык их совершенно по Греческому, наставили везде *предлогов*, растянули, соединили многия слова, и сею *химическою операциею* изменили первобытную чистоту древняго Славянскаго. Слово о полку Игореве, драгоценный остаток его, доказывает, что он был весьма отличен от языка наших церковных книг» (Карамзин, III, 604). Совершенно аналогично высказывается и Макаров: «Наши предки успели занять от Греков множество названий и несколько метафор; успели, оставя древнее Славянское наречие, образовать свой язык по свойству Греческаго. *Процвел ли он заимствованными красотами...* решительно сказать не можем: для сего надлежало бы видеть и *понимать* чистый Славенский язык, котораго теперь не видим» (Макаров, I, 2, 18–19; см. подробнее: Успенский 1985, 22–23). Очевидно, что перед нами та же схема, которая была построена Тредиаковским и Ломоносовым и затем неоднократно повторялась: в этой схеме утверждалось, что богатство и красота переходят от греческого к церковнославянскому, а от церковнославянского к русскому литературному языку; в карамзинистской версии от греческого к церковнославянскому и «славенороссийскому» переходит не богатство и красота, а нечистота и избыток ненужных слов.

Французская модель литературно-языкового развития получает у карамзинистов новую значимость. Они заново обращаются к французскому пуризму, отвергая ту специфическую рецепцию, которую получила классицистическая доктрина в России в середине XVIII в., и стремясь усвоить лингвистические теории Вожела в их оригинальном виде, когда употребление и вкус выступают как главные критерии чистоты языка безотносительно к «разуму», грамматическим правилам или, тем более, церковным книгам (ср.: Томашевский 1959, 44–46; Успенский 1985, 61–65). Ориентация – в теории, если не в практике – на разговорное употребление естественно приводит карамзинистов к противопоставлению русского и церковнославянского языков. Поскольку это противопоставление задано, детерминировано и интерпретация пуристических рубрик – в общих чертах та же самая, которой следовали первые кодификаторы русского языка в 1730-е годы. Лингвистическая мысль, сделав виток, как бы возвращается к своему начальному этапу.

Это возвращение не было, однако, полным повторением, поскольку сама литературно-языковая ситуация, в которой разворачивалась деятельность карамзинистов, существенно отличалась от ситуации 1730-х годов. Действительно, когда французские стилистические установки переносил на русскую почву Тредиаковский, он сталкивался с непреодолимыми трудностями, возникавшими из-за отсутствия в России начала XVIII в. собственно литературной традиции. Французская установка требовала очищения литературного языка, но в России – в отличие от Франции – очищать было еще

нечего: литературный язык, отличный от церковнославянского и опирающийся на традицию светской словесности, отсутствовал. К концу XVIII в. ситуация становится иной. Теперь реформатор языка имел за собой длительное литературное развитие, в ходе которого сложился обширный круг собственно литературных текстов. Реформатор мог отвергать стилистические или эстетические принципы этих текстов, но вне зависимости от его отношения они создавали многократный прецедент литературного употребления целого ряда слов, конструкций и выражений, которые больше не ассоциировались ни с традициями церковной литературы, ни с простонародным «грубым» употреблением. Это в особенности относилось к морфологическому и синтаксическому уровням.

Для начального периода кодификации нового литературного языка актуальным вопросом было, что такое славянизмы, которые следует изгнать. За полвека языковое сознание прошло большой путь развития, и в такой форме этот вопрос более не стоял. Анализируя язык Фонвизина, Вяземский пишет: «В чем заключаются так-называемые славянизмы Фон-Визина в переводе *Иосифа*? В словах паче, паки и других им подобных, в сохранении буквы *и* в неокончательных наклонениях глаголов: вот и все. Эти славянизмы напоминают карикатурные лица французских водевилей, которые, подделываясь под Итальянцев, пестрят свой французский разговор словами *perchgi, ogie*, и так далее» (Вяземский, V, 38). Славянизмы этого рода, элементы, которые воспринимались как безусловно книжные, как специфика высоких жанров и в то же время легко заменялись русскими коррелятами, карамзинисты отбрасывали.

Элементы другого рода, также генетически церковнославянские, но утвердившиеся в литературе разных жанров, сохранялись в качестве нейтральных и ограничениям не подвергались: вопросом о том, не являются ли они славянизмами, можно было более не задаваться. Именно так обстояло дело с причастиями (см.: Лотман и Успенский 1975, 203–204). Уже Подшивалов, во многом близкий Карамзину и карамзинистам (см.: Грот 1899, 53–54), писал о том, что не следует «избегать употребления причастий, которые более Российскому языку свойственны, нежели беспрестанное: *который, который*» (Подшивалов 1796, 52–53); генетическая характеристика причастий, важная еще для Ломоносова, становится при этом irrelevantной. У Пушкина, несколько позднее и в согласии с новой языковой установкой, этот подход формулируется четко и открыто. Пушкин замечает, что «не одни местоимения *сей* и *оний*, но и причастия вообще и множество слов необходимых обыкновенно избегаются в разговоре. Мы не говорим: карета скачущая по мосту, слуга метущий комнату; мы говорим: которая скачет, который метет и пр., – заменяя выразительную краткость причастия вялым оборотом. Из того еще не следует, что в русском языке причастие должно быть уничтожено. Чем богаче язык выражениями и оборотами, тем лучше для искусного писателя. Письменный язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, но не должен отрекаться от приобретенного им в течение веков» (Пушкин, XII, 96). «Приобретенное в течение веков» в генетической характеристике не нуждалось и употреблялось в

силу той традиции, которая составила за время от юного Тредиаковского до юного Карамзина.

Были, наконец, и элементы третьего рода – славянизмы, которые допускались в качестве стилистических вариантов или поэтических вольностей; хотя они и осознавались как славянизмы, карамзинистам было трудно вовсе отказаться от них в силу устойчивости литературной традиции; отказ был заменен стилистической дифференциацией. Так, Дашков писал: «Возвышенный слог не может у нас существовать без помощи Славенского: но сия необходимость пользоваться мертвым для нас языком для подкрепления живаго <...> требует большой осторожности» (Дашков 1810, 263). Сходные утверждения у Вяземского: «Слова Славянския хороши, когда оне нужны и необходимы, когда они заменяют недостаток Русских: они даже тогда законны; ибо на нет и суда нет. В языке стихотворном они хороши, как синонимы, как пособия, допускаемые поэтическою вольностию и служащая иногда благозвучию стиха, рифме, или стопосложению» (Вяземский, V, 36). Эта позиция связывается в конечном счете с таким пониманием ломоносовских теорий, при котором «славенские» элементы выступают как специфически возвышенные⁵⁶⁸.

Славянизмы маркированные противопоставляются славянизмам, усвоенным литературной традицией. Усвоение подобных лексических славянизмов было настолько прочным, что реально речь шла не об их изгнании из поэзии, а о допущении в поэзию коррелирующих с ними русизмов. Вяземский писал: «Нельзя не жалеть о том, что какая-то почетная именитость, данная Славянским словам пред Русскими, вытеснила многия из них из языка стихотворнаго, как будто низкия. Теперь в стихах почти не решишься сказать “лоб, рот, губы”, хотя в разговоре, и самом правильном, не скажешь о знакомой красавице: всего правильнее в ней чело и уста» (Вяземский, V, 36).

Существование признаваемой литературной традиции сближало русскую культурно-языковую ситуацию с европейскими образцами, и в силу этого языковые позиции Карамзина и его последователей были куда менее радикальными и утопическими, чем установки молодого Тредиаковского и других филологов 1730-х годов. Лишь один важный параметр не изменился и продолжал отличать русскую литературную ситуацию от французской: нормализованный разговорный язык, который противопоставлял бы речь

⁵⁶⁸ И в этом случае основные черты такого подхода к славянизмам видны уже у Подшивалова. Рассматривая поэтические вольности, Подшивалов выделяет «известные слова, кои не могли бы приняты быть в обыкновенную прозу» (Подшивалов 1798, 54), создавая тем самым рубрику, которая легализует употребление укоренившихся в литературной традиции славянизмов. Здесь же Подшивалов говорит и о синтаксических инверсиях (к которым он относился более терпимо, чем Карамзин – ср.: Грот 1899, 53–57): «Стихотворцу позволено иногда располагать слова не таким порядком, какого бы требовало свойство языка», хотя «читатель не любит преодолевать трудностей и не очень охотно прощает Поэту вольность; да и то разве тогда, когда он редкими красотами и очаровательными картинами заставит его забыть, и, так сказать, усыпит строгую его разборчивость» (Подшивалов 1798, 55–56). Инверсии в языковом сознании XVIII в. выступают как синтаксический славянизм (ср.: Успенский 1985, 28–29), необходимый, однако, для поэтической речи.

двора и хорошего общества речи других социальных групп, к началу XIX в. был таким же невоплощенным идеалом, как и за семьдесят лет перед тем. И при дворе, и в «лучших домах» был принят французский, и поэтому разговорное употребление социальной элиты оставалось таким же фиктивным критерием чистоты языка, как и во времена Тредиаковского. В отличие от Тредиаковского, однако, карамзинисты не стремятся скрыть эту проблему. Они ставят задачу совершенствования разговорной речи и как на инструмент этого совершенствования указывают на изящную литературу. Карамзин в уже цитировавшейся статье «От чего в России мало авторских талантов» отмечает, что «Французы пишут как говорят, а Русские обо многих предметах должны еще говорить так, как напишет человек с талантом» (Карамзин, III, 529; ср.: Успенский 1985, 18). Такие же замечания есть и у Макарова (см.: Успенский 1985, 18). В представлениях Карамзина и карамзинистов о французской языковой ситуации отношения между письменным и разговорным языком идеализировались (поскольку и у французов письменная и разговорная речь отнюдь не совпадали), однако в основе данных представлений лежали реальные наблюдения: устная речь образованного француза была существенно ближе к письменному языку, чем речь образованного русского. В этих условиях критерий разговорного употребления заменяется критерием вкуса (см.: Левин 1964, 122–126; Успенский 1985, 19–21). Этот критерий не был чуждым для вожеластики (как иначе можно было отличить образцового придворного от вельможи, принадлежащего не «самой здоровой части двора?»), однако если для Вожела он выступал как подчиненный (дополнительный) критерию разговорного употребления, то у карамзинистов он выдвигается на первый план.

В этой новой культурно-языковой ситуации задача очищения литературного языка от славянизмов в сравнении с подходом 1730-х годов была существенно модифицирована. Основой этой модификации была литературная традиция, то употребление генетически церковнославянских элементов, которое сложилось в ней от Ломоносова до Фонвизина и Державина. Эта традиция определяла языковое сознание и была общей для архаистов и новаторов. Различались оценки и принципы употребления славянизмов разного типа, но сами типы были определены более или менее одинаково и споров практически не вызывали. Спор шел о допустимости и нужности безусловно книжных элементов, специфичных для высоких жанров, и о стилистических ограничениях в употреблении коррелирующих славянизмов и русизмов. Существенно, что эти споры оставляли в стороне большой корпус элементов, воспринимавшихся как нейтральные вне зависимости от их генетической характеристики, – об их употреблении никто не спорил. Проблемы языковой нормы постепенно уступали место проблемам литературной стилистики, т. е. решался не выбор пути, а выбор средств, и это подготавливало почву для пушкинского синтеза.

Реформа Карамзина была реакцией на ту литературно-языковую ситуацию, которая сложилась во второй половине XVIII в. и определялась концепцией «славенороссийского» литературного языка. Начало этой реформы относится ко времени до возникновения полемики между архаистами и новаторами, и поэтому основное содержание реформы должно выясняться в

отношении к предшествующему периоду литературы, а не к позднейшей борьбе литературных направлений. В особенности это относится к синтаксису, который практически не был предметом полемики; между тем именно здесь карамзинистская литература (журналистика) была, как мы знаем, достаточно инновативна. Здесь имело место продвижение в сторону европейских моделей, которые оценивались как «естественное» словорасположение, якобы соответствующее разговорной речи. Литературная борьба между тем вносила в позицию карамзинистов новые моменты, которые не сводятся к протесту против литературного прошлого. Эти моменты полемически связаны с тем развитием, которое получила «славенороссийская» концепция в период после разрушения культурно-языкового синтеза 1760–1780-х годов, т. е. с новым прочтением этой концепции в трудах А. С. Шишкова и его единомышленников.

Следует иметь в виду, что и взгляды Карамзина, и взгляды Шишкова при всем их антагонизме являются разными модификациями одного и того же (в своей основе) классицистического пуризма. Такие понятия, как чистота, ясность, неестественность, надутость теоретически понимаются ими одинаково, они лишь наполняются разным конкретным языковым содержанием. Главный момент, разделяющий противоборствующие направления, – это, по существу, отношение к церковнославянскому языку: для карамзинистов это язык, отличный по своей природе от русского и, следовательно, дающий в соединении с русским языковую нечистоту; для Шишкова и его последователей церковнославянский и русский едины по природе, и поэтому соединение славянских и русских элементов языковой нечистоты не создает. Этот основной пункт спора определяет все прочие характеристики соответствующих рецепций пуристической доктрины.

Действительно, декларативный отказ от церковнославянского языкового наследия обуславливает у карамзинистов свободное усвоение литературным языком ряда элементов разговорного языка (прежде всего лексических и морфологических); у Шишкова, напротив, признание славянизмов делает их преимущественным элементом литературного языка и оттесняет разговорные формы в рубрику просторечия (вульгаризмов). Поскольку в принципе изгнание славянизмов может производить в словаре некоторое опустошение, карамзинисты предусматривают возможность заполнения лакун заимствованными словами: во всяком случае, они предпочитают заимствования извлечению раритетов из церковных книг. Конечно, и карамзинисты осуждают употребление заимствований, однако это нарушение французского канона кажется им более терпимым, чем его славенороссийская трансформация. Эта двойственность в отношении к заимствованиям (признание их «нечистым» элементом и вместе с тем снисходительность к их употреблению) ясно видна в высказываниях Вяземского, оправдывающего употребление заимствований недостатком необходимых слов: «О нашем языке можно сказать, что он очень богат и очень беден. Многих необходимых слов для изображения мелких оттенков мысли и чувства не достает <...> Иностранные слова брать заимообразно у соседей не хорошо; а впрочем Голландские червонцы у нас в ходу, и никто ими не брезгает. В том-то и дело, что искусному писателю дозволяется, за неимением своих, пус-

кать в ход Голандские червонцы. Карамзин так и делал. Делают это и Англичане» (Вяземский, VIII, 26; ср. еще: Успенский 1985, 24).

Напротив, Шишков и его сторонники, рассчитывая на ресурсы церковнославянского, отказываются от заимствований решительно и бескомпромиссно. Усвоение славянизмов литературному языку приводит у архаистов к практическому опустошению рубрик архаизмов и ученых слов, для карамзинистов же как раз эти рубрики особенно актуальны, поскольку они служат ярлыками, компрометирующими изгоняемые славянизмы. В отношении других рубрик позиции приверженцев Карамзина и приверженцев Шишкова по существу сходны⁵⁶⁹.

Отношение Шишкова к церковнославянскому языку внешне не отличается от отношения к нему Тредиаковского или Ломоносова; как и они, он говорит о том, «что сила и богатство российского языка заимствуется от славенского» (Сухомлинов, VII, 192). Это внешнее сходство не отменяет важных различий. Для Ломоносова и Тредиаковского приятие церковнославянского языкового наследия было обусловлено желанием легализовать языковую практику и разделаться с неисполнимой, как оказалось, задачей устранения славянских элементов из литературного языка; вместе с тем их подход был связан с поисками нормативного принципа в регламентации нового литературного языка.

Перед Шишковым подобные проблемы не стояли. Церковнославянский языковой материал прочно укоренился в литературной практике, и те ограничения, которые налагал на него «новый слог», отнюдь не означали его полного устранения. Устранению должны были подвергнуться лишь маркированные славянизмы, лексические частности, которые определяющего значения для «славенороссийской» литературной практики все же не имели. Для Шишкова же значима именно лексика и фразеология; элементы славянской грамматической системы типа инфинитивов на *-ти* или одинарного отрицания он не отстаивает и не употребляет и вопросами грамматической

⁵⁶⁹ И те и другие отрицательно относятся, например, к канцеляризмам или диалектной лексике. Сходны и их позиции в отношении к неологизмам: обе стороны рассматривают их как необходимое отступление от пуристического канона, к которому невозможно не прибегать, создавая русские эквиваленты для заимствованных слов, – спор идет не о принципиальной допустимости калек, а об отдельных примерах, приходящихся не по вкусу противной стороне. Карамзин полагает необходимым «составлять или выдумывать новые слова, подобно как составляли и выдумывали Немцы, начав писать на собственном языке своем» (Карамзин, II, 345). Он призывает «давать старым [словам] некоторый новый смысл, предлагать их в новой связи» (там же, III, 528). Эти призывы находят аналогию, например, в предложениях составителей Академического словаря «сколько возможно избегать иностранных слов и стараться заменять их... вновь, по свойству славенороссийского языка, составленными» (Сухомлинов, VIII, 127–128). Шишков в своих взглядах на неологизмы следовал авторитету Российской Академии. Споры о кальках, особенно заметные в полемике Шишкова с самим Карамзиным, а не его последователями (ср.: Гард 1986, 281), обусловлены, видимо, разными взглядами на природу русского языка: для Шишкова отдельные кальки с французского оказываются ее повреждением, тогда как для карамзинистов русский близок по своей природе другим новым европейским языкам и поэтому кальки с новоевропейских языков никакого ущерба ей не наносят.

регламентации практически не интересуется. Для Шишкова, однако, эти маркированные лексические славянизмы были драгоценны, драгоценно было даже не их употребление, а сохранение их в составе литературного языка: они связывали литературный язык со славянской древностью и знаменовали его верность национальному духу.

С точки зрения Шишкова, значимость церковнославянского состоит не в том, что он, будучи нормирован, выступает как мера правильности литературного языка, а в том, что он есть древний славянский язык. Проблема церковнославянского языкового наследия связывалась у Шишкова с проблемой народности. Карамзинская реформа представлялась ему разрывом с национальным началом, шагом на пути к гибели русской культуры. Само представление о народности как основе культуры, о народном гении, раскрывшем себя в древности, о космополитической цивилизации, которая стирает черты самобытности, оплодотворяющие культуру, и о связи языка с духом народа были достаточно типичными идеями предромантического периода: в сочинениях Шишкова и его приверженцев нельзя не заметить влияния Гердера – прямого или опосредованного (о романтизме архаистов см.: Лотман 1971, 15–21; Лотман и Успенский 1975, 174 сл.).

В этой перспективе галломания конца XVIII – начала XIX в. представлялась национальной катастрофой, и в языке это сказывалось яснее, чем в какой-либо другой области. В высшем обществе французский язык постепенно вытеснял русский: читали по-французски и говорили тоже по-французски. Образованное дворянство, которое должно было бы, по мысли Шишкова, сохранять и развивать национальное наследие, по-русски не читало, а по-церковнославянски и не умело читать. «Славенский древний, коренный, важный, великолепный язык наш презрен; – пишет Шишков, – никто в нем не упражняется, и даже самое духовенство, сильною рукою обычая влекомое, начинает уклоняться от онаго» (Шишков, XII, 249). Отношение карамзинистов к этим проблемам не было однозначным, они тоже могли возражать против распространения французского языка, однако общая ориентация карамзинистов на французскую культуру, реликты щегольского жаргона, приписывавшиеся языковой практике молодого Карамзина (см.: Успенский 1985, 25–30, 46 сл.), эпатирующая позиция Макарова (см.: Лотман и Успенский 1975, 185–192) и т. д. в глазах архаистов отождествляют сторонников «нового слога» с галломанами (ср. карикатурный портрет Галлорусса в «Происшествии в царстве теней» С. Боброва). Карамзинисты губили Россию вместе с галломанами, и после пожара Москвы Шишков, говоря о них, восклицал: «Теперь их я ткнул бы в пепел Москвы и громко им сказал: Вот чего вы хотели?» (там же, 192). Языковые новшества Карамзина и обозначали для шишковистов начало этого губительного пути; оно приходилось, таким образом, на конец екатерининского царствования.

Исходным стимулом для возникновения «славенороссийского» литературного языка было стремление к полифункциональности. К концу XVIII в. эта тема перестает быть актуальной, поскольку новый литературный язык, как бы ни понимался его состав, употребляется во всех культурно значимых сферах. Вместе с тем определенные различия в понимании объема словесности (того, что подлежит литературному и языковому нормированию)

оказываются существенными для позиции сторонников Карамзина и Шишкова. Для карамзинистов значима прежде всего изящная словесность, а в рамках изящной словесности – те жанры, которые культивировались постклассицистической литературой (сентиментальной повести, дружеского послания, журнальной критики и т. д.); именно в них должны отрабатываться нормы языка. Для Шишкова и его круга существен более широкий круг текстов (так, Шишков пишет рассуждение о красноречии Св. Писания, которое карамзинисты, во всяком случае в начальный период, в качестве литературного текста не рассматривают), и это в известной мере связано с их ориентацией на древние памятники. При всех расхождениях, однако, в центре внимания оказывается именно изящная словесность. Конфликт культур – традиционной и европеизированной – сменяется конфликтом литературных направлений. У этого литературного конфликта остаются свои историко-культурные параметры, но они представляют собой переменные величины при постоянстве литературно-языковой программы. Каждая из противостоящих программ может помещаться в существенно разные культурные парадигмы, и именно это обуславливает принадлежность к лагерю новаторов таких несхожих фигур, как С. С. Уваров, В. А. Жуковский и В. Л. Пушкин, а к лагерю архаистов – еще более непохожих друг на друга А. С. Шишкова, С. А. Ширинского-Шихматова и К. Ф. Рылеева.

Неудивительно при этом, что более важной, нежели культурная ориентация, оказывается ориентация на разные жанры, т. е. проблема внутрилитературная. Разрушение культурно-языкового синтеза второй половины XVIII в. выдвигает на первый план проблемы индивидуального сознания и малые жанры; эти жанры и культивируют прежде всего карамзинисты. Именно с ориентацией на эти жанры (а не с антиклерикальной установкой, как это было в начале XVIII в.) связывается отказ карамзинистов от церковнославянского языкового наследия. В самом деле, писатель, сочиняющий салонный мадригал или сентиментальное повествование о несчастной любви и подбирающий при этом слова из Минеи или Пролога, выглядит карикатурой. «Слог церковных книг, – пишет Макаров, – не имеет никакого сходства с тем, которого требуют от Писателей светских <...> Наши старинные книги не сообщают красок для роскошных будуаров Аспазий, для картин Вилландовых, Мейснеровых, или Доратовых. Громкая лира может иногда подражать Давидовой арфе: но веселое, нежное, романическое воображение пугается темных пещер, в которых добродетель укрывается от прелестей мира» (Макаров, I, 2, 35). Для Шишкова и его единомышленников высокие жанры сохраняют свое значение – возможно, не как жанры «государственной» лирики, а как жанры лирики «исторической» (ср. «Думы» Рылеева). Значимость церковнославянской языковой традиции и обусловлена в большой степени использованием ее элементов для создания «важности слога»; эту ее функцию Шишков неоднократно подчеркивает. Показательно, однако, что в такой функции (хотя и не в таком объеме) церковнославянские элементы приемлемы и для карамзинистов. Таким образом, вопрос о значимости жанров стоит впереди вопроса о языковой (и культурной) традиции, и это еще раз указывает на то, что конфликт имел прежде всего литературный (а не общекультурный) характер.

5. Пушкинский синтез

Именно этот момент создает ту основу, на которой осуществляется стабилизация норм литературного языка, воплотившаяся прежде всего в творчестве Пушкина, сочинения которого очень быстро получают функцию главных образцовых текстов, на которые так или иначе ориентировано все последующее развитие литературного языка. Собственно, недостаточность карамзинистского проекта для полноценного функционирования языкового стандарта обнаруживалась уже в литературной практике самих карамзинистов (или во всяком случае самого Карамзина). Это осознание было результатом расширения жанрового диапазона в их литературной деятельности, наиболее заметное в исторических сочинениях и в первую очередь в «Истории государства Российского» Карамзина.

Первоначально отношение карамзинистов к российской древности было вполне отрицательным, а интерес к древнему языку вызывал насмешки. Сторонники Карамзина шишковистов называют «варягороссами», их язык – «варягоросским»: этим насмешкам надлежало показать, что Шишков и его соратники проповедуют темное варварство. Российской древности для карамзинистов не было – романтическую потребность в старине Жуковский удовлетворял за счет немецких и шотландских преданий. В 1820-е годы, однако, воззрения меняются, или, скорее, кристаллизуется та смена культурных парадигм, которая началась в преддверии Отечественной войны 1812 г. Народность становится постоянной темой литературной мысли, и это трудно не связать с влиянием Шишкова и его единомышленников. Сколь бы скептическим ни было отношение насмешливых арзамасцев к отдельным шишковистам, арзамасские шутки сохраняли привкус минувшего столетия, а национальные идеи архаистов вводили в круг тех проблем, которые волновали новую эпоху.

Для тех изменений, которые претерпевает культурное сознание карамзинистов в 1820–1830-е годы, очень показательное рассуждение Вяземского, в котором при желании можно увидеть прямые отголоски идей Шишкова. Говоря о дворянском воспитании своего времени, он пишет: «Жалею, что новое воспитание <...> не умело теснее согласовать необходимыя условия Русскаго происхождения с независимостью Европейскаго космополитства. Карамзин, защищая Петра Великаго от обвинений, что он лишил нас Русской нравственной физиогномии (а впрочем и физической, обрив нам бороды), говорит: “Все народное ничто пред человеческим. Главное дело быть людьми, а не Славянами”. Истина возвышенная и прекрасное правило политической мудрости, которое можно пополнить и пояснить тем, что должно быть прежде или более гражданином, нежели семьянином. Но в применении к воспитанию частному, т.е. личному, а не народному, не должно терять из виду, что именно для того, чтобы быть Европейцем, должно начать быть Русским. Россия, подобно другим государствам, соучастница в общем деле Европейском и, следовательно, должна в сынах своих иметь полномочных представителей за себя. Русский, перерожденный во Француза, Француз

в Англичанина, и так далее, останутся всегда сиротами на родине и не усыновленными чужбиною» (Вяземский, V, 19–20).

Можно предположить, что в этих своих воззрениях Вяземский развивает представления Карамзина, сформировавшиеся в последний период его творчества, когда он работал над «Историей государства Российского», и отошел, видимо, от круга идей, ассоциируемых с ортодоксальным «карамзинизмом». В самом деле, в предисловии к «Истории» мы находим существенные оговорки относительно чистого «космополитства», напоминающие позднейшие высказывания Вяземского и весьма далекие от радикальных заявлений «Писем русского путешественника». Карамзин пишет: «Истинный Космополит есть существо метафизическое или столь необыкновенное явление, что нет нужды говорить об нем, ни хвалить, ни осуждать его. Мы все граждане, в Европе и в Индии, в Мексике и в Абиссинии; личность каждого тесно связана с отечеством: любим его, ибо любим себя <...> Имя Русское имеет для нас особенную прелесть: сердце мое еще сильнее бьется за Пожарского, нежели за Фемистокла или Сципиона» (Карамзин, ИГР, I, 14; о национализме Карамзина см.: Мартин 1997, 85–99; Живов 2008в)⁵⁷⁰.

Признание отечественной истории необходимой частью культурного сознания нации обуславливает и частичное изменение взглядов Карамзина на церковнославянский и русский язык. Он продолжает трактовать их как разные и различающиеся в своих истоках. Говоря о деятельности свв. Кирилла и Мефодия, он пишет: «Сии два брата и помощники их основали правила книжного языка Славянского на Греческой Грамматике, обогатили его новыми выражениями и словами, держась наречия своей родины, Фессалоники, то есть, Иллирического или Сербского, в коем и теперь видим сходство с нашим Церковным. Впрочем все тогдашние наречия должныствовали менее нынешнего разниться между собою, будучи гораздо ближе к своему общему источнику, и предки наши тем удобнее могли присвоить себе Моравскую Библию. Слог ее сделался образцем для новейших книг Христианских, и сам Нестор подражал ему; но Русское особенное наречие сохранилось в употреблении, и с того времени мы имели два языка, книжный и народный. Таким образом изъясняется разность в языке Славянской Библии и Русской Правды (изданной скоро после Владимира), Несторовой летописи и Слова о полку Игореве» (Карамзин, ИГР, I, 172–173).

Церковнославянский и русский, таким образом, продолжают рассматриваться как разные языки, однако их взаимодействие не предстает более как патологическое соединение несоединимого. Показательно, что влияние

⁵⁷⁰ Эта перемена воззрений начинается у Карамзина в то самое время, когда он от занятий литературой переходит к занятиям историей. В статье из «Вестника Европы» 1803 года Карамзин в прямом противоречии со своими высказываниями предшествующего периода заявляет, что Петр был «Руской в душе и Патриот», и противопоставляет его «Англоманам» или «Галломанам», которые «желают называться Космополитами». О космополитах он пишет: «[М]ы обыкновенные люди, не можем с ними парить умом выше *низкаго* Патриотизма; мы стоим на земле, и на земле Руской; смотрим на свет не в очки Систематиков, а своими природными глазами» (Вестник Европы. 1803. Июнь, 167, курсив Карамзина).

переводов с греческого, образовавшее «богатство» славянского языка, не оценивается более как бессмысленная «химическая операция», а понимается скорее как факт положительный, ср.: «Славяне, приняв Христианскую Веру, заимствовали с нею новые мысли, изобрели новые слова, выражения, и язык их в средних веках без сомнения так же отличался от древнего, как уже отличается от нашего» (там же, 89). Меняется, видимо, и отношение Карамзина к богатству русского языка; так, он пишет: «Победы, завоевания и величие государственное, возвысив дух народа Российского, имели счастливое действие и на самый язык его, который, будучи управлен дарованием и вкусом Писателя умного, может равняться ныне в силе, красоте и приятности с лучшими языками древности и наших времен» (там же).

Это изменение теоретических позиций сказалось и на языковой практике Карамзина, предусматривавшей в поздний период значительно более широкое употребление – как на грамматическом, так и на лексическом уровнях – «славянских» элементов, чем в начале литературной деятельности Карамзина. Это очевидно при сопоставлении, например, языка «Истории» с языком «Писем русского путешественника». Данное различие, правда, можно было бы объяснить несходством жанров, однако обращение к частным языковым особенностям, которые явно не входят в систему жанровых признаков, побуждает трактовать эти изменения как свидетельство смены лингвистических позиций. Так, например, в «Письмах русского путешественника» имеет место постоянное чередование книжных форм прилагательных им.-вин. ед. м. рода с окончаниями *-ый/-ий* и *-ой*, и это чередование позволяет Карамзину построить «настоящую стилистическую партитуру» (Лотман, Толстой, Успенский 1981, 319). В «Истории» картина резко меняется. Карамзин почти последовательно употребляет нормативные книжные *-ый/-ий* в безударном положении и преимущественно *-ой* в положении под ударением. Тем самым он отказывается от широкого употребления форм, отступающих от книжной нормы, и лишь в единичных случаях прибегает к тем стилистическим противопоставлениям, которыми ранее пользовался повсеместно (см.: Афиани, Живов, Козлов 1989, 405–406). Характерно и то обстоятельство, что в «Истории» предлоги *пред* и *через* почти последовательно употребляются в неполногласной форме, тогда как в «Письмах русского путешественника» обычными являются как раз полногласные формы *перед* и *через*. Существенно расширяется в «Истории» и употребление лексических славянизмов, причем это расширенное употребление отнюдь не всегда может быть отнесено на счет тематики⁵⁷¹.

Показательно вместе с тем, что эта эволюция сказывается не только на языке «Истории». Существенные исправления вносил Карамзин и в «Письма русского путешественника» при подготовке их к переизданию 1814 г. Как отмечают Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский, «издание 1814 г. является этапным, отражая воздействие опыта “Истории государства Российского” на

⁵⁷¹ Не менее показательны и изменения в орфографии, в частности, переход Карамзина в «Истории» к нормативным книжным написаниям типа *счастье*, *русский* при том, что ранее он писал *щастие*, *руской*, и выбор правописания был семиотическим выразителем его лингвистических позиций (Лотман, Толстой, Успенский 1981, 315–316, 319–320).

стиль “Писем русского путешественника”, т. е. дополнение нового слога тонкими нюансами пользования церковнославянскими языковыми средствами» (Лотман и Успенский 1984, 523). Исследовавший этот вопрос В. В. Сиповский указывает, что в издании 1814 г. Карамзин «впервые вводит в громадном числе форму имен прилагательных на *-ый* (вместо *-ой*), например, *желаемый, достойный, любезный* и др., и энергично уничтожает варваризмы» (Сиповский 1899, 229). Эта правка со всей очевидностью демонстрирует, что языковые инновации «Истории» являются не специфической стилистической характеристикой данного произведения, но воплощением новых лингвистических и историко-культурных взглядов Карамзина, сформировавшихся в результате многолетней работы с памятниками отечественной старины.

Таким образом, соотношение позиций Карамзина и Шишкова, соотношение их лингвистических и культурологических воззрений, равно как и языковой практики существенно сложнее той простой схемы архаистов и новаторов, которая служит обычно для их описания. Соответственно, сложнее и динамика литературных и лингвистических процессов. Карамзин не только порождает карамзинизм, но оказывается и предтечей того синтеза народности и европеизма, который осуществил Пушкин. Б. А. Успенский справедливо указывает, что Пушкин достаточно быстро отходит от карамзинизма и испытывает влияние лингвистических и литературных воззрений Шишкова (Успенский 1994, 171–173)⁵⁷². Уже в 1824 г. Пушкин посылает привет «дедушке Шишкову», признавая его «яко Разбойник-Романтик» (Пушкин, XIII, 98), однако в этом признании Пушкин не столько переходит из одного литературного лагеря в противоположный, сколько завершает то движение в сторону Шишкова, которое начал сам Карам-

⁵⁷² В. В. Виноградов пишет о начале «лингвистической» биографии Пушкина: «Положение Пушкина в этой борьбе [архаистов и новаторов. – В. Ж.] непостоянно и противоречиво. Усвоив многое из литературной практики европейцев, Пушкин затем учился у славянофилов ценить образ, простоту выражения, экспрессивное многообразие речи и приемы смещения разных стилистических сфер. В начале своей литературной деятельности поэт вовлекается в теорию и практику европейцев (“Мне, твердый Карамзин, мне ты пример” [“К Жуковскому”, 1816 г. – Пушкин, I, 197; Виноградов искажает цитату, надо “мне твердый Карамзин, Мне ты пример”, *ты* обращено к Жуковскому]). От нее он воспринял прежде всего отрицательное отношение к реформе, направленной на пересоздание русского литературного языка по типу церковнославянского. Структурные формы церковнославянской стилистики Пушкину были до 20-х годов литературно чужды <...> И церковнославянский язык предстает поэту в начале его литературного поприща не как “первобытная” и национально-характеристическая структурная основа русского литературного языка и не как система своеобразной религиозной идеологии и мифологии, а как враждебная поэтике “западной” школы сфера литературных средств и приемов, как “глухого варварства начала” [Из письма к В. Л. Пушкину 1816 г. – Пушкин, XIII, 5]» (Виноградов 1935, 76–77). Ср. еще: «До начала 20-х годов Пушкин разделял карамзинскую точку зрения на необходимость сближения книжного языка с разговорным языком образованного общества и боролся с церковно-книжной культурой речи <...> Но само отношение к церковно-славянскому языку у Пушкина начинает меняться с 20-х годов» (Виноградов 1938, 232–234).

зин⁵⁷³. Годом позже начинается работа над «Борисом Годуновым», где новые воззрения Пушкина находят и литературное и языковое воплощение. В нем сходятся и органически соединяются линии, идущие и от Шишкова, и от «Истории Государства Российского» Карамзина, с которой «Борис Годунов» связан и литературно.

В отличие от своих предшественников, Пушкин не занимался нормализацией языка. К его времени язык в основном уже нормализован, и лишь частные моменты общезначимой нормы разделяют противостоящие литературные направления. Пушкин занят не выработкой новых принципов соединения или разделения русского и церковнославянского, а объединением тех разнородных литературных традиций, сторонники которых придерживались разных взглядов на эти принципы. Само же соединение представляется ему исторической данностью, о которой бессмысленно дискутировать. В статье 1825 г. «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен Крылова», эксплицировавшей, видимо, опыт работы над языком в «Борисе Годунове», Пушкин писал:

Как материал словесности, язык славяно-русской имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный, отселе заимлет он гибкость и правильность. Простонародное наречие необходимо должно было отделяться от книжного, но впоследствии они сблизились, и *такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей* (Пушкин, XI, 31).

Здесь же Пушкин отвергает повторяемую Лемонте точку зрения о влиянии татарского нашествия на развитие русского языка. Пушкин пишет: «Г-н Лемонте напрасно думает, что владычество татар оставило ржавчину на русском языке. Чуждый язык распространяется не саблею и пожарами, но собственным обилием и превосходством. Какие же новые понятия, требовавшие новых слов, могло принести нам кочующее племя варваров, не имевших ни словесности, ни торговли, ни законодательства? Их нашествие не оставило никаких следов в языке образованных китайцев, и предки наши, в течение двух веков стоная под татарским игом, на языке родном молились Богу, проклинали грозных властителей и передавали друг другу свои сетования... Как бы то ни было, едва ли полсотни татарских слов пере-

⁵⁷³ Можно еще напомнить письмо Пушкина к Н. И. Гречу от 21 сентября 1821 г.: «Вчера видел я в С.<ыне> О.<течества> мое послание к Ч-у; уж эта мне цензура! Жаль мне, что слово *вольнлюбивый* ей не нравится: оно так хорошо выражает нынешнее *libéral*, оно прямо русское, и верно почтенный А. С. Шишков даст ему право гражданства в своем словаре, вместе с шаротыком и с топталищем» (Пушкин, XIII, 32). Конечно, Шишков появляется здесь в ироническом контексте, но ирония не исключает содержательной переклички. И в более поздние годы, когда Пушкин благожелательно относится к шишковскому романтизму, он не перестает над ним иронизировать.

шло в русский язык» (Пушкин, XI, 31). Тезис о татарском влиянии высказывался перед тем Дашковым и служил аргументом в споре о единстве русского и церковнославянского. Пресуппозицией дашковских заявлений является утверждение о том, что русский язык, подвергшись татарскому влиянию, отделился от славянского, так же как в свое время французский отделился от латыни. Пушкин, надо думать, отвергает всю эту аргументацию, не говоря, правда, о единстве природы русского и церковнославянского (подобные теоретические декларации были, видимо, для него пустой схоластикой), но указывая на органическое соединение русских и церковнославянских элементов в русском языке как материале современной ему словесности.

В употреблении языковых элементов Пушкин не обращает внимание на их происхождение как таковое. Его интересует не происхождение, а отношение к литературной традиции, тот герменевтический символический спектр, который слово или конструкция приобрело в ходе литературного развития. Он использует их для создания литературных и историкокультурных ассоциаций, сообщающих диалогичность («протеизм») его текстам. В этой функции могут выступать и славянизмы, и элементы просторечия. Например, в словах Самозванца в «Борисе Годунове» в сцене с латинским стихотворным приветствием насыщенность славянизмами отсылает к учебной школьной традиции. Пушкин пользуется здесь и славянизмами лексическими (*полунощный, вотще*), и славянизмами синтаксическими (придаточное относительное, присоединенное местоимением *иже*, подчеркнуто ненормативным для языкового стандарта начала XIX в.), ср.:

Что вижу я? Латинские стихи!
Стократ священ союз меча и лиры,
Единый лавр их дружно обвивает.
Родился я под небом *полунощным*,
Но мне знаком латинской Музы голос,
И я люблю парнасские цветы.
Я верую в пророчества *пиитов*.
Нет, не *вотще* в их пламенной груди
Кипит восторг: благословится подвиг,
Егож они прославили заране!

(Пушкин, VII, 54)

В других случаях (например, в «Полтаве», «Медном Всаднике», «Мордвинову») славянизмы могут отсылать к одической традиции XVIII в. Естественно, они же используются для ассоциаций с Библией или церковной традицией. В этом качестве они употребляются как сигнальное «чужое слово», так что отнюдь не требуется сплошная славянизация и церковнославянские элементы оказываются вкрапленными в нейтральный в отношении языка контекст. При такой технике неизбежно появляется тот самый макаронизм, которого так стремились избежать предшественники великого поэта. В «Борисе Годунове» в обращении патриарха к царю читаем:

Благословен всевышний, поселивший
Дух милости и кроткого терпенья
В душе твоей, великий государь:

Ты грешнику погибели не хочешь.
 Ты тихо ждешь – да *пройдет* заблужденье:
 Оно *пройдет* и солнце правды вечной
 Всех озарит.

(Пушкин, VII, 69).

В приведенной цитате особенно характерно сочетание по-разному акцентуированных форм 3 лица ед. числа глагола *пройти*; архаическое (церковное) ударение на приставке, появляющееся в книжной конструкции «да + презенс», символизирует церковную традицию, присущую речи патриарха; это вкрапление сигнального чужого слова достаточно для стилистического многоголосия Пушкина, и в следующей фразе он возвращается к стандартному ударению. Пушкин не нормализатор, поэтому он не стремится выдержать какую-то единую норму. Нормативному единообразию он предпочитает поэтическую выразительность. Тем самым он освобождается от проблем, мучивших устроителей литературного языка нового типа, и именно это создает его классичность.

Таким образом, определение того, что является русским, а что славянским, что книжным, а что разговорным, практически перестает интересовать Пушкина. Каково бы ни было происхождение отдельных элементов, все они представляют собой «материал словесности». Критерии выбора не имеют, следовательно, характера общих принципов, реализации единой лингвистической установки, а тем самым и единой установки историко-культурной. Выбор становится делом авторского вкуса и находчивости, и именно на этом завершаются поиски пути русского литературного языка. Поиски пути сменяются поисками наилучших языковых средств, осуществляющих конкретную цель автора в рамках отдельного текста. Этим и достигается стабилизация литературного языка и разрешение общих теоретических проблем, превращающихся теперь в частные проблемы литературной стилистики⁵⁷⁴.

⁵⁷⁴ Никаких принципиальных изменений не вносит Пушкин и в синтаксис, он продолжает карамзинскую линию неосложненного синтаксического построения, лишь приспособивая ее к своим стилистическим задачам. В. В. Виноградов писал: «В области синтаксических конструкций, признав своим образцом французский, а потом и английский язык и, таким образом, примкнув к традиции западников, Пушкин, однако, не только не навязывает русскому языку чуждых ему синтаксических норм, но, напротив, все теснее и теснее сближает синтаксис литературного языка с конструкциями живой разговорной речи. Пушкин вступает в борьбу с тем усилением категорий качества и эмоциональной оценки (т. е. форм прилагательных, причастий, наречий, относительных предложений и описательных выражений), усилением, которое характеризовало европеизированный язык писателей, следовавших за Карамзиным. Реформа синтаксиса, основанная на признании преимуществ глагола и имени существительного и связанная с изменением форм времени, а, следовательно, и приемов сочетания предложений (повествовательных единиц), привела к полному обновлению повествовательного стиля в стихе и прозе. И тут наметились в построении предложения точки соприкосновения Пушкина с противниками европеизма – славянофилами. Ведь вождь их – Шишков – со своей точки зрения тоже боролся за глагол против господства качественных слов в стиле “европейцев” <...> Однако приемы сцепления предложений и ритмические формы связи синтаксических

Итак, вклад Карамзина состоял прежде всего в том, что литература окончательно стала основной институцией, определявшей – наряду со школьным образованием – развитие языкового стандарта. Именно в силу этого основополагающим для стабилизации русского литературного языка можно считать (как это обычно и делается) творчество Пушкина. Пушкин, равнодушный к пуристическим предписаниям карамзинистов, безусловно расширил диапазон допустимых стилистических средств литературного языка и тем самым сделал его значительно более приспособленным к выполнению новых коммуникативных и эстетических задач, не предусматривавшихся карамзинским проектом. Однако не это, как мне представляется, было главным. Пушкин делается классиком русской литературы едва ли не при жизни, его тексты учат наизусть бесчисленные поколения школьников, а примеры из его произведений становятся необходимым элементом учебников русского языка. В случае Пушкина две институции, определяющие облик языкового стандарта, – школьное образование и художественная литература – сливаются воедино, и это обуславливает особую роль Пушкина в формировании русского литературного языка

Е. В. Падучева отметила, что в тех точках грамматической системы, «в которых фиксируется различие между языком допушкинской эпохи и современным русским литературным языком», «мы сейчас говорим по Пушкину» (Падучева 2001, 97). Это наблюдается даже в тех случаях, «когда у более поздних авторов (таких, как Лермонтов, Гоголь, Герцен, Достоевский, Толстой) дифференцирующий параметр принимает допушкинское значение» (там же). В конце работы автор задается вопросом, «[б]ыл ли это феномен пушкинского языкового чутья, т. е. Пушкин угадал тенденцию развития, или, наоборот, литературная норма ориентировалась на Пушкина» (там же, 107), и склоняется в первом ответу. Я предпочитаю второй – с той лишь оговоркой, что речь не идет об искусственном закреплении нормы на основании пушкинских текстов, а о формировании опыта литературного языка с помощью постоянно читаемых, расчленяемых на примеры и заучиваемых наизусть произведений главного русского писателя⁵⁷⁵.

единиц в пределах предложения у Пушкина носили явный отпечаток “европеизма” и приближали язык Пушкина к французской традиции конца XVIII – первой четверти XIX в.» (Виноградов 1938, 247). Важно подчеркнуть, что никакой «реформы синтаксиса» Пушкин не производит и ни в какую борьбу не вступает, в особенности в выдуманную Виноградовым борьбу «за глагол», в которой Пушкин якобы объединяется с Шишковым. Синтаксис «живой разговорной речи» (который, как мы знаем, принципиально отличался от синтаксиса письменного языка) столь же мало отражается в произведениях Пушкина, как и в текстах Карамзина или Шишкова. Никакой новой синтаксической установки у Пушкина нет, он не реформирует, а создает образцы ясной и легкой прозы. Он, действительно, пользуется эпитетами в куда более ограниченных размерах, чем Карамзин и его последователи, но это ни к синтаксису, ни вообще к языку никакого отношения не имеет. Это вопрос поэтики. Нет сомнений в том, что Пушкин чуждался поэтики сентиментализма с ее эксплицированной эмоциональностью, выражавшейся, в частности, в нагромождениях эпитетов.

⁵⁷⁵ Падучева приводит ряд весьма показательных примеров. Так, скажем, в литературе первых десятилетий XIX в., как и в текстах предшествующих эпох (см. § V-5), достаточно

Пушкинский синтез, давший стабилизацию русского языкового стандарта, может рассматриваться как заключительный аккорд в истории русской письменности. Конечно, история на этом не кончается, поскольку она не кончается никогда, пока писатель исторического повествования не выпускает из рук пера и не отворачивается от течения событий. Это относится к истории вообще, и это же относится к истории языка. Но история не течет всегда одинаковым образом, фактура исторических перемен может быть разной. Меняется и стабильный языковой стандарт, но эти перемены имеют не характер смены речевых (языковых) стратегий, а характер накопительный, постепенный – во всяком случае в том, что касается синтаксиса, морфологии, фонетики. Изменившаяся природа инноваций требует других приемов исследования, не тех, которые прилагались к истории языка в до-пушкинский период. Исследований этого рода практически не существует (хотя, возможно, создание Национального корпуса русского языка откроет для этого новые возможности), так что обобщать здесь пока что нечего. В силу этого на пушкинском оеuvре мы должны остановиться, посвятив всему оставшемуся времени краткий эпилог, никак не претендующий на роль обобщающей картины.

часто субъект матричной предикации ставится внутри препозитивного деепричастного оборота, ср. у Крылова: «Тут старосту лизнув Лев милостиво в грудь, <...> Отправился в дальнейший путь» (Падучева 2001, 101); или у Жуковского: «Глядя епископ на пепел пожарный, Думает: "Будут мне все благодарны"» (там же). В современном литературном языке такая постановка субъекта невозможна; нет ее и у Пушкина. В современном литературном языке, как отмечает Падучева, «бессвязочные причастия на *н/т* <...> имеют только статальное значение» (там же). В первой половине XIX в., у современников Пушкина, включая и младших его современников, это было не так, у данной конструкции могло быть и значение простого действия в прошлом. При образовании от глаголов сов. вида в этих случаях появлялся результатив, ср., например, у Лажечникова: «Маленькому проводнику *поручено* отдать эту бумагу генералу Шлиппенбаху; шпоры *вонзены* в бока лошадей – и скоро перелески в стороне Пекгофа скрыли Паткуля и его конюшего» (Булаховский 1954, 317); у В. А. Ушакова: «Как почтительный сын молодой Корсунский письмом просил благословенья у матери. Ответ *получен* скоро и очень длинный» (там же). У Сухово-Кобылина появляются и образования от глаголов несов. вида, ср.: «Глупый турвальса завязывает самое пошлейшее волокитство. Дело *ведено* лихо: вчера дано слово, и через десять дней я женат» (там же, 318). В современном русском языке в подобных случаях связка обязательна. У Пушкина такие конструкции отсутствуют, бессвязочные причастия употребляются только в статальном значении, ср.: «О нет! Недаром дизнь и лира Мне были вверены судьбой» (Падучева 2001, 102). Таким образом, то, чего избегает Пушкин, уходит из литературного стандарта, а то, чем он пользуется, остается. Можно предположить (хотя трудно доказать), что остается именно потому, что последующие поколения читают Пушкина и этот читательский опыт обращают в навыки письменного языка.

ГЛАВА XIV. ЭПИЛОГ: ОТ ПУШКИНА ДО НАШИХ ДНЕЙ

1. XIX век: что происходит после Пушкина?

Итак, в Пушкинскую эпоху происходит стабилизация языкового стандарта, приобретающего черты полноценного литературного языка: общеобязательность, полифункциональность, кодифицированность и стилистическую дифференциацию. Здание было достроено, но, по мнению ряда исследователей, его сразу же стали перестраивать. В. В. Виноградов пишет о начавшейся в 1830–1840-е годы «демократической реформе русского литературного языка» (Виноградов 1938, 306) и полагает, что «социально-диалектальной базой литературной речи постепенно становятся разночинно-интеллигентские и вообще демократические стили общественно-бытового языка» (там же, 302). Обращаясь к тому, с чем конкретно Виноградов связывает постулируемую им реформу, понимаешь, что никакой реформы в действительности не было.

В самом деле, реформа, согласно Виноградову, состоит в (1) «тяготении к большему ограничению высокой “славянской” традиции, к разрушению приемов старой церковно-книжной и “славенороссийской” риторики, у некоторых социальных групп – даже к полному разрыву с феодальной церковно-книжной культурой» (там же, 306). Сразу же возникает вопрос, может ли «тяготение» быть «реформой», или это лишь развитие того, что уже было в предшествующую эпоху и без особой определенности и целенаправленности продолжается в 1830–1840-е годы.

Не менее сомнителен виноградовский второй пункт: (2) «стилистический упор на живую устную речь, на народные говоры, на письменно-бытовые и разговорные диалекты, жаргоны и стили города» (там же). Как мы знаем, русская разговорная речь – это особая языковая система, от которой письменный язык дистанцируется (в середине XIX в. никак не в меньшей степени, чем в предшествовавший период), вырабатывая – в литературных текстах – специфическую имитацию оральности, в синтаксическом строении весьма далекую от реального феномена. Народные говоры и городские жаргоны никак на языковой стандарт не влияли; появляющиеся в литературе языковые портреты людей «из народа» (крестьян или ремесленников, можно вспомнить Платона Каратаева из «Войны и мира») по большей части

условны и в любом случае выступают как чужое слово, отнюдь не являющееся примером языкового стандарта⁵⁷⁶.

Третий пункт Виноградова до некоторой степени повторяет второй и имеет столь же отдаленное отношение к действительности. Виноградов постулирует «более тесное взаимодействие между литературным языком и профессиональными диалектами городской речи» (там же); на взгляд Виноградова, в результате осознаются различные вариации «бытовой речи, свойственной не только чиновничеству, но и разным категориям ремесленного люда, мещанства и крестьянства». О том, что это осознание привносит в языковой стандарт (если вообще привносит что-либо), Виноградов не говорит, но в своего рода квазигегельянском духе указывает на диалектическое противоречие: «[Э]тот процесс диалектологической дифференциации русского литературного языка сопровождается как антитезисом, усиленным процессом выработки общей национально-языковой системы» (там же). Виноградов приводит несколько примеров влияния «профессиональных диалектов», например, в параграфе «Возрастающее значение чиновничьих диалектов» (там же, 332–333), но примеры эти не кажутся убедительными: они состоят из имитаций (с помощью сигнальных чужих слов) чиновничьего дискурса в художественной прозе, персонажами которой являются чиновники (например, в «Двойнике» или «Господине Прохарчине» Достоевского). Сомнитель-

⁵⁷⁶ Весьма показателен в этом отношении физиологический очерк, в котором можно было бы ожидать имитации городского просторечия. Персонажи физиологических очерков в своих ремарках лишь очень незначительно отклоняются от «правильного» языка; отклонения сигнализируют чужое слово, но никак не позволяют говорить об упоре на «жаргоны и стили города». Ср., например, в «Физиологии Петербурга» речь дворника в очерке В. И. Даля «Петербургский дворник»: «У нас, сударь, был тоже один такой, что все поздно домой приходил. Да хороший барин, спасибо, вот как и ваша милость, все бывало на чай дает» (Кулешов 1991, 49); единственный выраженный коллоквиализм здесь – это *один такой*, ничего жаргонного в нем нет. То же можно сказать и о речи шарманщика в очерке Д. В. Григоровича «Петербургские шарманщики», ср.: «Эх вы, – думал шарманщик, нагибаясь, чтобы поднять деньги, – хлопотать-то ваше дело, на то вы мастера, а вот как самому положить, так нет... эх! житее, житее!» (там же, 69); здесь оральность выдается несколько сильнее (эллипсис дополнения, а *вот*, инфинитивная конструкция с дативом), хотя и здесь жаргон никак не отразился. Можно сопоставить речь гробовщика из очерка А. Башуцкого «Гробовой мастер» с диалогом из «Гробовщика» Пушкина. Ср. у Башуцкого: «Это дело святое, сударь; ктому ж и спешное; – такую минуту все озабочены в доме; своим не дотого, так следует нам, по христианству и по должности, заняться. Длина тела средней руки, за то ширина, сударь, очень значительная, семь четвертей... Бархат ныне весьма дорог, а потребуется его довольно: для такой особы нужно поставить настоящий, плис будет не прилично. Впрочем у нас все материялы – отличнейшие; работая не из выгод, а собственно для репутации, мы берем самые настоящие цены...» (Башуцкий 1841, 70); единственный коллоквиализм *плис будет не прилично*. Ср. у Пушкина: «“Каково торгует ваша милость?” спросил Адриян. – “Э хе хе”, отвечал Шульц, “и так и сяк. Пожаловаться не могу. Хоть конечно мой товар не то, что ваш: живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не живет”. – “Сущая правда”, заметил Адриян; “однако ж, если живому не на что купить сапог, то не прогневайся, ходит он и босой; а нищий мертвец и даром берет себе гроб”» (Пушкин, VIII, 1, 90). Разрастающийся «упор на живую устную речь» кажется в перспективе данного сопоставления тенденциозным вымыслом.

но, что выражения чиновничьего языка (например, *неоднократно замечено*) становятся элементами языкового стандарта в результате употребления их в качестве сигнальных слов в художественной прозе⁵⁷⁷.

Можно сказать, таким образом, что никакой реформы русского литературного языка – «демократической» или недемократической – в середине XIX в. не происходило. Пожалуй, для характеристики реально происходивших процессов показательны те жалобы на язык новой литературы, которые содержатся во «Взгляде на мою жизнь» И. И. Дмитриева и которые В. В. Виноградов цитирует как свидетельство наступления «разночинно-интеллигентских стилей», вызвавшего «демократическую» реформу языка (Виноградов 1938, 302–303). И. И. Дмитриев в поздние свои годы был недоволен жизнью, окружающим его обществом и литературой, пользовавшейся в этом обществе популярностью. Он сохранял верность старым литературным принципам, общим для него и молодого Карамзина, его ближайшего друга. Поскольку литературные сражения рубежа веков отошли в прошлое, он снисходительно относился к тем, с кем раньше враждовал, а желчное недовольство направлял на новое поколение литераторов. В примечаниях к «Взгляду на мою жизнь» 1826 г. он писал:

Лет за сорок пред сим думали возвышенный слог украшать славянчиною, а ныне молодые писатели в стихах и прозе, за исключением достойных почитателей Карамзина, признают уже устарелым и его слог правильный, ясный, обдуманный и благозвучный. Они всех предшественников своих в отечественной литературе называют учениками французской школы, вялыми подражателями. *Требования века, дух времени, народность* – вот пышные и громкие слова, непрестанно ими произносимые! По их мнению, классицизм осмнадцатого столетия – смешное школьничество; Рассиновы греки – распудренные маркизы; их выражения чувств – бесцветные, безжизненные фразы; Лагарпов Лицей – пустословие, лагарповщина. Ныне, говорят они, уже все не по старому – Буало и Вольтер уже не в прежнем ходу во Франции; остроумного Попа уже не признают первоклассным поэтом в Англии; да и самый наш Карамзин уже для нас не выскочка. Ныне удивляются только самородному, самостоятельному, гениальному. Но я, признаюсь, ничего подобного не замечаю в новейших наших авторах. Гениальность и народность не в том состоит, чтоб *созданиями* своими, как они называют собственные нелепости, силиться потрясать наши нервы, возбуждать страх, ужас и отвращение, хотя они и того не производят, и щеголять языком простонародным или хватским, употребительным на биваках (Дмитриев, II, 154–155).

⁵⁷⁷ Четвертый и последний пункт в перечне Виноградова состоит из туманных слов, которые невозможно ни доказать, ни опровергнуть и которые в силу этого лишены всякого реального содержания. Виноградов говорит о «стремлении к фиксации устойчивых норм общенационального выражения на “народном” фундаменте, искании таких форм национального русского литературного языка, которые могли бы по своему составу и содержанию (“общенародному”) стать отражением “духа” русской нации» (Виноградов 1938, 306–307). Такого рода высказывания можно только игнорировать.

И далее Дмитриев приводит примеры из произведений, напечатанных в «Московском Телеграфе», издававшемся в 1825–1834 гг. Н. А. Полевым. Хотя его негодование может быть поставлено в контекст протеста «литературной аристократии» против ее литературных врагов, оно куда более ригористично в лингвистическом отношении, чем отношение Пушкина или Дельвига. Дмитриев приводит список слов и выражений, которые, по его мнению, свидетельствуют о порочном вкусе «молодых писателей»:

Выпишем здесь для примера несколько нововведенных слов, с переводом оных на язык Ломоносова, Шишкова и Карамзина, и еще две-три фразы в последнем, новейшем вкусе.

| По новому: | По старому: |
|--|---|
| Нисколько. | Нимало. |
| Маленькие народцы (Телеграф). | Малочисленные народы, или для краткости, хотя и не говорится, народики. |
| Проблескивает (там же). | Просвечивает. |
| Суметь (там же). | Уметь, сладить. |
| Колея привычки (там же). | Это слово чаще других употребляемо было ямщиками; значит же: прорез от колес по густой грязи. |
| Палач-война. | Губительная, опустошительная война. |
| Покаместь. | Доколе, пока. |
| Словно. | Как бы, подобно. |
| Поэтичнее (Телеграф). | Стихотворнее, живописнее. |
| Требовательный слог (там же). | Хвастливый, затейливый. |
| Вдохновлять гения (там же). | Вдыхать, одушевлять. |
| Вдохновен страстями. | Воспламенен. |
| Узенькая ножка. | Тоненькая. |
| Иполинская шагучесть (там же). | Шаг или ход. |
| Безграничный (там же). | Неограниченный, беспредельный. |
| Слав (там же). | Слава и роскошь. Эти два существительные доселе во множественном числе не употреблялись. |
| Огромные надежды, огромный гений (там же). | Это прилагательное прикладывалось только к чему-либо материальному: огромный дом, огромное здание. |
| Ответить. | Отвечать. Так говаривали прежде всего только крестьяне и крестьянки в Кашире и других верховых городах. |
| Этих. | Сих, оных. |
| Пехотинец (Телеграф). | Пеший, сухопутный солдат, ратник. |
| Конник (там же). | Конный всадник. Нынешние авторы, любя подслушивать, оба свои названия переняли у рекрутов. |

<...> Довольно. Мне пришлось сказать к слову. Пространнее же пусть посудит о том Импер. Российская Академия (там же, 155–156).

Эта филиппика совсем не похожа на альтернативную программу языкового строительства, на конкурентный проект языкового стандарта. Возражения Дмитриева никак не напоминают того разрыва с прошлым, который мы видели, например, у молодого Тредиаковского, или того отвержения прежних позиций, которое можно наблюдать у Тредиаковского зрелого, или того негодующего отталкивания от традиции, которое сопровождает формирование карамзинского нового слога. Дмитриев придирается к разнородным частностям, подбирает поводы, которые дают ему возможность поворочать, причем поводы эти разнородны. Трудно думать, например, что *суметь, этот, ответить, безграничный* носят отпечаток лакейской или девичьей, о которых Дмитриев с возмущением пишет Жуковскому в 1835 г. (там же, 315). Где-то Дмитриев ополчается на индивидуальные неудачные выражения (например, *исполинская шагуристость* или *палач-война*), где-то возражает против окказиональных примеров просторечия (*покаместь*), а где-то – как это всегда бывает с ревнителями уходящей традиции – ошибается, приписывая новизну или вульгарность тем словам, которые отнюдь новинкой не были. Так, скажем, *огромный* в переносном значении употребляется, по данным Национального корпуса русского языка, в «Записках современника» С. П. Жихарева (1806–1809 гг.) («она сделала бы огромный эффект на сцене французского театра», «Трагедия Крюковского должна иметь огромный успех на сцене»), *нисколько* много раз встречается у И. М. Долгорукого. Набор упреков разнороден, поскольку эти выборочные элементы не имеют никакого отношения к конфигурации языкового стандарта. В силу этого сама подобная реакция свидетельствует о том, что сформировавшемся языковому стандарту присуща определенная стабильность. Нападки касаются не конструкции в целом, а незначимых мелочей⁵⁷⁸.

⁵⁷⁸ Не менее характерно, что племянник И. И. Дмитриева, М. А. Дмитриев, такой же ретроградный литератор, как и его дядя, но литераторствовавший на двадцать лет позже, повторяет те же упреки; они сходны по фактуре, а отчасти и по материалу. Дмитриев-племянник не любил новых литературных журналов, а Белинского, писавшего для «Отечественных записок», осуждал за пристрастие к Пушкину и Лермонтову и неуважение к Ломоносову, Державину, Жуковскому и Карамзину (Дмитриев 1998, 458–459). В. В. Виноградов, говоря о «демократической реформе» в языке, ссылается и на его жалобы. Действительно, в «Мелочах из запаса моей памяти» Дмитриев противопоставляет благородство карамзинистской литературы лакейству современных писателей: «Таково было действие, произведенное примером Карамзинской прозы, что и бесталантные писатели научились от него не только правильности и чистоте языка, но и благородству слога. Последнее надобно заметить особенно в нынешнее время. Ни один из тогдашних писателей не писал языком лакейским; ни один журналист не вставил бы в свою фразу: *«изволите видеть»*. Чувство вкуса предупредило бы его, что такими *любезностями* и такими *поговорками* не говорят в хорошем обществе. – Ни один из них не писал, как пишут нынче: *взойти в дверь* и *войти на лестницу*. Ни один не сказал бы: *не хватало на это*; а сказал бы: *недостало на это!* А нынче так пишут даже и дамы» (Дмитриев 1985, 203–204). Лакейский язык для Дмитриева то же, что «арлекинский язык». Рассказывая о С. Н. Глинке, Дмитриев замечает: «Одним словом: имя Глинки, его журнал (особенно в начале) и его

Следует ли из сказанного, что в течение нескольких десятилетий в послепушкинский период в положении литературного языка ничего не меняется? Это, конечно, было бы поспешным суждением. Как мне представляется, не изменяется основная конструкция языкового стандарта, основные синтаксические, морфологические и фонетические нормы. В пределах этой неизменной основной конструкции определенные сдвиги происходят постоянно, хотя мы не располагаем пока что сколько-нибудь удовлетворительным их описанием. Прежде всего меняются социолингвистические параметры литературного языка. Грамотность населения неуклонно возрастает, особенно в период после Великих реформ (см. Рубакин 1893; Миронов, I, 104), расширяется преподавание родного языка в школе, в том числе в начальной школе, что закономерно ведет к утверждению языкового стандарта и его общеобязательности. Эволюция учебников русского языка для школы в плане того, какую именно норму они навязывают ученикам, какие тексты дают в качестве образцовых, какие традиции принимают и от каких отказываются, – вопрос, явно недостаточно исследованный, хотя и чрезвычайно важный для институциональной истории языкового стандарта. Существенно, например, что наследие XVIII в. (Ломоносов и славенороссийский язык) достаточно быстро исчезает из этой сферы, а шишковские эксперименты в нее практически не проникают. Именно на этом поле Пушкин, а позднее Тургенев оказываются доминирующими фигурами (подробности этих процессов нуждаются в специальном исследовании).

Растущая грамотность сказывается на составе читающей публики, ее потребностях и том предложении, которое вызывал этот растущий спрос. Газета входит в ежедневный обиход образованного общества, смешанного по своему социальному составу (разночинцы, которых столь часто упоминает Виноградов, составляли отнюдь не основную его часть, ср.: Конфино 1990). Образуется книжный рынок, и заметное место на нем занимают толстые журналы – «Библиотека для чтения» (шокировавшая старшего Дмитриева), «Отечественные записки» (шокировавшие Дмитриева младшего), «Современник», «Русский Вестник» и т. д. Одним из результатов этого процесса было существенное снижение роли изящной словесности как ориентира литературного языка. На место поэмы, а позднее повести приходит газетный фельетон и журнальная статья⁵⁷⁹. В общих словах об этих процес-

сочинения имели, говоря нынешним арлекинским языком, *большую популярность*, даже, чтобы выразиться совсем по-нынешнему, скажу: *огромную популярность*, и прибавлю в доказательство: «*Это факт*». После этого слова, кажется, как не поверить!» (там же, 210). Жалобы Дмитриева-племянника относятся к 1840–1850-м годам, но, кажется, могли бы быть написаны и его дядей в существенно более раннее время. Стабильность языкового стандарта, засвидетельствованная этими обличениями, растягивается тем самым на несколько десятилетий.

⁵⁷⁹ Вместе с тем главный жанр послепушкинской беллетристики, роман, в языковом отношении оказывается в силу своей многоплановости разнородным (или полифоничным). Он совмещает в себе разные речевые жанры, и это разноречие в романе (см.: Бахтин 2012, 53–85) делает его скорее энциклопедией речевых форм, чем образцом правильной речи. В частности, роман может инкорпорировать в себя язык прессы (о влиянии

сах пишет В. В. Виноградов, и здесь, впрочем, излишне подчеркивая разрыв создающейся в 1850–1860-х годах литературно-языковой ситуации с прошлым: «Резкий сдвиг в системе русского литературного языка был связан с отрывом от традиций художественной литературы предшествующего периода и с развитием и углублением национальных стилей научной и газетно-публицистической речи. Если со второй половины XVIII в. до 30-х годов XIX в. основное организующее значение в структуре литературной речи принадлежало стилям “изящной словесности” (сперва стиховым, а потом прозаическим), то с половины XIX в. понятие “литературности языка” отделяется от понятия “художественности выражения”. Развитие жанров беллетристики, публицистики, научно-популярной статьи и трактата выдвинуло на первый план проблему газетно-публицистического и научно-популярного языка» (Виноградов 1938, 385–386).

Эти в целом правильные соображения не находят, однако, у Виноградова реального лингвистического приложения, так что остается неясным, в чем выразилась победа публицистики над «литературой». Виноградов пишет только о лексике, указывая, что публицистические «стили» «становятся основным источником обогащения разговорно-интеллигентского словаря» (под «разговорным», надо думать, Виноградов понимает письменную имитацию интеллектуальной беседы, поскольку никаких других свидетельств о разговорной речи интеллигенции до нас не дошло. Столь же неспецифицированным образом говорится о влиянии публицистики у Ю. А. Бельчикова (Бельчиков 1974, 22–25); в принципе верные соображения, не идущие, однако, дальше отдельных наблюдений над лексикой, прежде всего заимствованной, находим и в новых работах, посвященных этой проблематике, ср.: Дягилева 2012, 3–7). Виноградов пишет, например, о расширяющемся с 1840-х годов употреблении слова *прогресс*, об изменении значения слова *среда* (‘социальная обстановка’, франц. *milieu*) и т. д. (там же, 389–390), о появлении новых слов, неизбежном при появлении новых понятий и новых реалий и очень часто идущем из журнальных источников, но не пишет о том, как эти единичные лексические изменения преобразуют языковой стандарт. Существенное обогащение словаря прежде всего абстрактной и терминологической лексикой изменило, конечно, облик литературного языка, способствовало его полифункциональности, создало возможность обсуждать на этом языке те предметы, которые раньше не обсуждались, однако оно не представляет собой никакого «резкого сдвига»: процесс развивается постепенно, и начало его может быть отнесено даже не к пушкинскому, а к допушкинскому периоду; никаких конститутивных свойств языкового стандарта он не меняет⁵⁸⁰.

прессы на «Преступление и наказание» Достоевского см.: Ключкин 2002) и тем самым примыкать к ней как к языковому ориентиру, а не направлять ее.

⁵⁸⁰ Это относится даже к таким лексическим процессам, как развитие переносных значений у терминов точных и естественных наук (например, *пульс жизни*), начало которого Ю. С. Сорокин относит к послепушкинской эпохе, а апогей – к 1860–1870-м годам. Он видит в этом «прямое отражение и того воздействия, которое имело на развитие общественной мысли бурное развитие и распространение научных идей и понятий, и того влия-

Важно было бы проследить, как публицистика влияет на синтаксические стратегии авторов, например, как развиваются «объективирующие» безличные или пассивные конструкции типа *в очерке сказано* или *в очерке автором сказано*. Сейчас такие конструкции более характерны для публицистики и научной литературы, чем для беллетристики. Когда именно возникла данная диспропорция, неясно и требует отдельного исследования. Конечно, такие конструкции употреблялись в художественной литературе и в XVIII, и в XIX в. (см. подборку примеров: Шведова и Ковтунова 1964, 292–301), однако периодическая печать XIX в. в этом плане остается необследованной и какая-либо статистика отсутствует. Равным образом, преимущественно на материале художественной литературы и без статистических данных описан синтаксис деепричастий; описание, впрочем, посвящено в основном деепричастным оборотам, выходящим из употребления к середине XIX в. (там же, 375–407). Из общих соображений очевидно, что публицистический период строился иначе, чем период беллетристический, и что в этой области могло иметь место взаимодействие разных языковых традиций, однако вся эта проблематика анализу не подвергалась и поэтому для обобщений недоступна.

Вообще, если взглянуть на тот список грамматических изменений, которые В. В. Виноградов обнаруживает в 30–50-х годах XIX в., возникает впечатление, что не изменилось почти ничего, так что нет возможности не только говорить о «резком сдвиге», но даже и о существенном изменении узуса. Речь идет о постепенных изменениях, которые начались до указанного периода и вряд ли полностью завершились в означенное время⁵⁸¹.

ния, которое через посредство публицистики получил на различные стили литературной речи стиль научного изложения» (Сорокин 1965, 449). Здесь надо все же заметить, что «научное изложение» чуждается переносных значений, так что импульсы идут из другой сферы. Как бы то ни было, эти в целом верные соображения не означают, что интерес к науке возник только в послепушкинскую эпоху и что научные термины никогда не употреблялись в переносном значении до этого периода.

Сорокин полагал, что «в сфере словоупотребления» «время окончательного сложения нормы нашего литературного языка» приходится на 1830–1890-е годы. Однако четких временных границ для этого «окончательного сложения» он не устанавливает. Он замечает: «По существу процессы, так бурно проявившиеся в словарном составе нашего литературного языка около середины прошлого столетия, продолжают и в последующее время вплоть до наших дней. И там и тут мы имеем дело при всех отдельных отличиях с новой, современной, нормой словоупотребления русского литературного языка. Наша современная эпоха значительно расширила сферу действия русского языка <...> но сохранила в основном неизменным сложившийся в середине и второй половине XIX в. общий характер его лексической системы со всеми ее сложными синонимическими, фразеологическими и стилистическими отношениями» (Сорокин 1965, 542). «Бурные процессы», как представляется, не были процессами последовательного отталкивания от предшествующих норм «в сфере словоупотребления». Постепенность, осложненная, правда, отдельными революционными катаклизмами, о которых мы скажем ниже, характеризовала и переход от узуса, сложившегося в последние десятилетия XIX в., к позднему словоупотреблению. Мы имеем здесь дело с преемственностью, а не реформой.

⁵⁸¹ Иногда Виноградов пишет о сущих мелочах, об окказионализмах, которые изредка появлялись в текстах первых десятилетий XIX в., но в более поздних текстах, видимо, не

Виноградов отмечает: «Исчезают к 50-м годам просторечные формообразования от слов на -мя типа *время* – род. пад. Ср. *не имел время*» (Виноградов 1938, 341), – и приводит несколько примеров из Лермонтова, Крылова и Пушкина. Примеров могло бы быть и больше, и единичные случаи отмечаются в текстах, появившихся после Лермонтова – в «Современнике» за 1847 г. или у Л. Толстого (Плотникова-Робинсон 1964, 203). Существенно, что эти формы и в прежнем узусе были маргинальны, и их исчезновение из литературных текстов свидетельствует лишь о постепенном утверждении обязательности норм литературного языка, а не о какой-либо перестройке его системы или переориентации его узуса. То же самое можно сказать и о другом изменении грамматических форм, отмечаемом Виноградовым, – устранении форм «им. пад. имен существительных на -ы» (Виноградов 1938, 341); эти формы могли рассматриваться как неправильные уже в XVIII в., они маргинализуются (кроме как у существительных на -ко и на -це) в начале XIX в. и употребляются все реже и реже на протяжении последующего периода; к 1850-м годам ничего кардинального не происходит, так что примеры таких форм можно найти у Глеба Успенского или Л. Толстого (Плотникова-Робинсон 1964, 235–237; Обнорский, II, 125). Аналогичный характер имеют и оставшиеся два примера Виноградова: сокращающееся употребление деепричастий на -учи, -ючи и сужающийся «круг употребления многократного вида» (Виноградов 1938, 341–342)⁵⁸².

встречаются (поскольку сплошной просмотр не производился, утверждения о том, что что-то больше никогда не встречается, остаются не абсолютно достоверными). Так, Виноградов пишет: «Запрещен твор. пад. на -ью от существительных женск. рода основ на -а мягкого склонения вроде: *неделью* (ср. у Пушкина в переписке, в дневнике Вульфа) и т. п.» (Виноградов 1938, 341). Замечу сразу же, что у Пушкина данная форма встречается один раз (СЯП, II, 819), что ни в каких грамматиках русского языка она не кодифицируется, так что ее исчезновение столь же призрачно, как и ее появление. Виноградов, надо думать, заимствует указание на Пушкина и Вульфа у Обнорского (Обнорский, I, 278), который дает несколько литературных примеров, описывая данное явление как диалектное, но фиксируемое достаточно редко (кроме формы *тысячью*) (там же, 278–279). Показательно, что это явление вообще не упоминается В. А. Плотниковой-Робинсон в достаточно подробном разборе изменений в падежных формах существительных в XVIII–XIX вв. (Плотникова-Робинсон 1964, 163–202).

⁵⁸² Наряду с перечнем отмирающих форм, Виноградов приводит и перечень форм, расширяющих свое употребление. Сюда относится окончание -а в им. мн. существительных м. рода и смешение префиксов *в* и *въз* (*въехать* вместо *въехать*). Виноградов говорит также о сокращающемся употреблении деепричастий наст. времени на -я от глаголов сов. вида (типа *посады, броса*) и о расширяющемся употреблении деепричастий на -вши. В этом же ряду он упоминает формы «на -щий от глаголов совершенного вида для выражения будущего времени» (типа *приедущий из столицы*) и объясняет их появление влиянием «официально-канцелярской стилистики» (Виноградов 1938, 342–343). И в этом случае речь идет об окказионализме, никакого отношения к судьбам языкового стандарта не имеющем; нет и никаких доказательств связи этих форм с канцелярским узусом; Виноградов заимствует примеры у В. И. Чернышева (Чернышев, II, 326), но Чернышев никаких канцелярских документов не цитирует, а приводит примеры из Гоголя и прессы начала XX в. (например, «Это – вид, несомненно, вымирающий и, вероятно, скоро *вымрущий* совершенно» из С.-Петербургских ведомостей за 1901 г.).

Виноградов, вполне понятным образом, рассматривает процессы, происходившие в середине XIX в., выборочно. Кажется, однако, что расширение перечня тех постепенных изменений, о которых мы говорили выше, не даст ничего принципиально нового. Конструкция языкового стандарта остается в целом весьма стабильной, процессы постепенного изменения отдельных элементов не имеют четких хронологических границ и не разрушают преемственности. Те концептуальные этапы, на которые распадается история языка русской письменности в допушкинские времена, в период после 1820-х годов не выделяются. Как в 1914 г. отмечает, говоря о XIX в., В. И. Чернышев, «в русском языке не было больших и быстрых переворотов <...> наш литературный язык, изменяясь в незначительных частностях, в общем обнаруживает много устойчивости. Разница, например, между языком начала XIX-го века и XX-го довольно значительна, но в последние 50 лет наш литературный язык изменился мало» (Чернышев, I, 18). Описание длительных и вялотекущих процессов представляет, конечно, большой интерес, но обладает иной исторической фактурой сравнительно с теми переходами от одного состояния письменного языка к другому, которые рассматривались в данной книге. Возможно, разрозненные процессы послепушкинской эпохи поддаются какому-либо содержательному обобщению (отличному от тривиального наблюдения, согласно которому языковой стандарт получает со временем большую строгость и обязательность), но это обобщение отнесется к уровню стратегий изложения – характеру излагаемой информации (то, о чем пишут в образованном обществе) и стратегиям ее упаковки. Для обобщений на этом уровне мы не располагаем практически никакими сведениями.

Представляется, что на пути к подобным обобщениям нам потребуется не только история языковых элементов, конструкций и структур текста, но и внешняя история языка письменности – история институций, обеспечивающих функционирование языкового стандарта (мы отчасти уже касались этого вопроса, говоря о распространении грамотности), история чтения, история восприятия и социальных функций языкового стандарта. Язык, навязываемый массам населения в качестве обязательного, изменяется (и реформируется) иначе, чем язык, апроприированный относительно малочисленной группой ревнителей родного слова. Язык, владение которым становится важным достижением совершенствующегося в нем лица, обеспечивающим ему социальный статус и противопоставляющим его невежествен-

Столь же разнороден и список синтаксических явлений, которые приводит Виноградов. И они обладают теми же параметрами. Это постепенные процессы, с которыми ничего принципиального в послепушкинские десятилетия не происходит. Виноградов пишет о том, что «постепенно прекращается употребление *быть* с дат. пад. нечленного причастия страдательного залога» («присудил его быть посажену на кол»; что «отмирает употребление род. пад. с предлогом *от* для обозначения действующего лица при причастии страдательного залога» («покинут от друзей»), «сокращается употребление приглагольного двойного вин. пад.» («родительницу привели домой полумертвую»); вместе с тем расширяется употребление творительного предикативного (Виноградов 1938, 343–344). Все эти явления характерны и для Пушкинской эпохи и не переживают никакого «резкого сдвига» в послепушкинские десятилетия.

ному маргиналу, с трудом принимает разрушающие его обособленность инновации, он по необходимости консервативен, оставляя инновации на долю маргинальных сфер речевой деятельности. Внешняя история языкового стандарта в XIX–XX вв. также остается неизученной, но отдельные предварительные соображения, касающиеся этой области, все же могут быть высказаны.

Как уже говорилось, в XIX – начале XX в. существенно растет грамотность населения и в соответствии с этим растет численность читающей публики. Неграмотного дворянства и духовенства практически вообще не остается, неграмотные купцы становятся экзотикой, и это среди прочего означает, что грамотность оказывается необходимой предпосылкой любого социального продвижения. Хотя в России с трудом осваиваются буржуазные ценности, некоторые элементы меритократического общественного устройства укрепляются и на русской почве. Конечно, умение читать – это не слишком большой символический капитал, и во многих случаях это умение не связано с овладением литературным языком (языковым стандартом). «Когда Россия научилась читать» (см. книгу Джеффри Брукса под этим названием – Брукс 1985), большая часть читателей читала «народную» литературу, в XIX в. явно еще не наступило то время, «Когда мужик не Блюхера И не милорда глупого – Белинского и Гоголя С базара понесет». Эта литература знакомства с языковым стандартом не создавала (не говоря уж об активном владении этим идиомом) и поэтому символическим капиталом (во всяком случае в городском обществе) служить не могла⁵⁸³. Грамотность существенной части грамотного населения отличалась от грамотности «образованного» городского общества. Как отмечают А. Г. Кравецкий и А. А. Плетнева, говоря о второй половине XIX в., «языковая компетенция тех жителей Рос-

⁵⁸³ О языке народной (лубочной) литературы и, в частности, лубочной Библии (пересказов библейских сюжетов, иногда близких к тексту) см.: Плетнева 2013. Автор справедливо указывает, что эти тексты отражают не просторечие (несмотря на наличие просторечных лексических и грамматических элементов), а тот синтез не книжного языка и (гибридного) церковнославянского, который был присущ литературе светской повести еще в XVII в. и в XIX в. получает распространение как своего рода «народный» идиом. Та литература, которая обращается к «народу», в той или иной степени имитирует нелитературный язык, сознательно отстает от языкового стандарта. Л. Н. Толстой, занимавшийся писанием «для народа», замечал в статье «О языке народных книжек»: «[Е]сть формы удлинения речи, совершенно чуждые Р[усскому] языку и которые искусственно и бесполезно введены в русский язык, – таковы причастия. Зачем вы говорите: имея желание знать ваше мнение, прошу вас. Разве не проще и ясней – желаю знать ваше мнение, прошу. Официальный язык, язык [по] преимуществу причастий, есть язык самый темный, за ним следует язык литературный – “сказал он, проходя мимо”. Вот язык литературный, к которому мы так привыкли, что нам странно бы его не слышать, а разве не проще: проходит мимо и говорит и т. п. и т. п. Но это трудно» (Толстой, VIII, 429). Именно на таком «народном» языке, по многим параметрам (например, по порядку слов) существенно отличающемся от литературного, написан рассказ Толстого «Чем люди живы?», и в самом деле пользовавшийся у неэлитарных слоев населения чрезвычайной популярностью (см.: Ребеккини 2010, 303–305). В модернизирующемся русском обществе такой язык, несомненно, роли символического капитала играть не мог.

сии, которые получили среднее и высшее образование, существенно отличалась от языковой компетенции остального грамотного населения. Обучение грамоте большей части крестьян и мещан начиналось с церковнославянской азбуки и часто ею и ограничивалось. Кругом чтения этих людей были, с одной стороны, богослужебная и житийная литература на церковнославянском языке, а с другой – народная (лубочная и рукописная) литература, значительная часть которой была написана на гибридном церковнославянском языке. Для этих людей русский литературный язык оставался малопонятным» (Кравецкий и Плетнева 2001, 33–34)⁵⁸⁴.

Таким образом, владение литературным стандартом появлялось как результат среднего или высшего образования, степень владения была связана с образованностью, и это несомненно обеспечивало литературному языку качество символического капитала. Степень владения языковым стандартом соотносится со статусом индивида в социальной иерархии; языковой стандарт как часть символического капитала можно вслед за Бурдье называть лингвистическим капиталом (Бурдье 1991; см. выше, Введение-VIII). В XIX – начале XX в. в России растет роль профессий и меритократические ценности приобретают все больший и больший вес (несмотря на «карьергардные бои» аристократизма). Языковой стандарт естественным образом включается в эту парадигму. Школа оказывается главной институцией, отвечающей за утверждение и строгость языкового стандарта. Особенно ясно эта функция закрепляется за орфографией.

Идеи упрощения русской орфографии получили определенное распространение уже в середине XIX в. Орфографическая комиссия под председательством В. Я. Стоюнина заседала в 1862 г. и в числе прочего сформулировала предложение об исключении из русского алфавита букв *ѣ, ѓ, і* (Григорьева 2004, 48–53; Грот 1899, 674–678). Мысль о желательности орфографической реформы была очевидно включена в контекст той либеральной активности, которая определяла эпоху великих реформ. Неграмотность большинства населения рассматривалась как препятствие на пути прогресса, как одна из основ социального неравенства, а упрощение орфографии должно было облегчить «народу» овладение грамотой. Идея облегчения, однако, вступала в противоречие с функцией грамотности как символического капитала, обеспечивающего социальное продвижение (и закрепляющего социальное неравенство). Облегчить правописание означало убрать социальные барьеры, и такая языковая политика у образованного общества, т. е. общества, эти барьеры преодолевшего, большой популярностью не пользовалась: элитарность, апеллирующая не к социальной иерархии, а к культурному наследию (закрепляющему, конечно, ту же иерархию, однако лишь скрытым и неочевидным образом), была привлекательна для большей части образованного общества, включая и тех, кто был настроен либерально.

⁵⁸⁴ Ср. еще в этой же работе соображения авторов о том, почему церковнославянская грамотность не учитывалась в переписи населения 1897 г., ориентированной «на европейскую систему образования», и как это обстоятельство сказывалось на статистических параметрах грамотности (Кравецкий и Плетнева 2001, 38–40).

Показательна в этом отношении позиция Я. К. Грота. Хотя в 1870-е годы он выступал за реформирование русского правописания и исключение ряда «ненужных» букв, в 1880-е годы он придерживается куда более консервативных взглядов, и эта перемена воззрений связана, видимо, с повышенным вниманием к школьному образованию (в 1885 г. Министерство народного просвещения сделало «Русское правописание» Грота обязательным для школ). Грот полагал, что «перемены в общепринятом правописании не должны быть проводимы через школу» (Грот 1899, 825), что невозможно учить школьников «писать многие слова не так, как пишут в книгах и все грамотные люди» (там же). Этот принципиальный консерватизм закреплял функции «правильного» правописания как критерия образованности и, соответственно, включенности в господствующую культуру. Характерно, что Грот, в 1860–1870-е годы считавший, что фита должна быть исключена из азбуки (там же, 806), в 1880-е года переменял свои взгляды. В это время он писал: «[М]ы не сочли возможным вывести из употребления *ѳиту*, которая, несмотря на толки о ее излишестве, упорно держится в большей части книг и периодических изданий. Ломоносов, хотя и изгонял ее из русской азбуки, однако ж сам на практике употреблял ее» (там же, 826)⁵⁸⁵.

В последние десятилетия XIX в. обучение правописанию становится главной задачей преподавания русского языка в школе, и эта обязательность связана, надо думать, с функциями орфографии как индикатора образованности и наиболее заметной составляющей лингвистического капитала. В. П. Шереметевский, протестуя против гротовской орфографии, пишет о «печальной действительности, где изучение родного языка низведено до степени орфографической дрессировки» (Шереметевский 1897, 145). Правописание было наиболее легко контролируемым элементом овладения языковым стандартом и использовалось для оценки знаний учащихся, а сле-

⁵⁸⁵ Весьма показательны те аргументы, которые Грот приводит в пользу сохранения фиты: «Остается вопрос о *ѳите* <...> для чего же она нужна? Конечно, не для означения звука, потому что мы произносим ее точь в точь как *ф*. Кроме этого, против нее много доводов, которые были развиты мною подробно в предыдущем издании *Филологических Разысканий*, но все эти доводы опровергаются одним важным соображением, которое мною же было высказано в другом месте, именно тем, что по причине отличия нашей азбуки от общеевропейской, мы должны особенно заботиться о том, чтобы в заимствованных именах по возможности передавать их подлинную форму. Мы напр. пишем *Кронштадтъ*, чтобы отличить в этом имени слово *Stadt* от *Staat*, передаваемого по-русски начертанием *штатъ*; мы сетуем, что у нас недостает буквы для изображения западноевропейского *h*. Поэтому, имея букву для отличия греко-латинского *th* от *ph* и *f*, мы не должны пренебрегать ею. Обе буквы, отвечающие звуку *ф*, нужны нам собственно только для иностранных слов: на каком же основании мы одну из них предпочтем другой? Наконец, согласно с историческим началом нашей орфографии, важным доводом в пользу сохранения *ѳиты* служит давность и привычка ее употребления. Попытка употреблять только *ф* нашла очень немногих последователей. Да, признаться, и совестно писать напр.: *Фивы*, *Фракия*, *Афины*, *Фемистокль*, *Феофанъ*» (Грот 1899, 607–608). Правописание фиты, очевидно, требует образованности, так что вместе с утверждением о необходимости фиты вводится образовательный ценз, необходимый для правильного правописания. Круг лиц, обладающих этим лингвистическим капиталом, заметно сокращается.

довательно, и для оценки того, каким лингвистическим капиталом они обладают и какого дальнейшего продвижения заслуживают. Конечно, утверждаемая школьным обучением норма не сводилась к одной орфографии. В. И. Чернышев, обсуждая статью Н. М. Николича «Неправильности в выражениях, допускаемые в современной печати», пишет о том, что печать «не ученица, а зрелая деятельница и в некоторой степени создательница языка» и что нельзя «печать считать чем-то в роде учебного заведения, которое не должно выходить в письме из рамок школьных грамматик»; в школе же, замечает Чернышев, «действительно возможно требовать применения главных и общих правил языка и не допускать исключений и отклонений от господствующих норм»; из следующего за этим перечисления узнаем, что к таким нарушениям «господствующих норм» относятся, например, «формы просторечия и народного языка: угащивал; разжалывали; счѣта, адреса́» и т. д. (Чернышев, I, 13–15). Школа, таким образом, должна была обеспечивать и навыки правильной речи.

Это восприятие правописания как важнейшей части культурного капитала было основным препятствием на пути орфографической реформы⁵⁸⁶. Собственно, основные контуры реформы были определены уже на заседаниях Орфографической комиссии при Академии наук в 1904 г. Реформа предполагала исключение «лишних» букв *ѣ, ѓ, і* и *ѳ* в конце слова и ряд других преобразований, отношение к которым могло меняться в последующие годы. Хотя Комиссия подавляющим большинством высказалась за реформу, хотя постоянно высказывалось мнение, что «старое правописание является препятствием к распространению грамотности» (письмо 315 членов Государственной Думы 1907 г.), при старом режиме реформа не была осуществлена и ждала своего часа вплоть до Февральской революции 1917 г., когда орфографический катаклизм оказался перекрыт катаклизмом всей общественной жизни и падением всех традиционных ценностей (см. обзор процесса подготовки реформы: Григорьева 2004, 82–123).

2. Русский литературный язык при советской власти и после ее падения

Насколько радикальные изменения происходят в грамматической структуре литературного языка и в его лексике, оценить непросто, поскольку анализ соответствующих явлений зависит от того, какие тексты рассматриваются

⁵⁸⁶ Прочитую лишь слова С. Н. Трубецкого, известного философа и первого выборного ректора Московского университета, придерживавшегося в целом либеральных взглядов. Реагируя на ранние проекты орфографической реформы, Трубецкой писал в 1901 г.: «Этот любопытный поход против грамотности, предпринятый с гуманною целью – спасти учащееся юношество от “переутомления”, заслуживает, к сожалению, некоторого внимания как одно из характерных знамений того стихийного влечения к безграмотности и невежеству, которое растет в нашем обществе не по дням, а по часам и является грозным предвестником надвигающегося варварства» (Трубецкой, I, 51). Варварство, естественно, противопоставлено культуре, и именно как часть культуры (а отсюда и символического капитала) понимается традиционное правописание.

как экземплифицирующие языковой стандарт и какие элементы в них выделяются в качестве экстрасистемных (в качестве чужого слова), требующих устранения из исследуемого корпуса при его системном описании. Весь этот круг вопросов исследован явно недостаточно, и в силу этого мы вынуждены их игнорировать. Замечу, однако, что неудовлетворительное состояние лингвистического описания данных явлений обусловлено не только сложностью обследования массового материала и его крайней гетерогенностью, но и специфическим хаосом в использовании разновидностей языка, характерным для революционной эпохи. Написаны ли революционные тексты на литературном языке, – непростой вопрос, поскольку литературный язык обращен к традиции, а революция традиции сокрушает.

То, что происходит во время революции или во всяком случае то, что может происходить во время революции, лучше всего описывается как трансформация лингвистического капитала, изменение его характера и содержания. Старый лингвистический капитал дискредитируется, он подается как элемент старой ниспровергаемой революцией культуры и тем самым как необходимый объект культурной революции. На проблемах трансформации лингвистического капитала я далее и остановлюсь. Это, конечно, лишь один из частных аспектов истории письменного языка в интересующую нас эпоху, но, возможно, это вопрос, с рассмотрения которого следует приступить к его описанию, поскольку именно эти трансформации задают рамки, позволяющие оценить значение различных текстов в отношении к вырабатываемому – по-разному в разные периоды – языковому стандарту.

Культурная революция, по крайней мере в России, есть и лингвистическая революция. После революции 1917 г. происходит уничтожение традиционного лингвистического капитала, а с конца 1920-х годов – его частичная реставрация. Эти процессы замечательны тем, что в русской истории они повторяются. Похожие явления можно наблюдать в культурной революции Петра Великого и той частичной реставрации, которая начинается с 1730-х годов (см. об этом § XI-4), и в особенности в революции 1990-х годов (перестройка и первые послесоветские годы) и последующей реставрации, которую я бы назвал путинской.

Любопытным образом, все русские лингвистические революции характеризуются интенсивным употреблением заимствований, можно сказать, наводнением языка заимствованиями, которые в определенной идеологической перспективе воспринимаются как его гибель и обуславливают пуристическую реакцию; она становится частью реставрации. Хотя у нас нет никакой типологии лингвистических революций (это, как мне представляется, интересная и малоизученная проблематика), но, насколько можно судить по разрозненным данным, такие черты отнюдь не являются универсальными. Они, к примеру, отсутствуют в Великой французской революции. У нее тоже был лингвистический компонент (например, переименование месяцев), но наводнение заимствованиями и последующий пуристический откат во французском случае не просматриваются (сложнее, кажется, обстоит дело с революцией 1968 г., но на этом я останавливаться не буду). Это указывает на определенную русскую специфику, на связь русских культурных революций с оппозицией России и Запада: революционеры ориентиро-

ваны на Запад, реставраторы пытаются пристроить к реформированной революцией системе национальный компонент, реставрировать в том или ином виде патриотическую составляющую лингвистического капитала.

Исследователи, занимавшиеся языком большевистской революции, отмечали в качестве характерных черт революционного языка изобилие заимствований, калек, абстрактной лексики, аббревиатур, канцеляризмов и архаизмов (славянизмов – типа *ибо, сугубо, всеу* у Ленина), вульгарной лексики, элементов блатного жаргона и диалектных слов. Объяснения этому набору давались разные. Говорилось, скажем, что среди революционеров было много образованных людей, журналистов и политических эмигрантов, и с этим связывалось распространение заимствований и калек; говорилось о бывших семинаристах, и к этому привязывалось употребление славянизмов, или о революционных матросах, которых объявляли источником вульгаризмов и блатной лексики, и т. д. (ср.: Селищев 2003, 68–69). В. М. Жирмунский, например, полагал, что языку рабочих революционный дискурс обязан словами *спайка, увязка, зажим, звено* (Жирмунский 1936, 99; ср.: Грановская 2005, 207). Понятно, что такие утверждения бездоказательны, поскольку мы имеем дело не с устной речью отдельных социальных групп, а в основном с печатными текстами, проходившими обычно профессиональное редактирование. Речь должна идти не о языковых навыках тех или иных носителей языка, а об установках революционеров – реформаторов языка, задававших тон в революционной прессе.

Главным в этих установках было отталкивание от традиционного языкового стандарта, отрицание старого лингвистического капитала. Именно это объединяло в один конгломерат все те разнообразие явления, которыми характеризуется язык революционной эпохи. И заимствования, и вульгаризмы, и архаизмы, и аббревиатуры – это то, чего чуждался традиционный языковой стандарт. Именно этих элементов учили избегать в образованной речи (устной и письменной). Их употребление было несовместимо с карьерой успешного политического или общественного деятеля (не маргинального), с карьерой адвоката, журналиста, священнослужителя. После революции положение радикально меняется. Новая большевистская элита противопоставляла себя элите старой, ее языковое поведение было отрицанием старых норм и вместе с тем введением норм новых. Большевистскую карьеру нужно было делать, пользуясь большевистским языком со всем тем набором языковых элементов, которые не могли не быть отвратительны человеку старой культуры.

Пожалуй, наиболее отчетливо эта смена лингвистического модуса заметна в употреблении вульгарной, арготической и обценной лексики. Легализация этих элементов с наибольшей выразительностью свидетельствовала о дискредитации старого языкового стандарта и всех стоящих за ним институций – традиционного образования, «хорошего» (буржуазного или аристократического) воспитания, регламентации бытового поведения и речевых манер. Большевистская «грубость» (Сталин на XIV съезде партии говорил о себе: «Человек я прямой и грубый» – Селищев 2003, 107) выступает как отрицание «вежливости» старого режима, и грубая речь является важной частью этого отрицания.

В статье Н. Марковского «За культуру комсомольского языка», появившейся в журнале «Молодой большевик» за 1926 г., приводится фраза из «неправильного» комсомольского языка, наполненная жаргонными элементами («Я надел клифт и колеса и пошел на малину к корешку»). С таким языком он и призывает бороться и при этом замечает: «Когда же товарищей, говорящих на таком лексиконе, упрекали, так те прямо-таки взъерепенились. „Дескать, как это так, нас заставляют говорить на языке ‘интеллигентном’, ничего общего не имеющим вот с нашим комсомольским языком”» (Селищев 2003, 118–119). Хотя сам автор выступает против такого употребления и заявляет, что «не нужно бояться образованности, не нужно бояться интеллигентности» (там же), это уже первые голоса реставрации, в первые послереволюционные годы вульгарные выражения были свойственны большевистской речи в целом, активно использовались в публицистике и проникали в новую советскую литературу (в сочинения Ф. Панферова, Всеволода Иванова, Ф. Гладкова – Грановская 2005, 205).

Весьма показательно сообщение советского дипломата Г. З. Беседовского о языковых навыках большевистских правителей: «Обсуждение государственных вопросов в Политбюро и Совнаркомах редко когда не сопровождается непечатными словами» (Беседовский 1931, 213; ср.: Грановская 2005, 413). Очевидно, для большинства членов этих институций употребление обценных выражений было не естественным языковым навыком (они все же были по происхождению «интеллигентами»), а знаком их принадлежности к правящей элите. Впрочем, Беседовский пишет о второй половине 1920-х годов, и он отмечает, что в это время соблюдалась «строгая партийная иерархия: при Сталине позволяют себе материться теперь только Рыков да Ворошилов, остальные же почтительно сдерживаются и распускают языки тогда, когда за Сталиным закрывается дверь» (там же). Конечно, это специфическая черта сталинской реставрации, когда языковая благопристойность вновь становится социальной нормой, нарушать которую позволено лишь старшему в данном социуме. В силу этого нарушение языкового этикета делается признаком социального главенства, и в этом качестве обценная лексика переживает смену языковых парадигм. Еще фельетонист Г. Рыклин в 1940 г., в период торжествующей реставрации, писал: «А еще бывают люди, которые мнят себя высокими интеллигентами. Они ответственные работники и полагают, что трехэтажность в речи [имеется в виду интенсивное употребление бранной лексики. – В. Ж.] – признак крепкого руководителя»⁵⁸⁷. Начальственная матерщина как признак власти продолжала быть в ходу и значительно позже, это продолжалось до конца советского режима, хотя непосредственно после революции 1917 г. функциональные отношения были иными: коллективное использование обценной лексики большевистской элитой как ниспровержение старых «буржуазных» норм.

В эту же парадигму укладывается и употребление заимствований. А. М. Селищев объясняет их распространение «происхождением» революционеров: «Как интеллигенты, революционные деятели при обсуждении

⁵⁸⁷ Г. Рыклин. Улыбка. «Правда» от 3 апреля 1940 г. (см.: Фесенко 1955, 83).

тех или иных вопросов общественно-политической жизни вводят в речь много терминов, имевших до того времени ограниченный круг своего распространения, вращавшихся в среде книжной, философской, в среде политико-экономистов и социологов. Среди этих терминов большое количество приходится на заимствованные слова» (Селищев 2003, 69). Селищев приводит многочисленные примеры (*авуалированный, ажиотаж, альянс, бургфриден, гарант, гегемон* и т. д.); не все они похожи на «термины» из интеллигентского обихода (например *ажитаж*), и это указывает на недостаточность предлагаемого автором объяснения.

Селищев упоминает весьма значимое явление в употреблении иностранных слов, а именно внутритекстовые глоссы, дающие русские соответствия заимствованным элементам, например: *нелокальные, неместные советы* (Ленин), *гегемон (руководитель) всей демократии* (Зиновьев), *эта модификация, это изменение тактики* («Правда»), *превентивная (предупредительная) война* («Известия») и т. п. (Селищев 2003, 71). Глоссы показывают, что заимствования являются коммуникативно избыточными, без них можно было бы спокойно обойтись. Это означает, что заимствования выполняют не прагматическую, а символическую функцию. Точно такое же употребление заимствований было, как мы знаем (см. § X-8), характерно и для эпохи Петра Великого, еще одного периода культурной революции в русской истории.

Внутритекстовые глоссы свидетельствуют о процессе переименования, при котором старые вещи получают новые имена (ср.: Биржакова, Войнова, Кутина 1972, 289–290). Культурная значимость такого процесса очевидна: строительство новой культуры отражается здесь как целенаправленная мифотворческая деятельность, символически расправляющаяся со старым и столь же символически насаждающая новое. Символически осуществляется отказ от национальной традиции, разрыв с национальным прошлым, которое рассматривается при этом как воплощение и символическая основа ниспровергнутого социального порядка (см. подробнее: Живов 1996, 145–150).

Для этого, конечно, были определенные основания. Поколения ревнителей родного слова, начиная с филологов XVIII в. (см. § XIII-4), продолжая Шишковым и многочисленными преемниками лингвистического «славянофильства», не только воевали с заимствованиями, но с определенного времени (со времени возникновения националистической парадигмы в начале XIX в.) связывали эту борьбу с верностью отечественной традиции, любовью к родине и православию и политической благонамеренностью. В. И. Даль мечтал о замене заимствованных слов русскими и придумывал неологизмы вполне в духе Шишкова – в надежде «избавить язык наш от этой западной порчи» (Даль, ПСС, X, 573; ср.: Николенко и Николина 2002; ср. о полемике Даля и М. П. Погодина: Сорокин 1965, 49–50). Даже Я. К. Грот, далекий от безрассудного пуризма, в статье о словаре Даля писал: «Нельзя не согласиться с Далем, что наш образованный язык слишком злоупотребляет легкостью заимствования иностранных слов: на писателях лежит прямой долг стараться о замене их, по возможности, русскими. Это всегда и сознавали лучшие представители слова <...> Патриотическое стремление писателей к очи-

щению своего языка от пестрой иноземной примеси может также составить факт в движении общественного сознания, и при том факт, достойный полного внимания истории» (Грот 1899, 18–19). Нелюбовь к заимствованиям оказывалась, таким образом, элементом официозной идеологии. Именно этому старорежимному отношению к «иностранным словам» противостоял новый узус. Изобилие заимствований в революционном языке оказывается, следовательно, манифестацией антирусской политики большевиков в 1910–1920-е годы.

Вместе с тем, как и в Петровскую эпоху, употребление заимствований, порою бессмысленное (лишавшее текст смысла), оказывалось знаком новой лояльности, способом идентификации с новым режимом и в силу этого средством социального продвижения. Мы располагаем некоторым количеством примеров такого употребления. Например, В. З. Овсянников в 1933 г. писал: «Сплошь да рядом можно услышать на наших собраниях: “Докладчик говорил с *экспромтом*. Секретаря *аннулировали*. Он тут разводил *метафизику*, что план не реален”» (Овсянников 1933, 7; см. Грановская 2005, 201). Приведу еще выдержку из протокола одного собрания, напечатанного в «Известиях» за 1925 г.: «Мы молодежь, принимая во внимание, все эти серьезные тенденции и проекты, хоть минимум, но направлены стремиться серьезно обдумывая к сему интенсивно преодолевая старые, закоренелые виды, должны идти принципиально вперед, пробуждаясь от вечной спячки и апатичности...» (Селищев 2003, 95). Неслучайно списки иностранных слов стали прилагаться к календарям для рабочих и крестьян (например, «Спутник рабочего», М., 1925; «Крестьянский календарь», Свердловск, 1925 – Грановская 2005, 201) – это были руководства к правильному языковому поведению. Именно этот искореженный дискурс нового мира служит основой для лингвистических экспериментов Андрея Платонова (например, в «Котловане») и конструирования сказа у Михаила Зощенко.

К началу 1930-х годов ситуация существенно меняется. Происходит консолидация новой партийной элиты, «нового класса» в терминологии Милована Джиласа. Этот класс, закрепляя свои позиции, конструировал для себя новый символический капитал, и этот капитал в силу самой своей природы должен был основываться на традиции, такой традиции, которая могла бы передаваться и навязываться с помощью воспитания, обучения, и прочих механизмов социальной трансляции и социального контроля. В сталинские школы возвращается и русская история, и русская классика, и ориентированный на эту классику языковой стандарт. Под сенью сталинской схоластической формулы культуры «национальной по форме, социалистической по содержанию» национальная традиция оказывается востребованной новой советской элитой и русский патриотизм становится частью нового имперского дискурса. Пушкинский юбилей 1937 г. был грандиозной манифестацией этого идеологического синтеза; Пушкин выступал в нем и как творец русского литературного языка. Национальный лингвистический капитал, в революционную эпоху под напором идей радикального интернационализма и мировой революции получивший негативные коннотации, теперь восстанавливает свои права.

Эта реставрация не означает, конечно, полной регенерации старого языкового стандарта. Новый языковой стандарт представляет собой определенный синтез традиционного употребления и «языка революционной эпохи». Синтез состоял в том, что «эксцессы» революционного языка были устранены, в то время как дореволюционный стандарт подвергся идеологической переработке, приводившей его в соответствие с требованиями тоталитарного режима.

Что касается эксцессов, они, понятно, не поддаются четкому определению. Под эксцессами я имею в виду то, что ушло, и это, конечно, циркулярная дефиниция. Устранялось, надо полагать, то, что стало восприниматься как несовместимое с конфигурацией патриотического и апеллирующего к истории лингвистического капитала. Устранению подверглась некоторая часть заимствованных элементов, такие, например, как *авуалированный*, *бургсфриден*, *лаборизация*, *шефирование*. Понижилась интенсивность употребления аббревиатур. Уже в 1928 г. Селищев отмечал: «В последние 2 года заметно охлаждение к этим сокращениям. Приходится часто отмечать в речи коммунистических и советских деятелей употребление полных терминов вместо кратких или наряду с ними» (Селищев 2003, 200). Похожей была судьба вульгаризмов, жаргонных элементов и диалектизмов. Они по большей части подверглись устранению из нового языкового стандарта, исчезнув без следа или (чаще) будучи вытеснены на периферию речевой практики как субстандартные языковые элементы. В написанных во второй половине 1930-х годов «Очерках по русскому языку современной эпохи» Селищев говорит: «[В] последние годы эти слова, как и другие, близкие к “блату”, почти совсем вышли из употребления» (там же, 307). В языке, как и в других сферах культуры, воцаряется специфическая советская благопристойность.

Вместе с тем довольно многое от революционной эпохи остается, перестав осознаваться как черта большевистского жаргона. Так, оказались ассимилированными многие заимствования. Скажем, *ориентироваться на*, отмечаемое Селищевым как инновация (там же, 74), уже в 1930-е годы воспринимается как нейтральное выражение. Кальки типа *в общем и целом*, *целиком и полностью* не ассоциируются больше с их немецкими оригиналами. Такие примеры многочисленны.

Интереснее, как преобразовался дореволюционный языковой стандарт в процессе его реставрации. В него не только были внедрены некоторые революционные новообразования, но дореволюционное наследие подверглось в нем систематической редукции прежде всего на содержательном уровне. Характер этой редукции хорошо виден при анализе состава и дефиниций Словаря русского языка под ред. Д. Н. Ушакова, важнейшего памятника сталинской реставрации. Как пишет Н. А. Купина в монографии «Тоталитарный язык», в которой подробно исследуется ушаковский словарь, «Материалы Словаря под редакцией Д. Н. Ушакова обнаруживают прямое давление идеологии на лексическую семантику, экспансию значений мировоззренческого типа, <...> искусственный примат сигнификативной функции, квалифицирующей язык как “фиксатор” идеалов классовой борьбы, социалистической революции, диктатуры пролетариата» (Купина 1995, 7).

Составителями словаря были крупнейшие русские языковеды 1930-х годов: Д. Н. Ушаков, В. В. Виноградов, Л. В. Щерба, Г. О. Винокур и другие, знатоки и ценители старого русского литературного языка. Однако общие установки Словаря зависели не от них, а от его заказчиков; составители выполняли социальный заказ и руководствовались вполне четко сформулированным заданием. Словарь, как заявляли составители в предисловии к нему, был нормативным, а нормы, которые он устанавливал, были советскими. Хотя составители декларировали, что «основная масса в нем – слова нашей классической литературы от Пушкина до Горького» (Ушаков, I, с. IX), не менее важным источником были произведения Ленина, Сталина и других большевистских вождей, причем именно эти источники использовались при разъяснении идеологически важных слов. Там, где составители не справлялись с поставленным перед ними идеологическим заданием, редакторы-цензоры их поправляли.

Остатки этой работы различимы в тексте словаря. Так, например, к слову *богиня* дается определение «Женск. к бог (во 2 и 3 знач.)» (Ушаков, I, стб. 161), однако у слова *бог* никакого 2 и 3 значения нет; выделяется лишь одно значение со следующим толкованием: «По религиозным верованиям – верховное существо, стоящее будто бы над миром и управляющее им» (там же, стб. 159); далее следует цитата из Ленина о том, что идея бога усыпляет «классовую борьбу». Очевидно, в первоначальном варианте 2 и 3 значения обращались к языческим божествам и к людям, совершенство которых выражалось наименованием *бог*⁵⁸⁸; редактор предпочел этим тонкостям краткую антирелигиозную декларацию.

В принципе сфера религиозной лексики позволяет ясно увидеть, какие манипуляции производит ушаковский Словарь с семантикой старого литературного языка и как эти манипуляции делают этот справочник инструментом создания советского тоталитарного дискурса. Например, по словам Купиной, «религиозные начала отрываются от нравственных», так что *грех* определяется как «у верующих – нарушение религиозно-нравственных предписаний», а *греховный* характеризуется как устаревшее (Купина 1995, 29). Религиозная лексика снабжается пометами «церк.», «устар.», «т. наз.», ср. «Пасха, Христианский праздник, посвященный т. наз. воскресению Христа». Купина отмечает: «Религия и все, что с ней связано, практически вытесняется из духовного мира советского человека <...> Соответствующий концепт примитивизируется: из него выхолащиваются категориальные семантические компоненты» (там же, 30).

Такие же манипуляции характерны и для других лексических областей: политической, исторической, философской, этической, эстетической. Показательны, например, пометы к прилагательному *синодальный* «офиц. устар.» [Ушаков, IV, стб. 187] – при том что Синод Русской православной церкви, по

⁵⁸⁸ Ср., например, определение значений слова *Бог* в Словаре под ред. Я. К. Грота: (1) Единое предвечное и всемогущее Существо, Творец и Вседержитель мира, истинный Бог; (2) Языческий бог; вообще: воображаемое совершеннейшее существо; (3) Изображение языческого бога, кумир, истукан; (4) Поэтическое вдохновение; (5) Вообще олицетворение чего-либо святого и совершенного (Грот 1895, стб. 226–227).

крайней мере *de jure*, продолжал существовать. Устаревшее означало не вышедшее из употребления, а подлежащее устранению как относящееся к предосудительной тематике или используемое «несоветскими» людьми.

Созданный в 1930-е годы языковой стандарт доживает до падения советского режима. Нельзя сказать, что за полвека в нем не произошло никаких изменений. Можно, например, отметить пуристическую кампанию конца 1940-х годов, когда *вратарь* полностью вытеснил *голкипера*, а *нападающий* – *форварда*. Наиболее существенным, однако же, был сам бег времени. Время шло, а язык почти не менялся. В силу этого языковой стандарт прирастал к той структуре социального доминирования, в рамках которой он был создан. Соответственно, он воспринимался как неотъемлемый атрибут коммунистического режима, он насаждался в школе, и соблюдение норм этого языка контролировалось многочисленными редакторами, обычно рассматривавшими любые стилистические вольности как крамолу. Понятно, что эта охранительная позиция в языке, равно как и охранительная позиция в советской культуре в целом, вызывала протест, и в послесталинский период ряд писателей пытается освободиться от этого лингвистического ярма. Эти эксперименты, однако, оставались на далекой периферии советской языковой деятельности и не расшатывали сколько-нибудь заметным образом основной конструкции языкового стандарта, оформившейся в 1930-е годы. Этот стандарт был советским лингвистическим капиталом, он функционировал несколько иначе, чем, скажем, лингвистический капитал в современной Франции, но в Советском Союзе и карьера делалась иначе, чем во Франции, и для советской карьеры нужен был советский лингвистический капитал.

Период конца 1980-х – 1990-х годов представляет собой эпоху нового культурного катаклизма, новой дискредитации старого (на этот раз советского) символического и лингвистического капитала. Некоторые сопоставления с языком революционной эпохи напрашиваются здесь сами собой, и на них стоит обратить внимание. Как и тогда, риторика цивилизационного вербального контроля («умеренности» и «воспитанности») сменяется риторикой спонтанности. В рамках этой перемены получают широкое употребление, как и в революционную эпоху, грубые, вульгарные, жаргонные, обценные слова и выражения. У них та же функция – дискредитировать прежнюю благопристойность. Аналогично тому, как в эпоху революции слова и выражения, ассоциировавшиеся с прежним режимом (типа *господин*, *верноподданические чувства*, *благонамеренный*), начинают употребляться с презрительно-ироническими коннотациями, в 1990-е годы в публичной сфере развивается так называемый «стёб», деконструирующий устойчивые элементы советского дискурса (Дубин 2001). Не менее важную роль в лингвистической революции играют иноязычные элементы, и опять же со сходной функцией – отказа от национальной (на этот раз советской) традиции в пользу ориентации на западные образцы.

О наводнении языка заимствованиями (прежде всего англицизмами) в эпоху перестройки и первых постсоветских лет достаточно много написано, так что на этом можно подробно не останавливаться. Приведу, однако же, один весьма характерный пример. Мы сейчас привычно говорим об *элите* и *элитах*, это общепринятый социологический концепт, который можно найти

на каждой газетной полосе и услышать в телевизионных новостях. Это слово не совсем новое, оно фигурирует, например, в Словаре Ушакова с первым значением 'избранное общество' и пометой *книжн. редко* (Ушаков, IV, 1417–1418). Однако потом это слово в данном значении почти выходит из употребления. Его нет в первых изданиях Словаря Ожегова (Ожегов 1949), в четырехтомном Словаре русского языка 1961 г. (так наз. Малый академический словарь) находим лишь: «Элита. С.-х. 1. Лучший экземпляр каких-л. растений, отбираемый селекционерами для выведения новых сортов. *Элита ржи. Элита пшеницы. Элита картофеля.* // Особо ценное племенное животное. *Не только молодняку, элитам, овцам и рогатому скоту, даже старым табунам, всегда жившим на одной пастьбе, вволю заготовили сена.* А. Кожевников. Живая вода. 2. Выпускаемые селекционными станциями и семеноводческими хозяйствами семена культурных растений с гарантией чистосортности» (Евгеньева, IV, 1039)⁵⁸⁹. Популярность этому слову обеспечивает воспроизведение в перестроечные и послеперестроечные годы западного социологического дискурса, который оказывается востребован вместе с западными концепциями общества. Для советской риторики это слово – несомненный бастард, и именно этим объясняется его исчезновение. А его употребление первоначально выступает как знак лояльности новым западным ценностям и как дискредитация старого дискурса с его классовой борьбой и производственными отношениями. Оно, наряду с коллоквиализмами и ироническим словоупотреблением, оказывается частью нового лингвистического капитала, обеспечивающего успех в постсоветской России.

Из сказанного отнюдь не следует, что культурно-языковая ситуация в период советского застоя была точно такой же, как в императорской России накануне революции. Символический капитал в предреволюционные годы обладал иной структурой и иными социальными параметрами, чем символический капитал предперестроечных лет. Вполне различными представляются и системы индоктринации, поддерживающие ценность символического капитала. Сходными, однако же, оказываются способы дискредитации этого капитала или, если угодно, революционного ниспровержения традиционного языкового стандарта. Механизмы разрушения обладают собственной внутренней логикой, не зависящей от того, что разрушается.

Не менее замечательны и сходства в попытках реставрации утерянного символического капитала: новый пуризм, новое «благочестие», воскрешение «советской классики» наряду с обращением к тем слоям лексики, которые были устранены в сталинском языковом стандарте. Пуристический откат отчетливее всего выразился в Законе о русском языке как государственном языке Российской Федерации, принятом в 2005 г. В одной из его статей говорится: «При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается использование слов и выраже-

⁵⁸⁹ Во втором издании словаря (1984 г.) интересное нас значение появляется, хотя и в качестве второго: «Элита <...> 1. Лучшие, отборные экземпляры, сорта каких-л. растений, животных, получаемые путем селекции для выведения новых сортов. *Элита ржи. Элита пшеницы. Элита картофеля.* 2. Лучшие представители общества или какой-л. его части» (Евгеньева, IV², 758).

ний, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке». В пресуппозиции этой неясной формулировки лежит утверждение, что заимствования, имеющие общеупотребительные аналоги, не соответствуют нормам современного русского языка. Это утверждение более отчетливо читалось в предшествующих редакциях закона, например, в редакции 2003 г. было сказано: «При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается использование просторечных, пренебрежительных, бранных слов и выражений, а также иностранных слов при наличии общеупотребительных аналогов в русском языке», однако позднее авторы закона стали осознавать, что эти лингвистические категории поддаются разнообразным интерпретациям и предпочли осторожную неясность (см. подробнее: Живов 2006б). Тем не менее сигнал был дан, и, хотя практический эффект закона не очень заметен, реставрационные ценности постоянно провозглашаются и меняют если не языковое поведение как таковое, то систему оценок, с которой носитель языка относится к наблюдаемому им языковому поведению.

Из реставрируемых слоев лексики более всего бросается в глаза лексика религиозная, которая звучит теперь не только из уст священнослужителей разного ранга, порою вещающих по телевидению, но и из уст политических деятелей и патриотических бизнесменов. Они говорят о вере, молитве, грехе и покаянии, христианских заповедях и церкви. И здесь, понятно, мы имеем дело не с воспроизведением дореволюционного православного дискурса, а – как и при всех реставрационных процессах – с порождением новых симулякров. Эта инновационная природа реставрации видна даже в формальных параметрах, например, в новом ударе в словах типа *послушник* вместо правильного *пóслушник*, а порою *духóвник* вместо *духовнѣк*⁵⁹⁰. Показательна история слова *грѣховодник*, которое обозначает человека, предающегося грехам (прежде всего сексуальным), но при этом содержит коннотацию снисходительного отношения к провинностям этого человека. В советских текстах это слово практически не употреблялось, а в постсоветских текстах стало часто употребляться как полный синоним грешника, т. е. с характерным семантическим искажением (Живов 2009в). Как бы то ни было, и эти элементы делают частью нового литературного стандарта, а владение ими – частью нового лингвистического капитала, обеспечивающего социальный статус в новом постсоветском пространстве.

Таким образом, динамика языкового стандарта в России XX – начала XXI вв. отмечена революционными сдвигами, и эти сдвиги могут быть опи-

⁵⁹⁰ В 6-м издании Орфоэпического словаря (в 1997 г.) *послушник* дается с пометой «!не рекомендуется», а не с пометой «!неправ<ильное>» (Борунова, Воронцова, Еськова 1997, 137, 416). В этой же связи можно упомянуть *вероисповѣдание*, которое иногда произносится как *вероисповѣдание* (с пометой «! неправ<ильное>» – Борунова, Воронцова, Еськова 1997, 60; Каленчук, Касаткин, Касаткина 2012, 68), и *собóрование*, которое иногда произносится как *соборовáние* (этот вариант отсутствует в словаре 1997 г. – Борунова, Воронцова, Еськова 1997, 531, но появляется с пометой «!неправ<ильное>» в 2012 г. – Каленчук, Касаткин, Касаткина 2012, 792).

саны как дискредитация лингвистического капитала предшествующей эпохи в результате культурной революции и последующая реставрация дискредитированного лингвистического капитала (в переосмысленном и измененном виде). Характерно, что русская революция обладает языковым компонентом, а в этот компонент входит усиленное использование «западных» заимствований. Это обуславливает связь революционных лингвистических процессов с оппозицией России и Запада, что оказывается присуще и процессам реставрационным, в которых присутствует пуристическая составляющая.

На протяжении всей книги мы прослеживали связь языка и культуры, рассматривая письменный язык не как абстрактную структуру, а как инструмент, которым общество пользуется в разных целях, приспосабливая способы выражения к коммуникативной ситуации и смысловому заданию. В разные эпохи эта связь реализуется с разной степенью эксплицитности. Мы видели, например, как выбор окончаний инфинитива у протопопа Аввакума может непосредственно соотноситься с поставленной им задачей соединить в одном тексте автобиографию и житие святого. Когда из набора регистров письменного языка в XVIII в. формируется единый литературный язык и когда он в начале следующего столетия обретает форму стабильного языкового стандарта, связь между грамматическими элементами языка и его культурным статусом становится существенно более опосредованной. В стандартной коммуникативной ситуации (вне производства художественных текстов, апроприирующих чужую речь) пишущий выбирает из весьма ограниченного репертуара вариантных форм, а степень своего владения языковым стандартом (свой лингвистический капитал) демонстрирует за счет иных языковых средств – за счет лексического выбора и стилистики синтаксических конструкций. Это и есть следствие полифункциональности языкового стандарта.

В силу этого динамика языкового стандарта отражается преимущественно на других уровнях языка, нежели те, которыми мы были заняты, рассматривая средневековые и раннее Новое время. И она зависит от иных факторов, чем те, которые были вовлечены в развитие письменного языка предшествующих эпох, прежде всего от того, как конструируется лингвистический капитал – фактор, выходящий на первый план с модернизацией и появлением меритократического общества. И особенности действия этого фактора, и характер его реализации в языковой практике ставят нас перед задачей анализа тех явлений языка, которые лишь весьма поверхностно отражены в существующих лингвистических исследованиях. В эпилоге мы пытались наметить самые общие линии развития языкового стандарта в послепушкинскую эпоху. Их детальное изучение – предмет совсем другой монографии, требующей новых сил и нового видения и потому оставленной нами как задача для нового поколения филологов. Этим и объясняется схематизм заключительных страниц настоящей книги, представляющих собой не столько исследование, сколько план будущих действий.

ЛИТЕРАТУРА

- ААЭ, I–IV – Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею имп. Академии наук. Т. I–IV. СПб., 1836.
- Абрамович 1911 – *Абрамович Д.* Патерик Киевского Печерского монастыря. Изд. Имп. Археографической Комиссии. СПб., 1911.
- Абрамович 1930 – *Абрамович Д.* Києво-Печерський патерик. (Вступ. текст. Примітки). Київ: З друкарні Всеукр. Академії Наук, 1930 [Пам'ятки мови та письменства давньої України, том IV].
- Абрахам 1962 – *Abraham W.* Organizacja kościoła w Polsce do połowy wieku XII. Poznań: Pallo-tinum, 1962.
- Аванесов 1973 – *Аванесов Р. И.* К вопросам периодизации истории русского языка // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Варшава, август 1973 г. М.: «Наука», 1973. С. 5–24.
- Аванесов и Орлова 1964 – Русская диалектология. Под ред. Р. И. Аванесова и В. Г. Орловой. М.: «Наука», 1964.
- Аввакум 1960 – Житие протопопа Аввакума им самим написанное и другие его сочинения. Под ред. Н. К. Гудзия. М.: ГИХЛ, 1960.
- Авенариус 1994 – *Avenarius A. I.* Benediktíny a kultúra slovanskej strednej Európy: pokus o nastolenie problému // *Slovanské Štúdie*, 1994, № 1. S. 1–6.
- Аверина и др. 1996 – *Аверина С. А., Азарова И. В., Алексеева Е. Л.* и др. Лексика и морфология в русской агиографической литературе XVI века: Опыт автоматического анализа. Под ред. А. С. Герда. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1996.
- Аверьянова 1957 – *Аверьянова А. П.* Рукописный лексикон Татищева // Учен. зап. Ленинградского ун-та, № 197, 1957. Серия филолог. наук, вып. 23. С. 25–83.
- Аверьянова 1964 – Рукописный лексикон первой половины XVIII века. Подготовка к печати и вступит. статья А. П. Аверьяновой. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1964.
- Агапов 1994 – *Агапов А. В.* К вопросу о повторении предлога в русских летописях. Дипломная работа. Филологический фак-т МГУ, кафедра рус. языка. М., 1994.
- Адельфотес 1591 – *Αδελφότης*. Грамматика доброглаголивого еллинословенского языка. Совершенного искусства осми частей слова. Во Львове. 1591. Цит. по изд.: *Adelphotes. Die erste gedruckte griechisch-kirchenslavische Grammatik.* Hrsg. und eingeleitet von O. Horbatsch. München: Verlag Otto Sagner, 1988 [*Specimina philologiae slavicae*, Bd. 76].
- Адодуров 1731 – [*Адодуров В. Е.*]. Anfangs-Gründe der Russischen Sprache // *Teutsch-Lateinisch- und Russischen Lexicon...* СПб., 1731. Цит. по кн.: Унбегаун 1969б.

- Адрианова-Перетц 1977 – *Адрианова-Перетц В. П.* Русская демократическая сатира XVII в. Изд. 2-е, дополн. М.: «Наука», 1977.
- АЕ – Архангельское евангелие 1092 г., см. Арх. ев.
- АИ, I–V – Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Т. I–V. СПб., 1841–1842.
- Аксенова 1981 – *Аксенова Е. А.* Важный памятник средневековой грамматико-лексикографической традиции (текстологический и акцентологический анализ) // Советское славяноведение, 1981, № 1. С. 66–77.
- Алексеев 1965 – *Алексеев П. Т.* «Статир» (Описание анонимной рукописи XVII века) // Археографический ежегодник за 1964 год. М.: «Наука», 1965. С. 92–101.
- Алексеев 1981 – *Алексеев А. А.* Эпический стиль «Тилемахиды» // Язык русских писателей XVIII века. Л.: «Наука», 1981. С. 68–95.
- Алексеев 1982 – *Алексеев А. А.* Эволюция языковой теории и языковая практика Тредиаковского // Литературный язык XVIII века. Проблемы стилистики. Л.: «Наука», 1982. С. 86–128.
- Алексеев 1985 – *Алексеев А. А.* Проект текстологического исследования кирилло-мефодиевского перевода Евангелия // Советское славяноведение, 1985, № 1. С. 82–94.
- Алексеев 1987а – *Алексеев А. А.* Пути стабилизации языковой нормы в России XI–XVI вв. // Вопросы языкознания, 1987, № 2. С. 34–46.
- Алексеев 1987б – *Алексеев А. А.* Participium activi в русской летописи: особенности функционирования // Russian Linguistics 11 (1987). P. 187–200.
- Алексеев 1996 – *Алексеев А. А.* Кое-что о переводах в Древней Руси (по поводу статьи Фр. Дж. Томсона «Made in Russia») // Труды Отдела древнерусской литературы XLIX (1996). С. 278–296.
- Алексеев 1999 – *Алексеев А. А.* Текстология славянской Библии. СПб.: «Дмитрий Буланин»; Köln: Böhlau Verlag, 1999.
- Алексеев и др. 1998 – Евангелие от Иоанна в славянской традиции. Изд. подготовили А. А. Алексеев, А. А. Пичхадзе, М. Б. Бабицкая и др. СПб.: Российское Библейское общество, 1998 [Novum Testamentum paleoslovenice, I].
- Алексеев и др. 2005 – Евангелие от Матфея в славянской традиции. Изд. подготовили А. А. Алексеев, И. В. Азарова, Е. Л. Алексеева и др. СПб.: Российское Библейское общество, Синодальная библиотека Московского Патриархата, 2005 [Novum Testamentum paleoslovenice, II].
- Алешковский 1971 – *Алешковский М. Х.* Повесть временных лет: судьба литературного произведения в древней Руси. М.: «Наука», 1971.
- Альтбауэр и Лант 1978 – An Early Slavonic Psalter from Rus'. Vol. I: Photoreproduction / Ed. by M. Altbauer with the collaboration of H. G. Lunt. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1978.
- Амвросий Юшкевич 1744 – Слово в день чудесного на Родительский Всероссийский Престол Ея Имп. Величества Возшествия Елисаветы Первыя... Проповеданное... Преосвященным Амвросием Архиепископом Новгородским. В придворной Ея Имп. Величества Церкви. В Санктпетербурге Октября 25 дня 1743 года. М., 1744.
- Амфилохий 1873–1878 – *Амфилохий, архимандрит.* Древле-славянская псалтирь симоновская до 1280 года, сличенная по церковнославянским и русским переводам. Т. I–III. М.: Типография П. Лебедева, 1873–1878.
- Андерсен 1969 – *Andersen H.* The Peripheral Plural Desinences in East Slavic // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 12 (1969). P. 19–32.

- Андерсен 1970 – *Andersen H.* The Dative of Subordination in Baltic and Slavic // *Baltic Linguistics*. Ed by Th. F. Magner and W. R. Schmalstieg. University Park: Pennsylvania State Univ. Press, 1970. P. 1–9.
- Андерсен 1971 – *Andersen H.* Review of: *Osnovni problemi na slavjanskata diaxronna morfologija* by Vladimir Georgiev // *Language* 47 (1971), № 4. P. 949–954.
- Андерсен 1973 – *Andersen H.* Abductive and Deductive Change // *Language* 49 (1973). P. 765–793.
- Андерсен 1978 – *Andersen H.* Perceptual and Conceptual Factors in Abductive Innovations // *Recent Developments in Historical Phonology*. Ed. by J. Fisiak. The Hague: Mouton, 1978. P. 1–22.
- Андерсен 1989 – *Andersen H.* Understanding Linguistic Innovations // *Language Change. Contributions to the Study of Its Causes*. Ed. by L. E. Breivik and E. H. Jahr. Berlin–New York: Mouton de Gruyter, 1989. P. 5–27 [Trends in Linguistics. Studies and Monographs 43].
- Андерсен 1996 – *Andersen H.* Reconstructing Prehistorical Dialects: Initial Vowels in Slavic and Baltic. Berlin–New York: Mouton de Gruyter, 1996.
- Андрейчин 1977 – *Андрейчин Л.* Из историята на нашето езиково строителство. София: «Народна просвета», 1977.
- Анна Комнина 1996 – *Анна Комнина.* Алексиада. Пер. с греческого Я. Н. Любарского. СПб.: «Алетейя», 1996.
- Аполлодор 1725 – Аполлодора граматика афинеиского библиотеки или о богах. М.: Печатный двор, 1725.
- Аполлос Байбаков 1794 – [*Аполлос Байбаков*]. Грамматика руководствующая к познанию Славенороссийского языка. Печатана в Типографии Киево-печерския лавры 1794 года.
- Арвайлер 1965 – *Ahrweiler H.* Sur la carrière de Photius avant son patriarcat // *Byzantinische Zeitschrift* 58 (1965). S. 348–363.
- Ариньон 1980 – *Ариньон Ж.-П.* Международные отношения Киевской Руси в середине X в. и крещение княгини Ольги // *Византийский временник*, 41 (1980). С. 113–124.
- Арсений 1882–1883 – Архим. *Арсений (Иващенко)*. Николай Мефонский, епископ XII в., и его сочинения // *Христианское чтение*, 1882, ч. 2. С. 161–175, 495–515; 1883, ч. 1. С. 11–36, 308–357.
- Арсений 1897 – Еп. *Арсений (Иващенко)*. Два неизданных произведения Николая, еп. Мефонского. Новгород, 1897.
- Арх. ев. – Архангельское евангелие 1092 года. Исследования. Древнерусский текст. Словоуказатели. Изд. подготовили Л. П. Жуковская, Т. Л. Миронова. М.: «Скрипторий», 1997.
- Архангельский 1884 – *Архангельский А. С.* Любопытный памятник русской письменности XV века: Молитва Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу к святей Троице единосущней... СПб., 1884 [Памятники древней письменности и искусства, 50].
- Архангельский 1888 – *Архангельский А. С.* Очерки из истории западно-русской литературы XVI–XVII вв.: Борьба с католичеством и западно-русская литература конца XVI – первой половины XVII в. Историко-литературные очерки. Приложение к сим очеркам // *Чтения в Имп. Обществе истории и древностей российских*, 1888, кн. 1. С. 1–166.
- АСЭИ, I–III – Акты социально-экономической истории Северо-восточной Руси конца XIV – начала XVI в. Т. I–III. М.: Изд-во АН СССР, 1952–1964.
- Атанасова 2001 – *Атанасова Д.* Къде св. Прокоп е изучил славянското писмо? // *В памет на Петър Динеков: традиция, приемственост, новаторство*. София: Българска академия на науките, 2001. С. 185–192.

- Афанасий Холмогорский 1682 – [Афанасий, архиепископ холмогорский]. Увет духовный. М.: Печатный двор, 1682.
- Афиани, Живов, Козлов 1989 – Афиани В. Ю., Живов В. М., Козлов В. П. Научные принципы издания // Н. М. Карамзин. История государства Российского, т. 1. М.: «Наука», 1989. С. 400–414.
- Ахингеп 1970 – Achinger G. Der französische Anteil an der russischen Literaturkritik des 18. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der Zeitschriften (1730–1780). Bad Homburg v. d. H., Berlin, Zürich: Verlag Gehlen, 1970 [Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen, Reihe III, Frankfurter Abhandlungen zur Slavistik, Bd. 15].
- Бабаева 2000 – Федор Поликарпов. Технологія. Искусство грамматики. Издание и исследование Е. Бабаевой. СПб.: «Инапресс», 2000.
- Байбер 1986 – Biber D. Spoken and Written Textual Dimensions in English: Resolving the Contradictory Findings // Language 62 (1986), № 2. P. 384–414.
- Бакланова 1951 – Бакланова Н. А. «Тетради» старца Авраамия // Исторический архив, VI. М.–Л., 1951. С. 131–155.
- Баранкова 2005 – Чиста молитва твоя. Поучения и послания древнерусским князьям киевского митрополита Никифора. Изд. подготовила Г. С. Баранкова. М.: ИИПК «Ихтиос», 2005.
- Баранов и Марков 2003 – Новгородская служебная минея на май (Путятин минея). XI век: Текст, исследования, указатели. Подг. В. А. Баранов, В. М. Марков. Ижевск: Изд. дом «Удмуртский университет», 2003.
- Бармин 1996 – Бармин А. В. Греко-латинская полемика XI–XII вв. (опыт сравнительного рассмотрения и классификации) // Византийские очерки. Труды российских ученых к XIX Международному конгрессу византистов. М.: «Индрик», 1996. С. 101–115.
- Барроу 1976 – Барроу Т. Санскрит. Перевод с англ. Н. Лариной. М.: «Прогресс», 1976.
- Барсов 1775 – А. Б. [Барсов А. А.] Ответ на письмо Англоманово // Опыт трудов Вольного Российского собрания при Московском университете. Ч. II. М., 1775.
- Барсов 1981 – Российская грамматика Антона Алексеевича Барсова. Под ред. Б. А. Успенского. М.: Изд-во Московского ун-та, 1981.
- Бауманн 1969 – Baumann H. Die erste in deutscher Sprache gedruckte Grammatik des modernen Russischen und die Praxis der zeitgenössischen Literatursprache // Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe 18 (1969), № 5. S. 1–6.
- Бауманн 1980 – Baumann H. Groening und Adodurov // Sprache in Geschichte und Gegenwart. Jena: Friedrich-Schiller-Universität, 1980.
- Баумгартен 1927 – Baumgarten N. de. Généalogies et mariages occidentaux des Rurikides russes du X^e au XIII^e siècle. Roma: Pont. institutum orientalium studiorum, 1927.
- Баун 2007 – Baun J. Tales from Another Byzantium: Celestial Journey and Local Community in the Medieval Greek Apocrypha. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2007.
- Бахтин 1975 – Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: «Художественная литература», 1975.
- Бахтин 2012 – Бахтин М. М. Слово в романе. К вопросам стилистики романа // Бахтин М. М. Собрание сочинений. Т. 3: Теория романа (1930–1961 гг.). М.: «Языки славянских культур», 2012. С. 9–179.
- Башуцкий 1841 – [Башуцкий А., изд.] Наши, списанные с натуры русскими. СПб.: Изд. А. Я. Исакова, 1841. Цит. По репринту: М.: «Книга», 1986.

- Бегичев 1898 – Послание Ивана Бегичева о видимом образе Божиим. Подгот. А. И. Яцимирский. По рукописи XVII века собрания А. И. Яцимирского // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1898. Кн. 2, отд. 2. С. I–X, 1–14.
- Бегунов 1965 – *Бегунов Ю. К.* Памятник русской литературы XIII века «Слово о погибели Русской земли». М.–Л.: «Наука», 1965.
- Бек 1966 – *Beck H.-G.* Bildung und Theologie im frühmittelalterlichen Byzanz // Polychronion: Festschrift Franz Dölger zum 75. Geburtstag. Wirth, P. [Hrsg.] [Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der neueren Zeit D/1]. Heidelberg, 1966. S. 69–81.
- Бек 1971 – *Beck H.-G.* Geschichte der byzantinischen Volksliteratur. München: Beck Verlag, 1971.
- Бек 1980 – *Beck H.-G.* Geschichte der orthodoxen Kirche im byzantinischen Reich. Bd. 1, Lieferung D1. Göttingen, Zürich: Vandenhoeck & Ruprecht, 1980 [Die Kirche in ihrer Geschichte. Hrsg. von B. Moeller].
- Белич 1932 – *Белић А.* О двојини у словенским језицима. Београд: Српска краљевска академија, 1932.
- Белокуров 1894 – *Белокуров С. А.* Деяние Московского церковного собора 1649 года. (Вопрос об единогласии в 1649–1651 гг.) // Чтения в Имп. Обществе истории и древностей российских, 1894, кн. 4, Исследования. С. 29–52.
- Бельчиков 1974 – *Бельчиков Ю. А.* Русский литературный язык во второй половине XIX века. М.: «Высшая школа», 1974.
- Беляев 1907 – *Беляев И. С.* Практический курс изучения древней русской скорописи для чтения рукописей XV–XVIII столетий. М.: Синодальная типография, 1907.
- Бенвенист 1966 – *Benveniste É.* Problèmes de linguistique générale. Paris: Gallimard, 1966.
- Бенвенист 1974 – *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. Под ред. Ю. С. Степанова. М.: «Прогресс», 1974.
- Бенвенист 1995 – *Бенвенист Э.* Словарь индоевропейских социальных терминов. I. Хозяйство, семья, общество. II. Власть, право, религия. Перевод с французского. М.: «Прогресс-Универс», 1995.
- Бенеманский 1917 – *Бенеманский М.* Закон градский. Значение его в русском праве. М., 1917.
- Бенешевич 1906–1907 – *Бенешевич В. Н.* Древне-славянская кормчая XIV титулов без толкований, т. I, вып. 1–3. СПб., 1906–1907.
- Бенешевич 1987 – Древнеславянская кормчая XIV титулов без толкований. Труд В. Н. Бенешевича. Т. II. Под общим руководством Я. Н. Щапова. София: Изд-во Болгарской АН, 1987.
- Беньер 1988 – *Besnier N.* The Linguistic Relationships of Spoken and Written Nukulaelae Registers // Language 64 (1988), № 4. P. 707–736.
- Берент 1974 – *Berent G. P.* A Generative Approach to Slavic Dative Absolute. Unpublished PhD Thesis. University of North Carolina, 1974.
- Берент 1975 – *Berent G. P.* English Absolutes in Functional Perspective // Papers from the Parasession on Functionalism, April 17, 1975. Ed. by R. E. Grossman, L. J. San, T. J. Vance. Chicago: Chicago Linguistic Society, 1975. P. 10–23.
- Берков 1936 – *Берков П. Н.* Ломоносов и литературная полемика его времени. 1750–1765. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1936.
- Берков 1949 – *Берков П. Н.* О так называемых «петровских повестях» // Труды Отдела древнерусской литературы VII (1949). С. 419–428.
- Берков 1952 – *Берков П. Н.* История русской журналистики XVIII века. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1952.

- Бермел 1995 – *Bermel N.* Aspect and the Shape of Action in Old Russian // *Russian Linguistics*, 19 (1995), № 3. P. 333–348.
- Бермел 1997 – *Bermel N.* Context and the Lexicon in the Development of Russian Aspect. Berkeley–Los Angeles, 1997 [University of California Publications in Linguistics, v. 129].
- Бернекер 1900 – *Berneker E.* Die Wortfolge in den slavischen Sprachen. Berlin: B. Behr's Verlag, 1900.
- Бернштейн 1963 – *Бернштейн С. Б.* К изучению истории болгарского литературного языка // Вопросы теории и истории языка. Сборник в честь профессора Б. А. Ларина. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1963. С. 34–41.
- Беседовский 1931 – *Беседовский Г. З.* На путях к термидору. Из воспоминаний бывшего советского дипломата. Т. 2. Париж: «Мишень», 1931.
- Бётчер 2004 – *Boettcher S. R.* Confessionalization: Reformation, Religion, Absolutism, and Modernity // *History Compass*, 2 (2004), 1 (<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1478-0542.2004.00100.x/pdf>).
- Библия 1663 – Библия сиречь книги ветхаго и новаго завета по языку славенску. М.: Печатный двор, 15 октября 1663.
- Библия 1762 – Библия сиречь книги Священного Писания ветхаго и новаго завета. 4-е тиснение [Елизаветинской Библии]. М.: Московская типография, 1762.
- Бивер и Лангендойн 1972 – *Bever Th., Langendoen D. T.* The Interaction of Speech Perception and Grammatical Structure in the Evolution of Language // *Linguistic Change and Generative Theory*. Ed. by R. Stockwell and R. Macaulay. Bloomington: Indiana Univ. Press, 1972. P. 32–95.
- Биемен 1984 – *Beaman K.* Coordination and Subordination Revisited: Syntactic Complexity in Spoken and Written Narrative Discourse // *Coherence in Spoken and Written Discourse*. Ed. by D. Tannen. Norwood, NJ: Ablex, 1984. P. 45–80.
- Бикертон 1980 – *Bickerton D.* Decreolization and the Creole Continuum // *Theoretical Orientation in Creole Studies*. Ed. by A. Valdman and A. Highfield. New York: Academic Press, 1980. P. 109–127.
- Биржакова, Войнова, Кутина 1972 – *Биржакова Е. Э., Войнова Л. А., Кутина Л. Л.* Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века. Языковые контакты и заимствования. Л.: «Наука», 1972.
- Бирнбаум 1986 – *Birnbaum H.* On the Slavic Share in Western Civilization: the Early Period. Some Definitional Considerations // *Studia slavica mediaevalia et humanistica Riccardo Picchio dicata*. M. Colucci, G. Dell'Agata, H. Goldblatt curantibus. Roma: Edizioni dell'Ateneo, 1986, vol. I. P. 43–53.
- Бирнбаум и Романчук 1997 – *Бирнбаум Х., Романчук Р.* Кем был загадочный Даниил Заточник? (К вопросу о культуре чтения в Древней Руси) // *Труды Отдела древнерусской литературы* L (1997). С. 576–602.
- Благой 1931 – *Благой Д.* Социология творчества Пушкина. М.: «Мир», 1931.
- БЛДР, I–XX – Библиотека литературы древней Руси. Под ред. Д. С. Лихачева и др. Т. I–XX. СПб.: «Наука», 1997–2008 (продолжающееся издание).
- Блок 1965 – *Bloch M.* Feudal Society, vol. I–II. Translated from the French by L. A. Manyon, London: Routledge & Kegan Paul, 1965 (сплошная пагинация) [Routledge Paperbacks, № 46, 47].
- Блумфилд 1968 – *Блумфилд Л.* Язык. Пер. с англ. Е. С. Кубряковой и В. П. Мурат. М.: «Прогресс», 1968.
- Бобрик 1988а – *Бобрик М. А.* Книжная справа первой половины XVIII века и проблемы нормализации русского литературного языка. Автореферат диссертации на соискание уч. степени кандидата филолог. наук. М.: МГУ, 1988.

- Бобрик 19886 – *Бобрик М. А.* Книжная справа первой половины XVIII века и проблемы нормализации русского литературного языка. Диссертация на соискание уч. степени кандидата филолог. наук. М.: МГУ, 1988.
- Бобрик 1990 – *Бобрик М. А.* Библийская справа первой половины 18 века на путях развития грамматической мысли в России (инфинитивные конструкции) // *Wiener Slavistisches Jahrbuch* 36 (1990). S. 9–22.
- Богданович 1978 – *Богдановић Д.* Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара. Београд, 1978.
- Боголюбова 1970 – *Боголюбова Н. Д.* К вопросу о порядке слов в Псковской I летописи (по Тихановскому списку) (Порядок следования главных членов предложения в простом двусоставном предложении) // *Ученые записки Латвийского гос. ун-та им. П. Стучки*, т. 115. Труды кафедры русского языка: Филологические науки. Вопросы стиля и исторической грамматики. Рига: Латвийский гос. ун-т, 1970. С. 69–98.
- Бодрияр 1995 – *Бодрияр Ж.* Система вещей. М.: «Рудомино», 1995.
- Бодуэн де Куртене 1903 – *Бодуэн де Куртене И. А.* Лингвистические заметки и афоризмы // *Журнал Министерства народного просвещения*, ч. 346, 1903, апрель. С. 279–334; ч. 347, 1903, май. С. 1–37.
- Бойчук 1962 – *Бойчук М. К.* Періодизація історії української літературної мови // *Питання історичного розвитку української мови. Праці Міжвузівської наукової конференції, що відбулася в Харкові 15–20 грудня 1959 року, присвячені V Міжнародному з'їздові славістів.* Харків: Видавництво Харківського ун-ту, 1962. С. 57–64.
- Бокам и др. 1984 – *Beaucamp J., Bondoux R. Cl., Lefort J., Rouan-Auzépy M. Fr., Sorlin I.* La Chronique Pascale: le temps approprié // *Le Temps chrétien de la fin de l'Antiquité au Moyen Âge – III^e–XIII^e siècles.* Paris: Éditions CNRS, 1984. P. 451–468.
- Бондарко 1958 – *Бондарко А. В.* Настоящее историческое глаголов НСВ и СВ в языке русских памятников XV–XVII вв. // *Ученые записки Ленинградского гос. пед. института им. А. И. Герцена*, т. 173 (1958). С. 55–71.
- Боор, I–II – *Georgii monachi chronicon.* Edidit C. de Boor. Vol. I–II. Lipsiae: Teubner, 1904.
- Борковский 1949 – *Борковский В. И.* Синтаксис древнерусских грамот. Простое предложение. Львов: Львовский ун-т им. Ив. Франко, 1949.
- Борковский и Кузнецов 1965 – *Борковский В. И., Кузнецов П. С.* Историческая грамматика русского языка. Изд. 2-е, дополн. М.: «Наука», 1965.
- Борунова, Воронцова, Еськова 1997 – *Борунова С. Н., Воронцова В. Л., Еськова Н. А.* Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы. Под ред. Р. И. Аванесова. Изд. 6-е. М.: «Русский язык», 1997.
- Боси 1970 – *Bosi K.* Das Kloster San Alessio auf dem Aventin zu Rom. Griechisch-lateinisch-slawische Kontakte in römischen Klöstern vom 6. /7. bis zum Ende des 10. Jahrhunderts, Kulturbewegung im Mittelmeerraum im archaischen Zeitalter Europas // *Beiträge zur Südosteuropaforschung anlässlich des II. Int. Balkanologenkongresses in Athens*, hrsg. von H.-G. Beck und A. Schnaus. München, 1970. S. 15–28 [Beiträge zur Kenntnis Südosteuropas und des Nahen Orients, X].
- Браиловский 1894 – *Браиловский С. Н.* Федор Поликарпович Поликарпов-Орлов, директор Московской типографии // *Журнал Министерства народного просвещения*, 1894, № 9. С. 1–37, № 10. С. 242–286, № 11. С. 50–91.
- Брандилеоне и Пунтони 1895 – *Prochiron Legum*, publicato secondo il codice Vaticano Greco 845, a cura di F. Brandileone e V. Puntoni. Roma: Forzani, 1895.
- Братишенко 2003 – *Bratishenko E.* Genitive-Accusative and Possessive Adjective in Old East Slavic // *Scando-Slavica*, XLIX (2003), № 1. P. 83–103.

- Браунинг 1978 – *Browning R.* The Language of Byzantine Literature // The Past in Medieval and Modern Greek Culture. Ed. by S. Vryonis. Malibu, Calif., 1978. P. 103–133. Цит. по изд.: Браунинг 1989.
- Браунинг 1982 – *Browning R.* Greek Diglossia Yesterday and Today // International Journal of the Sociology of Language 35 (1982). P. 49–68. Цит. по изд.: Браунинг 1989.
- Браунинг 1989 – *Browning R.* History, Language and Literacy in the Byzantine World. Northampton, 1989 [Variorum Reprints].
- Брейер 1941 – *Bréhier L.* L'enseignement classique et l'enseignement religieux à Byzance // Revue d'Histoire et de la Philosophie religieuses, 1941. P. 34–69.
- Бретхольц 1923 – *Bretholz B.* Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. Berlin, 1923 [Monumenta Germaniae historica. Scriptores rerum Germanicarum. Nova series. T. II].
- Брин 1983 – *Brien N.* Die Weißmannschen Wörterbücher – ein kurzer Vergleich der Erst- und Zweitaufgabe // Weismanns Peterburger Lexikon von 1731 (III). Grammatischer Anhang. München: Verlag Otto Sagner, 1983. S. 23–37 [Specimina philologiae slavicae, Bd. 48].
- Бритто 1991 – *Britto Ft.* Tamil Diglossia: An Interpretation // Southwest Journal of Linguistics 10 (1991), № 1. P. 60–84 [Special Issue: Studies in Diglossia. Ed. by A. Hudson].
- Броджи-Беркофф 1999 – *Brogi Bercoff G.* Plurilinguismo, retorica, e teoria della comunicazione nell'area slava orientale (XVII secolo) // Plurilinguismo letterario in Ucraina, Polonia e Russia tra XVI e XVIII secolo. A cura di M. Ciccarini e K. Żaboklicki. Varsavia-Roma, 1999. P. 117–134 [Atti del Convegno svoltosi a Roma dal 1 al 2 ottobre 1996. Accademia Polacca di Roma. Conferenze 111].
- Броджи-Беркофф 2005 – *Brogi Bercoff G.* Plurilinguism in Russia and in the Ruthenian Lands in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. The Case of Stefan Javors'kyj // Speculum Slaviae Orientalis: Muscovy, Ruthenia and Lithuania in the Late Middle Ages. Moscow: «Novoe izdatel'stvo», 2005. P. 9–20 [UCLA Slavic Studies. New Series. Vol. IV].
- Брукс 1985 – *Brooks J.* When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature, 1861–1917. Princeton: Princeton Univ. Press, 1985.
- Брюно 1969 – *Brunot F.* La doctrine de Malherbe d'après son commentaire sur Desportes. Paris: A. Colin, 1969.
- Брюно, I–X – *Brunot F.* Histoire de la langue française des origines à nos jours. T. I–X. Paris: A. Colin, 1966–1969.
- Буассен 1946 – *Boissin H.* Le Manassès moyen-bulgare; étude linguistique. Paris: Impr. nationale, 1946.
- Бубнов и Демкова 1981 – *Бубнов Н. Ю., Демкова Н. С.* Вновь найденное послание из Москвы в Пустозерск «Возвещение от сына духовного ко отцу духовному» и ответ протопопа Аввакума (1676 г.) // Труды Отдела древнерусской литературы XXXVI (1981). С. 127–150.
- Бубнов 1973 – *Бубнов Н. Ю.* Славяно-русские Прологи // Методическое пособие по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. М., 1973. Вып. 1. С. 274–296.
- Бугославский 1914 – *Бугославский С. А.* К вопросу о первоначальном тексте жития вел. кн. Александра Невского // Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Академии наук, XIX (1914), кн. 1. С. 261–290.
- Бугославский, I–II – *Бугославский С. А.* Текстология Древней Руси. Т. I: Повесть временных лет. Т. II: Древнерусские литературные произведения о Борисе и Глебе. М.: «Языки славянских культур», 2007.
- Бугур 1671 – *Bouhours D.* Les Entretiens d'Ariste et d'Eugene. Dernière ed. Amsterdam, 1671.

- Буйе 1713 – [Буйе]. Книга о способах, творящих водохранилище рек свободное. 2-е изд. М.: Печатный двор, 1713 [перевод Б. Волкова].
- Буланин 1991 – Буланин Д. Античные традиции в древнерусской литературе XI–XVI вв. München: O. Sagner, 1991 [Slavistische Beiträge, 278 Bd.].
- Булахов 1961 – Булахов М. Г. Московский летописный свод XV века как памятник русского литературного языка // Начальный этап формирования русского национального языка. Л., 1961. С. 48–62.
- Булахов 1964 – Булахуў М. Г. Прыметнік у беларускай мове. Мінск: «Навука і тэхніка», 1964.
- Булаховский 1954 – Булаховский В. А. Русский литературный язык первой половины XIX века. Фонетика. Морфология. Ударение. Синтаксис. М.: Гос. учебно-педагогическое изд-во Мин-ва просвещения РСФСР, 1954.
- Булаховский 1958 – Булаховский Л. А. Исторический комментарий к русскому литературному языку. Изд. 5-е, доп. и переработанное. Киев: Гос. учебно-педагогич. изд-во «Радянська школа», 1958.
- Булич 1893 – Булич С. Церковнославянские элементы в современном литературном и народном русском языке. Ч. I. СПб., 1893 [Записки историко-филологического факультета имп. С.-Петербургского ун-та, ч. 32].
- Бунге 1974–1981 – Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch. Abt. 1, 7, 8, 10, 11, 12. Nebst Regesten. Hrsg. von Friedrich Georg von Bunge, ab Band 7 im Auftrag der baltischen Ritterschaften und Städte fortgesetzt von Hermann Hildebrand, Philipp Schwartz und August von Bulmerincq. Aalen, Scientia Verlag, 1974–1981.
- Бунчик и Кайперт 2005 – Розмова. Бесѣда. Das ruthenische und kirchenslavische Berlaumont-Gesprächsbuch des Ivan Uževyč. Mit lateinischem und polnischem Paralleltext herausgegeben von D. Bunčić und H. Keipert. München: Verlag Otto Sagner, 2005 [Sagners Slavistische Sammlung, 29. Band].
- Бургманн 1983 – Ecloga. Das Gesetzbuch Leons III. und Konstantinos' V. Hrsg. von Ludwig Burgmann. Frankfurt am Main: Löwenklau-Gesellschaft E. V., 1983 [Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, Bd. 10].
- Бурдые 1991 – Bourdieu P. Language and Symbolic Power. Ed. & introduced by J. B. Thomson. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1991.
- Буслаев 1861 – Буслаев Ф. Историческая хрестоматия церковно-славянского и древнерусского языков. М., 1861.
- Буслаев 1959 – Буслаев Ф. И. Историческая грамматика русского языка. М.: Гос. учебно-педагогическое изд-во, 1959.
- Быкова 1955 – Быкова Т. А. Место «Букваря» Ивана Федорова среди других начальных учебников // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка, т. XIV (1955), вып. 5. С. 469–473.
- Быкова и Гуревич 1958 – Описание изданий, напечатанных кириллицей. 1689 – январь 1725 г. Сост. Т. А. Быкова и М. М. Гуревич. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1958.
- Бьорк 1940 – Björck G. HN ΔΙΔΑΣΚΩΝ. Die periphrastischen Konstruktionen im Griechischen. Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1940.
- Бюфье 1709 – Buffier C. Grammaire françoise sur un plan nouveau pour en rendre les principes plus clairs & la pratique plus aisée. Paris: Nicolas le Clerc et al., 1709.
- Вавржинек 1978 – Vavřínek V. The Introduction of the Slavonic Liturgy and the Byzantine Missionary Policy // Beiträge zur byzantinischen Geschichte im 9–11. Jahrhundert. (Akten des Colloquiums Byzanz auf dem Höhepunkt seiner Macht, Liblice, 20.–23. Sept. 1977). Hrsg. von V. Vavřínek. Praha: ČSAV, 1978. S. 253–281.

- Бавржинец 1982 – *Vavřínek V.* Význam byzantské misie na Velké Moravě pro christianizaci dalších slovanských národů // *Zeszyty naukowe wydziału humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego*. Nr. 3. Slawistyka. 1982. S. 25–34.
- Вайан 1935 – *Vaillant A.* Les «lettres russes» de la vie de Constantine // *Revue des études slaves*, 15 (1935), № 1–2. P. 75–77.
- Вайан 1948 – *Vaillant A.* Manuel du vieux slave. Paris, 1948.
- Вайан 1952 – *Вайан А.* Руководство по старославянскому языку. Перевод с франц. В. В. Бородич. М.: Изд-во иностранной литературы, 1952.
- Вайнрих 1964 – *Weinrich H.* Tempus; besprochene und erzählte Welt. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1964 (Sprache und Literatur, Bd. 16).
- Вайс 1938 – *Vajs J.* Hlaholice na Rusi, Novgorodské sgrafity // *Byzantinoslavica*, VII (1938). P. 184–188.
- Валк 1949 – Грамоты Великого Новгорода и Пскова. Под редакцией С. Н. Валка. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1949.
- Вальдман 1988 – *Valdman A.* Diglossia and Language Conflict in Haiti // *International Journal of the Sociology of Language* 71 (1988). P. 67–80.
- Вантрубска 1987 – *Wątróbska H.* The Izbornik of the XIIIth Century (Cod. Leningrad, GBP, Q. p. I. 18). Text in Transcription. Nijmegen, 1987 [Полата књигописна, № 19–20].
- Варений 1718 – [Варений Б.]. География генеральная. Небесный и земноводный круги купно с их свойствами и действия в трех книгах описующая. Преведена с латинска языка на российский. М.: Печатный двор, 1718.
- Василевская 1967 – *Василевская И.* К методологии изучения заимствований (Русская лексикографическая практика XVIII в.) // *Известия АН СССР. Серия литературы и языка*, т. XXVI (1967), вып. 2. С. 165–171.
- Васильев 1909 – *Васильев Л.* Одно соображение в защиту написаний ЪРЬ, БРЬ, ЪРЬ, ЪЛЬ древнерусских памятников, как действительных отражений второго полногласия // *Журнал Министерства народного просвещения*, Новая серия, ч. XXII, 1909, август. С. 294–313.
- Васильев 1913 – *Васильев Л.* Об одном случае смягчения звука п в общеславянском языке, являвшегося не посредством следующего за ним древнего j // *Русский филологический вестник*, LXX (1913). С. 71–76. Цит. по: *Васильев Л.* Труды по истории русского и украинского языков. München: W. Fink Verlag, 1972. S. 449–454 [Slavische Propyläen, 94 Bd.].
- Ватсон 2012 – *Watson Ch.* Tradition and Translation: Maciej Strykowski's Polish Chronicle in Seventeenth-Century Russian Manuscripts. Uppsala, 2012 (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Slavica Upsaliensia 46).
- Вахек 1964 – *Vachek J.* (ed.). A Prague School Reader in Linguistics. Bloomington: Indiana Univ. Press, 1964.
- Вашица 1971 – *Vašica J.* Zapovědi světychъ отъсь – Ustanovení svatýchъ otců // *Magnae Moraviae Fontes Historici*, IV. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1971. S. 137–146.
- Бейкхардт 2005 – *Weickhardt George G.* Early Russian Law and Byzantine Law // *Russian History/Histoire Russe*, 32 (2005). P. 1–22.
- Бейнер и Лабов 1983 – *Weiner J., Labov W.* Constraints on the Agentless Passive // *Journal of Linguistics* 19 (1983), № 1. P. 29–58.
- Бекслер 1971 – *Wexler P.* Diglossia, Language Standardization and Purism: Parameters for a Typology of Literary Languages // *Lingua* 27 (1971). P. 330–354.
- Велчева 1966 – *Велчева Б.* Норма и традиция в българския книжовен език от XVI–XVIII в. // *Български език*, г. XVI (1966), кн. 2. С. 110–121.

- Венедиктов 1979 – *Венедиктов Г. К.* Некоторые вопросы формирования болгарского литературного языка в эпоху Возрождения // Национальное Возрождение и формирование славянских литературных языков. М.: «Наука», 1979. С. 207–268.
- Венедиктов 1981 – *Венедиктов Г. К.* Из истории современного болгарского литературного языка. София: Изд-во на БАН, 1981.
- Веннеманн 1984 – *Vennemann Th.* Typology, Universals and Change of Language // Historical Syntax. Ed. by J. Fisiak. Berlin–New York: Mouton, 1984. P. 593–612 (Trends in Linguistics. Studies and Monographs, 23).
- Верещагин и Крысько 1999 – *Верещагин Е. М., Крысько В. Б.* Наблюдения над языком и текстом архаичного источника – Ильиной книги // Вопросы языкознания, 1999, № 2. С. 3–26, № 3. С. 38–59.
- Вермеер 1991 – *Vermeer W. R.* The Mysterious North Russian Nominative Singular Ending *-e* and the Problem of the Reflex of Proto-Indo-European **-os* in Slavic // *Die Welt der Slaven* 36 (1991). S. 271–295.
- Вермеер 1994 – *Vermeer W. R.* On Explaining Why the Early North Russian Nominative Singular in *-e* Does Not Palatalize Stem-Final Velars // *Russian Linguistics* 18 (1994), № 2. P. 145–157.
- Вермеер 1996 – *Vermeer W. R.* Historical Dimensions of Novgorod Inflection // Русистика. Славистика. Индоевропеистика: Сборник к 60-летию А. А. Зализняка. М., 1996. С. 41–54.
- Вермеер 1997а – *Vermeer W. R.* Notes on Medieval Novgorod Sociolinguistics // *Russian Linguistics* 21 (1997), № 1. P. 23–47.
- Вермеер 1997б – *Vermeer W. R.* On the Origin of Novgorod and Staraja Russa o-Stem Nominative Singular Masculine Ending *-e* // Новгородский исторический сборник, 6 (16). СПб.: «Дмитрий Буланин», 1997. С. 73–84.
- Верховской, I–II – *Верховской П. В.* Учреждение Духовной Коллегии и Духовный Регламент: К вопросу об отношении церкви и государства в России: Исследование в области истории русского церковного права. Т. I–II. Ростов-на-Дону, 1916.
- Веселитский 1974 – *Веселитский В. В.* Антиох Кантемир и развитие русского литературного языка. М.: «Наука», 1974.
- Вести-куранты 1983 – Вести-куранты. 1648–1650 гг. Изд. подготовили В. Г. Демьянов, Р. В. Бахтурина. М.: «Наука», 1983.
- Вечерка, I–IV – *Večerka R.* Altkirchenslavische (altbulgarische) Syntax. Unter Mitarbeit von F. Keller und E. Weiher. Bd. I–IV. Freiburg i Br.: U. W. Weiher, 1989–2002 (Monumenta linguarum Slavicarum dialecti veteris, Bd. 27, 34, 36–37).
- Вечерка 1961 – *Večerka R.* Syntax aktivních participií v staroslověnsčině. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961 [Opera universitatis purkynianae. Facultas philosophica, 75].
- Вечерка 1963 – *Večerka R.* Velkomoravská literatura v přemyslovských Čechách // *Slavia*, XXXII (1963). S. 398–416.
- Вечерка 1967 – *Večerka R.* Jazykovědný příspěvek k problematice staroslověnského písemnictví v Čechách X. a XI století // *Slavia*, XXXVI (1967). S. 421–428.
- Вздорнов 1968 – *Вздорнов Г. И.* Роль славянских монастырских мастерских письма Константинополя и Афона в развитии книгописания и художественного оформления русских рукописей на рубеже XIV–XV вв. // Труды Отдела древнерусской литературы XXIII (1968). С. 171–198.
- Виала 1985 – *Viala A.* Naissance de l'écrivain. Sociologie de la littérature à l'âge classique. Paris: Editions de Minuit, 1985.
- Виднес 1952 – *Widnäs M.* La position de l'adjectif épithète en vieux russe (XI^e–XVII^e siècle). Helsingfors: Centraltryckeriet, 1952.

- Виноградов 1935 – *Виноградов В. В.* Язык Пушкина. Пушкин и история русского литературного языка. М.–Л.: «Academia», 1935.
- Виноградов 1938 – *Виноградов В. В.* Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв. Изд. 2-е. М.: Гос. учебно-педагогическое изд-во, 1938.
- Виноградов 1941 – *Виноградов В. В.* Стиль Пушкина. М.: ОГИЗ, Гос. изд-во художественной литературы, 1941.
- Виноградов 1947 – *Виноградов В. В.* Русский язык. М., 1947.
- Виноградов 1958 – *Виноградов В. В.* Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка. М., 1958 [IV Международный съезд славистов. Доклады].
- Виноградов 1966 – *Виноградов В. В.* О стиле Карамзина и его развитии (исправления текста повестей) // Процессы формирования лексики русского литературного языка. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1966. С. 237–250.
- Виноградов 1978 – *Виноградов В. В.* Избранные труды. История русского литературного языка. Под ред. Н. И. Толстого. М.: «Наука», 1978.
- Виноградов 1980 – *Виноградов В. В.* Избранные труды. О языке художественной прозы. М.: «Наука», 1980.
- Виноградов 1981 – *Виноградов В. В.* Проблемы русской стилистики. М.: «Высшая школа», 1981.
- Виноградов 1909 – *Vinogradoff Paul.* Roman Law in Mediaeval Europe. London and New York: Harper, 1909.
- Винокур 1947 – *Винокур Г. О.* К истории нормирования русского письменного языка в конце XVIII века (Словарь Академии Российской, 1789–1794) // Вестник Московского университета, № 5, 1947. С. 27–47.
- Винокур 1948 – *Винокур Г. О.* Орфографическая теория Тредиаковского // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка, т. VII (1948), вып. 2. С. 141–158.
- Винокур 1959 – *Винокур Г. О.* Избранные работы по русскому языку. М.: Изд-во Министерства просвещения РСФСР, 1959.
- Винокур 1983 – *Винокур Г. О.* Язык литературы и литературный язык // Контекст. 1982. М.: «Наука», 1983. С. 255–282.
- Винтер 1958 – *Winter E.* Ein Bericht von Johann Werner Paus aus dem Jahre 1732 // Zeitschrift für Slawistik 3 (1958), Hf. 5. S. 744–770.
- Винценц 1988 – *Vincenz A. de.* Zum Wortschatz der westlichen Slavenmission // Slavistische Studien zum X. Internationalen Slavisten-Kongress in Sofia 1988. Hrsg. von R. Olesch und H. Rothe. Köln–Wien: Böhlau, 1988. S. 273–295.
- Винценц 1988–89 – *Vincenz A. de.* West Slavic Elements in the Literary Language of Kievan Rus' // Harvard Ukrainian Studies, XII/XIII (1988/1989). P. 262–273 [Proceedings of the International Congress Commemorating the Millennium of Christianity in Rus'-Ukraine. Ed. by O. Pritsak and I. Ševčenko].
- Вирт 1976 – *Wirth P.* Die sprachliche Situation in dem umrissenen Zeitalter. Renaissance des Attizismus. Herausbildung der neugriechischen Volkssprache. Athènes, 1976 [XV Congrès international d'études byzantines. Rapports et co-rapports].
- Владимиров 1888 – *Владимиров П. В.* Доктор Франциск Скорина: Его переводы, печатные издания и язык. СПб., 1888 [репринт: Specimina philologiae slavicae, Bd. 76. München: Verlag Otto Sagner, 1989].
- Владимиров 1889 – *Владимиров П. В.* Предисловие Василия Тяпинского к печатному евангелию, изданному в Западной России около 1570 года // Киевская старина, XXIV (1889), январь, приложения. С. 1–9.

- Владимирский-Буданов 1874 – *Владимирский-Буданов М. Ф.* Государство и народное образование в России XVIII-го века. Ч. I. Система профессионального образования (от Петра I до Екатерины II). Ярославль: Типография Г. В. Фальк, 1874.
- Владимирский-Буданов 1909 – *Владимирский-Буданов М. Ф.* Обзор истории русского права. Изд. 6-е. СПб.–Киев, 1909.
- Власто 1970 – *Vlasto A. P.* The Entry of the Slavs into Christendom: An Introduction to the Medieval History of the Slavs. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1970.
- ВМЧ, Сент. 1–13 – Великия Минеи Четии собранныя всероссийским митрополитом Макарием. Сентябрь, дни 1–13. Изд. Археографической комиссии. СПб., 1868.
- ВМЧ², Март 1–11 – Die grossen Lesemenäen des Metropolitens Makarij. Uspenskij Spisok. Великие Минеи четьи митрополита Макария. Успенский список. Hrsg. E. Weiher, S. O. Šmidt, A. I. Škurko. Bd. 1. 1.–11. März. Freiburg i. Br.: Weiher Verlag, 1997 [Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertations, tom. XXXIX].
- ВМЧ², Май 1–11 – Die grossen Lesemenäen des Metropolitens Makarij. Uspenskij Spisok. Великие Минеи четьи митрополита Макария. Успенский список. Hrsg. E. Weiher, S. O. Šmidt, A. I. Škurko. Mai, Bd. 1. 1.–8. Mai. Freiburg i. Br.: Weiher Verlag, 2007 [Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertations, tom. LI].
- Водофф 1988 – *Vodoff V.* La naissance de la chrétienté russe. La conversion du prince Vladimir de Kiev (988) et ses conséquences (XI^e – XIII^e siècles). Paris: Fayard, 1988.
- Водофф 1992 – *Vodoff V.* Quelques questions sur la langue liturgique à Kiev aux X^e et au début du XI^e siècle // The Legacy of Saints Cyril and Methodius: Proceedings of the International Congress on the Millenium of the Conversion of Rus' to Christianity. Thessaloniki, November 1988. Thessaloniki: Association hellénique d'études slaves, 1992. P. 435–448. Цит. по: Водофф 2003. P. 209–218.
- Водофф 2003 – *Vodoff V.* Christianisme, pouvoir et société chez les slaves orientaux (X^e– XVII^e siècles). Autour du mythe de la Sainte Russie. Paris: Institut d'études slaves, 2003 [Centre d'études slaves; cultures & sociétés de l'Est, 37].
- Вожела 1647 – *Vaugelas C. F. de.* Remarques svr la langve françoise vtiles a cevx qui vevlant bien parler et bien escrire. Paris: chez Augustin Courbé, 1647. Цит. по изд.: Vaugelas C. F. de. Remarques sur la langue françoise. Fac simile de l'éd. originale. Introduction bibliographique, index par J. Streicher. Paris: E. Droz, 1934.
- Вомперский 1968 – *Вомперский В. П.* Ненапечатанная статья В. К. Тредиаковского «О множественном прилагательных целых имен окончании» // Филологические науки, 1968, № 5. С. 81–90.
- Вомперский 1970 – *Вомперский В. П.* Стилистическое учение М. В. Ломоносова и теория трех стилей. М.: Изд-во Московского ун-та, 1970.
- Ворт 1974 – *Worth D. S.* Slavonisms in the Uloženie of 1649 // Russian Linguistics 1 (1974). P. 225–249.
- Ворт 1975 – *Worth D. S.* Was There a «Literary Language» in Kievan Rus'? // The Russian Review 34 (1975), № 1. P. 1–9.
- Ворт 1978 – *Worth D. S.* On «Diglossia» in Medieval Russia // Die Welt der Slaven 23 (1978). S. 371–393.
- Ворт 1983a – *Worth D. S.* The Origins of Russian Grammar. Notes on the State of Russian Philology before the Advent of Printed Grammars. Columbus: Slavica Publishers, 1983.
- Ворт 1983b – *Worth D. S.* The «Second South Slavic Influence» in the History of the Russian Literary Language // American Contribution to the Ninth International Congress of Slavists. Vol. I. Linguistics. Ed. By M. Flier. Columbus: Slavica, 1983. P. 349–372.

- Ворт 1984 – *Worth D. S.* Incipits in the Novgorod Birchbark Letters // *Semiosis: Semiotics and the History of Culture* (In Honorem Georgii Lotman). [Ann Arbor]: University of Michigan, 1984. P. 320–332.
- Ворт 1985a – *Worth D. S.* The Codification of a Nonexistent Phrase: «и вено вотское» in the St. George Gramota // *Studies in Ukrainian Linguistics in Honor of George Y. Shevelov*. New York, 1985. P. 359–368 [The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the US, 15].
- Ворт 1985b – *Worth D. S.* Animacy and Adjective Order: the Case of новгородськъ. An Explanatory Microanalysis // *International Journal of Slavic Linguistics and Poetics* 31–32 (1985). P. 533–545.
- Ворт 1994 – *Worth D. S.* The Dative Absolute in the *Primary Chronicle*: Some Observations // *Harvard Ukrainian Studies*, XVIII (1994), № 1/2. P. 29–46.
- Ворт 2006 – *Ворт Д.* Очерки по русской филологии. Перевод с англ. К. К. Богатырева. М.: «Индрик», 2006.
- Ворт 2008 – *Worth D. S.* Бывш- and Сущ- in the Russian Dative Absolute // *Miscellanea Slavica*. Сборник статей к 70-летию Бориса Андреевича Успенского. М.: «Индрик», 2008. С. 220–227.
- Вортман, I–II – *Wortman R. S.* Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy. Princeton: Princeton Univ. Press, 1995–2000.
- Воскресенский 1906 – *Воскресенский Г. А.* Древне-славянский Апостол. Вып. 2. Послание Святого Апостола Павла к Коринфянам 1-е по основным спискам четырех редакций рукописного славянского апостольского текста с разночтениями из 57 рукописей Апостола XII–XVI вв. Сергиев Посад, 1906.
- Востоков 1842 – *Востоков А.* Описание русских и словенских рукописей Румянцевского музеума. СПб.: Типография Имп. Академии наук, 1842.
- Востоков 2007 – Остромирово евангелие 1056–1057 года по изданию А. Х. Востокова. М.: «Языки славянских культур», 2007.
- Воткинс 1970 – *Watkins C.* Studies in the Indo-European Legal Language, Institutions and Mythology // *Indo-European and Indo-Europeans*. Ed. G. Cardona, H. M. Hoenigswald, and A. Senn. Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press, 1970. P. 321–354.
- Второв 1845 – *Второв Н. И.* Гаврила Петрович Каменев (Посвящается другу его С. А. Москотильникову) // *Вчера и сегодня. Литературный сборник, составленный гр. В. А. Соллогубом*, изд. А. Смирдиным. Кн. 1. СПб., Типография Академии наук, 1845. С. 29–64.
- Выг. сб. – *Выголексинский сборник*. Под редакцией С. И. Коткова. М.: «Наука», 1977.
- Высоцкий 1976 – *Высоцкий С. А.* Средневековые надписи Софии Киевской: по материалам граффити XI–XVII вв. Киев: «Наукова думка», 1976.
- Вяземский, I–XII – *Вяземский П. А.* Полное собрание сочинений. Изд. гр. С. Д. Шереметева. Т. I–XII. СПб. Тип. М. М. Стасюлевича, 1878–1896.
- Гавранек 1939 – *Havránek B.* Aspects et temps du verbe en vieux slave // *Mélanges de linguistique offerts à Charles Bally*. Geneva: Georg et cie, 1939. P. 223–230.
- Гавриил Бужинский 1723 – *[Гавриил Бужинский]*. Последование о исповедании. М.: Московская типография, 1723.
- Гавриил и Платон, I–III – Собрание разных слов и поучений на все воскресные и праздничные дни. Ч. I–III. М.: Синодальная типография, 1775 [составили Гавриил Петров и Платон Левшин].
- Гальченко 2001 – *Гальченко М. Г.* Книжная культура. Книгописание. Надписи на иконах Древней Руси. Избранные работы. М.: «Алетейя», 2001 [Труды Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, I].

- Гальченко 2003 – Гальченко М. Г. Записи писцов в датированных древнерусских рукописях XIII–XV вв. // *Palaeoslavica* XI (2003). С. 68–141.
- Гамильтон 1965 – *Hamilton B.* The Monastery of S. Alessio and the Religious and Intellectual Renaissance in Tenth-Century Rome // *Studies in Medieval and Renaissance History*. Vol. II. Lincoln: Univ. of Nebraska Press, 1965. P. 263–310.
- Гард 1974 – Гард П. К истории восточнославянских гласных среднего подъема // *Вопросы языкознания*, 1974, № 3. С. 106–115.
- Гард 1986 – *Garde P.* Šiškov et Karamzin: deux ennemis? // *Studia slavica mediaevalia et humanistica* Riccardo Picchio dicata. M. Colucci, G. Dell'Agata, H. Goldblatt curantibus. Roma: Edizioni dell'Ateneo, 1986, vol. 1. P. 279–285.
- Гарретт и Бакедано-Лопез 2002 – *Garrett P. B., Baquedano-López P.* Language Socialization: Reproduction and Continuity, Transformation and Change // *Annual Review of Anthropology* 31 (2002). P. 339–361.
- Гаспаров 1996 – Гаспаров Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М.: «Новое литературное обозрение», 1996.
- Геберт 1987 – *Gebert L.* Les constructions absolues en vieux russe // *Revue des études slaves*, LIX/3 (1987). P. 565–570.
- Гедеон Криновский, I–IV – Собрание разных поучительных слов при высочайшем дворе Ея Имп. Величества сказанных... Гедеоном. Т. I–IV. СПб.: Типография Имп. Академии наук, 1755–1759.
- Гезен 1884 – Гезен А. История славянского перевода символов веры. Критико-палеографические заметки. СПб.: Типография Имп. Академии наук, 1884.
- Гейр 1986 – *Gair J. W.* Sinhala Diglossia Revisited, or Diglossia Dies Hard // *South Asian Languages: Structure, Convergence, and Diglossia*. Ed. by Bh. Krishnamurati, P. Colin, A. K. Sinha. Delhi: Motilal Banarsidass, 1986. P. 322–336 (Motilal Banarsidass Series in Linguistics, vol. 3).
- Гейр 1992 – *Gair J. W.* AGR, INFL, Case and Sinhala Diglossia, or: Can Linguistic Theory Find a Home in Variety? // *Dimensions of South Asia as a Sociolinguistic Area: Papers in Memory of Gerald B. Kelley*. Ed. by E. C. Dimock, Braj B. Kachru, Bh. Krishnamurti. New Delhi: Oxford & IBN Pub. Co., 1992. P. 179–198.
- Генсьорский 1957 – *Генсьорський А. І.* Значення форм минулого часу в Галицько-Волинському літопису. Київ.: Вид-во АН УРСР, 1957.
- Геометрия 1708 – *Геометрія славенські семлемѣріє. Іздадєся новотіпографскімъ тісненіємъ...* М.: Печатный двор, 1708.
- Георгиева 1962 – *Георгиева Е.* Наблюдения върху езика на Паисиевата славенобългарска история // *Паисий Хилендарски и неговата епоха (1762–1962)*. София: Институт за история, 1962. С. 345–377.
- Георгиевский 1899 – *Георгиевский В. Т.* Житие прп. Евфросинии Суздальской с миниатюрами по списку XVII в. // *Труды Владимирской ученой архивной комиссии*, кн. 1. Владимир, 1899, отд. 1. С. 73–172.
- Герд 2003а – *Жития Димитрия Прилуцкого, Дионисия Глушицкого и Григория Пельшемского. Тексты и словоуказатель.* Под ред. А. С. Герда. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2003.
- Герд 2003б – *Житие Антония Сийского. Текст и словоуказатель.* Под ред. А. С. Герда. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2003.
- Герд 2004 – *Житие Корнилия Комельского. Текст и словоуказатель.* Под ред. А. С. Герда. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2004.
- Гётц, I–IV – *Goetz L. K.* Das Russische Recht. Bd. I–IV. Stuttgart: F. Enke, 1910–1913.

- Гивон 1979 – *Givón T.* On Understanding Grammar. New York: Academic Press, 1979.
- Гивон 1995 – *Givón T.* Functionalism and Grammar. Amsterdam: John Benjamins Publ. Co, 1995.
- Гиллин 1991 – *Gyllin R.* The Genesis of the Modern Bulgarian Literary Language. Uppsala: Uppsala University; Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1991.
- Гиппиус 1989 – *Гиппиус А. А.* Система формальных признаков языка древнерусской письменности как предмет лингвистического изучения // Вопросы языкознания, 1989, № 2. С. 93–110.
- Гиппиус 1992 – *Гиппиус А. А.* Новые данные о пономаре Тимофее – новгородском книжнике середины XIII века // Международная ассоциация по изучению и распространению славянских культур. Информационный бюллетень, вып. 25. М., 1992. С. 59–86.
- Гиппиус 1993 – *Гиппиус А. А.* Морфологические, лексические и синтаксические факторы в склонении древнерусских членных прилагательных // Исследования по славянскому историческому языкознанию. Памяти профессора Г. А. Хабургаева. М.: Изд-во Московского ун-та, 1993. С. 66–84.
- Гиппиус 1996а – *Гиппиус А. А.* Лингво-текстологическое исследование Синодального списка Новгородской первой летописи. Автореферат диссертации на соискание уч. степени кандидата филолог. наук. М.: Ин-т славяноведения и балканистики РАН, 1996.
- Гиппиус 1996б – *Гиппиус А. А.* «Русская Правда» и «Вопрошание Кирика» в Новгородской Кормчей 1282 г. (К характеристике языковой ситуации древнего Новгорода) // Славяноведение, 1996, № 1. С. 48–62.
- Гиппиус 1997а – *Гиппиус А. А.* К истории сложения текста Новгородской первой летописи // Новгородский исторический сборник, 6 (16). СПб.: «Дмитрий Буланин», 1997. С. 3–72.
- Гиппиус 1997б – *Гиппиус А. А.* Древнерусские летописи в зеркале западноевропейской анналистики // Славяне и немцы. Средние века – раннее Новое время. Сборник тезисов 16 конференции памяти В. Д. Королюка. М., 1997. С. 24–27.
- Гиппиус 2001 – *Гиппиус А. А.* Рекоша дружина Игоревы... К лингвотекстологической стратификации Начальной летописи // Russian Linguistics 25 (2001), № 2. Р. 147–181.
- Гиппиус 2002 – *Гиппиус А. А.* О критике текста и новом переводе-реконструкции «Повести временных лет» // Russian Linguistics 26 (2002), № 1. Р. 63–126.
- Гиппиус 2003 – *Гиппиус А. А.* Сочинения Владимира Мономаха: опыт текстологической реконструкции. I // Русский язык в научном освещении, № 2 (6), 2003. С. 60–99.
- Гиппиус 2004а – *Гиппиус А. А.* Сочинения Владимира Мономаха: опыт текстологической реконструкции. II // Русский язык в научном освещении, № 2 (8), 2004. С. 144–169.
- Гиппиус 2004б – *Гиппиус А. А.* Социокультурная динамика письма в древней Руси (О книге: S. Franklin. Writing, Society and Culture in Early Rus, c. 950 – 1300. Cambridge, 2002) // Русский язык в научном освещении, № 1 (7), 2004. С. 171–194.
- Гиппиус 2004в – *Гиппиус А. А.* К прагматике и коммуникативной организации берестяных грамот // В. Л. Янин, А. А. Зализняк, А. А. Гиппиус. Новгородские грамоты на бересте (Из раскопок 1997–2000 гг.). Т. XI. М.: «Русские словари», 2004. С. 183–232.
- Гиппиус 2006а – *Гиппиус А. А.* Сочинения Владимира Мономаха: опыт текстологической реконструкции. III // Русский язык в научном освещении, № 2 (12), 2006. С. 186–203.
- Гиппиус 2006б – *Гиппиус А. А.* Два начала Начальной летописи: к истории композиции Повести временных лет // Вереница литер. К 60-летию В. М. Живова. М.: «Языки славянской культуры», 2006. С. 56–96.
- Гиппиус 2009 – *Гиппиус А. А.* Рекоша дружина Игоревы... 3. Ответ О. Б. Страховой (Еще раз о лингвистической стратификации Начальной летописи) // Palaeoslavica XVII/2 (2009). С. 248–287.

- Гиппиус и Схакен 2011 – *Gippius A. A., Schaeken J.* On Direct Speech and Referential Perspective in Birchbark Letters no. 5 from Tver' and no. 286 from Novgorod // *Russian Linguistics* 35 (2011), № 1. P. 13–32.
- Гиро-Вебер 2011 – *Guiraud-Weber M.* Essais de syntaxe russe et contrastive. Aix-en-Provence: Publications de l'Université de Provence, 2011.
- Глисон 1981 – *Gleason W. J.* Moral Idealists, Bureaucracy, and Catherine the Great. New Brunswick, N. J.: Rutgers Univ. Press, 1981.
- Гмелин 1932 – *Gmelin H.* Das Prinzip der Imitatio in den romanischen Literaturen der Renaissance // *Romanische Forschungen*, 46 (1932). S. 83–360.
- Голдблатт 1984 – *Goldblatt H.* The Church Slavonic Language Question in the Fourteenth and Fifteenth Centuries: Constantine Kostenečki's *Skazanie izъjavljennо о pismenex* // *Aspects of the Slavic Language Question*. Ed. by R. Picchio and H. Goldblatt. New Haven: Yale Consilium on International and Area Studies, 1984. Vol. I. P. 67–98.
- Голдблатт 1986 – *Goldblatt H.* On «russkymi pismeny» in the Vita Constantini and Russian Religious Patriotism // *Studia slavica mediaevalia et humanistica* Riccardo Picchio dicata. M. Colucci, G. Dell'Agata, H. Goldblatt curantibus. Roma: Edizioni dell'Ateneo, 1986. Vol. I. P. 311–328.
- Голдблатт 1987 – *Goldblatt H.* Orthography and Orthodoxy. Constantine Kostenečki's Treatise on the Letters (*Skazanie izъjavljennо о pismenex*). Firenze: Le Lettere, 1987 [*Studia historica et philologica*, 16].
- Голдблатт 1991a – *Goldblatt H.* On the Language Beliefs of Ivan Vyšens'kyj and the Counter-Reformation // *Harvard Ukrainian Studies*, XV (1991), № 1/2. P. 7–34.
- Голдблатт 1991b – *Goldblatt H.* On the Reception of Ivan Vyshens'kyi among the Old Believers // *Harvard Ukrainian Studies*, XV (1991), № 3/4. P. 354–382.
- Голенищев-Кутузов 1913 – *Голенищев-Кутузов Дм.* «Русская Правда» и Византия. (Опыт историко-юридической монографии). Иркутск, 1913.
- Голубев 1971 – *Голубев И. Ф.* Встреча Симеона Полоцкого, Епифания Славинецкого и Паисия Лигарида с Николаем Спафарием и их беседа // *Труды Отдела древнерусской литературы* XXVI (1971). С. 294–301.
- Голубинский 1904 – *Голубинский Е. Е.* Вопрос о заимствовании домонгольскими Русскими от Греков так называемой сходуграфии, представлявшей собою у последних высший курс грамотности // *Известия ОРЯС*, IX (1904), кн. 2. С. 49–62.
- Голубинский, I–II – *Голубинский Е. Е.* История русской церкви. Т. I, ч. 1–2. Изд. 2-е. М., 1901–1904. Т. II, ч. 1–2. М., 1900–1917.
- Голышенко 1977 – *Голышенко В. С.* Введение // *Выголексинский сборник*. Под ред. С. И. Коткова. М.: «Наука», 1977. С. 7–59.
- Голышенко 1987 – *Голышенко В. С.* Мягкость согласных в языке восточных славян XI–XII вв. М.: «Наука», 1987.
- Голышенко и Дубровина 1997 – Книга нарицаема Козьма Индикоплов. Изд. подготовили В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина. М.: «Индрик», 1997.
- Гомонова 1958 – *Гомонова К. А.* Действительные причастия с суффиксом настоящего времени в Лаврентьевском списке летописи. Автореферат диссертации на соискание уч. степени кандидата филолог. наук. Л.: Ленинградский гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена, 1958.
- Горбач 1964 – *Horbatsch O.* Die vier Ausgaben der kirchenslavischen Grammatik von M. Smotrič'kyj. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1964 [*Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen, Reihe III, Frankfurter Abhandlungen zur Slavistik*, Bd. 7].

- Горбач 1967 – *Горбач О.* Рукописна «Граматыка словенская» Ивана Ужевича з 1643 й 1645 років // Український технічно-господарський інститут, Наукові записки, XIV (XVII). Мюнхен, 1967. С. 3–22.
- Городчанинов 1800 – [*Городчанинов Г. Н.*] Митрофанушка в отставке, комедия в пяти действиях, Российское сочинение Г. Г. М.: Университетская типография, у Ридигера и Клаудия, 1800.
- Горски 2003 – *Gorski Ph.* The Disciplinary Revolution: Calvinism and the Rise of the State in Early Modern Europe. Chicago, London: Univ. of Chicago Press, 2003.
- Горский и Невоструев, I–III – *Горский А. В., Невоструев К. И.* Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. Отд. I–III. М., 1855–1917.
- Горшкова и Хабургаев 1981 – *Горшкова К. В., Хабургаев Г. А.* Историческая грамматика русского языка. М.: «Высшая школа», 1981.
- Граве 1970 – *Граве Л. В.* Об одном стилистическом приеме в русском литературном языке XVI–XVII вв. // Ученые записки Смоленского гос. пед. ин-та им. К. Маркса, вып. XXIV: Русский язык в школе и в вузе. Смоленск, 1970. С. 204–216.
- Грандильевский 1907 – *Грандильевский А.* Родина Михаила Васильевича Ломоносова. Областной крестьянский говор. СПб.: Типография Академии наук, 1907 [Сборник ОРЯС, т. LXXXIII, № 5].
- Грановская 2005 – *Грановская Л. М.* Русский литературный язык в конце XIX и XX вв. Очерки. М.: «Элпис», 2005.
- Гранстрем 1970 – *Гранстрем Е. Е.* Почему митрополита Клим Смолятича называли «философом»? // Труды Отдела древнерусской литературы XXV (1970). С. 20–28.
- Гранстрем 1974 – *Гранстрем Е. Э.* Иоанн Златоуст в древней русской и южнославянской письменности (XI–XIV вв.) // Труды Отдела древнерусской литературы XXIX (1974). С. 186–193.
- Гранстрем 1980 – *Гранстрем Е. Э.* Иоанн Златоуст в древней русской и южнославянской письменности (XI–XV вв.) // Труды Отдела древнерусской литературы XXXV (1980). С. 345–375.
- Гранстрем и др. 1998 – Иоанн Златоуст в древнерусской и южнославянской письменности XI–XVI веков. Каталог гомилий. Сост. Е. Э. Гранстрем, О. В. Творогов, А. Вавеличюс. СПб.: «Дмитрий Буланин», 1998 [Abhandlungen der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 100. Patristica Slavica, hrsg. von H. Rothe, Bd. 4].
- Гренинг 1750 – *Groening M.* Российская грамматика. Stockholm, 1750.
- Гренобль 1998 – *Grenoble L. A.* Deixis and Information Packaging in Russian Discourse. Amsterdam and Philadelphia: Benjamins, 1998.
- Греч 1828 – *Греч Н. И.* Начальные правила русской грамматики. СПб., 1828.
- Греч 1830 – *Греч Н. И.* Учебная книга русской словесности. Изд. 2-е. Ч. IV. СПб.: В Типографии Императорского Воспитательного Дома, 1830.
- Греч, I–II – *Греч Н. И.* Чтения о русском языке. Ч. I–II. СПб.: В типографии Н. Греча, 1840.
- Григорьева 2004 – *Григорьева Т. М.* Три века русской орфографии (XVIII–XX вв.). М.: «Элпис», 2004.
- Гринберг 1966 – *Greenberg J. H.* Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements // Universals of Language. Ed. by J. H. Greenberg. 2nd ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1966. P. 73–113.
- Гринберг и Успенский 1992 – *Гринберг М. С., Успенский Б. А.* Литературная война Тредиаковского и Сумарокова в 1740-х – начале 1750-х годов // Russian Literature 31 (1992). P. 133–272.

- Гриц, Тренин, Никитин 1929 – *Гриц Т., Тренин В., Никитин М.* Словесность и коммерция (Книжная лавка А. Ф. Смирдина). М.: «Федерация», 1929.
- Гросжан и Соарес 1986 – *Grosjean F., Soares C.* Processing Mixed Language: Some Preliminary Findings // *Language processing in bilinguals: psycholinguistic and neuropsychological perspectives*. Ed. By Jyotsna Vaid. Hillsdale, N. J.: L. Erlbaum Associates, 1986. P. 145–179.
- Грот 1895 – Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии Наук [Под ред. Я. К. Грота]. Том I. А–Д. СПб., 1895.
- Грот 1899 – *Грот Я. К.* Филологические разыскания. Изд. 4-е, доп. Под ред. К. Я. Грота. СПб.: Типография Министерства путей сообщения, 1899.
- Грошель 1972 – *Gröschel B.* Die Sprache Ivan Vyšenskyjs. Untersuchungen und Materialien zur historischen Grammatik des Ukrainischen. Köln–Wien: Böhlau Verlag, 1972 [Slavistische Forschungen, Bd. 13].
- Грушевский 1923 – *Грушевський М. С.* Історія української літератури. Т. 2 (частина перша, книга друга). Київ, Львів, 1923.
- Грумель 1972 – *Les regestes des actes du Patriarcat de Constantinople. Vol. I, fasc. 2. Les regestes de 716 à 1042: 2. ed., rev. et corr. par V. Grumel.* Paris: Institute français d'études byzantines, 1972.
- Гуйар 1976 – *Gouillard J.* La religion des philosophes // *Travaux et Mémoires* 6 (1976). P. 305–324.
- Гуковская 1957 – *Гуковская З. В.* «Заметки о французском языке» Воля и проблема французского литературного языка XVII в. // *Ученые записки Ленинградского пед. ин-та им. Покровского*, т. XXVIII. Л., 1957. С. 207–242 [Факультет иностранных языков, вып. 2].
- Гуковский 2001 – *Гуковский Г. А.* Ранние работы по истории русской литературы XVIII века. Редакция и вступительная статья В. М. Живова. М.: «Языки русской культуры», 2001.
- Гурвич 1915 – *Гурвич Г. С.* «Правда воли монаршей» Феофана Прокоповича и ее западно-европейские источники. Юрьев: Тип. К. Маттисена, 1915.
- Гурон 1978 – *Gouron A.* La science juridique française aux XIe et XIIe siècles: diffusion du droit de Justinien et influences canoniques jusqu'à Gratien. Milano: Giuffrè, 1978.
- Гюйгенс 1724 – [Гюйгенс Х.] Книга мирозрения или мнение о небесноземных глобусах, и их украшениях. 2-е изд. М.: Печатный двор, 1724 [перевод В. Пауса].
- Даргон 1969 – *Dagron G.* Aux origines de la civilisation byzantine: langue de culture et langue d'État // *Revue Historique*, CCXLI (1969), fasc. 489. P. 23–56.
- Даргон 1970 – *Dagron G.* Les moines et la ville: Le monachisme à Constantinople // *Travaux et mémoires*, 4 (1970). P. 229–276.
- Даль, I–IV – *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Изд. 2-е. Т. I–IV. СПб.–М., 1880–1882 (репринт: М.: «Русский язык», 1978).
- Даль, ПСС, I–X – *Даль В. И.* (Казак Луганский). Полное собрание сочинений. Т. I–X. СПб.: М. О. Вольф, 1897–1898.
- Данн 2003 – *Marilyn Dunn.* The Emergence of Monasticism: From the Desert Fathers to the Early Middle Ages. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2003.
- Дашков 1810 – [Дашков Д. В.]. Рецензия на: Перевод двух статей из Лагарпа с примечаниями переводчика // *Цветник*, 1810, ч. VIII, № 11. С. 256–303; № 12. С. 404–467.
- Дашков 1811 – *Дашков Д.* О легчайшем способе возражать на критики. СПб.: Типография Шнора, 1811.
- Дворник 1947 – *Dvornik F.* The Kiev State and its Relations with Western Europe // *Transactions of the Royal Historical Society, Fourth Series*, vol. 29 (1947). P. 27–46.

- Дворник 1948 – *Dvornik F.* The Photian Schism. History and Legend. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1948.
- Дворник 1954 – *Dvornik F.* Les bénédictins et la christianisation de la Russie // *L'église et les églises, 1054–1954: neuf siècles de douloureuse séparation entre l'Orient et l'Occident. Études et travaux offerts à Lambert Beauduin. Vol. I.* Chevetogne: Éditions de Chevetogne, 1954. P. 323–349 [Collection Irénikon].
- Дворник 1964 – *Dvornik F.* The Significance of the Missions of Cyril and Methodius // *Slavic Review* 23 (1964), № 2. P. 195–211.
- Дворник 1970 – *Dvornik F.* Byzantine Missions among the Slavs. SS. Constantine-Cyril and Methodius. New Brunswick: Rutgers Univ. Press, 1970.
- Двухсотлетие... 1908 – Двухсотлетие русской гражданской азбуки 1708–1908 г. Издание Московской Синодальной Типографии. М., 1908.
- ДДГ – Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. Подг. к печати Л. В. Черепнин. М.–Л.: Издательство АН СССР, 1950.
- Де Сильва 1974 – *De Silva M. W. S.* Convergence in Diglossia: The Sinhalese Situation // *International Journal of Dravidian Linguistics* 3 (1974). P. 60–91.
- Девис и Тейлор 1990 – *Davis H. G., Taylor T. J.* (eds.). *Redefining Linguistics.* London and New York: Routledge, 1990.
- Дель'Агата 1983 – *Дель'Агата Г.* Бележки върху историята на езиковия въпрос в България // *Първи Международен конгрес по българистика: Доклади. Исторически развой на българския език.* София, 1983.
- Дель'Агата 1984 – *Dell'Agata G.* The Bulgarian Language Question from the Sixteenth to the Nineteenth Century // *Aspects of the Slavic Language Question.* Ed. by R. Picchio and H. Goldblatt. New Haven: Yale Consilium on International and Area Studies, 1984, vol. I. P. 157–188.
- Дель'Агата 1986 – *Dell'Agata G.* Unità e diversità nello slavo ecclesiastico: il punto di vista del copista // *Studia slavica mediaevalia et humanistica* Riccardo Picchio dicata. M. Colucci, G. Dell'Agata, H. Goldblatt curantibus. Roma: Edizioni dell'Ateneo, 1986, vol. 1. P. 175–191.
- Демина, I–III – *Демина Е. И.* Тихонравовский дамаскин. Болгарский памятник XVII в. Исследование и текст. Т. I–III. София: Изд-во на Българската академия на науките, 1968–1985.
- Денисов 1943 – *Denissoff E.* Maxime le Grec et l'Occident. Contribution à l'histoire de la pensée religieuse et philosophique de Michel Trivolis. Paris, Louvain: Desclée de Brouwer, 1943.
- Деррида 2000 – *Деррида Ж.* О грамматиологии. Пер. с франц. и вступ. статья Н. Автономовой. М.: «Ad marginem», 2000.
- Дёрфи 2005 – *Дёрфи Б.* Дательные самостоятельные конструкции в Суздальской летописи по Лаврентьевскому списку // *Studia Slavica Academiae scientiarum hungaricae*, vol. 50 (2005), № 3/4. P. 343–360.
- Джоунз 1978 – *Jones G. W.* The Polemics of the 1769 Journals: A Reappraisal // *Canadian-American Slavic Studies*, vol. 16 (1978), № 3/4. P. 432–443.
- Джоунз 1984 – *Jones G. W.* Nikolay Novikov, Enlightener of Russia. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1984.
- Дзиффер 1992 – *Ziffer G.* *Richerche sul testo e la tradizione della Vita Constantini.* Tesi di dottorato. Roma, 1992.
- Дидди 2001 – Патерик Римский. Диалоги Григория Великого в древнеславянском переводе. Изд. подготовлено К. Дидди. М.: «Индрик», 2001.
- Дизинг 1997 – *Diesing M.* Yiddish VP Order and the Typology of Object Movement in Germanic // *Natural Language and Linguistic Theory* 15 (1997), № 2. P. 369–427.

- Димитракопулос 1866 – Αρχιμ. Ἀνδρόνικος Διμιτράκοπουλος. Ἑκκλησιαστικὴ βιβλιοθήκη. Ἐν Λειψία, 1866.
- Динеков 1977 – Динеков П. Н. Значение Изборника Симеона-Святослава 1073 г. в развитии болгарской культуры // Изборник Святослава 1073 г. Сборник статей. Под ред. Б. А. Рыбакова. М.: «Наука», 1977. С. 272–279.
- Дмитриев 1958 – Повести о житии Михаила Клопского. Подг. текстов и статья Л. А. Дмитриева. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1958.
- Дмитриев 1985 – Дмитриев М. А. Московские элегии: Стихотворения. Мелочи из запаса моей памяти. М.: «Московский рабочий», 1985.
- Дмитриев 1998 – Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. Подготовка текста и примеч. К. Г. Боленко, Е. Э. Ляминой и Т. Ф. Нешумовой. М.: «Новое литературное обозрение», 1998.
- Дмитриев, I–II – Дмитриев И. И. Сочинения. Редакция и примеч. А. А. Флоридова. Т. I–II. СПб.: Изд. книгопродавца Я. Соколова, 1895.
- Доброклонский 1913 – Доброклонский А. П. Преп. Феодор, исповедник и игумен студийский. I часть. Его эпоха, жизнь и деятельность. Одесса, 1913 [Записки Императорского Новороссийского университета, т. 113].
- Довнар-Запольский 1899 – Довнар-Запольский М. В. Н. Тяпинский, переводчик евангелия на белорусское наречие // Известия Отделения русского языка и словесности Имп. АН, IV (1899), кн. 3. С. 1031–1064.
- Домострой 1994 – Домострой. Изд. подготовили В. В. Колесов, В. В. Рождественская. СПб., 1994 [Литературные памятники].
- Достал и Pote, II–V – Der altrussische Kondakar'. Auf der Grundlage des Blagověščenskij Nižegorodskij Kondakar'. Bd. 8,2 – 8,5. Hrsg. von A. Dostal und H. Rothe unter Mitarbeit von E. Trapp. Giessen: W. Schmitz Verlag, 1976–1980 [Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven, Editionen, 3].
- Достоевский, I–XXX – Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. В 30 т. Л., 1972–1990.
- Древнерусские патерики 1999 – Древнерусские патерики. Киево-Печерский патерик. Волоколамский патерик. Изд. подготовили Л. А. Ольшевская и С. Н. Травников. М.: «Наука», 1999.
- Дружинин 1887 – Дружинин В. Г. Три неизвестные произведения князя Антиоха Кантемира // Журнал Министерства народного просвещения, 1887, № 12. С. 194–204.
- Дружинин 1897 – Дружинин В. Г. (изд.). Житие святого Стефана епископа Пермского написанное Епифанием Премудрым. Издание Археографической Коммиссии. СПб., 1897.
- Дубин 2001 – Дубин Б. В. Кружковый стеб и массовые коммуникации: К социологии культурного перехода // Дубин Б. В. Слово – письмо – литература: Очерки по социологии современной культуры. М.: «НЛО», 2001. С. 163–174.
- Дурново 1928 – Durnovo N. Der Schwund von Endvokalen im Russischen // Zeitschrift für slavische Philologie 5 (1928), Hf. 1/2. S. 17–36.
- Дурново 1931 – Дурново Н. Н. К вопросу о времени распада общеславянского языка // Sborník prací I. Sjezdu slovanských filologů v Praze, 1929. Praha, 1931. S. 514–526.
- Дурново 1933 – Дурново Н. Н. Славянское правописание X–XII вв // Slavia, XII (1933), № 1–2. S. 45–82.
- Дурново 1969 – Дурново Н. Н. Введение в историю русского языка. Изд. 2-е. М.: «Наука», 1969.
- Дурново 2000 – Дурново Н. Н. Избранные работы по истории русского языка. М.: «Языки русской культуры», 2000.

- Дурново, IV–VI – *Дурново Н. Н.* Русские рукописи XI и XII вв. как памятники старославянского языка // *Южнославянский филолог*, IV (1924). С. 72–94; V (1925–1926). С. 93–117; VI (1926–1927). С. 11–64.
- Духовный Регламент 1904 – *Духовный Регламент Всепресветлейшего, державнейшего государя Петра Первого, императора и самодержца всероссийского*. М., 1904.
- Дьяконов 1912 – *Дьяконов М. А.* Очерки общественного и государственного строя древней Руси. Изд. 4-е. СПб.: «Право», 1912.
- Дювернуа 1869 – *Дювернуа Н.* Источники права и суд в древней Руси. Опыт по истории русского гражданского права. М., 1869.
- Дюрович 1992 – *Đurovič L.* Грамматика Академической гимназии // *Доломоновский период русского литературного языка. The Pre-Lomonosov Period of the Russian Literary Language* (Материалы конференции на Фалеруде, 20–25 мая 1989 г.). Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1992. Р. 171–211 [Slavica Suecana, vol. 1].
- Дюрович и Шоберг 1987 – *Đurovič L., Sjöberg A.* Древнейший источник парадигматики современного русского литературного языка // *Russian Linguistics* 11 (1987), № 2/3. Р. 255–278.
- Дягилева 2012 – *Дягилева И. Б.* Влияние газетной публицистики на литературный русский язык в первой половине XIX века // *Русский язык XIX века: роль личности в языковом процессе. Материалы IV Всероссийской научной конференции (18–20 октября 2011 г.)*. СПб.: «Наука», 2012. С. 3–7.
- Евангелие 1748 – *Евангелие*. М.: Синодальная типография, март 1748.
- Евгеньева, I–IV – *Словарь русского языка в четырех томах*. Под ред. А. П. Евгеньевой. 1-е изд. М.: Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1957–1961.
- Евгеньева, I²–IV² – *Словарь русского языка в четырех томах*. Под ред. А. П. Евгеньевой. 2-е изд. исправ. и дополненное. М.: «Русский язык», 1981–1984.
- Евдокимова 2008а – *Евдокимова А. А.* Греческие граффити Софии Киевской // *Orientalia et Classica: Труды Института восточных культур и античности. Вып. XIX. Аспекты компаративистики III*. М.: Изд-во РГГУ, 2008. С. 609–648.
- Евдокимова 2008б – *Евдокимова А. А.* Языковые особенности греческих граффити Софии Киевской. Автореферат диссертации на соискание уч. степени кандидата филолог. наук. СПб., 2008.
- Евстифеева 2008 – *Евстифеева Р. А.* Порядок слов в атрибутивных словосочетаниях Новгородской Первой летописи // *Русский язык в научном освещении*, № 2 (16), 2008. С. 162–202.
- Ежемесячные сочинения 1755–1764 (с указанием разных томов) – *Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие*. СПб., 1755–1764.
- Ейденаер 1968 – *Eideneier H.* Zur Sprache des Michael Glykas // *Byzantinische Zeitschrift* 61 (1968), № 1. S. 5–9.
- Екатерина 1770 – *Наказ Ея Императорского Величества Екатерины Вторыя Самодержицы Всероссийския, данный Комиссии о сочинении проекта нового уложения*. СПб.: Типография Имп. Академии наук, 1770 [издание с параллельными текстами на четырех языках].
- Еленски 1960 – *Еленски Й.* Редуцированные гласные в Святославовом изборнике 1073 г. // *Годишник на Софийския университет. Филолог. ф-т, т. LIV, кн. 1* (1960). С. 623–698.
- Еленский 1975 – *Еленский Й.* Расшифрована ли Гнездовская надпись // *Болгарская русистика*, 1975, № 5. С. 24–29.
- Емченко 2000 – *Емченко Е. Б.* Стоглав: Исследование и текст. М.: «Индрик», 2000.

- Еремин 1947 – *Еремин И. П.* Литературное наследие Феодосия Печерского // Труды Отдела древнерусской литературы V (1947). С. 159–184.
- Еремин 1949 – *Еремин И. П.* Киевская летопись как памятник литературы // Труды Отдела древнерусской литературы VII (1949). С. 87–97.
- Еремин 1966 – *Еремин И. П.* Литература древней Руси (Этюды и характеристики). Л.: «Наука», 1966.
- Есипов, I–II – *Есипов Г. В.* Раскольничьи дела XVIII столетия. Т. I–II. СПб.: «Общественная польза», 1861–1862.
- Живов 1984 – *Живов В. М.* Правила и произношение в русском церковнославянском правописании XI–XIII века // *Russian Linguistics* 8 (1984), № 3. Р. 251–293.
- Живов 1985а – *Живов В. М.* Язык Феофана Прокоповича и роль гибридных вариантов церковнославянского в истории славянских литературных языков // *Советское славяноведение*, 1985, № 3. С. 70–85.
- Живов 1985б – *Живов В. М.* Рецензия на книгу: Feofan Prokopovič. De arte rhetorica libri X. Hrsg. von R. Lachmann. Köln–Wien, 1982 // *Известия АН СССР. Серия литературы и языка*, т. XLIV (1985), вып. 3. С. 274–278.
- Живов 1986а – *Живов В. М.* Славянские грамматические сочинения как лингвистический источник. О книге: D. S. Worth. The Origins of Russian Grammar... Columbus, 1983 // *Russian Linguistics* 10 (1986), № 1. Р. 73–113.
- Живов 1986б – *Живов В. М.* Новые материалы для истории перевода «Географии генеральной» Бернарда Варения // *Известия АН СССР. Серия лит-ры и языка*, т. XLV (1986), вып. 3. С. 246–260.
- Живов 1986в – *Живов В. М.* Азбучная реформа Петра I как семиотическое преобразование // Труды по знаковым системам. Вып. 19. Тарту, 1986. С. 54–67 [Ученые записки Тартуского гос. университета, вып. 720].
- Живов 1987 – *Живов В. М.* Проблемы формирования русского извода церковнославянского языка на начальном этапе // *Вопросы языкознания*, 1987, № 1. С. 46–65.
- Живов 1988а – *Живов В. М.* История русского права как лингво-семиотическая проблема // *Semiotics and the History of Culture. In Honor of Jurij Lotman*. Columbus, 1988. Р. 46–128.
- Живов 1988б – *Живов В. М.* Роль русского церковнославянского в истории славянских литературных языков // *Актуальные проблемы славянского языкознания*. Под ред. К. В. Горшковой, Г. А. Хабургаева. М.: Изд-во Московского ун-та, 1988. С. 49–98.
- Живов 1988в – *Живов В. М.* Смена норм в истории русского литературного языка XVIII века // *Russian Linguistics* 12 (1988). Р. 3–47.
- Живов 1988г – *Живов В. М.* Рец. на: Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). Комментарии и словоуказатель к берестяным грамотам (из раскопок 1951–1983 гг.). М.: «Наука», 1986 // *Вопросы языкознания*, 1988, № 4. С. 145–156.
- Живов 1990 – *Живов В. М.* «Простота» языка и ее реализации: о языке книги «Статир» (1683–1684 гг.) // *Зборник Матице српске за филологију и лингвистику*, XXXIII (1990). Посвећено професору др Александру Младеновићу поводом 60-годишњице живота. Нови Сад, 1990. С. 141–154.
- Живов 1992 – *Живов В. М.* Из истории русской грамматики: итеративы и имперфективы в структуре глагольной парадигмы // *Доломоносовский период русского литературного языка. The Pre-Lomonosov Period of the Russian Literary Language (Материалы конференции на Фагереде, 20–25 мая 1989 г.)*. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1992. Р. 247–270 [*Slavica Suecana*, vol. 1].

- Живов 1995а – Живов В. М. Usus scribendi. Простые претериты у летописца-самоучки // Russian Linguistics 19 (1995), № 1. Р. 45–75.
- Живов 1995б – Живов В. М. Светский и духовный литературный язык в России XVIII века: взаимодействие и взаимоотталкивание // Russica Romana, II (1995). Р. 65–81.
- Живов 1996 – Живов В. М. Язык и культура в России XVIII века. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996.
- Живов 1997 – Живов В. М. Заметки об историческом синтаксисе русского языка (По поводу книги: G. Hüttl-Folter. Syntaktische Studien zur neueren russischen Literatursprache. Die frühen Übersetzungen aus dem Französischen. Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag, 1996. 319 S.) // Вопросы языкознания, 1997, № 4. С. 58–69.
- Живов 2002а – Живов В. М. Литературный язык и язык литературы в России XVIII века // Russian Literature, LII (2002). Special Issue, 18th Century Russian Literature. Р. 1–53.
- Живов 2002б – Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М.: «Языки славянской культуры», 2002.
- Живов 2002в – Живов В. М. Формы инфинитива в Житии протопопы Аввакума // Rossica Romana, IX (2002). In ricordo di M. Colucci – II. Р. 277–293.
- Живов 2004а – Живов В. М. Очерки исторической морфологии русского языка XVII–XVIII веков. М.: «Языки славянской культуры», 2004.
- Живов 2004б – Живов В. М. Из церковной истории времен Петра Великого: Исследования и материалы. М.: «Новое лит. обозрение», 2004.
- Живов 2005 – Живов В. М. Ранняя восточнославянская агиография и проблема жанра в древнерусской литературе // Язык. Личность. Текст. Сб. статей к 70-летию Т. М. Николаевой. Под ред. В. Н. Топорова. М.: «Языки славянских культур», 2005. С. 720–734.
- Живов 2006а – Живов В. М. Восточнославянское правописание XI–XIII века. М.: «Языки славянской культуры», 2006.
- Живов 2006б – Живов В. М. На возвратном пути к имперской благопристойности: Заметки о Федеральном законе Российской Федерации от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ О государственном языке Российской Федерации // The Russian Language Journal 56 (2006). Р. 57–66.
- Живов 2007 – Живов В. М. Язык и стиль А. П. Сумарокова // Русский язык в научном освещении, № 1 (13), 2007. С. 7–51.
- Живов 2008а – Живов В. М. ЖД/Ж: чтение, произношение и правописание в XI–XIII веке // Miscellanea Slavica. Сборник статей к 70-летию Бориса Андреевича Успенского. М.: «Индрик», 2008. С. 239–255.
- Живов 2008б – Живов В. М. Референтная структура и порядок слов: Дателный самостоятельный в двух древних церковнославянских текстах // Русский язык в научном освещении, № 1 (15), 2008. С. 5–56.
- Живов 2008в – Живов В. М. Чувствительный национализм: Карамзин, Ростопчин, национальный суверенитет и поиски национальной идентичности // Новое литературное обозрение, № 91, 2008. С. 114–140.
- Живов 2009а – Zhivov V. The Igor Tale from the Perspective of Cultural History // Harvard Ukrainian Studies, XXVIII (2006), № 1–4. Rus' Writ Large: Language, Histories, Cultures. Essays Presented in Honor of Michael S. Flier on His Sixty-Fifth Birthday. Ed. by H. Goldblatt and N. S. Kollmann. Cambridge, Mass., 2009. Р. 353–362.
- Живов 2009б – Живов В. М. Время и его собственник в России раннего Нового времени (XVII–XVIII века) // Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени. Под ред. В. М. Живова. М.: «Языки славянских культур», 2009. С. 27–101.

- Живов 2009в – Живов В. М. Грѣховодник // Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени. Под ред. В. М. Живова. М.: «Языки славянских культур», 2009. С. 405–430.
- Живов 2011а – Zhivov V. On the Language of *The Book of Degrees of the Royal Genealogy* // *The Book of Royal Degrees and the Genesis of Russian Historical Consciousness*. Ed. by G. Lenhoff and A. Kleimola. Bloomington. In.: Slavica, 2010. P. 141–153.
- Живов 2011б – Живов В. М. Видения света и проблемы русского средневекового исихазма // Огонь и свет в сакральном пространстве. Материалы международного симпозиума. Под ред. А. М. Лидова. М.: «Индрик», 2011. С. 37–41.
- Живов 2012а – Живов В. М. Суеверия и забобоны // Эволюция понятий в свете истории русской культуры. Под ред. В. М. Живова и Ю. В. Кагарлицкого. М.: «Языки славянских культур», 2012. С. 130–150.
- Живов 2012б – Живов В. М. Заметки о епитимийниках как источнике по истории русской покаянной дисциплины // *From Medieval Russian Culture to Modernism. Studies in Honor of Ronald Vroon*. Ed. by L. Fleishman, A. Ospovat, and F. Poljakov. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012. P. 15–22 [Russian Culture in Europe, vol. 8].
- Живов и Кайперт 1996 – Живов В., Кайперт Г. О месте грамматики И.-В. Пауса в развитии русской грамматической традиции: интерпретация отношений русского и церковнославянского // Вопросы языкознания, 1996, № 6. С. 3–30.
- Живов и Тимберлейк 1997 – Живов В., Тимберлейк А. Расставаясь со структурализмом (Тезисы для дискуссии) // Вопросы языкознания, 1997, № 3. С. 3–14.
- Живов и Успенский 1975 – Живов В. М., Успенский Б. А. Типологические аспекты диглоссии // *Soomi-Ugri rahvad ja idamaad. Orientalistikakabineti teaduslik konverents* 12–14. XI. 1975. Tartu, 1975. P. 77–83.
- Живов и Успенский 1983 – Живов В. М., Успенский Б. А. Выдающийся вклад в изучение русского языка XVII века. О книге: G. Kotošixin. *O Rossii v carstvovanije Alekseja Mixajloviča*. Ed. by A. E. Pennington. Oxford, 1980 // *International Journal of Slavic Linguistics and Poetics* 28 (1983). P. 149–180.
- Живов и Успенский 1984 – Живов В. М., Успенский Б. А. Метаморфозы античного язычества в истории русской культуры XVII–XVIII вв. // Античность и культура в искусстве последующих веков. М., 1984. С. 204–285 (Гос. музей изобразительных искусств. Материалы научной конференции. 1982). Цит. по: Живов 2002б. С. 461–531.
- Живов и Успенский 1986 – Живов В. М., Успенский Б. А. *Grammatica sub specie theologiae*. Претеритные формы глагола *быти* в русском языковом сознании XVI–XVIII веков // *Russian Linguistics* 10 (1986). P. 259–279.
- Жирмунский 1936 – Жирмунский В. М. Национальный язык и социальные диалекты. Л.: «Художественная литература», 1936.
- Житецкий 1903 – Житецкий П. И. К истории литературной русской речи в XVIII в. // Известия ОРЯС, VIII (1903), кн. 2. С. 1–51.
- Жолобов и Крысько 2001 – Жолобов О. Ф., Крысько В. Б. Двойственное число. М.: «Азбуковник», 2001 [Историческая грамматика древнерусского языка. Под ред. В. Б. Крысько. Т. II].
- Жуковская 1957 – Жуковская Л. П. Из истории языка северо-восточной Руси в середине XIV в. (Фонетика галичского говора по материалам Галичского евангелия 1357 г.) // Труды Института языкознания АН СССР, т. VIII. М.: Изд-во АН СССР, 1957. С. 5–106.
- Жуковская 1959 – Жуковская Л. П. Новгородские берестяные грамоты. М.: Гос. учебно-педагогическое изд-во, 1959.

- Жуковская 1977 – Жуковская Л. П. Изборник 1073 г. Судьба книги, состояние и задачи изучения // Изборник Святослава 1073 г. Сборник статей. Под ред. Б. А. Рыбакова. М.: «Наука», 1977. С. 5–31.
- Жуковская 1982 – Жуковская Л. П. К вопросу о южнославянском влиянии на русскую письменность (Житие Анисьи по спискам 1282–1632 гг.) // История русского языка: Исследования и тексты. М.: «Наука», 1982. С. 227–287.
- Жуковская 1983 – Апракос Мстислава Великого. Под ред. Л. П. Жуковской. М.: «Наука», 1983.
- Жуковская 1987а – Древнерусский литературный язык в его отношении к старославянскому. Под ред. Л. П. Жуковской. М.: «Наука», 1987.
- Жуковская 1987б – Жуковская Л. П. Грецизация и архаизация русского письма 2-й пол. XV – 1-й пол. XVI в. (Об ошибочности понятия «второе южнославянское влияние») // Древнерусский литературный язык в его отношении к старославянскому. М.: «Наука», 1987. С. 144–176.
- Жульева 1973а – Жульева В. Из истории глагольных форм прошедшего времени (На материале «Пискаревского летописца») // Проблемы обучения иностранным языкам, т. 8. Владимир, 1973. С. 326–334.
- Жульева 1973б – Жульева В. Глагольные формы прошедшего времени в «Повести о Савве Грудцыне» // Проблемы обучения иностранным языкам, т. 8. Владимир, 1973. С. 335–345.
- Журавский 1968 – Жураўскі А. І. Мова друкаваных выданняў Ф. Скарыны // 450 год беларускага кнігадрукавання. Мінск: «Навука і тэхніка», 1968. С. 277–304.
- Журавский 1979 – Журавский А. И. Язык предисловий Франциска Скорины // Белорусский просветитель Франциск Скорина и начало книгопечатания в Белоруссии и Литве. М.: «Наука», 1979. С. 85–93 [Федоровские чтения 1977].
- Забелин, I–II – Забелин И. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. Т. I. Часть I–II. М.: «Языки русской культуры», 2000.
- Загоровский 1884 – Загоровский А. О разводе по русскому праву. Харьков: Тип. М. Ф. Зильбергера, 1884.
- Законодательство Петра I – Законодательство Петра I. Под ред. А. А. Преображенского, Т. Е. Новицкой. М.: «Юридическая литература», 1997.
- Зализняк 1967 – Зализняк А. А. Русское именное словоизменение. М., 1967.
- Зализняк 1985 – Зализняк А. А. От праславянской акцентуации к русской. М.: «Наука», 1985.
- Зализняк 1986 – Зализняк А. А. Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). М.: «Наука», 1986. С. 89–219.
- Зализняк 1987 – Зализняк А. А. О языковой ситуации в древнем Новгороде // Russian Linguistics 11 (1987), № 2/3. Р. 115–132.
- Зализняк 1990 – Зализняк А. А. «Мерило праведное» XIV века как акцентологический источник. München: Otto Sagner, 1990 [Slavistische Beiträge, 266 Bd.].
- Зализняк 1992 – Зализняк А. А. Правило отпадения конечных гласных в русском языке // Le mot, les mots, les bon mots. Word, words, witty words. Hommage a Igor Mel'ëuck à l'occasion de son soixantième anniversaire. Montréal, 1992. Р. 295–303.
- Зализняк 1993 – Зализняк А. А. К изучению языка берестяных грамот // Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984–1989 гг.). М.: «Наука», 1993. С. 191–321.

- Зализняк 1995 – Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. М.: Школа «Языки русской культуры», 1995.
- Зализняк 1997 – Зализняк А. А. Об одном ранее неизвестном рефлексе сочетаний типа *ТъгТ в древненовгородском диалекте // Балто-славянские исследования. 1988–1996. М.: «Индрик», 1997. С. 250–258.
- Зализняк 1999 – Зализняк А. А. О древнейших кириллических абecedариях // Поэтика. История литературы. Лингвистика. Сборник к 70-летию Вяч. Вс. Иванова. М.: ОГИ, 1999. С. 543–576.
- Зализняк 2002а – Зализняк А. А. «Русское именное словоизменение» с приложением избранных работ по современному русскому языку и общему языкознанию. М.: «Языки славянской культуры», 2002.
- Зализняк 2002б – Зализняк А. А. Тетралогия «От язычества к Христу» из Новгородского кодекса XI века // Русский язык в научном освещении, № 2 (4), 2002. С. 35–56.
- Зализняк 2003а – Зализняк А. А. Древнейшая кириллическая азбука // Вопросы языкознания, 2003, № 2. С. 3–31.
- Зализняк 2003б – Зализняк А. А. Проблемы изучения Новгородского кодекса XI века, найденного в 2000 г. // Славянское языкознание. XIII Международный съезд славистов. Любляна, 2003 г. Доклады российской делегации. М.: «Индрик», 2003. С. 190–212.
- Зализняк 2003в – Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка: Словоизменение. Изд. 4-е, испр. и доп. М.: «Русские словари», 2003.
- Зализняк 2004а – Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. Изд. 2-е. М.: «Языки славянской культуры», 2004.
- Зализняк 2004б – Зализняк А. А. К изучению древнерусских надписей // Янин В. Л., Зализняк А. А., Гиппиус А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1997–2000 гг.). Том XI. М.: «Русские словари», 2004. С. 233–287.
- Зализняк 2007 – Зализняк А. А. «Слово о полку Игореве»: Взгляд лингвиста. Изд. 2-е, доп. М.: «Рукописные памятники Древней Руси», 2007.
- Зализняк 2008а – Зализняк А. А. Из наблюдений над языком Афанасия Никитина // Miscellanea Slavica. Сборник статей к 70-летию Бориса Андреевича Успенского. М.: «Индрик», 2008. С. 150–163.
- Зализняк 2008б – Зализняк А. А. «Слово о полку Игореве»: Взгляд лингвиста. Изд. 3-е, доп. М.: «Рукописные памятники Древней Руси», 2008.
- Зализняк 2008в – Зализняк А. А. Древнерусские энклитики. М.: «Языки славянских культур», 2008.
- Зализняк 2010–2011, I–II – Зализняк А. А. Труды по акцентологии. Т. I–II. М.: «Языки славянских культур», 2010–2011.
- Зализняк и Янин 1992–1993 – Зализняк А. А., Янин В. Л. Вкладная грамота Варлаама Хутынского // Russian Linguistics 16 (1992–1993). P. 185–202.
- Зализняк и Янин 2001 – Зализняк А. А., Янин В. Л. Новгородский кодекс первой четверти XI в. – древнейшая книга Руси // Вопросы языкознания, 2001, № 5. С. 3–25.
- Зализняк, Торопова, Янин 2011 – Зализняк А. А., Торопова Е. В., Янин В. Л. Берестяные грамоты из раскопок 2010 г. в Новгороде и Старой Руссе // Вопросы языкознания, 2011, № 4. С. 3–19.
- Записки ОР ГБЛ, I–XLIX – Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина. Записки отдела рукописей. Т. I–L. М., 1934–1995.
- Запольская 1986 – Запольская Н. Н. Функционирование причастий в русском литературном языке конца XVII–XVIII в. Автореферат дис. на соискание уч. степени кандидата филолог. наук. М., 1986.

- Запольская 1999 – *Запольская Н. Н.* «История Российская» В. Н. Татищева: грамматическая дистанция между «древним наречием» и «новым наречием» // Эволюция грамматической мысли славян: XIV–XVIII вв. Под ред. Н. Н. Запольской. М.: Институт славяноведения РАН, 1999. С. 131–139.
- Зарубин 1932 – Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII вв. и их переделкам. Подготовил к печати Н. Н. Зарубин. Л.: Изд-во АН СССР, 1932 [Памятники древнерусской литературы, вып. 3].
- Захарьин 1991 – *Захарьин Д. Б.* О немецком влиянии на русскую грамматическую мысль: 'Книга глѣмая Донатус меньшеи' // Russian Linguistics 15 (1991), № 1. P. 1–29.
- Захарьин 1995 – *Захарьин Д. Б.* Европейские научные методы в традиции старинных русских грамматик (XV – сер. XVIII в.). München: Verlag Otto Sagner, 1995 [Specimina philologiae slavicae, Supplementband 40].
- Зашев 2005 – Λεῖψων πνευματικός. Pratum spirituale. Фототипно издание (Cod. Florentinus Mediceus Laurentianus, Plut. X, 3). Подготовка на изд. и встъпительна студия Е. Д. Зашев. София: «Текст-консулт», 2005.
- Зеemann 1983 – *Seemann K.-D.* Die «Diglossie» und die Systeme der sprachlichen Kommunikation im alten Rußland // Slavistische Studien zum IX. Internationalen Slavistenkongress in Kiev 1983. Hrsg. von R. Olesch. Köln–Wien: Böhlau Verlag, 1983. S. 553–561 [Slavistische Forschungen, 40. Bd.].
- Зеemann 1987a – *Seemann K.-D.* Zum Verhältnis von Narration und Gattung im slavischen Mittelalter // Gattung und Narration in den alteren slavischen Literaturen. Ed. K.-D. Seemann. Wiesbaden, 1987. S. 207–221.
- Зеemann 1987b – *Seemann K.-D.* Genres and the Alterity of Old Russian Literature // Slavic and East European Journal 31 (1987). P. 246–258.
- Зеленин, I–III – *Зеленин Д. К.* Описание рукописей Ученого архива Императорского Русского Географического общества. Вып. I–III. Пг., 1914–1916 (продолжающаяся пагинация).
- Земская 1973 – *Земская Е. А.* (ред.). Русская разговорная речь. М.: «Наука», 1973.
- Земская 2003 – *Земская Е. А.* К вопросу о времени возникновения русского литературного разговорного языка (по данным дневников и частной переписки рубежа XIX–XX вв.) // Поэтика. Стихосложение. Лингвистика. К 50-летию научной деятельности И. И. Ковтуновой. Под ред. Е. В. Красильниковой и А. Г. Грека. М.: «Азбуковник», 2003. С. 381–394.
- Земская 2004 – *Земская Е. А.* Язык как деятельность: Морфема. Слово. Речь. М.: «Языки славянской культуры», 2004.
- Земская, Китайгородская, Ширяев 1981 – *Земская Е. А., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н.* Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М.: «Наука», 1981.
- Зеньковский 1970 – *Зеньковский С.* Русское старообрядчество. Духовные движения семнадцатого века. München: Wilhelm Fink Verlag, 1970 [Forum Slavicum, Bd. 21].
- Зизаний 1596 – *Зизаний Л.* Грамматика словенска съвершенна искусства осми частей слова. В Вилни, 1596. Цит. по репринту: Київ: «Наукова думка», 1980.
- Зимин 1999 – *Зимин А. А.* Правда Русская. М.: «Древлехранилище», 1999.
- Зиновий Отенский 1863 – *Зиновий* [Отенский]. Истины показание к вопросившим о новом учении. Казань: Университетская типография, 1863.
- Зитцер 2004 – *Zitser E. A.* The Transfigured Kingdom: Sacred Parody and Charismatic Authority at the Court of Peter the Great. Ithaca and London: Cornell Univ. Press, 2004.
- Зифкеc 1970 – *Siefkes F.* Zur Form des Žitije Feodosija. Vergleichende Studien zur byzantinischen und altrussischen Literatur. Bad Homburg, Berlin, Zürich: Verlag Gehlen, 1970 [Osteu-

- ropastudien der Hochschulen des Landes Hessen, Reihe III. Frankfurter Abhandlungen zur Slavistik, 12. Bd.].
- Знаменский 1875 – *Знаменский П. В.* Чтения из истории русской церкви за время царствования Екатерины II // Православный собеседник, 1875, № 2. С. 99–143; № 4. С. 392–418; № 5. С. 3–44; № 8. С. 327–347.
- Иван Вишенский 1955 – *Иван Вишенский*. Сочинения. Подготовка текста, статья и комм. И. П. Еремина. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1955.
- Иванов 1969 – *Иванов А. И.* Литературное наследие Максима Грека. Характеристика, атрибуции, библиография. Л.: «Наука», 1969.
- Иванов 1992 – *Ivanov S. A.* Slavic Jesters and the Byzantine Hippodrome // *Dumbarton Oaks Papers*, 46 (1992). P. 129–132 [*Homo byzantinus. Papers in Honor of Alexander Kazhdan*. Ed. by A. Cutler and S. Franklin].
- Иванов 1995 – Древнерусская грамматика XII–XIII вв. Отв. редактор В. В. Иванов. М.: «Наука», 1995.
- Иванов 2003 – *Иванов С. А.* Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина? М.: «Языки славянской культуры», 2003.
- Иванов 2005 – *Иванов С. А.* Блаженные похабы: Культурная история юродства. М.: «Языки славянских культур», 2005.
- Иванов 2008 – *Иванов С. А.* Несколько замечаний о византийском контексте «Сказания о Борисе и Глебе» // Церковь в общественной жизни славянских народов в эпоху Средневековья и раннего Нового времени. Материалы конференции. М.: «Индрик», 2008. С. 37–39 [«Славяне и их соседи», XXIV конференция].
- Иванов 2009 – *Иванов С. А.* Несколько замечаний о византийском контексте борисоглебского культа // Борисо-глебский сборник. *Collectanea borisoglebica*. Вып. I. Под ред. Константина Цукермана. Paris, 2009. P. 353–364 [*Occasional Monographs*, II. Published by the Ukrainian National Committee for Byzantine Studies].
- Иванов и Топоров 1960 – *Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н.* Санскрит. М.: Изд-во восточной лит-ры, 1960.
- Иванов и Топоров 1978 – *Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н.* О языке древнего славянского права (к анализу нескольких ключевых терминов) // Славянское языкознание. VIII международный съезд славистов, Загреб–Любляна, сентябрь 1978 г. Доклады советской делегации. М.: «Наука», 1978. С. 221–240.
- Иванов и Топоров 1981 – *Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н.* Древнее славянское право: архаические мифопоэтические основы и источники в свете языка // Формирование раннефеодальных славянских народностей. М.: «Наука», 1981. С. 10–31.
- Игнатий Римский-Корсаков 1855 – Три послания Блаженного Игнатия, Митрополита Сибирского и Тобольского. Третье послание // Православный собеседник, 1855, кн. 2. С. 39–166.
- Изб. 1073 – Изборник Святослава 1073 года. Факсимильное издание. М.: «Книга», 1983.
- Изб. 1076 – Изборник 1076 года. Изд. подготовили В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина, В. Г. Демьянов, Г. Ф. Нефедов. М.: «Наука», 1965.
- Иконников 1915 – *Иконников В. С.* Максим Грек и его время: Историческое исследование. Киев: Типография Имп. Ун-та св. Владимира, 1915.
- Илиевски 1972 – *Илиевски П.* Крнински дамаскин. Скопје, 1972.
- Ильченко 2011 – *Ильченко О. С.* История категории одушевленности в русском языке. СПб.: «Нестор-история», 2011.
- Ингем 1965 – *Ingham N. W.* Czech Hagiography in Kiev: The Prisoner Miracles of Boris and Gleb // *Die Welt der Slaven* 10 (1965). S. 166–182.

- Ингем 1973 – *Ingham N. W.* The Sovreign as Martyr, East and West // *Slavic and East European Journal* 17 (1973). P. 1–17.
- Ингем 1984 – *Ingham N. W.* The Martyred Prince and the Question of Slavic Cultural Continuity in the Early Middle Ages // *Medieval Russian Culture*. Ed. by H. Birnbaum and M. Flier. Berkeley, Los Angeles, London: Univ. of California Press, 1984. P. 31–53 (*California Slavic Studies*, XII).
- Иоаким 1683 – Слово благодарственное Господу Богу, за его великую милость: яко благоволит чудесным своим промыслом, Церковь свою святую, от тоя отступников, и злых наветников, в лето 7190, месяца июлиа, в день 5 избавити. От святейшаго великаго Господина Кир Иоакима, милостию Божиею Патриарха московскаго, и всея России [М., 1683].
- Иорданиди и Крысько 2000 – *Иорданиди С. И., Крысько В. Б.* Множественное число именного склонения. М.: «Азбуковник», 2000 [Историческая грамматика древнерусского языка. Под ред. В. Б. Крысько. Т. I].
- Иорданский 1960 – *Иорданский А. М.* История двойственного числа в русском языке. Владимир, 1960.
- Иосиф Волоцкий 1855 – *Иосиф Волоцкий*. Просветитель. Казань, 1855.
- Исаевич 1990 – *Isaevych I.* Greek Culture in the Ukraine: 1550–1650 // *Modern Greek Studies Yearbook* 6 (1990). P. 97–122.
- Исаченко 1970 – *Isačenko A. V.* Die Gräzismen des Grossfürsten // *Zeitschrift für slavische Philologie* 35 (1970), Hf. 1. S. 97–103.
- Исаченко 1974 – *Issatschenko A.* Vorgeschichte und Entstehung der modernen russischen Literatursprache // *Zeitschrift für slavische Philologie* 37 (1974), Hf. 2. S. 235–274.
- Исаченко 1975 – *Issatschenko A.* Mythen und Tatsachen über die Entstehung der russischen Literatursprache. Wien, 1975 [Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Sitzungberichte. 298. Bd., 5. Abhandlung].
- Исаченко 1976 – *Isačenko A. V.* Opera selecta. München: Fink Verlag, 1976 [Forum slavicum, Bd. 46].
- Исаченко, I–II – *Issatschenko A.* Geschichte der russischen Sprache. 1. Band. Von den Anfängen bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. 2. Band. Das 17. und 18. Jahrhundert. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1980–1983.
- Истрин 1893 – *Истрин В.* Александрия русских хронографов. Исследование и текст. М.: Университетская типография, 1893.
- Истрин 1922 – *Истрин В. М.* Очерк истории древнерусской литературы. Пг.: «Наука и школа», 1922.
- Истрин 1925 – *Истрин В. М.* Договоры русских с греками X века // *Известия ОРЯС*, XXIX (1924). Л., 1925. С. 383–393.
- Истрин 1926 – *Истрин В. М.* «Иудейская война» Иосифа Флавия в древнем славяно-русском переводе // *Ученые записки Высшей школы г. Одессы. Отдел гуманитарно-общественных наук*, т. 2. Одесса, 1926. С. 27–40.
- Истрин, I–III – *Истрин В. М.* Книги временныя и образныя Георгия Мниха. Хроника Георгия Амартола в древнем славянском переводе. Т. I–III. Пг., Л.: Изд. Отделения рус. языка и словесности Российской АН, 1920–1930.
- Истрина 1923 – *Истрина Е. С.* Синтаксические явления Синодального списка I-й Новгородской летописи. Пг., 1923 [Из Известий ОРЯС, тт. XXIV и XXVI].
- Йовайн 1977 – *Iovine M. S.* The history and the historiography of the Second South Slavic Influence. (Ph. D. dissertation, Yale University). Ann Arbor, Michigan, 1977.

- Йокояма 1986 – *Yokoyama O. T.* Discourse and word order. Amsterdam; Philadelphia: J. Benjamins Pub. Co., 1986.
- Йокояма 2005 – *Йокояма О.* Когнитивная модель дискурса и русский порядок слов. М.: «Языки славянской культуры», 2005.
- Йордаль 1973 – *Йордаль К.* Греко-русские синтаксические связи // *Scando-Slavica*, XIX (1973). P. 143–164.
- Каждан 1964 – *Каждан А. П.* Два новых византийских памятника XII столетия // *Византийский временник*, XXIV (1964). С. 58–90.
- Каждан 1988–89 – *Kazhdan A.* Rus'-Byzantine Princely Marriages in the Eleventh and Twelfth Centuries // *Harvard Ukrainian Studies*, XII/XIII (1988/1989). P. 414–429 [Proceedings of the International Congress Commemorating the Millennium of Christianity in Rus'-Ukraine. Ed. by O. Pritsak and I. Ševčenko].
- Казаков 1976 – *Казаков Б. И.* Формы имен существительных в языке московского летописного свода конца XV века (Единственное число). Душанбе, 1976.
- Казакова 1960 – *Казакова Н. А.* Вассиан Патрикеев и его сочинения. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1960.
- Кайе 1994 – *Kaye A.* Formal Vs. Informal in Arabic: Diglossia, Triglossia, Tetraglossia, etc. Multiglossia-Polyglossia Viewed as a Continuum // *Journal of Arabic Linguistics* 27 (1994). P. 47–66.
- Кайзер 1980 – *Kaiser D. H.* The Growth of the Law in Medieval Russia. Princeton: Princeton Univ. Press, 1980.
- Кайперт 1970 – *Keipert H.* Zur Geschichte des kirchenslavischen Wortguts im Russischen // *Zeitschrift für slavische Philologie* 35 (1970), Hf. 1. S. 147–149.
- Кайперт 1983 – *Keipert H.* Die Petersburger «Teutsche Grammatica» und die Anfänge der Russistik in Rußland // *Studia slavica in honorem viri doctissimi Olexa Horbatsch*. Hrsg. von Gerd Freidhof; P Kosta; M Schütrumpf. Bd. 3. München: Verlag Otto Sagner, 1983. S. 77–140.
- Кайперт 1985 – *Keipert H.* Nil Kurljatev und die russische Sprachgeschichte // *Litterae slavicae Medii aevi Francisco Venceslao Mareš Sexagenario Oblatae*. Hrsg. von J. Reinhart. München: Verlag Otto Sagner, 1985. S. 143–156.
- Кайперт 1987 – *Keipert H.* Kirchenslavisch und Latein. Über die Vergleichbarkeit zweier mittelalterlicher Kultursprachen // *Sprache und Literatur Altrusslands. Aufsatzsammlung*. Hrsg. von G. Birkfellner. Münster: Aschendorff, 1987. S. 81–109.
- Кайперт 1988a – *Keipert H.* Einleitung / In: F. Polikarpov. *Leksikon trejazyčnyj Dictionarium trilingue*. Moskva 1704. Nachdruck und Einleitung von H. Keipert. München, 1988 [Specimina philologiae slavicae, 79. Bd.].
- Кайперт 1988b – *Keipert H.* The Sources of Michael Groening's *Rossijskaja grammatika* (Stockholm, 1750) // *Oxford Slavonic Papers*, XXI (1988). P. 89–104.
- Кайперт 1988в – *Keipert H.* Die Christianisierung Rußlands als Gegenstand der russischen Sprachgeschichte // *Tausend Jahre Christentum in Rußland. Zum Millennium der Taufe der Kiever Rus'*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1988. S. 313–346.
- Кайперт 1989a – *Keipert H.* Deutsches im russischen Donat // *Die Welt der Slaven* 34 (1989). S. 236–258.
- Кайперт 1989b – *Keipert H.* Groening und Schwanwitz // «Прими собрание пестрых глав». Slavistische und slavenkundliche Beiträge für Peter Brang zum 65. Geburtstag. Bern–Frankfurt am Main–New York–Paris, 1989. S. 469–487 [Slavica Helvetica, Bd. 33].
- Кайперт 1991 – *Keipert H.* M. V. Lomonosovs *Predislovie o pol'ze knig cerkovnych v rossijskom jazyke* (1757–1758) als Entwurf eines linguistischen Modells für das Schrifttum Russlands im 18. Jahrhundert // *Studia z filologii polskiej i słowiańskiej*, t. 28. Warszawa, 1991. S. 81–95.

- Кайперт 1992 – *Keipert H.* Русская грамматика М. Шванвитца 1731 г. (Предварительные замечания о рукописи БАН F. N. 250) // Доломоновский период русского литературного языка. The Pre-Lomonosov Period of the Russian Literary Language (Материалы конференции на Фарегуде, 20–25 мая 1989 г.). Stockholm, 1992. P. 213–234 [Slavica Suecana, vol. 1].
- Кайперт 1993 – *Keipert H.* Die Christianisierung der Kiever Rus' als lexikologisches Problem // Millennium Russiae Christianae: Tausend Jahre Christliches Rußland, 988–1988. Vorträge des Symposiums anlässlich der Tausendjahrfeier der Christianisierung Rußlands in Münster vom 5. bis 9. Juli 1988. Hrsg. von G. Birkfellner. Köln–Weimar–Wien: Böhlau Verlag, 1993. S. 137–162.
- Кайперт 1994 – *Keipert H.* Die *knigi cerkovnye* in Lomonosovs «Predislovie o pol'ze knig cerkovnyh v rossijskom jazyke» // Zeitschrift für slavische Philologie 54 (1994). S. 21–37.
- Кайперт 1996 – *Keipert H.* Lomonosov und Luther // Die Welt der Slaven 41 (1996). S. 62–88.
- Кайперт 1999 – *Keipert H.* Geschichte der russischen Literatursprache // Handbuch der sprachwissenschaftlichen Russistik und ihren Grenzdisziplinen. Hrsg. von H. Jachnow. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 1999. S. 726–779.
- Кайперт 2002 – Compendium Grammaticae Russicae (1731). Die erste Akademie-Grammatik der russischen Sprache. Hrsg. von Helmut Keipert in Verbindung mit Andrea Huterer. München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Kommission beim Verlag C. H. Beck München, 2002 [Bayerische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Abhandlungen. Neue Folge, Heft 121].
- Кайперт 2009 – *Keipert H.* Die Darstellung des russischen Verbums in der «Anweisung zur Erlernung der Slavonisch-Russischen Sprache» von J. W. Pays (1705–1729) // Die russische Sprache und Literatur im 18. Jahrhundert: Tradition und Innovation. Русский язык и литература в XVIII веке: традиция и инновация. Gedenkschrift für Gerta Hüttl-Folter. Hrsg. von J. Besters-Dilger und F. B. Poljakov. Сборник статей памяти Герты Хютль-Фольтер. Под ред. Ю. Бестерс-Дильгер и Ф. Полякова. Frankfurt am Main et al.: Peter Lang, 2009. S. 179–209 [Русская культура в Европе. Russian Culture in Europe. Ed. by Fedor B. Poljakov. Vol. 5].
- Кайперт, I–II – *Keipert H.* Die Adjektive auf -тельнъ: Studien zu einem kirchenslavischen Wortbildungstyp. Teil I, II. Wiesbaden: Harrassowitz, 1977–1985.
- Кайперт, Успенский, Живов 1994 – Johann Ernst Glück. Grammatik der russischen Sprache (1704). Herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von H. Keipert, B. Uspenskij und V. Živov. Köln–Weimar–Wien: Böhlau Verlag, 1994 [Bausteine zur Slavischen Philologie und Kultergeschichte. Reihe B: Editionen. Neue Folge, 5 (20)].
- Калайдович 1824 – *Калайдович К.* Иоанн Эксарх Болгарский. Исследование, объясняющее историю словенского языка и литературы IX и X столетий. М.: Типография С. Селивановского, 1824.
- Калайдович 1821 – *Калайдович К.* Памятники российской словесности XII века. М. 1821.
- Каленчук, Касаткин, Касаткина 2012 – *Каленчук М. Л., Касаткин Л. Л., Касаткина Р. Ф.* Большой орфоэпический словарь русского языка. Литературное произношение и ударение начала XXI века: норма и ее варианты. М.: «АСТ-Пресс Книга», 2012.
- Кальдор 1969–1970 – *Kaldor I.* The Genesis of the Russian Grazhdanskii Shrift of the Civil Type // Journal of Typographic Research, vol. 3 (1969), № 4. P. 315–344; vol. 4 (1970), № 2. P. 111–138.
- Кандаурова 1968а – *Кандаурова Т. Н.* Случаи орфографической обусловленности слов с полногласием в памятниках XI–XIV вв // Памятники древнерусской письменности. Язык и текстология. Под ред. В. В. Виноградова. М.: «Наука», 1968. С. 7–18.

- Кандаурова 1968б – *Кандаурова Т. Н.* Полногласная и неполногласная лексика в прямой речи летописи // Памятники древнерусской письменности. Язык и текстология. Под ред. В. В. Виноградова. М.: «Наука», 1968. С. 72–94.
- Кантемир 1740 – [*Кантемир А.*] Разговоры о множестве миров господина Фонтенелла парижской Академии наук секретаря. С французского перевел и потребными примечаниями изъяснил князь Антиох Кантемир в Москве 1730 году. М.: Тип. Имп. Академии наук, 1740.
- Кантемир 1744 – [*Кантемир А.*] Квинта Горация Флакка десять писем первой книги. Переведены с латинских стихов на русские и с примечаниями изъяснены от знатного некоего охотника до стихотворства с приобщенным при том письмом о сложении русских стихов. СПб.: Типография Имп. Академии наук, 1744.
- Кантемир, I–II – *Кантемир А. Д.* Сочинения, письма и избранные переводы. Под ред. П. А. Ефремова. Т. I–II. СПб.: Изд. И. И. Глазунова, 1867–1868.
- Каптерев 1909, I – *Каптерев Н. Ф.* Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Том I. Сергиев Посад: Тип. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1909.
- Капю, I–II – *Caput J.-P.* La langue française. Histoire d'une institution. Т. I. 842–1715; Т. II. 1715–1974. Paris: Larousse, 1972–1975.
- Карамзин 1914 – *Карамзин Н. М.* Записка о древней и новой России. СПб., 1914.
- Карамзин, I–III – *Карамзин Н. М.* Сочинения. Т. I–III. СПб.: Изд. А. Смирдина, 1848.
- Карамзин, ИГР, I–XIII – *Карамзин Н. М.* История государства Российского. Т. I–XIII. М.: «Наука», 1989– (продолжающееся изд.).
- Кардашевский 1948 – *Кардашевский С. М.* Порядок слов в Повести временных лет // Ученые записки Московского областного педагогического института, т. XII (1948). Труды кафедры русского языка. Вып. 1. М., 1948. С. 33–52.
- Каринский 1909 – *Каринский Н. М.* Язык Пскова и его области в XV веке. СПб., 1909 [Записки Историко-филологического факультета Имп. Санкт-Петербургского ун-та, ч. 93].
- Каринский 1911 – *Каринский Н. М.* Хрестоматия по древне-церковнославянскому и русскому языкам. Ч. I. СПб.: Изд. И. А. Башмакова, 1911.
- Карлинский 1963 – *Karlinsky S.* Tallemant and the Beginning of the Novel in Russia // Comparative Literature, XV (1963), № 3. Р. 226–233.
- Карнеева 1916–1917 – *Карнеева М. И.* Язык Служебной Миней 1095 г. Особенности памятника, свойственные как русским, так и ст.-сл. памятникам // Русский филологический вестник 75 (1916), № 1–2. С. 158–168; 76 (1916), № 3. С. 120–128; 78 (1917), № 3–4. С. 23–45.
- Карский 1921 – *Карский Е. Ф.* Белорусы. Т. III. Очерк словесности белорусского племени. Ч. 2. Старая западно-русская письменность. Пг.: 12-я Государственная Типография (б. Академии Наук), 1921.
- Карский 1928 – *Карский Е. Ф.* Славянская кирилловская палеография. Л.: Изд-во АН СССР, 1928.
- Карский 1930 – *Карский Е. Ф.* Русская Правда по древнейшему списку: введение, текст, снимки, указатели авторов и словарного состава. Л.: Изд-во АН СССР, 1930.
- Каштанов 1996 – *Каштанов С. М.* К вопросу о происхождении текста русско-византийских договоров X в. в составе Повести временных лет // Политическая структура древнерусского государства. VIII чтения памяти В. Т. Пашуто. М., 1996. С. 39–42.
- Кедайтене 1968 – *Кедайтене Е. И.* Дательный самостоятельный // Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Члены предложения. Под ред. В. И. Борковского. М.: «Наука», 1968. С. 275–286.

- Кёльн 2003 – *Kölln H.* Westkirchiches in altkirchenslavischer Literatur aus Grossmähren und Böhmen. Copenhagen: C. A. Reitzel, 2003 [Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskav; Historisk-filosofiske Meddelelser, 87].
- Кершиене 1979 – *Кершиене Р. Б.* Сложноподчиненные определительные предложения // Историческая грамматика русского языка: Синтаксис, сложное предложение. Под ред. В. И. Борковского. М.: «Наука», 1979. С. 56–109.
- Киан 1997 – *Keane W.* Religious Language // *Annual Review of Anthropology* 26 (1997). P. 47–71.
- Кибальник 1983 – *Кибальник С. А.* О «Риторике» Феофана Прокоповича // XVIII век, сб. 14. Л., 1983. С. 193–206.
- Кирилл Транквилион 1619 – Евангелие учителное, албо казаня на неделя през рок и на празники господские и нарочитым святым угодником Божиим. Съставлена трудолюбием иеромонаха Кирилла Транквилиона проповедника слова Божиего. Рохманово, 1619.
- Киселева 2011 – *Киселева М. С.* Интеллектуальный выбор России второй половины XVII – начала XVIII века: от древнерусской книжности к европейской учености. М.: «Прогресс-Традиция», 2011.
- Кистерев 2001 – *Кистерев С. И.* Русские книги Афона и Константинополя в Москве, Твери и Новгороде в конце XIV – первой трети XV в. // Московия: Проблемы византийской и новогреческой филологии. К 60-летию Б. Л. Фонкича. М.: «Индрик», 2001. С. 219–227.
- Клейн 1990 – *Klein J.* Sumarokov und Boileau. Die Epistel «Über die Verskunst» in ihrem Verhältnis zur «Art poétique»: Kontextwechsel als Kategorie der Vergleichenden Literaturwissenschaft // *Zeitschrift für slavische Philologie* 50 (1990), Hf. 2. S. 254–304.
- Клейн 2005 – *Клейн И.* Пути культурного импорта: Труды по русской литературе XVIII века. М.: «Языки славянской культуры», 2005.
- Клейн и Живов 1987 – *Klein J., Živov V.* Zur Problematik und Spezifik des russischen Klassizismus: Die Oden des Vasilij Majkov // *Zeitschrift für slavische Philologie* 47 (1987), Hf. 2. S. 234–288.
- Кленин 1983 – *Klenin E.* Animacy in Russian: a New Interpretation. Columbus, Ohio: Slavica Publishers, 1983.
- Кленин 1989 – *Klenin E.* On Preposition Repetition: A Study in the History of Syntactic Government in Old Russian // *Russian Linguistics* 13 (1989). P. 185–206.
- Кленин 1993 – *Klenin E.* The Perfect Tense in the Laurentian Manuscript of 1377 // *American Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists. Bratislava, August-September 1993. Literature. Linguistics. Poetics.* Ed. by R. A. Maguire and A. Timberlake. Columbus: Slavica, 1993. P. 330–343.
- Кленин 1995 – *Klenin E.* The Verbal System of a Seventeenth-Century Icon Legend: Morphology and Discourse Function // *Russian Linguistics* 19 (1995). P. 77–89.
- Кленин 1997 – *Klenin E.* Legends and Language in Sixteenth-Century Moscow // *Culture and Identity in Muscovy, 1359–1584.* Ed. by A. M. Kleimola and G. D. Lenhoff. Moscow, «ITZ-Garant», 1997. P. 303–335 [UCLA Slavic Studies, New Series, vol. III].
- Кленчи 1979 – *Clenchy M. T.* From Memory to Written Record in England, 1066–1307. London: Edward Arnold, 1979.
- Клименко 1986 – *Клименко Л. П.* История русского литературного языка с точки зрения теории диглоссии // Литературный язык Древней Руси. Межвузовский сборник. Под ред. В. В. Колесова. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1986. С. 11–22 (Проблемы исторического языкознания, вып. 3).
- Климент Охридский, I–III – *Климент Охридски.* Събрани съчинения. Т. I–III. София: Изд-во на Българската академия на науките, 1970–1973.

- Клосс 1980 – *Клосс Б. М.* Никоновский свод и русские летописи XVI–XVII веков. М.: «Наука», 1980.
- Клосс 1998 – *Клосс Б. М.* Избранные труды. Т. I. Житие Сергия Радонежского. М., «Языки русской культуры», 1998.
- Клубков 1999 – *Клубков П. А. В. К.* Тредиаковский об окончаниях имен прилагательных (К 250-летию научной дискуссии) // Русский язык конца XVII – начала XIX века (Вопросы изучения и описания). Сборник статей. СПб.: ИЛИ РАН, 1999. С. 68–76.
- Ключевский 1871 – *Ключевский В. О.* Древнерусские жития святых как исторический источник. М.: Изд-ие К. Солдатенкова, 1871. Цит. по репринту: М.: «Наука», 1988.
- Ключевский, I–VIII – *Ключевский В. О.* Сочинения. Т. I–VIII. М.: Гос. изд-во политической лит-ры, 1956–1959.
- Ключкин 2002 – *Klioutchkine K.* The Rise of Crime and Punishment from the Air of the Media // Slavic Review 61 (2002), № 1. P. 88–108.
- Князевская 1973 – *Князевская О. А.* Рукопись евангелия XIII в. из собрания Московского университета // Рукописная и печатная книга в фондах Научной библиотеки Московского университета. Вып. 1. М.: Изд-во Московского ун-та, 1973. С. 5–18.
- Князевская и Чешко 1980 – *Князевская О. А., Чешко Е. В.* Рукописи митрополита Киприана и отражение в них орфографической реформы Евфимия Тырновского // Тырновска книжовна школа: Ученици и последователи на Евтимий Тырновски. Втори международен симпозиум. Велико Тырново, 20-23 май 1976. София, 1980. С. 282–292.
- Князькова 1974 – *Князькова Г. П.* Русское просторечие второй половины XVIII в. Л.: «Наука», 1974.
- Кобленц 1958 – *Кобленц И. Н.* Андрей Иванович Богданов. 1682–1766. Из прошлого русской исторической науки и книговедения. М.: Изд-во АН СССР, 1958.
- Ковалевская 1971 – *Ковалевская Е. Г.* Лингвистическое исследование текстов русских драматических произведений конца XVII – первой четверти XIX веков. Автореферат диссертации на соискание уч. степени доктора филолог. наук. Л., 1971.
- Ковтун 1963 – *Ковтун Л. С.* Русская лексикография эпохи средневековья. М.–Л., Наука, 1963. С. 421–431.
- Ковтун 1971 – *Ковтун Л. С.* Русские книжники XVI столетия о литературном языке своего времени // Русский язык: Источники для его изучения. М.: «Наука», 1971. С. 3–23.
- Ковтун 1975 – *Ковтун Л. С.* Лексикография в Московской Руси XVI – начала XVII вв. Л.: «Наука», 1975.
- Ковтун и др. 1973 – *Ковтун Л. С., Сеницына Н. В., Фонкич Б. Л.* Максим Грек и славянская Псалтырь (сложение норм литературного языка в переводческой практике XVI в.) // Восточнославянские языки: Источники для их изучения. М.: «Наука», 1973. С. 99–127.
- Ковтунова 1969 – *Ковтунова И. И.* Порядок слов в русском литературном языке XVIII – первой трети XIX в. М.: «Наука», 1969.
- Козлов 1988 – *Козлов С. Л.* «Гений языка» и «гений нации» во французской культуре эпохи Людовика XIV // Семиотика культуры. Тезисы докладов Всесоюзной школы-семинара по семиотике культуры 8–18 сентября 1988 года. Архангельск, 1988. С. 42–44.
- Козловский 1885–1895 – *Козловский М. М.* Исследования о языке Остромирова Евангелия // Исследования по русскому языку. Т. I. СПб.: Отделение русского языка и словесности Имп. Академии наук, 1885–1895. С. 1–127.
- Кокрон 1962 – *Cocron F.* La langue russe dans la seconde moitié du XVII^e siècle (morphologie). Paris, 1962 [Bibliothèque russe de l'Institut d'études slaves, t. XXXIII].
- Колвелл 1969 – *Colwell E. C.* Studies in Methodology in Textual Criticism of the New Testament. Grand Rapids: Eerdmans, 1969.

- Колесников 1913 – *Колесников И. Ф.* Сборник снимков с русского письма XI–XVIII вв. Изд. 2-е Имп. Московского Археологического Института имени Императора Николая II. Ч. I. М.: Типо-литография А. И. Иванова, 1913.
- Колесов 1986 – Литературный язык Древней Руси. Межвузовский сборник. Под ред. В. В. Колесова. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1986 (Проблемы исторического языкознания, вып. 3).
- Коллинз 1928 – *Collins A. S.* The Profession of Letters. A Study of the Relation of Author to Patron Publisher, and Public, 1780–1832. London: G. Routledge, 1928.
- Коллинз 2001 – *Collins D. E.* Reanimated Voices: Speech Reporting in a Historical-Pragmatic Perspective. Amsterdam: John Benjamins, 2001 (Pragmatics and Beyond: New Series, 85).
- Колуччи и Данти 1977 – *Daniil Zatocnik. Slovo e molenie.* Ed. critica a cura de M. Colucci e A. Danti. Firenze: Licos, 1977 [Studia historica et philologica. Sectio slavica, 2].
- Комарович 1925 – *Комарович В.* Язык служебной Октябрьской Минеи 1096 года // Известия ОРЯС, XXX (1925). С. 23–44.
- Комри 1979 – *Comrie B.* Definite and Animate Objects: a Natural Class // *Linguistica Silesiana* 3 (1979). P. 15–21.
- Комри 1991 – *Comrie B.* Diglossia and the Old Russian Period // *Southwest Journal of Linguistics* 10 (1991), № 1. P. 160–172.
- Конгурдо 1970 – *Congourdeau M.-H.* La polémique antilatine à Byzance. Paris, 1970.
- Константин Багрянородный, I–II – *Constantini Porphyrogeniti imperatoris De cerimoniis aulae Byzantinae libri duo.* Graece et latine e recensione Io. Iac. Reiskii cum eiusdem commentariis integris. Vol. I–II. Bonnae: E. Weber, 1829–1830 [Corpus scriptorum historiae Bizantinae, vol. 16–17].
- Константины 1972 – *Constantini L.* Note sulla questione della lingua presso i serbi tra il XVIII e il XIX secolo // Studi sulla questione della lingua presso gli Slavi. A cura di R. Picchio. Roma: Edizioni dell'Ateneo, 1972. P. 163–224.
- Конфино 1990 – *Confino M.* Révolte juvénile et contre-culture: les nihilistes russes des «années 60» // *Cahiers du monde russe et soviétique*, vol. XXXI (4), 1990. P. 489–537.
- Копыленко 1973 – *Копыленко М. М.* Кальки греческого происхождения в языке древнерусской письменности // *Византийский временник*, XXXIV (1973). С. 141–150.
- Корин 1995 – *Corin A.* The Dative Absolute in Old Church Slavonic and Old East Slavic // *Der Welt der Slaven* 40 (1995), № 2. S. 251–284.
- Коротаева 1964 – *Коротаева Э. И.* Союзное подчинение в русском литературном языке XVII века. М.–Л., «Наука», 1964.
- Кортава 1998 – *Кортава Т. В.* Московский приказный язык XVII века как особый тип письменного языка. М.: Изд-во Московского университета, 1998.
- Корш 1877 – *Корш Ф. Е.* Способы относительного подчинения: Глава из сравнительного синтаксиса. М.: Университет. тип., 1877.
- Котков 1974 – *Котков С. И.* Московская речь в начальный период становления русского национального языка. М.: «Наука», 1974.
- Котков 1981 – Памятники московской деловой письменности XVIII века. Под ред. С. И. Коткова. М.: «Наука», 1981.
- Котков и др. 1968 – Московская деловая и бытовая письменность XVII века. Изд. подготовили С. И. Котков, А. С. Орешников, И. С. Филиппова. М.: «Наука», 1968.
- Котков и Панкратова 1964 – *Котков С. И., Панкратова Н. П.* Источники по истории русского народно-разговорного языка XVII – начала XVIII века. М.: «Наука», 1964.

- Котков и Тарабасова 1965 – Памятники русского народно-разговорного языка XVII столетия (Из фондов А. И. Безобразова). Изд. подготовили С. И. Котков, Н. И. Тарабасова. М.: «Наука», 1965.
- Котков, Астахина и др. 1984 – Памятники деловой письменности XVII века. Владимирский край. Изд. подготовили С. И. Котков, Л. Ю. Астахина и др. М.: «Наука», 1984.
- Коткова 1987 – *Коткова Н. С.* Выявление московских лексических норм XVII в. путем сравнения с периферийными данными // История русского языка и лингвистическое источниковедение. М.: «Наука», 1987. С. 131–142.
- Коцюба 1975 – *Kociuba O.* The Grammatical Sources of Meletij Smotryc'kyj's Church Slavonic Grammar of 1619. Ph. D. dissertation. Columbia University, 1975.
- Кочева 1983 – *Кочева Е.* За превръщането на граматичните архаизми в езикови формули в дамаскините от 18 век // Христоматия по история на българския език. София: «Наука и изкуство». С. 251–258.
- Кочеткова 1974 – *Кочеткова Н. Д.* Ораторская проза Феофана Прокоповича и пути формирования литературы классицизма // XVIII век. Сб. 9. Л.: «Наука», 1974. С. 50–80.
- Кравец 1991 – *Кравец Е. В.* Книжная справа и переводы Максима Грека как опыт нормализации церковнославянского языка XVI века // Russian Linguistics 15 (1991), № 3. Р. 247–279.
- Кравецкий 1991 – *Кравецкий А. Г.* Из истории паремийного чтения Борису и Глебу // Традиции древнейшей славянской письменности и языковая культура восточных славян. М.: «Наука», 1991. С. 42–52.
- Кравецкий 1999 – *Кравецкий А. Г.* Литургический язык как предмет этнографии // Славянские этюды. Сборник к юбилею С. М. Толстой. М.: «Индрик», 1999. С. 228–242.
- Кравецкий и Плетнева 2001 – *Кравецкий А. Г., Плетнева А. А.* История церковнославянского языка в России (конец XIX – XX в.). М.: «Языки русской культуры», 2001.
- Кралик 1963 – *Кралик О.* Повесть временных лет и легенда Кристиана о святых Вячеславе и Людмиле // Труды Отдела древнерусской литературы XIX (1963). С. 177–207.
- Краткие правила 1773 – Краткия правила Российской грамматики, собранныя из разных российских грамматик в пользу обучающагося юношества в гимназиях Императорскаго Московскаго университета. М.: Печатаны при Имп. Моск. ун-те, 1773.
- Краткие правила 1780 – Краткия правила Российской грамматики, собранныя из разных российских грамматик в пользу обучающагося юношества в гимназиях Императорскаго Московскаго университета. Третьим изданием. М.: Университетская типография, у Н. Новикова, 1780.
- Краткие правила 1784 – Краткия правила Российской грамматики, собранныя и вновь дополненныя из разных российских грамматик, в пользу обучающагося юношества в гимназиях Императорскаго Московскаго ун-та. М.: Университетская типография, у Н. Новикова, 1784. Nachdruck besorgt von M. Schütrumpf. München: Verlag Otto Sagner, 1980 [Specimina philologiae slavicae, Bd. 32].
- Краткие правила 1796 – Краткия правила Российской грамматики, собранныя из разных российских грамматик в пользу обучающагося юношества в гимназиях Императорскаго Московскаго университета. М.: Типография Пономарева, 1796.
- Краткое описание 1728 – Краткое описание комментариев Академии наук. Часть первая на 1726 год. СПб., 1728.
- Крейкрафт 1982 – *Cracraft J.* (ed.). For God and Peter the Great. The Works of Thomas Consett, 1723–1729. New York: Boulder, 1982 [East European Monographs, XCVI].
- Крейкрафт 2004 – *Cracraft J.* The Petrine Revolution in Russian Culture. Cambridge, Mass. and London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2004.

- Криарас 1967 – *Kriaras E.* Diglossie des derniers siècles de Byzance: Naissance de la littérature néo-hellénique // *Proceedings of the XIIIth International Congress of Byzantine Studies*, Oxford, 5–10 September 1966. Ed. by J. M. Hussey, D. Obolensky, S. Runciman London, New York, Toronto: Oxford Univ. Press, 1967. P. 283–299.
- Кривко 2004а – *Кривко Р. Н.* Графико-орфографические системы Бычковско-Синайской псалтири. I // *Русский язык в научном освещении*, № 1 (7), 2004. С. 80–124.
- Кривко 2004б – *Кривко Р. Н.* Графико-орфографические системы Бычковско-Синайской псалтири. II // *Русский язык в научном освещении*, № 2 (8), 2004. С. 170–200.
- Кросс 1971 – *Cross A. G. N. M. Karamzin: A Study of his Literary Career, 1783–1803.* Carbondale, Southern Illinois Univ. Press, 1971.
- Крумбахер 1897 – *Krumbacher K.* Geschichte der byzantinischen Litteratur von Justinian bis zum Ende des oströmischen Reiches, 527–1453. 2. Aufl., bearb. unter Mitwirkung von A. Ehrhard. München: Beck, 1897.
- Кручинина 1976 – *Кручинина И. Н.* Элементы разговорного синтаксиса в произведениях эпистолярного жанра // *Синтаксис и стилистика*. М.: «Наука», 1976. С. 24–43.
- Крылов 1838 – *Крылов Н. И.* Об историческом значении римского права в области наук юридических. Речь, произнесенная в Торжественном собрании Имп. Московского университета ... 11 июня 1838. М., 1838.
- Крылов 2009 – *Протоиерей Георгий Крылов.* Книжная справа XVII века. Богослужбные Минеи. М.: «Индрик», 2009.
- Крысько 1993 – *Крысько В. Б.* Общеславянские и древненовгородские формы Nom. Sg. masc. *о-склонения // *Russian Linguistics* 17 (1993), № 2. P. 110–156.
- Крысько 1994а – *Крысько В. Б.* Развитие категории одушевленности в истории русского языка. М.: «Лусеум», 1994.
- Крысько 1994б – *Крысько В. Б.* Заметки о древненовгородском диалекте (II. Varia) // *Вопросы языкознания*, 1994, № 6. С. 16–30.
- Крысько 2005 – Ильина книга. Рукопись РГАДА, Тип. 131. Лингвистическое издание, подготовка текста, комментарии, словоуказатели В. Б. Крысько. М.: «Индрик», 2005.
- Крысько 2006 – *Крысько В. Б.* Исторический синтаксис русского языка: Объект и переходность. 2-е изд., испр. и доп. М.: «Азбуковник», 2006.
- Куев 1967 – *Куев К. М.* Черноризец Храбър. София: Изд-во на Българската академия на науките, 1967.
- Куев 1974 – *Куев К. М.* Симеоновият сборник и неговите потомци // *Годишник на Софийския университет*, т. 64, кн. 2, 1974. С. 1–48.
- Кузнецов 1959 – *Кузнецов П. С.* Очерки исторической морфологии русского языка. М.: Изд-во АН СССР, 1959.
- Кузнецов, Иорданиди, Крысько 2006 – *Кузнецов А. М., Иорданиди С. И., Крысько В. Б.* Прилагательные. М.: «Азбуковник», 2006 [Историческая грамматика древнерусского языка. Под ред. В. Б. Крысько. Т. III].
- Кузьмина 1964 – *Кузьмина В. Д.* Рыцарский роман на Руси. Бова, Петр Златых Ключей. М.: «Наука», 1964.
- Кузьмина и Немченко 1956 – *Кузьмина И. Б., Немченко Е. В.* О некоторых синтаксических явлениях в говорах юго-западных и центральных областей к западу от Москвы // *Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР*, № 10 (1956). С. 107–129.
- Кузьмина и Немченко 1971 – *Кузьмина И. Б., Немченко Е. В.* Синтаксис причастных форм в русских говорах. М.: «Наука», 1971.

- Кузьминова 2002 – Кузьминова Е. А. Грамматический сборник 1620-х годов. Издание и исследование. Napoli: M. D'Auria Editore, 2002 [AION Slavistica (Annali dell'Istituto universitario Orientale di Napoli), Quaderno № 1, 2002].
- Кулешов 1991 – Кулешов В. И. (изд.). Физиология Петербурга. М.: «Наука», 1991 [Литературные памятники].
- Кульмас 1987 – Coulmas F. What Writing Can Do to Language: Some Preliminary Remarks // Developments in Linguistics and Semiotics, Language Teaching and Learning, Communication Across Cultures. Ed. by S. Battestini. Georgetown University Roundtable on Languages and Linguistics, 1986. Washington, D. C.: Georgetown Univ. Press, 1987. P. 107–129.
- Кунавин 1985 – Кунавин Б. В. Функциональные характеристики именных действительных причастий в древнерусском языке. Автореферат диссертации на соискание уч. степени кандидата филолог. наук. Л.: Ленинградский ун-т, 1985.
- Куник 1865 – Куник А. Сборник материалов для истории Императорской Академии наук. Ч. I–II. СПб.: Типография Имп. Академии наук, 1865.
- Купина 1995 – Купина Н. А. Тоталитарный язык: Словарь и речевые реакции. Екатеринбург, Пермь: Изд-во Уральского университета, 1995.
- Курганов 1769 – [Курганов Н. Г.] Российская универсальная грамматика, или всеобщее писмословие, предлагающее легчайший способ основательного учения рускому языку с семью присовокуплениями разных учебных и полезно-забавных вещей. СПб.: Типография Морского кадетского корпуса, 1769.
- Курганов 1777 – Курганов Н. Г. Книга письмовник, а в ней Наука российского языка с семью присовокуплениями... Новое издание... СПб.: Книгопечатня Морского общества благородных юношей, 1777.
- Курилович 1960 – Kuryłowicz J. Esquisses linguistiques. Wrocław–Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii nauk, 1960 [Prace językoznawcze, 19].
- Курц 1972 – Kurz J. Kapitoly ze syntaxe a z morfologie staroslověnského jazyka. Praha: Academia, 1972.
- Курциус 1984 – Curtius E. R. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Zehnte Aufl. Bern und München: Francke Verlag, 1984.
- Кусмауль 2012 – Кусмауль С. М. Нормализация употребления дублетных букв по принципу антистиха в процессе книжной sprawy середины XVII века // Русский язык в научном освещении, № 1 (25), 2013. С. 223–243.
- Кутина 1978 – Кутина Л. Л. Последний период славяно-русского двуязычия в России // Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М.: «Наука», 1978. С. 241–264.
- Кутина 1981 – Кутина Л. Л. Феофан Прокопович. Слова и речи. Проблема языкового типа // Язык русских писателей XVIII века. Л.: «Наука», 1981. С. 7–46.
- Кутина 1982 – Кутина Л. Л. Феофан Прокопович. Слова и речи. Лексико-стилистическая характеристика // Литературный язык XVIII века. Проблемы стилистики. Л.: «Наука», 1982. С. 5–51.
- Лабов 1963 – Labov W. The Social Motivation of Sound Change // Word 19 (1963). P. 273–309.
- Лабов 1975 – Labov W. What is a linguistic fact? Lisse: Peter de Ridder Press, 1975 (PdR Press Publications in Linguistic Theory, 1).
- Лав 1990 – Love N. The Locus of Languages in a Redefined Linguistics // Davis H. & Taylor T. (eds). Redefining Linguistics. London and New York: Routledge, 1990. P. 53–117.
- Лавров 1930 – Лавров П. А. Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Л.: Изд-во АН СССР, 1930 [Труды Славянской комиссии АН СССР, т. 1].

- Лавров 2001 – *Lavrov A.* Ein vergessener «Eiferer der Frömmigkeit» und Missionar: Daniil von Temnikov // *Frontiers of Faith: Religious Exchange and the Constitution of Religious Identities 1400–1750*. Ed. By E. Andor and I. G. Tóth. Budapest: Central European University, 2001. P. 361–385.
- Лавровский 1852 – *Лавровский П.* О языке северных русских летописей. СПб., 1852.
- Лавровский 1853 – *Лавровский Н.* О византийском элементе в языке договоров русских с греками. СПб., 1853.
- Лайонз 1978 – *Lyons J.* Semantics. Vol. 1–2. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.
- Лант 1949 – *Lunt H. G.* The Orthography of Eleventh Century Russian Manuscripts, Ph. D. Thesis, University microfilms, Columbia University, 1949.
- Лант 1980 – *Lunt H. G.* Notes on the Imperfect in Early East Slavic // *Slavic and East European Journal* 24 (1980). P. 92–95.
- Лант 1981 – *Lunt H. G.* The Progressive Palatalization of Common Slavic. Skopje: Macedonian Academy of Sciences and Art, 1981.
- Лант 1987 – *Lunt H. G.* On the Relationship of Old Church Slavonic to the Written Language of Early Rus' // *Russian Linguistics* 11 (1987). P. 133–162.
- Лант 1988 – *Lunt H. G.* On Interpreting the Russian Primary Chronicle: the Year 1037 // *Slavic and East European Journal* 32 (1988), № 2. P. 251–264.
- Лант 1988–89 – *Lunt H. G.* The Language of Rus' in the Eleventh Century: Some Observations about Facts and Theories // *Harvard Ukrainian Studies*, XII/XIII (1988/1989). P. 276–313 [Proceedings of the International Congress Commemorating the Millennium of Christianity in Rus'–Ukraine. Ed. by O. Pritsak and I. Ševčenko].
- Лант 1994 – *Lunt H. G.* Lexical Variation in the Copies of the Rus' *Primary Chronicle*: Some Methodological Problems // *Harvard Ukrainian Studies*, XVIII (1994), № 1/2. P. 10–28.
- Лант 1999 – *Лант Г. Г.* Еще раз о мнимых переводах в Древней Руси (По поводу статьи А. А. Алексеева) // *Труды Отдела древнерусской литературы* LI (1999). С. 435–441.
- Лаптева 1959 – *Лаптева О. А.* Расположение древнерусского одиночного атрибутивного прилагательного // *Славянское языкознание: Сборник статей. Под ред. В. В. Виноградова. М.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 98–112.*
- Лаптева 1965 – *Лаптева О. А.* О структурных компонентах разговорной речи // *Русский язык в национальной школе*, 1965, № 5. С. 12–18.
- Лаптева 1966 – *Лаптева О. А.* О некодифицированных сферах современного русского литературного языка // *Вопросы языкознания*, 1966, № 2. С. 40–55.
- Лаптева 1976 – *Лаптева О. А.* Русский разговорный синтаксис. М.: «Наука», 1976.
- Ларин 1975 – *Ларин Б. А.* Лекции по истории русского литературного языка (X – середина XVIII в.). М.: «Высшая школа», 1975.
- Ларсен 2001 – *Larsen K.* The Correlation between **tj*-Reflex and Syntax (Based on Forms of the Present Active Participles in «Вопрошание Кирика» and «Поучение Владимира Мономаха») // *Russian Linguistics* 25 (2001), № 2. P. 183–207.
- Лаксманн 1981 – *Lachmann R.* Zur Frage der Wertung poetischer Verfahren (am Beispiel einer Lomonosov-Ode) // *Colloquium Slavicum Basiliense. Gedankenschrift für H. Schroeder*. Hrsg. H. Riggensbach. Bern–Frankfurt am Main–Las Vegas: Peter Lang, 1981. S. 361–385.
- Лаксманн 1982 – *Feofan Prokopovič.* De arte rhetorica libri X, Kijoviae 1706. Mit einer einleitenden Untersuchung und Kommentar herausgegeben nach zwei Handschriften aus den Beständen der Kiever Zentralen Akademie-Bibliothek von R. Lachmann. Hrsg. von R. Lachmann. Köln–Wien: Böhlau Verlag, 1982 [Slavistische Forschungen, Bd. 27. Rhetorica slavica, Bd. II].

- Левин 1964 – *Левин В. Д.* Очерк стилистики русского литературного языка конца XVIII – начала XIX в. (Лексика). М.: «Наука», 1964.
- Левин 1972 – *Левин В. Д.* Петр I и русский язык (К 300-летию рождения Петра I) // Известия АН СССР. Серия литературы и языка, т. XXXI (1972), вып. 3. С. 212–227.
- Левин 1984 – *Левин В. Д.* К характеристике русского извода старославянского языка // Wiener slawistischer Almanach 13 (1984). S. 171–196.
- Левин 1990 – *Левин Ю. Д.* Восприятие английской литературы в России. Исследования и материалы. Л.: «Наука», 1990.
- Левин 1993 – *Levin B.* English Verb Classes and Alternations: A Preliminary Investigation. Chicago, London: Univ. of Chicago Press, 1993.
- Лемерль 1971 – *Lemerle P.* Le premier humanisme byzantin; notes et remarques sur enseignement et culture à Byzance des origines au Xe siècle. Paris: Presses universitaires de France, 1971 [Bibliothèque byzantine. Études, 6].
- Леминг 1971 – *Leeming H.* Origins of Slavonic Literacy: The Lexical Evidence // The Slavonic and East European Review 49 (1971), № 116. P. 327–338.
- Лентин 1996 – *Lentin A.* Peter the Great: His Law on the Imperial Succession in Russia, 1722. The Official Commentary. Oxford: Headstart History, 1996.
- Ленхофф 1984 – *Lenhoff G.* Toward a Theory of Protogenres in Medieval Russian Letters // The Russian Review 43 (1984). P. 31–54.
- Ленхофф 1987 – *Lenhoff G.* Categories of Early Russian Writing // Slavic and East European Journal 31 (1987). P. 259–271.
- Ленхофф 1989 – *Lenhoff G.* The Martyred Princes Boris and Gleb: A Socio-Cultural Study of the Cult and the Texts. Columbus: Slavica Publishers, 1989.
- Ленхофф 1997 – *Lenhoff G.* Early Russian Hagiography: the Lives of Prince Fedor the Black. Wiesbaden: Harrassowitz, 1997 [Slavistische Veröffentlichungen, Bd. 82].
- Ленхофф 2007 – *Ленхофф Г. Д.* Степенная книга: замысел, идеология, адресация // Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам. Текст и комментарий. Под ред. Н. Н. Покровского и Г. Д. Ленхофф. М.: «Языки славянских культур», 2007. С. 120–144.
- Ленхофф 2011 – *The Book of Royal Degrees and the Genesis of Russian Historical Consciousness.* Ed. by G. Lenhoff, A. Kleimola. Bloomington, Indiana, 2011.
- Леонид 1885 – *Леонид (Кавелин)*, архимандрит. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия-чудотворца и похвальное ему слово, написанные учеником его Епифанием Премудрым в XV веке. СПб., 1885 [Памятники древней письменности и искусства, т. 58].
- Леонид, I–IV – *Архимандрит Леонид (Кавелин)*. Систематическое описание славяно-русских рукописей собрания графа А. С. Уварова. В четырех частях. М., 1893–1894.
- ЛЕР, I–II – *Летописец Еллинский и Римский.* Т. I. Текст. Т. II. Комментарий и исследование О. В. Творогова. СПб.: «Дмитрий Буланин», 1999–2001.
- Лефельдт 1989 – *Neues Testament des Čudov-Klosters. Eine Arbeit des Bischofs Aleksij, des Metropoliten von Moskau und ganz Rußland.* Phototypische Ausgabe von Leontij Metropolit von Moskau. Moskau, 1892. Mit einer Einleitung herausgegeben von W. Lehfeldt. Köln–Wien: Böhlau Verlag, 1989 [Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven, 28. Bd.].
- Ливе, I–II – *Histoire de l'Academie françoise par Pellisson et d'Olivet avec une introduction, des éclaircissements et notes par M. Ch.-L. Livet.* Т. I–II. Paris: Didier, 1855.
- Лидделл и Скотт, I–II – *Liddell H. G., Scott R.* A Greek-English Lexicon. A New Ed. Oxford: Clarendon Press, 1961.

- Линд 1990 – *Lind J. H.* The Martyria of Odense and a Twelfth-Century Russian Prayer: The Question of Bohemian Influence on Russian Religious Literature // *The Slavonic and East European Review* 68 (1990), № 1. P. 1–21.
- Липшиц 1965 – *Липшиц Е. Э.* Эклога. Византийский законодательный свод VIII века. Вступительная статья, перевод, комментарий Е. Э. Липшиц. М.: «Наука», 1965.
- Литаврин 1960 – *Литаврин Г. Г.* Болгария и Византия в XI–XII вв. М.: Изд-во АН СССР, 1960.
- Литаврин 1981 – *Литаврин Г. Г.* О датировке посольства княгини Ольги в Константинополь // *История СССР*, 1981, № 5. С. 173–183.
- Лихачев 1946 – *Лихачев Д. С.* Литература Новгорода XIII–XIV вв. // *История русской литературы*. Т. II: Литература 1220-х – 1580-х гг. Часть первая. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1946. С. 107–127.
- Лихачев 1947 – *Лихачев Д. С.* Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1947.
- Лихачев 1954а – *Лихачев Д. С.* Некоторые вопросы идеологии феодалов в литературе XI–XIII веков // *Труды Отдела древнерусской литературы* X (1954). С. 87–90.
- Лихачев 1954б – *Лихачев Д. С.* Социальные основы стиля «Моления» Даниила Заточника // *Труды Отдела древнерусской литературы* X (1954). С. 106–119.
- Лихачев 1958 – *Лихачев Д. С.* Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России. М.: АН СССР, 1958.
- Лихачев 1960 – *Лихачев Д. С.* Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России // *Исследования по славянскому литературоведению и фольклористике: Доклады советских ученых на IV Международном съезде славистов*. М., 1960. С. 95–151.
- Лихачев 1973 – *Лихачев Д. С.* Развитие русской литературы X–XVII веков. Эпохи и стили. Л.: «Наука», 1973.
- Лихачев 1979 – *Лихачев Д. С.* Поэтика древнерусской литературы. Изд. 3-е, дополн. М.: «Наука», 1979.
- Лихачев 1999 – *Лихачев Д. С.* Развитие русской литературы X–XVII веков. Изд. 3-е. СПб.: «Наука», 1999.
- Лич и Шорт 1981 – *Leech G. N., Short M. H.* Style in Fiction: A Linguistic Introduction to English Fictional Prose. London: Longman, 1981 [English Language Series, 13].
- Ломоносов, I–VIII – *Ломоносов М. В.* Сочинения. Т. I–VIII. СПб.–М.–Л.: Тип. Академии наук, 1891–1948.
- Ломоносов, I²–X² – *Ломоносов М. В.* Полное собрание сочинений. Т. I–X. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1950–1959.
- Лонгворт 1984 – *Longworth Ph. Alexis*, Tsar of All the Russias. London: Secker & Warburg, 1984.
- Лопатина 1978 – *Лопатина Л. Е.* Второстепенное сказуемое // *Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Простое предложение*. Под ред. В. И. Боровского. М.: «Наука», 1978. С. 102–118.
- Лотман 1971 – *Лотман Ю.* Поэзия 1790–1810-х годов // *Поэты 1790–1810-х годов*. Л.: «Советский писатель», 1971 [Библиотека поэта. Большая серия].
- Лотман 1975 – *Лотман Ю. М.* Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория) // *Литературное наследие декабристов*. Л.: «Наука», 1975. С. 25–74.
- Лотман 1976 – *Лотман Ю. М.* Бытовое поведение и типология культуры в России XVIII в. // *Культурное наследие Древней Руси*. М.: «Наука», 1976. С. 292–297.
- Лотман и Успенский 1975 – *Лотман Ю. М., Успенский Б. А.* Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры («Происшествие в царстве теней, или судьбина российского

- языка» – неизвестное сочинение Семена Боброва) // Ученые записки Тартуского ун-та, вып. 358. Тарту, 1975. С. 168–322 [Труды по русской и славянской филологии, XXIV].
- Лотман и Успенский 1977 – *Лотман Ю. М., Успенский Б. А.* Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Ученые записки Тартуского университета, вып. 414. Тарту, 1977. С. 3–36 [Труды по русской и славянской филологии, XXVIII. Литературоведение].
- Лотман и Успенский 1982 – *Лотман Ю. М., Успенский Б. А.* Отзвуки концепции «Москва – Третий Рим» в идеологии Петра Первого (К проблеме средневековой традиции в культуре барокко) // Художественный язык средневековья. М.: «Наука», 1982. С. 236–249.
- Лотман и Успенский 1984 – *Лотман Ю. М., Успенский Б. А.* Текстологические принципы издания // Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника. Л.: «Наука», 1984. С. 516–524.
- Лотман, I–III – *Лотман Ю. М.* Избранные статьи в трех томах. Т. I–III. Таллинн: «Александр», 1992–1993.
- Лотман, Толстой, Успенский 1981 – *Лотман Ю. М., Толстой Н. И., Успенский Б. А.* Некоторые вопросы текстологии и публикации русских литературных памятников XVIII века // Известия АН СССР. Серия литературы и языка, т. XL (1981), вып. 4. С. 312–323.
- Лудольф 1696 – *Ludolf H.-W.* Grammatica Russica... Oxonii, 1696. Цит. по изд.: Oxford: Clarendon Press, 1959 (ed. B. O. Unbegaun).
- Лукин 2001 – *Лукин П. Е.* Письмена и Православие: Историко-филологическое исследование «Сказания о письменах» Константина Философа Костенецкого. М.: «Языки славянской культуры», 2001.
- Лукичева 1974 – *Лукичева Э. В.* Федор Поликарпов – переводчик «Географии генеральной» Бернарда Варения // Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века [XVIII век, сб. 9]. Л.: «Наука», 1974. С. 289–296.
- Лукьяненко 1958 – *Лукьяненко В. И.* К истории русского букваря (Роль и значение азбучного акростиха в процессе обучения русской грамоте в XIV, XV и первой половине XVI вв.) // Труды Ленинградского библиотечного института им. Н. К. Крупской, т. IV. Л., 1958. С. 239–254.
- Лукьяненко 1960 – *Лукьяненко В. И.* Азбука Ивана Федорова, ее источники и видовые особенности // Труды Отдела древнерусской литературы XVI (1960). С. 208–229.
- Лызлов 1990 – *Лызлов А.* Скифская история. Подготовка текста, комментариев и аннотированный список имен А. П. Богданова. М.: «Наука», 1990.
- Львов 1960 – *Львов А. С.* Старославянские кѣнигы – боукѣви // Краткие сообщения Института славяноведения, 1960, вып. 28. С. 61–69.
- Львов 1966 – *Львов А. С.* Очерки по лексике памятников старославянской письменности. М.: «Наука», 1966.
- Любарский 1978 – *Любарский Я. Н.* Михаил Пселл. Личность и творчество. К истории византийского предгуманизма. М.: «Наука», 1978.
- Людвиковский 1978 – *Kristiánova legenda – Legenda Christiani. Vita et Passio sancti Wenceslai et sancte Ludmille ave eius.* Ed. J. Ludvíkovský. Praha: Vyšehrad, 1978.
- Лященко 1924 – *Лященко А. И.* Из комментария к Моление Даниила Заточника // Историко-литературный сборник. Посвящается Всеволоду Измаиловичу Срезневскому, 1891–1916 гг. Л., 1924. С. 412–420.
- MGH, SS – *Monumenta Germaniae historica inde ab anno Christi quingentesimo usque ad annum millesimum et quingentesimum. Scriptorum.* T. I–XXXII. Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani, 1826–1934.

- Мадариага 1981 – *Madariaga I. de.* Russia in the age of Catherine the Great. London: Weidenfeld and Nicolson, 1981.
- Майер и Пилгер 2001 – *Maier I., Pilger W.* Second-Hand Translation for Tsar Aleksej Mixajlovič – a Glimpse into the ‘Newspaper Workshop’ at *Posol’skij Prikaz* (1648) // Russian Linguistics 25 (2001), № 2. P. 209–242.
- Майков 1889 – *Майков Л. Н.* Очерки из истории русской литературы XVII и XVIII столетий. СПб.: Изд-во А. С. Суворина, 1889.
- Майоров 2006 – *Майоров А. П.* Очерки лексики региональной деловой письменности XVIII века. М.: «Азбуковник», 2006.
- МакАннален 2009 – *McAnnalen J.* The Competing Roles of SV(O) and VS(O) Word Orders in *Hoždenie igumena Daniila* // Russian Linguistics 33 (2009), № 2. P. 211–228.
- Макарий, I–VII – *Макарий (Булгаков).* История русской церкви. Кн. I–VII. М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1994–1997.
- Макаров, I–II – *Макаров П. И.* Сочинения и переводы. Т. I (ч. 1–2), II (ч. 1–2). Изд. 2-е. М.: Университетская типография, 1817.
- Максим Грек, I–III – Сочинения Максима Грека, изданные при Казанской духовной академии. Ч. I–III. Казань, 1859–1862.
- Максим Грек, I² – Преподобный Максим Грек. Сочинения. Т. I. М.: «Индрик», 2008.
- Максимович 1995 – *Максимович К. А.* Византийская практика публичного покаяния в Древней Руси: терминология и проблемы рецепции // *Russica Romana*, II (1995). P. 7–24.
- Максимович 2006 – *Максимович К. А.* К изучению региональных архаизмов старославянского языка: союз **толи** // Русский язык в научном освещении, № 1 (11), 2006. С. 246–256.
- Максимович 2008 – *Максимович К. А.* Заповѣди сватыхъ отьць. Латинский пенитенциал VIII века в церковнославянском переводе. Исследование и текст. М.: Изд-во ПСТГУ, 2008.
- МакШейн 1998 – *McShane M.* Ellipsis in Slavic: the Syntax-Discourse Interface. PhD Dissertation. Princeton University, 1998.
- Малингуди 1994 – *Malingoudi J.* Die russisch-byzantinischen Verträge des 10. Jahrhundert aus diplomatischer Sicht. Thessaloniki, 1994 [Bibl. Slavikon, 5].
- Малингуди 1996 – *Малингуди Я.* Терминологическая лексика русско-византийских договоров // Славяне и их соседи, вып. 6: Греческий и славянский мир в средние века и раннее Новое время. Сборник статей к 70-летию академика Г. Г. Литаврина. М.: «Индрик», 1996. С. 61–67.
- Малкова 1966 – *Малкова О. В.* К истории редуцированных гласных ъ и ь в южных говорах древнерусского языка (по материалам рукописи 1164 г.) // Известия АН СССР. Серия литературы и языка, т. 25, 1966, вып. 3. С. 240–246.
- Малкова 1967 – *Малкова О. В.* Редуцированные гласные в Добриловом евангелии 1164 года. Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата филолог. наук. М., 1967.
- Малкова 1987а – *Малкова О. В.* Проблемы фонетического развития диалектов южной зоны древнерусского языка (на материале рукописей XII–XIII вв.). Автореферат дис. на соискание ученой степени доктора филолог. наук. М., 1987.
- Малкова 1987б – *Малкова О. В.* Проблемы фонетического развития диалектов южной зоны древнерусского языка (на материале рукописей XII–XIII вв.). Диссертация на соискание ученой степени доктора филолог. наук. М., 1987.
- Маллэ 1713 – [Маллэ А.]. Книга Марсова или воинских дел от войск царского величества россииских. СПб., 1713.

- Малышева 2008 – *Малышева А. В.* Вариативность генетива и аккумулятива при глаголах с общим значением 'беречь, защищать' в русских летописях // Русский язык в научном освещении, № 1 (15), 2008. С. 57–78.
- Малышева 2010 – *Малышева А. В.* Из истории русского глагольного управления: объектный генетив (на материале русских летописей и современных архангельских говоров). Автореферат диссертации на соискание уч. степени кандидата филологич. наук. М.: Институт русского языка РАН, 2010.
- Манго 1980 – *Mango C.* Byzantium, the Empire of New Rome. New York: Ch. Scribner's Sons, 1980.
- Манго 1988–89 – *Mango C.* The Tradition of Byzantine Chronography // Harvard Ukrainian Studies, XII/XIII (1988/1989). P. 360–372 [Proceedings of the International Congress Commemorating the Millennium of Christianity in Rus'–Ukraine. Ed. by O. Pritsak and I. Ševčenko].
- Мареш 1970 – *Mareš F. V.* Die Anfänge des slavischen Schrifttums and die kulturelle Selbständigkeit der Slaven // Wiener Slavistisches Jahrbuch 16 (1970). S. 77–88.
- Мареш 1974 – *Mareš F. V.* Die slavische Liturgie in Böhmen zur Zeit der Gründung des Prager Bistums // Millenium Dioceseos Pragensis 973–1973. Beiträge zur Kirchengeschichte Mitteleuropas im 9.–11. Jh. Wien–Köln–Graz: Böhlau Verlag, 1974. S. 95–110 [Annales Instituti Slavici, Bd. 8].
- Мареш 1979 – *Mareš Fr. W.* An Anthology of Church Slavonic Texts of Western (Czech) Origin: With an Outline of Czech-Church Slavonic language and Literature and With a Selected Bibliography. München: Fink Verlag, 1979.
- Мареш 1988 – *Mareš F. V.* Die neukirchenslavische Sprache des russischen Typus und ihr Schriftsystem // Гильтебрант П. А. Справочный и объяснительный словарь к Новому Завету. Nachdruck der Ausgabe Petersburg 1898 mit einer Einleitung von Helmut Keipert. Bd. 2. München: Verlag Otto Sagner, 1988. S. V–XXXVII.
- Маркер 1985 – *Marker G.* Publishing, Printing, and the Origins of Intellectual Life in Russia, 1700–1800. Princeton, Princeton Univ. Press, 1985.
- Маркер 1994 – *Marker G.* Faith and Secularity in Eighteenth-Century Russian Literacy, 1700–1775 // Christianity and the Eastern Slavs. Vol. II. Russian Culture in Modern Times. Ed. by R. P. Hughes and I. Paperno. Berkeley–Los Angeles–London, 1994. P. 3–24 [California Slavic Studies XVII].
- Марков 1964 – *Марков В. М.* К истории редуцированных гласных в русском языке. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1964.
- Марков 1968 – *Марков В. М.* Путятин Миня как древнейший памятник русского письма // Slavia, XXXVII (1968), № 4. S. 548–562.
- Маркопулос 1985 – *Markopoulos A.* Théodore Daphnopatès et la Continuation de Théophane // Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 35 (1985). S. 171–182.
- Маркус 1965 – *Marcus S.* Sur la notion de projectivité // Zeitschrift für mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik 11 (1965). S. 181–192.
- Марру 1960 – *Marrou H. I.* Histoire de l'éducation dans l'antiquité. 5^e éd. Paris: Éditions du Seuil, 1960.
- Мартель 1933 – *Martel A.* Michel Lomonosov et la langue littéraire russe. Paris: H. Champion, 1933 [Bibl. de l'Institut française de Leningrad, 13].
- Марти 1984 – *Marti R. W.* Old Church Slavonic Nasal Vowels: Ÿ or VN? // New Zealand Slavonic Journal, 1984. P. 119–152.
- Марти 1987 – *Marti R.* Gattung Florilegien // Gattung und Narration in den alteren slavischen Literaturen (zweite Berliner Fachtagung 1984). Ed. K.-D. Seemann. Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1987. S. 121–145.

- Марти 1989а – *Marti R.* Handschrift–Text–Textgruppe–Literatur. Untersuchungen zur inneren Gliederung der frühen Literatur aus dem ostslavisches Sprachbereich in den Handschriften des 11. bis 14. Jahrhunderts. Wiesbaden, 1989 (Veröffentlichungen der Abteilung für slavische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Institut an der Freien Universität Berlin, Bd. 68).
- Марти 1989б – *Marti R.* 'Slavia orthodoxa' als literar- und sprachkritischer Begriff // *Studia slavico-byzantina et mediaevalia europensia*. Vol. I. Studies on the Slavo-Byzantine and West European Middle Ages. In memoriam Ivan Dujcev. Sofia: Gos. izd-vo im. D-ra Petra Berona, 1989. P. 193–200.
- Мартин 1997 – *Martin A. M.* Romantics, Reformers, Reactionaries: Russian Conservative Thought and Politics in the reign of Alexander I. DeKalb: Northern Illinois Univ. Press, 1997.
- Мартине 1960 – *Мартине А.* Принцип экономии в фонетических изменениях (Проблемы диахронической фонологии). Пер. с французского. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960.
- Маруяма 2005 – *Маруяма Ю.* К вопросу о порядке слов в атрибутивных словосочетаниях в русском языке конца XVII в. (на основе анализа редакций «Жития протопопа Аввакума») // *Acta Slavica Iaponica* 22 (2005). P. 188–214.
- Маруяма 2006 – *Маруяма Ю.* О функциональном распределении форм двойственного числа в русском языке XVII в. (на материале «Повести о боярыне Морозовой») // Материалы XXXV Международной филологической конференции. Вып. 6. Секция «История русского языка и культурная память народа», 13–18 марта 2006 года. СПб.: Филологический факультет С-Петербургского ун-та, 2006. С. 90–97.
- Маруяма 2011 – *Маруяма Ю.* К вопросу о распределении форм двойственного числа в русских житийных памятниках начала XV в. (на материале «Жития Стефана Пермского» и «Жития Сергия Радонежского») // *Русский язык в научном освещении*, № 1 (21), 2011. С. 162–188.
- Маслов 1954 – *Маслов Ю. С.* Имперфект глаголов совершенного вида в славянских языках // *Вопросы славянского языкознания*. Вып. 1. М., 1954. С. 68–138.
- Маслов 1984 – *Маслов Ю. С.* Очерки по аспектологии. Л.: «Наука», 1984.
- Материалы АН, I–X – Материалы для истории Императорской Академии наук. Под ред. М. И. Сухомлинова. Т. I–X. СПб., 1885–1900.
- Материалы, I–IX – Материалы для истории раскола за первое время его существования. Под ред. Н. И. Субботина. Т. I–IX. М., 1875–1890.
- Маттесен 1984 – *Mathiesen R.* The Church Slavonic Language Question: An Overview (IX–XX Centuries) // *Aspects of the Slavic Language Question*. Ed. by R. Picchio and H. Goldblatt. Vol. I. New Haven: Yale Consilium on International and Area Studies, 1984. P. 45–65.
- Матхаузерова 1976 – *Матхаузерова С.* Две теории текста в русской литературе XVII в. // *Труды Отдела древнерусской литературы* XXXI (1976). С. 271–284.
- Медынцева 1978 – *Медынцева А. А.* Древнерусские надписи Новгородского Софийского собора XI–XIV века. М.: «Наука», 1978.
- Медынцева 1984 – *Медынцева А. А.* Новгородские находки и дохристианская письменность на Руси // *Советская археология*, 1984, № 4. С. 49–61.
- Медынцева 1998 – *Медынцева А. А.* Надписи на амфорной керамике X – начала XI в. и проблема происхождения древнерусской письменности // *Культура славян и Русь*. М.: «Наука», 1998. С. 176–195.
- Медынцева 2000 – *Медынцева А. А.* Грамотность в Древней Руси. По памятникам эпиграфики X – первой половины XIII века. М.: «Наука», 2000.
- Мейе 1897 – *Meillet A.* Recherches sur l'emploi du génitif-accusatif en vieux-slave. Paris: É. Bouillon, 1897.

- Мейе 1936 – *Meillet A.* Ce que la linguistique doit aux savants allemands // Linguistique historique et linguistique générale, 2. Paris, 1936. P. 152–159.
- Мейендорф 1959 – *Meyendorff J.* Introduction à l'étude de Grégoire Palamas. Paris: Éditions du Seuil, 1959 [Patristica sorboniensia, 3].
- Мейендорф 1989 – *Meyendorff J.* Byzantium and the Rise of Russia. Crestwood: St. Vladimir Seminary Press, 1989.
- Мейендорф 1990 – *Мейендорф И.*, протоиерей. Византия и Московская Русь. Очерк по истории церковных и культурных связей в XIV веке. Paris: YMCA-Press, 1990.
- Мейендорф 1997 – *Мейендорф Иоанн*, прот. Жизнь и труды святителя Григория Паламы: Введение в изучение. Изд. 2-е испр. и доп. СПб.: «Византинороссика», 1997 [Subsidia byzantinorossica].
- Мейнье 1966 – *Meynieux A.* La littérature et le métier d'écrivain en Russie avant Pouchkine. Paris: Librairie des Cinq continents, 1966.
- Мейчик 1915 – *Мейчик Д. М.* Русско-византийские договоры // Журнал Министерства народного просвещения, 1915, № 10. С. 292–317.
- Мельникова 2011 – *Мельникова Е. А.* Древняя Русь и Скандинавия: Избранные труды. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке (Университет Дм. Пожарского), 2011.
- Мельчук 1988 – *Mel'čuk I. A.* Dependency Syntax: Theory and Practice. Albany: State University Press of New York, 1988.
- Мерило праведное (МП) – Мерило праведное по рукописи XIV века. Изд. под наблюдением и со вступ. статьей М. Н. Тихомирова. М.: Изд-во АН СССР, 1961.
- Мечковская 1984 – *Мечковская Н. Б.* Ранние восточнославянские грамматики. Минск: Изд-во «Университетское», 1984.
- Мещерский 1958a – *Мещерский Н. А.* История Иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1958.
- Мещерский 1958б – *Мещерский Н. А.* Новгородские грамоты на бересте как памятник древнерусского литературного языка // Вестник ЛГУ, 1958, № 2. Серия истории, языка и лит.-ры. Вып. 1. С. 93–108.
- Мещерский 1962 – *Мещерский Н. А.* К изучению языка и стиля новгородских берестяных грамот // Ученые записки Карельского пед. ин-та, т. 12 (1961). Петрозаводск, 1962. С. 84–115.
- Мещерский 1981 – *Мещерский Н. А.* История русского литературного языка. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1981.
- Мещерский 1995 – *Мещерский Н. А.* Избранные статьи. СПб.: СПб. гос. ун-т, 1995.
- Миди, I–II – *Midy I.* Nominal Morphology in Russian Correspondence 1700–1715. P. I–II. Stockholm: US-AB universitetsservice, 2010 [Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Slavic Studies 40: 1].
- Милов 1963 – *Милов Л. В.* Из истории древнерусской книжной письменности XIV века (палеографические наблюдения) // Вестник Московского университета. Серия IX. История, 1963, № 3. С. 23–33.
- Милов 1976 – *Милов Л. В.* О древнерусском переводе византийского кодекса законов VIII века (Эклога) // История СССР, 1976, январь–февраль. С. 142–163.
- Милов 1996 – *Милов Л. В.* Легенда или реальность? (О неизвестной реформе Владимира и Правде Ярослава) // Древнее право. Jus Antiquum, 1996, № 1. С. 201–218.
- Милов 2000 – *Милов Л. В.* К вопросу об истории церковного устава Владимира // Florilegium. К 60-летию Б. Н. Флори. М.: «Языки русской культуры», 2000. С. 244–246.

- Минеева 2001 – *Минеева С. В.* Рукописная традиция жития преп. Зосимы и Савватия Соловецких (XVI–XVIII вв.). Т. I. Исследование. Т. II. Тексты. М.: «Языки славянской культуры», 2001.
- Минлос 2007 – *Минлос Ф.* Повтор предлогов в Новгородской первой летописи // Русский язык в научном освещении, № 1 (13), 2007. С. 52–72.
- Минлос 2008 – *Минлос Ф. Р.* Позиция атрибута внутри именной группы в языке Псковской летописи // Русский язык в научном освещении, № 2 (16), 2008. С. 203–216.
- Минлос 2010а – *Минлос Ф. Р.* Что притягивает притяжательные местоимения? или Линейная позиция атрибутов // Вопросы русского языкознания. Вып. XIII. Фонетика и грамматика: настоящее, прошедшее, будущее. М.: Изд-во МГУ, 2010. С. 279–290.
- Минлос 2010б – *Минлос Ф. Р.* Линейное положение прилагательных в древнерусском: возвращаясь к статье Д. Ворта // Русский язык в научном освещении, № 2 (20), 2010. С. 287–296.
- Минлос 2011 – *Минлос Ф. Р.* Князь великий или великий князь: параметры варьирования // Слова. Концепты. Мифы: К 60-летию Анатолия Фёдоровича Журавлёва. М.: «Индрик», 2011. С. 209–217.
- Миронов, I–II – *Миронов Б. Н.* Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. Т. I–II. Изд. 2-е, исправл. СПб.: «Дмитрий Буланин», 2000.
- Митренина 2012 – *Mitrenina O. V.* The Syntax of Pseudo-Correlative Constructions with the Pronoun *kotoryj* ('which') in Middle Russian // *Slověne. International Journal of Slavic Studies* 1 (2012), № 1. P. 61–73.
- Михальчи 1964 – *Михальчи Д. Е.* И. В. Паузе и его Славяно-русская грамматика // Известия АН СССР. Серия литературы и языка, т. XXIII (1964), вып. 1. С. 49–57.
- Михальчи 1968 – *Михальчи Д. Е.* Листы белой рукописи «Славяно-русской грамматики» И. В. Паузе // Вопросы грамматики и словообразования. М., 1968. С. 150–161 [Труды Университета дружбы народов им. П. Лумумбы, т. 41, вып. 4].
- Михальчи 1969а – *Михальчи Д. Е.* Славяно-русская грамматика Иоганна Вернера Паузе. Автореферат диссертации на соискание уч. степени доктора филолог. наук. Л., 1969.
- Михальчи 1969б – *Михальчи Д. Е.* Славяно-русская грамматика Иоганна Вернера Паузе. Диссертация на соискание уч. степени доктора филолог. наук. Л., 1969.
- Михель 1954 – *Michel A.* Schisma und Kaiserhof im Jahre 1054 // *L'église et les églises, 1054–1954: neuf siècles de douloureuse séparation entre l'Orient et l'Occident. Études et travaux offerts à Lambert Beauduin. Vol. I.* Chevetogne: Éditions de Chevetogne, 1954. P. 351–440 [Collection Irénikon].
- Мишина 1999 – *Мишина Е. А.* Типы употребления презенса совершенного вида в восточнославянских памятниках XI–XV вв. Автореферат диссертации на соискание уч. степени кандидата филолог. наук. М.: Московский гос. университет, 1999.
- Мишина 2000 – *Мишина Е. А. (Горбунова).* Функционирование настоящего исторического в восточнославянских памятниках XI–XV веков // *AION Slavistica. Annali dell'Istituto universitario Orientale di Napoli. Dipartimento di studi dell'Europa orientale. Sezione Slavistica*, vol. 5 (1997–1998). Napoli, 2000. P. 247–285.
- Мишина 2001 – *Мишина Е. А.* Настоящее историческое в восточнославянских памятниках XI–XV веков // Древние языки в системе университетского образования: Исследование и преподавание. М.: Изд-во Московского ун-та, 2001. С. 197–212.
- Младенович 1982 – *Младеновић А.* О неким питањима примања и измене рускословенског језика код Срба // Зборник за филологију и лингвистику (Нови Сад), XXV (1982), № 2. С. 47–81.

- Младенович 1987 – Младеновић А. Улога рускословенског језика у формирању српског књижевног језика новијег периода // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику (Нови Сад), XXX (1987), № 2. С. 45–64.
- Моддерман 1875 – *Modderman W.* Die Reception des römischen Rechts. Autorisierte Übersetzung mit Zusätzen herausgegeben von K. Schulz. Jena: H. Dufft, 1875.
- Мозер 2002 – *Moser M.* Что такое «простая мова»? // *Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae* 47 (2002), № 3–4. Р. 221–260.
- Мозер 2005 – *Moser M.* (Hrsg.). Das Ukrainische als Kirchensprache // *Ukrajins'ka mova v cerkvach*. Wien: LIT Verlag, 2005.
- Моисеева 1954 – Казанская история. Подготовка текста, вступ. статья и примеч. Г. Н. Моисеевой. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1954.
- Моисеева 1965 – *Моисеева Г. Н.* Русские повести первой трети XVIII века. М.–Л.: «Наука», 1965.
- Моисей Гумилевский 1786 – [*Моисей Гумилевский*]. Разсуждение о вычищении, удобрении и обогащении Российского языка. М.: Тип. Компании типографской, 1786.
- Молдован 1994 – *Молдован А. М.* Критерии локализации древнеславянских переводов // *Славяноведение*, 1994, № 2. С. 69–80.
- Молдован 2000 – *Молдован А. М.* Житие Андрея Юродивого в славянской письменности. М.: «Азбуковник», 2000.
- Момина 1992 – *Момина М. А.* Проблема правки славянских богослужебных гимнографических книг на Руси в XI столетии // *Труды Отдела древнерусской литературы* XLV (1992). С. 200–219.
- Моравчик 1970 – *Moravcsik G.* Byzantium and the Magyars. Translated by S. R. Rosenbaum. Amsterdam: Hakker, 1970.
- Моравчик 1978 – *Moravcsik E.* On the Limits of Subject-Object Ambiguity Tolerance // *Papers in Linguistics* 11: 1/2. Р. 255–259.
- Морозов 1880 – *Морозов П.* Феофан Прокопович как писатель. Очерк из истории русской литературы в эпоху преобразования. СПб.: тип. В. С. Балашева, 1880.
- Морозов 1965 – *Морозов А.* Ломоносов и барокко // *Русская литература*, 1965, № 2. С. 70–96.
- Морозов 1974 – *Морозов А.* Судьбы русского классицизма // *Русская литература*, 1974, № 1. С. 13–27.
- Мошин 1963 – *Мошин В.* О периодизации русско-южнославянских литературных связей X–XV веков // *Труды Отдела древнерусской литературы* XIX (1963). С. 28–106.
- МП – см. Мерило Праведное.
- Мстислав. ев. – Мстиславово Евангелие (ГИМ, Син. 1203). Цит. по изд.: Жуковская 1983.
- Мюллер 1956 – *Müller L.* Studien zur altrussischen Legende der Heiligen Boris und Gleb. II: Die Quellen des Skazanije // *Zeitschrift für slavische Philologie* 25 (1956). S. 329–363.
- Мюллер 1959–1962 – *Müller L.* Studien zur altrussischen Legende der Heiligen Boris und Gleb. II: Die Quellen des Skazanije (Kapitel D, erster Teil) // *Zeitschrift für slavische Philologie*, Bd. 27 (1959). S. 274–322; Bd. 30 (1962). S. 14–44.
- Мюллер 2001 – *Мюллер Л.* Летописный рассказ и Сказание о святых Борисе и Глебе: Их текстуальное взаимоотношение // *Russia Mediaevalis*, X, 1 (2001). Р. 22–33.
- Назаревский 1911 – *Назаревский А. А.* Язык Евангелия 1581 года в переводе В. Неразлевого // [Киевские] университетские известия, 1911, № 8. С. 1–40; № 11. С. 41–78; № 12. С. 79–139.

- Назаренко 2001 – Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей IX–XII веков. М.: «Языки русской культуры», 2001.
- Насонов 1969 – Насонов А. Н. История русского летописания XI – начала XVIII века. Очерки и исследования. М., «Наука», 1969.
- Наумов 1976 – Naumow A. E. Apokryfy w systemie literatury cerkiewno-słowiańskiej. Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.
- НГБ, I–XI – (I) Арциховский А. В., Тихомиров М. Н. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1951 г.). № 1–10. М.: Изд-во АН СССР, 1953; (II) Арциховский А. В. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1952 г.). № 11–83. М.: Изд-во АН СССР, 1954; (III) Арциховский А. В., Борковский В. И. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1953–1954 гг.). № 84–136. М.: Изд-во АН СССР, 1958; (IV) Арциховский А. В., Борковский В. И. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1955 г.). № 137–194. М.: Изд-во АН СССР, 1958; (V) Арциховский А. В., Борковский В. И. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1956–1957 гг.). № 195–318. М.: Изд-во АН СССР, 1963; (VI) Арциховский А. В. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1958–1961 гг.). № 310–405. М., 1963; (VII) Арциховский А. В., Янин В. Л. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1962–1976 гг.). № 406–539. М., 1978; (VIII) Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). № 540–614. М., 1986; (IX) Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984–1989 гг.). М., 1993. (X) Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1990–1996 гг.). № 710–775. Палеография берестяных грамот и их внестратиграфическое датирование. М.: «Русские словари», 2000; (XI) Янин В. Л., Зализняк А. А., Гуппиус А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1997–2000 гг.). № 776–915. М.: «Русские словари», 2004.
- Неволин 1847 – Неволин К. А. О пространстве Церковного суда в России до Петра Великого // Журнал Министерства народного просвещения, 1847, ч. 55, июль–август. С. 1–23, 75–151.
- Неволин, I–VI – Неволин К. А. Полное собрание сочинений. Т. I–VI, СПб., 1857–1859.
- Неделкович 1986 – Nedeljković O. The Linguistic Dualism of Gavriilo Stefanović Venclović and «Prosta Mova» in the Literature of the Orthodox Slavs // Studia slavica mediaevalia et humanistica Riccardo Picchio dicata. M. Colucci, G. Dell'Agata, H. Goldblatt curantibus. Roma: Edizioni dell'Ateneo, 1986. Vol. II. P. 539–557.
- Неделкович 1988 – Nedeljković O. Языковые уровни и характерные черты диглоссии в средневековых текстах православных славян // American Contributions to the Tenth International Congress of Slavists. Sofia, September 1988. Linguistics. Columbus: Slavica, 1988. P. 265–300.
- Нефедов 2001 – Нефедов В. С. Археологический контекст «древнейшей русской надписи» из Гнёздова // Археологический сборник. Гнёздово: 125 лет исследования памятника. М.: Гос. Исторический музей, 2001. С. 64–67 [Труды Гос. Исторического музея. Вып. 124].
- Никитин 1986 – Хождение за три моря Афанасия Никитина. Изд. подготовили Я. С. Лурье и Л. С. Семенов. Л.: «Наука», 1986 [Литературные памятники].
- Никитина 1993 – Никитина С. Е. Устная народная культура и языковое сознание. М.: «Наука», 1993.
- Никифоров 1952a – Никифоров С. Д. Глагол. Его категории и формы в русской письменности второй половины XVI века. М.: Изд-во АН СССР, 1952.
- Никифоров 1952b – Никифоров С. Д. Инфинитив по памятникам второй половины XVI века // Московский гос. педагогический ин-т. Ученые записки, т. LXIV. Кафедра русского языка, вып. 3. М., 1952. С. 101–133.

- Николаев 1996 – *Николаев С. Л. Histoire d'O // Русистика. Славистика. Индоевропеистика. Сборник к 60-летию А. А. Зализняка. М.: «Индрик», 1996. С. 203–242.*
- Николенко и Николина 2002 – *Николенко Л. В., Николина Н. А. Концепция языка в работах В. И. Даля // В. И. Даль и Общество любителей российской словесности. СПб.: «Златоуст», 2002. С. 172–180.*
- Никольс и Тимберлейк 1991 – *Nichols J., Timberlake A. Grammaticalization as Retextualization // Approaches to Grammaticalization. Ed. by E. C. Traugott and B. Heine. Vol. I: Theoretical and Methodological Issues. Amsterdam–Philadelphia: Benjamins, 1991. P. 129–146 [Typological Studies in Language, vol. 19].*
- Никольский 1892 – *Никольский Н. К. О литературных трудах митрополита Климента Смолятича, писателя XII века. СПб.: Типография Имп. АН, 1892.*
- Никольский 1896 – *Никольский К. Т. Материалы для истории исправления богослужебных книг. СПб., 1896.*
- Никольский 1928 – *Никольский Н. К. К вопросу о русских письменах, упоминаемых в Житии Константина Философа // Известия по русскому языку и словесности, I (1928). С. 1–37.*
- Никольский 1930 – *Никольский Н. К. Повесть временных лет, как источник для истории начального периода русской письменности и культуры. К вопросу о древнейшем русском летописании. Вып. первый. I–IX. Л., 1930 [Сборник по русскому языку и словесности, т. II, вып. 1].*
- Никон 1982 – [Nikon, Patriarch of Moscow.] Patriarch Nikon on church and state: Nikon's «Refutation». Edited, with introduction and notes, by V. A. Tumins and G. Vernadsky. Berlin, New York: Mouton, 1982 [Slavic Printings and Reprintings, 300].
- Нимчук 1979 – *Німчук В. В. Граматика М. Смотрицького – перлина давнього мовознавства // Мелетій Смотрицький. Граматика. Київ: «Наукова думка», 1979.*
- Новиков 1772 – *Новиков Н. И. Опыт исторического словаря о российских писателях. СПб.: Типография Имп. Академии наук, 1772.*
- Новый Завет 1738 – *Новый Завет. М.: Синодальная типография, март 1738.*
- НПЛ – *Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Под ред. и с предисловием А. Н. Насонова. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1950.*
- Обнорский 1912 – *Обнорский С. П. Язык Ефремовской Кормчей XII века // Исследования по русскому языку, т. III, вып. 1. СПб.: Отделение русского языка и словесности Имп. Академии наук, 1912. С. 1–80.*
- Обнорский 1924 – *Обнорский С. П. Исследование о языке Минеи за ноябрь 1097 года // Известия ОРЯС, XXIX (1924). С. 167–226.*
- Обнорский 1946 – *Обнорский С. П. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1946.*
- Обнорский 1960 – *Обнорский С. П. Избранные работы по русскому языку. М.: Гос. учебно-педагогическое изд-во, 1960.*
- Обнорский и Бархударов, I–II – *Обнорский С. П., Бархударов С. Г. Хрестоматия по истории русского языка. Ч. I (изд. 2-е). М.: Учпедгиз, 1952. Ч. II, вып. 1–2. М.: Учпедгиз, 1948–1949.*
- Обнорский, I–II – *Обнорский С. П. Именное склонение в современном русском языке. Вып. 1. Единственное число. Л., 1927 [Сборник ОРЯС, т. С, № 3]. Вып. 2. Множественное число. Л.: Изд-во АН СССР, 1931.*
- Оболенский 1998 – *Оболенский Д. Византийское содружество наций. Шесть византийских портретов. Перевод с англ. М.: «Янус-К», 1998.*

- Овсянников 1933 – *Овсянников В. З.* Литературная речь. Толковый словарь современной общелитературной фразеологии. М.: ОГИЗ, «Молодая гвардия», 1933.
- ОДДС, I–XLIX – Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. Т. I–XLIX. СПб., 1869–1914.
- ОЕ – Остромирово евангелие 1056–1057. Факсимильное воспроизведение. Л.: «Аврора», 1988.
- Ожегов 1949 – Словарь русского языка. Составил С. И. Ожегов. М.: ОГИЗ, гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1949.
- Окелл 1965 – *Okell J.* Nissaya Burmese, a Case of Systematic Adaptation to a Foreign Grammar and Syntax // *Lingua* 15 (1965). P. 186–227.
- Олеш 1976 – *Olesch R.* Die christliche Terminologie im Dravänopolabischen // *Zeitschrift für slavische Philologie* 39 (1976). S. 10–31.
- Опарина 1998 – *Опарина Т. А.* Иван Наседка и полемическое богословие киевской митрополии. Новосибирск: «Наука», 1998.
- Орлов 1935 – *Орлов А. С.* «Тилемахида» В. К. Тредиаковского // XVIII век. [Сб. 1]. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1935. С. 5–55.
- Орлов 1946 – *Орлов А. С.* Владимир Мономах. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1946.
- Орлова 1970 – Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров. По материалам лингвистической географии. Под ред. В. Г. Орловой. М.: «Наука», 1970.
- Остр. ев. – см. ОЕ.
- Островский, I–III – *The Pověst' vremennykh lět: An Interlinear Collation and Paradosis.* Compiled and edited by D. Ostrowski. Part I–III. s. l.: Harvard Univ. press, 2003 [Harvard Library of Early Ukrainian Literature: Texts. Vol. X, pt. 1–3].
- Острожская Библия 1581 – Библия срещ книги ветхаго и новаго завета, по языку словенску. Острог: Типография князя Острожского, 1581.
- Отроковский 1921 – *Отроковский В. М.* Тарасий Земка, южнорусский литературный деятель XVII в. Пг., 1921 [Сборник ОРЯС, т. XCVI, № 2].
- Оттен 1973 – *Otten F.* Die finiten Verbalformen und ihr Gebrauch in der Stepennaja kniga carskogo rodoslovija. Berlin, Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1973 [Veröffentlichungen der Abteilung für slavische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Instituts an der Freien Universität Berlin, 42. Bd.].
- Оттен 1985 – *Otten F.* Untersuchungen zu den Fremd- und Lehnwörtern bei Peter dem Grossen. Köln–Wien: Böhlau Verlag, 1985 [Slavistische Forschungen, Bd. 50].
- PG, I–CLXVI – *Patrologiae cursus completus. Series graeca.* Vol. I–CLXVI. Accurante J. P. Migne. Paris, 1857–1866.
- PL, I–CCXXI – *Patrologiae cursus completus. Series latina.* Vol. I–CCXXI. Accurante J. P. Migne. Paris, 1865–1891.
- Павлов 1869 – *Павлов А. С.* Первоначальный славяно-русский номоканон. Казань, 1869.
- Павлов 1878 – *Павлов А.* Критические опыты по истории древнейшей грекорусской полемики против латинян. СПб., 1878.
- Павлов 1885 – *Павлов А. С.* «Книги законные», содержащие в себе, в древне-русском переводе византийские законы земледельческие, уголовные, брачные и судебные. Издал вместе с греческими подлинниками и с историко-юридическим введением А. Павлов, СПб., 1885 (= Сб. ОРЯС, т. XXXVIII, № 3).
- Павлов 1887 – *Павлов А. С.* 50-я глава Кормчей Книги как исторический и практический источник русского брачного права. М., 1887.

- Падучева 1996 – *Падучева Е. В.* Семантические исследования. М.: «Языки русской культуры», 1996.
- Падучева 2001 – *Падучева Е. В.* Русский литературный язык до и после Пушкина // A. S. Puškin und die kulturelle Identität Rußlands. Hrsg. von G. Ressel. Frankfurt am Main, etc.: Peter Lang, 2001. P. 97–108 [Heidelberger Publikationen zur Slavistik. A. Linguistische Reihe, Bd. 13].
- Падучева 2004 – *Падучева Е. В.* Динамические модели в семантике лексики. М.: «Языки славянской культуры», 2004.
- Падучева 2010 – *Paducheva E.* Subject-Predicate Inversion and Its Cognitive Sources // *Russian Linguistics* 34 (2010), № 2. P. 113–121.
- Палая толковая 1892–1896 – Палая толковая по списку сделанному в г. Коломне в 1406 г. Труд учеников Н. С. Тихонравова. М., 1892–1896.
- Панов 1990 – *Панов М. В.* История русского литературного произношения XVIII–XX вв. М.: «Наука», 1990.
- Панов, I–II – *Панов М. В.* Труды по общему языкознанию и русскому языку. Т. I–II. М.: «Языки славянской культуры», 2004–2007.
- Панченко 1973 – *Панченко А. М.* Русская стихотворная культура XVII века. Л.: «Наука», 1973.
- Панченко и Успенский 1983 – *Панченко А. М., Успенский Б. А.* Иван Грозный и Петр Великий: концепция первого монарха. Статья первая. Труды Отдела древнерусской литературы XXXVII (1983). С. 54–78.
- Паолилло 1997 – *Paolillo J. C.* Sinhala Diglossia: Discrete or Continuous Variation? // *Language in Society* 26 (1997). P. 269–296.
- Пападимитриу 1902 – *Пападимитриу С. Д.* Иоанн II, митрополит Киевский, и Феодор Продром (Χρῖστος, καὶ Φεόδωρος Πρόδρομος) // *Летописи историко-филологического общества при Императорском Новороссийском университете*, 10 (1902), VII. С. 1–54.
- Пападопуло-Керамевс 1909 – *Пападопулос-Керамевс А.* (изд.). *Varia graeca sacra*. Сборник греческих неизданных богословских текстов IV–XV веков. С предисловием и указателем. СПб., 1909 [Записки историко-филологического факультета Имп. Санкт-Петербургского ун-та, ч. XCV].
- Парадис 1980 – *Paradis M.* Contributions of neurolinguistics to the theory of bilingualism // *Applications of Linguistic Theory in the Human Sciences*. Department of Linguistics, Michigan State University (manuscript).
- Паскаль 1938 – *Pascal P.* Avvakum et les débuts du Raskol. La crise religieuse au XVII siècle en Russie. Paris: Librairie ancienne Honoré Champion, 1938.
- ПВЛ 1996 – *Повесть временных лет*. Подготовка текста, перевод, статьи и комментарии Д. С. Лихачева. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб.: «Наука», 1996.
- Пейр 1992 – *Peyr E.* Zur Umarbeitung rhetorischer Texte durch Symeon Metaphrastes // *Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik* 42 (1992). S. 143–155.
- Пекарский 1865 – *Пекарский П.* Дополнительные известия для биографии Ломоносова. СПб., 1865 [Записки Академии наук, 1865, т. VIII, прилож. № 7].
- Пекарский 1866 – *Пекарский П. П.* Материалы для биографии Тредиаковского // *Записки императорской Академии наук*, СПб., 1866, т. IX, кн. 2.
- Пекарский 1867 – *Пекарский П. П.* Жизнь и литературная переписка Петра Ивановича Рычкова. СПб., 1867 [Сборник ОРЯС, т. II, № 1].
- Пекарский, ИА, I–I – *Пекарский П. П.* История императорской Академии наук в Петербурге. Т. I–II. СПб., 1870–1873.

- Пекарский, НЛ, I-II – *Пекарский П. П.* Наука и литература при Петре Великом. Т. I-II. СПб., 1862.
- Пеленски 1998 – *Pelenski J.* The Contest for the Legacy of Kievan Rus'. Boulder: East European Monographs; New York: Distributed by Columbia University Press, 1998.
- Пеннингтон 1980 – *Kotošixin G.* O Rossii v carstvovanije Alekseja Mixajloviča. Text and Commentary. Ed. by A. E. Pennington. Oxford: Clarendon Press, 1980.
- Пентковская 2003 – *Пентковская Т. В.* Лексический критерий в изучении древнеславянских переводов: проблемы локализации и группировки // Русский язык в научном освещении, № 1 (5), 2003. С. 124–140.
- Пентковская 2004 – *Пентковская Т. В.* Житие Василия Нового в Древней Руси: проблемы оригинала и перевода // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 2004, № 1. С. 75–96.
- Пентковский 2001 – *Пентковский А. М.* Типикон патриарха Алексея Студита в Византии и на Руси. М.: Изд-во Московской патриархии, 2001.
- Перельмуттер 2009 – *Perelmutter R.* Pragmatic Functions of Reported Speech with *jako* in the Old Russian Primary Chronicle // Journal of Historical Pragmatics 10 (2009), № 1. P. 108–131.
- Перельмуттер, в печати – *Perelmutter R.* System of Reference and the Usage of Conjunctions in Early Russian Legal Texts (in print).
- Пеппо 1964 – *Perrault Ch.* Parallele des anciens et des modernes en ce qui regarde les arts et les sciences. Mit einer einleitenden Abhandlung von H. R. Jauss und kunstgeschichtlichen Exkursen von M. Imdahl. München: Eidos Verlag, 1964 (Theorie und Geschichte der Literatur und der schönen Künste; Texte und Abhandlungen, Bd. 2).
- Петров 1921 – *Петров А. Л.* Материалы для истории Угорской Руси. Пг., 1921 [Сборник ОРЯС, т. ХСVII, № 2].
- Петрова 1966 – *Петрова З. М.* Сложные прилагательные в поэзии второй половины XVIII в. (Поэзия классицизма. Тредиаковский. Державин) // Процессы формирования лексики русского литературного языка (От Кантемира до Карамзина). М.–Л.: «Наука», 1966. С. 146–204.
- Петрова 2009 – *Petrova S.* Information Structure and Word Order Variation in the Old High German Tatian // Information Structure and Language Change: New Approaches to Word Order Variation in Germanic. Ed. By R. Hinterhölzl and S. Petrova. Berlin–New York: Mouton de Gruyter, 2009. P. 251–279.
- Петрухин 1996 – *Петрухин П. В.* Нарративная стратегия и употребление глагольных времен в русской летописи XVII века // Вопросы языкознания, 1996, № 4. С. 62–84.
- Петрухин 2000 – *Петрухин В. Я.* Древняя Русь: Народ. Князь. Религия // Из истории русской культуры. Т. I (Древняя Русь). М.: «Языки русской культуры», 2000. С. 11–410.
- Петрухин 2002 – *Петрухин П. В.* Семантические классы предикатов и развитие вида в восточнославянском (По поводу книги: N. Bermel. Context and the lexicon in the development of Russian aspect [University of California Publications in Linguistics. 1997. Vol. 129]) // Русский язык в научном освещении, № 1 (3), 2002. С. 244–262.
- Петрухин 2003 – *Петрухин П. В.* Лингвистическая гетерогенность и употребление прошедших времен в древнерусском летописании. Автореферат диссертации на соискание уч. степени кандидата филолог. наук. М., 2003.
- Петрухин 2004 – *Петрухин П. В.* Перфект и плюсквамперфект в Новгородской первой летописи по Синодальному списку // Russian Linguistics 28 (2004), № 1. P. 73–107.

- Петухов 1916 – *Петухов Е. В.* Русская литература. Исторический обзор главнейших литературных явлений древнего и нового периода. Древний период. Изд. 3-е, просмотренное и дополненное. Пг.: Типография Т-ва А. С. Суворина, 1916.
- Пештич, I–III – *Пештич С. Л.* Русская историография XVIII века. Ч. I–III. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1961–1971.
- ПиБ, I–XIII – Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. I–XIII. СПб., М.–Л., М.: Государственная типография, Изд-во АН СССР, «Наука», 1887–2003 (продолжающееся изд.).
- Пигман 1980 – *Pigman G. W.* Versions of Imitation in the Renaissance // *Renaissance Quarterly* 33 (1980), № 1. P. 1–32.
- Пигулевская 1966 – *Пигулевская Н. В.* Сирийская средневековая школа // Палестинский сборник. Вып. 15 (1966). С. 130–140.
- Пигулевская 1979 – *Пигулевская Н. В.* Культура сирийцев в средние века. М.: «Наука», 1979.
- Пиккио 1972 – *Studi sulla questione della lingua presso gli Slavi. A cura di R. Picchio.* Roma: Edizioni dell'Ateneo, 1972.
- Пиккио 1973 – *Picchio R.* Models and Patterns in the Literary Tradition of Medieval Orthodox Slavdom // *American Contributions to the Seventh International Congress of Slavists. Vol. II.* The Hague; Paris, 1973. P. 439–467.
- Пиккио 1975 – *Picchio R.* On Russian Humanism: The Philological Revival // *Slavia*, XLIV (1975), № 2. S. 161–171.
- Пиккио 1977 – *Picchio R.* The Function of Biblical Thematic Clues in the Literary Code of «Slavia Orthodoxa» // *Slavica Hierosolymitana* 1 (1977). P. 1–31.
- Пиккио 1988–89 – *Picchio R.* From Boris to Volodimer: Some Remarks on the Emergence of Proto-Orthodox Slavdom // *Harvard Ukrainian Studies*, XII/XIII (1988/1989). P. 200–213 [Proceedings of the International Congress Commemorating the Millennium of Christianity in Rus'-Ukraine. Ed. by O. Pritsak and I. Ševčenko].
- Пиккио 1992 – *Пиккио Р.* Предисловие о пользе книг церковных М. В. Ломоносова как манифест русского конфессионального патриотизма // Сборник статей к 70-летию проф. Ю. М. Лотмана. Тарту, 1992. С. 142–152.
- Пиккио 2003 – *Пиккио Р.* *Slavia Orthodoxa: Литература и язык.* Под ред. Н. Н. Запольской и В. В. Калугина. М.: «Знак», 2003.
- Пичхадзе 1998 – *Пичхадзе А. А.* Языковые особенности древнерусских переводов с греческого // *Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов, Краков, 1998: Доклады российской делегации.* М.: «Наука», 1998. С. 475–488.
- Пичхадзе 2002 – *Пичхадзе А. А.* Литературно-языковые и переводческие традиции в словоупотреблении церковнославянских памятников и русских летописей XI–XIII вв. // *Русский язык в научном освещении*, № 2 (4), 2002. С. 147–170.
- Пичхадзе 2011а – *Пичхадзе А. А.* Переводческая деятельность в домонгольской Руси: лингвистический аспект. М.: «Рукописные памятники Древней Руси», 2011.
- Пичхадзе 2011б – *Пичхадзе А. А.* Славянское причастие-сказуемое в зависимых предикациях как показатель модальности и эвиденциальности // *Библеистика. Славистика. Русистика. К 70-летию заведующего кафедрой библеистики профессора Анатолия Алексеевича Алексеева.* СПб., 2011. С. 462–480.
- Пичхадзе и др. 2004 – «История Иудейской войны» Иосифа Флавия: Древнерусский перевод. Т. I–II. Изд. подготовили А. А. Пичхадзе, И. И. Макеева, Г. С. Баранкова, А. А. Уткин. М.: «Языки славянской культуры», 2004.
- Пичхадзе и Макеева 2008 – «Пчела»: Древнерусский перевод. Т. I–II. Изд. подготовили А. А. Пичхадзе, И. И. Макеева. М.: «Рукописные памятники Древней Руси», 2008.

- Пичхадзе и Родионова 2011 – Пичхадзе А. А., Родионова А. А. О порядке слов в сочетаниях «личная форма глагола – прямое объектное дополнение» в древнерусском языке // Русский язык в научном освещении, № 1 (21), 2011. С. 127–161.
- Платон Левшин 1765 – [Платон Левшин]. Православное Учение или сокращенная Христианская Богословия, для употребления Его Имп. Высочества... Павла Петровича, сочиненная Его Имп. Высочества учителем, Иеромонахом Платоном. М., 1765.
- Платон Левшин 1891 – [Платон (Левшин)]. Записки о жизни Платона митрополита московского, им самим писанные, и оконченные Самуилом костромским епископом // Снегирев И. М. Жизнь московского митрополита Платона. Изд. 4-е. Ч. 2. М., 1891. С. 201–263.
- Платон Левшин, I–XX – [Платон (Левшин)]. Поучительные слова, святейшего правительствующего Синода членом, высокопреосвященнейшим Платоном, митрополитом московским и коломенским... проповеданные. Т. 1–20. М.: Синодальная Типография, 1779–1806.
- ПЛДР, XI–XVII вв. – Памятники литературы древней Руси. XI век – XVII век. М.: «Художественная литература», 1980–1994.
- Плетнева 1987 – Плетнева А. А. Из истории формирования нормы русского литературного языка XVIII века. (На материале текстов В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова.) Дипломная работа. М.: МГУ, 1987.
- Плетнева 2013 – Плетнева А. А. Лубочная Библия: Язык и текст. М., 2013.
- Плотникова-Робинсон 1964 – Плотникова-Робинсон В. А. Изменения в употреблении падежных форм существительных // Изменения в словообразовании и формах существительного и прилагательного в русском литературном языке XIX века. М.: «Наука», 1964. С. 163–276 (Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX века. Под ред. В. В. Виноградова и Н. Ю. Шведовой).
- Плунгян, в печати – Плунгян В. А. Аналитические конструкции с причастиями в эллинистическом койне и в переводах (в печати).
- Плющ 1958 – Плющ П. П. Нариси з історії української літературної мови. Київ: «Радянська школа», 1958.
- Погодин, I–II – Погодин М. П. Историко-критические отрывки. Кн. 1–2. М.: Тип. Августа Семена, 1846–1867.
- Погорелов 1910 – Погорелов В. А. Чудовская псалтырь XI века: Отрывок толкования Феодорита Киррского на Псалтирь в древнеболгарском переводе. СПб.: Отд-ние рус. яз. и словесности Имп. Акад. наук, 1910.
- Подскальски 1982 – Podskalsky G. Christentum und theologische Literatur in der Kiever Rus' (988–1237). München: Beck Verlag, 1982.
- Подскальски 1985 – Podskalsky G. Zum geistigen Erbe der cyrillo-methodianischen Tradition der theologischen Literatur in der Kiever Rus' (988–1237) // Byzantinoslavica, XLVI (1985), fasc. I. P. 131–135.
- Подскальски 1996 – Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988–1237 гг.). Изд. 2-е, исправл. и доп. для русского перевода. Перевод А. В. Назаренко. СПб.: «Византинороссика», 1996 [Subsidia byzantinorossica, 1].
- Подшивалов 1796 – [Подшивалов В. С.]. Сокращенный курс российского слога, изданный Александром Скворцовым. М.: Унив. тип., у Ридигера и Клаудия, 1796.
- Подшивалов 1798 – [Подшивалов В. С.]. Краткая русская просодия, или Правила, как писать русские стихи. Изданы для воспитанников Благородного Университетского Пансиона. М.: Унив. тип., у Ридигера и Клаудия, 1798.

- Позднеев 1961 – Позднеев А. В. Русская панегирическая песня в первой четверти XVIII века // Исследования и материалы по древнерусской литературе. М.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 338–358.
- Покровский 1971 – Судные списки Максима Грека и Исаа Собаки. Изд. подгот. Н. Н. Покровский. Под ред. С. О. Шмидта. М.: изд. ГАУ СССР, 1971.
- Поливанов 1931 – *Polivanov E.* La perception des sons d'une langue étrangère // Travaux du Cercle Linguistique de Prague, 4 (1931). P. 18–21.
- Поликарпов 1701 – [Поликарпов Ф. П.]. Книга букварь славенскими, греческими, римскими писмены, учиться хотящим, и любомудрие в ползу душеспасительную обрести тщащимся. М.: Печатный двор, 1701.
- Поликарпов 1704 – [Поликарпов Ф. П.]. Лексикон трязычный, сиречь речений славенских, еллиногреческих и латинских сокровище... М.: Печатный двор, 1704.
- Попов 1875 – Попов А. Историко-литературный обзор древнерусских полемических сочинений против латинян (XI–XV вв.). М., 1875.
- Попов 1904 – Попов А. Суд и наказания за преступления против веры и нравственности по русскому праву. Казань, 1904.
- Попов 2006 – Попов М. Б. К вопросу о написаниях типа ТРОТ < *ТЪРТ в рукописях XIV–XV вв.: слоговые плавные или второе полногласие // Русский язык в научном освещении, № 2 (12), 2006. С. 230–241.
- Поповски 1987 – *Popovski J.* Najstariji par antigrafa i apografa u slovenskoj pismenosti // Paléographie et diplomatique slaves, 3 (1987).
- Поповски 1989a – *Popovski J.* Die Pandekten des Antiochus Monachus. Slavische Übersetzung und Überlieferung. Amsterdam–Nijmegen, 1989.
- Поповски 1989b – *Popovski J.* The Pandects of Antiochus. Slavic Text in Transcription // **Полата кънигописънага**, № 23–24. January 1989.
- Поповски, Томсон, Федер 1988 – *Popovski J., Thomson F. J., Veder W. R.* The Troickij Sbornik (Cod. Moskva, GBL, F. 304 (Troice-Sergieva Lavra) № 12). Text in Transcription // **Полата кънигописънага**, № 21–22. February 1988.
- Поповский 1755 – Поповский Н. Речь говоренная в начатии философических лекций... // Ежемесячные сочинения, 1755, т. II (август). С. 167–176.
- Поппе 1965 – *Poppe A.* Le traité des azymes Λέοντος μητροπολίτου τῆς ἐν Ῥωσίᾳ Πρεσβυλάβας: quand, où et par qui a-t-il été écrit? // Byzantion, XXXV (1965). P. 504–527. Цит. по: Поппе 1982.
- Поппе 1982 – *Poppe A.* The Rise of Christian Russia. London: Variorum Reprints, 1982.
- Поппе 1985 – Поппэ А. «Ис курилоць» и «ис куриловиць» // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 31–32 (1985). P. 319–350.
- Поппе 1992 – *Poppe A.* Once again concerning the Baptism of Olga, Archontissa of Rus' // *Dumbarton Oaks Papers*, 46 (1992). *Homo Byzantinus: Papers in Honor of Alexander Kazhdan*. P. 271–277.
- Поппе 1995 – Поппэ А. О зарождении культа святых Бориса и Глеба и о посвященных им произведениях // *Russia Mediaevalis*, VIII, 1 (1995). P. 5–20.
- Порохова 1988 – Порохова О. Г. Полногласие и неполногласие в русском литературном языке и народных говорах. Л.: «Наука», 1988.
- Потебня, I–IV – Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. I–II. М.: Гос. учебно-педагогическое изд-во Министерства просвещения РСФСР, 1958. Т. III. Об изменении значения и заменах существительного. М.: «Просвещение», 1968. Т. IV. Глагол. Местоимение. Числительное. Предлог. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1941.

- Правдин 1956 – *Правдин А. Б.* Дателный приглагольный в старославянском и древнерусском языках // Ученые записки Института славяноведения АН СССР, т. X (1956). С. 3–115.
- Прения 1859 – Прения литовского протопопа Лаврентия Зизания с игуменом Ильею и справщиком Григорием по вопросу исправления составленного Лаврентием катехизиса // Летописи русской литературы и древности. Изд. Н. Тихонравовым. Т. II. М., 1859. С. 80–100.
- Пресняков 1993 – *Пресняков А. Е.* Княжое право в древней Руси. Лекции по русской истории. Киевская Русь. Подготовка текста, статья и примеч. М. Б. Свердлова. М.: «Наука», 1993.
- Примечания 1728–1741 – Месячные исторические, генеалогические и географические Примечания в ведомостях. СПб., 1728–1741 [титул по изданию 1728 г., в последующие годы частично меняется].
- Приселков 1913 – *Приселков М.* Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси. СПб., 1913 [Записки Историко-филологического факультета Имп. Санкт-Петербургского университета, т. 116].
- Приселков 1940 – *Приселков М. Д.* История русского летописания XI–XV вв. Л.: Изд. Ленинградского гос. ун-та, 1940.
- Притцак 1985 – *Pritsak O.* When and Where Was Ol'ga Baptized? // Harvard Ukrainian Studies, IX (1985). P. 5–21.
- Прокопенко 2009 – *Прокопенко Л. В.* Лингвотекстологическое исследование Пролога за сентябрьское полугодие по спискам XII – начала XV в. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филолог. наук. М.: Институт русского языка РАН, 2009.
- Проскурин 2000 – *Проскурин О.* Литературные скандалы пушкинской эпохи. М.: ОГИ., 2000 (Материалы и исследования по истории русской культуры. Вып. 6).
- Проскурнин 1959 – *Проскурнин Н. П.* К 250-летию гражданского книгопечатания в России // XVIII век. Сб. 4. М.–Л., 1959. С. 376–384.
- Прохоров и др. 1993 – Преподобные Кирилл, Ферапонт и Мартиниан Белозерские. Изд. подготовлено Г. М. Прохоровым, Е. Г. Водолазким и Е. Э. Шевченко. СПб.: «Глаголь», 1993.
- ПРП, I–VIII – Памятники русского права. Вып. 1–8. М.: Гос. изд-во юридической лит-ры, 1952–1961.
- Прюитт 1992 – *Pruitt W.* The Study of Burmese by Westerners With Special Reference to Burmese Nissayas // International Journal of Lexicography 5 (1992), № 4. P. 278–304.
- ПСГ – Псковская судная грамота. Издание Императорской Археографической комиссии. СПб., 1914.
- ПСЗ, I–XLV – Полное собрание законов Российской империи [Собрание 1-е]. Т. 1–45. СПб., 1830.
- Псковские летописи, I–II – Псковские летописи. Вып. I–II. Приготовил к печати А. Насонов. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1941–1955.
- ПСРЛ, I–XLIII – Полное собрание русских летописей, издаваемое Археографическою комиссиею. Т. I–XLIII. СПб., М., 1841–2007.
- Пумпянский 1937 – *Пумпянский Л. В.* Тредиаковский и немецкая школа разума // Западный сборник, I, под ред. В. М. Жирмунского. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1937. С. 157–186.
- Пумпянский 1983 – *Пумпянский Л. В.* Ломоносов и немецкая школа разума // XVIII век. Сб. 14. Л.: «Наука», 1983. С. 3–44.

- Пустозерский сборник 1975 – Пустозерский сборник. Автографы сочинений Аввакума и Епифания. Изд. Н. С. Демкова, Н. Ф. Дробленкова, Л. И. Сазонова. Л.: «Наука», 1975.
- Пушкин, XII – Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. В 17 т. Т. 12. М.: Издательство АН СССР, 1949.
- Райнхард 1995 – Reinhard W. (Hrsg.) Die katholische Konfessionalisierung. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 1995.
- Ребеккини 2010 – Rebecchini D. Cosa fa vivere gli uomini? di Lev Tolstoj. Anatomia di un successo // *Enthymema*, II (2010). P. 294–319.
- Ревелли 1993 – Revelli G. Monumenti letterari su Boris e Gleb. Литературные памятники о Борисе и Глебе. Genova: La Quercia Edizioni, 1993.
- РИБ, I–XXXIX – Русская историческая библиотека, изд. Археографическою комиссиею. Т. I–XXXIX. СПб. (Пг., Л.), 1872–1927.
- Риманн и Гёльцер 1897 – Riemann O., Goelzer H. Grammaire comparée du grec et du latin. Syntaxe [v. 2]. Paris: A. Colin, 1897.
- Римские деяния 1877–1878 – Римские деяния [Gesta Romanorum], вып. I–II. СПб., 1877–1878 [Изд. ОЛДП, 5, 33].
- Робинсон 1970 – Robinson J. J. Dependency Structures and Transformational Rules // *Language* 46 (1970), № 2. P. 259–285.
- Робинсон 1980 – Робинсон А. Н. Литература Древней Руси в литературном процессе средневековья XI–XIII вв. Очерки литературно-исторической типологии. М.: «Наука», 1980.
- Робинсон 1988 – Робинсон А. Н. Славянские литературы среди средневековых литератур мира (старший период) // Славянские литературы. X Международный съезд славистов. София, сентябрь 1988 г. Доклады советской делегации. М.: «Наука», 1988. С. 3–19.
- Рогов 1970 – Рогов А. И. Сказания о начале чешского государства в древнерусской письменности. М.: «Наука», 1970.
- Родде 1773 – Rodde J. Russische Sprachlehre. Riga, 1773. Nachdruck desorgt von G. Freidhof und B. Scholz. München: Verlag Otto Sagner, 1982 [Specimina philologiae slavicae, Bd. 38].
- Рождественская 1987 – Рождественская Т. В. Письменная традиция Северной Руси по эпиграфическим данным // Древнерусский литературный язык в его отношении к старославянскому. Под ред. Л. П. Жуковской. М.: «Наука», 1987. С. 36–45.
- Рождественская 1992 – Рождественская Т. В. Древнерусские надписи на стенах храмов: новые источники XI–XV вв. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1992.
- Рождественский 1902 – Рождественский Н. В. К истории борьбы с церковными беспорядками, отголосками язычества и пороками в русском быту XVII в. (Челобитная нижегородских священников 1636 года в связи с первоначальной деятельностью Ивана Неронова) // Чтения в Имп. Обществе истории и древностей российских, 1902, кн. 2, Смесь. С. 1–31.
- Розанов 1912 – Розанов С. П. Жития преподобного Авраамия Смоленского и службы ему. СПб.: Отд. рус. яз. и словесности Имп. Акад. наук, 1912 [Памятники древнерусской литературы, вып. 1].
- Розов 1965 – Розов Н. Н. Похвальное слово великому князю Василию III // Археографический ежегодник за 1964 год. Москва, 1965. С. 278–289.
- Роллен, I–II – Rollin Ch. De la manière d'enseigner et d'étudier les belles lettres, par rapport a l'esprit et au coeur. Vol. I–II. 4-ème éd. Paris: Veuve Estienne, 1732.
- Романов 1940 – Романов Б. А. Правда Русская. Учебное пособие. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1940.
- Ромодановская 2000 – Ромодановская В. А. «Седе одесную Отца» или «сидел еси»? К вопросу о грамматической правке Максима Грека // Проблемы истории, русской книж-

- ности, культуры и общественного сознания. Сборник научных трудов. Новосибирск: «Сибирский хронограф», 2000. С. 232–238.
- Российская грамматика 1802 – Российская грамматика сочиненная Императорскою Российскою Академиею. СПб., 1802. Nachdruck besorgt von M. Schütrumpf. München: Verlag Otto Sagner, 1983 [Specimina philologiae slavicae, Bd. 53].
- Pote 1984 – *Rothe H.* Religion und Kultur in den Regionen des russischen Reiches im 18. Jahrhundert: Erster Versuch einer Grundlegung. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1984 [Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften, Geisteswissenschaften. Vorträge G267].
- Pote 1997 – *Rothe H.* Über Gattungen in der ältesten Literatur der Ostslaven // Sprache-Text-Geschichte. Festschrift für K.-D. Seemann. Hrsg. von A. Guski und W. Košny. München: Sagner Verlag, 1997. S. 253–264 [Specimina philologiae slavicae: Supplementband, 56].
- Ротт-Жебровски 1974 – *Rott-Żebrowski T.* Pismo i fonetyka Izbornika Światosława z 1076 roku na tle pisma i fonetyki zabytków ruskich XI w. i kanonu starosłowiańskiego. Lublin, 1974.
- РП, I–III – Правда Русская. Под ред. Б. Д. Грекова. Т. I–III. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1940–1963.
- Рубакин 1893 – *Рубакин Н.* Грамотность // Энциклопедический словарь. Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. Т. IX. СПб., 1893. С. 537–548.
- Ружичка 1961 – *Růžička R.* Struktur und Echtheit des altslavischen dativus absolutus // Zeitschrift für Slawistik 6 (1961). S. 588–596.
- Ружичка 1963 – *Růžička R.* Das syntaktische System der altslavischen Partizipien und sein Verhältnis zum Griechischen. Berlin: Akademie Verlag, 1963 (Veröffentlichungen des Instituts für Slawistik, 27).
- Руководство учителям 1783 – Руководство учителям первого и второго класса народных училищ Российской Империи. Изданное по высочайшему повелению царствующей императрицы Екатерины Второя. СПб.: Типография Шнора, 1783.
- Русская Библия, I–X – Библия 1499 года и Библия в синодальном переводе. В 10-ти томах. М.: Изд. отдел Московского Патриархата; Новоспасский монастырь, 1992–1997 (вышли тт. 4, 7, 8).
- Рущинский 1871 – *Рущинский Л.* Религиозный быт русских по сведениям иностранных писателей XVI и XVII веков // Чтения в Имп. Обществе истории и древностей российских, 1871, кн. 3. Исследования. С. 1–337.
- Рыдзевская 1978 – *Рыдзевская Е. А.* Древняя Русь и Скандинавия в IX–XIV вв. (материалы и исследования). М.: «Наука», 1978.
- Рязанская 1988 – *Рязанская Е. Л.* Становление нормы русского литературного языка в первой половине XVIII в. и редакция «Немецкой грамматики» М. Шванвица. Дипломная работа. МГУ, 1988.
- Сабельфельд 2002 – *Сабельфельд Н. М.*оборот «дательный самостоятельный» в повествовательных текстах XVII века (на материале сибирских летописей) // История языка. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 2. Под ред. Л. Г. Панина. Новосибирск, 2002. С. 65–77 [Новосибирский гос. ун-т. Труды гуманитарного факультета. Серия II. Сборники научных трудов].
- Сабенина 1978 – *Сабенина А. М.* Дательный самостоятельный // Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Простое предложение. Под ред. В. И. Боровского. М.: «Наука», 1978. С. 417–432.
- Саввина книга 1999 – Саввина книга. Древнеславянская рукопись XI, XI–XII и конца XIII века. Ч. I. Рукопись. Текст. Комментарии. Исследование. Изд. подготовили О. А. Князевская, Л. А. Коробенко, Е. П. Дограмаджиева. М.: «Индрик», 1999.
- Савиньи, I–VII – *Savigny F. K. von.* Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter. 2. Ausg. Bd. I–VII. Heidelberg: J. C. B. Mohr, 1834–1851.

- Сазонова 1987 – *Сазонова Л. И.* От русского панегирика XVII в. к оде М. В. Ломоносова // Ломоносов и русская литература. М.: «Наука», 1987. С. 103–126.
- Сазонова 2006 – *Сазонова Л. И.* Литературная культура России. Раннее Новое время. М.: «Языки славянских культур», 2006.
- Самодурова 1989 – *Самодурова З. Г.* Школы и образование // Культура Византии. Вторая половина VII – XII в. М.: «Наука», 1989. С. 366–400.
- Самоковасов 1907 – *Самоковасов Д. Я.* Памятники древнего русского права. Пособие для практических занятий студентов. Часть I. М., 1907 [на обложке – 1908].
- Санкофф 1972 – *Sankoff G.* Language Use in Multilingual Societies: Some Alternative Approaches // Sociolinguistics: Selected Readings. Ed. by J. Pride and J. Holmes. Harmondsworth: Penguin, 1972. P. 33–51.
- САР¹, I–VI – Словарь Академии Российской. Ч. I–VI. СПб.: Типография Имп. Академии наук, 1789–1794.
- Сато 2008 – *Сато А.* Стиль повествования древнерусской летописи «Повесть временных лет» и язык Житий Кирилла и Мефодия: опыт сопоставительного исследования // Comparative and Contrastive Studies in Slavic Languages and Literatures, Tokyo, 2008. P. 1–40 [Japanese Contributions to the Fourteenth International Congress of Slavists, Ohrid, September 10–16, 2008].
- Сахарова 2007а – *Сахарова А. В.* Содержательные параметры употребления кратких причастий в древнерусской летописи для некоторых стативных глаголов // Вопросы языкознания, 2007, № 2. С. 108–126.
- Сахарова 2007б – *Сахарова А. В.* К вопросу о прагматических критериях распределения предикаций на причастные и финитные в древнерусской летописи // Русский язык в научном освещении, № 1 (13), 2007. С. 85–113.
- Сахарова 2010 – *Сахарова А. В.* К вопросу о дискурсивных функциях причастных конструкций в русской летописи // Russian Linguistics 34 (2010), № 1. P. 87–111.
- Свербеев, I–II – *Свербеев Д. Н.* Записки (1799–1826). Т. I–II. М.: Товар. И. Н. Кушнерев и К°, 1899.
- Свердлов 1988 – *Свердлов М. Б.* От Закона Русского к Русской Правде. М.: «Юридическая литература», 1988.
- Светов 1773 – *Светов В. П.* Опыт нового российского правописания, утвержденный на правилах Российской Грамматики и на лучших примерах российских писателей. СПб.: Типография Имп. Академии наук, 1773.
- Сводный каталог 1984 – Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI–XIII вв. М., «Наука», 1984.
- СГ – Смоленские грамоты XIII–XIV веков. Под ред. Р. И. Аванесова. М.: Изд-во АН СССР, 1963.
- СДРЯ XI–XIV вв., I–XI – Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). М.: «Русский язык», 1988– (продолжающееся издание).
- Сезнек 1961 – *Seznec J.* The Survival of the Pagan Gods: The Mythological Tradition and its Place in Renaissance Humanism and Art. Transl. from the French by B. F. Sessions. New York: Harper, 1961.
- Селищев 1928 – *Селищев А. М.* Язык революционной эпохи: Из наблюдений над русским языком последних лет. 1917–1926. М.: «Работник просвещения», 1928.
- Селищев 1968 – *Селищев А. М.* Избранные труды. М.: «Просвещение», 1968.
- Селищев 2003 – *Селищев А. М.* Труды по русскому языку. Том 1. Социоллингвистика. М.: «Языки славянской культуры», 2003.

- Селищев, I–II – *Селищев А. М.* Старославянский язык. Ч. I–II. М.: Гос. учебно-педагогическое изд-во, 1951.
- Семаков 1985 – *Семаков В. В.* О стилистической маркированности аориста и имперфекта в языке Жития протопопа Аввакума // Труды Отдела древнерусской литературы XXXIX (1985). С. 404–409.
- Семенников 1914 – *Семенников В. П.* Русские сатирические журналы 1769–1774 гг.: Разыскания об издателях и их сотрудниках. СПб., 1914.
- Семенов 1893 – *Семенов В.* Древняя русская пчела по пергаменному списку. СПб., 1893 [Сборник ОРЯС, т. LIV, № 4].
- Семенченко 1986 – *Семенченко Г. В.* Византийское право и оформление русских завещаний XIV–XV вв. // Византийский временник 46 (1986). С. 164–173.
- Сендерович 2000 – *Сендерович С. Я.* Метод Шахматова, раннее летописание и проблема начала русской историографии // Из истории русской культуры. Т. I (Древняя Русь). М.: «Языки русской культуры», 2000. С. 461–499.
- Сенфорд и Мокси 1995 – *Sanford A. J., Moxey L. M.* Aspects of Coherence in Written Language: A Psychological Perspective // Coherence in Spontaneous Text. Ed. M. A. Gernsbacher and T. Givón. Amsterdam and Philadelphia: Benjamins, 1995. P. 161–187 [Typological Studies in Language, 31].
- Сергеевич 1910 – *Сергеевич В.* Лекции и исследования по древней истории русского права. Изд. 4-е. СПб., 1910.
- Серебрянский 1915 – *Серебрянский Н.* Древне-русские княжеские жития (Обзор редакций и тексты) // Чтения в Имп. Обществе Истории и Древностей Российских, 1915, кн. 3 (254). Исследования. С. 1–296, 1–186.
- Серман 1973 – *Серман И. З.* Русский классицизм: поэзия, драма, сатира. Л.: «Наука», 1973.
- Симеон Полоцкий 1667 – [Симеон Полоцкий]. Жезл правления. М.: Печатный двор, 1667.
- Симеон Полоцкий 1681 – [Симеон Полоцкий]. Обед душевный. М.: Верхняя типография, 1681.
- Симеон Полоцкий 1953 – *Симеон Полоцкий.* Избранные сочинения. Под ред. И. П. Еремина. М.: Изд-во АН СССР, 1953.
- Сими́на 1959 – *Сими́на Г. Я.* К вопросу об употреблении глагольных форм прошедшего времени в «Повести временных лет» по Лаврентьевскому списку // Ученые записки Ленинградского гос. ун-та. Вып. 277 (1959). С. 42–59 [Серия филолог. наук. Вып. 55].
- Симон Азарьин 1817 – Канон преподобному отцу нашему Дионисию архимандриту Сергиевы Лавры, Радонежскому чудотворцу с присовокуплением жития его. М.: Синодальная типография, 1817.
- Синицына 1977 – *Синицына Н. В.* Максим Грек в России. М.: «Наука», 1977.
- Синицына 2008 – *Синицына Н. В.* Раннее творчество преподобного Максима Грека // Преподобный Максим Грек. Сочинения. Т. I. М.: «Индрик», 2008. С. 15–80.
- Синьорини 1988 – *Signorini S.* I concetti di «uso» e di «norma» nella teoria linguistica di M. Lomonosov // Europa orientalis 7 (1988). P. 515–535.
- Сиповский 1899 – *Сиповский В. В.* Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». СПб.: Тип. В. Демакова, 1899.
- Сиповский 1905 – *Сиповский В. В.* Русские повести XVII–XVIII вв. СПб.: Издание А. С. Суворина, 1905.
- Сиромаха 1979 – *Сиромаха В. Г.* Языковые представления книжников Московской Руси второй половины XVII в. и грамматика М. Смотрицкого // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 1979, № 1. С. 3–14.

- Сиромаха и Успенский 1987 – *Сиромаха В. Г., Успенский Б. А.* Кавычные книги 50-х годов XVII-го века // Археографический ежегодник за 1986 г. М., 1987. С. 75–84.
- Скабалланович 1884 – *Скабалланович Н.* Византийская наука и школы в XI веке // Христианское чтение, 1884, март-апрель. С. 344–369; май-июнь. С. 730–770.
- Скворцов 1890 – *Скворцов Д.* Дионисий Зобнинский, Архимандрит Троицкого-Сергиева монастыря (ныне Лавры). Историческое исследование. Тверь: Типография Губернского Правления, 1890.
- Скоморохова-Вентурины 1988 – *Скоморохова-Вентурины Л.* Распределение церковнославянских и русских элементов в Житии Епифания на примере глаголов прошедшего времени // *Europa Orientalis* 7 (1988). Р. 493–513.
- Сконефельд 1959 – *Schooneveld C. R. van.* A Semantic Analysis of the Old Russian Preterite System. 's-Gravenhage: Mouton & Co, 1959 [Slavistische drukken en herdrukken, 7].
- Сменцовский 1899 – *Сменцовский М.* Братья Лихуды. Опыт исследования из истории церковного просвещения и церковной жизни конца XVII и начала XVIII веков. СПб.: Типография Имп. Академии наук, 1899.
- Смирнов 1910 – *Смирнов Н.* Западное влияние на русский язык в петровскую эпоху. СПб., 1910 [Сборник ОРЯС, т. XXXVIII, № 2].
- Смирнов 1912 – *Смирнов С. И.* Материалы для истории древне-русской покаянной дисциплины (Тексты и Заметки) // Чтения в Имп. Обществе истории и древностей российских, 1912, кн. 3. С. 1-568.
- Смирнов 1917 – *Свящ. Смирнов И. М.* Синайский патерик Ἀγιῶν πνευματικὸς в древнеславянском переводе. Исслед. в 3 ч. Ч. 1. Сергиев Посад: тип. Издательская комиссия Моск. сов. солд. деп., 1917.
- Смотрицкий 1619 – Грамматики славенския правильное синтаγμα. Потщанием... Мелетия Смотрицкого. В Евью, 1619. Цит. по репринту: М. Смотрицкий. Грамматика. Київ: «Наукова думка», 1979.
- Смотрицкий 1648 – [Мелетий Смотрицкий]. Грамматика. М.: Печатный двор, 1648.
- Смотрицкий 1721 – [Мелетий Смотрицкий]. Грамматика. М.: Печатный двор, 1721.
- Соболева 1975 – *Соболева Л. С.* Паремийные чтения Борису и Глебу // Вопросы истории книжной культуры. Сборник научных трудов. Вып. 19. Новосибирск, 1975. С. 104–123.
- Соболевский 1890 – *Соболевский А. И.* Когда начался у нас ложно-классицизм? // Библиограф, год 6-й (1890), № 1. С. 1–6.
- Соболевский 1894 – *Соболевский А. И.* Южнославянское влияние на русскую письменность в XIV–XV вв. Речь, читанная на годичном акте Археологического института. СПб., 1894.
- Соболевский 1897 – *Соболевский А. И.* Особенности русских переводов домонгольского периода // Труды девятого Археологического съезда в Вильне. М., 1897. С. 53–61.
- Соболевский 1900 – *Соболевский А. И.* Церковно-славянские тексты моравского происхождения // Русский филологический вестник 43 (1900), № 1–2. С. 150–217.
- Соболевский 1903а – *Соболевский А. И.* Переводная литература Московской Руси XIV–XVII веков. Библиографические материалы. СПб., 1903 [Сборник ОРЯС, т. LXXIV, № 1].
- Соболевский 1903б – *Соболевский А. И.* Мучение св. Вита в древнем церковно-славянском переводе // Известия ОРЯС, VIII (1903), кн. 1. С. 278–296.
- Соболевский 1905 – *Соболевский А. И.* Несколько редких молитв из русского сборника XIII века // Известия ОРЯС, X (1905), кн. 4. С. 66–78.
- Соболевский 1907 – *Соболевский А. И.* Лекции по истории русского языка. Изд. 4-е. М., 1907.
- Соболевский 1908а – *Соболевский А. И.* Славяно-русская палеография. Лекции. Изд. 2-е. СПб.: Синодальная Типография, 1908.

- Соболевский 19086 – *Соболевский А. И.* Из переводной литературы петровской эпохи. Библиографические материалы. СПб., 1908 [Сборник ОРЯС, т. LXXXIV, № 3].
- Соболевский 1910 – *Соболевский А. И.* Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. СПб., 1910 [Сборник ОРЯС, т. LXXXVIII, № 3].
- Соболевский 1921 – *Соболевский А. И.* Ис коуриловиць. Книги XII малых пророков с толкованиями, в древне-славянском переводе. Приготовил к печати Н. Л. Туницкий. Выпуск I. Сергиев посад. 1918 // Известия ОРЯС, XXVI (1921). Пг., 1923. С. 240–243.
- Соболевский 1980 – *Соболевский А. И.* История русского литературного языка. Л.: «Наука», 1980.
- Сойе, I–II – *Sohier Jean.* Grammaire et Methode Russes et Françaises 1724. Факсимильное издание под ред. и с предисловием Б. А. Успенского. München: Verlag Otto Sagner, 1987, Bd. I–II [Specimina philologiae slavicae, Bd. 69–70].
- Соколов 1897 – *Соколов И. И.* О народных школах в Византии с середины IX до середины XV века // Церковные ведомости, 1897, № 7. Прибавления. С. 235–243, № 8. Прибавления. С. 273–282.
- Соколов 2003 – *Соколов И. И.* О византинизме в церковно-историческом отношении. Избрание патриархов в Византии с середины IX до начала XV века (843–1453 гг.). Вселенские судьи в Византии. СПб.: Изд-во О. Абышко, 2003.
- Соколова 1930 – *Соколова М. А.* К истории звуков русского языка (Рукопись московской библиотеки им. Ленина № 1666) // Известия Академии наук по русскому языку и словесности, т. III, кн. 1 (1930). С. 75–135.
- Соколова 1957 – *Соколова М. А.* Очерки по языку деловых памятников XVI века. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1957.
- Сокольский 1898 – *Сокольский В. В.* А. С. Павлов. Некролог // Журнал Министерства народного просвещения, 1898, ч. 319, октябрь. Современная летопись. С. 109–134.
- Солнцев 1892 – *Солнцев В. Ф.* «Всякая всячина» и «Спектатор» (К истории русской сатирической журналистики XVIII века) // Журнал Министерства народного просвещения, 1892, ч. 279, № 1. Отд. 2. С. 125–156.
- Соловьев 1961 – *Soloviev A. V.* ΑΡΧΩΝ ΡΩΣΙΑΣ // Byzantion, XXXI (1961), fasc. 1. P. 237–248.
- Соловьев, I–XXIX – *Соловьев С. М.* История России с древнейших времен. Изд. 2-е. М.: «Общественная польза», б. г.
- Солуянова 1989 – *Солуянова Е. Г.* Язык русских исторических сочинений конца XVII – начала XVIII вв. Диссертация на соискание уч. ст. кандидата филолог. наук. М.: Московский гос. ун-т, 1989.
- Сорокин 1965 – *Сорокин Ю. С.* Развитие словарного состава русского литературного языка: 30–90-е годы XIX века. М.–Л.: «Наука», 1965.
- Сорокин 1976 – *Сорокин Ю. С.* Стилистическая теория и речевая практика молодого Тредиаковского (перевод романа П. Тальмана «Езда в остров любви») // Венки Тредиаковскому. Волгоград: Волгоградский пединститут, 1976. С. 45–54.
- Соссюр 1933 – *Соссюр Ф. де.* Курс общей лингвистики, изд. III. Балли и А. Сеше. Пер. с франц. А. М. Сухотина. М.: Соцэкгиз, 1933.
- Сперанский 1904 – *Сперанский М. Н.* Переводные сборники изречений в славяно-русской письменности. Исследование и тексты. М., 1904.
- Сперанский 1926 – *Сперанский М. Н.* Повесть о Динаре в русской письменности // Известия ОРЯС, XXXI (1926). С. 43–92.
- Сперанский 1928 – *Сперанский М. Н.* Откуда идут старейшие памятники русской письменности и литературы? // Slavica, VI (1928), № 3. S. 516–535.

- Сперанский 1929 – *Сперанский М. Н.* Тайнопись в юго-славянских и русских памятниках письма. Л.: Изд-во АН СССР, 1929 [Энциклопедия славянской филологии, IV, 3].
- Сперанский 1960 – *Сперанский М. Н.* Из истории русско-славянских литературных связей. М.: Учпедгиз, 1960.
- Спитерис 1979 – *Spiteris J.* La critica bizantina del primato romano nel secolo XII. Roma: Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, 1979 [Orientalia Christiana Analecta, 208].
- Способин 1881 – *Способин А. Д.* О разводе в России. М.: Тип. М. Н. Лаврова, 1881.
- Срезневский 1860 – *Срезневский И. И.* Грамота великого князя Мстислава и сына его Всеволода Новгородскому Юрьеву монастырю (1130 года). СПб., 1860 [Отд. оттиск из Известий II-го Отделения Академии наук, IX, вып. 1].
- Срезневский 1879 – *Срезневский И. И.* Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках. LXXXI–XC. СПб., 1879 [Сборник ОРЯС, т. XX, № 4].
- Срезневский 1882 – *Срезневский И. И.* Древние памятники русского письма и языка. Изд. 2-е. СПб., 1882.
- Срезневский, I–III – *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древне-русского языка по письменным памятникам. Т. I–III. СПб., 1893–1912.
- СРИО, I–CXLVIII – Сборник Русского исторического общества. Т. I–CXLVIII. СПб. (Пг.), 1867–1916.
- СРЯ XI–XVII вв., I–XXIX – Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. I–XXX. М.: «Наука», 1975–2015 (продолжающееся издание).
- СРЯ XVIII в. – Словарь русского языка XVIII века. Вып. I–XXI. СПб.: «Наука», 1984–2015 (продолжающееся издание).
- ССЯ, I–IV – Словарь старославянского языка. Репринтное издание. Т. I–IV. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2006 [Slovník jazyka staroslověnského. Т. I–IV. Praha: Academia, 1966–1997].
- Станг 1939 – *Stang Chr. S.* Die altrussische Urkundensprache der Stadt Polozk. Oslo: J. Dybwad, 1939.
- Станг 1952 – *Stang Chr. S.* La langue du livre Учение и хитрость ратнаго строенія пѣхотныхъ людей. 1647. Une monographie linguistique. Oslo, 1952 [Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II. Hist.-Filos. Klasse. 1952, No. I].
- Станислав 1934 – *Stanislav J.* Datív absolutný v starej cirkevnej slovančine // Byzantino-slavica 5 (1934). P. 1–112.
- Станчев 2004 – *Станчев К.* По поводу новгородской псалтыри на воске, найденной в 2000 году // Russica Romana, XI (2004). P. 185–198.
- Степенная книга, I–III – Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам. Текст и комментарий. Под ред. Н. Н. Покровского и Г. Д. Ленхофф. М.: «Языки славянских культур», 2007–2012.
- Стефанович 2002 – *Стефанович П. С.* Приход и приходское духовенство в России в XVI–XVII веках. М.: «Индрик», 2002.
- Столярова 1998 – *Столярова Л. В.* Древнерусские надписи XI–XIV веков на пергаменных кодексах. М.: «Наука», 1998.
- Столярова 2000 – *Столярова Л. В.* Свод записей писцов, художников и переплетчиков древнерусских пергаменных кодексов XI–XIV веков. М.: «Наука», 2000.
- Страхов 1995 – *Страхов А. Б.* Филологические наблюдения над берестяными грамотами: VI–IX // Paleoslavica III (1995). P. 231–279.
- Страхова 1986 – *Страхова О. Б.* К вопросу о греческой филологической традиции в восточнославянской книжной среде (Страничка из истории церковнославянского языка конца XVII – начала XVIII века) // Советское славяноведение, 1986, № 4. С. 66–75.

- Страхова 1998 – *Strakhov O. B.* The Byzantine Culture in Muscovite Rus': The Case of Evfimii Chudovskii (1620–1705). Köln–Weimar–Wien: Böhlau, 1998 [Bausteine zur slavische Philologie und Kulturgeschichte: Reihe A, Slavistische Forschungen; N. F. Bd. 26].
- Страхова 2006 – *Страхова О. Б.* Новая книга о происхождении «Слова о полку Игореве»: шаг назад // *Славяноведение*, 2006, № 2. С. 37–65.
- Страхова 2008 – *Страхова О. Б.* Рекоша дружина Игореву... К статье А. А. Гиппиуса о лингво-текстологической стратификации Начальной летописи // *Palaeoslavica XVI/2* (2008). Р. 217–258.
- Страхова 2011 – *Страхова О. Б.* Аугментный имперфект и две нормы: новый взгляд в свете статистических данных // *Paleoslavica XIX* (2011), № 2. Р. 240–293.
- Струминский 1984 – *Struminsky B.* The Language Question in the Ukrainian Lands before the Nineteenth Century // *Aspects of the Slavic Language Question*. Ed. by R. Picchio and H. Goldblatt. New Haven: Yale Consilium on International and Area Studies, 1984. Vol. II. Р. 9–47.
- Суворов 1888 – *Суворов Н. С.* Следы западно-католического церковного права в памятниках древнего русского права. Ярославль, 1888.
- Суворов 1893 – *Суворов Н. С.* К вопросу о западном влиянии на древне-русское право. Ярославль, 1893.
- Суд. – Судебники XV–XVI веков. / Под общей редакцией академика Б. Д. Грекова. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1952.
- Судник 1963 – *Судник Т. М.* Палеографический и фонетический анализ Выголексинского сборника XII–XIII вв // *Ученые записки Института славяноведения*, т. 27. М., 1963. С. 173–205.
- Сумароков 1748 – Две Епистолы, Александра Сумарокова. В первой предлагается о Русском языке, а во второй о Стихотворстве. СПб.: Типография Академии наук, 1748.
- Сумароков 1769 – *Сумароков А. П.* Разныя стихотворения. СПб.: Типография Имп. Академии наук, 1769.
- Сумароков 1774 – *Сумароков А. П.* Еклоги. СПб.: Типография Имп. Академии наук, 1774.
- Сумароков, I–X – *Сумароков А. П.* Полное собрание всех сочинений. Собраны и изданы... Н. Новиковым. Ч. I–X. Изд. 2-е. М.: Университетская типография у Н. Новикова, 1787.
- Супр., I–II – *Супрасълски или Ретков сборник*. В два тома. Изд. Й. Заимов, М. Капалдо. София: Изд-во на Българската академия на науките, 1982–83.
- Сухомлинов 1908 – *Сухомлинов М. И.* Исследования по древней русской литературе. СПб., 1908 [Сборник ОРЯС, т. LXXXV, № 1].
- Сухомлинов, I–VIII – *Сухомлинов М. И.* История Российской Академии. Вып. I–VIII. СПб., 1874–1888.
- Схакен 2011 – *Schaeken J.* Don't Shoot the Messenger. A Pragmaphilological Approach to Birchbark Letter no. 497 from Novgorod // *Russian Linguistics* 35 (2011), № 1. Р. 1–11.
- Сырейщиков 1787 – [*Сырейщиков Е. Б.*]. Краткая российская грамматика, изданная для народных училищ Российской империи по высочайшему повелению царствующия императрицы Екатерины Вторыя. СПб.: Типография Гека, 1787.
- СЯП, I–IV – *Словарь языка Пушкина* в четырех томах. Изд. 2-е. М.: «Азбуковник», 2000.
- Талев 1973 – *Talev I.* Some Problems of the Second South Slavic Influence in Russia. München, Sagner Verlag, 1973.
- Талмуди 1984 – *Talmoudi F.* The Diglossia Situation in North Africa: A Study of Classical Arabic/Dialectical Arabic Diglossia with Sample Text in «Mixed Arabic». Göteborg, 1984 [Acta Universitatis Gothoburgensis; Orientalia gothoburgensia, vol. 8].

- Тарабасова 1986 – *Тарабасова Н. И.* Явления варативности в языке московской деловой письменности XVII в. М.: «Наука», 1986.
- Тарковский 1975 – *Тарковский Р. Б.* Старший русский перевод басен Эзопа и переписчики его текста. Л.: Изд-во ЛГУ, 1975.
- Тарнанидис 1988 – *Tarnanidis I. C.* The Slavonic Manuscripts Discovered in 1975 at St. Catherine's Monastery on Mount Sinai. Thessaloniki: St Catherine's Monastery, 1988 [Hellenic Association for Slavic studies, № 3].
- Тасева и Йовчева 2006 – *Тасева Л., Йовчева М.* Мъчението на Св. Аполинарий Равенски в контекста на ранната славянска преводна литература // *Abhandlungen zu den Grossen Lesemenäen des Metropoliten Makarij: kodikologische, miszelanologische und textologische Untersuchungen. Bd. 2. Hrsg. von E. Maier, E. Weiher. Freiburg i. Br.: Weiher, 2006. S. 153–198* [Monument linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertations, t. XLIX].
- Татищев 1979 – *Татищев В. Н.* Избранные произведения. Под общей ред. С. Н. Валка. Л.: «Наука», 1979.
- Татищев 1990 – Татищев Василий Никитич. Записки. Письма 1717–1750 гг. М.: «Наука», 1990 [Научное наследство, т. 14].
- Татищев, I–VII – *Татищев В. Н.* История Российская. Т. I–VII. Изд. 2-е. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1962–1968.
- Тахиаос 1988–89 – *Tachiaos A.-E. N.* The Greek Metropolitans of Kievan Rus': An Evaluation of Their Spiritual and Cultural Activity // *Harvard Ukrainian Studies, XII/XIII (1988/1989). P. 430–445* [Proceedings of the International Congress Commemorating the Millennium of Christianity in Rus'-Ukraine. Ed. by O. Pritsak and I. Ševčenko].
- Творогов 1974 – *Творогов О. В.* Повесть временных лет и Хронограф по великому изложению // *Труды Отдела древнерусской литературы XXVIII (1974). С. 99–113.*
- Творогов 1975 – *Творогов О. В.* Древнерусские хронографы. Л.: «Наука», 1975.
- Творогов 1976 – *Творогов О. В.* Повесть временных лет и Начальный свод (Текстологический комментарий) // *Труды Отдела древнерусской литературы XXX (1976). С. 3–26.*
- Тейлор 1990 – *Taylor T. J.* Normativity and Linguistic Form // *Davis H. & Taylor T. (eds). Redefining Linguistics. London and New York: Routledge, 1990. P. 118–148.*
- Теннен 1982 – *Tannen D.* Oral and Literate Strategies in Spoken and Written Narratives // *Language 58 (1982), № 1. P. 1–21.*
- Теннен 1983 – *Tannen D.* Oral and Literate Strategies in Spoken and Written Discourse // *Literacy for Life: The Demand for Reading and Writing. Ed. R. W. Bailey and R. M. Fosheim. New York: Modern Language Association, 1983. P. 79–96.*
- Тернер 2006 – *Turner S.* Post-Verbal Subjects in Early East Slavonic // *Transactions of the Philological Society, vol. 104: 1 (2006). P. 85–117.*
- Тернер 2007 – *Turner S.* Methodological Issues in the Interpretation of Constituent Order in Early East Slavonic Sources // *Russian Linguistics 31 (2007). P. 113–135.*
- Тестелец 2001 – *Тестелец Я. Г.* Введение в общий синтаксис. М.: Российский гос. гуманитарный ун-т, 2001.
- Тимберлейк 1995 – *Timberlake A.* Avvakum's Aorists // *Russian Linguistics 19 (1995). P. 25–43.*
- Тимберлейк 1996 – *Тимберлейк А.* Вкусить от древа познания и убояться: вариативность в развитии винительного-родительного падежа (По поводу книги: В. Б. Крысько. Развитие категории одушевленности в истории русского языка. М., 1994. 224 с.) // *Вопросы языкознания, 1996, № 5. С. 7–19.*
- Тимберлейк 1997а – *Тимберлейк А.* Аугмент имперфекта в Лаврентьевской летописи // *Вопросы языкознания, 1997, № 5. С. 66–86.*

- Тимберлейк 19976 – *Timberlake A.* Чѣмъ кси слѣпиль враѣ свон: Templates and the Development of Animacy // *Russian Linguistics* 21 (1997), № 1. P. 49–62.
- Тимберлейк 1998 – *Timberlake A.* Linguistic Layering in the *Lavrentian Chronicle* (The Imperfect Consonantal Augment) // R. A. Maguire, A. Timberlake (eds.). *American Contribution to the Twelfth International Congress of Slavists*. Bloomington: Slavica Publishers, 1998. P. 501–514.
- Тимберлейк 1999 – *Timberlake A.* On the Imperfect Augment in ‘Slovo o polku Igoreve’ // H. Baran, S. I. Gindin et al. (eds.). *Roman Jakobson: Texts, Documents, Studies*. Moscow: Russian State University for the Humanities, 1999. P. 771–786.
- Тимберлейк 2000 – *Timberlake A.* Who Wrote the Laurentian Chronicle (1177–1203)? // *Zeitschrift für slavische Philologie* 59 (2000), Hf. 2. S. 237–266.
- Тимберлейк 2001 – *Timberlake A.* Redactions of the Primary Chronicle // *Русский язык в научном освещении*, № 1, 2001. С. 196–218.
- Тимберлейк 2002 – *Тимберлейк А.* Significatio, Conventio, Imitatio et Inventio // *Русский язык в научном освещении*, № 2 (4), 2002. С. 57–74.
- Тимберлейк 2004 – *Timberlake A.* *A Reference Grammar of Russian*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2004.
- Тимберлейк 2005 – *Timberlake A.* Intervals of the Kiev Chronicle (1050–1110) // *Zeitschrift für slavische Philologie* 64 (2005). S. 51–70.
- Тимберлейк 2006а – *Timberlake A.* The Origins of Anonymous’s Skazanie and Nestor’s Chtenie o Sv. Muchenikakh Borise i Glebe // *Русский язык в научном освещении*, № 1 (11), 2006. С. 156–194.
- Тимберлейк 2006б – *Timberlake A.* «Не преступати предѣла братна»: The Entries of 1054 and 1073 in the Kiev Chronicle // *Вереница литер. К 60-летию В. М. Живова. М.: «Языки славянской культуры»*, 2006. С. 97–112.
- Тимберлейк 2008 – *Timberlake A.* The Grammar of Oral Narrative in the *Povest’ vremennykh let* // *American Contributions to the 14th International Congress of Slavists*. Ohrid, September 2008. Vol. 1: Linguistics. Ed. by Ch. Y. Bethin. Bloomington, Indiana: Slavica Publishers, 2008. P. 211–226.
- Тимберлейк, в печати – *Timberlake A.* On Grammatical (and Other) Change (in print).
- Тимофеев – Временник Ивана Тимофеева. Подготовка к печати, перевод и комментарии О. А. Державиной. Под редакцией В. П. Адриановой-Перетц. М.–Л.: Издательство Академии наук СССР, 1951 [Литературные памятники].
- Тип. Уст., I–III – Типографский Устав: Устав с кондакарем конца XI – начала XII века. Т. I–III. Под ред. Б. А. Успенского. М.: «Языки славянских культур», 2006.
- Титов 1924 – *Титов Хв.* Матеріяли для исторії книжної справи на Вкраїні в XVI–XVIII вв. Всезбірка передмов до українських стародруків. Київ: З друкарні Української Академії Наук, 1924 [Українська Академія Наук, Збірник Історично-філологічного відділу, № 17. Репринт: Materialien zur Geschichte des Buchwesens in der Ukraine im 16. Bis 18. Jahrhundert. Mit einer Einführung hrsg. Von H. Rothe. Köln–Wien: Böhlau Verlag, 1982. Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven, 16. Bd.].
- Титова 1987 – *Титова Л. В.* «Беседа отца с сыном о женской злобе». Исследование и публикация текстов. Новосибирск: «Наука», 1987.
- Титова 1989 – *Титова Л. В.* Послание дьякона Федора сыну Максиму // *Христианство и церковь в России феодального периода (материалы)*. Под ред. Н. Н. Покровского. Новосибирск: «Наука», 1989. С. 87–135.
- Тихомиров 1941 – *Тихомиров М. Н.* Исследование о Русской Правде. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1941.

- Тихомиров 1953 – *Тихомиров М. Н.* Пособие для изучения Русской Правды. М.: Изд-во Московского ун-та, 1953.
- Толстая 1987 – *Толстая С. М.* К соотношению христианского и народного календаря у славян: счет и оценка дней недели // Языки культуры и проблемы переводимости. Под ред. Б. А. Успенского. М.: «Наука», 1987. С. 154–168.
- Толстой 1886 – *Толстой Д. А.* Городские училища в царствование Императрицы Екатерины II. СПб., 1886.
- Толстой 1961 – *Толстой Н. И.* К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян // Вопросы языкознания, 1961, № 1. С. 52–66.
- Толстой 1963 – *Толстой Н. И.* Взаимоотношение локальных типов древнеславянского литературного языка позднего периода (вторая половина XVI–XVII вв.) // Славянское языкознание. Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов. М., 1963. С. 230–272.
- Толстой 1976 – *Толстой Н. И.* Старинные представления о народно-языковой базе древнеславянского литературного языка (XVI–XVII вв.) // Вопросы русского языкознания. М., 1976. С. 177–204.
- Толстой 1978 – *Толстой Н. И.* Однос старог српског књишког језика према старом словенском језику // Научни састанак слависта у Вукове дане, VIII (1978). С. 15–25.
- Толстой 1979 – *Толстой Н. И.* Литературный язык сербов в XVIII в. (до 1780 г.) // Славянское и балканское языкознание. История литературных языков и письменность. М.: «Наука», 1979. С. 154–197.
- Толстой 1988 – *Толстой Н. И.* История и структура славянских литературных языков. М.: «Наука», 1988.
- Толстой и Кондаков, I–VI – *Толстой И. И., Кондаков Н. П.* Русские древности в памятниках искусства. Т. I–VI. Изд. 2-е. СПб., 1889–1899.
- Толстой, I–XC – *Толстой Л. Н.* Полное собрание сочинений. Под ред. В. Г. Черткова. Т. I–XC. М.: Гос. изд-во «Художественная литература», 1928–1958.
- Томасон 2001 – *Thomason S. G.* Language Contact: An Introduction. Washington, D. C.: Georgetown Univ. Press, 2001.
- Томасон и Кауфман 1988 – *Thomason S. G., Kaufman T.* Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. Berkeley, Los Angeles, London: Univ. of California Press, 1988.
- Томашевский 1959 – *Томашевский Б. В.* Стилистика и стихосложение. Курс лекций. Л.: Гос. учебно-педагогическое изд-во Мин-ва просвещения РСФСР, 1959.
- Томеллери 1999 – Die Правила граматичные, der erste syntaktische Traktat in Russland. Hrsg. und mit einer Einleitung versehen von V. S. Tomelleri, München: Otto Sagner, 1999 [Specimina philologiae slavicae, Bd. 123].
- Томеллери 2002a – *Tomelleri V. S.* Die Gennadius-Bibel und ihre Bedeutung für die slavische Philologie // Sakrale Grundlagen slavischer Literaturen. Hrsg. von H. Rothe. München: Otto Sagner Verlag, 2002. S. 93–106 [Vorträge und Abhandlungen zur Slavistik, 43].
- Томеллери 2002b – Der russische Donat. Vom lateinischen Lehrbuch zur russischen Grammatik. Hrsg. von V. S. Tomelleri, Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag, 2002 [Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte, Reihe B: Editionen, Band 18].
- Томсон 1908 – *Томсон А. И.* Родительный-винительный падеж при названиях живых существ в славянских языках // Известия ОРЯС, XIII (1908), кн. 2. С. 232–264.
- Томсон 1978 – *Thomson Fr. J.* The Nature of the Reception of Christian Byzantine Culture in Russia in the Tenth to Thirteenth Centuries and its Implications for Russian Culture // Belgian Contributions to the 8th International Congress of Slavists. Zagreb, Ljubljana, September 1978. Slavica Gandensia 5 (1978). P. 107–139.

- Томсон 1983 – *Thomson Fr. J.* Quotations of Patristic and Byzantine Works by Early Russian Authors as an Indication of the Cultural Level of Kievan Russia // *Slavica Gandensia* 10 (1983). P. 65–101.
- Томсон 1988–89 – *Thomson Fr. J.* The Bulgarian Contribution to the Reception of Byzantine Culture in Kievan Rus': The Myths and the Enigma // *Harvard Ukrainian Studies*, XII/XIII (1988/1989). P. 214–261 [Proceedings of the International Congress Commemorating the Millennium of Christianity in Rus'–Ukraine. Ed. by O. Pritsak and I. Ševčenko].
- Томсон 1993a – *Thomson Fr. J.* The Corpus of Slavonic Translations Available in Muscovy. The Cause of Old Russia's Intellectual Silence and a Contributory Factor to Muscovite Cultural Autarky // *Christianity and the Eastern Slavs*, vol. I. Slavic Cultures in the Middle Ages. Ed. by B. Gasparov and O. Raevsky-Hughes. Berkeley, Los Angeles, Oxford: Univ. of California Press, 1993. P. 179–214 [California Slavic Studies, XVI].
- Томсон 1993b – *Thomson Fr. J.* «Made in Russia»: A Survey of the Translations Allegedly Made in Kievan Russia // *Millenium Russiae Christianae: Tausend Jahre Christliches Rußland, 988–1988. Vorträge des Symposiums anlässlich der Tausendjahrfeier der Christianisierung Rußlands in Münster vom 5. bis 9. Juli 1988.* Hrsg. von G. Birkfellner. Köln–Weimar–Wien: Böhlau Verlag, 1993. S. 295–354.
- Томсон 1995 – *Thomson Fr. J.* The Distorted Medieval Russian Perception of Classical Antiquity: The Causes and the Consequences // *Mediaeval Antiquity*. Leuven: Leuven Univ. Press, 1995. P. 303–364 [Mediaevalia Iovaniensia, ser. I/ Studia XXIV].
- Тот 1981 – *Тот И. Х.* Служебная минея на месяц февраль первой половины XII в. (Предварительное сообщение) // *Acta Universitatis szegediensis de Attila József nominatae. Dissertationes slavicae. Slavistisches Mitteilungen.* Szeged, 1981. P. 140–162.
- Тот 1982 – *Тот И. Х.* Слуцкая псалтырь // *Acta Universitatis szegediensis de Attila József nominatae. Dissertationes Slavicae: Sectio Linguistica XV.* Szeged, 1982. P. 147–191.
- Тот 1985 – *Тот И. Х.* Русская редакция древнеболгарского языка в конце XI – начале XII вв. София: Изд-во Болгарской АН, 1985.
- Тредиakovский 1730 – [Тальман П.]. Езда в остров любви. Переведена с французского на русской чрез студента Василья Тредиakovского. СПб., 1730.
- Тредиakovский 1734 – *Тредиakovский В.* Ода торжественная о здече города Гданска. СПб.: Типография Академии наук, 1734.
- Тредиakovский 1735a – *Тредиakovский В. К.* Речь... в Санктпитебургской имп. Академии наук к членам Российского собрания, во время первого оных заседания, марта 14 дня 1735 года. СПб.: Типография Академии наук, 1735.
- Тредиakovский 1735b – *Тредиakovский В. К.* Новый и краткий способ к сложению российских стихов с определениями до сего надлежащих званий. СПб.: Типография Академии наук, 1735.
- Тредиakovский 1737a – Военное состояние Оттоманския империи. Сочинено чрез графа де Марсильи... [Перевод и примечания В. К. Тредиakovского]. Ч. I. СПб.: Типография Академии наук, 1737.
- Тредиakovский 1737b – Истинная политика знатных и благородных Особ, переведено с французского чрез Василья Тредиakovского, Санктпитебургския Императорския Академии Наук, секретаря. СПб.: Типография Академии наук, 1737.
- Тредиakovский 1745a – *Тредиakovский В.* Слово о богатом, различном, искусном и несхотственном витийстве. СПб.: Типография Академии наук, 1745.
- Тредиakovский 1745b – Истинная политика знатных и благородных особ переведена с французского языка. Второе издание вновь высмотренное и умноженное. СПб.: Типография Академии наук, 1745.

- Тредиаковский 1748 – *Тредиаковский В. К.* Разговор между чужестранным человеком и российским об орфографии старинной и новой и о всем что принадлежит к сей материи. СПб.: Типография Академии наук, 1748.
- Тредиаковский 1751 – Аргенида повесть героическая сочиненная Иоанном Барклаем и с латинского на славено-русский переведенная от В. Тредиаковского. Т. I–II. СПб.: Типография Академии наук, 1751.
- Тредиаковский 1766 – Тилемахида или Странствование Тилемаха сына Одисеева описанное в составе ироическия пиимы Василием Тредиаковским... Т. I–II. СПб.: Типография Академии наук, 1766.
- Тредиаковский 1773 – *Тредиаковский В.* Три разсуждения о трех главнейших древностях российских. СПб.: Типография Академии наук, 1773.
- Тредиаковский 1849 – *Тредиаковский В. К.* Избранные произведения. Изд. П. Перевлеского. М.: Университетская типография, 1849.
- Тредиаковский 1935 – *Тредиаковский В. К.* Стихотворения. Л.: «Советский писатель», 1935 [Библиотека поэта. Большая серия. 1-е изд.].
- Тредиаковский 1963 – *Тредиаковский В. К.* Избранные произведения. М.–Л.: «Советский писатель», 1963 [Библиотека поэта. Большая серия. 2-е изд.].
- Тредиаковский 1989 – Vasilij Kirillovič Trediakovskij Psalter 1753. Erstausgabe. Besorgt und kommentiert von A. Levitsky. Hrsg. von R. Olesch und H. Rothe. Paderborn–München–Wien–Zürich: Ferdinand Schöningh, 1989. [Biblia Slavica. Hrsg. von R. Olesch und H. Rothe unter Mitarbeit von F. Scholz. Serie III: Ostslavische Bibeln. Band 4: Russische Psalmenübersetzungen. b: Vasilij Kirillovič Trediakovskij].
- Тредиаковский, I–III – *Тредиаковский В. К.* Сочинения. Т. I–III. СПб.: Изд. А. Смирдина, 1849.
- Тредиаковский, RI, I–XVI – Римская история... сочиненная г. Ролленом... а с Французского переведенная тщанием и трудами В. Тредиаковского... Т. I–XVI. СПб.: Типография Имп. Академии наук, 1761–1767.
- Трифонов 1943 – *Трифонов Ю.* Живот и дейност на Константин Костенецки. София, 1943 [Списание на БАН, кн. LXVI–5].
- Трубачев 1987 – *Трубачев О. Н.* Несколько лингвистических глосс к мораво-паннонским житиям // Древнерусский литературный язык в его отношении к старославянскому. Под ред. Л. П. Жуковской. М.: «Наука», 1987. С. 30–36.
- Трубачев 1992 – *Трубачев О. Н.* В поисках единства. М.: «Наука», 1992.
- Трубачев 2004 – *Трубачев О. Н.* Снова о названии *Суздаль* // Трубачев О. Н. Труды по этимологии: Слово. История. Культура. М.: «Языки славянской культуры», 2004. С. 301–306.
- Трубецкой 1927 – Кн. *Трубецкой Н. С.* К проблеме русского самопознания. Собрание статей. Париж: Евразийское книгоиздательство, 1927.
- Трубецкой 1954 – *Trubetzkoy N. S.* Altkirchenslavische Grammatik. Schrift-, Laut- und Formensystem. Wien: Rudolf M. Rohrer, 1954 [Österreichische Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse. Sitzungsberichte, 228. Bd., 4. Abh.].
- Трубецкой 1973 – *Trubetzkoy N. S.* Vorlesungen über die altrussische Literatur. Firenze, 1973 [Studia historica et philologica. Sectio slavica, 1].
- Трубецкой 1995 – *Трубецкой Н. С.* История. Культура. Язык. Составление, подготовка текста и комментарии В. М. Живова. М.: «Прогресс-Универс», 1995.
- Трубецкой, I–VI – *Трубецкой С. Н.* Собрание сочинений. Т. I–VI. М.: Типография Г. Лисснера и Д. Собко, 1906–1912.
- Трудолюбивая пчела 1759 – Трудолюбивая пчела. Генварь – Декабрь. [Изд. А. П. Сумарокова]. СПб., 1759.

- Турилов 1995 – Турилов А. А. Болгарские литературные памятники эпохи Первого Царства в книжности Московской Руси XV–XVI вв. (заметки к оценке явления) // Славяноведение, 1995, № 3. С. 31–45.
- Турилов 2005 – Turilov A. A. La letteratura slava ecclesiastica delle origini. Storia e geografia della tradizione manoscritta // Incontri linguistici 28 (2005). P. 11–29.
- Турилов 2010 – Турилов А. А. Slavia Cyrillomethodiana: Источниковедение истории и культуры южных славян и Древней Руси. Межславянские культурные связи эпохи средневековья. М.: «Знак», 2010.
- Турилов 2012 – Турилов А. А. Межславянские культурные связи эпохи Средневековья и источниковедение истории и культуры славян: Этюды и характеристики. М.: «Знак», 2012.
- У Каунг 1963 – U Kaung. A Survey of the History of Education in Burma Before the British Conquest and After // Journal of Burma Research Society XLVI (1963), № 2. P. 1–124.
- Ужевич 1970 – Ужевич І. Граматика слов'янська. Підг. до друку І. К. Білодід, Є. М. Кудрицький. Київ: «Наукова думка», 1970.
- Уинфорд 1985 – Winford D. The Concept of 'Diglossia' in Caribbean Creole Situations // Language in Society 14 (1985). P. 345–356.
- Уложение 1987 – Соборное уложение 1649 года. Текст, комментарии. Под. ред. А. Г. Манькова. Л.: «Наука», 1987.
- Улуханов 1964 – Улуханов И. С. Предлоги *предъ* – *передъ* в русском языке XI–XVII вв. // Исследования по исторической лексикологии древнерусского языка. М.: «Наука», 1964. С. 125–160.
- Улуханов 1969 – Улуханов И. С. Славянизмы и народноразговорные слова в памятниках древнерусского языка XI–XIV вв. (глаголы с приставками *пре-*, *пере-* и *предъ-*) // Исследования по словообразованию и лексикологии древнерусского языка. М.: «Наука», 1969. С. 106–186.
- Улуханов 2004 – Улуханов И. С. Славянизмы в русском языке (глаголы с неполногласными приставками). М.: ООО «Управление технологиями», 2004.
- Унбегаун 1935a – Unbegaun B. La langue russe au XVI^e siècle (1500–1550). I. La flexion des noms. Paris: Librairie ancienne Honoré Champion, 1935 [Bibliothèque de L'Institut français de Leningrad, t. XVI].
- Унбегаун 1935b – Unbegaun B. Les débuts de la langue littéraire chez les Serbes. Paris: H. Champion, 1935 [Travaux publiés par l'Institut d'études slaves, XV].
- Унбегаун 1957 – Unbegaun B. Russe et slavons dans la terminologie juridique // Revue des études slaves, XXXIV (1957). P. 129–135 (= Унбегаун 1969a. P. 176–184).
- Унбегаун 1958 – Unbegaun B. O. Russian Grammars before Lomonosov // Oxford Slavonic Papers, VIII (1958). P. 98–116.
- Унбегаун 1959 – Unbegaun B. «Le crime» et le «criminel» dans la terminologie juridique russe // Revue des études slaves, XXXVI (1959). P. 47–58 (= Унбегаун 1969a. P. 203–217).
- Унбегаун 1969a – Unbegaun B. O. Selected Papers on Russian and Slavonic Philology. Oxford: Clarendon Press, 1969.
- Унбегаун 1969b – Drei russische Grammatiken des 18. Jahrhunderts. Nachdruck der Ausgaben von 1706, 1731 und 1750 mit einer Einleitung von B. O. Unbegaun. München: Fink Verlag, 1969 [Slavische Propyläen, Bd. 55].
- Унбегаун 1973 – Unbegaun B. O. Lomonosov und Luther // Zeitschrift für slavische Philologie 37 (1973). S. 159–171.

- Уоллис 1995 – *Wallis F.* The Experience of the Book: Manuscripts, Texts, and the Role of Epistemology in Early Medieval Medicine // Knowledge and the Scholarly Medical Traditions. Ed. by D. Bated. Cambridge, New York: Cambridge Univ. Press, 1995. P. 101–126.
- Уолтерс 1996 – *Walters K.* Diglossia, Linguistic Variation, and Language Change in Arabic // Perspectives on Arabic Linguistics VIII: Papers from the Eighth Annual Symposium on Arabic Linguistics. Ed. by M. Eid. Amsterdam: Benjamins, 1996. P. 157–197.
- Уортли 2010 – *Wortley J.* The Genre of the Spiritually Beneficial Tale // Scripta & e-Scripta, 8–9 (2010). P. 71–91.
- Уортли и Цукерман 2004 – *Wortley J., Zuckerman C.* The Relics of Our Lord's Passion in the Russian Primary Chronicle // Византийский временник 63 (88), 2004. С. 67–75.
- Употребление книги Псалтырь 1857 – [Неизв. автор.] Употребление книги Псалтырь в древнем быту русского народа // Православный собеседник, 1857. С. 814–856.
- Усп. сб. (УС) – Успенский сборник XII–XIII вв. Издание подготовили О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М.: «Наука», 1971.
- Успенский 1967 – *Успенский Б. А.* Одна архаическая система церковнославянского произношения (литургическое произношение старообрядцев- беспоповцев) // Вопросы языкознания, 1967, № 6. С. 62–79.
- Успенский 1968 – *Успенский Б. А.* Архаическая система церковнославянского произношения (Из истории литургического произношения в России). М.: Изд-во Московского ун-та, 1968.
- Успенский 1970 – *Успенский Б. А.* Старинная система чтения по складам (Глава из истории русской грамоты) // Вопросы языкознания, 1970, № 5. С. 80–100.
- Успенский 1971 – *Успенский Б. А.* Книжное произношение в России (Опыт исторического исследования). Автореферат диссертации на соискание уч. степени доктора филолог. наук. М.: Московский гос. ун-т, 1971.
- Успенский 1975 – *Успенский Б. А.* Первая русская грамматика на родном языке. М.: «Наука», 1975.
- Успенский 1976а – *Успенский Б. А.* К вопросу о семантических взаимоотношениях системно противопоставленных церковнославянских и русских форм в истории русского языка. Wiener Slavistisches Jahrbuch 22 (1976). S. 92–100.
- Успенский 1976б – *Успенский Б. А.* Historia sub specie semioticae // Культурное наследие Древней Руси: Истоки, становление, традиция. М., 1976. С. 286–292.
- Успенский 1979 – *Успенский Б. А.* Вопрос о сирийском языке в славянской письменности: почему дьявол может говорить по-сирийски? // Вторичные моделирующие системы. Тарту: Тартуский ун-т, 1979. С. 79–82; перепечатано: Успенский, II. С. 59–64.
- Успенский 1983 – *Успенский Б. А.* Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. IX Международный съезд славистов. Доклады. М.: Изд-во Московского ун-та, 1983.
- Успенский 1984а – *Uspensky B. A.* The Language Situation and Linguistic Consciousness in Muscovite Rus': the Perception of Church Slavic and Russian // Medieval Russian Culture. Ed. by H. Birnbaum and M. S. Flier. Berkeley–Los Angeles–London: Univ. of California Press, 1984. P. 365–385.
- Успенский 1984б – *Успенский Б. А.* К истории одной эпиграммы Тредиаковского (Эпизод языковой полемики середины XVIII в.) // Russian Linguistics 8 (1984), № 2. P. 75–127.
- Успенский 1985 – *Успенский Б. А.* Из истории русского литературного языка XVIII – начала XIX века. Языковая программа Карамзина и ее исторические корни. М.: Изд-во Московского ун-та, 1985.

- Успенский 1987 – *Успенский Б. А.* История русского литературного языка (XI–XVII вв.). München: Verlag Otto Sagner, 1987 [Sagners slavistische Sammlung, 12 Bd.].
- Успенский 1988а – *Успенский Б. А.* Русское книжное произношение XI–XII вв. и его связь с южнославянской традицией (Чтение еров) // Актуальные проблемы славянского языкознания. Под ред. К. В. Горшковой, Г. А. Хабургаева. М.: Изд-во Московского ун-та, 1988. С. 99–156.
- Успенский 1988б – *Успенский Б. А.* Отношение к грамматике и риторике в Древней Руси (XVI–XVII вв.) // Литература и искусство в системе культуры. М.: «Наука», 1988. С. 208–224 (= Успенский, II. С. 5–28).
- Успенский 1992 – *Успенский Б. А.* Доломоновские грамматики русского языка (итоги и перспективы) // Доломоновский период русского литературного языка. The Pre-Lo-monosov Period of the Russian Literary Language (Материалы конференции на Фагеруде, 20–25 мая 1989 г.). Stockholm, 1992. P. 63–169 [Slavica Suecana, vol. 1].
- Успенский 1994 – *Успенский Б. А.* Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М.: «Гнозис», 1994.
- Успенский 2000 – *Успенский Б. А.* Борис и Глеб: Восприятие истории в Древней Руси. М.: «Языки русской культуры», 2000.
- Успенский 2002 – *Успенский Б. А.* История русского литературного языка (XI–XVII вв.). Изд. 3-е. М.: «Аспект пресс», 2002.
- Успенский 2008 – *Успенский Б. А.* Вокруг Третьяковского. Труды по истории русского языка и русской культуры. М.: «Индрик», 2008.
- Успенский и Живов 1983 – *Uspenskij B. A., Živov V. M.* Zur Spezifik des Barock in Rußland. Das Verfahren der Äquivokation in der russischen Poesie des 18. Jahrhunderts // Slavische Barockliteratur II. Gedenkschrift für Dmitrij Tschizewskij (1894–1977). Hrsg. R. Lachmann. München: W. Fink Verlag, 1983. S. 25–56 [Forum Slavicum, Bd. 54].
- Успенский, I–III – *Успенский Б. А.* Избранные труды. Т. I–III. Изд. 2-е. М.: «Языки русской культуры», 1996–1997.
- Устрялов, I–VI – *Устрялов Н. Г.* История царствования Петра Великого. Т. I–IV, VI. СПб.: Типография II-го Отд-ния Собств. Его Имп. Величества канцелярии, 1858–1863.
- Устюгова 1987 – *Устюгова Л. М.* Книжнославянизмы и соотносительные русизмы в основных списках «Повести временных лет» // Древнерусский литературный язык в его отношении к старославянскому. Под ред. Л. П. Жуковской. М.: «Наука», 1987. С. 90–104.
- Устюжский свод – Устюжский летописный свод (Архангелогородский летописец). Подготовка к печати и ред. К. Н. Сербиной. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1950.
- Ушаков 1915 – *Ушаков Д. Н.* Воспоминания о Председателе Московской Диалектологической Комиссии академика Ф. Е. Корше // Памяти Председателя Комиссии академика Федора Евгеньевича Корша. 1843–1915. М., 1915. С. 16–29 [Труды Московской Диалектологической Комиссии. Вып. 4].
- Ушаков, I–IV – Толковый словарь русского языка под ред. проф. Д. Н. Ушакова. М.: «Советская энциклопедия», 1934–1940.
- Фалев 1927 – *Фалев И. А.* О редуцированных гласных в древнерусском языке // Язык и литература, т. II, вып. 1. Л.: Ленинградский ун-т, 1927. С. 111–122.
- Фасмер, I–IV – *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Пер. с немецкого и дополнения О. Н. Трубачева. М.: «Прогресс», 1964–1973.
- Федер 1990 – *Veder W. R.* Literature as a Kaleidoscope: The Structure of Slavic «Četii Sborniki» // Semantic Analysis of Literary Texts: To Honour Jan van der Eng on the Occasion of his 65th Birthday. Ed. by E. de Haard, Th. Langerak, W. G. Weststeijn. Amsterdam; New York: Elsevier, 1990. P. 599–647.

- Федер 1995 – *Veder W. R.* Der bulgarische Ursprung des Izbornik von 1076 // Кирило-Методиевски студии, кн. 10. София: Изд-во на Българска академия на науките, 1995. С. 82–87.
- Федер 1999 – *Veder W. R.* Utrum in alterum abiturum erat? A Study of the Beginnings of Text Transmission in Church Slavic. Bloomington: Slavica, 1999.
- Федер 2003 – *Veder W. R.* Jaroslav Vladimirovič's Proclamation of the Translatio auctoritatis to Rus' // Dutch Contribution to the Thirteenth International Congress of Slavists, Ljubljana. Ed. by P. Houtzagers, J. Kalsbeek, J. Schaeken. Amsterdam, New York: Rodopi, 2003. P. 375–395 [Studies in Slavic and General Linguistics, vol. 30].
- Федотов 1975 – *Fedotov G. P.* The Russian Religious Mind (I). Kievan Christianity. The 10th to 13th Centuries. Belmont: Nordland Publishing Company, 1975.
- Федотов 1990 – *Федотов Г.* Святые древней Руси. М.: «Московский рабочий», 1990.
- Федотова 2005 – *Федотова М. А.* Житие Никиты Столпника Переяславского (рукописная традиция Жития) // Русская агиография. Исследования. Публикации. Полемика. СПб.: «Дмитрий Буланин», 2005. С. 309–331.
- Фелдбругге 2009 – *Feldbrugge Ferdinand.* Law in Medieval Russia. Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2009.
- Фенне, I–IV – *Tönnies Fenne's* Low German Manual of Spoken Russian, Pskov. 1607. Ed. by L. L. Hammarich and Roman Jakobson. Vol. I–IV. Copenhagen: E. Munksgaard, 1961–1986.
- Феннелл и Стоукс 1974 – *Fennell J., Stokes A.* Early Russian literature. Berkeley: Univ. of California Press, 1974.
- Феофан Прокопович 1773 – [Феофан Прокопович]. История Петра Великого от Рождения Его до Полтавской баталии... сочиненная Феофаном Прокоповичем... Изданная с обретающегося в кабинетской архиве дел Его Императорского Величества Списка, правленнаго рукою самого сочинителя. СПб.: Типография Морского кадетского корпуса, 1773.
- Феофан Прокопович 1782 – *Christianae orthodoxae theologiae in Academia Kiowiensi a Theophane Prokorporowisz eivsdem Academiae rectore, postea archiepiscopo novgorodensi adornatae et propositae volumen primum.* Lipsiae: Ex officina Breitkopfia, 1782.
- Феофан Прокопович 1790 – [Феофан Прокопович]. Первое учение отроком. М.: Синодальная типография, 1790.
- Феофан Прокопович, I–IV – *Феофан Прокопович.* Слова и речи поучительные, похвальные и поздравительные. Ч. I–IV. СПб.: Тип. Сухопутного шляхетного корпуса, 1760–1774.
- Феофилакт Русанов, I–II – [Феофилакт (Русанов)]. Поучительные слова и речи, сочиненные и проповеданные в разных местах синодальным членом, преосвященнейшим Феофилактом Архиепископом рязанским и зарайским. Ч. 1–2. Изд. 2-е. М.: Синодальная Типография, 1809.
- Фергусон 1959 – *Ferguson Ch. A.* Diglossia // *Word* 15 (1959). P. 325–340.
- Фергусон 1991 – *Ferguson Ch. A.* Diglossia Revisited // *Southwest Journal of Linguistics* 10 (1991), № 1. P. 214–234 [Special Issue: Studies in Diglossia. Ed. by A. Hudson].
- Ферран 1999 – *Ферран М.* Монументальная фраза древнерусских писателей. М.: «Индрик», 1999.
- Фесенко 1955 – *Фесенко А. и Т.* Русский язык при Советах. Нью-Йорк: Rausen Bros., 1955.
- Фет 1980 – *Фет Е. А.* Новые факты в истории древнерусского Пролога // Источниковедение литературы Древней Руси. Л.: «Наука», 1980, С. 53–70.
- Филарет Гумилевский 1884 – *Филарет [Гумилевский].* Обзор русской духовной литературы. Кн. I–II. Изд. 3-е. СПб., 1884.
- Филин 1981 – *Филин Ф. П.* Истоки и судьбы русского литературного языка. М.: «Наука», 1981.

- Финнеган и Байбер 1994 – *Finnegan E., Biber D.* Sociolinguistic Perspectives on Register: Situating Register Variation within Sociolinguistics. Oxford: Oxford Univ. Press, 1994.
- Фишман 1972 – *Fishman J.* Societal Bilingualism: Stable and Transitional / Fishman J. Language in Sociocultural Change. Stanford: Stanford Univ. Press, 1972. P. 135–152.
- Фишман 1980 – *Fishman J.* Bilingualism and Biculturism as Individual and as Societal Phenomena // *Journal of Multilingual and Multicultural Development* 1 (1980). P. 1–15.
- Флайер 1984 – *Flier M.* Sunday in Medieval Russian Culture: *Nedelja* versus *Voskresenie* // *Medieval Russian Culture*. Ed. by H. Birnbaum, M. Flier. Berkeley, Los Angeles, London: Univ. of California Press, 1984. P. 105–149.
- Флайер 1985 – *Flier M.* The Non-Christian Provenience of Slavic *nedělja* // *International Journal of Slavic Linguistics and Poetics* 31–32 (1985). P. 151–165.
- Флоровский 1935 – *Флоровский А. В.* Чехи и восточные славяне. Очерки по истории чешско-русских отношений (X–XVIII вв.). V Praze: Nákl. Slovanského ústavu v komisi nakl. «Orbis», 1935.
- Флоровский 1958 – *Флоровский А. В.* Чешские струи в истории русского литературного развития // *Славянская филология. Сборник статей. III.* М.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 211–251.
- Флоровский 1988 – *Флоровский Г. В.* Пути русского богословия. 4-е изд. С предисл. прот. И. Мейендорфа и указ. имен. Париж: YMCA Press, 1988.
- Флоря 1978 – *Florja B. N.* Václavská legenda a Borisovsko-Glebovský kult (shody a rozdíly) // *Československý časopis historický*, 26 (1978). S. 83–96.
- Флоря 1985 – *Флоря Б. Н.* Сказание о преложении книг на славянский язык. Источники, время и место написания // *Byzantinoslavica*, XLVI (1985), fasc. I. P. 121–130.
- Флоря 1992 – *Флоря Б. Н.* Отношения государства и церкви у восточных и западных славян (Эпоха средневековья). М.: Ин-т славяноведения и балканистики РАН, 1992.
- Фонвизин 1769 – Иосиф, в девяти песнях сочинение г. Битобе. [Перевод и предисловие Д. И. Фонвизина]. М., 1769, Ч. I.
- Фонвизин, I–II – *Фонвизин Д. И.* Собрание сочинений. Т. I–II. М.–Л.: Гос. изд-во художественной литературы, 1959.
- Фрайдхоф 1972 – *Freidhof G.* Vergleichende sprachliche Studien zur Gennadius-Bibel (1499) und Ostroger Bibel (1580/81). Die Bücher Paralipomenon, Esra, Tobias, Judith, Sapientia und Makkabäer. Frankfurt am Main, 1972 [Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen, Reihe III, Frankfurter Abhandlungen zur Slavistik, Bd. 21].
- Франгудаки 1992 – *Frangoudaki A.* Diglossia and the Present Language Situation in Greece: A Sociological Approach to the Interpretation of Diglossia and Some Hypotheses on Today's Linguistic Reality // *Language in Society* 21 (1992), № 3. P. 365–381.
- Франклин 1982 – *Franklin S.* Some Apocryphal Sources of Kievan Russian Historiography // *Oxford Slavonic Papers* 15 (1982). P. 1–27.
- Франклин 1984 – *Franklin S.* Who Was the Uncle of Theodore Prodromos? // *Byzantinoslavica*, XLV (1984). P. 40–45.
- Франклин 1985 – *Franklin S.* Literacy and Documentation in Early Medieval Russia // *Speculum* 40 (1985). P. 1–38.
- Франклин 1986 – *Franklin S.* The Reception of Byzantine Culture by the Slavs // *The Seventeenth International Byzantine Congress. Major Papers, Dumbarton Oaks/Georgetown University, Washington, D. C., August 3–8, 1986.* New Rochelle, New York: A. D. Caratzas, 1986. P. 381–397.

- Франклин 1987 – *Franklin S. Echoes of Byzantine Elite Culture in Twelfth-Century Russia? // Byzantium and Europe. First International Byzantine Conference, Delphi, 20–24 July 1985. Ed. by A. Markopoulos. Athens, 1987. P. 177–187.*
- Франклин 1991 – *Sermons and Rhetoric of Kievan Rus. Translated and with an introduction by S. Franklin. [Cambridge, Mass.]: Harvard Univ. Press, 1991 [Harvard Library of early Ukrainian literature. English translations, vol. 5].*
- Франклин 1992 – *Franklin S. Greek in Kievan Rus' // Dumbarton Oaks Papers, 46 (1992). P. 59–81 [Homo byzantinus. Papers in Honor of Alexander Kazhdan. Ed. by A. Cutler and S. Franklin].*
- Франклин 2002 – *Franklin S. Writing, Society and Culture in Early Rus, c. 950–1300. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2002.*
- Франклин 2007 – *Franklin S. On Meanings, Functions and Paradigms of Law in Early Rus' // Russian History/Histoire Russe 34 (2007). P. 63–81.*
- Франклин и Шепард 2000 – *Франклин С., Шепард Д. Начало Руси 750–1200. Перевод с англ. Д. М. Буланина и Н. Л. Лужецкой. СПб.: «Дмитрий Буланин», 2000.*
- Фрейданк 1968 – *Freydank D. Zu Wesen und Begriffsbestimmung des russischen Humanismus // Zeitschrift für Slawistik 13 (1968), Hf. 1. S. 98–108.*
- Фридрих, I–V – *Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Ed. G. Friedrich. Vol. I–V. Praga: Sumptibus Comitiorum Regni Bohemiae, 1904–1993.*
- Хабургаев 1976 – *Хабургаев Г. А. Еще раз о хронологии падения редуцированных в древнерусском языке (в связи с вопросом о соотношении книжно-письменной и диалектной речи) // Лингвистическая география, диалектология и история языка. Под ред. Р. И. Аванесова. Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1976. С. 397–406.*
- Хабургаев 1983 – *Хабургаев Г. А. «Средний штиль» М. В. Ломоносова в контексте истории русского литературного языка // Вопросы языкознания, 1983, № 3. С. 101–109.*
- Хабургаев 1984 – *Хабургаев Г. А. Старославянский – церковнославянский – русский литературный // История русского языка в древнейший период. Под ред. К. В. Горшковой. М.: Изд-во Московского ун-та, 1984. С. 5–36 [Вопросы русского языкознания. Вып. 5].*
- Хабургаев 1987 – *Хабургаев Г. А. К вопросу о терминологическом обозначении объекта палеослаистики // Вопросы языкознания, 1987, № 4. С. 59–68.*
- Хабургаев 1990 – *Хабургаев Г. А. Очерки исторической морфологии русского языка. Имена. Изд-во Московского ун-та, 1990.*
- Хабургаев 1991 – *Хабургаев Г. А. Древнерусский и древнепольский глагол в сравнении со старославянским (К реконструкции праславянской системы претеритов) // Исследования по глаголу в славянских языках. История славянского глагола. Под ред. Г. А. Хабургаева и А. Бартошевича. М.: Изд-во Московского ун-та, 1991. С. 42–54.*
- Хабургаев и Рюмина 1971 – *Хабургаев Г. А., Рюмина О. Л. Глагольные формы в языке художественной литературы Московской Руси XVII века (К вопросу о понятии «литературности» в предпетровскую эпоху) // Научные доклады высшей школы. Филологические науки, 1971, № 4. С. 65–76.*
- Хадсон 1991 – *Hudson A. Toward the Systematic Study of Diglossia // Southwest Journal of Linguistics 10 (1991), № 1. P. 1–22 [Special Issue: Studies in Diglossia. Ed. by A. Hudson].*
- Хадсон 1994 – *Hudson A. Diglossia as a Special Case of Register Variation // Sociolinguistic Perspectives on Register. Ed. by D. Biber and E. Finegan. Oxford: Oxford Univ. Press, 1994. P. 294–314.*
- Хадсон 2002 – *Hudson A. Outline of a Theory of Diglossia // International Journal of the Sociology of Language 157 (2002). P. 1–48.*

- Харлампович 1902 – *Харлампович К.* Борьба школьных влияний в допетровской Руси // Киевская старина, LXXVIII (1902), № 7–8. С. 1–76, № 9. С. 358–394, № 10. С. 34–61.
- Хейни 1973 – *Haney J. V.* From Italy to Muscovy: The Life and Works of Maxim the Greek. München: Wilhelm Fink Verlag, 1973 [Humanistische Bibliothek. Abhandlungen, Texte, Skripten. Hrsg. Von E. Grassi. Reihe I: Abhandlungen, Bd. 19].
- Хенне 1966 – *Henne H.* Hochsprache und Mundart im schlesischen Barock. Studien zum literarischen Wortschatz in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Köln–Graz: Böhlau Verlag, 1966 [Mitteldeutsche Forschungen, 44. Bd.].
- Херрис 1990 – *Harris R.* On Redefining Linguistics // Davis H. & Taylor T. (eds). Redefining Linguistics. London and New York: Routledge, 1990. P. 18–52.
- Херрис 1998 – *Harris R.* Introduction to Integrational Linguistics. Kidlington, Oxford: Pergamon, 1998 [Language & Communication Library Series, vol. 17].
- Херрис 2003 – *Harris R.* Saussure and His Interpreters. 2nd ed. Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 2003.
- Хёш 1971 – *Hösch E.* Griechischkenntnisse im alten Russland // Serta slavica in memoriam Aloisii Schmaus. Hrsg. von W. Gesemann. München: Trofenik, 1971. P. 250–260.
- Хинтерхёльцл и Петрова 2009 – Information Structure and Language Change: New Approaches to Word Order Variation in Germanic. Ed. By R. Hinterhölzl and S. Petrova. Berlin–New York: Mouton de Gruyter, 2009 [Trends in Linguistic. Studies and Monographs, 203].
- Хобсбаум и Ренжер 1983 – *Hobsbaum E. J., Ranger T. O.* (eds.). The Invention of Tradition. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1983.
- Хойси 1936 – *Heussi R.* Der Ursprung des Mönchtums. Tübingen: Mohr, 1936.
- Холлидей 1979 – *Halliday M. A. K.* Differences Between Spoken and Written Language: Some Implications for Literacy Teaching // Communication through Reading: Proceedings of the Fourth Australian Reading Conference. Ed. by G. Page, J. Elkins, and B. O'Connor. Vol. 2. Adelaide: Australian Reading Association, 1979. P. 37–52.
- Холлидей 1987 – *Halliday M. A. K.* Spoken and Written Modes of Meaning // Comprehending Oral and Written Language, ed. by Rosalind Horowitz and S. J. Samuels. San Diego: Academic Press, 1987. P. 55–82.
- Холлидей и Хасан 1976 – *Halliday M. A. K., Hasan R.* Cohesion in English. London and New York: Longman, 1976.
- Хоппер и Томпсон 1980 – *Hopper P. J., Thompson S. A.* Transitivity in Grammar and Discourse // Language 56, № 2 (1980). P. 251–299.
- Храповицкий 1874 – *Храповицкий А. В.* Дневник. 1782–1793. По подлин. его рукописи, с биогр. ст. и объясн. указ. Николая Барсукова. СПб.: А. Ф. Базунов, 1874.
- Христиани 1906 – *Christiani W.* Über das Eindringen von Fremdwörtern in die russische Schriftsprache des 17. und 18. Jahrhunderts. Inaugural-Dissertation. Berlin, 1906.
- Хсиа 1989 – *Hsia R.* Social Discipline in the Reformation: Central Europe 1550–1750. London: Routledge, 1989.
- Хутереп 2001 – *Huterer A.* Die Wortbildungslehre in der Anweisung zur Erlernung der Slavonisch-Rußischen Sprache (1705–1729) von Johann Werner Paus. München: Verlag Otto Sagner, 2001 [Slavistische Beiträge, Bd. 408].
- Хютль-Фольтер 1973 – *Хютль-Ворт Г.* Спорные проблемы изучения литературного языка в древнерусский период // Wiener slavistisches Jahrbuch 18 (1973). S. 26–47.
- Хютль-Фольтер 1978а – *Хютль-Фольтер Г.* Диглоссия в древней Руси // Wiener slavistisches Jahrbuch 24 (1978). S. 108–123.

- Хютль-Фольтер 19786 – *Hüttl-Worth G.* Zum Primat der Syntax bei historischen Untersuchungen des Russischen // *Studia linguistica Alexandro Vasilii filio Issatschenko a collegis amicisque oblata*. Lisse: de Ridder, 1978. P. 187–190.
- Хютль-Фольтер 1983 – *Hüttl-Folter G.* Die trat/torot-Lexeme in den altrussischen Chroniken. Ein Beitrag zur Vorgeschichte der russischen Literatursprache. Wien, 1983 [Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse. Sitzungsberichte, 420. Bd.].
- Хютль-Фольтер 1984–1985 – *Hüttl-Folter G.* Prinzipielles zur Untersuchung der neuen russischen Literatursprache // *Зборник Матице српске за филологију и лингвистику*, XXVII–XXVIII. Нови Сад, 1984–1985. С. 895–898.
- Хютль-Фольтер 1987а – *Хютль-Фольтер Г.* Языковая ситуация петровской эпохи и возникновение русского литературного языка нового типа // *Wiener Slavistisches Jahrbuch* 33 (1987). S. 7–21.
- Хютль-Фольтер 1987б – *Hüttl-Folter G.* Zur Sprache von Polikarpovs Übersetzung *Geografia generalnaja* (1718) // *Dona slavica aenipontana in honorem Herbert Schelesnik*. München: R. Trofenik, 1987. P. 57–64.
- Хютль-Фольтер 1996 – *Hüttl-Folter G.* Syntaktische Studien zur neueren russischen Literatursprache. Die frühen Übersetzungen aus dem Französischen. Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag, 1996.
- Цахарие 1837 – *Zachariae von Lingenthal K. E.* 'О ПРОХЕИРОС НОМОС Imperatorum Basilii, Constantini et Leonis Prochiron. Heidelbergae: J. C. B. Mohr, 1837.
- Цахарие 1852 – *Collectio librorum juris graeco-romani ineditorum. Ecloga Leonis et Constantini, Epanagoge Basilii, Leonis et Alexandra.* Ed. C. E. Zachariae a Lingenthal. Lipsiae: Barthii, 1852.
- Цейтлин 1986 – *Цейтлин Р. М.* Лексика древнеболгарских рукописей X–XI вв. София: Изд-во Болгарской Академии наук, 1986.
- Целунова 1985 – *Целунова Е. А.* К вопросу о межславянских языковых контактах во второй половине XVII века (На материале Псалтыри Авраамия Фирсова) // *Советское славяноведение*, 1985, № 2. С. 82–89.
- Целунова 1988 – *Целунова Е. А.* Псалтырь 1683 г. на «простом словенском» языке // *Ученые записки вузов Литовской ССР. Языкознание*, 39 (2). Вильнюс, 1988. С. 112–118.
- Целунова 1989 – Псалтырь 1683 года в переводе Авраамия Фирсова. Подготовка текста, составление словоуказателя и предисловие Е. А. Целуновой. München: O. Sagner, 1989 [Slavistische Beiträge, Bd. 243].
- Целунова 2006 – Псалтырь 1683 года в переводе Авраамия Фирсова: Текст, словоуказатель, исследование. Предисловие, исследование, подгот. текста и сост. словоуказателя Е. А. Целуновой. М.: «Языки славянских культур», 2006.
- Циллиакус 1938 – *Zilliacus H.* Zur stilistischen Umarbeitungstechnik des Symeon Metaphrastes // *Byzantinische Zeitschrift* 38 (1938). S. 333–350.
- Цитович 1870 – *Цитович П.* Исходные моменты в истории русского права наследования. Харьков, 1870.
- Чейф и Данилевич 1987 – *Chafe W. A., Danielewicz J.* Properties of Spoken and Written Language // *Comprehending Oral and Written Language*, ed. by Rosalind Horowitz and S. J. Samuels. San Diego: Academic Press, 1987. P. 83–113.
- Чейф и Теннен 1987 – *Chafe W., Tannen D.* The Relation between Written and Spoken Language // *Annual Review of Anthropology* 16 (1987). P. 383–407.
- Челлберг 1957 – *Kjellberg L.* La langue de Gedeon Krinovskij, prédicateur russe du XVIII^e siècle. I. Uppsala, 1957 [Acta Universitatis Upsaliensis 1957: 7].

- Чельцов 1879 – *Чельцов М.* Полемика между греками и латинянами по вопросу об опресноках в XI–XII веках. Опыт исторического исследования. СПб., 1879.
- Черепнин 1956 – *Черепнин Л. В.* Русская палеография. М.: Гос. изд-во политической литературы, 1956.
- Черепнин 1969 – *Черепнин Л. В.* Новгородские берестяные грамоты как исторический источник. М.: «Наука», 1969.
- Черкасова 1972 – *Черкасова Е. Т.* К вопросу о самобытности синтаксического строя русского языка // Вопросы языкознания, 1972, № 5. С. 77–81.
- Чернов 1977 – *Чернов В. А.* Русский язык XVII века. Учебное пособие. Свердловск: Уральский гос. ун-т, 1977.
- Чернов 1984а – *Чернов В. А.* Русский глагол в XVII веке. Учебное пособие. Свердловск: Уральский гос. ун-т, 1984.
- Чернов 1984б – *Чернов В. А.* Русский язык в XVII веке. Морфология. Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1984.
- Черных 1953 – *Черных П. Я.* Язык Уложения 1649 года. Вопросы орфографии, фонетики и морфологии в связи с историей Уложенной книги. М.: Изд-во АН СССР, 1953.
- Чернышев, I–II – *Чернышев В. [И.]* Правильность и чистота русской речи. Опыт русской стилистической грамматики. Вып. 1 – Фонетика. Вып. 2 – Части речи. СПб.: Тип. Меркушева, 1914–1915.
- Черторицкая 1994 – *Vorläufiger Katalog Kirchenslavischer Homilien des beweglichen Jahreszyklus. Aus Handschriften des 11.–16. Jahrhunderts vorwiegend ostslavischer Provenienz. Zusammengestellt von Tat'jana V. Čertorickaja unter der Redaktion von H. Miklas. Opladen, 1994 [Abhandlungen der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 91. Patristica Slavica, hrsg. von H. Rothe, Bd. 1].*
- Черты из истории 1868 – Черты из истории книжного просвещения при Петре Великом. Переписка директора Московской Синодальной типографии Федора Поликарпова с графом И. А. Мусиным-Пушкиным, начальником Монастырского приказа. 1715–1717 гг. // Русский архив, 1868, № 7–8, 1041–1057.
- Чехов, I–XXX – *Чехов А. П.* Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. М.: «Наука», 1974–1983.
- Чижевска 1952 – *Čiževska T.* Zu Vladimir Monomach und Kekaumenos // Wiener slavistisches Jahrbuch 2 (1952). S. 157–160.
- Чижевский 1940 – *Čyževskij D.* Literarische Lesefrüchte VIII. 69. Zu den Komposita in der Sprache Tredjakovskijs // Zeitschrift für slavische Philologie 17 (1940). S. 114–120.
- Чижевский 1954 – *Čyževskij D.* On the Question of Genres in Old Russian Literature // Harvard Slavic Studies 2 (1954). P. 105–115.
- Чижевский 1960 – *Tschizewskij D.* History of Russian Literature from the Eleventh Century to the End of the Barock. s'Gravenhage: Mouton, 1960.
- Чижевский 1970а – *Tschizewskij D.* Zu Lomonosovs Theorie der drei Stilarten // Die Welt der Slaven 15 (1970), № 3. S. 286–288.
- Чижевский 1970б – *Tschizewskij D.* Das Barock in der russischen Literatur // Slavische Barockliteratur. Bd. 1. Hrsg. D. Tschizewskij. München: W. Fink Verlag, 1970.
- Чистович 1868 – *Чистович И. А.* Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868.
- Чулков 1989 – *Чулков М.* Пригожая повариха, или Похождение развратной женщины // Повести разумные и замысловатые: Популярная проза XVIII века. М.: «Современник», 1989. С. 287–328.

- Шахматов 1884 – *Schachmatoff Al.* Zur Kritik der altrussischen Texte // Archiv für slavische Philologie, Bd. V (1884), Hf. 4. S. 614–615.
- Шахматов 1886 – *Шахматов А. А.* Исследование о языке новгородских грамот XIII и XIV века. СПб., 1886 [Исследования по русскому языку, I. СПб., 1885–1895. С. 127–285].
- Шахматов 1902 – *Шахматов А. А.* К истории звуков русского языка. Полногласие // Известия ОРЯС, VII (1902), кн. 1. С. 280–318; кн. 2. С. 303–382.
- Шахматов 1908а – *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908 [Летопись занятий Имп. Археографической комиссии. Вып. 12].
- Шахматов 1908б – *Шахматов А. А.* Сказание о преложении книг на словенский язык // Jagić-Festschrift. Zbornik u slavu Vatroslava Jagića. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1908. S. 172–188.
- Шахматов 1910–1912 – *Шахматов А. А.* Курс истории русского языка. Литографированное издание лекций, читанных в С.-Петербургском университете в 1908–1911 гг. Т. I–III. СПб., 1910–1912.
- Шахматов 1914а – *Шахматов А. А.* Заметки к древнейшей истории русской церковной жизни // Научный исторический журнал 4 (1914). С. 30–61.
- Шахматов 1914б – *Шахматов А. А.* Нестор летописец // Записки Наукового товариства ім. Шевченка, т. 117–118. С. 31–53.
- Шахматов 1915 – *Шахматов А. А.* Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915 [Энциклопедия славянской филологии, XI, 1].
- Шахматов 1916 – *Шахматов А. А.* Повесть временных лет. Т. I. Вводная часть, текст, примечания. Пг., 1916.
- Шахматов 1940 – *Шахматов А. А.* «Повесть временных лет» и ее источники // Труды Отдела древнерусской литературы IV (1940). С. 9–150.
- Шахматов 1941 – *Шахматов А. А.* Очерк современного русского литературного языка. М.: Учпедгиз, 1941.
- Шахматов и Шевелов 1960 – *Šachmatov A., Shevelov G. Y.* Die kirchenslavischen Elemente in der modernen russischen Literatursprache. Aus dem russischen übertr. von H. J. zum Winkel. Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1960 [Slavistische Studienbücher, I].
- Швайер 1995 – *Schweier U.* Paradigmatische Aspekte der Textstruktur: Textlinguistische Untersuchungen zu der intra- und der intertextuellen funktionalen Belastung von Strukturelementen der frühen ostslavischen Chroniken. München: Sagner Verlag, 1995 [Sagners slavistische Sammlung, 23 Bd.].
- Шванвиц 1730 – [Шванвиц М.]. Немецкая грамматика из разных авторов собрана и российской юности в пользу издана от учителя немецкого языка при Санктпетербургской гимназии. СПб.: Типография Академии наук, 1730.
- Шванвиц 1734 – [Шванвиц М.]. Немецкая грамматика, собранная из разных авторов и в пользу Санктпетербургской гимназии вторым тиснением изданная. СПб.: Типография Академии наук, 1734.
- Шванвиц 1745 – [Шванвиц М.]. Немецкая грамматика собранная прежде из разных авторов, а ныне для употребления Санктпетербургской гимназии вновь пересмотренная. СПб.: Типография Академии наук, 1745.
- Шведова и Ковтунова 1964 – [Шведова Н. Ю., Ковтунова И. И.]. Изменения в системе простого и осложненного предложения в русском литературном языке XIX века. М.: «Наука», 1964 (Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX века. Под ред. В. В. Виноградова и Н. Ю. Шведовой).
- Шевелева 1986 – *Шевелева М. Н.* Состояние грамматической нормы в употреблении видо-временных форм глагола в книжно-литературном языке Северо-Восточной и Северо-

- Западной Руси XV–XVI вв. Диссертация на соискание уч. ст. кандидата филолог. наук. М.: Московский гос. ун-т, 1986.
- Шевелева 1995 – *Шевелева М. Н.* Новые данные церковнославянских рукописей о рефлексх сочетаний редуцированных с плавными и развитии «второго полногласия» // Вопросы языкознания, 1995, № 4. С. 78–93.
- Шевелева 1996 – *Шевелева М. Н.* «Житие Андрея Юродивого» как уникальный источник сведений по исторической фонетике русского языка // Актуальные проблемы современной русистики: Диахрония и синхрония. М.: Изд-во Московского ун-та, 1996. С. 20–65 [Вопросы русского языкознания. Вып. 6].
- Шевелева 2001 – *Шевелева М. Н.* Орфография сочетаний гласных с плавными в Синайском Патерике и проблема его диалектной локализации // Диалектная фонетика русского языка в диахронном и синхронном аспектах. М.: Изд-во Московского ун-та, 2001. С. 168–221 [Вопросы русского языкознания. Вып. 9].
- Шевелева 2007 – *Шевелева М. Н.* Еще раз о написаниях типа ТРОТ (на месте рефлексов праславянских сочетаний гласных с плавными) в рукописях XIII–XVI вв. // Русский язык в научном освещении, № 1 (13), 2007. С. 266–282.
- Шевелов 1968 – *Shevelov G. Y.* On the Lexical Make-up of the Galician-Volhynian Chronicle (An Experiment in the Comprehensive Study of Vocabulary Followed by a Few Remarks on the Literary Language of Old Rus') // Studies in Slavic Linguistics and Poetics in Honor of Boris O. Unbegaun. New York: New York Univ. Press, 1968. P. 195–207.
- Шевелов 1979 – *Shevelov G. Y.* A Historical Phonology of the Ukrainian Language. Heidelberg: Carl Winter Verlag, 1979.
- Шевелов 1987 – *Shevelov G. Y.* Несколько замечаний о грамоте 1130 года и несколько суждений о языковой ситуации Киевской Руси // Russian Linguistics 11 (1987), № 2/3. P. 163–178.
- Шевченко 1981 – *Ševčenko I.* Levels of Style in Byzantine Prose // XVI. Internationaler Byzantinistenkongress. Wien, 4.–9. Oktober 1981. Akten, I/1. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaft, 1981. S. 289–312 [Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 31/1].
- Шевченко 1987 – *Ševčenko I.* Byzantium and the Slavs // Byzantium and Europe. First International Byzantine Conference, Delphi, 20–24 July 1985. Ed. by A. Markopoulos. Athens, 1987. P. 101–113.
- Шевченко 1991 – *Ševčenko I.* Byzantium and the Slavs in Letters and Culture. Cambridge Mass., Napoli: Harvard Univ. Press, 1991.
- Шевырев 1854 – *Шевырев С.* Отрывки оригинальные и переводные Н. М. Карамзина // Москвитянин, 1854, № 3–4, 6–7, 9–12.
- Шептаев 1965 – *Шептаев Л. С.* Стихи справщика Савватия // Труды Отдела древнерусской литературы XXI (1965). С. 5–28.
- Шереметевский 1897 – *Шереметевский В. П.* Сочинения. М.: Изд. Комиссии преподавателей русского языка при Учебном отделе Общества распространения технических знаний, 1897.
- Шиманьски 1970 – *Szymański T.* Uwagi o roli damaskinów w historii języka bułgarskiego // Sprawozdania z Posiedzeń komisji naukowych Oddz. PAN w Krakowie. T. XIV/2, 1970.
- Шиндлинг 2004 – *Schindling A.* Kirchenspaltung, Konfessionsbildung und Konfessionalisierung als ein Grundproblem der deutschen und westeuropäischen Geschichte im 16. Jahrhundert // Конфессионализация в западной и восточной Европе в раннее Новое время. Konfessionalisierung in West- und Osteuropa in der frühen Neuzeit. Доклады русско-немецкой научной конференции 14–16 ноября 2000 г. СПб.: «Алетейя», 2004. С. 33–43.

- Шиффман 1997 – *Schiffman H.* Diglossia as a Sociolinguistic Situation // The Handbook of Sociolinguistics. Ed. by F. Coulmas. Oxford: Blackwell, 1997. P. 205–216.
- Шицгал 1959 – *Шицгал А. Г.* Русский гражданский шрифт. 1708–1958. М.: «Искусство», 1959.
- Шицгал 1974 – *Шицгал А. Г.* Русский типографский шрифт. Вопросы истории и практика применения. М.: «Книга», 1974.
- Шишкин 1983 – *Шишкин А. Б.* Поэтическое состязание Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова // XVIII век. Вып. 14. Русская литература XVIII – начала XIX века в общественно-культурном контексте. Л., 1983. С. 232–246.
- Шишков, I–XVI – *Шишков А. С.* Собрание сочинений и переводов. Ч. I–XVI. СПб.: Типография Имп. Российской академии, 1818–1834.
- Шлецер 1809–1819 – *Шлецер А. Л.* Нестор. Русские летописи на древнеславянском языке, сличенные, переведенные и объясненные Августом Лудовиком Шлецером. Пер. с немецкого Д. Языков. Ч. I–III. СПб., 1809–1819.
- Шлосберг 1911 – *Шлосберг А.* Начало периодической печати в России // Журнал Министерства народного просвещения. Новая серия, XXXV (1911), № 2. С. 63–135.
- Шляпкин 1884 – *Шляпкин И. А.* Любопытный памятник русской письменности XV века // Журнал Министерства народного просвещения, ч. 236 (1884), декабрь. С. 267–269.
- Шляпкин 1889 – *Шляпкин И. А.* Слово Даниила Заточника (по всем известным спискам). СПб.: Типохромолитогр. А. Траншель, 1889 [Памятники древней письменности и искусства].
- Шмидт и Зеemann 1987 – *Schmidt W.-H., Seemann K.-D.* Erzählen in den älteren slavischen Literaturen // Gattung und Narration in den älteren slavischen Literaturen. Ed. K.-D. Seemann. Wiesbaden, 1987. S. 1–25.
- Шмурло 1912 – *Шмурло Е. Ф.* Петр Великий в оценке современников и потомства. Вып. I (XVIII век). СПб.: Сенатская типография, 1912.
- Шпет 1922 – *Шпет Г. Г.* Очерк развития русской философии. Ч. I. Пг.: «Колос», 1922.
- Штакельберг 1956 – *Stackelberg J. von.* Das Bienengleichnis: Ein Beitrag zur Geschichte der literarischen Imitatio // Romanische Forschungen 68 (1956). S. 271–293.
- Штоль 2000 – *Stoll S.* On the Desinence {-t' } of the Early East Slavic Imperfect // Russian Linguistics 24 (2000), № 3. P. 265–285.
- Шульга 1984 – *Шульга М. В.* О причинах устранения родовых различий во множественном числе у родоизменяемых слов // Вопросы языкознания, 1984, № 3. С. 98–104.
- Щапов 1965 – *Щапов Я. Н.* Церковь в системе государственной власти древней Руси // Древнерусское государство и его международное значение. Под ред. В. Т. Пашуто и Л. В. Черепнина. М.: «Наука», 1965. С. 279–354.
- Щапов 1971 – *Щапов Я. Н.* Устав князя Ярослава и вопрос об отношении к византийскому наследию на Руси в середине XI в. // Византийский временник, т. 31. М., 1971. С. 71–78.
- Щапов 1972 – *Щапов Я. Н.* Княжеские уставы и церковь в древней Руси XI–XIV вв. М.: «Наука», 1972.
- Щапов 1974 – *Щапов Я. Н.* К истории соотношения светской и церковной юрисдикции на Руси в XII–XIV вв. // Польша и Русь. Черты общности и своеобразия в историческом развитии Руси и Польши XII–XIV вв. Под ред. Б. А. Рыбакова. М.: «Наука», 1974. С. 172–189.
- Щапов 1976 – Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. Издание подготовил Я. Н. Щапов. М.: «Наука», 1976.
- Щапов 1978 – *Щапов Я. Н.* Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI–XIII вв. М.: «Наука», 1978.
- Щапов 1989 – *Щапов Я. Н.* Государство и церковь Древней Руси X–XIII вв. М.: «Наука», 1989.

- Щапов и Бургманн 2011 – Die slavische Ecloga. Hrsg. von Jaroslav Nikolaevič Ščapov und Ludwig Burgmann. Frankfurt am Main: Löwenklau-Gesellschaft E. V., 2011 [Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, Bd. 23].
- Щепкин 1915 – *Щепкин Е. Н.* Варяжская вира. Одесса, 1915.
- Щепкин 1967 – *Щепкин В. Н.* Русская палеография. М.: «Наука», 1967.
- Щербатов, I–II – *Щербатов М. М.* Сочинения. Под ред. И. П. Хрущева. СПб.: Кн. Б. С. Щербатов, 1896–1898.
- Эзоп 1700 – Притчи Эссыоповы на латинском и Руском языке ихъже Авиении Стихами изобрази. Совокупноже Брань Жаб и Мышей Гомером древле описана. Со изрядными в Обоих Книгах Лицами, и с Толкованием. В Амстеродеме напечатана у Ивана Андреева Тесинга Лета 1700.
- Элиас 2001 – *Элиас Н.* О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. Пер. с нем. Т. I–II. М.; СПб.: «Университетская книга», 2001.
- Эразм 1716 – Разговоры дружеския. Дезидерия Ерасма. С приложенными общими некими разговоров образцами, и часто употребляемыми пословицами, от различных авторов избранными во употребление хотящим языка голанскаго учиться юношам. СПб., 1716.
- ЭССЯ, I–XXII – Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический фонд. Под ред. О. Н. Трубачева. Т. I–XXII. М.: «Наука», 1974–2003 (продолжающееся издание).
- Юнкер 1710 – *Ivnckerus Chr.* Commentarivs de vita, scriptisque ac meritis illvstris viri lobi Ludolfi... Lipsiae et Francofvrti, 1710.
- Юшков 1950 – *Юшков С. В.* Русская Правда. Происхождение, источники, ее значение. М.: Гос. изд-во юридической лит-ры, 1950.
- Ягич 1876 – *Jagić V.* Über einige Erscheinungen des slavischen Vokalismus // Archiv für slavische Philologie 1 (1876). S. 337–412.
- Ягич 1886 – *Ягич И. В.* Служебные Миней за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по рукописям Московской Синодальной Типографии 1095–1097 г. Труд орд. акад. И. В. Ягича. СПб., 1886 (Памятники древнерусского языка, т. I).
- Ягич 1896 – *Ягич И. В.* Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке. СПб., 1896 [Исследования по русскому языку, I. СПб., 1885–1895].
- Ягич 1913 – *Jagić V.* Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache. Berlin: Weidmann, 1913.
- Ягодич 1957–1958 – *Jagoditsch R.* Zum Begriff der «Gattungen» in der altrussischen Literatur // Wiener Slavistisches Jahrbuch 6 (1957–1958). S. 113–137
- Якобсон 1944 – *Jakobson R.* Saint Constantine et la langue syriaque // Annuaire de l'Institut de la philologie et d'histoire Orientales et Slaves VII (1939–1944); reprint: R. Jakobson. Selected Writings, VI: Early Slavic Paths and Crossroads. Berlin, New York, Amsterdam: Mouton, 1985. P. 153–158.
- Якобсон 1955 – Ivan Fedorov's Primer of 1574. Facsimile edition with Commentary by R. Jakobson. Cambridge, Mass., 1955. Preprinted from the Harvard Library Bulletin, IX (1955), № 1.
- Якобсон 1962 – *Jakobson R. O.* Selected Writings. Vol. I. The Hague: Mouton, 1962.
- Якобсон 1974 – *Якобсон Р. О.* Гороуна кърчага // В памет на професор Стойко Стойков: 1912–1969: езиковедски изследованя. София: БАН, 1974. С. 563–566.
- Якубинский 1953 – *Якубинский Л. П.* История древнерусского языка. М.: Гос. учебно-педагогическое издательство, 1953.
- Якше 1984/1985 – *Jaksche H.* Arsenij Gluchoj – ein russischer «Philologe» des 17. Jahrhunderts // Anzeiger für slavische Philologie. Bd. 15/16 (1984/1985). S. 31–75.

- Яламас 1988 – *Yalamas D.* The Students of the Leikhudis Brothers at the Slavo-Graeco-Latin Academy of Moscow // *Cyrrilomethodianum*, XV–XVI. Thessaloniki, 1991–1992. P. 113–144.
- Яламас 1991–1992 – Яламас Д. А. Филологическая деятельность братьев Лихудов в России. Автореферат на соискание ученой степени кандидата филолог. наук. М. [МГУ], 1992.
- Янакиева 1989 – Янакиева Цв. Отражение форм имперфекта с вторичными личными окончаниями в памятниках письменности Древней Руси // *Die slavischen Sprachen* 17 (1989). S. 37–56.
- Янин 1970 – Янин В. Л. Актовые печати Древней Руси X–XV вв. Т. I–II. М.: «Наука», 1970.
- Янин 1982 – Янин В. Л. Археологический комментарий к Русской Правде // Новгородский сборник. 50 лет раскопок Новгорода. Под ред. Б. А. Колчина, В. Л. Янина. М.: «Наука», 1982. С. 138–155.
- Янин 1998 – Янин В. Л. Я послал тебе бересту... Изд. 3-е, исправленное и дополненное новыми находками. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998.
- Янин 2001 – Янин В. Л. У истоков новгородской государственности. Новгород: Новгородский гос. ун-т, 2001.
- Янин и Зализняк 1999 – Янин В. Л., Зализняк А. А. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 1998 г. // Вопросы языкознания, 1999, № 4. С. 3–27.
- Янко 2001 – Янко Т. Е. Коммуникативные стратегии русской речи. М.: «Языки славянской культуры», 2001.
- Ярин 1986 – Ярин А. Я. Некнижные синтаксические конструкции в бытовых документах второй половины XVIII века. Дипломная работа. М., МГУ, 1986.

УКАЗАТЕЛЬ

Абрахам В. 142

Аванесов Р. И. 240

Аввакум (Петров), протопоп 885–886, 901, 919; «Житие»: характер текста 195, 270, 902, 923; паратактическое глагольное придаточное предложение в «Житии» 474; порядок слов при глаголах речи в «Житии» 558–559; порядок слов при глаголах движения в «Житии» 583–584, 587–588; порядок слов при переходных глаголах в «Житии» 600, 602; употребление простых претеритов в «Житии» 807–808, 902; параметры *а*-экспансии в косвенных падежах мн. числа в «Житии» 797–798; формы инфинитива в «Житии» 807–808, 1151; формы инфинитива в «Книге бесед» 808–809; «Книга толкований и нравоучений» 929; «Совет святым отцам преподобным» 929

Авраамий, старец, «Тетради»: как текст на гибридном языке 922; употребление прошедших времен 922; смешение форм аориста и имперфекта 922; несогласованные причастия 922

Авторство в древней Руси 214–217, 257–259

Агиография: восточнославянская в сравнении с византийской 208, 269; автономия агиографической письменной традиции 636; использование в ней гибридного регистра 269–270; взаимодействие с летописями 269

Адаптация восточнославянских элементов нормой восточнославянского извода церковнославянского 184, 191, 203–204

«Адельфотес» 865, 867, 882

Адодуров В. Е. 997, 1000, 1012; языковая программа 1004; отношение к церковнославянскому 1001, 1008, 1013–1014, 1029; орфографический трактат 1738–1740 гг. 1020; «Anfangs-Gründe der Russischen Sprache» (грамматический очерк 1731 г.) 248, 996, 1000, 1008–1011, 1014, 1062, 1080; зависимость от Лудольфа 1008–1009, 1011; зависимость от Пауса 1000, 1008–1011; зависимость от М. Шванвица 1016; противопоставление русского и церковнославянского 1008–1011; замечания о славянизмах 1008; редактura «Немецкой грамматики» М. Шванвица 996, 1063; заметка об употреблении букв *ѣ* и *ѥ* 1737 г. 996; кодификация форм прилагательных в им.-вин. мн. числа 1016, 1062; кодификация форм инфинитива 1016; формы инфинитива в узусе Адодурова 997; окончания прилагательных в им.-вин. мн. числа 997; влияние на него идей Вожеда 1014

Азбука: азбучный акростих 160; древнейшие азбуки без *ѣ* и *ѥ* 682–683, 892; безъеревые азбуки 712; азбука Михаила Ефремова 1707 г. 938; Азбука 29 января 1710 г. 937;

см. **Гражданский шрифт**

Академическая летопись 265

Академия наук: издательская деятельность 997–1000, 1011; преподавание русского языка 997, 1000, 1011; академическая грамматическая традиция 1000–1012; датировка начала нормализаторской деятельности 998; нормали-

- зация форм инфинитива 998; нормализация форм прилагательных в им.-вин. мн. числа 998; синтез русских и церковнославянских элементов 1011; противоречия в нормализационной деятельности 998, 1011
- Акты частные:** место в иерархии не книжных текстов 322
- Акцентные знаки** 837, 939, 941
- «Александрия»** 123–124
- Алексеев А. А.** 92, 112, 400, 435–436, 439, 444, 1028, 1048
- «Алфавит, како которая речь говорит или писати»** 860
- Амвросий Медиоланский** 911
- Амвросий (Юшкевич), архиепископ новгородский**, проповедь 1743 г. 996
- Анастасий**, настоятель Бжезновского монастыря 136
- Андерсен Х.** 46, 200, 481, 755
- Антикатолические сочинения:** их славянские переводы 112, 139; как свидетельство усвоения на Руси аскетической византийской традиции 103–106; антилатинские пассажи в Повести временных лет 105–106
- Антистихи** 844
- Античность:** ее восприятие в древней Руси 109
- Аорист:** значение 605–606, 618, 620, 627; аорист с аугментом *-тъ* в восточнославянской письменности 190; вариативность аориста и *л*-форм 190, 618; как основное время для обозначения последовательности событий в нарративе 255, 605, 616, 618; аорист в кратном-перфективном значении 611; аорист в перфективном значении (в перформативном употреблении) 613, 615, 617–618; вытеснение аориста перфектом 615–617, 651–653; исчезновение аориста 611–618;
- см.* **Простые претериты**
- Аполлодор** *см.* Барсов А. К.
- Аполлоний Тианский** 108–109
- Аполлос (Байбаков), «Российский язык»:** кодификация форм прилагательных в им.-вин. мн. числа 1077
- Апостол (книга):** как нарративный текст 612; его роль в обучении книжному языку 208, 230; согласование причастий 426
- Апостол 1648 г.:** правка для издания 1653 г. 847
- Апостол избранный 1660 г.:** запись писца 841
- Арсений Глухой** 904
- Артемий, старец** 881
- Архаизмы:** как рубрика французского пуризма 1018; переосмысление этой рубрики в России 1019, 1039–1040; трактовка славянизмов как архаизмов карамзинистами 1109
- Архангельское евангелие 1092 г. (АЕ)** 323, 675, 730; написания рефлексов **dj* 665–666; употребление юсов 685, 690, 692; употребление йотированных букв 695; обозначение палатальных сонорных 675, 700; нейтрализация противопоставления **ѣ** и **є** после палатальных согласных 724; написания с **рє** и **лѣ/лє** в рефлексах **CerC/*CelC* 727, 729–730; тв. ед. *о*-склонения на *-омъ/-ъмь* 721; имперфект с аугментом 743, 746, 748
- Арциховский А. В.** 300
- Ассеманиево евангелие:** категория одушевленности 775–776
- Афанасий Холмогорский (Любимов-Творогов), архиепископ** 884; защита им грамматического подхода 941; «Увет духовный» 918
- Афанасьев И., «Грамматика рускаго і немецкаго языков»** 1725 г. 983
- А-экспансия в косвенных падежах мн. числа:** начало этого процесса в восточнославянских диалектах 788–789; параметры *а*-экспансии и конфигурации вариантов в стандартном церковнославянском регистре 789–791, 798–799; параметры *а*-экспансии и конфигурации вариантов в деловом регистре 789, 792–794, 799, 894–895; параметры *а*-экспансии и конфигурации вариантов в бытовом регистре 792, 799, 894–895; параметры *а*-экспансии и конфигурации вариантов в гибридном регистре 790, 794–799; факторы, определяющие характер

- а*-экспансии в письменности XVII в. 797–800; параметры *а*-экспансии и конфигурации вариантов в текстах Петровской эпохи 972–973, 975; различие параметров *а*-экспансии в «больших» и «малых» классах 973; отражение *а*-экспансии в первых грамматиках русского языка 791, 1005, 1007, 1010
- Байбер Д.** 468, 787
- Бароний**, «Церковная история» 886, 927
- Барсов А. А.**, «Российская грамматика»: кодификация форм прилагательных в им.-вин. мн. числа 1076; трактовка форм инфинитива 1083; трактовка форм сравнительной степени 41; о богатстве русского языка, унаследованном из греческого через церковнославянский 1049
- Барсов А. К.**, перевод «Библиотеки» («Библиотек») Аполлодора 953, 959, 977; ориентация на грамматику Смотрицкого 976; параметры употребления окончаний прилагательных 976, 978, 1062; формы инфинитива 959; лексический повтор в относительных придаточных предложениях 970; перевод трактата С. Бохарта 970; предисловие Ф. Прокоповича к переводу «Библиотеки» Аполлодора 953
- Баумгартен Н.** 110
- Бахтин М. М.** 14–15, 18, 27, 49
- Башуцкий А. П.**, «Гробовой мастер» 1128
- Бегичев Иван**, трактат «О видимом образе Божиим» 925
- Безобразов А. И.**, частная переписка 246–247
- Белинский В. Г.** 1109, 1131
- Белозерская уставная грамота** 285
- Бельчиков Ю. А.** 1133
- Беляев И. С.** 891
- Бенвенист Э.** 407, 488–490
- Бенеманский М.** 279, 287
- Берестяные грамоты** 206, 279, 297, 299–300, 318; соотносённость с разговорной речью 305, 465, 469–470; как памятники ненормализованной письменности 273, 302; бытовая система письма 301–304, 310–312, 658–659, 686; бытовая система как предмет навыка, а не обучения 176, 303; связь бытовой системы с обучением чтению по складам 157–158, 228, 303, 311–312, 682, 710, 712; изменение в орфографии в XIII в. 684, 693, 710, 712; омофоничные буквы в берестяных грамотах 176, 303, 685, 692; риторическая организация писем на бересте 305; интенция нормативности в письмах на бересте 305; падение и прояснение редуцированных 305–308; смешение **ѣ** и **е** 300, 302–304, 725; смешение **ц** и **ч** 303, 685; одноерова орфография 712; рефлексы сочетаний редуцированных с плавными 713; нарушение согласования причастий 385; субъект причастного оборота 386–387; союзы и частица *же* в главном предложении при препозитивном причастном обороте 389, 449; причастные обороты, соединённые с главным предложением сочинительными союзами 389–391; причастные обороты в препозиции и постпозиции (значения) 391–392; повтор предлогов 476–477, 480; нарушение проективности 470; именительный темы 164, 465; именительный перечисления 465; порядок слов 522, 584–585; лексический повтор в определительных придаточных предложениях 969; двойственное число 752, 754; унификация форм существительных в сочетаниях с *два, три, четыре* 751–752; категория одушевленности 766–767, 769–770, 773; параметры *а*-экспансии в косвенных падежах мн. числа 788–789; формы инфинитива 802; имперфект 234, 608, 659; аорист 612–614;
см. Древненовгородский диалект
- Бернекер Э.** 521
- Беседа отца с сыном о женской злобе** 242
- Беседовский Г. З.** 1143
- Беседы папы Григория Великого (Двое- слова)** 147
- Бецкий И. И.**, генеральный план Воспитательного дома 169, 1091
- Библия** (Св. Писание): как главный единый образец книжных текстов на Руси 218, 226, 230–231, 233, 269–270, 321, 661, 672–673, 814, 824, 845, 860–861; заучивание его текста наизусть 171; как текст, подлежащий филологической ин-

- терпретации и критическому разбору 884–885
- Библия Лютера** 985–986
- Библия Гданьская 1632 г.** 916
- Библия 1663 г.:** категория одушевленности 777–778, 780–781; параметры *а*-экспансии в косвенных падежах мн. числа 790; формы инфинитива 802
- Библия 1752 г.** (Елизаветинская библия): формы инфинитива 802
- Библия 1762 г.** (Елизаветинская библия): категория одушевленности 777–778
- Библия Николая Радзивила 1563 г.** 916
- Библия Якуба Вуйка 1599 г.** 916
- Биемен К.** 468
- Бикертон Д.** 29
- Билингвизм** 28–30; литургический билингвизм 136
- Бирнбаум Х.** 227
- Благовещенский кондакарь XII–XIII вв.** 114; растяжение еров 708; рефлексы сочетаний редуцированных с плавными 718
- Блок М.** 283
- Блумфилд Л.** 21, 33
- Бобров С. С.,** «Происшествие в царстве теней» 1116
- Богданов А. И.,** «Краткое введение и историческое изыскание о начале... всех азбучных слов» 942
- Богданович И. Ф.** 1080
- Боголюбова Н. Д.** 473, 525
- Боголюбцы:** и вопрос о многогласии 889–890; попытки религиозного дисциплинирования 901, 904–905, 912, 926
- Богословие Иоанна Дамаскина XII–XIII вв.** (ГИМ, Син. 108): написания рефлексов **dj* 670, 674
- Богослужебные тексты:** как главный единый образец книжных текстов наряду со Св. Писанием 218, 233, 321, 661, 672–673, 814, 824, 845, 860; заучивание текстов наизусть 171; как тексты, подлежащие филологической интерпретации и критическому разбору 884–885
- Бодриар Ж.** 738
- Борис и Глеб:** канонизация 145; культ 145–146; в сравнении с культом св. Вячеслава 145; в сравнении с почитанием Никифора II Фоки 147; реликты культа у западных славян 141; «Сказание о Борисе и Глебе» 111, 145, 751; дательный самостоятельный в «Сказании о Борисе и Глебе» 344; согласование причастий в «Сказании о Борисе и Глебе» 453; причастные обороты в препозиции и постпозиции (значения) в «Сказании о Борисе и Глебе» 451, 454, 459–460; причастные обороты, соединенные с главным предложением сочинительными союзами в «Сказании о Борисе и Глебе» 454; дательный самостоятельный в «Сказании чудес Романа и Давида» 344; паремийные чтения о Борисе и Глебе 225
- Борковский В. И.** 330, 392, 476, 523–524
- Братищенко Е.** 765–766
- Бритто Ф.** 58
- Броджи-Беркофф Дж.** 948
- Брукс Дж.** 1137
- Бугур Д.** 936, 1014
- Будде Е. Ф.** 947
- Будущее время:** в первых русских грамматиках 1008
- Буйе,** перевод его трактата «О способах творящих водохождение рек свободное»: параметры *а*-экспансии в косвенных падежах мн. числа и конфигурация вариантов 972; параметры употребления окончаний прилагательных в им. вин. мн. числа 978
- Буквы алфавита:** **а** в значении **ѡ** в период второго южнославянского влияния 837; противопоставление **ѡ** и **ѣ** 155; нейтрализация противопоставления **ѡ** и **ѣ** после палатальных согласных 724; смешение **ѡ** и **ѣ** 176, 302–304, 723–730; новый **ѡ** 734; **ѡ** в соответствии с [а] в период второго южнославянского влияния 839; вопрос об упразднении **ѡ** 1138, 1140; **ѣ** якорное 698; **ѣ** 679–680; **ѣ** 685; **ѣ** (ѣ) в нечисловом значении 838–839, 846, 939, 996; **ѣ** (ѣ) 838, 846, 938–939, 996; **ѣ** 938–939, 996; **ѣ** 837, 877, 996, 1138, 1140; **ѣ**, **ѣ** 680, 697, 700, 706, 732; **ѣ** 706; **ѣ** 838; **ѣ** 685, 838, 938–939; различение и смешение

- ние **ч** и **ц** 176, 179–182, 303, 313, 689; **ц** 683, 711; смещение **ш** и **щ** 682–683, 891–892; **ф** 938–939, 996, 1139; **ѳ** 937, 996, 1138–1139; **ѡ** 683, 937–938; **ѣ** 937–939, 996; **ѵ** 938–939, 996; **ѡ** 700, 938–939; **ѣ** 938–939; употребление букв-омофонов 303–304, 683, 700;
- см.* **Гласные в начале слова, Еры, Йотированные буквы, Юсы**
- Буланин Д. М.** 341, 515
- Булаховский Л. А.** 344
- Булла папы Иоанна XIII чешскому князю Болеславу** 138, 140
- Бунге Фр.** 772
- Бурдые П.** 37, 70, 1077, 1138
- Буслаев Петр** 994
- Буслаев Ф. И.** 474
- Буслаевский стихирарь к. XIV в.** (РНБ, О I 418): отражение произношения **ъ** как **о** и **ь** как **ѣ** 708
- Бутурлин И. И.:** его переписка на церковнославянском языке 919
- Бытовая письменность:** формирование бытового регистра 298–314; место в иерархии не книжных текстов 322; параметры *а*-экспансии в косвенных падежах мн. числа 792, 894–895; формы инфинитива 895; параметры употребления окончаний прилагательных в им.-вин. мн. числа 895, 1061;
- см.* **Берестяные грамоты, Деловой регистр** письменного языка
- Бычков А. Ф.** 429
- Бычковско-Синайская псалтырь:** написания рефлексов **dj* 665–666
- Бюфье К.** 1014
- Вавржинек В.** 138
- Вайан А.** 438, 843
- Вайнрих Г.** 407, 522, 528
- Варваризмы** 994; как недопустимый элемент с точки зрения пуризма 1018–1019
- Варений Б.:** «География генеральная» в переводе Ф. Поликарпова 950; формы аориста 961; лексический повтор в относительных придаточных предложениях 971; параметры употребления окончаний прилагательных в им.-вин. мн. числа 978–979, 1062; параметры *а*-экспансии в косвенных падежах мн. числа и конфигурация вариантов 973; исправления Софрония Лихуда 244, 952, 955–958, 964, 975–977
- Вариативность в языке:** как фундаментальное свойство языка 47, 195, 328; как результат усвоения инославянского элемента нормой восточнославянского извода церковнославянского языка 96–97, 183–184, 191–196, 662, 738; как результат функционального переосмысления генетической неоднородности 191–193, 198–201, 203–204, 253–254, 739; и дифференциация вариантов 196, 740, 745, 752–753; и динамика узуса 49, 203, 257, 740–741, 746; немотивированная (свободная) вариативность как свойство книжного языка 198, 200, 249, 737; немотивированная (свободная) вариативность как свойство гибридного регистра 191–198, 245–246, 747–748; в не книжных текстах 246–247, 737; в текстах на новом литературном языке (нач. XVIII в.) 50, 247, 971–979, 1061–1084;
- см.* **Гетерогенность языковая**
- Варлаам Калабрийский** 101, 823
- Варламова грамота (вкладная Варлаама Хутынского в Юрьев монастырь):** новгородские диалектные формы 312; отсутствие йотированных букв 694
- Вассиан Рыло, архиепископ,** «Послание на Угру»: дательный самостоятельный 350, 354–355; конструкция «*яко* + инфинитив» 513
- Вассиан Патрикеев** *см.* **Даниил, митрополит московский, Кормчая**
- Василий Великий** 911
- Васильев Л. Л.** 718
- Вейкхардт Дж.** 293
- Вейнгартенская хроника** 264
- Вейсманов лексикон** 999
- Вендлер З.** 620
- Веннеманн Т.** 46
- Вермеер У.** 313, 318, 752
- «Вести-Куранты»** 31; влияние приказной нормы 896; вариативность окончаний существительных и прилагательных 247; приставка *раз-/роз-* 247; *а*-экспансия в

- косвенных падежах существительных *о*-склонения и конфигурация вариантов 792–794, 798, 894; формы инфинитива 811–813, 895; параметры употребления окончаний прилагательных в им.-вин. падеже мн. числа 895
- Вечерка Р.** 337, 394, 396, 404, 417, 421, 435, 438–439, 464, 527, 535
- Вздорнов Г. И.** 835
- Виала А.** 1021
- Вид:** становление категории вида 605–606, 653, 850
- Византийская культура:** её гетерогенность 100–103; влияние на культуру древней Руси 100, 105–109, 116, 125; усвоение на Руси византийской аскетической традиции 103–105, 161; объединение на Руси разнородных византийских традиций 219; отличие средневековой восточнославянской культуры от византийской 107–109, 218–219, 230; реконструкция характера рецепции как задача культурной истории древней Руси 230
- Византийская литература:** её рецепция на Руси 219–221, 225, 230; отличие средневековой восточнославянской книжности от византийской литературы 223–226, 229–230, 259–260
- Виноградов В. В.:** 16–17, 42, 51, 193, 275, 807, 945–947, 983, 1098–1099, 1101, 1121, 1124, 1127–1129, 1131–1136, 1147
- Винокур Г. О.** 197, 894, 947–948, 968, 1015, 1025, 1058, 1080–1082, 1084, 1086, 1103, 1147
- Вкладная грамота Варлаама Хутынского в Юрьев монастырь** *см.* **Варламова грамота**
- Владимир Мономах** *см.* **Поучение Владимира Мономаха**
- Власий**, помощник Максима Грека 866
- Водофф В.** 82
- Вожела К.:** его доктрина «чистоты» языка 1016; влияние на русских авторов 1014, 1017, 1056–1057, 1066, 1068–1069, 1101, 1110, 1113
- «Возвешение от сына духовного ко отцу духовному»** 929
- «Возражение или разорение смиренного Никона, Божию милостию патриарха. Противо вопросов боярина Симеона Стрешнева»** 918
- Воинские повести** 270
- Воинский артикул 1715 г.** 501
- Воинский Устав 1716 г.** 989
- Войтех, епископ пражский** 132–138, 140, 146, 148
- Вокатив:** и молитвенный режим интерпретации 490; как признак книжности 960, 1009; фиксация в грамматиках как отличительной черты церковнославянского 960, 1007, 1009
- Волоколамский патерик** 154
- Вопрошание Кирика** *см.* **Кирик Новгородец**
- Ворт Д. С.** 61–62, 153, 206, 329, 337–338, 340, 475–477, 482–483
- Воскресенская летопись** 416
- Востоков А. Х.** 774
- Восточнославянская христианская терминология** 148–149; западнославянское посредство 148–149
- Восточнославянские переводы с греческого** 110–124
- Второе полногласие** *см.* **Рефлексы сочетаний редуцированных с плавными**
- Второе южнославянское влияние:** историко-культурные предпосылки 822–828, 835; стимулы возникновения 832–833, 835; отсутствие связи с византийской гуманистической традицией и отличия от западноевропейского Предвозрождения 823–824; его связь с монастырской культурой и книжной деятельностью 825, 829–830, 830; отсутствие связи с исихазмом 826–827, 831–832; ориентация на правленные южнославянские тексты 834–835, 840; отталкивание книжного языка от разговорного 822, 833–834, 842, 845, 848, 851–858, 905; ретаррационные интенции 833, 843; усвоение элементов южнославянской орфографии и изменения (деадаптация) в орфографии 832, 835–839, 844; утрата зависимости правописания от книжного произношения 839–840, 843; представление о

- языковой правильности 832–833; и развитие грамматического подхода к книжному языку 833, 846, 848, 865, 875, 877
- Вульгаризмы** *см.* **Просторечные слова**
- Выголексинский сборник XII в.** 323; употребление йотированных букв 701; обозначение палатальных сонорных 680, 701; рефлексy *zgj, *zdj, *zg перед передними гласными 680; тв. ед. о-склонения на -омѣ/-ѣмь 723; имперфект с аугментом 746
- Высоцкий С. А.** 113
- Вяземский Никифор:** его переписка на церковнославянском языке 919
- Вяземский П. А.** 1107; о «славенороссийском языке» и славянизмах 1108, 1111–1112; о заимствованиях 1114–1115; «О злоупотреблении слов» 1109; эволюция его взглядов 1118–1119
- Гавранек Б.** 629
- Гавриил (Бужинский)** 952; лексический повтор в относительных придаточных предложениях в «Последовании о исповедании» 971; письмо к Томасу Консетту 981
- Гавриил (Петров), митрополит петербургский** 1087; «Собрание разных слов и поучений на все воскресные и праздничные дни»: формы прилагательных в им.-вин. мн. числа 1093–1094
- Гавриил Стефанович-Венцлович:** употребление «простого» языка 908
- Галицко-Волынская летопись:** дательный самостоятельный 340, 460; глагол *быти* в личной форме с причастием настоящего времени 361, 365; причастия при глаголах восприятия 371–373; конструкция «яко + инфинитив» 509–510; употребление имперфекта 637; употребление плюсквамперфекта 637
- Галицкое евангелие 1144 г.:** низкая степень вариативности в орфографии 672; рефлексy *dj 667; рефлексy *zgj, *zdj, *zg перед передними гласными 667, 680; употребление ъ и ѧ 691; имперфект с аугментом 744, 748; категория одушевленности 776
- Галицкое евангелие 1266–1301 гг. (РНБ, Ф. п. I. 64):** написания рефлексов *dj 670
- Галицкое евангелие 1357 г.:** запись писца 177
- Гальченко М. Г.** 832, 835–838, 840
- Гард П.** 714
- Гаспаров Б. М.** 207
- Гваньини А.** 927
- Гедеон (Криновский):** переход на русский язык в проповеди 1086–1087
- Гейр Дж.** 55
- «Генеральный Регламент или Устав» 1720 г.** 987
- Геннадиевская Библия:** категория одушевленности 777–778, 780–781
- Геннадий (Гонзов), архиепископ новгородский:** Послание к митрополиту Симону 159–160
- «География генеральная»** *см.* **Варений Б.**
- «Геометрия славенски землемѣрие»** 938, 971; параметры а-экспансии в косвенных падежах мн. числа и конфигурация вариантов 972; параметры употребления окончаний прилагательных в им.-вин. мн. числа 979
- Георгий, митрополит киевский:** «Стязание с Латиною» 104, 140; «Написание митрополита Георгия русского с ответами митрополита Георгия» 290
- Герасим Ворбазомский, «Буковница»:** орфографическая дифференциация грамматических омонимов 846–847; сложные слова 848; прилагательные с суффиксом -тельн- 849–851; причастия 849–851
- Герасимов Дмитрий** 866; «Донатус» 190, 850, 864, 866–867, 880
- Гердер И. Г.** 1116
- Гетерогенность языковая:** и диглоссия 65; как результат функционального переосмысления генетически разнородных элементов 184, 191–193, 198–204, 235, 240, 253–254, 739, 1052–1053; проблема гетерогенности в литературном языке послепетровской эпохи 1001, 1050–1056, 1059, 1068, 10880–1081; *см.* **Вариативность, Язык**
- Гетц Л. К.** 492
- Гибридный регистр:** общие характеристики 173; результат действия механиз-

- ма пересчета в гибридном регистре 173, 209, 235, 237–238; процесс формирования 232–233, 237, 760–761; и Поучение Владимира Мономаха 173, 233; и летописание 174, 193–194, 250–268; экспансия на нелетописные тексты 270–271; в агиографии 269–270; в проповеди 980; преемственность в его эволюции 240, 250, 268, 760–761, 806, 809, 948; допустимое разнообразие (вариативность) в рамках его нормы 235, 244–245, 764; низкая степень нормализации 321; синтаксические параметры 460–461, 472–475, 477–479, 483, 518, 967, 970; особенности орфографии 661–662, 687–688; гибридный регистр и признаки книжности 173, 235, 321; аграмматичность признаков книжности в гибридном регистре 241–242; дистрибуция признаков книжности в гибридном регистре 242–243, 760; функционирование в нем форм простых претеритов 621–657, 917, 922; формы инфинитива 803–809; имперфект с аугментом 743–748; двойственное число 760–764; *а*-экспансия в косвенных падежах мн. числа и конфигурация вариантов 790, 794–801; параметры употребления окончаний прилагательных в им.-вин. мн. числа 748, 977–978, 1061; гибридный регистр и грамматический подход 879, 881; осмысление гибридного регистра как «простого» языка 233, 237, 857, 915, 922–923; открытость гибридного регистра новым коммуникативным заданиям 947–948; влияние на литературный язык нового типа 271, 960
- Гивон Т.** 19, 786
- Гизель Иннокентий** 907
- Гипотаксические конструкции:** в письменном и устном языке 467–468
- Гиппиус А. А.** 91–92, 267, 322–324, 661, 737–738
- «Гистория королевича Архилабона»** 932
- «Гистория о российском матросе Василии Кориотском»** 994–995
- Глаголица на Руси** 94, 96
- Глагол *быти* в личной форме с причастием настоящего времени:** как книжная конструкция 356, 365; значения и функции 357–366
- Главинич Себастьян** 162
- Гладков Ф. В.** 1143
- Гласные в начале слова:** *о* в соответствии с церковнославянским *е* в начале слова 191–192; *я* в соответствии с церковнославянским *а* в начале слова 191–192
- Глинка С. Н.** 1131
- Глисон У. Дж.** 1080
- Глюк И. Э.,** «Grammatik der russischen Sprache» 983; характер грамматического описания 1005; зависимость от Смотрицкого 1005; влияние на грамматику И.-В. Пауса 1005; окончание прилагательных в им. ед. м. рода 248; отражение *а*-экспансии в косвенных падежах мн. числа 1005; сложное будущее 1008
- Гоббс Т.** 933
- Голдблатт Х.** 133, 156, 825, 827, 843
- Голицыны, князья,** переписка 1770-х годов 967
- Голубев И. Ф.** 921
- Голубинский Е. Е.** 115, 269
- Голышенко В. С.** 703
- Гомонова К. А.** 427
- Городчанинов Г. Н.,** комедия «Митрофанушка в отставке» 989
- Граве Л. В.** 346
- Гражданский шрифт (азбука)** 169; его ориентированность на скорописную традицию и на европейские образцы 891, 941–944; и противопоставление церковнославянского и русского языков 936–939; как средство введения светского в сферу культа и культуры 942, 945, 999; связь со скорописью 944; отношение к омофоничным буквам в новом алфавите 938–940; обучение гражданскому шрифту в процессе среднего образования 1090; переход к обучению гражданскому шрифту в процессе начального образования 1090–1091
- «Гражданское наречие»:** отношение к традиции 74, 976, 991; как язык секулярной культуры 952, 980, 983–984; как традиционный книжный язык, лишенный признаков книжности 954–957,

- 959–961, 1003; как идиом, не обладающий свойствами универсального языкового стандарта 979–980, 983–984, 1027; как язык (идиом), обладающий потенциалом полифункциональности 984; присущая ему вариативность 1002
- Грамматика (языковая система) и регистры языка** 31–32
- Граматики книжного языка:** проникновение в них некнижных элементов 247
- Граматики литературного языка нового типа:** варианты книжного происхождения в них 248; европейское влияние и отрыв от традиционной славянской грамматической учености 1002; церковнославянские и русские варианты в грамматиках XVII–XVIII вв. 1003–1011, 1053–1054
- Грамматический подход к книжному языку:** и религиозная значимость обучения чтению 156; и Св. Писание и богослужение как основной корпус образцовых текстов 884–885; концепция языковой правильности, сформировавшаяся в русле второго южнославянского влияния 832–833; грамматика как критерий правильности текстов 858, 864–876; грамматический подход и проблема адекватного перевода 876–877, 881, 884; грамматический подход и использование словообразовательных моделей 849–852; создание грамматической номенклатуры 862–863; классификация грамматических форм 858–863, 868; источники грамматического аппарата 864; влияние западноевропейской традиции 864; влияние византийской традиции 865; опора на автохтонную книжную традицию 858, 878; грамматическая нормализация 858, 865–867, 871, 905; столкновение с традиционным текстологическим подходом 866, 870, 874, 886; грамматическая кодификация как инструмент создания языкового стандарта 865, 1000; грамматический подход как стимул дифференциации (новых) вариантов книжного языка 874, 909–910; и изменение соотношения и интерпретации регистров книжного языка 879–887; грамматический подход и социокультурная дифференциация 888
- Грамота вкладная Варлаама Хутынского в Юрьев монастырь** *см.* **Варламова грамота**
- Грамота митрополита Киприана от 14 июня 1404 г.** 287
- Грамота новгородская 1268 г.:** объединение форм им. и вин. мн. (*j*)о-склонения 784
- Грамотность на Руси** 299, 303–304, 312, 316
- Грамоты берестяные** *см.* **Берестяные грамоты**
- Грамоты Великого Новгорода и Пскова:** нарушение согласования причастий 385–386; субъект причастного оборота 386, 388; причастие в роли автономного предиката 387; союзы в главном предложении при препозитивном причастном обороте 390; причастные обороты, соединенные с главным предложением сочинительными союзами 390–391; причастные обороты в препозиции и постпозиции (значения) 391–392, 408–409; причастный оборот с глаголом-связкой 387–388; повтор предлогов 482–483; порядок слов 522, 585–586; употребление аориста в перформативном значении 614, 617
- Грамоты полоцкие XV в.:** категория одушевленности 772–773
- Грандильевский Аркадий, свящ.** 1070
- Гранстрем Е. Э.** 214–215
- Гренинг М., «Русская грамматика»:** зависимость от грамматических трудов Адодурова и Шванвица 1009
- Греч Н. И.** 567, 1099; трактовка форм сравнительной степени 42; «Учебная книга русской словесности» 1099
- Греческий язык:** его знание в древней Руси 111–118; усваивание его через посредство южных славян 125–129, 131; его влияние на книжный язык древней Руси 125; греческий язык и грамматический подход 866–869, 883, 888; греческий язык как источник богатства, унаследованного церковнославянским языком 1045–1048; в трактовке карамзини-

- стов 1110; греческий язык и язык литературы послепетровской эпохи 1045–1049
- Греческое богослужение в древней Руси** 113–114
- Григорий Богослов**, 13 Слов по списку XI в. 212, 321; написания рефлексов **dj* в сп. XI в. 665; употребление юсов в сп. XI в. 692, 732; окончание *-тъ/-ть* в 3 л. презенса в сп. XI в. 732; 16 Слов по сп. 1479 г. (РНБ, Погод. 989): приписка 878
- Григорий Палама** 101–103, 826–827
- Григорий Синаит** 826
- Григорий Цамблак** 835
- Григорович Д. В.**, «Петербургские шарманщики» 1128
- Гримм, братья** 34
- Гринберг Дж.** 24
- Гринберг М. С.** 1038
- Грот Я. К.**: о синтаксисе Карамзина 1097–1098; отношение к заимствованиям 1144; эволюция отношения к реформированию правописания 1139; «Русское правописание» 1139; «Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Имп. Академии Наук» 1147
- грѣхъводник** 1150
- Гуковский Г. А.** 1058
- Гумбольдт В. фон** 34
- Гюйгенс Х.**, «Книга мирозрения» см. **Паус И.-В.**
- Дагрон Ж.** 99
- Даль В. И.**: отношение к заимствованиям 1144; «Петербургский дворник» 1128
- Дамаскин Студит**: его лингвистические установки 900; «Сокровище» 901, 908
- Дамаскины**: как памятники на гибридном языке 922; признаки книжности в дамаскинах 242–244, 247; употребление в них «простого» языка 900, 906, 908
- Даниил Заточник**, «Моление» 116–118, 205, 216, 227, 229
- Даниил, митрополит московский**, «Преение» с Вассианом Патрикеевым 219, 221, 294
- Данилевич Дж.** 467
- Данти А.** 117
- Дательный самостоятельный (ДС)**: как специфически книжная конструкция 238, 331–333, 347, 460; значения и функции 335–340, 350–353, 464; эволюция функций 340, 343, 347, 350, 352–353, 355, 375; обусловленность употребления прагматическими параметрами 334–335, 339; местоположение по отношению к главной предикации 339, 344–345, 348–352, 460; ДС с субъектом, идентичным субъекту главного предложения 332, 336–337, 342, 347–349; ДС в роли автономной предикации 336, 340–343, 353–355, 460; ДС, вводимый или присоединяемый союзом 342–347, 349–352; употребление в восточнославянских текстах в сопоставлении со старославянскими 334, 337, 344–345, 347, 349–350; причины исчезновения 355
- Дашков Д. В.** 1107, 1112, 1123
- Двинская уставная грамота** 285
- Двойственное число**: как признак книжности 200, 238–240, 757–762, 955, 959–960; исчезновение двойственного числа и регистровые противопоставления 200, 749, 751–764; унификация форм существительных в сочетаниях с *дѣва, три, четыре* 751–753; факультативное употребление форм дв. числа как примета гибридного регистра 760; устранение форм дв. числа в церковнославянском языковом стандарте синодального периода 757; фиксация в грамматиках как отличительной черты церковнославянского 960; кодификация в грамматиках русского языка 1006, 1009
- Дворник Ф.** 140, 146–147
- «Девгениево деяние»** 123
- Деепричастие** 329, 331, 432, 1134; позиция деепричастного оборота 407; стилистическая дифференциация деепричастий у Ломоносова 1054–1055; формы и употребление в XIX в. 1135
- «Дело по извету иноземца Д. Рябицкого на О. Науменка»**: формы инфинитива 810–811
- Деловой регистр письменного языка**: процесс формирования 314–321; его противопоставленность другим реги-

- страм за счет синтаксической структуры 386, 389–390, 393, 410, 891, 896; порядок слов 533, 585–586; категория одушевленности 772; особенности орфографии 663, 689–690; скоропись 891–892; окончание *-ой/-ей* в им.-вин. ед. прилагательных м. рода 892–894; *а*-экспансия в косвенных падежах существительных *о*-склонения и конфигурация вариантов 789, 792–794, 799–800, 894–895; формы инфинитива 802, 810–815, 895; параметры употребления окончаний прилагательных в им.-вин. мн. числа 895, 1062;
см. **Бытовая письменность, Приказной язык Московской Руси**
- Дельвиг А. А.** 1130
- Державин Г. Р.:** о языке А. В. Храповицкого 1089; переложения псалмов 1085
- Деррида Ж.** 21
- Джилас М.** 1145
- Диглоссия:** как модель описания языковой ситуации древней Руси 51–71, 250, 271–272, 297, 660; в сравнении с византийской диглоссией 60, 97–99
- Димитрий Ростовский** (Туптало): использование заимствований в проповедях 948; Четьи Mineи 907
- Дионисий Зобнинский** 904
- Дмитриев И. И.,** «Взгляд на мою жизнь» 1129–1132
- Дмитриев Л. А.** 367–368, 379, 650, 825
- Дмитриев М. А.,** «Мелочи из запаса моей памяти» 1131–1132
- Добрилово евангелие 1164 г.:** вариативность орфографии 672; проявление редуцированных 311, 723, 734; написания рефлексов **dj* 667; тв. ед. *о*-склонения на *-омъ/-ъмь* 723, 734
- Добровский Й.** 34
- Договор Новгорода с тверским вел. кн. Ярославом Ярославичем 1266 г.** 313
- Договор Смоленска с Ригой и Готским берегом 1229 г.** 210; список А 313, 317, 689, 694; список В 694; нарушение согласования причастий 385; употребление йотированных букв 694; инфинитив на *-тъ* 802
- Договорные грамоты** 214; место в иерархии не книжных текстов 322, 482–483; порядок слов 523–524; правописание 689–690
- Договоры Руси с греками** 78, 82–85; причастные обороты, соединенные с главным предложением сочинительными союзами 447; нарушение проективности 472–473
- Докукин Ларион, подьячий,** «Тетради» 936
- Долгорукий И. М.** 1131
- Домашнев С. Г.** 1080
- Домка, писец:** употребление имперфекта с аугментом 746
- Домострой:** характер текста 893; формы инфинитива 802; формы им.-вин. ед. прилагательных м. рода 893–894
- «Донатус» см. Герасимов Дмитрий**
- Досифей Топорков,** предисловие к отредактированному им в 1528–1529 гг. Синайскому патерику 879
- Достоевский Ф. М.:** «Преступление и наказание» 1132–1133; «Двойник» 1128; «Господин Прохарчин» 1128
- Древнейший летописный свод** 260–261
- Древненовгородский диалект:** отсутствие второй палатализации 301, 303, 308; отсутствие палатализации в местоимении *вьсь* 308, 312; рефлексy **tj, *dj, *sj, *zj, *stj, *zdj* 308, 679–681; рефлекс **tl* 301; им. ед. *о*-склонения на *-е* 303–304, 308, 312; р. ед. *а*-склонения на *-ѣ* 303, 309; им.-вин. мн. *а*-склонения на *-ѣ* 309; отсутствие *-тъ* в 3 лице презенса 309; новгородское койне 314, 317
- Дурново Н. Н.** 65, 79, 110, 182–183, 191, 199, 236–237, 268, 609, 664, 672, 675, 692, 695–699, 701, 709, 716, 721, 724, 726–727
- «Духовная грамота преподобнаго игумена Иосифа о монастырском и иноческом устроении»** 298
- Духовная Климента** 280
- Духовная литература:** отсутствие оппозиции духовной и светской литературы в древней Руси 219–223, 230; становление оппозиции духовной и светской литературы в XVII в. 231, 270, 925–927, 947;

- вторжение поэзии в сферу духовной культуры 896–898, 925
- Духовные и договорные грамоты XIV–XV вв.:** повтор предлогов 477; употребление йотированных букв 694
- Дювернуа Н.** 279
- Дюркгейм Э.** 27
- Дюрович Л.** 1002, 1012
- Дьяконов М. А.** 287
- Евангелие** как нарративный текст 612; его роль в овладении книжным языком 208, 230, 232; согласование причастий 426
- Евангелие 1339 г.:** запись с похвалой Ивану Калите 295
- Евангелие 1383 г.:** категория одушевленности 781
- Евангелие XIV в.** (РГБ, ф. 304. I, Тр.-Серг., № 5): категория одушевленности 778
- Евангелие XIV в.** (РНБ, Ф. п. I. 8): ошибки в употреблении аориста 614
- Евангелие 1472 г.:** категория одушевленности 777–778
- Евангелие 1627 г.:** орфографическая дифференциация грамматических омонимов 847
- Евангелие 1748 г.:** категория одушевленности 782
- Евангелие МГУ XIII в.:** смешение **ѣ** и **о**, **ь** и **ѳ** 707
- Евдоким, старец,** предполагаемый автор трактата «Простословие» 153, 864, 879–880
- Евдокимова А. А.** 113
- Евстафий Фессалоникский** 98
- Евстифеева Р. А.** 531
- Евфимий Тырновский, патриарх:** книжная справа 825, 827
- Евфимий Чудовский:** как приверженец эллинославянской учености 951; эллинизация славянской грамматики 888; знакомство с правкой Максима Грека 871; «О исправлении в прежде печатных книгах Миняях» 872
- Ейденаер Х.** 97
- Екатерина II:** о языке законодательства 1088; «Наказ» 1080, 1088; издание «Всякой всячины» 1080
- Елагин И. П.** 1107
- Еленский Й.** 722
- Елизаветинская библия** см. Библия 1752 г., Библия 1762 г.
- Епитимийники** 290–291
- Епифаний Премудрый** 217, 270, 365, 758–761, 825, 827; «Житие Сергия Радонежского» 759; использование в нём «Жития Феодосия Печерского» 825; редакции «Жития Сергия Радонежского» 515–516, 830; дательный самостоятельный в «Житии Сергия» 344; глагол *быти* в личной форме с причастием настоящего времени в «Житии Сергия» 357, 363–365; согласование причастий в «Житии Сергия» 453; причастия при глаголах восприятия в «Житии Сергия» 372; причастные обороты в препозиции и постпозиции (значения) в «Житии Сергия» 452; причастные обороты, соединенные с главным предложением сочинительными союзами в «Житии Сергия» 454–455; конструкция «яко + инфинитив» в «Житии Сергия» 515–516; порядок слов при глаголах речи в «Житии Сергия» 548–551, 559; порядок слов при глаголах движения в «Житии Сергия» 574–576, 587; порядок слов при переходных глаголах в «Житии Сергия» 596; употребление имперфекта в «Житии Сергия» 645–647, 761; редуцированное употребление плюсквамперфекта в «Житии Сергия» 646; употребление двойственного числа в «Житии Сергия» 758–761, 763; стиль «плетения словес» в «Житии Сергия» 827; «Житие Стефана Пермского» 760; двойственное число в «Житии Стефана» 759–761; стиль «плетения словес» в «Житии Стефана» 827
- Епифаний Славинецкий:** о чтении по складам 151; исправление Символа веры 873; использование им «ученого» церковнославянского в стихах и трактатах 887; возможное употребление им церковнославянского языка как разговорного 883, 920; эллинизация славянской грамматики 888
- Еремин И. П.** 193, 221
- Еры:** в книжном произношении 157, 707; правила написания еров 306–307, 734;

- смещение **ъ** и **о**, **ь** и **е** 176, 303, 677, 689, 707–710; одноеровая орфография и нормализация правописания еров 87, 710–713, 892; окончание 3 л. презенса *-тъ/-ть* и нормализация правописания еров 720; падение и прояснение редуцированных 65, 305–307, 311, 723; отражение падения и прояснения редуцированных в правописании 306–307, 723, 734–735; опущение еров как орфографическая условность 709; **ь** в конце слова в период второго южнославянского влияния 838–839; неразличение **ъ** и **ь** в скорописи 712, 891; **ъ** и **ь** в орфографических трактатах XVIII в. 996; вопрос об упразднении **ъ** в конце слова 1140;
см. Презенс: формы 3 л.
- Ефрем Сирин** 215, 886
- Ефрем**, переписчик Студийского устава 113
- Ефремов Михаил**, словолитчик 941
- Жанры**: неприложимость понятия к древнерусской книжности 224–227, 229–230; жанровая преемственность 366, 430–431, 636, 798, 805–807, 1057–1058; жанровая иерархия 1057–1058; жанры и стилистическая дифференциация нового языкового стандарта 1086; проблема жанров в полемике карамзинистов и шишковистов 1107
- Жирмунский В. М.** 1142
- Житие Аввакума** *см. Аввакум*
- Житие Авраамия Смоленского**: конструкция «яко + инфинитив» 514–515; порядок слов при глаголах речи 545–546, 559; употребление имперфекта 635–636
- Житие Александра Невского**: дательный самостоятельный 336; глагол *быти* в личной форме с причастием настоящего времени 362; конструкция «яко + инфинитив» 511; порядок слов 533–534
- Житие Андрея Юродивого** 121, 124; рефлексы сочетаний редуцированных с плавными в Типографском и Соловецком списках 719
- Житие Анисьи** 834–835
- Житие Антония Кавлея** 157, 161
- Житие Антония Сийского**: конструкция «яко + инфинитив» 516
- Житие Василия Нового** 123–124
- Житие Вита** 148
- Житие Вячеслава** 96, 145, 147
- Житие Геннадия Костромского** 242
- Житие Григория Пельшемского**: конструкция «яко + инфинитив» 516
- Житие Димитрия Прилуцкого**: конструкция «яко + инфинитив» 516
- Житие Дионисия Зобниновского** *см. Наседка Иван*
- Житие Евфимия, архиепископа новгородского**: конструкция «яко + инфинитив» 516
- Житие Евфросинии Суздальской**: конструкция «яко + инфинитив» 517
- Житие Зосимы и Савватия Соловецких** 911–912
- Житие Иоанникия Вифинского** 161
- Житие Ишояба III, несторианского патриарха** 153, 161
- Житие Канута Датского** 146–147
- Житие Кондрата**: употребление йотированных букв 694; тв. ед. *о*-склонения на *-омъ* 721; употребление юсов 732
- Житие Константина-Кирилла**: Пространное 88, 107, 139, 842; причастные обороты, соединенные с главным предложением сочинительными союзами 438; порядок слов 527
- Житие Корнилия Комельского**: конструкция «яко + инфинитив» 518
- Житие Людмилы** 96, 146
- Житие Мартиниана Белозерского**: конструкция «яко + инфинитив» 516
- Житие Мефодия**: причастные обороты, соединенные с главным предложением сочинительными союзами 438; порядок слов 527
- Житие Михаила Клопского**: характеристика редакций 190, 210, 270, 367, 553–555, 557, 578, 647, 855, 857; употребление аориста 190, 857; аорист с аугментом *-тъ* 190; употребление имперфекта 190, 647–650, 857; употребление *л*-форм 190; причастия при глаголах восприятия 367–372; повтор предлогов 481–482, 487; дательный самостоятельный 857; кон-

- струкция «яко + инфинитив» 517–518; порядок слов при глаголах речи 553–557, 559, 603; порядок слов при глаголах движения 578–581, 587–588, 603; лексическая правка 190, 855–856
- Житие Никиты Мидикийского** 161
- Житие Нифонта 1222 г.:** объединение форм им. и вин. мн. (j)о-склонения 784
- Житие Пафнутия Боровского** (в Великих Минеях четвѣх): повтор предлогов 482
- Житие Петра царевича Ордынского** 114
- Житие Сергия Радонежского** см. Епифаний Премудрый
- Житие Феклы:** употребление юсов 732
- Житие Фе(о)дора Черного** 269, 761
- Житие Феодора Эдесского** 161
- Житие Феодора Ярославского** 270
- Житие Феодосия Печерского** 111, 144, 217, 222; дательный самостоятельный 334, 336–337, 342, 344–345, 347–349; употребление имперфекта 186, 270, 621, 632–635, 645; нарушение согласования причастий 385; глагол *быти* в личной форме с причастием настоящего времени 356–359, 364; причастия при глаголах восприятия 367, 370–372; конструкция «яко + инфинитив» 504–507; винительный с инфинитивом (*accusativus cum infinitivo*) 519; порядок слов 522, 529; порядок слов при глаголах речи 541, 543–544, 559; порядок слов при глаголах движения 569–570, 587; порядок слов при переходных глаголах 594
- Житие Феофана Исповедника, написанное константинопольским патриархом Мефодием** 111
- Житие Христула Патмосского** 157
- Жихарев С. П.,** «Записки современника» 1131
- Жолобов О. Ф.** 750–752, 755–756, 759–760
- Жуковская Л. П.** 300, 834
- Жуковский В. А.** 1117–1118
- Задонщина:** зависимость от Слова о полку Игореве 223
- Заемствования в лексике:** социолингвистические факторы 29; из греческого в древней Руси 125; из латыни и западнославянских языков 148–149; из европейских языков в Петровскую эпоху 946, 948, 984–989, 992, 994; отношение к заимствованиям в послепетровскую эпоху (пуризм) 1019, 1040–1043; отношение к заимствованиям карамзинистов 1109; отношения к заимствованиям в революционные эпохи 1141–1146, 1148–1150; см. Варваризмы
- Закон о русском языке как государственном языке Российской Федерации 2005 г.** 1149–1150
- Зализняк А. А.** 90, 159, 176, 178, 301–302, 304–305, 307, 309, 311–314, 317, 329, 385–387, 389, 449, 466, 471–472, 475, 479, 482, 486, 611–614, 616, 659, 664, 683, 692–693, 702, 711–713, 715, 717, 752, 769–770, 801, 836, 846, 892
- Западнославянско-восточнославянские религиозные и литературные контакты** 132, 134–135, 141, 144–145, 148–149, 264; почитание западнославянских и скандинавских святых в древней Руси 146–147; западноевропейская хронография и анналистический принцип 263–264
- «Записки о стрельцком бунте»** в составе Мазуринского летописца: употребление прошедших времен 656
- «Заповеди Святых Отец»** 148
- Запольская Н. Н.** 954
- Захарьин Насон,** завещание 293
- Звательная форма** см. Вокатив
- Земская Е. А.** 164
- Зеньковский С. А.** 901–902
- Зизаний Лаврентий,** «Грамматика словенска» 865; и традиция Максима Грека 881; орфографическая дифференциация грамматических омонимов 847; вариативность окончаний существительных 248; вид глагола 863; классификация прошедших времен 869, 882; влияние «Грамматики» на последующую грамматическую традицию 861, 869; прения Зизания по поводу правки в его «Катехизисе» 863, 877, 921
- Зиновий Отенский** 875, 904
- Златоструй 1407 г.** (БАН, 33. 16. 15) 835

Знаки препинания 841; запятая 837

Знаменский П. В. 1087

Зографское евангелие: причастные обороты, соединенные с главным предложением сочинительными союзами 441; обозначение палатальных сонорных 706

Зощенко М. М. 1145

Иван (Иоанн) Вишенский 886, 906, 918

Иван Грозный, «Послания»: характер текста 195, 270; формы инфинитива 802

Иван Наседка см. **Наседка Иван**

Иван Тимофеев, «Временник»: автономный дательный самостоятельный 354; конструкция «*быти* + причастие настоящего времени» 366; параметры *а*-экспансии в косвенных падежах мн. числа 796

Иванов Всеволод 1143

Иванов Вяч. Вс. 276

Иванов С. А. 111, 113, 147, 826

Игнатий, патриарх константинопольский 101, 103

Игнатий Римский-Корсаков, митрополит тобольский, третье послание к сибирской пастве 160

Изборник 1073 г. 93, 730; употребление юсов 691; пропуск еров 710; написания рефлексов **tj* 182; написания рефлексов **dj* 664, 733; написания рефлексов сочетаний редуцированных с плавными 716–717, 733; нейтрализация противопоставления *ѣ* и *е* после палатальных согласных 724; тв. ед. *о*-склонения на *-омъ/-ѣмъ* 722

Изборник 1076 г. 93, 323; дательный самостоятельный 334–335; написания рефлексов **dj* 665

Изменения в языке: их механизм (в результате взаимодействия различных социокультурных параметров его употребления) 26–30, 39–40, 43; происходят не в системе, а в узусе 47; происходят в рамках какого-либо регистра 48; изменения в письменном языке 34–35; постепенность 44–46, 767–768; обратимость 35

Иканье 44–45, 47

Иларион, митрополит киевский, Слово о законе и благодати 111, 163, 173, 229

«Ильина книга» (РГАДА, ф. 381, № 131): написания рефлексов **dj* 666

Ильинский И.: формы инфинитива в его узусе 997; окончания прилагательных в им.-вин. мн. числа 997

Ильченко О. С. 779, 782

Илья, игумен, справщик 875

Именительный темы 164, 465, 967

Именительный перечисления 465

Именительный самостоятельный 374, 384, 387, 393, 414–424, 460

Имперфект: процессуальное значение 605, 623, 629, 634–636, 639, 641, 643–644, 646, 648, 650–651; фоновое значение 188, 255, 605, 625–627, 630, 634, 636, 639, 641, 643–644, 646, 648, 651; кратно-перфективное значение 186, 610; итеративное значение 187–188, 190, 605, 610, 622, 626, 628–629, 633, 638, 641, 643–644, 646, 648, 650; узусальное значение 622, 628–629, 633, 635, 636, 638, 641, 643–644, 646, 648–650; значение субъектной/объектной множественности 622, 629, 633–634, 639, 641, 643–644, 646, 650, 653; значение дистрибутивной множественности 622, 629, 633–634, 641, 646; значение ингерентной множественности 629, 639; значение ситуационной множественности 623; имперфект глаголов состояния 623, 630, 634, 636, 639, 641, 643–644, 646, 648, 650; имперфект глаголов речи 624, 630, 634–636, 639, 641, 643–644, 646, 648, 650; употребление имперфекта при обозначении единичного действия 608, 624–625, 630–631, 635–636, 639, 641, 643–644, 646, 649–650; суффикс имперфекта 609; имперфект глаголов *і*-спряжения 254, 609–610; имперфект с аугментом *-тъ* в восточнославянской письменности 608–609, 741–748; имперфект с устранением чередования согласных в основе 610; исчезновение имперфекта 608–611; употребление имперфекта в летописных текстах в сопоставлении с агнографическими 632–633, 635–636, 645, 651, 657; имперфект как показатель книжности текста 627, 632, 647–648, 651;

см. **Признаки книжности**, **Простые претериты**

Инверсия см. **Синтаксис**: синтаксическая инверсия, **Славянизмы**

Ингем Н. 145

Интерференция: как универсальная черта языковой деятельности 28–29; книжных и некнижных языковых средств (интерференция регистров) 29, 61, 234–235, 327–328, 331–333, 393–394, 473–475, 481, 486, 740, 761

Инфинитив: синтаксические функции в книжном и некнижном языке 502–503; генезис форм на *-ть* 801–802; ранние примеры форм на *-ть* 802; формы инфинитива в стандартных церковнославянских текстах XVII в. 802, 814; формы инфинитива в текстах гибридного регистра XVII в. 802–809, 814, 917; формы инфинитива в текстах бытового регистра XVII в. 809–810, 814, 895; формы инфинитива в текстах делового регистра XVII в. 810–814, 895; как показатель статуса текста 810–815, 895; различия в статистических параметрах у возвратных и невозвратных форм 803–807, 810, 812–814; кодификация в грамматиках русского языка 1011, 1015, 1053; как поэтическая вольность 1016, 1032; противопоставление форм как русских vs. славянских 1008, 1023, 1032

Иоаким, патриарх московский 885, 916, 951; «Слово благодарственное» 1683 г. 969

Иоанн II, митрополит киевский 103, 106; Послание к антипапе Клименту III 104–105; канонические ответы 104, 112, 139

Иоанн Дзидзис 157

Иоанн Златоуст 214–215, 886; «Беседы» 911

Иоанн Итал 101

Иоанн Неронов, священник: его проповедническая деятельность 901, 904, 919; его «Житие» 902, 926

Иоанн Стовейский, «Эклога» 221

Иоанн экзарх болгарский 214

Иов, митрополит новгородский: его переписка на церковнославянском языке 919; новгородская школа 951

Иорданиди С. И. 789

Иорданский А. М. 751, 762

Иосиф, патриарх московский 890

Иосиф Волоцкий, «Просветитель» 219, 294

Ипатьевская летопись: дательный самостоятельный 336, 346

Исаевич Я. 881

Исаченко А. В. 51, 53, 66, 71, 119, 197, 327, 356, 405, 961–962

Исихазм 826–827, 830

«История Иудейской войны» Иосифа Флавия 123–124, 219–220, 609; как памятник формирующегося гибридного регистра 744; имперфект с аугментом 742

Истрин В. М. 84–85, 110, 120, 126, 220

Истрина Е. С. 413, 435, 440

«Иудейский хронограф» 219–220

Йокаяма О. 527

Йотированные буквы: их функции 684; йотированные буквы в чтении по складам 693; йотированные буквы в берестяных грамотах и Новгородском кодексе 684, 691, 693; йотированные буквы в пергаменных грамотах 694; йотированные буквы в книжных текстах 694–699; употребление йотированных букв для обозначения палатальных сонорных 696–698, 700–702, 705; употребление йотированных юсов 691; исчезновение йотированных юсов 673–674, 685, 693; различие и смешение **ѧ** и **ѧ̇** 676, 683, 693–698, 701; **ѧ̇** в противопоставлении **ѧ** 694–695; **ѧ̇** на месте старославянского **ѧ̇** 695; различие и смешение **Ѣ** и **Ѣ̇** 683, 693–699, 701, 705; **Ѣ̇** в начале грецизмов и некоторых служебных славянских слов 696, 699

Каждан А. П. 97, 110

Казанская история (Казанский летописец): дательный самостоятельный 343; параметры *а*-экспансии в косвенных падежах мн. числа 799; формы инфинитива 802

Кайзер Д. 287

Кайперт Г. 128, 877–878, 943

«Календарь или мѣсяцесловъ хрістіанскій» 1721 г. 920

Кампредон Ж. 934

Кандаурова Т. Н. 192

Кантемир А. Д.: Первая сатира 1729 г. 1001; просторечная лексика в «Сатирах» 1020; высказывание о лексических заимствованиях в «Предисловии к переводу Иустиновой истории» 1019, 1049; отношение к макаронизмам 1050; отношение к нерифмованному стиху и рифме 1047–1048; перевод «Разговора (Разговоров) о множестве миров» Фонтенеля 247; относительные придаточные предложения в «Разговорах о множестве миров» 963, 965, 993–994

Кантемир Д. К.: о реформе образования 153; предисловие к «Системе мухамеданской религии» 954

Канцелярский язык Великого княжества Литовского: его генезис 319

Караджич Вук 923

Карамзин Н. М.: синтаксическая реформа 1097–1106; выработка риторических стратегий для новых культурных практик 1104, 1118; языковая практика Карамзина как социальный проект создания просвещенного общества 1104–1106, 1125; полемика с Шишковым 1113–1118; эволюция взгляда на отношения церковнославянского и русского 1119–1121; употребление славянизмов 1120; употребление форм прилагательных им.-вин. ед. м. рода 1120–1121; Карамзин как предтеча пушкинского синтеза народности и европеизма 1121; утверждение литературы в роли основной институции, определяющей развитие языкового стандарта 1125; «Записка о древней и новой России» 934; «История государства Российского» 1119–1122; «Письма русского путешественника» 1119–1121; «Историческое похвальное слово Екатерине II» 1088; «Марфа-посадница» 1100; «Наталия, боярская дочь» 1098; «Бедная Лиза» 1102; «От чего в России мало авторских талантов» 1101, 1113; «Пантеон Российских Авторов» 1103; «О богатстве языка» 1105, 1109; статья из «Вестника Европы» (июнь 1803 г.) 1120; письмо к Г. П. Каменеву 1099;

см. Синтаксис

Карамзинисты («новаторы»): отказ от тезиса о единстве природы русского и церковнославянского 1107–1110, 1114; трактовка славянизмов 1109, 1111–1115, 1117; отношение к заимствованиям и калькам 1109, 1114–1115; отношение к неологизмам 1115; трактовка причастий 1111; отношение к синтаксической инверсии 1112; отношение к греческому влиянию на церковнославянский 1110; ориентация на французский пуризм 1110; ориентация на разговорное употребление 1110, 1114; задача совершенствования разговорной речи 1113; критерий вкуса 1110, 1113; отношение к малым жанрам 1117; литературный характер полемики с архаистами 1113, 1117

Кардашевский С. М. 521

Карлинский С. 1021

Карнеева М. 709

Карский Е. Ф. 275

Категория определенности 25

Кауфман Т. 29

Каштанов С. М. 85

Какавмен 111

Кершиене Р. Б. 969

Киево-Печерский патерик 144, 160, 217, 257, 357

Киевская летопись (по Ипатьевскому списку): Хлебниковский список 411, 419, 431–432; Погодинский список 411, 419, 431–432; глагол *быти* в личной форме с причастием настоящего времени 359–362; причастия при глаголах восприятия 372; нарушение согласования причастий 431–432; несогласованные причастия при дативном субъекте 411–413; повтор субъекта главной предикации в причастном обороте 423–424; причастные обороты в препозиции и постпозиции (значения) 398–399, 404–406; введение прямой речи с помощью причастного оборота 403–404; именительный самостоятельный 418–419; причастие в качестве автономного предиката 424; причастные обороты, соединенные с главным предложением сочинительными союзами 437, 442–443, 447–448;

- причастные обороты, присоединяемые подчинительными союзами или вопросительными местоимениями 449–450; конструкция «яко + инфинитив» 508–510; винительный с инфинитивом (*accusativus cum infinitivo*) 519; употребление имперфекта 637
- Киевские листки** 79–80, 90, 132, 136
- Киприан, митрополит** 835; его языковая практика 875–876; Служебник (приписка) 840–841; Потребник с служебником 841
- Кирик Новгородец**, «Вопрошание» 290, 322; как произведение гибридного регистра 331–332, 661–662; им. ед. *о*-склонения на *-е* 234, 324, 659; род. ед. и им.-вин. мн. мягкой разновидности *а*-склонения 323–324; рефлекс **tj* в формах действительных причастий настоящего времени 330–331, 661–662; употребление причастий и деепричастные обороты 331–333; нарушение согласования причастий 385; причастие в роли автономного предиката 332; дательный самостоятельный 331; двойной винительный 331; *иже* + причастие 331; хронологические исчисления Кирика 263
- Кирилл (Константин)**, просветитель славян 107, 132–133, 700; миссия Кирилла и Мефодия 132, 134, 138–140
- Кирилл I Ростовский, епископ** 214
- Кирилл Транквилион-Ставровецкий**, «Учительное Евангелие» 912
- Кирилл Туровский**, «Слова» 111, 163, 173, 215
- Кириллица на Руси**: в соотношении с глаголицей 94; в связи с ориентацией на Византию 94–95
- Кирилло-мефодиевская письменная традиция на Руси** 95, 125, 134, 165
- Кленин Э.** 234, 475–481, 486, 608, 610, 616, 651–652, 765, 781
- Климент Охридский** 215
- Климент Смолятич** 116; Послание священнику Фоме 109, 114–115, 158, 213, 217, 889
- Клосс Б. М.** 515, 761, 830
- Клубков П. А.** 1067
- Ключевский В. О.** 367, 371
- «Книга глаголемая буквы»** 170, 858
- «Книга о постничестве» Василия Великого** (ГИМ, Увар. 506-F) 835
- «Книги законные»** 120, 277–278, 294
- Книжная справа**: грамматическая нормализация как основа книжной справа 865–874, 884, 887;
см. **Максим Грек, Никоновская справа, Послениконовская справа**
- Книжный язык**: язык христианской культуры 76, 109, 202; как предмет социальной регламентации 21; его сакрализация 71; его функции 97; в сравнении с функциями книжного языка в Византии 97–98, 109; в его противопоставлении некнижному и разговорному языку 11, 22–23, 25–26, 64, 162–167, 175, 183, 186, 199–200, 210, 213, 460, 465–475, 496, 518, 520, 684, 791, 798, 822, 851–856, 858; отсутствие бинарной оппозиции книжного и некнижного языка в древней Руси 202, 660–661, 685; структурирование узуса 235; воздействие некнижного языка на книжный 199, 232, 233, 235, 245, 247, 502, 554, 560, 580, 763; механизм признаков книжности (пересчета) 162, 166–168, 171–174, 186–188, 190–191, 201–202, 209, 235, 237–238, 604, 611, 845, 858; механизм ориентации на тексты (образцы) 162–163, 165, 168, 171–173, 175, 192, 201–202, 209, 213–215, 231–232, 235, 501–502, 505, 604, 611, 656, 798, 800–801; порождение новых книжных текстов 162, 174–175, 186, 232; иерархия книжных текстов 321–324; нормативность книжных текстов 321; влияние изменения некнижного языка на восприятие книжных текстов 241; зависимость книжного узуса от жанра 430–431, 628, 636, 657; специфичность книжного синтаксиса 25, 164–165, 209, 328–329, 396, 520; эллипсис и лексический повтор в книжном синтаксисе 173, 993–995;
см. **Литературный язык, Обучение книжному языку, Письменный язык, Церковнославянский язык**
- Княжеская десятина**: её связь с западными институтами 142
- Ковтун Л. С.** 877–878

- Ковтунова И. И. 525, 1100–1104
- Козловский М. М. 721
- Колуччи М. 117
- Комарович В. 666
- Комри Б. 68, 764–765
- Константин-Кирилл *см.* Кирилл
- Константин Костенечский 843–844; орфографическая реформа 825–826; трактат «О письменех» («Сказание о письменех») 151–153, 156, 175, 825–826, 842, 864; трактат «О множестве и о единстве» 845–847, 857
- Корин А. 336, 343–345, 349–350, 353
- Кормчая в редакции Вассиана Патрикеева 221, 294
- Кормчая Ефремовская 278–279; написания рефлексов **dj* 666; смешение *ь* и *ѣ*, *ъ* и *о* 707; объединение форм им. и вин. мн. (*j*)*о*-склонения 783–784
- Кормчая Новгородская 1280-х гг. 273, 284; объединение форм им. и вин. мн. (*j*)*о*-склонения 784
- Кормчая печатная 1653 г. 286
- Кормчие 277, 321, 322
- Корнель Т. 1014
- Кортаева Э. И. 970
- Корсунская легенда в составе Повести временных лет 214
- Корш Ф. Е. 44, 474
- Космография 898
- Коссен Никола 928
- Котков С. И. 792, 810, 892
- Коткова Н. С. 319
- Котошихин Г., «Записки»: характер текста 195, 893; книжные формы в склонении 249; влияние приказной нормы 896; смешение *ш* и *щ*, характерное для скорописи 891–892; окончание им.-вин. ед. прилагательных м. рода 893; *а*-экспансия в косвенных падежах существительных *о*-склонения и конфигурация вариантов 894; параметры употребления окончаний прилагательных в им.-вин. падеже мн. числа 895; формы инфинитива 895; местоимение *который* в относительных придаточных предложениях 963; лексический повтор в относительных придаточных предложениях 969
- Кочева Е. 243
- Кравецкий А. Г. 225, 1137
- «Краткие правила российской грамматики» 1773 г.: кодификация форм прилагательных в им.-вин. мн. числа 1074
- «Краткие правила российской грамматики» 1780 г.: кодификация форм прилагательных в им.-вин. мн. числа 1074; кодификация форм сравнительной степени 41
- «Краткие правила российской грамматики» 1784 г.: кодификация форм прилагательных в им.-вин. мн. числа 1074–1075
- «Краткие правила российской грамматики» 1796 г.: кодификация форм прилагательных в им.-вин. мн. числа 1074
- «Краткия примечания о Правописании»: кодификация форм прилагательных в им.-вин. мн. числа 1074
- «Краткое описание комментариев Академии наук» 999–1000; употребление форм инфинитива 997; параметры *а*-экспансии в косвенных падежах мн. числа 998; окончания прилагательных в им.-вин. мн. числа 997, 1062; относительное придаточное предложение и лексический повтор 965, 993
- Кречетовский И., справщик 958
- Кристиан: Легенда Кристиана 134, 136–137, 139
- Кринский дамаскин 242, 246
- Кромер М. 927
- Крылов И. А. 1126, 1135
- Крылов Г., *свящ.* 872
- Крысько В. Б. 252–253, 716, 719, 750–752, 755–756, 759–760, 768–772, 775, 779, 789
- Кузнецов П. С. 255, 776
- Кузьминова Е. А. 869
- Кунавин Б. В. 391
- Купина Н. А. 1146–1147
- Купчая жены или вдовы князя Всеволода на «Боянову землю» 316
- Курбатов А. А.: его переписка на церковнославянском языке 919

Курбский Андрей, предисловие к «Новому Маргариту» 841, 852, 881

Курганов Н. Г.: кодификация форм прилагательных в им.-вин. мн. числа в «Российской универсальной грамматике» 1074

Курилович Е. 738

Куриц Й. 438

Кусмауль С. М. 847

Кутина Л. Л. 919

Лабов У. 30

Лаврентьевская летопись 267–268; категория одушевленности 252–253; полногласные и неполногласные формы 197; нарушение согласования причастий 428–430; именительный самостоятельный 421; дательный самостоятельный 334, 336, 344–346; причастия при глаголах восприятия 372–373; повтор предлогов 477–478; порядок слов 532; имперфект без палатализации в основе 610; имперфект с аугментом *-тъ* 609, 741–743, 746; употребление перфекта 616

Лавровский П. А. 427

Лаврский кондакаръ XII–XIII вв. (РГБ, ф. 304, № 23): растяжение еров 708; рефлексы сочетаний редуцированных с плавными 718

Лаврский стихираръ XV в. (РГБ, ф. 304, № 408): отражение произношения *ъ* как *о* и *ь* как *е* 708

Лажечников И. И. 1126

Лазарь, старообрядческий священник 874

Лайонз Дж. 32, 489–490

Лант Г. 66–67, 91–92, 95, 110, 122–123, 609–610, 665–666, 682, 700, 720

Лаптева О. А. 531

Ларион, старец, стихотворная переписка со старцем Феокистом: формы 2 лица презенса на *-шь* 897; формы прилагательных в им. мн. м. рода и вин. мн. ср. рода 897

Ларсен К. 330–332, 661

Ласкарис Константин 869

Латынь: и грамматический подход 866–867, 869, 876–877, 882; как аналог цер-

ковнославянского 52–54, 130–131, 883, 908, 920, 951, 1021–1022, 1026, 1032, 1035, 1123; как аналог «ученого» церковнославянского 887; латинский шрифт как образец для русского гражданского шрифта 941–942; сфера применения латыни в петровскую эпоху 942–944

Лахманн Р. 928

Лебедев В. И. 1012

Лев VI Мудрый, трактат «Οἰακιστικὴ ψυχῶν ὑποτύπωσις» 98

Лев Охридский 104

Левин Б. 530

Левин В. Д. 660, 1085

Легенда Кристиана см. Кристиан

Легенда Никольского (Гумпольдова легенда) 87

Лексика: системность в лексике 17; специфически книжная лексика 68, 126, 128, 1058; лексическая правка 121–122; кальки с греческого 126–127; расширение состава специально книжной лексики в период второго южнославянского влияния 848; отталкивание от не книжной лексики в период второго южнославянского влияния 848, 852–856; генетические русизмы и славянизмы 240, 1023–1024, 1043–1044, 1051–1056; кальки с западноевропейских языков 989; синтез церковнославянского и русского словарного материала в послепетровскую эпоху 1036–1037; стилистическая дифференциация лексики в послепетровскую эпоху 1018, 1022, 1033, 1037, 1044, 1050–1052, 1112–1113; обогащение словаря в XVIII–XIX вв. 1133

Лексические оппозиции: их роль в противопоставлении стандартного книжного и «простого» языка 848–856; их отсутствие в текстах гибридного регистра 856–857; их нерелевантность для ранних текстов на «простом» языке 957; лексическая правка в текстах на «простом» языке 957, 959; оппозиции специфически книжной и нейтральной лексики 853–856, 1024; коррелятивные пары генетических русизмов и славянизмов 1023–1024, 1043–1044; лексическая правка в текстах на «простом»

- языке: осмысление в генетических терминах 1022–1024, 1044, 1050–1052; фиксация в грамматиках 1004–1005
- Лемерль П.** 102, 107
- Лемонте П. Э.** 1122
- Ленин В. И.** 1147
- Ленхофф Г.** 225
- Леонид (Кавелин), архимандрит** 515
- Леонтий, митрополит переяславский,** трактат об опресноках 104–105
- Лермонтов М. Ю.** 1131, 1135
- «Лествица»** 832, 878
- Лествица 1402 г.** (БАН, Тим. 9) 835, 839
- Лествица 1404 г.** (ГИМ, Чуд. 219) 835
- Лествица 1411–1412 гг.** (РГБ, Унд. 192) 839
- Лествица 1423–1424 гг.** (ГИМ, Усп. 18) 835
- Летописец 1619–1691 гг.:** дательный самостоятельный 343; именительный самостоятельный 420, 460; причастия при глаголах восприятия 373; причастия в качестве автономных предикатов 401, 415, 425–426; нарушение согласования причастий 434; несогласованные причастия при дативном субъекте 415–416; причастные обороты в препозиции и постпозиции (значения) 401, 406; введение прямой речи с помощью причастного оборота 405; причастные обороты, соединенные с главным предложением сочинительными союзами 446–448; причастный оборот, присоединяемый подчинительным союзом 450; отсутствие конструкции «*быти* + причастие настоящего времени» 366; порядок слов при глаголах речи 558–559; порядок слов при глаголах движения 582–583, 587–588; употребление имперфекта 643–645, 796; параметры *а*-экспансии в косвенных падежах мн. числа 796, 799; формы инфинитива 805; лексический повтор в определительных придаточных предложениях 970
- Летописец вскоре патриарха Никифора (Константинопольского)** 260
- Летописи:** возникновение летописания 259–262, 264; анналистический принцип 260–264; роль византийских хроник 202, 261–263; летописи как часть духовной литературы 202, 221, 264–265; их низкий статус в функционально обусловленной иерархии 267, 688; летописи как тип текста 192–195, 254–255, 265–267, 744; воспроизводимая и оригинальная части 195, 250–253, 688; лингвистическая гетерогенность 192–195, 250–253, 257, 262, 266–268
- Линд Дж.** 146
- Литература древней Руси:** отличие средневековой восточнославянской литературы от византийской 223–226, 229–230; её история как история изменений в восприятии и функционировании текстов 226–229; отсутствие жанрового членения 224–227, 229–230; отсутствие риторической организации литературы 229; полифункциональность текстов 221–225; появление жанрового членения в XVII в. 231, 925;
- см. Духовная литература*
- Литература послепетровской эпохи:** возникновение новой европейской светской литературы 1001; усвоение нового языкового стандарта 1012–1015; эстетическая оценка языкового материала 1013
- Литературный язык:** определение 11; свойства 11–12; его отношение к языку разговорному (бытового общения) 11, 22; противопоставленность разговорному языку в синтаксисе и лексике 22–26; его гетерогенность 12–14; его соотнесенность с культурной памятью 21; и норма 21;
- см. Книжный язык, Языковой стандарт*
- Лихачев Д. С.** 92, 99, 110, 145, 217, 227, 261–264, 429, 437, 823, 825, 828, 831
- Лихуд Софроний:** его культурно-языковые позиции 951, 960, 963, 980; исправления в «Географии генеральной» Б. Варения 950–952, 955–958, 975; и «простой» греческий язык 951
- Лобковский пролог 1282 г.:** запись писца 177; двойственное число 750
- Ломоносов М. В.** 1025; концепция языкового стандарта 1056; синтез русского и церковнославянского языков 1030,

1034–1035, 1115; представления о «чистоте» церковнославянского языка 1037; представления о лингвистической учености 1037; разговорное и письменное употребление как критерий нормализации 1068–1069; его языковая практика 1056, 1058, 1070–1071; трактовка форм прилагательных в им.-вин. ед. числа м. рода 1034, 1053, 1055; трактовка форм прилагательных в род. ед. числа м. и ср. рода 1055; трактовка форм прилагательных в род. ед. числа ж. рода 1054; трактовка форм прилагательных в им.-вин. мн. числа 1034, 1061, 1064, 1068–1071, 1074–1075; трактовка форм сравнительной и превосходной степени 41–42; трактовка действительных причастий наст. времени 1055, 1111; трактовка страдательных причастий на *-мый* 1054–1055, 1111; трактовка деепричастий на *-я* и на *-ючи* 1054–1055; трактовка второго родительного и второго предложного падежей существительных м. рода 1054–1055; трактовка порядковых числительных типа *вторьинадесять* 1054; трактовка простых претеритов 1034; нормализация форм инфинитива 1053, 1083; трактовка лексических архаизмов 1039; трактовка заимствований 1040–1041; трактовка славянизмов 1037; отношение к разговорным формам 1042, 1044; теория трех штилей и генетическая классификация лексики 1051–1053, 1059, 1084; генетическая и стилистическая дифференциация морфологических вариантов 1053–1055, 1068; его синтаксические построения 1097–1099; нарушение проективности в его прозе и поэзии 1098; влияние на него грамматики М. Смотрицкого 1002; знакомство с грамматикой И.-В. Пауса 1035; заметки на полях «Нового и краткого способа» Тредиаковского 1039; переложение 143-го псалма 1084; «Примечания на предложение о множественном окончании прилагательных имен» 1034, 1070; «Риторика» 1748 г. 1035, 1037, 1069; «Материалы к российской грамматике» 1039; «Российская грамматика» 1755 г. 1012, 1034, 1042, 1053, 1059, 1071, 1074, 1080; «О нынешнем состоянии словес-

ных наук в России» 1052; «Рассуждение о пользе книг церковных» 986, 1040–1042, 1044–1045, 1053, 1059, 1081

Лотман Ю. М. 27, 284, 1120

Лубочная литература: как отражение синтеза не книжного и гибридного церковнославянского языка 1137

Лудольф Г. В. 938; его «Grammatica Russica» 56, 983, 1005; фиксируемые в ней различия русского и церковнославянского 1004–1005, 1068; противопоставление функций русского и церковнославянского 55; полногласные и неполногласные формы 248, 1004; использование его решений у И.-В. Пауса 1006–1008; использование его решений в «Грамматическом очерке» Адогурова 1009–1011

Лукин П. Е. 826

Лукьяненко В. И. 160

Л-форма (перфект): замещение ею аориста 615, 617, 653–654, 656–657; замещение ею аориста 2–3 л. ед. числа в книжной справе 866–870, 872; как не книжный элемент 190, 660, 955, 910, 912

Лызлов Андрей, «Скифская история»: характер текста 927; употребление прошедших времен 607; *а*-экспансия в косвенных падежах мн. числа и конфигурация вариантов 796, 799; относительные придаточные предложения 964–965

Львов А. С. 88

Львовская летопись 269

Лященко А. И. 117

Магнус, аббат фюссский 146

Магнус Эрлендсон 146

Мадариага И. де 931

Мазуринская летопись: характер текста 195, 242; причастия в функции личного глагола 232, 655–656; именительный самостоятельный 421; употребление временных форм 605, 654–655, 795; *а*-экспансия в косвенных падежах мн. числа и конфигурация вариантов 795–796, 799; формы инфинитива 803–804, 806; лексический повтор 968

Майков В. И. 1083

МакАннален Дж. 522, 529, 561, 589

Макаров П. И. 1109–1110, 1113, 1116–1117

Макаронизм: как примета текстов барокко 948; в грамматике 1053–1056; ограничение сочетания генетически разнородной лексики славянизирующим пуризмом 1050–1052, 1055; как характеристика славенороссийского языка у карамзинистов 1107–1109; у А. С. Пушкина 1123

Максим Грек: преподавание им греческого 156; и развитие грамматического учения 864–884; и начало книжной справы 865–871, 884; исправление Толковой Псалтири и Цветной Триоди 866–867, 871; справа Максима и последующие справы 872–875, 877; деятельность Максима и представление об «ученом» церковнославянском языке 880–881; категория одушевленности в Псалтири 1552 г. 780; «Исповедание православных веры» 653–654, 866, 870; «Послание брату Григорию» 871; влияние Максима на формирование подхода к языку церковного учительства 904–905

Максимов Федор 951; «Грамматика славенская» 888, 983

Максимович И., справщик 958

Малкова О. В. 723, 735

Манассиева хроника: дополнения к ней 242

Мануил, епископ смоленский 106, 116

Маньков А. Г. 812

Мареш Ф. 138

Мариинское евангелие: категория одушевленности 774, 776

Маркер Г. 1079

Марков В. М. 721

Марковский Н., статья «За культуру комсомольского языка» 1926 г. 1143

Марти Р. 139, 228–229

Мартине А. 43

Маруяма Ю. 760, 762

Маслов Ю. С. 187–188, 611

Матиесен Р. 239

Матхаузерова С. 872

Махновец Л. 508

Мейе А. 438, 768, 776

Мейендорф И., протопресв. 143, 826

Мельхиор Юний 928

Мерило праведное 89, 176, 178, 221, 277–278, 287–289, 292, 889; по ркп. РГБ, ф. 304. I, № 15, XIV в. 674; акцентуация этой ркп. 614–615

Местоимения: личные 520; относительное *иже* 861, 957, 964, 1123; относительное *который* 861, 963–964, 968–970, 1055; притяжательные типа *еговъ, тоговъ* 844

Мефодий, просветитель славян 131

Мечковская Н. Б. 882

Мещерский Н. А. 205, 220, 946

Миди И. 894

Милов Л. В. 282, 288

Милятино евангелие: объединение форм им. и вин. мн. (j)о-склонения 784

Миней 1095 г. (М 1095) 279; отсутствие йотированных букв 701; рефлексy *dj 666–667, 680; рефлексy *zgj, *zdj, *zg перед передними гласными 680; смешение ь и ѣ, ѣ и о 707; пропуск еров 709; имперфект с аугментом в записи писца 746

Миней 1096 г. (М 1096): рефлексy *dj 666, 680; тв. ед. о-склонения на -омъ/-ѣмъ 722

Миней 1097 г. (М 1097): рефлексy *dj 666, 733; написания редуцированных с плавными 733; смешение ь и ѣ, ѣ и о 707; пропуск еров 709; тв. ед. о-склонения на -омъ/-ѣмъ 722

Миней декабрьская пер. пол. XII в. (ГИМ, Син. 162): написания ч и ц 181;

см. Синодальные миней пер. пол. XII в.

Миней майская XIII в. (РНБ, Соф. 204): тв. ед. о-склонения на -ѣмъ 722

Миней ноябрьская (ГИМ, Син. 161): обозначение палатальных сонорных 702;

см. Синодальные миней пер. пол. XII в.

Миней общая с праздничной 1653 г.: правка для издания 1659 г. 847

Миней октябрьская пер. пол. XII в. (ГИМ, Син. 160): написания ц и ч 181; тв. ед. о-склонения на -омъ/-ѣмъ 722;

см. Синодальные миней пер. пол. XII в.

Миней февральская (РГАДА, ф. 381, № 103): рефлексy *dj 666; смешение ш и щ 683, 892

Минлос Ф. Р. 475–476, 478, 480, 486–487

Митренина О. В. 969

Михаил Акоминат: об обучении чтению 157

Михаил Глика 97

Михаил Пселл 101, 116, 161

Михайло Андрелла 918

Михальчи Д. Е. 1005–1006

Многогласие см. **Боголюбцы**

Моисей (Гумилевский), епископ 149

Молдован А. М. 121–123

Молитва Св. Троице 148

Морфология: отсутствие коммуникативных функций и системной связи с риторической стратегией 659, 738–739, 783; связь с регистровыми оппозициями 739, 747–748, 800, 971; морфологическая норма 737; факторы морфологической вариативности 739, 752–753; факторы динамики морфологического узуса 741, 746

Московский летописный свод 751; дательный самостоятельный 337, 343; глагол *быти* в личной форме с причастием настоящего времени 363; причастия при глаголах восприятия 374; причастные обороты в препозиции и постпозиции (значения) 396–397, 399–400, 406; нарушение согласования причастий 413–415, 432–433; несогласованные причастия при дативном субъекте 413–415; введение прямой речи с помощью причастного оборота 404–405; именительный самостоятельный 419–420, 422; причастные обороты, соединенные с главным предложением сочинительными союзами 437, 443–444, 448; причастный оборот, присоединяемый подчинительным союзом 450; конструкция «яко + инфинитив» 511–512; порядок слов при глаголах речи 539, 551–553, 559; порядок слов при глаголах движения 576–578, 587; порядок слов при переходных глаголах 596–602; употребление имперфекта 640–641; устранение плюсквамперфекта 640; категория одушевленности 779; вариативность в склонении прилагательных 249; вариативность в местн. ед. *jo-* и *i-*склонения м. рода существительных 249

Мошерош Ганс 985

Мстиславова грамота ок. 1130 г. 317; грецизмы в ней 119; употребление йотированных букв 694, 702, 705–706; обозначение палатальных сонорных 659

Мстиславово евангелие (МЕ): запись писца 385; независимость от орфографии протографа 671; рефлексy **dj* 667; рефлексy **zgj*, **zdj*, **zg* перед передними гласными 680; имперфект с аугментом 744, 747–748

Муравьев М. Н. 1106

Мусин-Пушкин И. А. 950, 952–953;

см. **Петр I**

«**Мучение великомученика Артемия**» 123

Мюллер Л. 111

Навыки письменного языка: их усвоение 33, 35; и социальная стратификация 35; преемственность в их формировании 34–36

«**Надписаніє бѣкамъ граммѣтнѣго оученїа**» (РГБ, ф. 299, № 336) 170–171, 858–863, 869

«**Надписание языком словенским о грамоте и о ея строении**» 880

Надпись на корчаге из Гнездова 86

«**Наказание ко учителемъ, како имъ оучити дѣтей грамотѣ**» 154–156, 159–160, 175, 880

Наковальнин С. Ф. 1036

«**Написание о падениях с тонкословием**» 880

Нарратив: как элементарная форма речевой деятельности 21; его универсальность 33; организация летописного нарратива 393–426, 461, 463, 521, 533–535; временные формы в книжном нарративе 604–657

Нарышкин С. В. 1080

Наседка Иван, добавление к «Житию Дионисия Зобниновского» Симона Азарьи́на: характер текста 902–903; употребление простых претеритов 903–904; употребление страдательных причастий 904; конструкция «*еже бы* + инфинитив» 904; постпозиция субъекта 1 л. 903

Настоящее историческое время (prae-sens historicum) 605

Наумов А. 831

Начальный летописный свод 260, 262

Неволин К. А. 143

Негалеvский В. 900

Неделкович О. 908

недѣля: семантика 128

Некнижные тексты: отсутствие принадлежности к сфере культуры 271–272; иерархия некнижных текстов 273, 322, 324; отсутствие действия механизмов пересчета и ориентации на образцы 210; и иерархическое упорядочение коллективной памяти 206, 272; структурирование узуса 206, 271; нормализация в некнижной письменности 211, 272, 297, 309, 312, 314, 316–320, 324, 390, 663; деятельность профессиональных писцов 318–319, 663, 678; формирование регистра нормализованной некнижной письменности 891; элементы разговорного синтаксиса в некнижном письменном языке 471

Неологизмы: как рубрика французского и немецкого пуризма 1018; переосмысление этой рубрики в России 1115

Нестор, летописец 217, 257–259, 336, 348, 505–506, 514

Никита Добрынин (Пустосвят), старообрядец 885

Никитина С. Е. 166

Никифор, митрополит киевский, Послания к Владимиру Мономаху и Ярославу Святославичу 104, 111–112, 140

Никифор, патриарх константинопольский 102

Никифор Григора 101, 116, 823

Никифоров С. Д. 439, 802

Никодимово Евангелие 148

Николай Мефонский 104

Николай Чудотворец, святитель: перенесение мощей в Бар 138; Чудеса 87

Никита Стифат 104

Николич Н. М., статья «Неправильности в выражениях, допускаемые в современной печати» 1140

Никольский Н. К. 88, 137, 261; гипотеза об отражении западнославянского лето-

писания в Повести временных лет 134–135

Никоновская справа 871–873, 875, 885–886

Нил Курлятев 875–878

Нил Сорский 832

Новгородская I летопись старшего извода (Синодальный список): характер её текста 237, 252, 268, 322, 371; её стратификация 266–267; орфография писцов 687–689, 736; гипотаксические конструкции 326; глагол *быти* в личной форме с причастием настоящего времени 363; причастия при глаголах восприятия 373; согласование причастий 427; причастные обороты, соединенные с главным предложением сочинительными союзами 447; нарушение проективности 472; конструкция «яко + инфинитив» 510; повтор предлогов 478, 486–487; порядок слов 522–523, 526–527, 529, 531–532; порядок слов при глаголах речи 537, 541–543, 559; порядок слов при глаголах движения 565–569, 586–587; порядок слов при переходных глаголах 592–594, 601–602; употребление имперфекта 270, 621–627, 634; употребление перфекта и плюсквамперфекта 255–256, 651; категория одушевленности 773; объединение форм им. и вин. мн. (j)о-склонения 784

Новгородская I летопись младшего извода 259; дательный самостоятельный 338–339; введение прямой речи с помощью причастного оборота 404; повтор предлогов 478, 486–487; конструкция «яко + инфинитив» 511

Новгородская II летопись 371; некнижные элементы 473–474, 483; нарушение проективности 473; паратактическое глагольное придаточное предложение 473, 475; повтор предлогов 484–487; конструкция «яко + инфинитив» 513; порядок слов при глаголах речи 557–559; порядок слов при глаголах движения 581–582, 587–588; употребление имперфекта 642–643; употребление л-формы 654; двойственное число 762–763; категория одушевленности 779; параметры а-экспансии в косвенных падежах мн.

- числа 796, 799; формы инфинитива 805; лексический повтор в относительных придаточных предложениях 968, 970; полногласные и неполногласные формы 197; причастные обороты в препозиции и постпозиции (значения) 406; причастия при глаголах восприятия 373; отсутствие конструкции «*быти* + причастие настоящего времени» 366
- Новгородская IV летопись:** повтор предлогов 478–479, 487
- Новгородская V летопись** по Хронографическому списку нач. XVI в.: категория одушевленности 779; параметры *а*-экспансии в косвенных падежах мн. числа 790, 799
- Новгородская судная грамота** 274, 285, 295
- Новгородские листки** 93
- Новгородский кодекс (церы)** 89–91, 93, 95, 683; написания рефлексов **dj* 664; употребление юсов 90, 692; употребление йотированных букв 691, 693–694; одноеровая орфография 711
- Новое монашество вт. пол. XIV в.** 829–830
- Новоуказные статьи 1669 г.** 285
- Новый Завет 1738 г.:** категория одушевленности 777–778
- Новый перфект** (типа *он пришедши*) 388, 456, 618
- Номоканон** 295
- Норма:** стимулируется вариативностью 97, 183–184, 191; как обобщение узуса основного корпуса текстов 38, 231, 463; и структурированность письменного узуса (регистры) 40, 206, 746–748; и социальная преемственность 36; книжная норма и вариативность 39, 747; нормативность книжных текстов 687; нормализация в книжных и некнижных текстах 211–212, 309, 321–323, 663–664, 748–749, 800, 891; нормализация бытового письма 305, 312, 710; нормализация делового письма 309, 316–320, 663, 793–794, 799–800, 891, 895; и устранение диалектизмов 309, 314, 317–320; нормализация и грамматический подход 866–885; нормализация языка в Петровскую эпоху 973–977, 991–996; нормализация и преодоление языковой гетерогенности 1002–1003; стандартизация синтаксических конструкций 961–966, 992–995; нормализация в орфографии в послепетровскую эпоху 996; нормализация и кодификация в морфологии в послепетровскую эпоху 996–1016, 1025, 1062–1078, 1080, 1084; ориентация на литературное употребление как критерий языкового нормирования 1016, 1056, 1062, 1084–1085, 1095–1097, 1104–1106; формирование стилистической нормы нового языкового стандарта 1018–1025, 1035–1056, 1059–1060, 1085
- «О осми(х) частех слова»** трактат 864, 868–869
- «О умилении души»** гомилия 215
- Обнорский С. П.** 52–53, 84, 205, 274, 375, 666, 707, 894, 1135
- Оболенский Д.** 81, 99, 129, 143
- Образование в древней Руси:** в сравнении с Византией 107, 163; в сравнении с сирийской системой 220; его катехитический характер 107–108, 147, 150; роль Псалтыри 108
- Обучение книжному языку** 17–18, 23; на Руси 150; в соответствии с традициями Православного Востока 153–154, 161; византийская традиция 156–157, 161; обучение чтению 89, 163, 725; обучение чтению с учетом акцентных знаков 155, 170; обучение чтению по складам 150–151, 153, 156–157, 175–176, 185, 228, 677–683, 1090, 1092; религиозная значимость обучения чтению 151–153, 156, 169–170; заучивание текстов наизусть 158, 170–171, 1091; изменение в обучении чтению в XIII в. 684, 693, 710; роль трафаретов 170; обучение синтаксису (риторическим стратегиям) 150–151; использование Псалтыри и Часослова 150, 158–161, 169, 201, 208, 230, 913, 1090–1091; использование азбуки 160, 913; использование грамматик 158, 914
- Овсянников В. З.** 1445
- Одушевленность:** происхождение 764–766; факторы, влияющие на выбор фор-

- мы прямого объекта 252–253, 765–777; отсутствие регистровых противопоставлений в единственном числе 773; возможность регистровых противопоставлений у названий животных 776; наличие регистровых противопоставлений во множественном числе 779–782; формы вин.=им. мн. как признак книжности 249
- Ожегов С. И.** 1148
- Октоих 1436 г.** (ГИМ, Син. 199) 835
- Онфим, автор берестяных грамот:** его грамоты как свидетельство процедуры обучения грамоте 157–159, 682
- Опиц М.** 985
- Органическое развитие языка:** в представлении младограмматиков 34; в письменном и устном языке 239;
см. Письменный язык
- Орешников А. С.** 810
- Ориентация на тексты** *см. Книжный язык*
- Орфографические реформы южнославянских книжников** 825–826, 844, 864; и исихазм 826–827, 831–832, 845–847
- Орфография:** отсутствие системной связи с риторической стратегией 658–659; связь орфографических систем с типом текста 671–674, 731; влияние протографов 668–671, 673–674, 711, 719–721, 729; типология раннедревнерусских рукописей (писцов) 730–737; связь правописания с книжным произношением и чтением по складам 178, 185, 676–684, 692–693, 707, 722, 839–840; орфографические правила 177–182, 185, 676–679, 683–684, 687, 689–690, 695, 709–712, 720–722, 725, 729, 996; орфографическая норма 178–179, 182–183, 663–670, 687, 722, 996; совмещение орфографических практик в рамках одной рукописи 675–676, 695, 730–731, 735; динамика орфографической нормы 731–736; избирательность орфографической нормы 670; факторы орфографической вариативности 662, 670; орфографические характеристики регистров 659, 686–699, 735; бытовая система письма 176, 301–304, 310–312, 658–659, 686; противопоставление книжного и некнижного письма 678, 686; представление о связи орфографической нормы с вероучительной чистотой 842–844; различие буквоомофонов в книжной орфографии 683–685; орфографическая дифференциация омонимов 844–847, 940; орфографическая дифференциация греческих имен 940–941; передача орфографических навыков 674–675, 678, 687, 695, 701, 711–712; деадаптация в период второго южнославянского влияния 835–839; оттачивание орфографии от книжного произношения в период второго южнославянского влияния 839–840, 843; нормализация орфографии в XVIII в. 996, 1004; владение орфографией как символический капитал 1138–1140; вопрос об орфографической реформе в XIX в. 1138–1140
- Орфоэпический словарь, 6-е изд. 1997 г.** 1150
- Островский Д.** 429
- Острожская Библия** 519, 781
- Остромирово евангелие (ОЕ)** 79, 88, 90, 93, 323, 624; употребление юсов 691–692, 732; двуровная орфография 711; написания рефлексов **dj* 664; написания с *рѣ* в рефлексах **CerC* 729; обозначение палатальных сонорных 706–707, 732; окончание *-тъ/-ть* в 3 л. презенса 720; тв. ед. о-склонения на *-омѣ/-ѣмь* 721, 733; двойственное число 750, 757; имперфект с аугментом 743, 747–748; категория одушевленности 773–778, 781
- Открытая текстологическая традиция** 216–218, 257
- Относительные придаточные предложения** 963–966; лексический повтор 499–500, 993–995
- Оттен Ф.** 253–254
- Павлов А. С.** 120, 287
- Павлович Хр.** 923
- Падучева Е. В.** 489–490, 1125–1126
- Паерок** 837
- Паисий Лигарид** 883, 920
- Паисий Хиландарский, «История славяноболгарская»** 242, 246; как памятник на гибридном языке 923

Палатальные сонорные: обозначение на письме 659, 678, 680, 696–698, 700–707, 731–734; утрата палатальных сонорных 706

Палея 1406 г.: написания с *рѣ/ре* и *лѣ/ле* в рефлексах **CerC*/**CelC* 728

Палея 1494 г. 242

Памва Берында, предисловие к Постной Триоди 1627 г. 901

Пандекты Антиоха (ПА) 290, 668; ркп. ГИМ, Воскр.30 XI в. 96, 212, 674, 691; употребление йотированных букв в ркп. XI в. 694–695; одноеровая орфография в ркп. XI в. 711; отсутствие обозначения палатальных сонорных в ркп. XI в. 705; написания рефлексов **dj* в ркп. XI в. 665; окончание *-тъ/-ть* в 3 л. презенса в ркп. XI в. 720; тв. ед. *о*-склонения на *-омъ/-ъмь* в ркп. XI в. 721–722, 733

Пандекты Никона Черногорца 123–124

Панов М. В. 164, 1070

Панферов Ф. И. 1143

Панченко А. М. 896–897

Папа Григорий VII, послание Вратиславу в январе 1080 г. *см. Сазавский монастырь*

Пападимитриу С. 105

Пападопуло-Керамевс А. 98

Паремийник 1272 г.: объединение форм им. и вин. мн. (*ј*)*о*-склонения 784

Паремийник 1530 г. (РГБ, ф. 304. I, № 65/311) 862

Пасхальная хроника 263–264

Патрональные отношения между владельцами и церковными институтами (патронат) 143

Паус И.-В., «Славяно-русская грамматика» 999–1000; характер грамматического описания 1005; фиксируемые в ней различия русского и церковнославянского 1001, 1005–1007, 1028, 1054, 1067; как продолжение опыта грамматического описания Глюка 1002, 1005; использование грамматики Лудольфа 1006–1007; использование грамматики Смотрицкого 1007; влияние Пауса на Адогурова 1008–1011; влияние Пауса на Шванвица 1008; влияние на Тредиаковского 1008; влия-

ние на Ломоносова 1008; влияние на Пауса Ю. Г. Шоттеля 985; формы аориста в «Книге мирозрения» Х. Гюйгенса 961; параметры употребления окончаний прилагательных в им.-вин. мн. числа в «Книге мирозрения» Х. Гюйгенса 979

Пахомий Логофет 270, 760, 836

Пекарский П. П. 954, 1071

Пеннингтон А. 891

Переводы: с греческого 92, 119, 123–125, 147, 1105, 1120; с латыни 147–148, 1105; с западноевропейских языков 971–972, 1099–1105; и богатство русского языка 1049, 1120; и «порча» языка в трактовке карамзинистов 1109–1110

Перельмуттер Р. 494

Пересопницкое евангелие 1556–1561 гг. 900, 906

Пересчета механизм (механизм признаков книжности) *см. Книжный язык*

Периодизация истории русского письменного языка 72

Перро Ш. 40

Перфект: его семантика 616; его функции в нарративе 255–257; нарративное употребление перфекта (в нарративной цепочке) 605, 616; в перформативном употреблении 617–618; употребление в значении имперфекта 651–657; употребление в значении аориста 615–617, 651–657; со связкой как признак книжности 242, 916–917; превращение в *л*-форму 618, 651;
см. Л-форма

Петр, автор берестяных грамот 318

Петр Антиохийский, Послание к Доминику 104

Петр I, император: его культурная политика 930, 932–936, 942–943, 980–981, 1013, 1141, 1144; языковая политика 73–74, 936–960, 1012, 1026–1027; отношение к церковнославянскому 936–941; вытеснение традиционного книжного языка из сферы светской культуры 980–981; введение гражданского шрифта 937–940; смешение *ш* и *щ* в почерке Петра 891–892; коллоквиализмы в его переписке 967; предисловие к Морскому

регламенту 934; письмо к П. М. Апраксину от 31 июля 1709 г. 938; переписка с М. П. Гагариным 939, 944; переписка с И. А. Мусиным-Пушкиным 938–939, 952; Объявление Сенату от 13 июня 1718 г. 986; указ Синоду о составлении кратких поучений 19 апреля 1724 г. 954

Петрей 162

«Петровский пул»: «петровский пул» в синтаксисе 961, 966, 970–971; «петровский пул» в морфологии 971–979, 997, 999; потенциал полифункциональности 984

Петрухин П. В. 255–256, 652–653

Петухов Е. В. 930

Пиккио Р. 135, 138, 215–217, 223, 226, 824

Пискаревский летописец 652, 654

Письменный язык: в соотношении с разговорным 20–26, 33, 69, 1127; различия между письменным и устным языком в стратегиях 466–469; различия между письменным и устным языком в синтаксисе 23, 325, 465–475; различия между письменным и устным языком в порядке слов 23; письменный язык и принятие христианства 76, 80, 83, 85–87, 89–93, 95; и традиция Восточной Болгарии 90, 93–94, 125; и западная традиция 141, 147; автономность письменного языка и органический характер его эволюции 35, 187–188, 239, 250, 347, 393, 520, 603, 619, 636, 741, 743, 748, 800; письменный узус и регистры 33–35, 205, 235, 740–741, 748; формирование новых письменных традиций 314, 821–822;

см. Церковнославянский язык

Пичхадзе А. А. 112, 121, 123–124

Платон (Левшин), митрополит московский 1087; об обучении книжному языку 159; употребление форм прилагательных в им.-вин. мн. числа 1094; синтаксические коллоквиализмы 1097; «Православное учение» 996; «Начальное учение человеком» 1091

Платон Студит 102

Платонов А. П., «Котлован» 1145

Платонов Иван 492–493

Плетнева А. А. 1137

Плиний Гай, Старший 927

Плотникова-Робинсон В. А. 1135

Плюсквамперфект: его функции в нарративе 255–257, 605, 637; вспомогательный глагол при образовании плюсквамперфекта 628, 633, 636–637, 642, 644, 646, 648, 651; исчезновение плюсквамперфекта 640, 646, 651

Повести Петровского времени 994

Повесть временных лет (ПВЛ) 111, 133–134, 137, 139, 252, 257–259, 262, 264, 267, 280, 285; по Лаврентьевскому списку 91, 423, 427–430, 631, 653; по Радзивилловскому списку 91, 427–430, 610, 631, 653; по Академическому списку 91, 427–430, 610, 631, 653; по Троицкому списку 429; по Ипатьевскому списку 91–92, 393, 416, 422–423, 428–430, 631; по Хлебниковскому списку 91, 257, 411, 416, 427–430, 519; по Погодинскому списку 429; по Комиссионному списку 430; по Академическому списку Новгородской 1-й летописи младшего извода 430; по Толстовскому списку Новгородской 1-й летописи младшего извода 430; по Новгородской 1-й летописи младшего извода 428; гипотезы о предшествующих летописных сводах 260–261; гипотаксические конструкции 326; глагол *быти* в личной форме с причастием настоящего времени 358, 360–362, 364; причастия при глаголах восприятия 372; употребление причастий 393–399; нарушение согласования причастий 427–430; несогласованные причастия при дативном и аккузативном субъекте 410–411, 416; дательный самостоятельный 336–337, 341, 345–346, 349–350, 460; повтор субъекта главной предикации в причастном обороте 449; причастные обороты в препозиции и постпозиции (значения) 396–398, 403; частица *же* в главном предложении при препозитивном причастном обороте 449; причастные обороты, соединенные с главным предложением сочинительными союзами 437, 440, 443, 447; причастный оборот, присоединяемый подчинительным союзом 449; введение прямой речи с помощью причастного оборота 403–404; имени-

- тельный самостоятельный 417, 422; нарушение проективности 472–473; повтор предлогов 478, 486; конструкция «яко + инфинитив» 507–508; винительный с инфинитивом (accusativus cum infinitivo) 519; порядок слов при глаголах речи 536–541, 559; порядок слов при глаголах движения 562–565, 586–587; порядок слов при переходных глаголах 590–592, 601–602; употребление аориста 606; употребление имперфекта 186, 188, 606, 610, 627–632, 634; имперфект с аугментом 743; употребление перфекта 255, 606, 616; употребление плюсквамперфекта 606; категория одушевленности 770–773; полногласие 196
- Повесть о Бове королевиче** 270, 925–926, 931–932
- Повесть о боярыне Морозовой:** употребление двойственного числа 760
- Повесть о Варлааме и Иоасафе** 123
- Повесть о Карпе Сутулове** 242
- Повесть о Митяе:** двойственное число 759
- Повесть о Петре Златых ключей** 931; использование в ней гибридного регистра 270; вариативность в склонении прилагательных 249; лексический повтор в определительных придаточных предложениях 970
- Повесть о Савве Грудцыне** 925
- Повесть о Фроле Скобееве** 925
- «**Повесть о царице Динаре:** сложные слова 848
- Повесть об Акире Премудром** 124
- Повесть об Улиании Осоргиной:** конструкция «яко + инфинитив» 517
- Повтор предлогов:** определение 475; связь с языковым регистром 475, 479–480, 483; как разговорная черта 480; подтипы 476–479, 481–482, 484–486; функциональные параметры 481, 483–486; и нарушение проективности 486–487
- Погодин М. П.** 991, 1144
- Подшивалов В. С.** 1111–1112
- Полевой Н. А.** 1130
- Полидор Виргилий:** перевод и позднейшая редакция «De inventoribus rerum» 190–191
- Поликарп, автор Киево-Печерского патерики** 257
- Поликарпов Федор** 888; его культурная и языковая позиция 942–943, 951, 961, 974, 980; защита грецизированной орфографии 937, 940–941; отношение к латыни 942–944; употребление им церковнославянского языка 919–920; устранение им двойственного числа 757; вариативность в склонении существительных 248; «Букварь трехязычный» 1701 г. 942; «Правильное обучение чинаго чтения и писания»: предисловие к «Букварю» 940; «Лексикон трехязычный» 1704 г. 943; издание Грамматики Смотрицкого 1721 г. 158, 983; грамматический трактат начала 1720-х гг. 940–941; «Технология» 1725 г. 940, 960, 1054; предисловие к переводу «Географии генеральной» 1716 г. 950; предисловие к переводу «Географии генеральной» 1718 г. 950;
- см. Варений Б.*
- Полифункциональность литературного языка** *см. Языковой стандарт*
- Полногласные и неполногласные формы** 192, 196–197; с генетической и функциональной точки зрения 240–241; лексически обусловленный характер соответствия 196, 198; в гибридных текстах 245–247; в «Grammatica Russica» Г. Лудольфа 248;
- см. Рефлексы *CеrC и *CеlC*
- Помпоний Мела, «География»:** употребление прошедших времен 243, 656; вариативность окончаний существительных и прилагательных 245; полногласные и неполногласные формы 245–246; приставка *раз-/роз-* 246
- Попов А.** 140, 292
- Поповски И.** 668–669, 705, 711, 720, 722
- Поповский Н. Н., ученик Ломоносова** 1046
- Порядок слов:** в типологии Дж. Гринберга 24; понятие доминирующего порядка слов 523–524; различия в письменной и устной речи 23–24, 466; стилистический аспект 16; и жанровые характеристики текстов 520–524, 546, 560; и коммуникативные стратегии 521–524, 565, 569,

578, 580, 586; и оппозиция *Besprechung* и *Erzählung* 528; зависимость от принадлежности к лексической группе в атрибутивных сочетаниях 531; зависимость от семантического класса предиката 530–531, 562; роль формул 533; и актуальное членение 524–527, 529; вынос находящегося в фокусе члена придаточного постпозитивного предложения в главное 466; препозиция сверхъестественного субъекта 549–550, 556; порядок SV при выделенном и контрастном субъекте 542–545, 547–549, 552–553, 556–558, 560, 563, 569–571, 573–575, 577–580, 582–583, 585, 590, 592–595, 597; порядок SV при новом субъекте 538–545, 548–550, 552–553, 555–558, 560, 563, 568–571, 573, 575, 577–578, 580–582, 583, 590, 592–595, 597–598, 600–602; порядок SV при субъекте, выраженном личным местоимением 529, 541, 547, 549, 552–553, 558, 560–561, 563, 570–571, 573, 575, 583, 590, 594, 597, 600–602; порядок SV при субъекте, выраженном анафорическим местоимением 546, 548, 550, 553, 575, 597; порядок SV при субъекте, общем причастному обороту в препозиции и матричному предикату 539, 544–545, 547–550, 552, 554–558, 560, 563, 569–571, 573, 575, 578–580, 590, 592–595, 597–598, 600–602, 1126; эмфаза с усилительной частицей 570, 572; порядок VS как доминирующий в интродуктивной функции 526, 529, 535, 537, 561, 564, 566, 570, 574–582, 584–586, 588, 591–593, 596, 598–602; порядок VS как доминирующий в завершительной функции (конклюзия) 566, 570, 572, 577–580, 582, 584, 591, 593–594, 596, 599; порядок VS в нерасчлененных высказываниях 526, 531–532, 564–568, 572–573, 576, 578–580, 582–583, 593, 596, 599; порядок VS при вхождении глагола в ремю 565; порядок VS в первой предикации в эпизоде 565–566; экспансия порядка SV 552–560, 572–578, 581–583, 583, 588, 595, 597–598, 600–603, 903; порядок слов в придаточных предложениях в сравнении с независимыми 564, 572, 574, 579, 582, 585–586, 597, 599; порядок SV в относительных придаточных 540–

541, 576, 585–586, 594; порядок слов при глаголах речи 528, 535–560, 602–603; порядок слов при глаголах движения 561–588, 602; порядок слов при переходных глаголах 588–603; порядок VS как доминирующий в летописях 529; влияние греческих образцов 603; влияние западноевропейских образцов 588, 1100–1101; постпозиция vs. препозиция определений у Карамзина 1100–1101; трафареты 530, 532, 567, 574;

см. Причастия, Проективность

Послание к Хитрею 162

Послениконовская справа 872, 875, 940

Потебня А. А. 383, 438, 473–474

Поучение Владимира Мономаха 111, 171, 194, 196, 205, 213; как произведение гибридного регистра 172–173, 331, 333, 661; употребление прошедших времен 172–173; рефлексy **tj* в формах действительных причастий настоящего времени 330–331, 661

Похвала (Похвальное слово вел. кн.) Василию III 355

Похвальное слово вел. кн. Димитрию Иоанновичу 828

Поэтические вольности: и приспособление языкового стандарта к потребностям литературы 1015–1016; как средство легализации церковнославянского языкового наследия 1015–1016, 1032–1033; перемена в отношении к ним при становлении славянизующего пуризма 1044; формы инфинитива на *-ти* 1032; формы тв. мн. на *-ы/-и* 1032–1034; формы тв. мн. на *-ми* 1033; русизмы как поэтические вольности 1044; варианты окончаний прилагательных в им.-вин. мн. числа 1070

Право у восточных славян: традиция и обычай 282–286, 317; инородность в христианской культуре 277, 296; византийское влияние 118, 284–285, 291–293, 296; отличия восточнославянского права от церковнославянско-византийского 281–284, 286–293; восприятие византийского права на Руси как части христианской культуры 294–296; вопрос о применимости византийско-церковно-

славянского права в средневековой Руси 286–293, 295–296; трансформация византийских правовых норм на Руси 219, 291;

см. **Юридическая письменность**

Правосудие митрополичье 274, 285

праз(дъ)н-: семантика производных 127–128

Превосходная степень *см.* **Сравнительная степень**

Преемственность в языке: в письменном узусе 35–36, 239–240, 251, 651, 730, 740–741, 746, 748; и читательский опыт пишущего 35, 205, 207, 239, 347, 604, 610, 657, 739, 748, 788, 821; и регистры языка 34, 36, 48, 205, 274, 657, 740, 748, 760; преемственность статистических параметров употребления варьирующих элементов 233, 352, 605, 785–787, 811–812; механизм преемственности (переосмысление) и эволюция письменной традиции 175, 250–255, 268, 604, 611, 636, 651–655, 657, 740–742, 821; и письменные традиции 201, 207–208, 231, 235, 250, 396, 640, 798, 821; автономность письменного узуса и преемственность 239, 250, 274, 393, 619, 741, 743, 748, 800; отдельные линии преемственности 48, 207–208, 240, 314, 604, 645, 739, 745, 748–749, 806, 811, 948; в гибридном регистре 240, 268, 748–749, 806, 948; в юридической письменности 297

Презенс: формы 2 л. ед. числа 955, 960; их кодификация в грамматиках русского языка 1011; противопоставление форм 2 л. ед. числа как русских vs. славянских 1007; формы 3 л. 309, 719–720, 722, 731–734;

см. **Настоящее историческое время**

Признаки книжности: как ограниченный набор элементов 173–174, 235, 238; как черта, с которой связывалось представление о нормативности текста 245, 324; как результат усвоения инославянского элемента нормой восточнославянского извода церковнославянского 184, 203–204; критерии определения признаков книжности 241–244; влияние некнижного языка на состав признаков книжности 175, 200, 239, 240–241; как харак-

терная черта гибридного регистра 235–238, 240, 921–922; двойственное число 200, 238, 757–762, 955, 959–960; вин.=им. мн. одушевленных существительных 782–783; простые претериты 173, 187–188, 238, 242–244, 627, 647, 653, 656, 857, 955–956, 959–960; перфект со связкой 242, 955, 957; плюсквамперфект 637; инфинитив на *-ти* 244, 955, 957, 959–960; родительный принадлежности 959; им. мн. *i*-склонения и мягкой разновидности *jo*-склонения на *-ие* 244; им.=вин. мн. (*j*)*o*-склонения 784; 2 л. ед. числа на *-ши* 955, 960; суффиксальные формы сравнительной и превосходной степеней 955; причастия краткие действительные согласованные 200, 238, 331, 956–957, 959–960; служебные слова 244, 957, 959; дательный самостоятельный 238, 331, 333, 346–347, 956, 959–960; конструкция «*еже* + инфинитив» 956–957; *да* + презенс 956, 1124; одинарное отрицание 956, 960; инверсии 956–957, 1112; правка признаков книжности при переходе к «простому» языку 955–957, 959–961, 976; устранение признаков книжности в литературном языке нового типа 243–244

«Приказ, объявленный... собранному на смотре войску на Девичьем поле» 921

Приказная поэтическая школа 896–898

Приказной язык Московской Руси: его генезис 319, 891; языковые нормы 319–320, 891–896; необходимость обучения для овладения им 319, 896; владение приказным языком как символический капитал 896; использование в журналистике 31; экспансия приказного узуса на сферы с иным коммуникативным заданием 896; приказной язык и литературный язык нового типа 1019–1020, 1089; приказные слова как рубрика французского и русского классицистического пуризма 1089;

см. **Деловой регистр** письменного языка

Прилагательные: вариативность окончаний, не релевантная для противопоставления регистров письменного языка 245–249; им.-вин. ед. м. рода 248, 975–976, 1007, 1011, 1034, 1038, 1053–1055,

1120–1121; им.-вин. ед. м. рода в связи с регистровыми корреляциями 892–894, 918; род. ед. м. и ср. рода 200, 249, 741, 976, 1007, 1011, 1054–1055, 1068; род. ед. ж. рода 748, 894, 975–976, 1007, 1011, 1054, 1068; им.-вин. мн. 975–979, 1007, 1014–1015, 1030, 1034, 1060–1078, 1093–1094; распределение форм им.-вин. мн. по регистрам 977–978, 1061–1062; правка в рукописях Петровской эпохи 958; кодификация в первых русских грамматиках 1007, 1010–1011, 1014–1016, 1034, 1053, 1062–1063; осмысление в генетических категориях 1068, 1072; трактовка в качестве поэтических вольностей 1070; правило 1733 г. 1062, 1064, 1066–1067, 1069–1071, 1074–1076; прилагательные с суф. *-тельн-* 848–851

«Примечания к ведомостям» 999–1001; «Предсказание» 1 января 1733 г. 1044; формы инфинитива 997–998, 1015; окончания прилагательных в им.-вин. мн. числа 997–999, 1016, 1062; параметры *а*-экспансии в косвенных падежах мн. числа 998–999

Принцип открытого текста *см.* **Открытая текстологическая традиция**

Принцип экономии 43–44

Приселков М. Д. 94, 260, 264, 266

Причастия: в книжном (письменном) и разговорном языке 200, 352, 375; частотность причастных оборотов как признак, дифференцирующий книжные и некнижные регистры 329–330, 456–459; рефлекс **tj* в формах действительных причастий настоящего времени 330–332, 375–376, 432, 661–662; краткие действительные склоняемые причастия как признак книжности 200, 238, 456, 859–860; согласованные причастия как признак книжности 331, 917; согласование причастий и его утрата 329, 384–385, 426–434, 457; связь наличия согласования с регистровыми оппозициями 433–434, 452–454, 457; нарушение согласования в летописях 410–416, 426–434; нарушение согласования в юридических текстах 375–380, 383–385; нарушение согласования в пергаменных грамотах 385–386, 393; нарушение согласования в

берестяных грамотах 385–387; причастия в качестве автономных предикатов 332, 374–375, 378–379, 387, 424–426, 460–461; причастный оборот с глаголом-связкой 387–388; причастия при глаголах восприятия 367–374; субъект причастного оборота в текстах разных жанров 375–376, 379, 381–384, 386–388, 393, 410–416, 421–422; повтор субъекта главной предикации в причастном обороте 420, 422–424, 449; функция причастных оборотов в организации нарратива 393–394, 402–407, 463–464; причастная трансформация как средство обеспечения единства периода 402; таксисное значение причастных оборотов 394–407, 461–462; причастные обороты в препозиции и постпозиции (значения) 376–377, 379, 381–384, 391–393, 394–409, 451–452, 457–458, 460, 462–463; препозиция причастных оборотов прошедшего времени и постпозиция причастных оборотов настоящего времени как особенность книжных нарративных текстов и маркер книжных регистров 394–399, 406–407, 409–410, 450–452, 458, 461; введение прямой речи с помощью причастного оборота 390–391, 403–405; причастные обороты, присоединяемые подчинительными союзами или относительными местоимениями 449; трактовка действительных причастий наст. времени Ломоносовым 1055; трактовка страдательных причастий наст. времени Ломоносовым 1054–1055; бессвязочное употребление страдательных причастий прош. времени 1126; трактовка причастий карамзинистами 1111; причастия от глаголов совершенного вида для выражения будущего времени 1135;

см. **Синтаксические конструкции, Союзы и частица же в главном предложении при препозитивном причастном обороте**

Причастные обороты, соединенные с главным предложением сочинительными союзами 332; функции и значение 435–437, 445–446, 449, 454–456; при вводе прямой речи 390–391; происхождение 438–439; в старославянских тек-

- стах 438, 441; в стандартном церковнославянском регистре 454–456; в летописях 440–448; в юридических текстах 380, 384, 390, 437; в деловых документах 390–391, 437; в берестяных грамотах 390, 437; связь с регистровыми оппозициями 384, 438, 448, 457; местоположение по отношению к главной предикации 439–446
- Проективность:** определение 470; нарушение проективности 470–473, 739, 966–967
- Произношение:** книжное 178, 185, 615, 662, 670, 676–677, 680–684, 692–693, 707, 722, 724–725, 729, 838–840, 843; /e/ в начале слова без йотации 696, 699; ѣ и є 154, 724–725, 729; еров 157, 717–719; ѿ 157; манерное «нежное» (шепелявые согласные) 16
- Прокоп (Прокопий) Сазавский** 132, 137–139
- Пролог** 229, 932
- Пролог 1431–1434 гг.** (РНБ, Ф. п. I. 48): рефлексы сочетаний редуцированных с плавными 719
- «Простой» язык (в XVII в. и в Петровскую эпоху):** генезис концепции «простоты» языка 889, 898, 905; «простота» в языке и религиозная борьба 898–901, 906; отличие от идей языковой простоты в Западной Европе 905–906, 908, 919; формирование «простой», или «русской мовы» как особого письменного языка Украины (Рутении) 900, 907, 909, 918; «простой язык» у южных славян 900–901, 908–909; «простой язык» в Московской Руси 901, 909–915; противоречие между традиционностью и понятностью 906–907, 909, 914–916, 918, 921–922, 987–989, 991; и регистры книжного языка 906, 919; и церковнославянский язык 908–915; декларации и их языковое воплощение 909–910; стандартный церковнославянский в качестве «простого» языка 909–915; гибридный церковнославянский в качестве «простого» языка 233, 237, 857, 915, 922–923; «простота» языка и литературный язык нового типа 930–931, 977, 982; в петровской языковой политике 945, 950–951, 954–960;
- см. Гражданское наречие*
- Просторечные слова, вульгаризмы:** как рубрика французского пуризма 1018; переосмысление данной рубрики в России 1020; отношение к ним в послепетровскую эпоху 1042–1043; как поэтическая вольность 1044
- «Простословие»** *см. Евдоким*
- Простые претериты (аорист, имперфект):** время их утраты в разговорном языке 608–618; как признак книжности 187, 200, 238, 242–244, 653, 656, 857, 959; связь с регистровыми оппозициями и жанровыми традициями 657; тематическая мотивированность употребления 244, 612, 656; зависимость употребления от нарративной стратегии 612; употребление в книжном нарративе 188, 607, 657; употребление в берестяных грамотах 234, 608, 612–614, 659; переосмысление (реинтерпретация) простых претеритов 253–254, 607, 651–657; связь с категорией вида 605–606, 652–653, 657; фиксация в грамматиках как отличительной черты церковнославянского 960; правка при переходе к «простому» языку 955, 959–960; окказиональное употребление в текстах на новом литературном языке 961;
- см. Аорист, Имперфект*
- Прохирон (Градский закон)** 219, 277–278, 287–289, 292, 294–295
- Псалтырь:** её роль в овладении книжным языком 108, 150, 158–161, 201, 208, 212, 230–231; согласование причастий 426
- Псалтырь 1552 г.** *см. Максим Грек*
- Псалтырь 1645 г.:** как учебная книга 160, 880
- Псалтырь Авраамия Фирсова** *см. Фирсов Авраамий*
- Псалтырь** (РГБ, ф. 304. I, Тр.-Серг., № 339/846) 862
- Псковская первая летопись:** дательный самостоятельный 344; паратактическое глагольное придаточное предложение 473; порядок слов 525
- Псковская судная грамота** 274, 285, 315; употребление причастий 378–380; несогласованные причастия 378–379; субъ-

ект причастных оборотов 379; причастные обороты в препозиции и постпозиции (значения) 379, 409; союзы в главном предложении при препозитивном причастном обороте 380, 390; причастные обороты, соединенные с главным предложением сочинительными союзами 380, 390; автономные причастные обороты 378–379; особенности режима интерпретации (эллипсис и лексический повтор) 497–499

Псковские летописи: характер текста 237

Птохопродром см. **Феодор Продром**

Птохопродромика 97, 117–118

Пуризм: как культурная установка 985; рецепция французского пуризма в России 1017–1027, 1037, 1058, 1089; славянизирующий пуризм 1040–1044, 1049–1058; трактовка пуризма карамзинистами 1110, 1114; трактовка пуризма «архаистами» 1114; пуризм как часть реставрационных процессов послереволюционных эпох 992, 1141, 1148–1149

пусть его 465

Путятина минея: написания рефлексов **dj* 665; тв. ед. о-склонения на -омъ/-ъмь 721, 733

Пуф(Ф)ендорф С. 933

Пушкин А. С. 75, 1105, 1109, 1135, 1145; влияние на него Карамзина и Шишкова и объединение литературных традиций «новаторов» и «архаистов» 1121–1125; трактовка причастий 1111; использование славянизмов 1123; макаронизм как стилистическое многоголосье 1123–1124; отказ от единой лингвистической установки в пользу выбора на основе авторского вкуса 1124; расширение диапазона стилистических средств литературного языка 1125, 1127; Пушкин и стабилизация русского языкового стандарта 1118, 1124–1127, 1131–1132; «Борис Годунов» 1122–1123; «Полтава» 1123; «Медный Всадник» 1123; «Мордвинову» 1123; «Гробовщик» 1128; статья «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен Крылова» 1825 г. 1122; письмо Н. И. Гречу от 21 сентября 1821 г. 1122; письмо А. Х. Бенкендорфу 1830 г. 1060

Пушкин В. Л. 1117

«**Пчела**» 123–124, 221, 227; дательный самостоятельный 335; согласование причастий 453–454; причастные обороты в препозиции и постпозиции (значения) 407–408, 450–451; субъект причастного оборота 410; причастные обороты, соединенные с главным предложением сочинительными союзами 455–456

Радим-Гауденций, епископ 136

Разговорный язык: в соотношении с письменным языком 20–26, 162–165, 466–475; жанры разговорного языка 467; выделение разговорного языка как особого регистра 26, 965–967, 1097, 1127; как ориентир русского литературного языка нового типа 1013–1014, 1026; отсутствие нормализованной разновидности 1003; как «природный» язык с точки зрения младограмматиков и структуралистов 34, 250; изображение живой речи в художественной литературе 1128

«**Разговоры дружеские. Дезидерия Ерасма**» 953

Ракан О. 1014

Раск Р. Х. 43

Регистры языка: репертуар регистров и их социокультурные параметры (социальная стратификация) 26, 30–31, 33–34, 69, 71, 207, 320–321; механизмы образования 320; процесс формирования и дифференциации 69, 749–815; автономность регистров 32–33, 36, 48; книжные и не-книжные регистры 174, 202, 320, 459, 500, 518, 894; регистровая корреляция 309, 331, 456–462, 464, 736, 763–764, 785, 894–895; регистры и риторические стратегии (соотносящие выбор регистра с коммуникативной ситуацией) 26, 31, 324, 488, 496, 501, 558, 607, 657, 737; регистры и грамматика 31–32; регистры и конфигурации орфографических вариантов 687–699, 736; регистры и конфигурации морфологических вариантов 48, 737, 739, 745, 747–748, 773–801, 1061–1062; регистры и изменение узуса 48–49, 324; регистры и норма 196, 787–788; интерференция языковых элементов (гибридизация) 69, 331–333, 474, 486, 501–502, 612, 661, 740, 761, 808, 845;

- разрушение регистровой дистрибуции 50, 69, 898, 961, 966, 970–979; вытеснение механизма регистров механизмом стилей 1035, 1059, 1087;
- см.* **Преимственность**
- Редуцированные гласные** *см.* **Еры**
- Режимы интерпретации** 488–490; легальный режим интерпретации 490–501;
- см.* **Юридическая (деловая) письменность**
- Ресавская справка** 825, 833
- Рефлексы сочетаний редуцированных с плавными:** написания 731–734, 838; фонетическая реализация 714–715; диалектные различия 714–718; второе полногласие 714–715; в разговорном и книжном произношении 717–719
- Рефлексы *CerC и *CelC:** отсутствие параллелизма в отражении *CerC и *CelC 726–730; правила выбора написания с **ѣ** или **ѥ** 729–730; написания с **рѣ** 731–735, 838; лексические параметры 728
- Рефлексы *dj:** их написания 185, 204, 309, 664–670, 673, 679–681, 686, 731–735, 836–837, 840, 877; в древненовгородском диалекте 308
- Рефлексы *or, *ol в начале слова** 191; приставка *роз-/раз-* в текстах гибридного регистра 246; в не книжных текстах 247; в текстах Петровской эпохи 976
- Рефлексы *sj:** в древненовгородском диалекте 308
- Рефлексы *skj, *stj, *sk' 681–683; в древненовгородском диалекте 308**
- Рефлексы *tj, *kt' 204, 681–683, 687; в древненовгородском диалекте 182, 308; правописание чоуж(ѡ)- 182–183**
- Рефлексы *zdj, *zgj, *zg перед передними гласными** 185, 679–681, 836; рефлексы *zdj в древненовгородском диалекте 308
- Рефлексы *zj 185; в древненовгородском диалекте 308**
- Реформа школьного образования в 1786 г.** 158
- Ржевский А. А.** 1080
- «Римские деяния»:** употребление прошедших времен 242, 656; формы инфинитива 805–806
- Римский патерик (Диалоги Григория Великого)** 87
- Римский патерик** (Вильнюс, БАН Литвы, ф. 19, № 3) 835
- Риторика:** в Европе и в России 928
- Риторические стратегии** *см.* **Синтаксические стратегии**
- Робинсон А. Н.** 119
- Рогов М. С., справщик** 897
- Рогожский летописец** 265
- Родде Якоб,** грамматика 1773 г.: кодификация форм прилагательных в им.-вин. мн. числа 1074
- Рождественская Т. В.** 87
- Романов Б. А.** 493
- Романчук Р.** 227
- Ромодановская В. А.** 867
- «Российская грамматика сочиненная Императорскою Российскою Академиею» 1802 г.:** кодификация форм прилагательных в им.-вин. мн. числа 1077; кодификация форм сравнительной степени 42
- Ростовский летописный свод:** его источники 266
- Роте Г.** 229
- Ротт-Жебровски Т.** 665
- Ружичка Р.** 396, 438–439
- «Руководство учителям первого и второго класса народных училищ Российской Империи»** *см.* **Янкович де Мириево**
- рукописание* 279
- Русская Правда** 52, 205, 211, 213, 273, 316, 389; отразившаяся в ней юридическая система 275–276, 279, 281–282, 284, 289–290, 291–292, 315; редакции 273, 284–285; основополагающая роль для не книжной письменности 273–274; риторическая структура 275–276; употребление причастий 330, 375–378, 389; нарушение согласования причастий 375–377, 378, 385; причастные обороты с дативным субъектом 375–377; причастные обороты в препозиции и постпозиции (значения) 376–377, 384, 408–409; союзы в главном предложении при пре-

- позитивном причастном обороте 378, 389–390; причастный оборот, присоединяемый относительным местоимением 449; особенности режима интерпретации 491–496; эллипсис 491–496; ранжирование казусов при помощи союзов 494–495
- Русский литературный язык (нового типа)** *см.* Языковой стандарт
- Русский язык в революционные эпохи:** трансформация лингвистического капитала 1141–1145, 1148–1151; культурная революция как лингвистическая революция 1141–1142; конгломерат разнородных явлений как характеристика языка революционной эпохи 1142; употребление заимствований 1141–1146, 1148–1150; легализация вульгарной, арготической и обценной лексики 1142–1143, 1148; переименования 1144; реставрация национального лингвистического капитала 1143, 1145–1146, 1148–1151
- Рыклин Г.** 1143
- Рылеев К. Ф.:** как представитель архаистов 1117; «Думы» 1117
- Рыцарский роман в России** 925
- Рычков П. И.,** ученик В. Н. Татищева 1041–1042
- Сабенина А. М.** 341–344, 346
- Савватий, инок:** челобитная о исправлении книг 873–874, 886
- Савватий,** справщик: стихотворные послания 896–897
- Саввина книга** 96; имперфект с аугментом 743; категория одушевленности 775
- Саввина Триодь:** объединение форм им. и вин. мн. (j)о-склонения 784
- Сазавский монастырь** 132–133; запрет славянского богослужения в нем 139
- Санкофф Дж.** 29
- «Санкт-Петербургские ведомости»,** газета 999
- Сатаров М.:** формы инфинитива в его узусе 997; окончания прилагательных в им.-вин. мн. числа 997
- Сато А.** 521, 538
- Сахарова А. В.** 338
- Сборник толкований XIII в.** (РНБ Q. п. I. 18): написания с **рѣ/ре** и **лѣ/ле** в рефlekсах **CerC*/**CelC* 728; полногласие в рефlekсах **CerC* 728
- Свербеев Д. Н.** 1091
- Свердлов М. Б.** 274
- Светов В. П.,** «Опыт нового русского правописания»: кодификация форм прилагательных в им.-вин. мн. числа 1073, 1075
- Светская литература:** отсутствие оппозиции духовной и светской литературы в древней Руси 219–223, 230; становление оппозиции духовной и светской литературы в XVII в. 231, 270, 925–927, 947;
см. Духовная литература
- Св. Писание** *см.* Библия
- Селищев А. М.** 275, 1143, 1146
- Семаков В. В.** 902
- Семенченко Г.** 293
- Сепир Э.** 33
- Селищев А. М.** 75
- Семенов В. А.** 407
- Семенов Николай,** ученик Лихудов 951
- Сендерович С. Я.** 259
- Серапион Владимирский** 215
- Сергеевич В.** 287
- Серман И. З.** 1021
- Сибирские летописи XVII в.:** параметры *а*-экспансии в косвенных падежах мн. числа 796, 799
- Сильвестр,** «Послание сыну Анфиму», входящее в Домострой 177
- Сильвестр Медведев,** стихи 270
- Симеон Метафраст,** Менологий 269
- Симеон Полоцкий** 791; его ориентация на грамматику М. Смотрицкого 791, 799–800, 910; использование им «ученого» церковнославянского в стихах и трактатах 887; возможное употребление им церковнославянского языка как разговорного 883, 920; употребление им простых претеритов в проповедях 910; стихи 270; предисловие к «Рифмологию» 910; отношение к заимствованиям 948; предисловие к «Вертограду многоцветному» 948; «Обед душевный»

- как текст на стандартном церковнославянском языке 909–910, 913; *а*-экспансия в косвенных падежах мн. числа и конфигурация вариантов 791, 799–800, 913; употребление простых претеритов и *л*-формы 910, 912; «Жезл правления» 918
- Симеон Тимофеевич**, «Наука христианская» 909
- Симон Азарьин**, Житие Дионисия Зобнинского *см.* **Наседка Иван**
- Симон Владимирский**, епископ 217
- Симоновская псалтирь посл. четв. XIII в.**: орфографические особенности 735
- Синайский патерик**: дательный самостоятельный 342; обозначение палатальных сонорных 702–704; нейтрализация противопоставления **ѣ** и **є** после палатальных согласных 724; рефлексы сочетаний редуцированных с плавными 719
- Синодальные минеи пер. пол. XII в.** 180
- Синодальный кондакарь XIII в.** (ГИМ, Син. 777): растяжение еров 708; рефлексы сочетаний редуцированных с плавными 718
- Синтаксис**: книжный в его противопоставлении разговорному 23, 67, 162–165, 325, 466–475, 479, 520, 968, 1097; связь с коммуникативным заданием 73, 325; ситуативный (ситуационный) синтаксис 23, 165, 471, 486, 966, 993, 1096; синтаксис логического развертывания 24, 125, 165, 209, 326–327, 472, 520, 966, 993, 1098, 1102, 1105; синтаксические кальки с греческого 24, 125, 502, 518, 519–520; синтаксические кальки с латыни 148; синтаксическая инверсия 956–957, 1102, 1112; влияние западноевропейских языков на синтаксис нового литературного языка 962, 968, 970, 992–994, 1096, 1099–1102, 1105, 1114; синтаксическая нормализация в русском литературном языке 487, 992–995, 1095–1105; синтаксическая реформа Карамзина 1097–1106, 1114; французское влияние на синтаксис Карамзина 1099–1103, 1105; ориентация Карамзина на разговорное употребление 1101–1102; линейная развертка текста 1103
- Синтаксические конструкции**: и регистры письменного языка 326–328, 332, 366, 456, 460–461, 479, 518; причастия в атрибутивной функции 331; субстантивированные причастия 331; *уже* с причастием 331; дательный самостоятельный 67, 331, 333–355, 456, 460; двойной винительный 25, 190, 331, 456, 661, 1136; винительный с инфинитивом (*accusativus cum infinitivo*) 67, 519; личная форма глагола *быти* с причастием наст. времени 67, 356–366, 456; причастия при глаголах восприятия 367–374; именительный самостоятельный 374, 417–424, 460; причастные обороты в нарративных текстах в сопоставлении с ненарративными 408–411, 415–416; паратактическое глагольное придаточное предложение 473–475; инфинитивная конструкция с субъектом в дативе 375, 377, 379–382, 384, 386, 393, 410–414; *яко(же)* + инфинитив 25, 67, 502–519; *еже* + инфинитив 519, 904;
- см.* **Глагол *быти* в личной форме с причастием настоящего времени, Повтор предлогов**
- Синтаксические (риторические) стратегии** 73, 165, 167, 174–175, 213, 652, 658; как элемент культурного наследия 24–25; и коммуникативные задачи 23, 30, 661; и выбор языковых средств 661; их закрепление за разными регистрами письменного языка 327, 330–332, 366, 374, 394, 466, 468–469, 737; главенствующая роль синтаксиса в конституировании регистра 325, 327; роль литературы в формировании синтаксических стратегий 1104; влияние публицистики на синтаксические стратегии 1134
- Сиповский В. В.** 994, 1121
- Сказание о Борисе и Глебе** *см.* **Борис и Глеб**
- Сказание о Мамаевом побоище**: причастные обороты в препозиции и постпозиции (значения) 400; причастные обороты, соединенные с главным предложением сочинительными союзами 444; формы инфинитива 802
- Сказание о предложении книг** 88, 96, 133, 137, 139

«Сказание о распространении христианства на Руси» 261

Сказание о русской грамоте 133–135, 137, 139, 140–141, 225; датировка 134, 137, 843; идеологическое задание 134, 137, 140, 883; фрагмент с упоминанием о «русских буквах» в Пространном житии Кирилла 132

Скилица 258

«Скифская история» см. Лызлов Андрей

Склонение существительных: вариативность, не релевантная для противопоставления регистров письменного языка 245–249; нормализация в рамках академической грамматической традиции и осмысление вариантов в генетических категориях 1004, 1007–1011; трактовка вариантов в качестве поэтических вольностей 1032–1033

Склонения (именные классы), а-склонение: род. ед. мягкой разновидности 323; род. ед. в новгородском диалекте 303, 309; дат.-местн. ед. мягкой разновидности 975, 1007, 1009; тв. ед. мягкой разновидности 1135; им.-вин. мн. мягкой разновидности 323; им.-вин. мн. в новгородском диалекте 309; тв. мн. на -ы как поэтическая вольность 1034

Склонения (именные классы), о-склонение: им. ед. м. рода 234, 303–304, 308, 312, 659; тв. ед. 720–723, 731–734; местн. ед. мягкой разновидности 249, 975; второй родительный и второй предложный падежи существительных м. рода 200, 975, 1054–1056; им. мн. на -ие как признак книжности 244; трактовка им. мн. на -ие в первых русских грамматиках 1010; объединение форм им. и вин. мн. 783–785; окончание -а в им. мн. м. рода 48, 753, 975, 1135, 1140; окончание -ы в им. мн. ср. рода 1135; род. мн. 872–873; дат. мн. 249, 998–999, 1010; тв. мн. 248, 998–999, 1010, 1032–1033; местн. мн. 975, 998–999;

см. А-экспансия

Склонения (именные классы), i-склонение: род. ед. 1010; местн. ед. 249; им. мн. на -ие как признак книжности 244, 249; объединение форм им. и вин. мн. 783–

784; параметры а-экспансии в косвенных падежах мн. числа 789

Склонения (именные классы), склонение на согласный: род. ед. 249, 975; объединение форм им. и вин. мн. 783; трактовка форм от основ *матер-*, *дочер-* в первых русских грамматиках 1007, 1009, 1011

Скоморошество 227

Сконефельд К. 629–630

Скорина Франциск, Библия 900, 922; вариативность в окончаниях прилагательных 249

Скоропись: её возникновение и орфографические особенности 891; южнославянское влияние на неё 891; в противопоставлении уставному письму 944–945; её влияние на гражданский шрифт 944

«Славенороссийский язык»: как синтез церковнославянского и русского 1024–1040, 1051, 1080–1081; как продукт стремления к полифункциональности 1116; как воплощение славянизирующего пуризма 1044; в понимании Тредиаковского 1028–1030; как объект карамзинистской критики 1107–1108

Славянизмы: как категория лингвистического описания 1022–1023; формальные признаки славянизмов 1023–1024, 1034; фиксация их в грамматиках русского языка 1004, 1007–1011; задача их устранения из литературного языка нового типа 1024–1025; как аналог латинизмов во французском языке 1022, 1026; как ученые слова 1020–1021, 1032; славянизмы как заимствования 1109; славянизмы как архаизмы 1109; как поэтические вольности 1032–1033, 1044, 1112; синтаксическая инверсия как славянизм 1112; проблема их легализации в новом литературном языке 1037, 1051; славянизмы как стилистическая категория в послепетровскую эпоху 1022, 1033, 1052–1056, 1112–1113; усвоение церковнославянской лексики новым литературным языком 1035, 1044–1049, 1112

Славянская письменность и славянское богослужение у западных славян в Х в. 132, 135, 139

- Славянское христианское единство (Slavia Christiana)** 131, 136–137, 138–144; контакты между древней Русью и Западом 138, 140–141
- Слово Ипполита Римского об Антихристе** 93
- Слово об Агапите** 257
- «Слово о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича»** 825
- «Слово о князьях»** 146
- Слово о Никите затворнике** 257
- Слово о гибели русской земли** 824–825
- Слово о полку Игореве** 78, 205, 222–223, 227, 235, 310, 824; как памятник формирующегося гибридного регистра 744; причастные обороты, сединенные с главным предложением сочинительными союзами 391, 405; инфинитивная конструкция с субъектом в дативе 503
- Сложные слова:** как специфически книжная лексика 126, 848, 1085; как характерная черта «древних» языков 1047; в связи с вопросом о богатстве и древности языка 1047, 1049; как черта поэтического языка 1047
- Служебные слова:** как признаки книжности 244; правка при переходе на «простой» язык 957, 959, 964
- Слуцкая псалтырь:** употребление йотированных букв 694; окончание *-тъ/-ть* в 3 л. презенса 720; обозначение палатальных сонорных 732; употребление юсов 732
- Смоленская грамота 1229 г.** *см.* Договор Смоленска с Ригой и Готским берегом 1229 г.
- Смотрицкий Мелетий**, «Грамматика» 1619 г. 865; и традиция Максима Грека 881; синтаксический раздел 888; суффикс *-ов-* в *й*-склонении 844; нормализация *а*-экспансии 791; кодификация числительных типа *трѣхъ*, *пятихъ*, *десятихъ* 844; орфографическая дифференциация омонимичных флексий 846–847; прилагательные с суф. *-тельн-* 851–852; вид глагола 850, 862; трактовка системы прошедших времен 882–883; 2 л. ед. числа прош. времени 872; переиздание 1648 г. 156, 871; переиздание 1721 г. 983; вариативность окончаний существительных 248; влияние на последующую грамматическую традицию 1002, 1004–1005
- Смутное время:** сочинения о Смутном времени 270
- Соболевский А. И.** 93, 96, 110, 119–120, 123, 146, 236–237, 298, 754, 762, 781, 834, 836, 840, 848, 864
- «Собрание разных слов и поучений на все воскресные и праздничные дни»** *см.* Гавриил (Петров)
- Сойе Ж.**, грамматика 983, 1005
- Соколова М. А.** 729, 894
- Сокольский В. В.** 287
- Сорокин Ю. С.** 1021, 1109, 1134
- Соссюр Ф. де:** представление о языке как о единой системе 15, 17–19, 26, 39, 43, 46, 755; об изменениях в языке 27, 29; тезис о первичности фонетической формы 21, 33; игнорирование языковой гетерогенности и критика Р. Херрисом 19
- Софийская II летопись** 269
- Софийская минея начала XII в.** (ГПБ, Соф. 188): смешение *ѣ* и *е* 725
- Социокультурные параметры в функционировании языка** 13, 15, 19
- Союзы и частица же в главном предложении при препозитивном причастном обороте** 378, 380–384, 389–390, 393, 449, 457
- Спафарий Николай**, трактаты 270, 883, 920
- Сперанский М. Н.** 848
- Способы глагольного действия** 850, 862
- Сравнительная и превосходная степень:** суффиксальные формы как признак книжности и их правка при переходе к «простому» языку 955; трактовка в первых русских грамматиках 41, 960, 1006, 1010
- Срезневский И. И.** 85, 635
- Сталин И. В.** 1147
- Станг Хр.** 772
- Стандартный древнерусский язык (Стандартная древнерусская система)** 309, 314, 317–318

Стандартный церковнославянский (регистр): общие характеристики и формирование 213–231; и результат действия механизма ориентации на образцовые тексты 209; нормализация в орфографии 663–670, 676, 686–687, 690, 730–737; употребление двойственного числа 754, 757–760; категория одушевленности 773–783; *а*-экспансия в косвенных падежах мн. числа 798; формы инфинитива 814; окончания им.-вин. мн. числа прилагательных 1061

Станислав И. 345

Станчев К. 90

Старославянский язык: значение термина 79–80; старославянский vs. церковнославянский язык 79; диалектная основа старославянского 183

«Статир» (РГБ, Румянц. 411): как текст на стандартном церковнославянском языке 909, 911; отношение автора к идеям грамматической нормализации 913–915; *а*-экспансия в косвенных падежах мн. числа и конфигурация вариантов 913; употребление простых претеритов и *л*-формы 912; смешение флексий аориста и имперфекта 913; формы инфинитива 912–913; окончания прилагательных в им.-вин. мн. числа 913

«Статьи, учиненные благорассмотрением Царя... Алексея Михайловича по совету с Святейшим Паисием, Папою и Патриархом Александрийским» 921

Стёб 1148

Степенная книга: употребление форм прошедшего времени 253–254, 654; дательный самостоятельный 348–350, 354–355, 460; глагол *быти* в личной форме с причастием настоящего времени 365–366; причастия при глаголах восприятия 374; повтор субъекта причастного оборота в главном предложении 424; причастные обороты в препозиции и постпозиции (значения) 400; именительный самостоятельный 420; причастие в качестве автономного предиката 425; нарушение согласования причастий 416–417, 433–434; причастные обороты, соединенные с главным предложением сочинительными союзами 444–446, 448;

причастный оборот, присоединяемый относительным местоимением 450; частица *же* в главном предложении при препозитивном причастном обороте 449; конструкция «яко + инфинитив» 513; лексические замены в текстах использованных источников 852–856; как источник «Скифской истории» Андрея Лызлова 927

Стефан Яворский: использование заимствований в проповедях 948

Стилистическая дифференциация языкового стандарта (нового литературного языка): её формирование 1002, 1019–1025, 1035–1044, 1088–1089; роль литературы в формировании стилистической нормы 1018, 1059–1060, 1084–1086; представление о чистоте стиля 1037, 1050; теория трех стилей 1050–1056, 1059; реформа Карамзина 1106, 1112–1113; расширение диапазона стилистических средств литературного языка в Пушкинскую эпоху 1125, 1127

Стиль: стилистические варианты 16

Стиль «плетения словес»: и исихазм 827–828; связь с эатизмом 828

Стихирарь 1157 г.: смешение *ѣ* и *є* 725

Стихирарь XII в. (ГИМ, Син. 279): написания *ч* и *ц* 180; пропуск еров 709; рефлексы сочетаний редуцированных с плавными 718; тв. ед. *о*-склонения на *-омъ/-ѡмъ* 722

Стихирарь нач. XIII в. (РГБ, ОР 740): тв. ед. *о*-склонения на *-омъ/-ѡмъ* 722

Стихосложение: силлабическое стихосложение 948

Стоглав: категория одушевленности 782

Стоукс Э. 828

Стоюнин В. Я. 1138

Страхова О. Б. 745–747

Стрыйковский М., «Хроника» 210

Студийский устав в редакции патриарха Алексея Студита 113, 123–124, 291; объединение форм им. и вин. мн. (*ѣ*)*о*-склонения 783

Суворов Н. С. 144, 295

Судебник 1497 г. 274, 276, 285; употребление причастий 380–382; нарушения со-

- гласования причастий 433; причастные обороты с дативным субъектом 381; причастные обороты в препозиции и постпозиции (значения) 381, 409; союзы в главном предложении при препозитивном причастном обороте 381, 390; особенности режима интерпретации (эллипсис и лексический повтор) 499
- Судебник 1550 г.** 274, 285; употребление причастий 382–383; причастные обороты с дативным субъектом 382–383; причастные обороты в препозиции и постпозиции (значения) 383, 409; союзы в главном предложении при препозитивном причастном обороте 383, 390; особенности режима интерпретации (эллипсис и лексический повтор) 499
- Судебник 1589 г.** 274, 285
- Суздальская летопись** (по Лаврентьевскому списку, продолжение по Академическому списку): нарушение согласования причастий 427; дательный самостоятельный 336; глагол *быти* в личной форме с причастием настоящего времени 361–363, 365; повтор предлогов 478, 486; конструкция «яко + инфинитив» 510; порядок слов при глаголах речи 541, 546–548, 559; порядок слов при глаголах движения 571–574, 587–588; порядок слов при переходных глаголах 594–596, 601–602; употребление имперфекта 610, 637–640; употребление плюсквамперфекта, в том числе как признака книжности 637–638; устранение плюсквамперфекта 640
- Сумароков А. П.** 932, 1025, 1080, 1090; как апологет классицизма 1058; о богатстве русского языка, происходящем от соединения русского с церковнославянским 1041, 1047; о греческом наследии в русском языке 1049; борьба с языком подъячих 1073, 1083; о языке Феофана Прокоповича 1035–1036; о духовной литературе и её языке 1087; полемика с Тредиаковским и Ломоносовым 1038, 1072–1074, 1083; отношение к нормализаторской деятельности академических филологов как педантизму 1038, 1071, 1081; критерий вкуса 1081, 1083; представления о единстве русского и церковнославянского 1038–1040; его языковая практика 1073–1074, 1081–1083; отношение к славянизмам 1037–1038; отношение к архаизмам 1039–1040; отношение к заимствованиям 985, 1041; отношение к разговорным формам 1038, 1044; трактовка форм прилагательных в им.-вин. ед. числа м. рода 1038; трактовка форм прилагательных в им.-вин. мн. числа 1060, 1071–1073, 1083; употребление у него форм инфинитива 1081–1083; трактовка форм сравнительной степени 41–42; «Хорев» 1039; «Две епистолы»: «Эпистола о русском языке» 1748 г. 1036–1041, 1073; «Эпистола (Епистола) о стихотворстве» 1050, 1059; «Тресотиниус» 1038; «Чудовища» 989; «О истреблении чужих слов из Русского языка» 1041; «О коренных словах Русского языка» 1041; статья «К типографским наборщикам» в «Трудолюбивой пчеле» в 1759 г. 1072; «К несмысленным рифмоторцам» 1038; «О правописании» 1768–1771 гг. 1038, 1072; «Примечание о правописании» 1072–1073, 1075, 1082; «Письмо от приятеля приятелю» 1059; «Некоторые статьи о добродетели» 1082; переложение 143-го псалма 1084; оды в «Ежемесячных сочинениях» 1073; эклоги 1082; другие стихи 1073
- Супрасльская рукопись** 96, 337, 417, 421
- Сухово-Кобылин А. В.** 1126
- Сухомлинов М. И.** 259, 263–264, 913
- Схедография** 114–115
- Сырейщиков Е. Б.**, «Краткая российская грамматика»: кодификация форм прилагательных в им.-вин. мн. числа 1075–1076, 1093
- Тактикон Никона Черногорца** 217
- Тарабасова Н. И.** 792
- Тарасий Земка** 901
- Татищев В. Н.:** о языке законодательства 1088; противопоставление русских и церковнославянских форм в его словарях 1023–1024; отношение к заимствованиям 1019, 1041; переход к «простому» языку во второй редакции «Истории российской» 959–960; «Разговор дву

- приятелей о пользе науки и училищах» 154, 1041; относительные придаточные предложения в «Разговоре» 965; письмо В. К. Третьяковскому от 18. II. 1736 г. 988, 1041; переписка с П. Рычковым 1041
- Тауберт И. И.** 1012
- Тахиаос А.** 103
- Творительный предикативный:** расширение сферы его употребления за счет конструкций с винительным падежом 1135
- Творогов О. В.** 92, 341, 506–507
- Тематические ключи** 226, 231–232
- Теннен Д.** 468–469
- Теория трех стилей:** западноевропейские образцы 1050; её русская трансформация 1050–1056
- Тернер С.** 522–523, 525–529
- Тесинг Ян** 937; издание басен Эзопа 942
- Тестелец Я. Г.** 470
- Тимберлейк А.** 24, 45–46, 111, 462, 529, 561, 564, 741–742, 745–746, 765, 768, 770–772
- Тимофей пономарь,** писец 211, 267; его записи на Лобковском прологе 1282 г. 177
- Типографский устав XI–XII вв. (ТУ)** (Третьяковская галерея, К-5349): употребление йотированных букв 675, 701; пропусков 709; рефлексy сочетаний редуцированных с плавными 575, 717–718; переход **ѣ** в **е** при растяжении 724; смешение **ѣ** и **е** 575, 725
- Типографское евангелие XII в. (РГАДА, ф. 381, № 6):** тв. ед. о-склонения на -омѣ/-ѣмь 723
- Тихомиров М. Н.** 274
- «Тлъкования неудобъ познаваемомъ въ писаныхъ рѣчьмъ»** 877
- Толковое евангелие Феофилакта Болгарского** см. **Феофилакт Болгарский**
- Толстовский сборник XIII в. (ГПБ, Ф. п. I. 39):** рефлексy *zgj, *zđj, *zg перед передними гласными 680; рефлексy сочетаний редуцированных с плавными 718
- Толстой Л. Н.** 1135; «Чем люди живы?» 1137; статья «О языке народных книжек» 1137
- Толстой Н. И.** 237, 322
- Томасон С.** 29
- Томпсон С.** 764
- Томсон А. И.** 765
- Томсон Ф.** 108, 110–112, 220
- Топоров В. Н.** 276
- Тот И.** 694, 711, 721
- Трафареты:** их активация 170, 172, 257; их переосмысление 352, их роль в обеспечении языковой преемственности 402; динамика трафаретов 514, 516, 777; трафареты с использованием имперфекта 620, 625–627, 631, 639–640; трафареты с использованием дательного самостоятельного 352; трафареты с использованием причастных оборотов 399, 402–403, 451–452, 455; трафареты с использованием конструкции «яко + инфинитив» 507–518; трафареты, связанные с порядком слов 530, 532, 567; трафареты, связанные с одушевленностью 777
- Третьяковский В. К.** 921, 941, 1001, 1012, 1025, 1112; оценка им гражданского шрифта 942; его языковая программа в 1730-е гг. 1012–1013, 1111; позднейшее развитие его лингвистических взглядов 1028–1032, 1037, 1063–1064; представление о природном единстве русского и церковнославянского 1028–1032, 1064, 1115; представление о «чистоте» церковнославянского языка 1036; представление о лингвистической учености 1037; его языковая практика 1014–1016, 1032; сотрудничество с В. Е. Адодуровым 1012; знакомство с грамматикой И.-В. Пауса 1028, 1032; о достоинствах русского языка 1046; отношение к спору «древних» и «новых» 1047; его грекофильство 1047; относительные придаточные предложения в переводе «Военного состояния Оттоманской империи» де Марсильи 963–964, 994; трактовка лексических архаизмов 1019, 1039; трактовка заимствований 1019, 1040; использование сложных слов 1047; просторечная лексика в переводах итальянских пьес 1020; отношение к просторечным формам 1042–1043; разговорное употребление как критерий нормализации 1014, 1069;

- трактовка форм инфинитива 1015, 1032; высказывания о формах инфинитива в «Новом и кратком способе к сложению российских стихов» 1015; трактовка и употребление форм прилагательных в им.-вин. мн. числа 1014–1016, 1030, 1061–1067, 1071, 1073; трактовка форм, связанных с *а*-экспансией в косвенных падежах мн. числа 1032–1033; употребление форм тв. мн. 1032–1034; трактовка поэтических вольностей 1015, 1032, 1044; отношение к нерифмованному стиху и рифме 1047–1048; стратегия эпатажа 1021; перевод «Езды в остров любви» П. Тал(л)емана 247, 1012, 1014–1016, 1019, 1021, 1029, 1062; «Ода о взятии города Гданска» 1040, 1063; «Рассуждение о оде во обще» 1050, 1063; Речь к Российскому собранию 1735 г. 1014, 1017–1018, 1057; «Письмо некоего россиянина» 1014; перевод «Военного состояния Оттоманския империи» де Марсильи 1021; переложение 143-го псалма 1084; «Истинная политика знатных и благородных особ» 1063; «Слово о витийстве» 1029, 1064; «De plurali nominum adjectivorum integrorum... terminatione» 1063, 1065; «О правописании прилагательных» 1030, 1066; предисловие к «Римской истории» Ш. Роллена 1047; «Разговор об орфографии» 1030, 1042, 1064–1065, 1068; переложение Псалтыри 1032–1033, 1058; «Письмо от приятеля приятелю» 1044; предисловие к «Аргениде» 1040; ода «О сдаче города Гданска» в редакции 1752 г. 1040; эпиграмма «Не знаю кто певцов...» 1043; «О правописании прилагательных» 1062; «О множественном прилагательных имен окончании» (вариант 1755 г.) 1043; «О древнем, среднем и новом стихотворении российском» 1048; «Три рассуждения» 1040, 1046; «Тилемахида» 1032–1034, 1046–1048
- Тринадцать Слов Григория Богослова** см. Григорий Богослов
- Триоди Цветная и Постная 1403 г.** (ГИМ, Усп. 7-перг. и ГИМ, Усп. 6-перг.) 835
- Триодъ постная 1648 г.:** правка для издания 1656 г. 847
- Троицкая летопись:** вопрос об авторстве 761
- Троицкий сборник XII–XIII вв.** (РГБ, 304. I, Тр.-Серг. № 12) 674; написания рефлексов **dj* 668–669; написания рефлексов **zg* перед передними гласными 669; употребление юсов 673–674; обозначение палатальных сонорных 705
- Троянская повесть** 242, 246
- Трубачев О. Н.** 843
- Трубецкой С. Н.** 22, 65, 99–100, 199, 225, 236–237, 700, 1140
- Тургенев И. С.** 1132
- Турилов А. А.** 831–832, 838, 840
- Туровские листки:** тв. ед. *о*-склонения на *-омъ* 721; употребление юсов 732; формы 3 л. презенса 732
- Тучков В. М.,** составитель второй редакции **Жития Михаила Клопского** (см.) 368, 481, 517, 556, 588, 603, 647, 855, 857
- Тырновская справа** 825, 833
- Тяпинский Василий** 900
- Уваров С. С.** 1117
- Ужевич И.** 907
- Уинфорд Д.** 58
- Указ Алексея Михайловича 1675 г.** 210
- Указ Петра II от 16 октября 1727 г.** 999
- Уложение 1649 г.** 274, 285, 972; правка типографских справщиков 813–814; параметры *а*-экспансии в косвенных падежах мн. числа 793–794, 797–799, 972; формы инфинитива 812–814, 895; параметры употребления окончаний прилагательных в им.-вин. падеже мн. числа 895; лексический повтор в относительных придаточных предложениях 499–500, 968–969
- Унбегаун Б. О. (Б. Г.)** 77, 274, 277–278, 285, 789, 893, 962
- Уоллис Ф.** 218
- Уортли Дж.** 85, 218
- Упирь Лихой, поп:** колофон на рукописи Пророков с толкованиями 1047 г. 96
- Успенский Б. А.** 36, 39–40, 44, 51, 53, 56, 61–67, 83, 95, 128, 195, 225, 268, 274, 615, 681, 699, 710, 717, 724–725, 745, 831, 840,

- 846, 853, 872, 886, 891, 913, 921, 1037, 1054, 1066, 1100–1101, 1120
- Успенский Г. И.** 1135
- Успенский кондакаръ 1207 г.** (ГИМ, Усп. 9): растяжение еров 708; рефлексy сочетаний редуцированных с плавными 718
- Успенский сборник XII в.** (УС): орфографические системы писцов 675–676, 730, 735; правописание *чюж-/щюж(д)-* 182; различение *ѣ* и *к* 697; смешение *ѡ* и *ѡ* 676; написания с *рѣ* в рефлексах **CerC* 727; написания с *лѣ/лѣ* в рефлексах **CelC* 728; имперфект с аугментом 746; объединение форм им. и вин. мн. 783; дательный самостоятельный 345
- Устав Владимира** 118, 144, 282, 295, 854
- Устав Ярослава** 118–119, 295
- Устав церковный 1437–1438 гг.** (ГИМ, Син. 331) 835
- Уставная грамота от 30. IV. 1654 г.** 921
- Устюгова Л. М.** 198
- Устюжский летописный свод** 342
- «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей»** 972; влияние приказной нормы 896; *а*-экспансия в косвенных падежах существительных *о*-склонения и конфигурация вариантов 894, 972; формы инфинитива 895; лексический повтор в относительных придаточных предложениях 969
- Учительное Евангелие Константина Преславского** 93; по ркп. ГИМ, Син. 262, XII в.: обозначение палатальных сонорных 702
- Ушаков В. А.** 1126
- Ушаков Д. Н.**, «Словарь русского языка» 1146–1148
- Фаддей, иеромонах**, писарь Киево-Печерской лавры: использование им форм вин.=им. мн. одушевленных существительных 782
- Фаре Н.** 1018
- Федер У.** 94, 96, 133
- Федоров Иван:** влияние на него Максима Грека 881
- Федотов Г. П.** 145
- Фелдбругге Ф.** 296
- Фенне Тонни**, предисловие к разговору 1607 г. 945
- Феннелл Дж.** 828
- Феодор, диакон**, старообрядческий писатель 874
- Феодор Продром** 97, 103, 105, 116–117
- Феодор Студит** 102–103
- Феодосий Печерский:** и перевод Студийского устава 113; Послание Изяславу Ярославичу 104, 128
- Феокист, старец**, стихотворная переписка со старцем Ларионом: формы 2 лица презенса на *-шь* 897; формы прилагательных в им. мн. м. рода и вин. мн. ср. рода 897
- Феофан**, писец *см.* **Галичское евангелие**
- Феофан (Прокопович)** 932, 960; его отношение к церковнославянскому 908, 981–982, 1013; язык его проповедей 1035–1036; «Правда воли монаршей» 933; предисловие к «Библиотеке» Аполлодора 935, 953; «Риторика» 928; «История Петра Великого» и правка в ней 244, 247, 958–959, 977; относительные придаточные предложения в «Истории» 965, 971; морфологическая вариативность в «Истории» 976–977; приставка *роз-/раз-* в «Истории» 976; «Духовный Регламент» 981, 1013; «Первое учение отроком» 153; Слово «на похвалу Петра Великого» 934; «Слово о власти и чести царской» 980
- Феофилакт Болгарский, архиепископ Охрида** 106; Толковое Евангелие 124; по сп. XII в. 692
- Феофилакт (Лопатинский)** 952, 980
- Феофилакт (Русанов), митрополит**, «Поучительные слова и речи»: употребление форм прилагательных и причастий им.-вин. мн. числа 1094; употребление форм инфинитива 1095; употребление простых претеритов 1095; употребление конструкции «яко+инфинитив» 1095
- Фергусон Ч.** 54–62, 69–70
- Ферран М.** 352
- Физиогномика к. XVII в.** (ГИМ, Увар. 613) 271; вариативность в склонении прилагательных 249

Филарет (Гумилевский), епископ 1087

Филиппова И. С. 810

Филофей, патриарх константинопольский 826; Послание Сергию Радонежскому 830

Фирсов Авраамий, Псалтырь: характер текста и его источники 915–916; как текст на гибридном языке 233, 916–918, 923; употребление прошедших времен 916–917; ошибки в образовании форм аориста 917; согласование причастий 917; формы инфинитива 917–918; окончания прилагательных в им.-вин. мн. числа 918

Фишман Дж. 59

Флайер М. 128

Флорилегии 221, 227

Флоровский А. В. 136–137, 140

Флоровский Г. В., протоиер. 889

Флоря Б. Н. 137, 142–143

Фонвизин Д. И. 1107; трактовка проблемы согласования церковнославянского и русского элемента 1086, 1106; перевод «Иосифа» Битобе 1085, 1102, 1108, 1111; «Слово на выздоровление великого князя Павла Петровича» 1085; «Каллисфен» 1085, 1102; «Чистосердечное признание» 1102; перевод «Похвального слова Марку Аврелию» 1085; письма из Италии и Франции 1106

Фонвизин П. И. 1080

Фонтенель Б. 1048

Фотий, патриарх константинопольский 80–81, 101, 103–104

Фотинов К. 923

Фразеология: греческое влияние на книжную фразеологию 126

Франклин С. 108, 113, 116, 280–281, 289–291, 316, 318

Французский язык: как объект пуристической нормализации 1017–1018; в отношении к латыни 1021; как один из «новых» языков 1046; его бедность 1046; как образец для русского языка 1021, 1109–1110, 1113; как разговорный язык в России 1116

Функциональные характеристики языковых элементов в противоположность генетическим 183–204;

см. **Вариативность в языке, Гетерогенность**

Хабургаев Г. А. 79, 307, 618, 756, 763, 770, 776, 894

Хадсон А. 58

Херасков М. М. 932

Херрис Р. 19, 21

Хобсбаум Э. 824

Ходкевич Г. А., предисловие к Евангелию Учительному 1569 г. 900

Хождение на восток Василия Познякава с товарищи 458

Хождение Трифона Коробейникова 458

Хождение Даниила игумена: порядок слов 522; порядок слов при глаголах движения 561–562; порядок слов при переходных глаголах 589

Хождение за три моря Афанасия Никитина: согласование причастий 459; причастные обороты в препозиции и постпозиции (значения) 459; причастные обороты, соединенные с главным предложением сочинительными союзами 459

Хождения: связь с гибридным регистром 270; как не книжные нарративные тексты 458

Холлидей М. 164, 468

Хоппер П. 764

Храбр, черноризец 883

Храповицкий А. В. 1089

Христианская топография Козьмы Индикоплова 124, 220–221

Христинопольский апостол: рефлексy сочетаний редуцированных с плавными 718

Хроника Георгия Амартола 108–109, 123, 126, 257, 260, 321–322, 411, 507–508, 632

Хроника Козьмы Пражского 264

Хроника Феофана 264

Хронограф 927

Хронограф по великому изложению 260, 411

Хютль-Фольтер Г. 61, 193–195, 962–963

Царственная книга: употребление форм прошедшего времени 254

Цветная триодь XI–XII вв. (РГАДА, ф. 381, № 138): обозначение палатальных сонорных 702

Цезен Ф. фон 985

Целунова Е. А. 915–918

Церковнославянский язык: значение термина 77–79; время появления церковнославянской книжности на Руси 89; как язык литургии 129–131; и основной корпус текстов (Св. Писание и богослужение) 175, 218, 226, 230–231, 233, 270–271, 321; как литературный язык древней Руси 52–53; как книжный язык древней Руси 51, 76; взгляд на него А. А. Шахматова 52–53; взгляд на него С. П. Обнорского 52–53, 274; овладение им на Руси из опыта чтения 130, 175; и формирование регистров 68, 321; его эволюция 53; развитие грамматического подхода к нему 857–880; как «святой» язык 883–887; как «ученый» язык 880–887, 891, 923–924; расширение его функционирования в XVII в. 883, 887, 919–921; восприятие церковнославянского языка как полифункционального литературного языка эллинофилами в конце XVII – начале XVIII в. 951; концепция чистоты церковнославянского языка в послепетровскую эпоху 1036–1040; восприятие его как языка «церковных книг» 986, 1035, 1058; роль языка «церковных книг» в формировании языкового стандарта 1059; его природное единство с русским 1028–1035; как компонент «славенороссийского» языка 1032, 1039; его отличия от «славенороссийского» 1035; восприятие церковнославянизмов как элементов возвышенного (аффектированного) стиля 1035, 1051, 1087; как «древний» язык, унаследовавший богатство греческого и передавший его русскому языку 1044–1049, 1110; вытеснение его литературным языком нового типа 1086–1087;

см. **Письменный язык**

Церковный суд: его компетенция в древней Руси 143–144

Цитович П. 279

Цукерман К. 85

Часослов: его роль в овладении книжным языком 201, 208, 212, 231, 913; согласование причастий 426

Частица же в главном предложении при препозитивном причастном обороте 378, 380–384, 389–390, 393, 449

Частная переписка XVII в.: параметры *а*-экспансии в косвенных падежах мн. числа 792; формы инфинитива 810

Чейф У. 467

Челобитная елецкая 1625 г. 319, 689

Челобитная Луки Дырина 1681 г.: лексический повтор в относительных придаточных предложениях 969

Черепнин Л. В. 300

Черкасова Е. Т. 962

Чернов В. А. 902

Чернышев В. И. 1135–1136, 1140

Четвероевангелие 1472 г. (РГБ, ф. 304. I, Тр.-Серг., № 66): категория одушевленности 778

Четвероевангелие 1481 г., запись попа Иоанна 841

Чижевский Дм. 224

Числительные: типа *трѣхъ, пятихъ, десятихъ* 844; типа *вторыианадесять* 1054

Чудеса св. Николая Чудотворца *см.* **Николай Чудотворец**

Чудовская псалтырь XI в.: написания рефлексов **dj* 664, 733; написания редуцированных с плавными 733; неорганические еры 710; объединение форм им. и вин. мн. (*ј*)о-склонения 783

Чудовский Новый Завет: его связь с вторым южнославянским влиянием 829; акцентуация 614–615, 829; орфографические особенности 829

Чулков М. Д., «Пригожая повариха» 1102

Шахматов А. А. 52–53, 67, 84, 91, 133–135, 137, 205, 257–260, 265, 275, 281, 306, 411, 416, 429, 473, 676–677, 718, 793

Шванвиц М. 997, 1012, 1080; его отношение к церковнославянскому 1001, 1008; «Немецкая грамматика» 1730 г. 1000; зависимость её от Пауса 1000; кодификация в «Немецкой грамматике» прилагательных в им.-вин. мн. числа 1015–

- 1016, 1062; «Compendium Grammaticae Russicae» 1731 г. 1016; отредактированное Адодуровым издание «Немецкой грамматики» 1734 г. 1063
- Шевелева М. Н.** 719
- Шевченко И. И.** 102, 208, 226
- Шевырев С. П.** 1099
- Шепард Д.** 281
- Шереметевский В. П.** 1139
- Ширинский-Шихматов С. А.** 1117
- Шишков А. С.:** языковая программа 1114–1117; признание единства природы русского и церковнославянского 1114–1115; отношение к разговорным формам 1114; отношение к заимствованиям и калькам 1115, 1144; отношение к неологизмам 1115; приверженность высоким жанрам 1117; влияние Гердера 1116
- Шлецер А.** 259–260
- Шляпкин И. А.** 116–117
- Шоберг А.** 1002
- Шоттель Ю. Г.** 985
- Шпет Г. Г.** 132
- Штелин Я.** 996
- Штоль С.** 609, 742, 745
- Шумахер И. Д.** 1064, 1068
- Щапов Я. Н.** 89, 118–119, 144, 287, 293, 295
- Щепкин В. Н.** 698
- Щерба Л. В.** 1147
- Щербатов М. М.** 958; о языке законодательства 1088
- Эверс И. Ф.** 492
- Эклога** 89, 277–280, 282, 286–288, 293, 295
- элита** 1149
- Энклитики:** формы косвенных падежей местоимения и 744
- Эстетический выбор (вкус) как критерий языкового употребления** 1013
- «Юности честное зерцало»** 247; морфологическая вариативность 977
- Юридическая (деловая) письменность:** как отдельный языковой регистр 273–274, 297, 314–320, 497; её место в иерархии некнижных текстов 322; употребление в ней на Руси некнижного (делового) языка 202, 317; оппозиция терминологических систем книжного и некнижного права 277–280; эволюция языка восточнославянского права 284–285, 296; славянизация юридической терминологии 285–286, 296; нормы делового письма 309, 316–320, 663, 793–794, 799–800, 891–896; режимы интерпретации 488–501; эллипсис как основное средство обеспечения связанности в древнерусских юридических текстах 491–496; лексический повтор как основное средство обеспечения связанности в старорусских юридических текстах 496–501, 891, 967, 995; гипотаксические конструкции 326; порядок слов 584–586; употребление церковнославянского языка в юридических текстах XVII в. 1988–1089; см. **Некнижные тексты, Право у восточных славян**
- Юрьевское евангелие 1119–1128 гг.:** написания рефлексов **dj* 667; имперфект с аугментом 744, 747–748; объединение форм им. и вин. мн. (j)о-склонения 784
- Юсы:** этимологически правильное употребление 731–735, 839; ж в противопоставлении *оу* и *у* 673, 685, 691–692, 702, 836, 839; ж в роли варианта *ю* 692; исчезновение ж в древнерусский период 685, 692; введение ж в период второго южнославянского влияния 836; *а* в противопоставлении *а* и *я* 690–691, 836; исчезновение йотированных юсов 674, 685, 692–693; мена юсов 839; *нж* вместо *нъ* и *но* 839
- Ягич И. В. (В.)** 152–153, 170, 725, 864
- Ягодич Р.** 225
- Язык:** проблематичность определения 11; его социальная природа 27–30; как система 12–13, 15, 17, 30; в интерпретации Ф. де Соссюра 15, 17–19, 26–27, 33, 755–756; системность в лексике 17; гетерогенность в языке 12–20, 28–29, 47, 50, 60, 68, 195; диахроничность языковой деятельности 15
- Языковая ситуация древней Руси:** специфика 51; в сравнении с Византией 97–100; роль церковнославянского 51–53; отношения между церковнославянским и восточнославянским 54, 61–68
- Языковая рефлексия** 21

Языковой стандарт (русский литературный язык нового типа): свойства 11, 40, 50; как социальный регулятор 21, 38; владение им как символическая ценность в социуме (лингвистический капитал) 37–38, 70, 1077, 1136–1151; связь с каноном национальной литературы 38, 40; его обусловленность нормализаторской деятельностью 38; возникновение русского литературного языка нового типа 930; секуляризация и формирование нового языкового стандарта 930–931; противопоставление традиционного книжного языка и литературного языка нового типа 198, 930–931, 936; связь русского литературного языка с гибридным регистром книжного языка 960; его элитарная ограниченность на стадии формирования 931, 995, 1015, 1060; его неустойчивость 1060–1078, 1083, 1089, 1107; гетерогенность языкового стандарта 946, 1050–1056, 1059, 1081–1084; «простота» языка и литературный язык нового типа 930–931, 950, 960, 977, 982; академическая традиция в формировании русского языкового стандарта 996–1015, 1080; ориентация нового литературного языка на разговорное употребление 1013–1014, 1026; французское влияние и концепция чистоты языка 1014, 1017–1056; синтаксис нового литературного языка 966–968, 1096; устранение морфологической вариативности 996–997, 1002–1003, 1025, 1054–1056, 1077; представления о чистоте языка в послепетровскую эпоху 1014–1015; концепция «славенороссийского» языка 1028–1056; усвоение церковнославянской лексики новым литературным языком 1035, 1044–1049, 1051; ориентация на язык литературы (образцовых авторов) и роль литературы в формировании языкового стандарта

1025, 1057–1058, 1084–1086, 1095–1097, 1104–1106, 1125; языковой стандарт и задачи литературного сочинительства 1015, 1057–1058; дворянская апроприация языкового стандарта и его социальный престиж 1079–1086, 1089; распространение русского языка в духовной литературе 1086–1089; распространение русского языка в административно-деловой сфере 1088–1089; полифункциональность языкового стандарта 931, 1060, 1086–1095, 1106, 1127, 1133, 1151; универсальность языкового стандарта и его социальные параметры 931–932, 1137; языковой стандарт и школьное образование 1090, 1125, 1138; общеобязательность языкового стандарта 1083, 1091–1095, 1106, 1127, 1135; нормализация и кодификация нового литературного языка 990, 1059, 1061–1078, 1080, 1094, 1106, 1127; стабилизация языкового стандарта 1118, 1124–1127, 1131–1136; расширение его социолингвистических параметров и снижение роли изысканной словесности за счет роли прессы 1132; преемственность в дальнейшей эволюции языкового стандарта 1134, 1136; динамика языкового стандарта в XX – начале XXI в. 1141–1151;

см. **Стилистическая дифференциация языкового стандарта, Русский язык в революционные эпохи**

Якобсон Р. О. 29, 86, 843

Яламас Д. 952

Янин В. Л. 86, 692, 711

Янкович де Мириево Ф. И., «Руководство учителям первого и второго класса» 1783 г.: 169, 1091, 1095; кодификация форм прилагательных в им.-вин. мн. числа 1076, 1093

Ярин А. Я. 967

КНИГИ, ВЫПУЩЕННЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ УНИВЕРСИТЕТА ДМИТРИЯ ПОЖАРСКОГО (РУССКИЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ)

Более подробную информацию о наших книгах (аннотации, оглавления, отдельные главы) вы можете найти на сайте www.s-and-e.ru

ГЕОПОЛИТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ:

1. *Валлерстайн Иммануил.* Мир-система Модерна. Том I. Капиталистическое сельское хозяйство и истоки европейского мира-экономики в XVI веке. *Wallerstein Immanuel.* The Modern World-System I. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century / предисловие Г. М. Дерлугьяна; пер. с англ., литер. редакт., комм. Н. Проценко, А. Черняева. М., 2015, 2016.
2. *Валлерстайн Иммануил.* Мир-система Модерна. Том II. Меркантилизм и консолидация европейского мира-экономики, 1600–1750. *Wallerstein Immanuel.* The Modern World-System II. Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600–1750 / пер. с англ., литер. редакт., комм. Н. Проценко. М., 2015, 2016.
3. *Валлерстайн Иммануил.* Мир-система Модерна. Том III. Вторая эпоха великой экспансии капиталистического мира-экономики, 1730–1840-е годы. *Wallerstein Immanuel.* The Modern World-System III. The Second Era of Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730s–1840s / пер. с англ., литер. редакт., комм. Н. Проценко. М., 2016.
4. *Валлерстайн Иммануил.* Мир-система Модерна. Том IV. Триумф центристского либерализма, 1789–1914. *Wallerstein Immanuel.* The Modern World-System IV. Centrist Liberalism Triumphant, 1789–1914 / пер. с англ., литер. редакт., комм. Н. Проценко. М., 2016.
5. *Зверев В. О.* Иностраннный шпионаж и организация борьбы с ним в Российской империи (1906–1914 гг.). М., 2016.
6. *Кикнадзе В. Г.* Невидимый фронт войны на море. Морская радиоэлектронная разведка в первой половине XX века. М., 2011.
7. *Козлов Д. Ю.* Нарушение морских коммуникаций по опыту действий российского флота в Первой мировой войне (1914–1917). М., 2013.
8. *Котельников В. Р.* Отечественные авиационные поршневого моторы 1910–2009. М., 2010.
9. *Липкин М. А.* Советский Союз и интеграционные процессы в Европе: середина 1940-х – конец 1960-х годов. М., 2016.
10. *Люттвак Эдвард Н.* Возвышение Китая наперекор логике стратегии. *Luttwak Edward N.* The Rise of China vs. the Logic of Strategy / пер. с англ. Н. Н. Платошкина. М., 2016.
11. *Люттвак Эдвард Н.* Стратегия: логика войны и мира. *Luttwak Edward N.* The Strategy: Logic of War and Peace / пер. с англ. А. Н. Ковалева, Н. Н. Платошкина. М., 2012, 2015, 2016.
12. *Люттвак Эдвард Н.* Государственный переворот: практическое пособие. *Luttwak Edward N.* Coup d'État: Practical Handbook / пер. с англ. Н. Н. Платошкина. М., 2012, 2015.
13. *Мазов С. В.* Холодная война в «сердце Африки». СССР и конголезский кризис, 1960–1964. М., 2015.
14. Многосторонняя дипломатия в биполярной системе международных отношений / отв. ред. Н. И. Егорова. М., 2012.
15. *Петров П. В.* Краснознаменный Балтийский флот накануне Великой Отечественной войны: 1935 – весна 1941 гг. М., 2016.
16. *Платошкин Н. Н.* Весна и осень чехословацкого социализма. Чехословакия в 1938–1968 гг. Часть 1. Весна чехословацкого социализма. 1938–1948 гг. М., 2016.
17. *Платошкин Н. Н.* Весна и осень чехословацкого социализма. Чехословакия в 1938–1968 гг. Часть 2. Осень чехословацкого социализма. 1948–1968 гг. М., 2016.
18. *Рашид Ахмед.* Талибан / пер. с англ. М. В. Поваляева. М., 2003.

19. *Свойский Ю. М.* Военнопленные Халхин-Гола. История бойцов и командиров РККА, прошедших через японский плен. М., 2014.
20. *Симонов Н. С.* Военно-промышленный комплекс СССР в 1920–1950-е годы: темпы экономического роста, структура, организация производства и управление. М., 2015.
21. *Симонов Н. С.* Несостоявшаяся информационная революция: условия и тенденции развития в СССР электронной промышленности и средств массовой коммуникации. Часть I. 1940–1969 годы. М., 2013.
22. *Симонов Н. С.* Очерки истории банковской системы России. 1988–2013 гг. М., 2016.
23. *Симонов Н. С.* Развитие электроэнергетики Российской империи: предыстория ГОЭЛРО. М., 2016.
24. *Степанов А. С.* Развитие советской авиации в предвоенный период (1938 – первая половина 1941 года). М., 2009.
25. *Стыкалин А. С.* Венгерский кризис 1956 года в исторической ретроспективе. М., 2016.
26. *Томиока Садатоси.* Политическая стратегия Японии до начала войны. М., 2016.
27. *Тумшис М. А.* Щит и меч Советского Союза. Справочник: краткие биографии руководителей органов государственной безопасности СССР и союзных республик (декабрь 1922 – декабрь 1991 гг.). М., 2016.
28. *Тумшис М. А., Золотарёв В. А.* Евреи в НКВД СССР. 1936–1938 гг. Опыт биографического словаря. М., 2016.
29. *Улунян Ар. А.* Балканский «щит социализма». Оборонная политика Албании, Болгарии, Румынии и Югославии (середина 50-х гг. – 1980 г.). М., 2013.
30. *Фомин А. М.* Война с продолжением. Великобритания и Франция в борьбе за «Османское наследство», 1918–1923. М., 2010.
31. Хмурые будни холодной войны. Ее солдаты, прорабы и невольные участники / отв. ред. А. С. Степанов. М., 2012.

ИСТОРИЯ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ:

32. *Исэров А. А.* США и борьба Латинской Америки за независимость, 1815–1830. М., 2011.
33. *Платошкин Н. Н.* История Мексиканской революции. Том 1: Истоки и победа. 1810–1917 гг. М., 2011.
34. *Платошкин Н. Н.* История Мексиканской революции. Том 2: Выбор пути. 1817–1828 гг. М., 2011.
35. *Платошкин Н. Н.* История Мексиканской революции. Том 3: Время радикальных реформ. 1828–1940 гг. М., 2011.
36. *Платошкин Н. Н.* Чили 1970–1973 гг. Прерванная модернизация. М., 2011.
37. *Платошкин Н. Н.* Интервенция США в Доминиканской республике 1965 года. М., 2013.
38. *Платошкин Н. Н.* Сандинистская революция в Никарагуа. Предыстория и последствия. М., 2015.

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. НОВОЕ ВРЕМЯ. ИССЛЕДОВАНИЯ. ИСТОЧНИКИ:

а) Сборники и хрестоматии:

39. Древняя Русь в свете зарубежных источников: хрестоматия. Том I. Античные источники / сост. А. В. Подосинов, под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой и А. В. Подосинова. М., 2009.
40. Древняя Русь в свете зарубежных источников: хрестоматия. Том II. Византийские источники / сост. М. В. Бибикив, под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой и А. В. Подосинова. М., 2010.
41. Древняя Русь в свете зарубежных источников: хрестоматия. Том III. Восточные источники / сост. Т. М. Калинина, И. Г. Коновалова, В. Я. Петрухин, под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой и А. В. Подосинова. М., 2009.
42. Древняя Русь в свете зарубежных источников: хрестоматия. Том IV. Западноевропейские источники / сост., пер., коммент. А. В. Назаренко, под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой и А. В. Подосинова. М., 2010.

43. Древняя Русь в свете зарубежных источников: хрестоматия. Том V. Древнескандинавские источники / сост. Г. В. Глазырина, Т. Н. Джаксон, Е. А. Мельникова, под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой и А. В. Подосинова. М., 2009.
44. Древняя Русь в свете зарубежных источников / под ред. Е. А. Мельниковой; авторы: М. В. Бибииков, Г. В. Глазырина, Т. Н. Джаксон, И. Г. Коновалова, Е. А. Мельникова, А. В. Назаренко, А. В. Подосинов. М., 2013, 2015.
45. Древнейшие государства Восточной Европы. 2006 год: Пространство и время в средневековых текстах / отв. ред. Г. В. Глазырина. М., 2010.
46. Древнейшие государства Восточной Европы. 2007 год: *Назаренко А. В.* Древняя Русь и славяне (историко-филологические исследования). М., 2009.
47. Древнейшие государства Восточной Европы. 2008 год: *Пашуто В. Т.* Русь. Прибалтика. Папство. Избранные статьи. М., 2011.
48. Древнейшие государства Восточной Европы. 2010 год: Предпосылки и пути образования Древнерусского государства / отв. ред. Е. А. Мельникова. М., 2013, 2015.
49. Древнейшие государства Восточной Европы. 2011 год: Устная традиция в письменном тексте / отв. ред. Г. В. Глазырина. М., 2013.
50. Древнейшие государства Восточной Европы. 2012 год: Проблемы эллинизма и образования Боспорского царства / отв. ред. А. В. Подосинов, О. Л. Габелко. М., 2014.
51. Древнейшие государства Восточной Европы. 2013 год: Зарождение историописания в обществах Древности и Средневековья / отв. ред. Д. Д. Беляев, Т. В. Гимон. М., 2016.
52. Древнейшие государства Восточной Европы. 2014 год: Древняя Русь и средневековая Европа: возникновение государств / отв. ред. тома Т. Н. Джаксон; отв. ред. сер. Е. А. Мельникова. М., 2016.
53. Висы дружбы: Сборник статей в честь Т. Н. Джаксон / под ред. Н. Ю. Гвоздецкой, И. Г. Коноваловой, Е. А. Мельниковой, А. В. Подосинова. М., 2011.
54. Самые забавные лживые саги: Сборник статей в честь Галины Васильевны Глазыриной / под ред. Т. Н. Джаксон и Е. А. Мельниковой. М., 2012.
55. Именослов. История языка. История культуры. Сборник статей / отв. ред. Ф. Б. Успенский. М., 2012.
56. Многоликость целого: из истории цивилизаций Старого и Нового Света: Сборник статей в честь Виктора Леонидовича Малькова / отв. ред. О. В. Кудрявцева. М., 2011.
57. Немецкие анналы и хроники X–XI вв. / пер. И. В. Дьяконова, В. В. Рыбакова. М., 2012.
58. Полоцкие грамоты XIII – начала XVI в. Том 1 / подгот. публ. А. Л. Хорошкевич, С. В. Полехова, В. А. Воронина, А. И. Груши, А. А. Жлутко, Е. Р. Сквайрс, А. Г. Тюльпина. М., 2015.
59. Полоцкие грамоты XIII – начала XVI в. Том 2 / подгот. публ. А. Л. Хорошкевич, С. В. Полехова, В. А. Воронина, А. И. Груши, А. А. Жлутко, Е. Р. Сквайрс, А. Г. Тюльпина. М., 2015.
60. Формирование территории Российского государства. XVI – начало XX в. (границы и геополитика) / отв. ред. Е. П. Кудрявцева. М., 2015.
- 6) Русь и Россия. Славянский мир:**
61. *Афанасьева Т. И.* Древнеславянские толкования на литургию в рукописной традиции XII–XVI вв.: исследование и тексты. М., 2012.
62. *Афанасьева Т. И.* Литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого в славянской традиции (по служебникам XI–XV вв.). М., 2015.
63. *Бадаланова Геллер Ф. К.* Книга сущая в устах: фольклорная Библия бессарабских и таврических болгар. М., 2017.
64. *Березович Е. Л.* Русская лексика на общеславянском фоне: семантико-мотивационная реконструкция. М., 2012.
65. *Волков С. В.* Высшее чиновничество Российской империи. Краткий словарь. М., 2016.
66. *Волков С. В.* Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. М., 2013.
67. *Гайда Ф. А.* Власть и общественность в России: диалог о пути политического развития (1910–1917). М., 2016.

68. *Евсеева Л. М.* Аналойные иконы в Византии и Древней Руси. Образ и литургия. М., 2013.
69. *Живов В. М.* История языка русской письменности: В 2 т. Том I. М., 2017.
70. *Живов В. М.* История языка русской письменности: В 2 т. Том II. М., 2017.
71. *Каштанов С. М.* Исследование о молдавской грамоте XV века. М., 2012.
72. *Каштанов С. М.* Московское царство и Запад: историографические очерки. М., 2015.
73. *Лидов А. М., Евсеева Л. М., Чугреева Н. Н.* Спас Нерукотворный в русской иконе. М., 2008.
74. Мария Фёдоровна, императрица, 1847–1928. Ксения Александровна, вел. кн., 1875–1960, Ольга Александровна, вел. кн., 1882–1960. Письма (1918–1940) к княгине А. А. Оболенской / подгот. текста, пер. с франц. М. Е. Сороки, под ред. Л. И. Заковеротной. М., 2013.
75. *Мельникова Е. А.* Древняя Русь и Скандинавия. Избранные труды / под ред. Г. В. Глазыриной и Т. Н. Джаксон. М., 2011.
76. *Мендюков А. В.* Русская Православная Церковь в Среднем Поволжье на рубеже XIX–XX веков. М., 2016.
77. *Менькова И. Г.* Блаженны кроткие... Священномученик Сергей Лебедев, последний духовник Московского Новодевичьего монастыря. Жизненный путь, проповеди, письма из ссылки. М., 2014.
78. Пётр II Петрович Негош и Россия (Русско-черногорские отношения в 1830–1850 гг.). Документы / сост.: М. Ю. Анисимов, Ю. П. Аншаков, Р. Распопович, Н. Н. Хитрова. М., 2013.
79. *Пихоя Р. Г.* Записки археографа. М., 2016.
80. *Пулькин М. В.* Самосожжения старообрядцев (середина XVII–XIX в.). М., 2013, 2015.
81. *Рахаев Д. Я.* Политика России на Северном Кавказе в первой четверти XVIII века. М., 2012.
82. Собрание проповедей протоиерея Валентина Амфитеатрова / сост. Е. Н. Викторова, И. Н. Сергеев. М., 2016.
83. *Столярова Л. В., Каштанов С. М.* Книга в Древней Руси (XI–XVI вв.) / отв. ред. С. М. Каштанов. М., 2010.

в) Западный мир. Восток:

84. *Агишев С. Ю.* Теодорик Монах и его «История о древних норвежских королях». М., 2013.
85. *Ауров О. В., Марей А. В.* Вестготская правда (Книга приговоров). Латинский текст, Перевод, Исследование. М., 2012.
86. *Белозёрова В. Г.* Традиционное искусство Китая: В 2 т. Том 1: Неолит – IX век / отв. ред. М. Е. Кравцова. М., 2016.
87. *Большаков О. Г.* Рождение и развитие ислама и мусульманской империи (VII–VIII вв.). М., 2016.
88. *Ганина Н. А.* Мехтильда Магдебургская. Струящийся свет Божества. Перевод и исследования. М., 2014.
89. *Генрих Хантингдонский.* История англов / пер. с лат., вступ. ст., примеч., библиография и указатели С. Г. Мереминского. М., 2015.
90. *Гимон Т. В.* Историописание раннесредневековой Англии и Древней Руси: сравнительное исследование / отв. ред. Л. В. Столярова. М., 2012.
91. *Долеман Р. (Парсонс Роберт)* Рассуждение о наследовании английского престола. 1594 г. / перевод А. Ю. Серёгиной. М., 2013.
92. *Долгорукова Н. М.* Сафо Средневековья. Мария Французская: Круг чтения и литературные принципы автора XII в. М., 2016.
93. *Джаксон Т. Н.* Исландские королевские саги о Восточной Европе. М., 2012.
94. *Калинина Т. М.* Проблемы истории Хазарии (по данным восточных источников). М., 2015.
95. *Лидов А. М.* Росписи монастыря Ахтала. История, иконография, мастера. М., 2014.

96. *Марей Е. С.* Энциклопедист, богослов, юрист: Исидор Севильский и его представления о праве и правосудии. М., 2014.
97. *Мереминский С. Г.* Формирование традиции: английское историописание второй половины XI – первой половины XII веков. М., 2016.
98. Святитель Хромотий Аквилейский. Проповеди / пер., вступ. ст. С. С. Кима. М., 2014.
99. *Юлиана Нориджская.* Откровения Божественной Любви / пер., вступ. ст., примеч., подгот. среднеангл. текста Ю. Дресвиной. *Julian of Norwich. Revelations of Divine Love* / Edition, introduction, translation and commentaries by Juliana Dresvina. М., 2010.

ЭТНОГРАФИЯ. ФОЛЬКЛОРИСТИКА. АРХЕОЛОГИЯ:

100. *Иванова Л. И.* Карельская баня: обряды, верования, народная медицина и духи-хозяева. М., 2016.
101. *Иванова Л. И.* Персонажи карельской мифологической прозы. Исследования и тексты быличек, бывальщин, поверий и верований карелов. М., 2012.
102. *Криничная Н. А.* Крестьянин и природная среда в свете мифологии. Былички, бывальщины и поверья Русского Севера: Исследования. Тексты. Комментарии. М., 2011.
103. *Лобанова Н. В., Филатова В. Ф.* Археологические памятники в районе Онежских петроглифов. М., 2015.
104. *Лобанова Н. В.* Петроглифы Онежского озера. М., 2015.
105. *Логинов К. К.* Обряды, обычаи и конфликты традиционного жизненного цикла русских Водлозерья. М., 2010.
106. *Ольговский С. Я.* Цветная металлообработка Северного Причерноморья VII–V вв. до н. э. По материалам Нижнего Побужья и Среднего Поднепровья. М., 2014.
107. *Толстая С. М.* Образ мира в тексте и ритуале. М., 2015.

АНТИЧНОСТЬ. ВИЗАНТИНИСТИКА. ФИЛОСОФИЯ. ФИЛОЛОГИЯ:

108. *Гай Юлий Цезарь.* Записки о войне с галлами. Книга 1 / введение и комментарии С. И. Соболевского. М., 2011.
109. *Гай Юлий Цезарь.* Записки о войне с галлами. Книга 2–4 / введение и комментарии С. И. Соболевского. М., 2011.
110. *Квинт Смирнский.* После Гомера / вступ. ст., пер. с др. греч. яз., прим. А. П. Большакова. М., 2016.
111. *Прокл Диадок.* Комментарий к первой книге «Начал» Евклида / пер. А. И. Щетникова. М., 2013.
112. Древняя синагога в Херсонесе Таврическом: материалы и исследования Причерноморского Проекта 1994–1998 гг. Херсон. Том I / *Золотарёв М. И. и др.* М., 2013.
113. Латинские панегирики / вступ. ст., пер. и комм. И. Ю. Шабаги. М., 2016.
114. С Митридата дует ветер. Боспор и Причерноморье в античности. К 70-летию В. П. Толстикова / под ред. Д. В. Журавлева, О. Л. Габелко. М., 2015.
115. Хроника Симеона Магистра и Логофета / пер. со среднегреч. А. Ю. Виноградова, вступ. ст. и комм. П. В. Кузенкова. М., 2013.
116. *Gaudeamus Igitur:* Сборник статей к 60-летию А. В. Подосинова / под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой, Г. Р. Цецхладзе. М., 2010.
117. *Виноградов А. Ю.* Миновала уже зима языческого безумия. Церковь и церкви Херсона в IV веке по данным литературных источников и эпиграфики. М., 2010.
118. *Виноградов А. Ю.* «Деяния Андрея и Матфия в городе людоедов»: опыт прочтения одного апокрифа. М., 2014.
119. *Ермолаева Е. Л.* Гомер. Илиада. XVIII песнь «Щит Ахилла». М., 2011.
120. *Жмудь Л. Я.* Пифагор и ранние пифагорейцы. М., 2012.
121. *Завойкина Н. В.* Боспорские фиасы: между полисом и монархией. М., 2013.
122. *Кузьмин Ю. Н.* Аристократия Берои в эпоху эллинизма. М., 2013.
123. *Кулланда С. В.* Скифы: язык и этногенез. М., 2016.
124. *Лапырёнок Р. В.* Наследие аграрного закона Тиберия Гракха: земельный вопрос и политическая борьба в Риме 20-х гг. II в. до н. э. М., 2016.

125. *Люттвак Эдвард Н.* Стратегия Византийской империи. *Luttwak Edward N.* The Grand Strategy of the Byzantine Empire / пер. с англ. А. Н. Коваля. М., 2010, 2012, 2016.
126. *Межерницкий Я. Ю.* «Восстановленная республика» императора Августа. М., 2016.
127. *Поздnev М. М.* Психология искусства. Учение Аристотеля. М., 2010.
128. *Ревзин Г.* Путешествие в Античность. Комплект фотографий и чертежей античных памятников с комментариями. М., 2006.
129. *Смирнов С. В.* Государство Селевка I (политика, экономика, общество). М., 2013.
130. *Сорочан С. Б.* Византийский Херсон (вторая половина VI – первая половина X вв.). Том II. Часть I. М., 2013.
131. *Сорочан С. Б.* Византийский Херсон (вторая половина VI – первая половина X вв.). Том II. Часть II. М., 2013.
132. *Сорочан С. Б.* Византийский Херсон (вторая половина VI – первая половина X вв.). Том II. Часть III. М., 2013.
133. *Суриков И. Е.* Аристократия и демос: политическая элита архаических и классических Афин. М., 2009.
134. *Суриков И. Е.* Античный полис. М., 2010.
135. *Суриков И. Е.* Античная Греция: политики в контексте эпохи. Година междоусобиц. М., 2011.
136. *Суриков И. Е.* Античная Греция: политики в контексте эпохи. На пороге нового мира. М., 2015.
137. *Суриков И. Е.* Полис, логос, космос: мир глазами эллина. Категории древнегреческой культуры. М., 2013, 2015.
138. *Файер В. В.* Александрийская филология и гомеровский гекзаметр. М., 2010.
139. *Файер В. В.* Рождение филологии. «Илиада» в Александрийской библиотеке. М., 2013.

ЖУРНАЛ «АРИСТЕЙ»:

140. Аристей. Вестник классической филологии и античной истории. Т. I / гл. ред. А. В. Подосинов. М., 2010.
141. Аристей. Вестник классической филологии и античной истории. Т. II / гл. ред. А. В. Подосинов. М., 2010.
142. Аристей. Вестник классической филологии и античной истории. Т. III / гл. ред. А. В. Подосинов. М., 2011.
143. Аристей. Вестник классической филологии и античной истории. Т. IV / гл. ред. А. В. Подосинов. М., 2011.
144. Аристей. Вестник классической филологии и античной истории. Т. V / гл. ред. А. В. Подосинов. М., 2012.
145. Аристей. Вестник классической филологии и античной истории. Т. VI / гл. ред. А. В. Подосинов. М., 2012.
146. Аристей. Вестник классической филологии и античной истории. Т. VII / гл. ред. А. В. Подосинов. М., 2013.
147. Аристей. Вестник классической филологии и античной истории. Т. VIII / гл. ред. А. В. Подосинов. М., 2013.
148. Аристей. Вестник классической филологии и античной истории. Т. IX / гл. ред. А. В. Подосинов. М., 2014.
149. Аристей. Вестник классической филологии и античной истории. Т. X / гл. ред. А. В. Подосинов. М., 2014.
150. Аристей. Вестник классической филологии и античной истории. Т. XI / гл. ред. А. В. Подосинов. М., 2015.
151. Аристей. Вестник классической филологии и античной истории. Т. XII / гл. ред. А. В. Подосинов. М., 2015.
152. Аристей. Вестник классической филологии и античной истории. Т. XIII / гл. ред. А. В. Подосинов. М., 2016.

153. Аристей. Вестник классической филологии и античной истории. Т. XIV / гл. ред. А. В. Подосинов. М., 2016.

ЕГИПТОЛОГИЯ:

154. Aegyptiaca Rossica. Выпуск 1. Сборник статей / под ред. М. А. Чегодаева, Н. В. Лаврентьевой. М., 2013.
155. Aegyptiaca Rossica. Выпуск 2. Сборник статей / под ред. М. А. Чегодаева, Н. В. Лаврентьевой. М., 2014.
156. Aegyptiaca Rossica. Выпуск 3. Сборник статей / под ред. М. А. Чегодаева, Н. В. Лаврентьевой. М., 2015.
157. Aegyptiaca Rossica. Выпуск 4. Сборник статей / под ред. М. А. Чегодаева, Н. В. Лаврентьевой. М., 2016.
158. Лаврентьева Н. В. Мир ушедших. Дуат: Образ иного мира в искусстве Египта (Древнее и Среднее царства). М., 2012.
159. Прусаков Д. Б. Додинастический Египет. Лодка у истоков цивилизации. М., 2015.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

160. Вопросы эпиграфики. Выпуск 1. Сборник статей / под ред. А. Г. Авдеева. М., 2006.
161. Вопросы эпиграфики. Выпуск 2. Сборник статей / под ред. А. Г. Авдеева. М., 2008.
162. Вопросы эпиграфики. Выпуск 3. Сборник статей / под ред. А. Г. Авдеева. М., 2009.
163. Вопросы эпиграфики. Выпуск 4. Сборник статей / под ред. А. Г. Авдеева. М., 2010.
164. Вопросы эпиграфики. Выпуск 5. Сборник статей / под ред. А. Г. Авдеева. М., 2011.
165. Вопросы эпиграфики. Выпуск 6. Сборник статей / под ред. А. Г. Авдеева. М., 2012.
166. Вопросы эпиграфики. Выпуск 7. Сборник статей в 2 ч. / под ред. А. Г. Авдеева. М., 2013.
167. Вопросы эпиграфики. Выпуск 8. Сборник статей / под ред. А. Г. Авдеева. М., 2015.
168. Антонец Е. В. Введение в римскую палеографию. М., 2009.
169. Вальков Д. В. Генуэзская эпиграфика Крыма. М., 2015.

ВЕСТНИК УНИВЕРСИТЕТА ДМИТРИЯ ПОЖАРСКОГО:

170. Вестник Университета Дмитрия Пожарского. Выпуск 1. Город: история и культура. М., 2014.
171. Вестник Университета Дмитрия Пожарского. Выпуск 1 (2). Русь и Византия. М., 2015.
172. Вестник Университета Дмитрия Пожарского. Выпуск 1 (3). Политические репрессии на севере России (материалы работы Соловецкого семинара). М., 2016.
173. Вестник Университета Дмитрия Пожарского. Выпуск 2 (4). Советский ландшафт древней ойкумены: отечественная наука о древнем Востоке и античности в 1920–1980-е гг.

СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ:

Четыре тома избранных произведений О. А. Седаковой:

174. Седакова О. А. Четырехтомное издание избранных произведений: Стихи (1-й том). М., 2010.
175. Седакова О. А. Четырехтомное издание избранных произведений: Переводы (2-й том). М., 2010.
176. Седакова О. А. Четырехтомное издание избранных произведений: Poetica (3-й том). М., 2010.
177. Седакова О. А. Четырехтомное издание избранных произведений: Moralia (4-й том). М., 2010.
178. ДВА ВЕНКА: Посвящение Ольге Седаковой. Сборник статей / под ред. А. В. Маркова, Н. В. Ликвинцевой, С. М. Панич, И. А. Седаковой. М., 2013.

Собрание сочинений В. В. Библихина:

179. Библихин В. В. Слово и событие. Писатель и литература. Собрание сочинений. Том I. М., 2010.

180. Биbihин В. В. Введение в философию права. Собрание сочинений. Том II. М., 2013.
181. Биbihин В. В. Новый ренессанс. Собрание сочинений. Том III. М., 2013.

УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:

182. Кизим А. В. Крымская война. Учебное пособие. М., 2017.
183. Девяткина К. С. Сборник упражнений к учебнику ENGLISH IX (под ред. О. В. Афанасьевой и И. В. Михеевой). М., 2017.
184. Девяткина К. С. Сборник упражнений к учебнику ENGLISH X (под ред. О. В. Афанасьевой и И. В. Михеевой). М., 2017.
185. Девяткина К. С. Сборник упражнений к учебнику ENGLISH XI (под ред. О. В. Афанасьевой и И. В. Михеевой). М., 2017.
186. Зайков А. В. Римское частное право в систематическом изложении. Учебник. М., 2012.
187. Поливанова А. К. Старославянский язык. Грамматика. Словари. М., 2013.
188. Рязановский А. Р. Математика. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Арифметика, алгебра, начала математического анализа. Очерки по истории математики с древнейших времён. М., 2015.
189. Савватеев А. В. Математика для гуманитариев. Живые лекции. М., 2017.
190. Смышляев А. Л. История Древнего Рима от Ромула до Гракхов. Учебное пособие. М., 2007.
191. Черная Африка: прошлое и настоящее. Учебное пособие по Новой и Новейшей истории Тропической и Южной Африки / под ред. А. С. Балезина, С. В. Мазова, И. И. Филатовой. М., 2016.

Если вы нашли в наших книгах опечатки, просьба сообщить о них на электронный адрес knigiudr@gmail.com. В сообщении нужно указать книгу, страницу и абзац, где была обнаружена опечатка. Благодарим за сотрудничество.

МЕСТА, В КОТОРЫХ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ НАШИ КНИГИ

В офисе нашего издательства:

Москва, Комсомольский проспект, дом 23/7, корп. 2, по будням с 10:00 до 19:00.

1. Интернет-магазины:

| | | |
|--|--|---|
| www.biblion.ru | www.urss.ru | www.kniger.by |
| www.ozon.ru | www.greybooks.ru | www.good-book.com.ua |
| www.setbook.ru | www.libroroom.ru | www.arhe.com.ua и многие другие. |

2. Книжные магазины:

РОССИЯ:

Москва • «PRIMUS VERSUS», ул. Покровка, д. 27, стр. 1, www.dbiblio.org • ТД «БИБЛИО-ГЛОБУС», ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1, www.biblio-globus.ru • «ГИПЕРИОН», Хохловский пер., д. 7/9, стр. 3, www.hyperionbook.ru • «ГНОЗИС», Турчанинов пер., д. 4, www.gnosisbooks.ru • Книжная лавка историка «КЛИ», ул. Б. Дмитровка, д. 15, www.rosspen.ru • «КНИГА МАКСИМА», Ленинские горы, д. 1, стр. 51, здание Первого гуманитарного корпуса МГУ им. М. В. Ломоносова, www.maxi-book.ru • «КНИЖНАЯ ЯРМАРКА В ОЛИМПЕЙСКОМ», Олимпийский пр-т, д. 16, стр. 1, здание СК Олимпийский, www.marketbooks.ru • «МОСКВА», ул. Тверская, д. 8, стр. 1, www.moscowbooks.ru • Сеть книжных магазинов «МОСКОВСКИЙ ДОМ КНИГИ», www.mdk-arbat.ru • «МУЗЕЙ АНДРЕЯ РУБЛЁВА», Андроньевская пл., д. 10, www.rublev-museum.ru • Книжная галерея «НИНА», ул. Волхонка, д. 18/2, www.kniginina.ru • «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО», ул. Пятницкая, д. 51А, на территории храма Живоначальной Троицы, www.pravslowo.ru • Книжный киоск «РОССПЭН», ул. Дмитрия Ульянова, д. 19, www.rosspen.ru • Книжный магазин «РОССПЭН», 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1, www.rosspen.ru • «РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ», ул. Нижняя Радищевская, д. 2, www.kmrz.ru • «У КЕНТАВРА», ул. Чайнова, д. 15, здание РГГУ, www.knigirgu.ru • «ФАЛАНСТЕР», Малый Гнезниковский пер., д. 12, www.falanster.ru • «ФАЛАНСТЕР НА ВИНЗАВОДЕ», 4-й Сыромятнический пер., д. 1, стр. 6 • Книжный Дом «ФАМИЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА», ул. Усачёва, д. 2, стр. 3 • «ХОДАСЕВИЧ», ул. Покровка, д. 6, www.xodacevich.com • «ЦИОЛКОВСКИЙ», Пятницкий пер. д. 8, www.primuzee.ru • Сеть книжных магазинов «ЧИТАЙ-ГОРОД», www.chitai-gorod.ru • «ЧИТАЛКА», ул. Жуковского, д. 4, www.chitalcafe.livejournal.com

Санкт-Петербург • Сеть книжных магазинов «БУКВОЕД», www.bookvoed.ru • «ВСЕ СВОБОДНЫ», набережная реки Мойки, д. 28, www.vse-svobodny.com • «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», ул. Петрозаводская, д. 9, www.dbulanin.ru • «КНИЖНЫЙ ОКОП», Васильевский остров, Тучков пер., д. 11/5, литера А, пом. 15Н • «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ», Литейный пр-т, д. 57, www.podpisnie.ru • «ПОРЯДОК СЛОВ», набережная реки Фонтанки, д. 15, www.wordorder.ru • Книжный киоск СПбГУ, Университетская набережная, д. 7-9, здание СПбГУ • «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОМ КНИГИ», Невский пр-т, д. 28 литера А, www.spbdk.ru • «СВОИ КНИГИ», Васильевский остров, ул. Репина, д. 41, www.svoi-knigi.ru • «ФАКЕЛ», Лиговский пр-т, д. 74 • «ФАРЕНГЕЙТ 451», ул. Маяковского, д. 25

Вологда • «ДЕЛОВАЯ КНИГА», ул. Предтеченская д. 31

Воронеж • «КНИЖНЫЙ КЛУБ», ул. 2-летия ВЛКСМ, д. 54А, здание ТЦ «Петровский пассаж», www.knigafe.ru

Екатеринбург • «ЙОЗЕФ КНЕХТ», ул. 8 марта, д. 7 • «ПИОТРОВСКИЙ», ул. Бориса Ельцина, д. 3, здание Ельцин Центра

Казань • «СМЕНА», ул. Бурхана Шахиди, д. 7, здание Центра современной культуры «Смена»

Красноярск • «АКАДЕМКНИГА», ул. Сурикова, д. 45 • «БАКЕН», проспект Мира, д. 115А, www.bakenbooks.com

Нижний Новгород • «ДИРИЖАБЛЬ», ул. Б. Покровская, д. 46; ул. Белинского, д. 118; ул. Щербакова, д. 2; ул. Советская, д. 19/2, www.dirigable-book.ru • «ЛОГОС», «ПОЛКА», ул. Б. Покровская, д. 30

Новосибирск • «BOOK-LOOK», Морской пр-т, д. 22 • «КАПИТАЛЪ», ул. Горького Максима, д. 78

Пермь • «ПИОТРОВСКИЙ», ул. Ленина, д. 54, www.piotrovsky.su

Петрозаводск • Книжный киоск ПетрГУ, пр-т Ленина, д. 33, здание Петрозаводского гос. ун-та

Ростов-на-Дону • Книжный салон «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ», ул. Б. Садовая, д. 55, www.knizhnyu-salon.alloy.ru

Саратов • «ОКСЮМОРОН», пр-т Кирова, д. 52

Севастополь • «АЛЬБАТРОС», ул. Соловьёва, д. 6

Ставрополь • «КНЯЗЬ МЫШКИН», ул. Космонавтов, д. 8А

Тверь • «МЫСЛЬ», Свободный пер., д. 28, здание Библиотеки им. Горького

Томск • «АКАДЕМКНИГА», ул. Набережная реки Ушайки, д. 18А • Книжный центр «ПОЗИТИВ», пр-т Ленина, д. 24А

Тюмень • «НИКТО НЕ СПИТ», Сургутская, д. 11 кор. 2

Фрязино • «КЛАДЕЗЬ», ул. Московская, д. 2Б

Ярославль • «КНИЖНАЯ ЛАВКА ГУМАНИТАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», ул. Свердлова, д. 9.

АРМЕНИЯ: Ереван • «БУКИНИСТ», пр-т Маштоци, д. 20

БЕЛОРУССИЯ: Минск • Книжная выставка «У ПОЮЩИХ ФОНТАНОВ», отдел исторической литературы, ул. Октябрьская, д. 5, здание КЗ «Минск»

ГЕРМАНИЯ: Франкфурт-на-Майне • «KNIZHNIK Internationale Buchhandlung», Inhaber Dmitrij Anzupow. Verkehrsnummer 29582. Danziger Platz 2-4, www.knizhnik.de/ru

УКРАИНА:

Харьков • Книжный киоск «ЛИТЕРА НОВА», ул. Гагарина, д. 22, здание центрального автовокзала, www.litera-book.com.ua • «ЛИТЕРА НОВА» Академкнига 1, ул. Квитки-Основьяненко, д. 4/6, www.litera-book.com.ua • «ЛИТЕРА НОВА» Академкнига 2, ул. Чернышевская, д. 34, www.litera-book.com.ua

Официальный представитель на Украине • Перчак Валерий. Киев, рынок «Петровка», ряд 43, место 9-10, магазин «ЭКСЛИБРИС», perchak.valery@yandex.ru • **Также по вопросам приобретения книг на территории Украины обращайтесь к нашим партнерам** • Оксана Кравченко, okhuze@gmail.com • Швед Павел Владимирович, p.shved@gmail.com

При оптовых закупках возможны скидки, с вопросами обращайтесь к директору
Издательства Роману Порошину: roland42@yandex.ru • По вопросам маркетинга
обращайтесь к директору по маркетингу Марии Медведевой-Якубицкой:
vedmediya@mail.ru • По вопросам розничных закупок, с предложениями и пожеланиями
обращайтесь на адрес Издательства: knigiudp@gmail.com



УНИВЕРСИТЕТ ДМИТРИЯ ПОЖАРСКОГО

Университет носит имя князя Дмитрия Михайловича Пожарского – восстановителя и защитника российской государственности в Смутное время, навсегда вошедшего в историю нашей Родины как пример верности долгу, искренней и деятельной любви к Отчизне.

Университет Дмитрия Пожарского ориентирован на получение фундаментальных и прикладных исследовательских результатов мирового уровня в естественных и гуманитарных науках. Он ставит перед собой задачу подготовить для России высококвалифицированных специалистов-исследователей в ключевых областях знания и сферах человеческой деятельности.

Приоритетом Университета является восстановление ценности классического фундаментального образования, науки и практики в России. Университет Дмитрия Пожарского призван стать Университетом в исконном значении этого слова.

Мы видим **выпускников Университета** людьми с большой внутренней мотивацией, источник которой – их образование, чувство чести и любовь к Родине, – людьми сильными, не боящимися трудностей жизни и напряженных усилий, способными к внутреннему росту, изменению людей и мира вокруг себя.

Университет поможет сформировать собственное, глубокое и цельное мировоззрение, умение аналитически мыслить, постигать новое, видеть связь вещей и явлений, способность понять структуру любой области человеческого знания и деятельности и готовность грамотно взаимодействовать с профессионалами в этой области, умение прочесть любую книгу и понять ее содержание, способность решать самые сложные задачи.

Эти качества позволяют выпускникам участвовать в руководстве народным образованием и наукой в национальном масштабе, разрабатывать решения научных и социальных проблем первостепенной важности, руководить ведущими образовательными и научными организациями, сотрудничать с органами власти всех уровней.

В 2016 г. открылась магистратура по двум направлениям:

Экономико-физико-математическое направление (магистерская программа «Междисциплинарный анализ социально-экономических процессов (МАСЭП)») включает изучение совокупности предметов, которые позволят понять экономическое и социальное устройство современного общества и его эволюцию, – математики, теоретической физики, экономических дисциплин, социологии, психологии.

Гуманитарное направление (магистерская программа «История и культура античности») даст лингвистическую, историческую и филологическую подготовку, открывающую широкую перспективу научно-педагогической деятельности.

Оба направления предполагают овладение серьезной интеллектуальной культурой: общими предметами являются история и иностранные языки, магистрантам экономико-физико-математического отделения будет дано представление о современном гуманитарном знании, а гуманитарного – о современной физике и математике.

В дальнейшем планируется открытие **бакалавриата и аспирантуры**.

Более подробная информация на сайте Университета www.usdp.ru

Научное издание

Подготовлено к печати и издано по решению Ученого совета
Университета Дмитрия Пожарского

Живов Виктор Маркович

ИСТОРИЯ ЯЗЫКА РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

Том II

Литературный редактор *А. И. Золотухина*
Составление указателей *А. А. Пичхадзе*
Компьютерная верстка *И. С. Пекунова*
Дизайн и оформление обложки *Е. А. Горева*

Подписано в печать 26.12.16. Бумага офсетная.
Формат 70х100 1/16. Гарнитура «Cambria».
Тираж 1500 экз. Первый завод 700 экз. Заказ .

«Русский фонд содействия образованию и науке».
Университет Дмитрия Пожарского.
119435, Москва, ул. Малая Пироговская, д. 13, стр. 1.
www.s-and-e.ru

Отпечатано: АО «Т 8 Издательские технологии».
109316, Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5.